



И. В. ШМЕЛЕВ

РВАНЫЙ
БАРИН

Annotation

8-й (дополнительный) том Собрания сочинений И. С. Шмелева составили ранние произведения писателя. Помимо великолепных рассказов и очерков, читатель познакомится также со сказками, принадлежащими перу Ивана Сергеевича, – «Степное чудо», «Всемога», «Иностранное тело» и др.

<http://ruslit.traumlibrary.net>

- [Иван Сергеевич Шмелев](#)
 - [Е. Осьминина. Про купца, мужика, солдата – и барина](#)
 - [Рассказы](#)
 - [Распад](#)
 - [Полочка](#)
 - [Светлая страница](#)
 - [Рваный барин](#)
 - [Приложение к рассказу «Рваный барин»](#)
 - [«Наполеон»](#)
 - [Русская песня](#)
 - [Солдат Кузьма](#)
 - [Праздничные герои](#)
 - [Как мы летали](#)
 - [Очерки](#)
 - [Из цикла «Суровые дни». В деревне](#)
 - [На крыльях](#)
 - [На пункте](#)
 - [Лошадиная сила](#)
 - [Развяза](#)
 - [Ожидание](#)
 - [Под избой](#)
 - [За семью печатями](#)
 - [Оборот жизни](#)
 - [Максимова сила](#)
 - [Мирон и Даша](#)
 - [Лихой кровельщик](#)

- [В Сибирь за освобожденными](#)
 - [Наброски](#)
 - [Суд Соломона](#)
 - [Разруха ли?](#)
 - [Пятна](#)
 - [I. «Обобществление»](#)
 - [II. Веселый разговор](#)
 - [III. По мелководью](#)
 - [IV. «Перекасти-поле»](#)
 - [V. Книжный человек](#)
 - [VI. Про модные товары](#)
 - [У живого камня](#)
 - [Кошкин разговор](#)
 - [Последний день](#)
 - [В дождь](#)
 - [В деревенской глуши](#)
 - [Березовая роща](#)
 - [Письмо лейтенанта](#)
 - [Пушечное вино](#)
 - [Голос зари](#)
 - [Чужой крови](#)
 - [Сказки](#)
 - [Степное чудо](#)
 - [Преображенец](#)
 - [Веселый барин](#)
 - [Всемога](#)
 - [Инородное тело](#)
 - [Панкрат и Мутный](#)
 - [Выходные данные](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)

- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Иван Сергеевич Шмелев
Собрание сочинений в пяти томах
Том 8. Рваный барин

Е. Осьминина. Про купца, мужика, солдата – и барина

Точнее следовало бы написать так: про доброго купца, умного мужика, верного солдата и... а вот барин бывал самым разным. То «рваным», то «подбитым», то «веселым».

Все они – герои рассказов начала века, революционных очерков и крымских сказок Ивана Сергеевича. Из этих произведений составлен настоящий том «раннего» Шмелева; о них и пойдет речь.

Он начал с КУПЦА.

Нет, фактически-то Шмелев начинал с городского, мельника и валаамских монахов. Но то были «пробы пера», после которых он замолчал лет на десять. И на профессиональный путь вступил (больше с него не сходя) – с описанием родного купеческого Замоскворечья в «Распаде» (1906) и в небольших рассказах для детей. Почти все они имеют подзаголовок «Из рассказов моего приятеля», указывающий на автобиографичность произведений^[1]. Многие фигуры писатель взял из своего детства.

Захар Хмуров из «Распада» – это Егор Васильевич Шмелев (1838–1897), двоюродный дядя и сосед будущего писателя, действительный владелец кирпичного завода на Воробьевых горах^[2]. Леня, его сын – Алексей Егорович Шмелев (1867–1887). Сведения о них содержатся в ответе писателя на дореволюционную анкету: «Убийство Ал. II потрясло. Закопошились вопросы. Во дворе говорили о как-то *нигилистах*. Сильнейшее впечатление оставило самоубийство троюродного брата – студента технолога (в связи с политич. настроениями). Чувство жути пережил»^[3].

Семья Хмуровых, по-видимому, списана с семьи дяди Егора: бабка Василиса – Надежда Тимофеевна (1818 – после 1880), жена – Екатерина Семеновна (1843–1901). Обстановка же в доме изображена совершенно в островско-горьковском духе: классическое «темное царство» с противопоставлением патриархальных отцов и революционных детей, жестокими нравами и затягивающим бытом: подробно, выпукло нарисованным «предметным миром» Отлично,

кстати говоря, нарисованным. Не зря чуткий Ю. И. Айхенвальд написал Шмелеву после «Распада»: «Страницы „Рус. Мысли“ отныне открыты для Вас...»^[4]

Другой дядя писателя – Павел Иванович Шмелев (1847–1873), родной брат отца, – возможно, послужил прототипом для «книжного» человека из «Полочки», вероятно, тут присутствуют и черты деда^[5].

Этих людей Шмелев лично не знал, и в рассказе выразилась его определенная «просветительская»^[6] программа.

Зато хорошо знал (подробно описал в «Автобиографии») и горячо любил героя остальных детских рассказов – отца, Сергея Ивановича Шмелева (1842–1880). «Отец был простой, необразованный человек, но он имел сердце и умел понимать другого» («Рваный барин»). «Он был простой души, мой отец. Он ничего не понимал в тонкостях душевной жизни. Но он был мягок сердцем, мой простой отец... Он был чуткий и добрый человек». «Это был человек, который любил давать» («Светлая страница»).

Итак, купец должен быть ДОБРЫМ! Это идеал для Шмелева – и уже в своем дореволюционном творчестве он – найдя доброту и жестокость, идеал и его противоположность – показывает их.

Доброта отца проявляется в самых разных ситуациях. Он спасает лошадь («Светлая страница»), подбадривает «Солдата Кузьму», без него позднее так плохо живется («Как мы летали»). И конечно, помогает «Рваному барину» – этому униженному и оскорбленному, гордому и надорванному человеку из народа.

В «Рваном барине» есть и обличительные мотивы (которые вообще сильны у раннего Шмелева). Есть и влияние Достоевского – рассказ писался почти одновременно с «Человеком из ресторана», названного критикой современными «Бедными людьми». Но есть и другое – желание «быть писателем родным, национальным в лучшем смысле слова»^[7], которое в это время начинает владеть Шмелевым. Не случайно он писал редактору журнала, где печатался «Рваный барин»: «НАЦИОНАЛЬНЫ д. б., по-моему, темы. Как национальна д. б. и литература, последнее время в молодых представителях своих ушедшая в какой-то тупик... И когда я говорил о БЛИЗКОМ массе, что должно б. предметом детск. журналов, я понимал это в смысле родного, нашего, русского»^[8].

И вот в «Праздничных героях» эта доброта, сострадание к «маленьким людям» становится национальной чертой, входит в определенный жизненный уклад. Любовное единение людей в религиозный праздник... Это было у Шмелева еще в начале века! Как справедливо отметил дореволюционный рецензент:

«Перед читателем живо встает русская старинная действительность, чувствуется атмосфера простых отношений, непосредственное сближение людей разных социальных положений, хотя бы только и в праздничные дни. Это единение, по-видимому, и дорого самому автору»^[9].

В русской литературе традиционно выразителем «родного» считался человек из простонародья: проще говоря, русский МУЖИК. Он становится героем Шмелева к началу десятых годов.

В ряде рассказов сомневающимся интеллигентам и даже бывшим революционерам противопоставлены мужики, ведущие обозы; плотогоны. Они знают свои идеалы и истины, у них все «верно и просто, все ясно и оправдано». В письмах Шмелев продолжает говорить о «заложенной» в народе «силе духа»^[10], о желании «покатить» по Руси: «И какие сокровища можно бы увидеть!»^[11]

Наиболее же полно это чувство «народности, русского, родного» выразилось в очерках «Суровые дни» – времени первой мировой войны. Шмелев так объяснял историю их создания: «Я охотно принял предложение „Сев. зап.“ – писать сколько угодно о впечатлениях от восприятия войны в деревне. Жил я тогда в Калуж. губ. (летом 1914 г. снимал дачу в селе Оболенском Малоярославского уезда. – *Е. О.*) повидал кой-что. Заинтересовался предложенной мне задачей».^[12]

Шмелев не склонен идеализировать ни обитателей деревни Большие Кресты, ни условия их жизни. Он показывает тоску и обнищание, которое несет война деревне, и горькое пьянство, и дикие нравы, темноту народа. И неизвестно чем еще обернется эта война – каков будет «оборот жизни».

Но все же русский мужик для Шмелева – человек, знающий «сокровенную тайну – жизнь-смерть», умеющий делать самое сложное в жизни – умереть достойно. Русский человек умеет простить и найти слова прощения, умеет протрезветь, оглянуться на свою жизнь и зажить по-другому. И не случайно кончается цикл очерком «Правда дяди Семена» (см.: т. 1 наст. Собр. соч., там же – и

«Знамения»): «Он – не он. Это вся тяжелой жизнью выученная, мудрая, болющая Россия, скорбящая и все же непоколебимая». «Мудрый» – постоянный эпитет Шмелева.

Итак, мужик должен быть мудрым. УМНЫМ.

И со своей «военной деревенской темой» Ив. Шмелев оказался в эпицентре литературных споров.

«Суровые дни» следует рассматривать вместе с военными патриотическими корреспонденциями В. Брюсова, статьями Л. Андреева, Особенно же – спокойствие, серьезность, объединение народа у Шмелева – напоминают образы А. Толстого из очерков «На войне». Такой, например: «Словно вся Россия стала одним хозяйством, пришло время жатвы и все, взяв серпы, пошли жать»^[13].

Иным был настрой М. Горького. Правда, в начале войны он поставил свою подпись под двумя коллективными письмами: против немецких зверств^[14] и приветствия союзникам-англичанам^[15]. Среди подписей мы найдем имена И. Бунина, Шмелева, Н. Телешова и многих других.

Однако затем позиция Горького изменилась. В конце 1915 года в № 1 журнала «Летопись» он провозгласил, что у русского человека «Две души»: «...одна от кочевника-монгола, мистика, лентяя», а другая – «душа славянина, потенциально героическая, способная вспыхнуть ярко и красиво, но ненадолго».

Шмелев возмутился статьей Горького и приветствовал ответ Л. Андреева^[16], который назвал «Две души» унижением целого народа и самооплевыванием. Андреева поддержали Н. Бердяев, В. Розанов, Е. Чириков, А. Чеботаревская. Горького – журнал «Летопись», опубликовавший, например, в первом номере за 1916 год статью Д. Тальникова: разбор произведений о деревне Чехова, Бунина, Подъячева и Вольнова. Основываясь на них, критик доказывал убожество, дикость, жестокость и язычество русского народа.

В этом споре и «Суровые дни» стали аргументом. Критик Н. Кадмии противопоставил правдивых Горького и Бунина, верных «глубинной художественной традиции», и романтиков Андреева со Шмелевым, создавших «некую идеологию мужика»^[17]. Это был ответ на статью Андреева о «Суровых днях». Андреев, в частности, писал:

«С легкой руки надменных „новозападников“ наших, мужик попал в хамы и безнадежные эфиопы. Просто эфиоп. Нежно и

любовно, трепетно и чутко, как верующий к ранам Христовым, подошел Ив. Шмелев к этому „эфиопу“ и новой красотой озарил его лапти и зипуны, бороды и морщины, его трудовой пот, перемешанный с неприметными для барских глаз стыдливими слезами. Нет на этом мужике прекраснодушного народничества, ничего он не пророчествует и не вещает в даль, но в чистой правде души своей стоит он, как вечный укор несправедливости и злу, как великая надежда на будущее...»^[18]

...В эмиграции Шмелева, вероятно, можно причислить к продолжателям, славянофильской традиции. Для нас важно, что это «неославянофильство» начало зарождаться в начале века, в противоположность также определенным «неозападническим» тенденциям. Но ему еще предстояли значительные испытания.

СОЛДАТСКАЯ тема возникла у Шмелева вместе с деревенской, в годы первой мировой войны: развиваться же и углубляться она стала позднее – после февраля, а затем октября 1917 года (потому что вопрос о солдате безразличен революции).

Как известно, 1 марта 1917 года Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов издал «Приказ № 1»^[19]: с него начался развал армии. Уже 30 апреля Сергей Шмелев пишет отцу с фронта, как к ним в артиллерийский полк приходил прапорщик из пехоты и обвинял офицеров в измене и трусости, подобные неприятности были и у других воевавших знакомых Шмелева.

Что же отвечает отец сыну? Почти в каждом (!) (а их 29) письме он пишет одними и теми же словами: «Народ не виноват». «Мне больно за народ. Он не виноват. Он так много и теперь терпит. Только все трудные экзамены ему закатывают: то держали на месте тысячу лет, с завязанными глазами, то сразу сняли повязку, открыли свет на сто дорог, и по какой надо – не могут указать. Да еще по-итало-англо-санскритски с ним разговаривают»^[20]. И Шмелев советует своему Сергею: «разговаривать с солдатами, объяснять им ситуацию, читать газеты – „Русские Ведомости“, „Власть народа“» (в них – его позиция, в них печатается он сам).

Эту же цель – разъяснить, предостеречь, пропагандировать, говоря с народом «живым словом», – Шмелев прямо провозглашает в очерках «В Сибирь за освобожденными» и «Набросках». 14 марта 1917 года как корреспондент «Русских ведомостей» вместе с

писателем Б. А. Тимофеевым Иван Сергеевич едет с поездом за освобожденными политкаторжанами и описывает свои впечатления с дороги. (Именно тогда произошло убийство, которое он неоднократно вспомнит впоследствии^[21], пока же его настроение в общем радостное и приподнятое^[22].)

Далее он сам начинает эту цель осуществлять – в «Пятнах» и ряде очерков, примыкающих к ним. Он говорит с народом и о народе; солдаты становятся одними из главных героев его произведений (может быть, к ним в первую очередь и обращенных). Поэтому его форма – живые сценки, разговоры, наблюдения с натуры. Эффект присутствия – полный! Иногда мы даже можем проследить, как «материал жизни» переходит в очерки (см., напр., «Суд Соломона» и письмо к сыну: «Была вчера Руфина из Серпух. <...> У монастыря отняли покос слободские. Поп является летом на слободские митинги и бьется за свои права, угрожая карой Владычицы»^[23]).

В двух последних «Пятнах» форма уже несколько изменена: это почти что «сказ» от лица определенного персонажа (библиотекаря, старообрядца), с характерной лексикой, сравнениями, логикой. Правда, бывает, начнет герой, а закончит все-таки явно Иван Сергеевич^[24]. Все это произведения, конечно, с отчетливой политико-публицистической тенденцией.

Шмелев выступает против «шкурного», на котором «заиграли» «идеологи-социалисты»^[25], ратует за сохранение хозяйства и хозяев, всего веками накопленного русского богатства^[26]. Поддерживает Временное правительство, идею Учредительного собрания (по письмам видно, что считает Керенского «госуд. складки человеком»^[27]), радуется уничтожению старых порядков, но полемизирует с большевиками. Все это, в общем, совпадает с программой «Власти народа», руководимой Е. Л. Кусковой, женой министра Временного правительства С. Н. Прокоповича.

Когда большевики закрыли и «Русские ведомости» (еще три месяца выходившие под названием «Свобода России»), и «Власть народа», и «Родину» («Нашу Родину» М. Осоргина), где печатался Иван Сергеевич; когда сын вернулся с фронта, отравленный газами, – в июне 1918 года Шмелевы уехали в Крым. И в конце этого же года Сергей был мобилизован в Добровольческую армию. Шмелевскую

политическую позицию на тот момент пока мы просто не знаем; статья в эсеровской газете «Народ» больше запутывает, чем проясняет. Во всяком случае, «душевное состояние» у него «отвратительное»^[28]:

«Понимаете ли, жизнь не на-ла-дится! Таков наш народ, что хоть улицу им мети. И долго будут им мести, пока эта метла не измотается или пока метельщики не потер, охоты. А сам. страшные метельщики – убитые Богом гг. левейшие социалисты. И все же: кровь (гениальный прогноз Толстого в сказочке об Ив. Дур., но отчасти)»^[29].

Толстой ли его подвинул, или, как он сам пишет, захотелось «уйти от себя» – только в этом-то состоянии за три октябрьских дня 1919 года он написал шесть сказок «юморо-сатирическ. склада»^[30]. Они, безусловно, продолжают линию «Пятен».

Это по-прежнему разговор с народом, уже в самой доступной форме. Рассказчик здесь – не Иван Шмелев, а некий простой человек из народа, наделенный здравым смыслом и юмором. Отлично передана именно устная речь. В эмиграции Шмелев стиль слегка подправил, усилив образность и лаконизм – но, конечно, уже в 1919 году родилось его «живое слово», которое отметила критика.

Ю. Айхенвальд писал о «Сказках»: «...такие подобраны в них слова и сочетания, что слышны самые интонации живой речи и почти звучат даже тембры человеческих голосов»^[31]. Вл. Ладыженский: «Язык Ив. Шмелева превосходен. Это настоящий народный язык без предвзятой изысканности, без заглядывания в словарь Даля и злоупотребления провинциализмами»^[32].

Вместе с тем согласно жанру политической сказки (чрезвычайно, кстати, распространенному в газетах Белого Юга) здесь много символов, намеков и иносказаний. Наиболее характерно в этом смысле «Иностранное тело»^[33].

По этим символам можно догадаться, что Шмелев уже изменил свое отношение к Временному правительству (по всей вероятности, первый вариант статьи «Убийство» был написан в Крыму^[34]) и к старым порядкам. Во всяком случае, «Преображенский солдат» видит во сне Николая II, и сон кажется ему добрым, а его дурная болезнь не проявляется.

Солдат, по Шмелеву, должен быть ВЕРНЫМ! И тогда через него придет спасение России («Степное чудо»). А вот барин по-прежнему

несимпатичен в своем «веселье». И долго еще будет несимпатичен и в эмигрантских произведениях писателя.

Шмелев почти не правил смысл сказок, издавая их в Париже^[35]. Единственное крупное изменение – в «Матросе Всемоге». В 1919 году терой запродает русскую «честь-совесть» за «настоящую слободу». В 1923-м – отдает крест и душу, чтобы вознестись до небес. Соответственно и конец другой. В 1919-м – матрос просто обругал радугу нехорошим словом, а в 1923-м – погиб. Сказка стала более классическим вариантом истории о сговоре человека с нечистой силой.

Эти сказки – самое резкое, что когда-либо скажет Шмелев о заблудшем русском человеке, сбившемся с пути из-за собственной скуки, под влиянием беса или хитрого иностранного учения. И все-таки он верит, что опамятуется, что все кончится хорошо. Потому и заканчивает парижское издание московским очерком «Панкрат и Мутный», где вся история с комиссаром Мутным оказывается сном – и должна в конце концов развеяться как сон.

Многое из дореволюционного творчества Шмелева^[36] перешло затем в эмигрантское. И подробное бытописание, реализм; и «сказ», иносказание, блестящая образность. И изображение родного купеческого Замоскворечья. Но главное, конечно, – русская, национальная идея.

Потеряв сына, в изгнании – он не отвернулся от России. Но продолжал писать – слова любви и нежности, ласки и признательности. В окаянные революционные дни, как вспоминал Бунин, Шмелев повторял: «Нет, я верю в русский народ!» И этой вере он не изменил в своих поздних книгах. Где купец – по-настоящему добрый, мужик – умный, солдат – верный, и даже барин, кажется, в конце концов, прощен.

И, расставаясь со шмелевскими героями, нам хотелось бы напоследок поблагодарить реальных людей, которые помогли в работе над настоящим Собранием.

Прежде всего – Л. М. Борисову (Симферополь), И. И. Виноградова (Москва), Е. В. Воропаеву (Москва), П. Г. Горелова (Москва), А. М. Любомудрова (Санкт-Петербург), И. В. Некрасова (Москва), М. В. Соколова (Москва), А. П. Черникова (Калуга), Г. А.

Ярошевскую (Москва), – с помощью которых были получены многие шмелевские тексты. Отдельное спасибо – работникам библиотек и архивов: РГБ, ГАРФ и ГИПБ.

Замечательная библиография Д. М. Шаховского «Bibliographie des Oeuvres de Ivan Chmelev» (Париж, 1980) служила поистине «путеводной звездой» в наших поисках. Благодаря г-ну Ивистиону Жантийому (Франция), крестнику и родственнику Шмелева, у нас было ощущение «связи времен» и живой памяти.

И конечно, хотелось бы поблагодарить весь коллектив издательства «Русская книга».

Елена Осьминина

Рассказы

Распад

<Из воспоминаний приятеля>

I

Из-за двойных рам в нашу комнатку доносится неясный гул со двора. Мы бросаемся к окнам и видим знакомую картину: дядя Захар рассчитывает кирпичников.

Это целое событие в нашей монотонной жизни.

Если дядя Захар «рассчитывает», значит – скоро пойдет снег, придет зима, и нам купят маленькие лопатки; косой дворник Гришка, – так зовут его все на дворе, – будет ходить в валенках и носить в комнаты осыпанные снегом дрова, а липкая грязь на дворе пропадет под белой, хрустящей пеленой.

Этот «расчет», что производится сейчас в маленькой конторе, где на высоком стуле сидит юркий Александр Иванов, дядин конторщик, – сулит нам много интересного и помимо идущей зимы. На грязном дворе, на бочках, досках, колодце и даже помойной яме, с прыгающими по ней воронами, сидят кирпичники. Это особый мир, – люди, мало похожие на окружающих нас. Это, пожалуй, даже и не люди, а именно – «кирпичники», появляющиеся на нашем дворе дважды в год: перед зимой, на грязи, когда им дают «расчет», и на Пасхе, когда их «записывают» на завод.

Кирпичники, как и погода на дворе, меняются. На Пасхе они, обыкновенно, озабоченно и молча толкуются и поминутно срывают рыжие картузы, когда конторщик дробью скатывается с галереи от дяди и, не отвечая на поклоны, несет с большой книгой в конторку. На Пасхе кирпичники терпеливо, с раннего утра до поздней ночи, кланяются всем на нашем дворе: и дворнику Гришке, который почему-то все время перебирает пятаки на ладони и метлой гоняет кирпичников с крыльца, и мыкающейся с дойником бабке Василисе, и кучеру Архипу, в плисовой безрукавке, грызущему семечки на крыльце, и даже нам. Да, это особый народ, эти кирпичники! Они

пришли «оттуда», из того тридесятого царства, которого мы не знаем, а называем только – «оттуда». Сегодня, в грязный, осенний день, они отправятся «туда».

На Пасхе кирпичники – угрюмы, часто поглядывают на стеклянную, сверкающую под солнцем галерею и ждут, ждут... Нас зовут обедать, а кирпичники остаются. Уже пять часов. Нас кличут пить чай, – кирпичники еще остаются. Мы идем ужинать, и Гришка выталкивает оставшихся, не попавших на завод.

Наем состоялся. Это на Пасхе.

Но теперь, теперь мы знаем, что будет: будет то, что было перед прошлой зимой. Как и тогда, кирпичники Гришке не кланяются и шумят, часто чешут за ухом, смотрят на, пальцы и перебирают их. Дверь конторки хлопает, и Александр Иванов выкликает:

– Эй, черти, не галди!.. Сидор Пахомов!.. Давай Сидора Пахомова!..

– Курносый, тебя!..

Мы открываем форточку, потому что на дворе происходит что-то очень интересное: уже раза два в калитку с улицы просовывалась голова будочника.

– Живоплот! – доносится знакомое слово. – Жулик-черт!..
Подавись моим целковым!.. Грабь!..

– Это они дядю, – говорит брат.

– Нет, это они Александра Иванова... Он, должно быть, деньги у них взял... – говорю я.

Высокий, рыжий кирпичник, в измазанных глиной сапогах и в заплатах полушубке, трясет кулаком в воздухе.

– Цыган!..

– Да, это дядю, – говорю и я.

Мы не понимаем многого; мы только чувствуем. В форточку сквозит, лица наши синеют от холода, но закрыть мы не в силах.

– Жулье! – гремит рыжий кирпичник на зеленую дверь конторки и кричит так, что дребезжат оконные рамы, и мы пугливо отодвигаемся.

– Народ только грабите!.. Наставили хором-то на нашей копейке!

Страшный человек поворачивается в нашу сторону, и его острые глаза из-под сбитого картуза скользят по окнам. Мы откидываемся в глубь комнаты, но голос уже ворвался через форточку:

– Подохнешь скоро, Чуркин!..

Вздрагивает зеленая дверь, рокошет блок, и на пороге вырастает Александр Иванов в грязной манишке и при цепочке.

– Кто тебя ограбил, а?.., кто? – тоненьким голоском взвизгивает он. – Как такие слова, а?.. Кто тебя ограбил?..

– Ты, пес хозяйский... ты!..

– Я?! Лахудра!!.

Это слово новое, и мы его сейчас же схватываем и начинаем твердить.

– Сам лахудра!.. Гривну-то слотал... Что?!

Александр Иванов замирает в негодовании, готов выпалить весь запас своих слов, – он умеет! – но кирпичник совсем на него насел и гремит:

– С тышши по гривне не додал!.. Почему рядил?..

– Почему?.., почему?.., ну?!.

– Вот те ну!.., почему!.., черт... Почему?..

– По морде тебя, подлеца... Почему?..

– Не додал по гривне, Александра Иваныч... – гудят кирпичники. – Да чего тут, Сидор... наплюй... Не задёрживай народ... чего там...

– На! на бумагу!.. На!.., одень бельмы-то... чти! сам крест ставил... На, черт лохматый... По три с гривной... так?..

– За-чем... Ты, это самое, погоди... не дрыгай бумагу-то... Эн, она... цыфря-то... соскоблил ее, видать...

– Рожу тебе соскоблить! Гришка!.., волокн его!.., кличь будочника!..

– Ладно. На суд пойду!..

– Судись! – взвизгивает Александр Иванов. – Судись... ступай!..

– Хозяйская сволочь!!.

– Что-о?.. – как гром, прокатывается по всему двору. – Александр Иванов!..

Шум оборвался. На галерее показывается сам дядя Захар, страшный дядя Захар. Он «рвет подковы» и может кулаком убить лошадь. Это человек в сажень ростом, черный, с большим черным хохлом и страшными, глубоко запавшими глазами. Он всегда громко кричит, харкает, дергает глазом и чвокает зубом. Мы его боимся. В нашем доме его называют крутым и железным. Смотрит он всегда из-под бровей и никогда не шутит. Когда я хожу поздравлять его с днем

ангела, он только кивнет головой, протянет большой, железный палец к двери и скажет:

– Ладно. К тетке ступай... яблоко тебе даст.

Александр Иванов стрелой подлетает к галерее, прижимает руку к боковому карману, где у него карандаш и желтый складной аршин, и объясняет все.

– Цы-ган! – кричит рыжий уже в воротах, но Гришка захлопнул калитку и задвинул засов.

Рыжий пытается прорваться, но уже поздно.

– Гришка! – гремит дядя Захар. – Дай ему, подлецу!..

У нас захватывает дух. Мы впираемся в стекла, высовываем головы из фортки. Мы видим, как Гришка бьет кирпичника по шее, а тот закрывает руками лицо и хрипит:

– Будя, будя...

– Клади ему, сукиному сыну, полную!.., сыпь!!.. – кричит дядя Захар.

– За што бьешь?.. – пробуют вступиться кирпичники.

– Молчать!.. Не давать расчета!..

– Да мы ничего... Зря его потому...

Они боятся, что их «выкинут за ворота». А сегодня надо ехать домой.

– Кто недоволен? – гремит с галереи. – Ты недоволен?..

– За-чем?.. я ничего... я рази што..?

Гришка уже выпихнул Сидора на улицу, где будочник живо отстранил его.

– Ты недоволен?..

– Да вить... Уж не обижай, Захар Егорыч... по гривне-то накинь...

– Рассчитывай чертей!.. А кому не так – в шею!..

– Воля ваша... обижай народ-то... – говорит кто-то в сторону. – Грабь...

Голова дяди скрывается. Тяжелые шаги отдаются по лестнице, и вот уже он на дворе, – громадный, черный и страшный. Глаза его еще глубже ушли под лоб.

– Что? – гремит он. – Граблю??.

Еще один момент, и будет... будет то, что было в прошлом году, когда одного кирпичника обмывали под колодцем. И толпа, и он –

меряют друг друга глазами.

– Уж рассчитали бы уж, Господи... Рассчитайте, ну как по-вашему уж будет... – слышатся вздохи.

Мы на стороне кирпичников и ругаем дядю. Новое словечко Александра Иванова произносится часто.

Дядя властно окидывает толпу и уходит. Александр Иванов продолжает выкликать, кирпичники снова гудят.

– Леня! Леня идет.

В воротах показывается стройная фигура реалиста Лени, с сумкой за плечами. Он старше нас лет на семь и уже в четвертом классе. Он останавливается у конторки, смотрит на кирпичников и слушает, как те бранят полусшепотом «цыгана». Он, конечно, все понимает: его лицо бледнеет, и дрожит верхняя губа, как всегда, когда он сердится.

На кого же он сердится? конечно, на этих кирпичников?

Он проходит черным крыльцом, еще раз останавливается и слушает. Зачем он подслушивает? Наконец, он подымается на галерею при звонком лае «мушек» и «жуликов», беленьких собачек, которых я так боюсь.

– Ишь, щенок-то... такой же черт будет... – слышим мы разговор под окном.

– Его рази?..

– Его... Такой же цыган.

В окне, напротив, отворяется форточка: это Леня высунул голову.

– Александр Иванов!.. Александр Иванов!..

– Тебя, Лександра Иванов, – передают кирпичники. Конторщик уже под окном.

– Я сказал папаше... Папаша велел прибавить по гривеннику...

Форточка захлопнулась. Я хочу крикнуть в форточку, окликнуть Ленью. Я рад, сам не знаю – чему, прыгаю на одной ноге, кувыркаюсь по ковру и кричу:

– Лахудра!.., лахудра!.., лахудра!.. Мы все поем это слово.

– Ты думаешь, – *это* кто сделал? – спрашивает брат.

– Ну, конечно, Леня...

– Верно. Помнишь, плакал он?..

– Это когда Цыган расквасил кирпичника?..

– А кто по-твоему лучше: Леня или дядя Захар?

– Конечно, Леня.

– Верно.

Форточка бьется под ветром, струя холодного воздуха бежит в комнате, и в ней чувствуется неуловимый запах зимы. Она идет... она скоро придет... Я увижу белый двор, голову Бушуя, высматривающую из конуры на шайку, и ворон, обирающих нашу шершавую растрепу.

Я увижу ледяные елочки на окнах и дрожащее в них холодное пламя поднимающегося из-за конюшни зимнего солнца.

II

Четыре часа дня. Майское солнце заливает двор.

Каретный сарай раскрыт, и из его темной глубины, где пахнет дегтем и кожей, несутся глухие удары по настилу. Мы выбегаем в верхние сени и наблюдаем из окна. Спуститься вниз жутко: запрягают на пробу новую, еще дикую лошадь.

Старичок барышник-цыган с другим волосатым цыганом привели ее сегодня к постоянному покупателю и любителю зверских лошадей – «чертей» и «огневых», – дяде Захару. Он любит покупать и менять этих зверей с кровяными глазами. Он любит их объезжать, править и покорять. За это удалство мы многое прощаем ему и забываем кирпичников. Мы проникаемся уважением к его отваге. И не мы одни: весь наш двор, даже ближайшие дворы, лавочники и старичок-будочник, на этот случай забирающийся в сарай.

Перед сараем толпа: бараночники с засученными рукавами, балагур лавочник Трифоныч с красным носом и в загнутом на угол фартуке, и мрачный кузнец с завернутыми в тряпку подпилком и молоточком, и зашедший с улицы мороженщик. Даже старичок из богадельни, покупающий у бабки Василисы молоко, забрался для безопасности на крылечко и заглядывает в сарай. Все ждут: в прошлом году лошадь вынесла дядю Захара из ворот, перемахнула через мостовую на тротуар и врезалась оплоблями в окно. Может быть, и сегодня что-нибудь будет.

Лошадь бьет ногами, и старичок на крылечке тревожно поглядывает, но не уходит.

Мы видим, как по сараю мечется кучер Архип, и дворник Гришка как-то боком вертится под дергающейся черной головой. Они шипят,

протягивают ладони и закладывают таинственно, ни на секунду не отводя беспокойных глаз от танцующих ног. Мы знаем, что Гришка страшный трус, и для него это мука. После такой запряжки он, обыкновенно, идет в лавочку к Трифонычу, в дальнюю комнатку, и выходит оттуда покашливая и с покрасневшим лицом, а Трифоныч подвигает к нему на прилавке маленькие мятные прянички. Мы только смутно догадываемся, что это делается в большой тайне.

– Готово? – зычно несется с галереи.

Толпа оглядывается. Из сарая выглядывает встревоженное лицо Гришки.

– Шлею оборвал-с!.. сей минут-с... – Тоже не с бабой возиться... – бормочет он под нос.

– С ба-абой... – слышится из толпы. – Другая и без копыта ляганет...

– Тпрру-у!.. тпррр, черт!..

Толпа откидывается. Старичок-будочник бежит из сарая и шашкой осаживает зевак.

– Пускай... отходи... отходи...

Из сарая выпрыгивает, подкидывая легкие дрожки, «зверь», задирая голову так, что дуга касается спины, и, кажется, еще один взмах – и дрожки взлетят на воздух.

– Ух ты... лёв!.. И растрепет он ево!..

Барышники висят на оглоблях, а Архип прыгает под головой и шипит.

Мы видим, как дрожь пробегает по могучему, пламенному корпусу «черта», клочья пены летят на Архипа, а Гришка сидит на дрожках, придерживая вожжи.

– Убьет... ты! – кричит он на кого-то.

– Ворота! ворот! отворяй!..

В окне показывается дядя Захар и смотрит. Его глаз дергается. Он любит своего «чертом», которого он должен покорить и обломать.

– Сам... – бежит шепот.

Дядя Захар на дворе. Он в высоких сапогах и перчатках. На его лице жесткая усмешка, точно он хочет кого-то ударить.

– Прочь! – кричит он на зрителей, но никто не двигается: все знают, что окрика больше не будет и что «сам» любит, чтобы на него смотрели.

Он решительно идет к морде «черта», берет за уздцы и дергает с силой к земле. Миготм отскакивают барышники и Архип. Теперь дядя Захар и «черт» остаются один на один. Дядя оправляет холку и дует зачем-то в воспаленные ноздри.

Толпа в восторге.

– Захар Егорыч!.. Архипа-то бы взял... – просит тетя Лиза с галереи.

Она всегда тревожится, но она боится дядю, и потому в ее голосе слышится и покорность, и страх.

– Разобьет еще...

– Не ва-ше де-ло!.. ступайте к се-бе!.. – отчеканивает дядя злым голосом и берет вожжи.

«Черта» снова держат барышники, не позволяя закинуться в сторону, направляя голову на ворота.

Дядя Захар упирается ногами в устои дрожек, засматривает под передок, наворачивает вожжи, убирает голову в плечи. Старичок с крынкой, оглядываясь, бежит к воротам.

– Пу-ска-ай! – сдавленным голосом кричит дядя. Миг, грохот дрожек, – и толпа уже на мостовой.

– Пошла!.. И-эх, садит... и-и...

Мы опаздываем. «Черт» и дядя Захар уже пропали в пыли.

– Намедни кучера убил, – говорит цыган, сверкая зубами. – Ежели, конечно, к рукам... Вот по *ем* будет.

– К ей только прямо подойти, она с однова раза, при-мает... – хвастает Гришка. – Да вот запрошлый год я Стальную объезжал... Уж как она меня холила!

– Ври, – объезжал!.., у, пес ласковый... – говорит Архип. – Пойдем-ка к Трифонуычу...

Толпа расходится. Мы только теперь замечаем Леню. Он высунулся из своего кабинетика, оперся локтями на железный карниз и задумчиво смотрит. Он уже не пускает змеи, не играет в бабки, а читает в своем кабинетике или занимается склянками и баночками. Он «химик», как называет его иногда дядя Захар, и не любит болтаться. Мы не прощаем ему его важности, стараемся всегда мешать, а мой приятель Степка, внук Трифонуыча, научил меня петь под окном;

Ленька-линючий,
Кошку замучил!..

Сейчас Леня смотрит на улицу. Его лицо, очень похожее на лицо дяди, – серьезно, даже строго. Я знаю, что он пролежит на подоконнике до возвращения дяди, потом сбежит с галереи и будет гладить укрощенного «черта».

Часа через два Гришка открывает ворота, и снова собирается толпа. Въезжает дядя. Лошадь в мыле, бока избиты медными пряжками вожжей и тяжело ходят, на порванных губах пена, и гордая голова опущена. Дядя без картуза, немного прихрамывает, и весь правый бок его затерт грязью. Леня около отца, его всегда бледноватое лицо розовеет, глаза блестят.

– У, дьявол! – говорит дядя лошади, тяжело переводя дух. – Эй, Сендюк! – кричит он цыгану. – Ступай к Васильеву!.. Буду сейчас...

– Это значит – в трактир, где будет торг.

– С лошадкой-с, Захар Егорыч, – поздравляет плут Гришка, стряхивая грязь с дядиной куртки. – Маненько покачнула-с?

– Пшел! Проводить хорошенько и – в денник... рядом с Поддецом!..

Это любимая лошадь дяди Захара. У него есть еще Стервец. Этого «черта» он назовет тоже как-нибудь чудно, и мы предполагаем, что новая кличка будет Мерзавец, или Шут, или что-нибудь в этом роде.

– Ну, как, Ленюк? – говорит дядя Захар, забирая Ленину щеку железными пальцами. – Подрастешь – куплю тебе такого дьявола, что...

Дядя треплет Лению по посиневшей щеке и говорит ласково, что нас удивляет:

– В меня будешь, шельмец... Так? Ишь плечи...

И, опираясь на плечо сгибающегося Лени, идет, прихрамывая, на галерею.

– Через три часа воды дать!.. Эй, ты, черт!.. Архипка!.. Смотри у меня!.. Бока ему протри!..

– В меня, что ль, а? – говорит дядя Захар, снова забирая алую щеку.

Мы смотрим вслед, и, право, мне хочется, чтобы Леня был в дядю, только не *весь*.

III

Зима надоела. Скорей бы показывалась черная проталина в нашем саду, под вишней, где мы уже разгребли снег. Да, она скоро покажется. Уже начинает проваливаться наша гора; уже несколько дней печально звонят в церквах. Вчера приказано принести из амбара «паука», – крупную щетку на длинной палке, – обметать потолки. А это надежный признак: скоро Пасха.

Ура! В сухарницу высыпали из пакета «жаворонков»!.. Весна идет... весна! Я часто высовываю голову в форточку и слушаю, – не идет ли весна, не гремят ли колеса... Да, где-то гремят...

А еще как недавно мы кричали: ура! – когда закружились первые белые мухи, и Гришка выкинул из сарая дровянки.

Нас держат взаперти: в *том* доме, как мы называем дядин дом, Леня заболел скарлатиной. Прерваны все сношения, так как можно заразиться и умереть.

Смерть при этих словах встает передо мной, как нечто живое, хотя и неуловимое. Она ходит где-то по двору, стараясь пробраться в комнаты. У дяди Захара она, должно быть, уже на стеклянной галерее, но ее стараются не пустить всеми силами. По городу она «косит», как говорят у нас. Она скосила нашего двоюродного брата, который живет где-то далеко, так далеко на краю города, что мы, обыкновенно, замерзаем дорогой, когда ездим туда на Рождество.

Мы боимся ночи, и я избегаю проходить темной передней, где за дверью стоит большая кочерга. Быть может, смерть сидит еще «на ключе», в темной комнатке, где в прошлом году померла старушка Васса, которая и зазвала эту смерть: она так часто просила, чтобы смерть прибрала ее. Ну, теперь, понятно, смерть завелась в нашем дворе и будет «косить».

Я мельком, чтобы смерть не могла заметить меня, заглядываю под кровать, за буфет и за занавески, но там только темно и пусто. Это, быть может, обманчивая пустота. Конечно, *она* где-нибудь здесь, здесь... Это ясно. К чему же такая суетня и встревоженные лица?..

В нашем доме приняты меры: *ее* выкуривают, как это всегда делала прабабушка Устинья Семеновна, и как делал наш кучер, когда Устинья Семеновна померла. Эти меры самые верные и убийственные для смерти.

Из кухни в медном тазу приносят раскаленные кирпичи, кладут какие-то прутики и поливают уксусом. Шипящий столб пахучего, кислого пара бьет в потолок, ползет по углам, трудно дышать, а кучер носит таз, откинув голову, и «выкуривает». Я заглядываю в углы, нет ли где захваченной и скрюченной смерти, вожу кучера, – и во мне дрожит все, а в глазах и носу щекочет не то от чада, не то от приятного удальства.

Смерть, конечно, изгнана. Как легко! и какой хороший кучер Архип!

В том доме все это уже проделано, но, должно быть, там что-то не так вышло: Лене хуже. Подолгу простаиваем мы у окон и смотрим. Вот подъехала шестерней синяя карета, распахивается парадное крыльцо, – и дядя Захар, страшный дядя Захар, как мальчик, без картуза, бежит на улицу, падает на колени и крестится большими крестами. Его лицо тревожно, он стал, как будто, ниже.

С кучером Архипом и юрким Александром Ивановым, который быстро выхватывает из кареты фонарь и сует моему приятелю Ваське, дядя Захар вынимает громадную кованую икону. Это привезли Иверскую.

Вчера тоже привозили икону с большим темным лицом, потом какой-то сундучок. Что же в сундучке? В сундучке, оказывается, мощи, и в них особенная сила, изгоняющая смерть. Кроме кирпичей и уксуса, есть еще сильнейшее средство – мощи в сундучке. Конечно, смерть теперь будет изгнана.

Но что с дядей! Он несет икону с лестницы. Его голова поднята, лицо красное, перекосившееся, в руке зажат платок... и дядя плачет... Дядя Захар плачет! Что случилось?.. Плакать могли мы, плакала Васса, когда в темную комнатку, перед смертью, приходил батюшка с ящичком, плакала нянька Домна, когда ей подарили линючего ситечка, но дядя Захар... Должно быть, Леня умирает...

Каждый день на нашем дворе новые кареты и новые иконы. Говорят, дядя Захар уже не ездит на завод, а ходит по залу, зажигает лампадки, кричит на всех и молится. Александр Иванов гоняет по

монастырям, служит какие-то заздравные, возвращается темным-темно и «здорово заливаает», как говорил Гришка на кухне.

Домна сообщила нам, что Ленину рубашку возили в какой-то кремль и клали на чей-то гробик.

– Теперь уж один конец: либо помрет, либо отходится... А ты штой это озорничаеть-то!., помолился бы вот за братца-то... Стань-ка вот, помолись Миколу-то!.. Вон он какой... стро-о-гой Микола-то... Кому я говорю-то, а? У-у, бесстыжий!..

Я смотрю на высокий кивот, лоснящийся и пахучий. Никола в золотой шапке. Его коричневое лицо будто вздрагивает при мигающем свете лампы, точно он моргает, и водит бровями, и шурится. Я боюсь этого строгого лица и не могу молиться.

За стеклами все они точно живые, и я знаю, что они никогда не спят, а смотрят и всегда все видят и знают. Их запирают на ключик. Это мне нравится. Спать спокойней, – и я каждый вечер, украдкой и затаив дух, становлюсь на стул и пробую ноготком, заперта ли рама. Все они у меня на примете и все имеют особенный смысл.

Вверху изображение Троицы, в виде серебряных странников за столом, под деревом. Эта икона напоминает мне обед в саду, в нашей беседке, и мне не страшно. Никола пониже. Его я боюсь: он напоминает мне отчасти дядю Захара, отчасти нашего старого дьякона, всегда громко сморкающегося и гудящего. Совсем внизу – одинокий коричневый человек, в шкуре через плечо, с тонким, высоким крестом. Эта икона внушает мне неопределенно-смутный страх.

Я молюсь, но не о Лене. Я повторяю вереницу сливающихся молитв, загадочно-непонятных, без всякого усилия прыгающих с языка, а сам думаю о *них*, стоящих за стеклами, стараюсь решить, как это *они* могут видеть и знать все.

Чудодейственная сила из кремля победила смерть: Леня выздоравливает. Я не столько рад тому, что Леня выздоравливает, как тому, что есть средство против этой «смерти». Она должна окончательно исчезнуть с нашего двора, и можно безопасно ходить по комнатам.

Утром мы поражены необычным видом двора.

Громадная толпа нищих гудит у крыльца, причитает, спорит и толкается, и Александр Иванов раздает из полотняного мешочка

грошики в знак выздоровления Лени, как нам сказали. Какие ужасные фигуры! Откуда их столько? Где они живут, и почему на них такие лохмотья? Дядя Захар выглядывает с галереи, вызывает какую-нибудь дряхлую старуху или калеку-старичка и бросает им деньги. Его лицо по-прежнему сурово; так же гордо торчит высокий хохол и моргает глаз.

– Александр Иванов! Гони этого дармоеда в шею! Третий раз, черт, лезет... Рожа, как бревно!.., в шею гони!..

Да, дядя совсем, как всегда. Чего же теперь бояться? Смерть изгнана, и дядя так спокоен, что даже кричит:

– Заложить Стервеца в дрожжи!.. Нет... в шарабан!.. Да подковы осмотреть!.. Как, заковал?!. Позвать сюда подлеца!.. Кузнечишка проклятый!..

Какой странный дядя Захар! Ему все, как с гуся вода. Еще недавно он плакал, носил иконы, гонял Александра Иванова по монастырям, не пил, не ел, как рассказывали у нас, рвал и метал все в доме и чуть ли не становился на колени перед докторами, а теперь...

Нет! Смерть не исчезла, а перебралась в подвальный этаж, к сапожнику Плешкину, и скосила Ваську, с которым я так любил драться и есть зеленые яблоки в бочке из-под сахара на заднем дворе. Они – люди бедные и не могли привозить иконы и сундучки с мощами, не служили «задравные» и не призывали батюшек. Но почему же они не попробовали кирпичей? Я плакал по Ваське и мучился, что не отдал ему еще с лета забранных у него трех пар бабок и свинчатки, которая всегда так ловко была. Теперь я уже не могу расквитаться, и мне страшно; что Васька будет являться ко мне по ночам и требовать долг, как рассказывала нам нянька.

Ваську вынесли в желтом дощатом гробике рваный и грязный Плешкин, знаменитый кулачный боец на стенках, и его единственный мастер Мишка Драп, очень веселый парень и охальник, как называет его наша красивая горничная Паша.

У Плешкина голова опущена, видна большая лысина, и одна штанина выше другой. Он весь какой-то худой, как наша старая, вылезлая щетка. Да и Мишка Драп идет хмурый. Гришка снимает картуз и крестится. Ага! крестится?!. Что значит – помер-то человек!.. А то всегда таскал Ваську за волосы и бил метелкой. Пусть теперь мучается: Васька непременно будет приходить к нему по ночам.

Я плачу на подоконнике. Мне горько, досадно, что умер мой приятель, с которым всегда почему-то запрещали играть. Зачем он умер? кому помешал он? Всегда его били: бил отец, стегала шпандырем мать, давал подзатыльники Драп, и Гришка вышвыривал его из нашего сада. Еще так недавно радостно нес он фонарь в тот дом... Я смотрю на иконы, на Николу и думаю... Ведь *он* все может... Но почему же, почему?.. Я не понимаю ничего, думаю напряженно, всматриваюсь в образа, и мне... мне начинает казаться, что *они* хранят какую-то тайну, большую, непонятную. *Они*, молчат, смотрят и знают... *Они* знают все, все... И молчат. А ночью что *они* делают? А, может быть, *они* что-нибудь делают, когда я сплю, когда я не вижу их. Ведь нянька говорила, что ангел-хранитель ходит, а мой ангел – Никола... Не он ли колыхнется тенью в темных углах, шевелит занавеской и тихо скрипит половицей?..

Я закрываюсь с головой и лежу. Тихо... тихо... Нянька напилась квасу из красного кувшина, куда часто забираются черные тараканы, и уже храпит на лежанке.

Ночь идет. Теперь в дальних комнатах прохаживаются все, кто жил когда-то в нашем доме. Теперь даже часы не ходят.

Ноготком, осторожно приподымаю я край одеяла и выглядываю одним глазом. Золотой, дробящийся луч лампы сторожит меня, тянет к себе. Нет, *они* все так же за стеклами, так же моргают и смотрят. Один я и они... Жуть охватывает меня. Я вижу, как в темном углу белое что-то шевелится, подается вперед и тонет, точно высматривает и прячется. Васька!.. Он, это он... Я кричу так, что вздрагивает луч лампы, и старая Домна почти скатывается с лежанки.

– Васька там!.. Васька...

– У, полуношник... ни свет, ни заря... Вышвырну вот за дверь... День-деньской покою нет... Чего разорался?.. У, боль-шой бесстыдник!.. Пожалюсь мамаше-то...

Я плачу, сидя на подушке, слезы капают на грудь и ползут по животу, щекочут.

– Ты... ты хра-пи-ишь... а там Васька...

– Тьфу!., пустая болтушка... Ну, какой тебе Васька тут?., юбку повесила... У-у... уйду вот, возьму, на куфню... Васька!.. Где он, Васька?..

И в ее голосе я чувствую сомнение и тревогу. Она протирает глаза, она глядит в темный, подозрительный угол.

– И нет ничего... – Вздох. – Чего ему здесь... В раю он теперь... Спи...

...В раю!.. Это что-то чудесное. Там так хорошо, там четыре реки, широкие дорожки, всегда солнце и белые и розовые птицы... и золотые лужайки.

И в этом свете и золоте – он, босой, со сбитыми волосами и голыми ногами, с присохшими полосками грязи в пальцах.

Новость. На наш двор привели красивого пони со стриженной, подрагивающей гривкой. Дядя Захар купил его для Лени. Это за то, что он выздоровел. Если бы и мне подарили такого! Я хоть три раза готов заболеть скарлатиной и выздороветь. А если бы Васька выздоровел, что бы ему подарил Плешкин? Должно быть, ничего, так как у Плешкина нет ни гроша, и еще недавно, когда мы катались с Васькой с горы, он сообщил, что хозяин Цыган, то есть дядя Захар, грозился вышвырнуть их на мостовую.

IV

Какой странный Леня! Должно быть, болезнь так подействовала на него: он совсем не выходит гулять. Но ведь он всегда был какой-то дикий и странный. Он весь в дядю Захара, говорят у нас. Но это неправда, – я это хорошо знаю. Дядя Захар никогда ничего не читает, а Леня каждую субботу посылает Гришку в какую-то «библиотеку» и по ночам читает. Это очень злит мать дяди Захара, сухую и скупую старуху, вечно возящуюся в своем коровнике: много выходит свечей и фотогену. Дядя тоже недоволен: в его время «никаких этих дурацких книг не было»; с них только с ума сойти можно и «нигилистом» сделаться.

Это слово часто повторяют у нас, и даже дворник Гришка обругал раз кучера, и кучер ткнул его за это кулаком в брюхо. Я спрашивал, что значит «нигилист», но все говорят по-разному. Домна говорит, что это значит – «нехристь», который в пост скоромное лопает и в церкву не ходит. Гришка сказал, что это «жулики и, вообще, так... которые, вообще... вроде как бы черти»...

Я, конечно, ничего не понял, и мы решили, что это, должно быть, страшные преступники, которых еще недавно возили на черной телеге куда-то на «конную».

И вот дядя Захар боится, как бы и Леня не превратился в нигилиста. Но мы... мы все хотим, чтобы он превратился: тогда-то мы все узнаем.

Конечно, он превратится. Он все время, как приедет из училища, возится у себя в кабинетике и занимается какой-то «химией». Дяде это, видимо, приятно: это мешает читать книги и необходимо для ученья.

По вечерам из окон видим мы, как Леня что-то разливает в пузырьки с трубочками. Я очень интересуюсь «химией», но как ни придешь в тот дом, прорвавшись под охраной Гришки через стаю «мушек», – никак не удастся попасть в комнатку Лени: она заперта, и Леня не желает водить туда «всяких младенцев».

Но не беда, что мы не видим «химию»: мы в том доме видим многое другое.

Тетя Лиза...

Она всегда такая добрая и грустная. У ней белое, как крем, лицо, большие голубые глаза и маленькие розовые губки. Она всегда в белом отложном воротничке и с большой красной брошкой под шеей. Мне всегда кажется, что она скучает или боится чего-то: она всегда так жалобно сморит перед собой и вздыхает, перекусывая нитку. На ее столике всегда груда белья, шерстяной камушек и на нем стайка булавок с медным, покачивающимся напертком на самой высокой.

Я люблю тетю Лизу: она позволяет мне лазить по старым креслам, ковырять замазку на окнах и перетыкать булавки. Она позволяет мне открывать большой стеклянный шкаф и любоваться на редкости.

Там, на средней полочке, в уголку, стоит деревянный старичок, в шляпе ведерком, и смотрит слепыми глазами. Этот старичок – коричневый, и ему больше ста лет. Это редкость. Его вырезал какой-то Антип Захарыч, мужичок и наш предок, когда еще жил в деревне. Этого Захарыча, искусного резчика, продал его хозяин, какой-то князь, за пятьсот рублей куда-то, а он убежал на Афон и сделался монахом.

Прабабушка ездила на Афон и вывезла этого старичка «из Туречины», и теперь этого старичка берегут, как золото: по субботам его обтирают тряпочкой и ставят на прежнее место. Мне кажется, что это не простой старичок, а сам Антип Захарыч, мой родственник, Хмуров. И я всегда, когда нет никого в комнате, трогаю его пальцем и здороваюсь с ним, и он... он улыбается ласково, и его слепые глаза грустно плядут на меня из-под шляпы.

Кроме старичка, в шкапу стоит чашка, из которой пила кипяток с изюмом наша прабабушка. Потом я очень люблю пузатый разноцветный графин с белыми пятнышками, что-то еще, фарфоровую мышку и веселого косца с расстегнутым воротом и грабельками на плечах.

А часы, большие часы в столовой, с румяными яблоками и цветами на передней доске! Их маятник, как большая нога, идет, идет... идет всегда, в будущее, к завтрашнему дню, – и когда ему делается скучно, отскакивает крышечка, выскакивает на проволочке кукушечка и хрипит.

А стулья с высокими резными спинками, с решеткой, о которую так приятно тереться затылком!

Тетя Лиза рассаживает нас в столовой, из которой я вижу, как на галерее, на солнышке, развалились «мушки» и «жулики» – мои враги, ставит перед нами малюсенькие стаканчики с гранеными бочками и колет щипчиками шоколад. Дядя пьет чай вприкуску и чвокает зубом так, что я вздрагиваю, заглядываю на него вбок и вижу подрагивающий черный хохол, большие, строгие глаза, нахмуренные брови и громадные пальцы, которыми он ломает сахар на мелкие кусочки.

Леня в сторонке, как всегда, зажав уши, читает книгу. – Брось! – строго говорит ему дядя Захар. И я опрокидываю стаканчик на скатерть.

– Сажают слюнтяев... – ворчит дядя и чвокает зубом. – Со свиньями им... Брось, тебе говорят, книжку! Поедем лучше на завод... Эй! заложить Стервеца!

Леня молча уходит с книгой, и я слышу, как звонко щелкает ключ. – А, чо... Ленька!.. Отомкнись!..

Ответа нет. Мы дрожим от громкого окрика.

– Ну, ну... ступайте... На-ка вот... возьми апельсинчика-то и ступай, – говорит со вздохом тетя Лиза.

Но там, на галерее, «мушки»; но там, у двери, кричит дядя Захар.

– Дверь сорву!.. Тебе говорят!! Отопрись!..

Дверь трещит, «мушки» поднимают гам. Бабка Василиса показывает из моленной сухую, похожую на воронью, голову.

– Вырастил чадушку... нечего сказать! С эстих-то вот пор...

– Я хочу читать... не поеду на завод! – резко отвечает Леня. – Сказал раз – не поеду!..

– Майся вот теперь... Лба не перекрестит... Вот тебе за неуважение твое к матери... во-от!..

Дядя сжимает кулаки. Сейчас разлетится дверь.

– Не по-еду!..

– Бол-ван!! – прокатывается по всему дому. – Выйди только!.. А вам чего?., чего вам? Богу молитесь да деньги копите!., вам чего? – подступает дядя к матери. – Вырастил – мое дело. Помирать вам пора, а вы треплетесь...

– Э-эх, как тебя окаяшка-то осетил... тьфу!.. Ты бы вот за собой-то побольше глядел да с разными Матрешками при законной жене не крутился... Тьфу!..

– Сами – тьфу!.. Днем деньги копите, ночью черта молитвой тешите. Не дам сена!., и коровник снесу... Торговка!

Бабка Василиса держит двух коров, сама ходит за ними и продает молоко. Продает даже семье, в которой живет, и всю недельную выручку носит по субботам в банкирскую контору, к родственнику, откуда обязательно отправляется на молебен к Иверской. У бабки, как все говорят, денег куры не клюют, дядя ждет наследства, но бабка грозит, что переживет всех, и никто от нее «ни эстолько вот» не получит. На дворе ее терпеть не могут и говорят, что у нее есть какой-то «глаз». Она может иссушить человека, и я боюсь попадаться ей на глаза.

Я начинаю чувствовать уважение к Лене: не бояться дяди Захара! Но странно, что и дядя Захар только кричит, никогда не наказывает Леню и часто уступает. Ему, должно быть, нравится, что Леня такой, и я раз слышал, как он сказал:

– Как железо... весь в меня!.. Расти, Ленюк!.. Такой заводище завернем... всю глину у мужиков скупим, – никто не подступится.

Знай Хмуровых!.. Загремим!.. Так, что ли, а?..

Летом мы не ездим на дачу. У нас на заднем дворе небольшой садик, где растут четыре березы, бузина и несколько вишневых деревьев, где в углу, у забора, стоит старая беседка с цветными стеклами. В беседку забирается Леня и читает в холодочке, а мы виснем на березах и швыряем пылью в прохожих за забором. У забора растут грибы – шампиньоны. Я их открыл и помалкиваю, чтобы сделать сюрприз.

Кроме того, я сделал еще открытие. В беседку проникает через забор с улицы тоже реалист, сын хромого портного, худой, рыжеватый мальчик с длинным носом и в смятой кепке. Это Ленин товарищ. Он почему-то боится зайти в дом, и Леня водится с ним украдкой. Эта таинственность очень мне нравится. Я готов помогать им в их делах, должно быть, очень важных и опасных. Но они только читают книги и говорят что-то непонятное. Когда я приближаюсь к беседке, меня гонят, и я обещаю «все» рассказать, а они оба кричат:

– Дурак!

И получают ответ:

– А вы нигилисты!

Они смеются и спрашивают:

– А что такое нигилисты, ну?

– Жулики... Мне Гришка сказал. Жу-ли-ки!..

– Вот осел-то! Поди-ка сюда...

Но я уже висну на березе и пою:

– Жулики... ни-ги-ли-сты... ску-ден-ты!..

Это тоже ругательное слово на нашем дворе. Еще сегодня Гришка крикнул на оборванца:

– Скудент, рваный черт!.. – и замахнулся метлой.

Я теперь знаю много замечательных слов: лахудра, прохвост, нигилист, скудент и другие. Но есть еще слова, которые мне совестно произносить, хотя я и не понимаю их. Я только догадываюсь.

Каждый день я делаю новые открытия. Играя в палочку-выручалочку, я забрался на сеновал и застал там нашу горничную Пашу, от которой всегда пахнет черемухой, и Гришку. Они играли сеном. И когда я спросил, что они тут делают, Паша, вся красная, стала быстро-быстро застегивать кофточку и оправлять волосы, а

потом вдруг стала просить меня, чтобы я никому, никому не говорил; Гришка же стоял в сене, потягивался и улыбался.

Я подозреваю, что они что-нибудь утащили и прячут в сене. Теперь я буду хорошенько следить за ними, как делает Леня, который всегда поглядывает на свою горничную Грушу и даже раз вечером, в саду, когда та пришла звать его ужинать, хотел вывернуть у ней карман в юбке, а она не давалась и все просила:

– Ах, барин... да оставьте... увидят...

Это уж верно: эти горничные всегда что-нибудь прячут в своих карманах.

Теперь я узнал, почему реалист, сын хромого портного, перелезает через забор. Это потому, что он – мещанинишка.

Недавно, когда я смотрел, как запрягали Стервеца, дядя Захар пил чай на галерее и кричал:

– А вот тб!.. Ежли еще увижу – и выгоню!..

– Он мой товарищ.

– Всякий мещанинишка тебе товарищ!.. Ты отца не срами... Я заводчик, купец... а ты мой сын!.. А он – мещанинишка!.. Его отца я подлецом ругаю и с лестницы могу спустить...

– Это самодурство!..

– Еще скажи!! щенок!.. От меня он питается!.. Его отец моему Архипке портки шьет, а тоже... в бары норовит... в училище отдал!.. всякая шваль!..

– Он у нас из первых... Ему стипендию дадут...

– У вас!.. А у меня он дальше кухни ходить не может...

Молчи!!.. – крикнул дядя. – Огрыза!

– Мы сами из мужиков...

– Молчать!.. Да, из мужиков... А он мещанинишка!..

Мещанинишка... Это, должно быть, что-нибудь нехорошее. Так как это нехорошее, то я не решился спросить дома, а отправился к Гришке.

Гришка живет в комнатке у ворот, где у него под досками валяются пустые бутылки, и куда иногда забегает спать в холодочке какая-то горничная из трактира, в красных туфельках и румяная.

«...и го-ло-ва... у е-го... и... ус... от-ско... сускочила и...»

– Гришка...

– Погоди... дай до большака дойти... «и разе-ва»... разинув... так... «ро-т... по-ка-ти»... по-катила... «с лес-тни-цы»... Ловко! Ну, что тебе?..

– Видишь что... Ты это про солдата читаешь? как спас царя от разбойников?..

– Ну, про солдата... А тебе чего?..

– Вот что... Что это такое – мещанинишка?

– Мещанинишка? – важно спрашивает Гришка, развалясь на рогоже и свертывая «фунтик» для махорки. – А еф-то значит, еф-то значит... ефы-то значит мещанин!.. А тебе на что?

– Так. Я знаю... это который лазит через заборы?

– Хо-хо-хо... на манер жулика!..

– Да?., это... вроде жулика?..

– Ха-ха-ха! – покатывается Гришка. – Мещанин... это который кошке заду прищемил.

– Ты дурак. Я скажу, что ты с Пашей в сено прятали вещи.

– Пффсс... – прыскает Гришка. – Ве-щи... Ха-ха-ха...

Он так гогочет, что я начинаю обижаться.

– Так что же это, а?..

– А то. Вот ты понимай... Стоит двор, во дворе забор, на заборе книжка, а в книжке сидит Гришка... так?..

– Ну?..

– Ну... и сидит... и сам себе, стальть, говорит: «Гришка, Гришка!., чья за ата за самая за книжка»?

– Ну?..

– Ну... Книжка эта матери Марей... А ты, Миколя, иди-ка отседа поскорее... а то блоху посажу!..

Он опускает руку за пазуху, и я стрелой вылетаю из каморки.

Так я и не мог ничего узнать, кроме «мещанина».

V

Ходит страх...

Да, сегодня во всем нашем доме ходит какой-то неопределенный, жуткий страх. За чаем не говорили ни слова, часто подходили к окнам и смотрели на улицу. Вызывали кучера и спрашивали:

– Ну, как?.. ничего?

– Да, вить, как сказать... опасаются. Дворников в часть скликали... беспременно чтоб на часах...

– Ворота запереть!..

Все вздыхают, не выходят из дому. Страх захватывает и нас. Пробуем начать бой подушками, но выходит скучно, и мы рассаживаемся на подоконники и глядим на улицу. Там тише, чем обыкновенно. Гришка, с бляхой на картузе, стоит на мостовой и сторожит.

Что же это все значит? Наша Домна часто вытаскивает из своего глубокого кармана тряпочку и трет глаза Мы спрашиваем ее.

– Царь-батюшка преставился... Царство небесное...

Это известие страшно поражает нас. Царь помер! Тот царь, с хохлом на голове, портрет которого висит в столовой. Это тот царь, который все может; может казнить и делать все, что хочет, как говорила нам раньше Домна. Его поставил Бог. Я не могу понять, как это он мог помереть. Ведь это не простой человек: его поставил Бог, – значит, это что-то особое, знакомое с Богом, как святые и угодники. Он ходит в золоте и ест на золоте, и ест не то, что едим мы. Мы даже затрудняемся придумать, что он может есть: все так обыкновенно. Это даже не человек, а только имеет вид человека. Это что-то особенное.

А Домна мыкается, плачет и причитает. В меня проникает ужас. Что теперь будет без царя? Теперь все погибло, и нам всем грозит беда, гибель. Оттого все шепчутся, сторожат на улицах и ждут. А вдруг придут «враги» и всех нас... перережут? Конечно, это о *них* спрашивали за чаем.

«Царствуй на страх врагам»!..

Мы еще недавно распевали эту песенку. Ну, теперь какой же врагам страх? Царь умер.

– А могут *они*... прийти? – спрашиваю я Домну.

Она не отвечает, гремит щеткой под стульями и шмыгает носом.

– Домнушка, скажи... могут, а?.. Нет, ты скажи... могут прийти, а?..

Я хватаюсь за надоедную щетку.

– Да отвяжешься ты от меня, смола!.. Ну, чего тебе? ну, чего?..

– Придут *они*?

– Кто?

– А враги..?

Она смотрит на меня сердито. Ей кажется, что я дразню ее.

– Вот, головешкой-то ткну вот... Пропasti на вас нету!., скачи, скачи... хрустнет нога-то!..

Я все-таки сомневаюсь. Сомневаюсь потому, что на улице не видно солдат. Если бы шли на нас враги, непременно прошли бы солдаты с трубами, как ходили недавно, когда мы воевали с турками. Но непонятный страх сидит прочно. Украдкой пробираюсь я черным ходом во двор.

Я слышу, как по городу плавает звон, не прерываясь, точно плачут колокола. Кучер Архип возится в сарае. Я вхожу. Архип моет пролетку и трет тряпкой. Я, конечно, забираюсь на козлы, смотрю на волосатые руки Архипа и задаю вопрос:

– Архип... правда, будто царь умер?

– Помер, – вздыхает Архип. – Убили вчерась в Питере.

– Как, убили?

Царь – и вдруг... Архип всегда врет.

– Врешь ты все!.. Его нельзя убить... он царь!..

– Ори еще! убили вот, – шепотом говорит Архип и оглядывается.

Я тоже оглядываюсь, но ничего особенного нет: все на местах – шлеи и дуга, вожжи и армяк на деревянном гвозде.

– Кто же убил?

– Ну вот, кто... Тебе все надоть, кто! – Он опять оглядывается. – Известно, – нигилисты.

«Нигилисть»!.. Они, те, о ком я ничего не мог узнать.

– Теперь нас будут резать?

– А ты почему знаешь?

Я чувствую, как шевелятся и покалывают волосы на моей голове. – Значит, верно... значит...

– Теперь на нас придут враги, Архипушка? Придут, а?

– Реж-публику хотят, – шепотком говорит он, стоя с тряпкой, по которой сбегают мутные струйки. – Они теперь та-кую резку зачать могут... – Он вздыхает и смотрит на свои волосатые, жилистые руки. – Ну, да уж... все пойдём!..

Я не знаю нигилистов, этой таинственной страшной силы, но и я готов, готов идти на нигилистов.

– Я шкворень возьму... Можно, Архип? – говорю я, чувствуя дрожь в животе и спазмы в горле. – Я буду шкворнем... А ты что возьмешь?

Архип показывает здоровенный кулак.

– Вот... ежли только начнется... А то оглоблей.

– А начнется?

– Да ты што пристал-то? Ступай-ка... ну, тебя...

– Голубчик, Архип... я тебе газетинку на «фунтики» принесу... Скажи, начнется?

– Да, вить, кто е знает... Ежели успеют присягу поцеловать, – может, и обойдется, а не успеют...

Я смотрю, выпучив глаза, и не понимаю. Присяга... А присяга где? и что такое «присяга»? зачем ее целовать?

– Ступай, ступай. Закладать надо. Полицейский сказывал, чтоб скорей присягу шли целовать.

У меня отлегают от сердца. Спасенье еще не погибло, только скорей бы успели поцеловать присягу. Скорей!.. Я бегу к воротам и маню Гришку.

– Кто царя убил?

– Ори!., рази так можно? – говорить Гришка, и его лицо строго и боязливо.

Ну, конечно, и он боится.

– А присягу успели поцеловать?

Гришка смотрит на меня косым глазом и вздыхает.

– Тебе не надоть... ты еще младенец.

– Кто царя убил? Нигилисты? – уже шепчу я.

– Кому ж еще? *Они...*

– А где они?

– Где!.. Везде. Вот теперь обыскивать всех будут... и как прознают, что нигилист, сичас – казнить.

А звон плавает и не засыпает. Мне кажется, что все колокола, церкви, колокольни и воздух, – все, все плачет, плачет от страха.

Подкатывает пони, и Леня весело выпрыгивает из шарабана. Он ничего не боится, а еще насвистывает и проходит мимо меня, не обращая внимания. Последнее время он важничает чего-то. Но меня так захватывает все – и запертые ворота, и звон, и встревоженные

лица, и тишина улицы, – что я решаюсь тронуть Леню за рукав и спросить:

– Леня, нас будут резать?

Он удивленно смотрит, но я настойчиво повторяю вопрос.

– Басни! – важно говорит он и старается покрутить едва пробивающиеся усики.

– А это нигилисты царя убили, да?

– Не твое дело. Ни черта ты не смыслишь.

– А ты смылишь!.. Леня, голубчик... ты... ты не нигилист, а?

– Вот глупец-то... вот осел-то!.. Пошел!..

– А то тебя казнить будут... Ты смотри!..

– Ослиная голова!

У Лени дурная привычка ругаться. Он научился, конечно, у дяди Захара. Я обижаюсь, забываю весь страх, отбегаю подальше, за колодец, и кричу:

– Сам ослиная голова!.., нигилист!..

– Вот я тебе уши нарву...

– А тебя казнят, нигилист!..

– По-ди, поди сюда...

Я слышу страшный голос. Дядя Захар стоит на галерее и манит меня железным пальцем. Я отступаю к крыльцу.

– Ежели ты, паршивец, будешь такие слова кричать, дёрка будет!.. Архип, зови будочника! – грозно кричит дядя.

Я лечу к себе, в дом, и слышу, как заливаются, скатываясь по лестнице, «мушки» и «жулики», а дядя кричит:

– Держи его, держи!..

VI

Должно быть, присягу успели поцеловать, так как ничего не случилось. У нас опять царь, и я знаю его. Старого царя убрали на заднюю стенку, рядом с бисерной барыней, а над столом повесили нового царя. У нас говорят, что это очень сильный царь и может даже рвать подковы, как дядя Захар. Это очень хорошо, и враги будут, конечно, его бояться.

«Нигилистов» будут судить: сегодня об этом читали в листке. Теперь я хорошо знаю, кто они. Это особые молодые люди, которые всегда с книжками, ходят в круглых шапочках и очках, носят длинные волосы и никогда не женятся. Они много учились и заучились так, что у них «ум за разум зашел», как сказал дядя Захар, приходивший к нам пить чай. И среди них есть девчонки даже, которые забыли Бога и стыд.

– И девчонки туда же... И стыд, и Бога забыли!.. Вот она, наука-то!..

Дядя приходил к нам посоветоваться, как быть с Леней. Не лучше ли его к делу приставить, а то, чего доброго, набьет в голову всякой чуши. Оказывается, вчера за обедом он заявил, что не желает есть постнытину и, когда кончит училище, уедет в какой-то «институт». Решили переговорить об этом с батюшкой, который ходит с крестом, поет молитвы и потом долго пьет водку и закусывает. Как он посоветует, так и будет.

Я, на всякий случай, решил предупредить Леню. Сам не знаю – почему, но я Леню очень люблю и одобряю, и сам терпеть не могу каши с подсолнечным маслом и сухих грибов. Кроме того, мне хочется, чтобы Леня был инженером и строил машины. А это из него может получиться, как говорил дядя. Но бабка Василиса все ругается с дядей, что он растит «антихриста», и грозит адом.

Я сомневаюсь даже в аде, потому что о нем говорит бабка Василиса. Она не любит, когда при ней ругаются чертом, а сама недавно обозвала меня чертенком и вытащила за ухо, когда я прятался в ее коровнике. Нет, она не похожа на мою покойную прабабушку Устинью Семеновну, кормившую нас сухим черносливом. Она – сквалыга и карга, – так ругает ее горничная Груша, и, по словам Архипа, «ее давно черти с фонарями ищут». Я понимаю Архипа: бабка не дает им молока и сама отпускает только две ложки сала на кашу.

Возможно, что я и Леня попадем в ад, но я желаю и там не встречаться с бабкой; пусть уж она идет в рай со своими коровами и крынками.

На Пасхе батюшка приходил славить Христа и заговорил с Леней. Я сидел в уголке и слушал.

– Господа-то Бога не надо забывать. А лучше бы к своему дельцу... У папеньки завод кирпичный...

Лене еще нет семнадцати лет, но он выше батюшки и говорит баском, чему я очень завидую. Если б я говорил баском, наша горничная Паша, у которой такие большие глаза, как на одной нашей иконе, непременно говорила бы со мной, как Груша с Леной. Они часто о чем-то шепчутся в коридоре и даже...

Когда батюшка сказал про завод, Леня задергал усики и ответил:

– Это уж мое дело. Захочу учиться и буду... Теперь все должны получать образование... и приносить пользу народу...

Он покраснел, как кирпич, и вышел из комнаты. Тетя Лиза побежала за ним, а дядя чвокнул зубом и заморгал глазом.

– Вон он какой... как кремь... в меня!..

Чудной дядя Захар. Он даже как будто усмехнулся, а батюшка опрокинул рюмку и залил скатерть. Ловко!..

– Да, да... непокорность... Вот какие нынче детки... Да, у меня вот тоже...

И он стал говорить о сыне, который с утра до ночи играет на скрипке и не хочет говеть.

– И вот вам... Учатся-учатся, а как заучатся, – ни Бога, ни царя не признают... и никакой власти... Руку поднимают...

– Ну, этого... гм... не будет... Да я ему сам напрочь голову оторву...

И дядя ударил кулаком по коленке.

– А с этого-то и начинается. Сперва посты не признают... Значения, вишь, не имеет, – что яйцо, что гриб... Это что у вас, сижок?.. Да-а... Сперва, говорю, посты... а там... Да вот... слышали?.. портного-то Кнутова сынок... вовсе в церкву перестал ходить... Отец драл-драл – плюнул.

– Такой-то оттябель-подлец... знаю.

– Ну, вот... А там и отцов дураками обзывают... Да-а... А как в студенты попал, уж из него нигилист выходит.

– Ты чего тут торчишь? Ступай к тетке... яблоко тебе даст...

Я нашел тетю Лизу в Лениной комнатке. Она сидела на кровати и держала у плаз платок. Леня стоял у окна, смотрел во двор и кусал губы. Я услышал только:

– К черту всяких ваших попов!

Сходя с галереи, я встретил бабушку Василису. Она даже в праздник возилась со своими крынками. Я, было, замялся, но все же сказал:

– Христос Воскрес, бабушка!

– Ну, некогда тут... Воистину воскрес.

И принялась разливать молоко по крынкам.

VII

За три года наша жизнь мало изменилась. Леня кончил курс и получил золотую медаль, которую дядя Захар приносил нам показывать. По этому случаю в комнаты были допущены люди, которые никогда раньше к нам не заходили. Пришел скорняк Максим Максимыч, или «старая крыса», как звал его дядя Захар, лавочник Трифоныч и даже внук его Степка, с которым я чикаю на крыше змеи. Призвали меня и прочли наставление, что если я буду хорошо учиться, то дадут такую медаль и мне.

Степка сказал, что медаль очень удобна чикать змеи. Скорняк заметил, что – «поди, больших денег стоит», на что дядя сказал, что тут и сотняги мало, но что дело не в деньгах, а что медаль есть как бы «печать ума», с чем согласился Трифоныч и все наши.

По случаю медали у дяди Захара были гости, дядя был весел, не дергал глазом, наливал всем – и даже мне – вина в высокие рюмки и говорил, что вот какие они, Хмуровы, что его Ленька зашиб всех пятьдесят человек, и что кости прадедов должны зашевелиться в могилах.

– Бога-то побойся... у-род! – крикнула бабка Василиса.

– Молчите, маменька... кушайте и молчите! – кричал дядя Захар. – Ленька! друг!.. пей шанпанское вино!.. В меня... весь в меня! – радовался дядя, расхаживая с рюмкой по залу, и тут же объявил, что завтра же черт Сендюк приведет верховую. – Азията тебе куплю!.. Сам дьявол не усидит!.. Денег, что ль, у меня нет, а?.. Нет?.. На, получай катеринку... на всякие удовольствия!

Потом, перед концом обеда, когда три трубы приглашенных музыкантов, помещенных «для легкости» на галерее, протрубили что-то громкое под вой «мушек» и «жуликов», дядя открыл маленький футляр и поднес Лене золотые часы с цепочкой.

Я страшно завидовал. Мне было почему-то грустно, так грустно, что хотелось заплакать. Но я сдержался и сунул для Степки большой апельсин в карман, что, конечно, не ускользнуло от бабки Василисы. Она отняла апельсин и опустила его куда-то под свою турецкую шаль.

После обеда я поговорил со Степкой, и Степка уверял меня, что не стоит получать медаль, потому что мне ни лошади, все равно, не купят, ни часов не подарят: у нас нет кирпичного завода. Степка, должно быть, боялся, что если я буду добывать медаль, то уже не стану бегать по крышам и чикать змеи.

– И даже можно сойти с ума... ей-Богу! – угрожал Степка и рассказал про одного ученого, который так много учился, что его заперли в Сухареву башню и заложили кирпичами.

Я пока не решил, да и сомневаюсь, смогу ли я получить медаль: в моем бальнике не совсем чисто.

Я даже подумываю, не лучше ли поступить в лавку и таскать карамельки, как Степка, у которого всегда есть что-нибудь особенное в кармане.

Леня ходит, как дядя Захар. На нем серые брюки и коричневый пиджак, большая мягкая шляпа и в галстук золотая мушка с красными глазками. Перед ним все на дворе снимают шапки, а наша горничная, глазастая Паша, которая все грызет семечки на парадном крыльце, так всегда смотрит на него, когда он ловко вскакивает на своего Жгута, что Гришка ругается, называет ее «барской сытью» и раз даже сказал:

– Загорелось! Уж втрескаешься, кобыла... Вон, Грунька-то уж наела брюхо...

Я сейчас же пошел к Степке за объяснением, и Степка рассказал мне такое, что я порешил, что это все враки. Как-нибудь я сам спрошу Грушу, которая, действительно, растолстела, носит высокий передник и очень редко выходит грызть семечки.

Вчера дядя Захар позвал моего отца на совет. У нас говорили, что в том доме был большой скандал, все кричали и спорили, тетя Лиза плакала, бабка Василиса всех грозила проклясть, а дядя Захар гремел, что никто ни черта не понимает и он на все готов. Оказывается, Леня заявил, что едет в Питер учиться. Все кричали, что пускать опасно, что там нигилисты и что он «свернется». Бабка заявила, что ни копейки никому не оставит и что это только безбожников разводить.

Тетя Лиза боялась расстаться с Леной: тогда она будет совсем одна, ее будет точить бабка, а дядя будет пропадать днями невесть где. Дядя требовал, чтобы Леня занялся делом, ругался и отговаривал и, наконец, заявил, что скоро будут ставить на заводе какой-то «берлин» и надо иметь всегда свой глаз. Дядя Захар кричал на Леню страшным голосом, но тот кричал еще громче. Крик был такой, что мы со Степкой, чикавшие змеи на крыше, слышали даже в трубу. Наконец, дядя плюнул и потребовал, чтобы Леня перед иконой поклялся, что он ни с какими там прохвостами знаться не будет, и Леня изъявил готовность поклясться хоть перед десятью иконами, что с прохвостами знакомиться не будет.

Вечером дядя Захар и Леня укатили в Сокольники.

VIII

Как раз в Петров день у нас на дворе разыгралась интересная история, вызвавшая во мне непонятный восторг.

С утра толпилось человек двадцать кирпичников. Они вошли силой, несмотря на отданный еще с вечера приказ Александра Иванова – не допускать никого. Гришка укрылся в конюшне. Дядя Захар был у обедни. Леня еще спал.

Измазанные глиной и покрытые красной пылью, кирпичники заняли крыльцо и колодец, поставили сторожа у ворот, чтобы кто не дал знать в участок, и заявили, что будут ждать «самого». Александр Иванов с перепугу заперся в конторке, потому что кирпичники грозили оборвать ему все потроха и манишки.

– Ускрылся, паскуда!.. Ладно-сь, достигнем.

Мы со Степкой забрались на сеновал и ждали, что будет.

– Они здоровенные, – говорил Степка. – Они теперь всех бить будут. Червями их кормит Сашка... Дедушка Трифоныч давеча сказывал... Вот они и будут лупить...

– Что такое, братцы?

Леня, в ночной сорочке, высунулся из окна кабинетика.

– Здравствуй, хозяин! Вот какое дело, Лексей Захарыч... разбери...

Посыпались жалобы, галденье, крики. Я видел, как лицо Лени то краснело, то бледнело. Он кусал губы и дергал глазом, как дядя Захар.

– Хорошо, – сказал он. – Ждите. А ты, – поманил он самого старого кирпичника, – зайди ко мне...

И скрылся.

– Вот он ему там начи-истит зубы... – весело говорил Степка.

– Никогда не начистит!

– Не знаю, што ль!.. Цыган им все так чистит... Зазовет да и на помадит... Трифоныч-то сказывал.

Минуть через пять старый кирпичник вышел из того дома какой-то растерянный, с беленькой бумажкой.

– Вот... за обиду, говорит, вам...

– Э-эх, па-аря!.. Четвер-туху-у!..

Кирпичник держал «четвертуху» за уголок, а остальные поглядывали и дивились.

– За обиду, говорит... Потому, ему обидно... Вот, грит, вам за обиду...

– За обиду?! Ишь ты...

– Да, говорит, за обиду... Больше, грит, нету у меня... А вот вам, за обиду...

В это время заскрипели ворота, и въехал во двор дядя Захар на дрожках. «Четвертуха» спряталась, кирпичники сняли картузы и кланялись.

– Что? как?.. зачем? Гришка!..

Гришка уже вертелся около дрожек и что-то докладывал.

– Червями кормит!.. Убери Лександру Иванова!.. Каки это харчи!.. Свинья не жрет! Рядил по полфунта на голову говяды, а сам кость да солятину тухлую... Мы и в полицию пойдем...

Дядя Захар придвинулся боком, поглаживая руки.

– Что? ку-да?..

Кирпичники грудились и отступали.

– Знамо куда... в полицию!.. Люди мы, ай нет?..

– В по-ли-ци-ю?!.

Он вдавился в толпу и схватил за горло самого высокого кирпичника. Голова дяди Захара запрокинулась, надулись жилы на шее, и глаза выкатились, как два яйца.

– Не тронь! – крикнули из толпы.

Но тут произошло неожиданное. За спиной дяди Захара появился Леня, полуодетый, тоже с выкатившимися глазами, и с силой дернул дядю Захара за плечи. У меня захватило дух, а Степка шипел:

– Смотри, смотри!.. у-ух ты...

Дядя выпустил кирпичника и быстро обернулся к Лене.

– Ты?! ты меня..!

Оба мерили друг друга глазами, грозные, как надвигающиеся одна на другую тучи. Сейчас ударит громом.

Кирпичники сбились в кучу. Из-за двери конторки высунулось бледное лицо Александра Иванова. Гришка выпустил поводья, и лошадь с дрожками тихо пошла в каретный сарай.

– Бол-ван!.. – прокатилось по двору. – Твое дело?.. Молокосос!..

– Мое!.. Твои рабочие и мои они!..

– Твои?!.

– Мои!.. А драться не позволю!.. На!.., меня бей!..

Он был красив, бледный, с курчавой головой, статный, с высокой, поросшей волосами грудью, видневшейся из-за распахнувшегося ворота белой ночной сорочки.

Дядя точно поперхнулся и не находил слов.

– Черт!.. – только и мог сказать он сдавленным голосом.

– Леня! Леня!.. – с мольбой звала тетя Лиза с галереи.

– Не ва-ше де-ло!.. – жестко крикнул ей дядя Захар, вынул платок и утерся.

Гроза прошла. Леня стоял решительно, руки в карманы.

– Позвать Александра Иванова! С-сукины дети...

Бледный Александр Иванов вертелся без картузика в стороне от дяди и что-то врал.

– Ваш антирес... им что хошь... никогда не довольны... что ни дай – сопрут... мне что... Он вон всех мутит... Коно-паткин-с... самое свежее...

– Мутит! ты у меня... хлопай бельмами-то!.. Поменьше карман-то набивай!.. ерза чертова!..

– Сменить надо, – сказал Леня. – Впрочем, как знаете...

– Да, да!.., знаю!.., сам знаю!..

– Кормовые дайте... пусть артелью ведут..!

Дядя взглянул на Леню, подумал.

– Голова!.., правильно... Ты! слушай!.. На артель перейдете!

– Да чего лучше... Так-то ладней... – загудели кирпичники.

– Ну, и проваливай к чертям!

Высокий кирпичник поглубже надел картуз и сказал:

– Правильный у тебя, Захар Егорыч, наследник... Дай Бог здоровья.

Дядя Захар вдруг преобразился, хлопнул Леню по широкой спине, тряхнул головой и сказал, ни к кому не обращаясь, никого не замечая:

– Вот ты какой у меня... Весь в меня!.. Ну, пойдём чай пить, ученый...

Он обнял Леню за спину, и они пошли на галерею, оба очень похожие один на другого: одного роста, так же широки в плечах. Только Лене было девятнадцать лет, а дяде Захару сорок пять; только у Лени было белое лицо, а у дяди темное, и дядя Захар был человек необразованный, а Леня выходил на дорогу.

Вскоре, под вечер, случилось происшествие, случайно обратившее мое внимание.

Нас уже звали ужинать, как во двор въехал извозчик. С черного крыльца кучер Архип и дворник Гришка вынесли кованный жестью, с боков красный, сундучок, узел и коробок и поставили на извозчика. Кто-то уезжал.

– Пожила и будет... нагулялась... – говорил Гришка.

– Девка-то дура... навязалась сама...

– Сказывай, сама! не знаем делов, што ль?.. Третью такую выпроваживаю. Летось Машка...

– Ну, вот... Машка!., чать Ксютка... Ксютка-то опосля Машки жила...

– Ай Ксютка?.. От «самого» заполучили. Тоже маху не давал...

– Хочь и при жене...

– А што ему жена!., деньги есть, харчи хорошие... Да до каждого доведись – мимо рта не пронесешь... А девки-то ядреные все...

– Будя орать-то. Лексей Захарыч на галдарее... Ревет, поди?

– Грунька-то? ревет... Да и он-то... му-ут-ный. Две сотняги дал, будто.

– Чего ей! Опростается и опять прибежёт.

– Прибежёт...

– Да от *его* ли?

– От его. Парень в соках, дело молодое... на сторону не ходит. А та-то перед им вывертывает... ну и...

– Идет...

Груша, в белом платочке и тальмочке, с маленьким узелочком, вся покрасневшая, усаживалась на извозчика, подбирая крахмальную юбку. В окне, в глубине галереи, я заметил Леню.

– С отъездом-с, – раскланялся Гришка, подымая картуз. – Счастливого пути. На фатерку-с?..

– Да, – тихо сказала Груша, опустив голову. – Узел-то к извозчику поклали?

– Тут-с... и коробок у его. К осени опять к нам-с?

– Уж и не знаю... не знаю... Сундучок бы подвинуть...

– Нас не забывайте, Аграфена Митревна... Хоть вы нами и гнушались, а мы навсегда вам уважение... Доброго здоровья.

– Будя зубы-то чесать, – смешливо затараторила горничная Паша, в белом переднике, вынырнувшая из-за угла.

– Прощай, Грушутка!.. Дал твой-то? – понизив голос, спросила она.

– Дал. Забеги когда...

– Ну, трогай! – крикнул Гришка. – Сторонись, павлина! – толкнул он Пашу. – Угостите семечками, Прасковья Семеновна... Забывать стали... Теперь местишко-то ослобони-лось... – подмигнул он на галерею.

– У, леший, зубоскал!

– Может, и вам Бог счастья пошлет...

– Уйди, косой, не липни.

– Такая уж ваша должность веселая... А это что же у вас тут такое?.. Хо-хо-хо...

– Ну, ты! руки-то поддержи!.. Не в свое корыто лезешь...

Извозчик выехал за ворота, и Груша навсегда покинула тот дом. А через неделю Гришка предупредительно втаскивал новый сундучок, и молоденькая, черноглазая Поля, шумя крахмальными юбками, входила на галерею.

И всегда в тот дом нанимали молодых горничных. Как объяснил мне всезнающий Степка, это для того, чтобы барчуку не скучно было и чтобы он «не отбивался от дома и не пропал».

– Вон у тебя Пашка-то – сливки! Чего зеваешь-то... – добавил он, разевая огромный рот.

IX

Август в начале. Подсолнечники в нашем саду наклонили грузные, почерневшие шапки. Кое-где дикий виноград у беседки тронулся искрами багрянца, и сиротливо торчат на взрытой земле кусты смородины, ошипанные курами.

Леню проводили в Питер учиться на инженера. Накануне тетя Лиза ездила в Кремль, служила молебны у Иверской, где-то у Чугунного моста и у великомученицы Варвары. Потом был молебен в путь шествующим – дома, в присутствии и нас. Дядя Захар суетлив, мрачен и так расстроен, что забыл отдать батюшке за молебен, и батюшка потом присылал дьячка напомнить. Везде кропили святой водой и даже чемоданы. Даже бабка Василиса имела озабоченный вид и неожиданно поставила перед Леной стакан сливок.

Леня ходил в конюшню проститься с Жгутом, подарил Архипу рубль и, встретив меня, потрепал по плечу и сказал ласково:

– Ну, прощевай, ругатель... учись...

Я чуть не всплакнул от ласки: стало тяжело, как будто Леня уезжает совсем.

Дядя Захар хотел, было, сам ехать в Питер и все там устроить, но Леня решительно заявил, что проводов и так довольно. Видно, и ему нелегко было впервые покидать родной дом: у него подрагивала верхняя губа, он суетился и все принимался увязывать чемоданы. Тетя и дядя поехали провожать на вокзал, и Александр Иванов старался вовсю, таскал чемоданы и наказывал кучеру «не зевать».

Я думаю, он был рад отъезду.

– Деньги-то не потеряй! – говорила плаксиво бабка Василиса. – В вагоне-то к себе привяжи... Леня, Леня!., хоть перекрестился бы... Деньги-то у тебя где?..

– Хорошо, хорошо... знаю.

Он мельком окинул двор, садик, колодец, старого Бушуя, уже не вылезавшего из конуры, скользнул по нашему крыльцу, где столпились все мы, и нахлобучил шляпу.

– Пошел! Держи ворота! – крикнул дядя Захар. Выехали.

Пусто стало кругом, пусто и скучно. Первый раз наш двор отправлял своего в далекую сторону. Мне было так не по себе, что я не вышел гулять, а сидел под окном и смотрел на гнилую конурку умиравшего от старости Бушуя. А через полчаса бабка Василиса, подоткнув грязную юбку, тощая и костлявая, с трясущейся головой, уже трусила с ведерком доить коров.

Вечером в том доме было темно. Тетя Лиза уехала ко всенощной в монастырь, а дядя Захар в темноте ходил по залу, и я через окно видел, как вспыхивала иногда за темным окном «крученка».

А потом... потом все вошло в колею, дядя по-прежнему разносил кучера и Гришку, ездил на завод, учитывал Александра Иванова и только изредка, в праздник, проезжал Жгута за заставой.

У нас сообщали, что дядя Захар очень скучает по Лене и всегда, как встречается со знакомыми, говорит:

– В те-хно-ло-ги-ческом инсти-туте он у меня!.. Вон куда двинул! Первый в нашем роду...

– Ученые-то эти... К делу бы вам его...

– Что поделаешь-то? Хочу и хочу!.. Весь в меня характером-то... кремень!

X

Прошло около года. Я перетащился в 3-й класс гимназии, но любимых занятий не оставил: играл в бабки, чикал и пускал змеи, хотя этот спорт уже падал: городовые строго преследовали нас, и мы отваживались пускать только простые змеи, без трещоток.

Степку Трифоныч окончательно закрепил за прилавком и научил всем правилам дела. С тоской заходил я проведать бывшего друга и любовался, как тот ловко показывал, как можно нагревать покупателей. Насыпая крупу и овес в мерку, он броском швырял зерно в бок и хвастал, что так можно «сберечь» осьмушку. Он знал тайну весов и так ловко раскачивал их и швырял на чашки пакеты, что даже Трифоныч хлопал себя по бедрам и удивлялся:

– Ну, прямо... волшебник!

Волшебник Степка до того увлекался новым спортом, что, заходя покупать орешки, я всегда просил вешать самого Трифоныча. Степка старался не порвать отношений и в часы досуга приносил от дедушки цареградские стрючки и палочки дивьего меда.

– Ах, Колька!.. – говорил он мне, – когда дедушка помрет, я за себя лавку возьму. Только он, черт, еще годов двадцать проживет... здоро-о-вый!

Мой папа-шинь-ка-а скончался...
При-и-казал мне до-о-олго жить!..

– А я, как кончу гимназию, студентом буду...
– Это нигилисты-то! Я тогда тебе в морду! Я за царя!..
– А я тебя бомбой... и всю лавку взорву!.. Ну, дай стрю-чочков-то...

К нам, в третий этаж, переехали новые жильцы, – большая семья, в которой было четыре барышни, ходившие летом в русских костюмах. Их отец где-то служил, мать с утра и до вечера строчила на машинке, а барышни ничего не делали и пели романсы. Да, это были очень веселые жильцы.

Каждый вечер к ним приходили гости, и здесь я впервые близко увидел студентов и, вообще, людей, которых Гришка, да, пожалуй, и многие на нашем дворе называли «нигилистами». Но это слово уже пропадало из обихода, и его заменили – подозрительный человек, «сацилист».

– Рвань все шляется, – ругался Гришка. – До утра плотку дерут, а никто и гривенника не даст.

В семье был и мой сверстник, тоже гимназист. Мы быстро сошлись и даже строили планы бегства в Америку или куда-то «на острова». Много особенного видел я в этой семье. Отцу и матери говорили «ты»; танцевали каждый вечер, между тем как у нас танцы разрешались только на святках. Молодые люди обходились с барышнями очень свободно, хватали за руки, дрались даже и получали шлепки, тогда как у нас никогда никаких посторонних молодых людей в доме не было.

Мир новых отношений открылся передо мной.

– Какие-то они оголтелые, – говорили у нас. – Уж не гнать ли?
Но и гнать не решались, так как квартира ходила выгодно.

Один из молодых людей, – его звали Курчик, должно быть, за его курчавую голову, – прекрасно играл на флейте. Высокий и тощий студент Дымоходов, или Труба, – больше молчал и ходил, говорили, – «для ужина». Кто-то с лицом старухи, скуластый, пел басом, готовился поступить в Большой театр, но всегда брал только две-три ноты, вынимал из засаленного сюртука платок, со вздохом качал головой и говорил глухо:

– Низко... не выйдет...

Ну, конечно, «не выйдет», так как он сам едва подходил под потолок. И хорошо, что не выходило: у него был такой страшный бас, что стекла могли разлететься и перегородки треснуть.

Мой новый товарищ Костя сообщил, что это все женихи и ухаживают за сестрами. Очень странно. Я представлял себе «женихов» несколько иначе: с напояженными волосами, ярким галстуком и в сопровождении какой-нибудь почтенной старушки. А это все были какие-то «жеребцы», как говорил Гришка.

На всю семью была одна девчонка Лизка, которой мы, обыкновенно, подставляли ножку на лестнице, ловили веревочными петлями и сонную привязывали за ноги к лавке и тревожно звали. Жильцы покупали на всю ораву только два фунта мяса и совсем не ели белого хлеба. Но барышни! Они были так хороши в своих пестрых костюмах, их лица были так бледны, а косы черны, они так хорошо смеялись пунцовыми губками и так мило поводили голубыми глазками! Я любил забираться в уголок и смотреть на них, не решаясь подойти и заговорить.

– Кань-фе-та!.. – сказал раз Степка вслед Настеньке, когда она шла ко всеобщей.

Та повернула голову и улыбнулась.

– С сочком... – добавил он, раздвигая свой большой рот и прищелкивая языком. – Эх, этакую бы... Пушистая!..

Степка последнее время приобрел нахальную развязность движений и рассказывает всякие гадости. Эта ширококрылая шельма стал таким ловкачом, что Трифоныч грозит отправить его на Угрешу, к знакомому монаху для обуздания. Он пропадает до часу ночи, таскает выручку и выманивает у Трифоныча деньги, грозя донести о

шкаликах, отмериваемых в задней комнатке. Он мажет голову репейным маслом, играет на гармонье и щекочет всех горничных. Раза два Гришка таскал уже его за волосы на черной лестнице. Но Степке все нипочем. Ходит и позвякивает медяками в карманах.

В том доме почти ничего не изменилось. Бабка Василиса возилась с коровами и молоком. Тетя Лиза ездила по церквам и монастырям и чинила белье. Дядя Захар навещал завод, объезжал лошадей и изредка покучивал. Раз даже сама тетя Лиза встретила его среди бела дня на тройке с «девчонками», но не сказала ни слова. Она была такая тихая и забитая, тетя Лиза. Она всегда переносила все молча, на себе. Александр Иванов продолжал орудовать в конторе и на заводе; на нашем дворе так же нанимались и рассчитывались кирпичники, и дядя Захар, хоть и реже, но пускал-таки в дело свои железные руки.

XI

В первый приезд на лето Леня выглядел молодцом-красавцем в широкополой шляпе и рабочей блузе, в которой он, обыкновенно, ездил по утрам на завод. Загорелый, стройный, словно слитой, он распространял обаяние силы и свежести, но маленькая, раньше едва заметная складка над переносьем стала, как будто, глубже и резче. И взгляд стал глубже, как будто в красивой голове затаилась непокойная мысль, решение которой необходимо найти.

Поездка верхом на завод, кабинет – и только.

Красивые глаза с третьего этажа, конечно, заметили этого серьезного чудака, читающего вечерами у открытого окна или задумчиво, большими шагами меряющего кабинетик. Ни малейшего интереса видеть прекрасные глаза, глядеть на коралловый ротик и милые ямочки на щеках! Странно... Один раз, впрочем, печальная флейта Курчика бросила трепетные ноты в тихий кабинетик. Склонившаяся над книгой голова с высоким лбом поднялась. Звуки плакались наверху, бились в пролете между тем домом и нашим и замирали.

Глаза Лени искали флейту, нашли и... окно затворилось, и зеленая занавеска отразила тусклое пятно зажженной свечи... Уже

стихла флейта, уже скуластый бас напугал весь двор, рыкнув что-то о «поле» и «мертвых костях», уже потекло в тишине заснувшего двора – «песнь моя лети с мольбою», а зеленая занавеска за скучным стеклом все отражала тусклое пятно свечи и большую черную тень головы.

Такая серьезность Лени, видимо, нравилась дяде, и это положительно верно, так как я не раз слышал, как он говорил нашим:

– Пустили шантрапу какую-то... Вот и будут головы крутить мальчишкам.

Дядя Захар готовил Лене партию знаменитую. Уже раза два подсылали сваху Полугариху от гремевшего в округе мучника Лобастова, у которого были паровые мельницы и «земли, милая моя, по всем губерниям». Пахло миллионом, и дядя Захар ждал только случая – переговорить. Но случай провалился, так как сам Леня, узнав как-то, что в столовой тетя Лиза пьет чай со свахой, вышел и сказал:

– Бросьте вы эти затеи, мамаша.

И дядя Захар махнул рукой: дело терпит. А какие планы строились! Уже тот дом, дом, в котором поднялись поколения Хмуровых, дом, который при французе выгорал, приговорили к сносу, и архитектор, «рваный барин», готовил план необыкновенного сооружения. Уже намечалась земля для постановки нового кирпичного завода; уже выбиралось место для постройки торговых бань; уже создавался план скупить нашу землю и снести наш дом; уже наш старый садик собирался дядя Захар распланировать под цветник с фонтаном; уже... Много планов строила голова с упрямым хохлом, много решительных взглядов непокорной силы было брошено на округу. Хмуровы должны загреть...

А Леня ездил на завод, читал книги, получал письма из Питера и сам писал по ночам, как рассказывала бабка Василиса, простаивавшая на молитве до двух утра и наблюдавшая за внуком в замочную скважину.

– Ты это, брат, что же... расценки повысил формовщикам?.. как же это ты того... без меня? а? Ты, брат, не чуди...

– Кирпич в цене поднялся. У Васильева прибавили тоже.

– Гм... тоже... А зачем обещал барак строить, а?

– Затем, что свиньи и те лучше живут...

– Без тебя жили... Ты мне должен сказать... Я уж от чужих узнаю. Жениться тебе надо... Возьмешь капитал, изразцы будем

делать.

– Да, да... хорошо... Это все хорошо... Работать еще надо, учиться. Придет время...

– Загремим, Ленюк... на всю Москву загремим!..

– Хорошо... хорошо... Нет ли у вас рублей ста?

– А что?.. своим, что ли, опять?..

– Да... надо мне. Я вам выплачу.

– Ну, вот... еще скажи. Обманывают тебя товарищи... простой ты какой-то. И в кого только ты такой?..

– Как в кого?.. В вас... – смеясь, говорил Леня.

– Да, да... Ну, только кончай... Уж мы все вернем... с лихвой вернем.

Деньги пересылались в Питер нуждающимся товарищам, и дядя Захар был доволен, что у него не просили пятисот. В своей книжечке он вел аккуратный счет «ученых расходов» и видел, что Питер стоит не дешево.

– Может, и покучивает. Дело молодое. Что поделаешь? И мы были молоды... В меня пошел. Да ничего...

XII

Прошел еще год.

Приехал Леня в начале июня и заявил, что надо сквитаться.

– То есть, как это – сквитаться?

– Очень просто. Сколько с вас просили инженеры за печь Гофмана?

– Какого Гофмана?

– Ну, «берлин» по-вашему?.. Дядя сказал.

– Ну, вот я и поставлю вам... и будем квиты.

– Да ты... как же это... ты?! ужель можешь?..

– Могу. Вот здесь все чертежи, план, все...

Говорили у нас, что дядя Захар заплакал. Его Леня, сам Хмуров, – инженер!.., и приехал сквитаться!..

Он, думается мне, только теперь понял Леню, понял по-своему, понял нутром, как Хмуров, всегда практичный и вышибавший копейку. И не только эту сторону Лени, – якобы практика, – понял он;

он понял плубже. Он, говорят, заплакал. Да, ему на смену шел он второй, но не такой, как он, а шире, и лучше, и чище, и благороднее.

И дядя Захар заметно принизился. Он уже не говорил и не кричал при Лене властно, он выдвигал его вперед, он теперь, говоря с кем-нибудь, всегда оборачивался к нему, точно молча советовался. И даже лицо его стало мягче и посветлело.

Он теперь всем говорил о Лене, решительно всем. Он даже «согнал» всех кирпичников с завода, и когда двор гудел, когда кирпичники прикидывали, зачем их согнали, и жались у стен и крыльца, дядя Захар вышел с Леной на галерею, на свое «красное крыльцо», и сказал:

– Братцы!..

Толпа сгрудилась. Полетели шапки и картузы с голов.

Братцы?! Раньше, обыкновенно, были – черти, сукины дети, лешие и дармоеды... Братцы!..

Я чувствовал приятный холодок внутри: должно сейчас случиться что-то особенное.

– Вот что... По случаю, как я буду ставить «берлин»... *Он* будет вам ставить!.. *Мой* сын! Он сам инженер!.., понимаете?.., ин-же-нер!.. Он ведь...

Мне показалось, что дядя Захар хотел им сказать, что Леня учится в те-хно-ло-ги-ческом институте.

– И вот... в знак сего... Его благодарите!.. И как вы у меня давно работаете... по гри-венни-ку!.. вам на тыщу прибавляю!..

Молчание.

– Слышали?.. По гри-веннику набавляю!

– Благодарим покорно... Мы што... мы это самое... Дай Бог здоровья!

Леня стоял за дядей, улыбался и похлопывал его по плечу. Может быть, припомнил давнишнюю историю осенью на дворе, потом еще историю... Много было всего.

– А теперь ступай чай пить!.. Александр Иванов!.. выдать старосте... красную!..

– Ну, как? – обернулся дядя Захар к Лене. – Так, что ль, Ленюк, а?..

– Так.

Леня положил руки на плечи дяди Захара и заглянул в глаза.

– Хороший ведь *ты* у меня... хороший!.. Знать тебя надо!.. Ах, папка, папка!..

Ты!!. Я слышал это слово. Я видел, как дрогнуло лицо дяди Захара, точно завеса спала с него, как дрогнуло Ленино лицо. Они глядели один на другого.

А тетя Лиза стояла позади них...

Ты было сказано в доме Хмуровых в первый раз и как сказано!..

Да, дядя учуял Леню и попал в самую точку. Он отблагодарил его за «берлин», а, главное, – он сам в эту минуту вычеркивал из своей жизни этим порывом удары, которые он нанес этим «голоштанникам», как он называл их, и, давая гривенник, как Хмуров, он возвращал бочки выкаченного рабочего пота.

Недоставало лишь, чтобы дядя крикнул:

– Ведь вот он!., весь, весь в меня!..

Да, Леня был и в него, но в нем было много и того что было похоронено в тете Лизе; много и того, что уже было брошено в жизнь, ползло и блуждало в ней, бродило и образовывалось. Да, новый человек шел.

В половине июля было освящение новой, громадной печи с высоченной, в небо уходившей трубой, с подземными камерами. Было торжество, много гостей, музыка и обед. Пускали фейерверк. Это был знаменательный день, лучший день в жизни дяди Захара. В этот день в зале повесили Ленин портрет в овальной раме, громадный портрет, очень удачный. Как живой, глядел Леня из-за стекла, и упрямая складка над переносьем, и энергичные, вдумчивые глаза под высоким лбом. Этот портрет! Я его сейчас помню ясно-ясно, точно и сейчас Леня передо мною и спрашивает:

– Ну, как дела, ругатель?..

– Какого сына выростил!.. За что только Господь посылает?! – говорили на нашем дворе. – Ради Елизаветы Ивановны разве... Воистину мученица... Уж сколько она понесла-то – и не приведи Господи! – и от свекрови-то... да и от муженька-то!..

Вскоре после освящения «берлина» я с изумлением увидел, что Леня познакомился с Настенькой. Как это случилось, – не знаю. Я впервые увидел их рядом друг с другом в нашем садике. Они прохаживались по единственной дорожке, обсаженной кустами крыжовника. Как всегда, Настенька была в русском костюме; две

длинные черные косы, перевитые золотыми кружочками, падали тяжелыми жгутами; круги бус шуршали на ее волнующейся груди, прикрытой сквозной рубашкой.

Она шла рядом с ним, едва доставая до его плеча, и, повернув вполоборота голову, точно вглядывалась в его лицо; а он, в широкополой черной шляпе, в синей, схваченной ремешком, блузе и высоких сапогах, покручивая за спиной какую-то книгу, старался шагать тише и говорил что-то.

Меня даже кольнуло в сердце. Мне было досадно, что Настенька очарована, что она вся рвется к нему. Они ходили взад и вперед, иногда мельком взглядывали друг другу в лицо, а я... я спрятался за беседку и из-за куста черной смородины наблюдал, боясь высунуться.

И как было просто кругом! Четыре березы, с поломанными сучьями и пробитыми для добывания сока стволами, торчали жалкими вихрами верхушек в потемневшем небе.

Изрытые курами кучи сухой земли, ободранные кусты с куриными ямами под ними, два-три уцелевших подсолнечника, распушившаяся плодоносная бузина, дряхлый навес сбоку и две тележных оглобли, торчащие, как обрубленные руки, из-за сквозного, полуразбитого забора. За глухим забором, вправо, – улица с масляными фонарями, на которой лениво шуршит Гришкина метла. Кто-то за забором напевает тоненьким голоском:

На си-ре-бы-ре-но-ой ри-ке-е...

О, как бы вытянулось лицо дяди Захара, даже тети Лизы и особенно бабки Василисы, если бы они узнали, что гениальным планам – «загреметь» и надеждам мучника Лобасто-ва грозит опасность.

Прогулки стали повторяться почти каждый вечер. Настенька начала менять костюм на черные юбки и белые кофточки, и я понял, что на 3-м этаже начинают зреть планы, потому что наблюдательный пост никогда не пустовал: всегда кто-нибудь из барышень выглядывал из бокового окна, а когда Леня шел в садик, голова скрывалась, и Настенька спешно сбегала по черной лестнице. Шансы влюбленной дочери мучника падали с каждым днем, если только Леня мог, вообще,

признавать их. А что они падали, это было ясно, как день. Чаще обыкновенного облакачивался Леня на железный карниз окна и смотрел вверх как бы разглядывая что-то на крыше. Печальная флейта Курчика свободно бросала трепетные нотки в темную глубь кабинетика, и все реже дрожало пятно свечи за зеленой занавеской.

Плут Гришка первый забил тревогу. Он потряхивал головой, глядя вслед Настеньке, когда та спешила в садик, и ехидно мурлыкал, принимаясь за метлу:

...Ми-и-имо са-а-а-ди-ку-у-у-у...
У-ух доро... у-ух дорожка про-о-легла...

– Э-эх, туда же... сватается!.. Архипка!.. плянь-ка!., опять стеганула!., хо-хо-хо...

Леня шагал мимо Гришки в клубках поднятой пыли.

...Хо-ло-стой па-рень... эх ко де... ко-о де-ви-це хо-ди-ил...

– Что?

– Чего изволите? – обрывал Гришка, как ни в чем не бывало. – Прикажете сбегать куды?..

– Нет... ничего.

Снова подымает ленивая метла тучи дворовой пыли.

...Сто-ит На-стень-ка да эх за-пла...
За-а-пла-ка-ны гла-за-а...

Поход объявлен, и старичок с 3-го этажа делает пробный шаг.

Вчера, например, он выполз на крыльцо – «так, для воздуха», – и когда дядя Захар выезжал на дрожках, старичок привстал с лавочки и вежливо приподнял фуражку. Дядя Захар ответил кивком.

– Чудный вечер-с!..

– Гришка!., держи ворота!..

Прогулки в садике продолжаютя. Настенька уже не остается наверху, когда приходят женихи, не поет «Горные вершины», и Курчик перестал играть на флейте. Настенька не ходит «ордой» в Нескучный сад и не провожает женихов со свечкой, как раньше.

Леня загуливает в садике до ночи, часов до десяти, когда Трифонич приходит на задний двор осмотреть замок на своем сарае. С лесенки от амбара вижу я сквозь разбитую решетку садика белую кофточку, слышу тяжелые шаги Лени и его басок.

Я уже примирился с мыслью, что они должны пожениться: они оба так красивы. Но не все так думают, как я. Дядя Захар уже получил донесение, и теперь, как девять часов, горничная Поля, которой Степка насыпает полны карманы орешков и приглашает на Воробьевку «кушать вишни», – раза три прибегает к садовой изгороди и окликает:

– Барин!., кушать пожалте...

– Сейчас...

– Папаша требуют...

– Сейчас...

Шаги приостанавливаются. Ярче белеет кофточка.

– Ой!., как ты жмешь руку!..

– Ле-ня!! – прокатывается голос дяди Захара с галереи. На галерее ужинают. Окна ее освещены, и видны ползающие по потолку тени. Дядя ворчит.

– Не маленький же я, наконец! – раздраженно говорит Леня.

Настенька часто свешивается из окна сеней и заглядывает во двор: она следит, когда Леня седлает Жгута, чтобы ехать на завод. И они кивают друг другу и обмениваются улыбками.

Они любят друг друга, и, конечно, Настеньке не нужен ни завод, ни дом, ни лошади, – ей нужен Леня.

Но у нас говорят, что «верхние» ловят Ленью и хотят сбыть своих девок-кобыл, которые годны только в цирк, только и имеют, что смазливые рожи да ситцевые юбки и жрут черный хлеб. Очень опасаются, что он возьмет ее «в содержанки» и увезет в Питер. Дядя

Захар готов на это, – отчего бы молодцу и не побаловаться, – лишь бы его не окрутили.

Какое безобразие! Я понимаю отлично, что, действительно, вышло безобразие. И все эта бабка Василиса!

Когда Леня идет в садик, ей непременно приспичит доить коров, и она теперь всегда приоткрывает коровник, выставляет высохшую голову, заглядывает в садик и слушает. К счастью, она совсем глухая и, конечно, ничего не может понять, когда я и то почти ничего не слышу. Но сегодня она устроила целый скандал.

Только что наша кухарка загнала кур, и Леня прошел в садик, бабка загремела ведром и уже мчалась к своему коровнику. Она нарочно остановила кухарку и заговорила про свою рваную корову, которая убавила молока. Я сидел на амбарной лесенке, слушал и чуял, что бабка чего-то ждет: она все время поглядывала к нашим жильцам и задерживала кухарку:

– Да постой, матушка... да куда тебе... Спросить вот все хочу... Петушку-то нашему не ваши ли сорванцы ногу-то перешибли?

А сама так и смотрит наверх. Ага! теперь понятно: она поджидает Настеньку. Из садика доносится нетерпеливое – гм... гм... Вот и Настенька Она вся, как белая лилия, в вязаном платочке на плечах, путаясь в узкой белой юбке и спотыкаясь высокими каблучками о камни, почти бежит к садику.

– Не хорошо-с... Молодому человеку проходу не даете!.. Шлюхи так только...

Господи! У меня даже голова закружилась. Настенька вспыхнула вся и почти побежала к Лене. Я кубарем слетел с лесенки, подбежал к бабке и взвизгнул:

– Вы не имеете права!.. это подло!.. это... это... Старая карга!!.

– Ах ты, гнида... чертенок!!.

Но я уже был в садике и кричал:

– Леня!.. Леня!.. Бабка сейчас обругала Настеньку...

Она плакала, прислонившись к березе, ее плечики вздрагивали, и голова куталась в платок. Она была такая маленькая-маленькая. Мне хотелось упасть к ее ногам, обнять узкую белую юбку, держать ее ножки, заглянуть в глаза и плакать. Но тут был Леня.

Он стоял перед ней, широкоплечий гигант, расставив свои ноги и закинув голову, и бил ладонью по стволу березы, отчего падали на нас

сухие ветки.

– Старуха выжила из ума... Настя!.. Она продолжала плакать и вздрагивать.

– Ты слышал все?..

– Да... она назвала ее...

– Ступай! – крикнул Леня. – И не смей говорить...

Не смей говорить, – когда наша кухарка давно, конечно, разблаговестила по всему двору.

Вечером был большой шум на галерее. Бабка гремела ключами и крынками и кричала:

– Плюну на всех на вас!.. Завтра же уеду!..

– Хоть сейчас!., эх, угрожали: «уеду!»... Да, уезжайте!.. – кричал дядя. – Никакого от вас проку, окромя грызни, нет!..

Я не понял... Должно быть, дядя принял сторону Лени.

Гришку погнали за извозчиком, и бабка Василиса отъехала к своей дочери, куда-то на Зацепу. Но она, конечно, завтра же раным-рано вернется к своим коровам: это уже повторялось не раз. Ее ведь «ни шилом, ни видом не проймешь», – как говорили у нас на дворе.

На следующий день старичок из 3-го этажа, в мундире, с двумя крестиками на груди и даже со шпагой, очень красный и взволнованный, звонился в тот дом. Леня был на заводе, а я в холодке клеил змей. Старичка впустили.

Что произошло там, – не знаю, но минут через пять старичок пробежал из парадного еще более красный, зацепился шпагой о приступок, и она вылезла у него под мышку.

– Хамство... хамы!.. – бормотал он, перебегая с красным платком на свое крыльцо.

– Ишь, павлина какая... распустил духи-то! – говорил Гришка. – Я, говорит, дворянин надворный... ха-ха... надворный!.. Взы-щу... Замарали мою дочь!.. А наш-то его и ожег... Вы, грит, к бабке... ха-ха!.. пожалте к бабке... ха-ха!.. Тращал все... Я, грит, на суд подам... А наш-то ему... хочь к царю!., хочь к амператору!.. Замарали!.. Их зама-раешь...

– Ведь бабка ее обидела, – говорю я Гришке. – Ты ровно ничего не понимаешь...

– Их обидишь!.. Они вон юбки на голову задирают, а жеребцы гогочут... Замараешь... Одна, сказывают, родила уж...

– Врешь!., ты – чистый болван!

– Вот те врешь!.. А вы опробуйте... придарьте-ка за одной какой... Ну, на Воробьевку пригласите для приману... на воздух... Не желательно ли, мол, на лихача – попробовать кумача!.. Мы поедем в маскарад, мы наденем припарад!.. что?.. И всякое с ними удовольствие получите... Бабенки распекистые!..

Эти слова всколыхнули во мне темную волну чего-то жгучего и заманчивого.

– А то – «замарали!..»

Но чистый образ красивой и белой Настеньки, ее голубые глаза и трепетные плечики вдруг ясно-ясно светлой картинкой встали передо мной, и чистая волна иных ощущений подавила неясные желания, вызванные грубыми словами Гришки.

– Э-эх, барчук!.. Уж будто и не понимаете ничего... сути-то всего... нащот девчонок? Вон Пашка-то у вас есть ведь... Ужли не звали?..

– Убирайся ты к черту!..

– Да ведь не впервой, чай... На то и господа!..

Кровь залила мне лицо. Опять забились порывы и смутные желания... Но опять чистый образ белой девушки покрыл их тихой грезой... О чем? Не знаю.

Вечером, когда я шел спать в свою комнатку, в полутемном коридоре столкнулся с Пашей. Я почему-то теперь стыжусь ее. Еще так недавно, года три назад, я спокойно ложился при ней спать, а теперь... теперь я стыжусь ее. Она притиснула меня в коридоре, обдала запахом свежего ситца и черемухового мыла и, будто нечаянно, нажала слегка мою ногу.

– Что ты?., что?..

Кровь ударила в лицо горячей волной.

– А разве вы... А Гришка мне сказал... Что вы дрожите как?.. Мальчик хорошенький... – зашептала она. – Зайти к вам?..

Она еще сильнее притиснула меня к стене, но я оттолкнул ее, весь охваченный дрожью, бросился в свою комнатку и заперся.

...На сирс-бы-ре-ной ри-ке-е... на злато-ом пе-со-о-чке...

Вот это я понимаю!

Среди бела дня, на глазах Гришки, всего двора и даже бабки Василисы, Леня позвонился к нашим жильцам. Что произошло там, – не знаю, но, как передавала Лизка, Леня пил чай с сухарями, говорил со старичком, и старичок крепко пожимал ему руку.

– Благородный человек... образованный человек...

И сам проводил его до крыльца.

По мнению нашего двора, это хуже всякой «морали», мальчишке вскружили голову, и он роняет достоинство всей фамилии. Говорили, что теперь «уши выше головы растут и яйца стали учить курицу».

Дядя Захар мрачен, но тетя Лиза, идя как-то от обедни, встретила с Настенькой и ласково поздоровалась. Степка высказал мнение, что *он* повезет *ее* в Питер, «пожирует» с ней и бросит, и тут же добавил, что и он не думает жениться на Польке, а на Воробьевке она уже узнала, сладки ли вишни. Как подслушала Полька и передавала на кухне, дядя говорил тете Лизе, что осенью сам поедет в Питер и «устроит там Лене мамзель», и тогда вся дурь у него вылетит из головы.

Ну, в этом я сильно сомневаюсь, потому что вижу по вечерам, как дело быстро идет вперед, и не только вижу, но и слышу... Хотя Степка и говорит, что «девку поцеловать – что плюнуть».

Как-то вечером, уже после ужина, когда мы всей семьей сидели на крыльце, и дядя Захар приказал проводить по двору лошадей, пришел кривоногий портной Кругов. Он был взъерошенный и растерянный, чуть не плакал и просил дядю Захара позволить переговорить. Скоро мы узнали страшную новость, напомнившую мне давно испытанное, томительное чувство непонятного ужаса, когда убили царя.

Мы узнали, что у портного был «обыск», но «ничего не нашли»; что сын портного бежал за границу, находится где-то в Женеве, и что от него получено письмо. Он, как и Леня, учился в институте и жил в

Питере на свои трудовые гроши. Его хотели за что-то арестовать, но не успели...

Портной, без картуза, растерянно стоял перед дядей, комкал письмо и спрашивал, что теперь ему делать.

– Теперь он уж не придет?., не воротится? – повторял портной, по привычке отыскивая иглу на груди. – Как же быть-то теперь?.. Прощение ежели написать...

– Достукался! – глухо говорил дядя Захар и чвокал зубом. – Надо было пускать!.. Достукался!

– Матерю, говорит, поцалуй... обо мне не горюй! – растерянно твердил портной. – Что ж теперь?

– Снявши голову, по волосам не плачут. Нечего теперь... И нечего тебе ходить сюда! – вдруг закричал дядя Захар. – И ты дурак, и сын твой болван!.. И нечего...

– Обо мне, говорит, не горюй. Что ж теперь?

– Ступай, ступай... И нечего тебе... Ступай к адвокату...

Леня подошел к портному, тронул его за плечо – и сказал:

– Завтра я скажу вам, что надо... Бояться нечего.

– Ступай, ступай! И нечего тебе тут! – сказал дядя резко.

Портной надел картуз и, растерянный, ушел. Мы все молчали. Леня бил тростью о камень. Равномерно стучали подковы по камушкам двора.

– Вот оно! – вдруг разрешил томительное молчание дядя. – Пожалуйте... Отец-дурак жилы выматывал, а сынок-прохвост отблагодарил...

Все молчат. Отрывисто фыркает лошадь. Плывут из углов двора тени, густеют.

– Ну, как по-твоему? Ну? Хорошо?

Леня бьет тростью о камень. Кто-то затворяет окно.

– Ведь с тобой на квартире-то стоял?

– Ну, и что же из того?

– Как что же!.. И ты не знал?.. Как, жил и не знал! Алексей! – тревожно спрашивал дядя.

– А почему вы думаете, что я не знал?

– Как! Так ты знал?! Ты знал?!

– Здесь не место рассуждать об этом... Оставимте, пожалуйста...

Все равно вы не поймете меня...

– Ну да, ну да... Где нам, дуракам... Только вот что я тебе скажу... Нечего тебе ехать туда, нечего!.. Не пушу я тебя!

– Какие пустяки!.. То есть, как не пустите? Сам поеду!.. И чего вы волнуетесь!

– Чего... Черт вас дерит!.. Сам!.. Ведь голову он с отца снял... голову!..

– Я с вас, кажется, не снимаю...

– Э-эх... Много ль тебе еще-то там торчать?..

– Скоро, скоро...

И Леня опять стал бить палкой и насвистывать.

Бедный дядя Захар! Он был очень обеспокоен, долго сидел на лавочке, думал и молчал. О чем он думал? Должно быть, о Лене. Нет, он был уверен в нем, что он не сделает так, как этот «мещанинишка», которому нечего терять. Леня должен принять разрастающееся дело, ставить новый завод, поднять фамилию, жениться и продолжать род.

Долго мы в тот вечер сидели всей семьей на лавочке, сидели и молчали. Гришка и Архип водили лошадей, слышался в тишине равномерный удар копыт, довольное отфыркивание сытой лошади, да изредка красным огнем сверкала из-под подковы искра в опустившейся темноте. Трубы черными шашками резали еще светлое небо. Там, в небе, рождались звезды; блеснула из-за края крыши точка, стала ползти, шириться, и выдвинулся ясный рог моложака-месяца.

– Месяц новый народился смотрите! – сказал чей-то молодой голос.

– Спать пора! – глухо отозвался дядя Захар, вздохнул и поднялся.

Ярче и ярче звезды в небе, ушел за крышу месяц с острыми рожками, гуще тени в углах нашего старого двора.

Дня через два после этого вечера какой-то молодой человек, с шапкой волос под пуховой шляпой и в крылатке, спрашивал у Гришки, дома ли Алексей Хмуров.

– Здесь, здесь! – крикнул Леня из кабинетика.

Он выбежал на крыльцо, крепко пожал руку молодого человека, собрался и ушел вместе с ним.

Появление человека в крылатке сейчас же сделалось известным всему двору. Особенно интересовались – почему он не зашел в покои.

– Как мышь летучий... и строгой такой, – говорил Гришка. – А сапоги у его...

Леня вернулся скоро, взял у дяди денег и куда-то отнес.

– Так... товарищ один... проездом.

– Обирают тебя они, простоту. И ни одного-то порядочного товарища нет у тебя... Рвань какая-то все.

– Это мое дело.

– Вижу, что твое... Вон у Феоктистова тоже сын в Питере. Что с ним не знаешься?

– Я по ресторанам не люблю.

– Ну вот... Да что я, хуже буду, ежели в ресторан закачу, а?

– Это мое дело.

– Наладил!.. Всегда так. С тобой, как с человеком, толкуют, а ты... – Эй, Гришка! Ты слушай, черт, а не ори «чево!». Заложить Строгова!

XV

Близилась Пасха. Леня приехал еще на шестой неделе поста, Я нашел в нем большую перемену: похудевшее лицо приняло выражение грустной озабоченности, а над переносьем резко обозначились складки, как у дяди Захара. Он ни разу не съездил навестить «берлин», и дядя старался узнать, не болен ли он. У нас говорили, что это все от любви, по мнению же дяди оттого, что Леля насилует себя и «не живет, как мужчина».

Целые дни Леня проводил в кабинетике, даже запирался. Что он там делал? Этому не знала даже бабка Василиса; хоть и подглядывала, а ничего не видала, потому что отверстие в замке было заложено бумажкой.

Прибирая комнатку, тетя Лиза нашла на столе конверт с невиданной маркой.

– Это откуда же?.. Марка-то чудная какая?

– Ах, ну что вам нужно?.. Марка и марка!..

Настенька... И с ней что-то не ладится у Лени. Они редко встречаются в садике, и Настенька часами простаивает в верхних сенях у окна. Положим, дни-то такие, страстные дни...

Везде такая азартная чистка, что рад забраться куда-нибудь в щель и проспать до полночного звона.

Нас поднимают с пяти утра, гоняют к утрени, «часам» и к обедне. Какая тоска!., и как неотвязчиво стоит в ушах сте-нящий напев: «иже в девя-а-тый час»... А как хорошо на дворе!.. Задорно и страстно верещат воробьи в тополе под окном, скворец потрескивает на пруте у скворешни на зорьке... Слышно, река уже прошла... А весенний запах навоза, прели и земляной силы, что льется неизвестно откуда, веселый грохот колес!..

В сарае булочник уже мнет творог в кадушках и руками выдавливает в формах пасхи. У Трифоныча выставлен на окне большой ящик с красными яйцами, и Степка уже лакомится ими под навесом на заднем дворе.

В четверг я причащался и в особенно мирном настроении сижу на лавочке, против кабинетика. Окно выставлено, и зеленая занавеска играет под ветром.

Сколько воспоминаний вызывает это окно, крыльцо с разъехавшимися ступеньками и узорчатым карнизом, дряхлая галерейка, где на солнечных квадратах греются потомки целого поколения «мушек» и «жуликов».

Теперь в больших комнатах дяди Захара, с натертыми, желтыми от мастики полами, тихо и чинно. Тянутся вынутые из чулана ковры, теплятся лампы в углах, ярко блестит чищенный кирпичом медный крест в комнатке бабки Василисы, плавают струйки регального масла и ладана. Выкуривают будни, хотят не только полы и стены, хотят даже воздух переменить, силой ввести праздник в покои. Но суеты, будничной суеты еще больше.

Бабка Василиса переживает страду: ее рвут на части. На погребнице висят грязные мешки с творогом; стоят решета с «откидкой», на тоненьких ножках протянулись рядками пузатые «пары»; плавают в банках жирные комья масла, падает с мешалок сметана. Бабка рвется и в церковь, и на погребницу, но погребница захватывает сильнее.

Мальчишки из трактира и старички из богадельни не покидают двора, тянутся длинной вереницей и позвякивают пятаками. Целая лаборатория на погребе: идет в дело и подгнивший творог,

сдобренный свежим, и снятое молоко с мучкой, и задумавшиеся сливки.

Приглашенный резник выкраивает из теленка котлеты для господ и грудинку людям.

На кухне чад, сутолока и тревога...

Дядя Захар говеет и будет причащаться в Светлый-день за обедней. Отдан строгий приказ никого не пускать «за деньжонками».

Я вижу, как чередуются печники, подрядчики, трубочисты, каретники, лавочники, все. Дяди нет дома и – «после праздников приходите». То и дело гремит с галереи:

– Сказано – дома нет!.. В шею гони!.. После праздника!

Все слышат, жалуются, конечно, но Гришка сторожит двери и не пускает. Старая, смешная история!..

Я сижу и смотрю на зеленую занавеску. Ее шевелит ветерок, и я вижу бледное, красивое лицо Лени.

– Здравствуй, Леня!

– А-а... здорово. Ну, как дела?.. Учишься?

– Ничего... Я уже в четвертом...

– Так... – он подходит к окну. – Весна пришла, Колюшка... Скоро экзамены?

– Да. И у вас там тоже экзамены?

– Да, и у нас...

Он облокачивается на подоконник и смотрит вниз, на плиты под окнами, как давным-давно, когда, бывало, еще мальчуганом свешивал свою курчавую голову вниз, стараясь плевать в одну точку. Занавеска шелестит за его головой, вздувается пузырем и, опадая, то закрывает лицо, то опять откидывается в комнату.

– Почтальон не проходил?

– Кажется, нет... не видал.

Вот и Пасха. Мы ходим в тот дом христосоваться. Все одно и то же, неизменно: столик с закусками у печки, ряд бутылок с разноцветными пробками, попы и монахи, монашенки и деловые поздравители.

Вечером в садике Настя и Леня. Тихо-тихо говорят они. И, кажется, нет прежнего увлечения, не слышно поцелуев, и горничная уже не бежит звать ужинать.

Настенька проходит поникшая, кутаясь в вязаный платочек, а Леня еще долго бродит один в глухих сумерках, надвинув на лоб шляпу.

Кирпичники толкуются на дворе с третьего дня Пасхи: происходит наем, и Гришка подсчитывает пятаки. Как это все надоело, – эта вечная смена одинаковых сцен, тусклых своею стихийной будничностью и ненужностью. Бежит жизнь, – и ничего нового; все старо и скучно, как стары и скучны серые стены сараев. Неужели еще десятки и сотни лет будут толпиться они, всегда понурые, мрачные, грязные и вздыхающие?.. И кажется мне, что это, действительно, что-то стихийное. Дядя Захар сойдет в могилу, а кирпичники, и все те же, в таких же заплатанных полушубках и азиях, лаптях и сбитых сапогах, будут толпиться, спать на помосте у сарая, жевать хлеб, курить вертушки, сплевывать и говорить все так же малопонятно и несуразно.

– Да, стальной, по три с гривной... Выволочили глину, почитай, к Покрову всею... лонатошники, стальной...

– И што ж, к Жучкину пойдём... и харч лутче...

– Квас обязательно даёт... да... Сидора-то Пахомку-то?.. Перед масляной помер... Грызё у его заходила.

– Защемилась она... унутрю прошла...

– И напала эта самая вошь... си-ила!.. Откеда берётся...

Я вижу, как тощий кирпичник бьёт «силу» и стряхивает с овчины.

– Ты, че-орт!.. трясё!..

– А што? Есть мне её – што ли?.. Прет, вить!..

Боже, Боже! Какие лица! Какие рубцы на щеках, какие скулы, с черной, потрескавшейся кожей, какие мозоли и синеватые бблячки на узловатых пальцах!.. Какие поломанные, кривые, желтые ногти, волдыри на лицах, заплаты и швы на теле, азиях и полушубках!..

Я уже знаю, что не из тридесятого царства, не «оттуда» приходят они и не «туда» пойдут в дожди и стужу по грязным дорогам. Детство прошло, розовая, таинственная дымка разнесена ветром, растаяла. Я знаю, откуда приходят они и куда пойдут. И уже теперь начинаю я думать о них, и сердце начинает сжиматься, когда я смотрю на эту пугливую, несуразную и обманутую толпу, на эти корявые руки, вечно таскающие и формующие кирпичи, и ноги, прыгающие в мокрой глине.

Леня смотрит на них из своего кабинетика и слушает.

А юркий Александр Иванов выскакивает из конторки с листком и карандашиком на бечевке и выкликает:

– Эй, вы, судари!.. Выходи! Обжигало! Кто обжигало?

– Я обжигало, Конопаткин!.. С праздничком, Ляксандра Иваныч, Христос Воскрес!

Александр Иванов не решается сказать «воистину», но Конопаткин как-то размяк весь, стянул к уху картуз, утерся и уже протягивает синеватые губы.

XVI

Леня уехал в субботу на Пасхе и уехал внезапно. Еще в четверг он ходил по саду с Настенькой, еще в пятницу утром собирался с дядей ехать после обеда на завод, заходил в конюшню посмотреть Жгута.

Казалось, вся хандра и беспокойство пропали. Казалось, так все хорошо и ладно в том доме.

На галерее пили послеобеденный чай, и я, поощряемый тетей Лизой, уписывал варенье. Леня читал газету, дядя Захар ругал в окно Архипа.

– Телеграмма, – сказала горничная, подавая Лене пакетик.

– Откуда еще? – спросил дядя Захар.

Леня прочел, и лицо его побледнело. Он весь, как будто, встряхнулся и поднялся. Тетя Лиза смотрела на него испуганная, спрашивающая.

– Что такое?.. О чем? – спрашивал дядя.

– Я еду сегодня... еду в Питер.

– Новости еще!.. Ну, какого черта, ей-Богу! – дядя раздраженно сбросил ладонью крошки со стола и задергал глазом. – Приедет на неделю и бежать...

Я видел, как вздрагивала у Лени верхняя губа: он, видимо, старался сдержать волнение.

– Леня, зачем?.. Ведь ты же и Фоминую хотел... – едва-едва могла выговорить тетя Лиза.

– Оставьте его!.. Ведь это вот! – постучал дядя об стол пальцем.

– Да... мне необходимо... в среду экзамены...

– Слушаюсь-с, слушаюсь-с!.. Хоть совсем!.. Как волка ни корми, он все в лес!

– А-а... ну, если нужно!.. Ну, мамаша, пойдете укладываться.

Я смотрел на беспокойное, напряженное лицо Лени и по глазам видел, что что-то не так. Дядя Захар с треском отодвинул стул и прошел в зал. Там он долго ходил, трясая своим хохлом, курил кручонку и чвокал зубом. Подошел к кабинету и открыл дверь.

– Алексей!.. Оставайся, нечего дурака строить... Слышишь?

– Нельзя. Ведь скоро опять приеду...

– А вы чего, чего вы? – накинулся дядя на тетю Лизу. – К черту эти ваши слезы!.. И без вас тошно...

Я заглянул в кабинетик. Тетя Лиза нагнулась над чемоданом, складывая крахмальную рубашку, которая никак не уместилась. Я понимал, что она переживала в эти минуты внезапного расставания, она, жившая одним им, на кого она не могла в досталь наглядеться, первенцем и единственным. А он так всегда мало говорил с ней, так мало... Он уезжает от праздников, а ведь у нее тогда только и был праздник, когда был при ней он, хотя бы в своем кабинетике, ее Ленья. Ему она приготавливала любимые кушанья, предупреждала все его желания; ходила на цыпочках, когда он спал; сама постилала постель на диванчике и оправляла лампадку, которую он тушил. Она простаивала за полночь перед широким киотом, молилась, вынимала задравные просфоры... Она перенесла его портрет в спальню, чтобы и ночью видеть его.

– Носки вот тут... мыло вот...

Дядя Захар мрачно смотрел, держась за косяк. Ленья стоял у окна, подперев рукой подбородок. Зеленая занавеска откинулась ветром, открыв старый двор, садик позади, дряхлый амбар, сени на третьем этаже.

– Полотенце... вот тут... ночные рубаш...

Тетя Лиза истерически вскрикнула и склонилась над чемоданом. К ней бросился Ленья, поднял и отнес на диван. Он... он плакал...

– А, черт... Полька! Полька!.. Куда вас черт уносит?.. воды дай!.. Ну, мечись, чертова кукла!..

Дядя скрипнул зубами и загромыхал по залу.

– А ты чего тут, не до тебя!.. Я, конечно, исчез.

В каретном сарае Архип спешно закладывал экипаж. В кухне бабка Василиса увязывала кульки и свертки.

Перед отъездом, когда я торчал наверху, у товарища, вошел Леня. Его приход удивил всех. Это был его второй приход. Настенька вспыхнула и побледнела. Леня посидел минут пять и встал.

– Счастливого пути, счастливого пути! – торопливо говорил старичок. – Там у меня племянник в департаменте...

Настенька прошла за Леней в сени. Я не утерпел и проскользнул следом; конечно, они будут прощаться.

В наших сенях, где никого не было, где стоял старый шкаф и большие сундуки, в полутемном углу, они остановились и молчали.

Она покорно протянула ему руки, бледная, трепетная. Он взял их, вытянул, откинулся и смотрел на нее сверху... и как смотрел!.. Он словно хотел запомнить ее черты, восковое лицо, падающие в косы волосы и тихие, молящие глаза. Так прошло около минуты. Сильным порывом привлек он ее к себе, сжал ее голову и поцеловал. Так они стояли, точно замерли оба. А я, с сжавшимся сердцем, смотрел через балюстраду лесенки.

– Прощай! – услышал я шепот.

Наверху хлопнула дверь. Они оглянулись оба, Леня вырвался и, быстро шагая через ступеньки, побежал вниз.

Настенька прошла мимо меня колеблющейся походкой, не замечая меня. А я... я спустился в наши сени, сел на сундук и плакал.

– Тпррру-у... тпррр!.. – с грохотом выкатился экипаж.

Укладывали чемоданы. Накрапывал дождь. Бабка Василиса, как тощая ворона, с трясущейся головой, выплядывала с галереи и крестила внука. Тетя Лиза повисла на шее у Лени. Дядя Захар, в пальто, стоял на крыльце, и его хмурое лицо со сдвинутыми бровями было бледно и дергалось. Он тоже крестил Леню и ругался на кучера, что не пристегнули фартука. Старичок Трифоныч несколько раз приподнимал картуз, что-то высказывал, но его не замечали. Сперва сел, сильно качнув пролетку, дядя Захар, потом Леня в черном пальто и пуховой шляпе, с сумочкой через плечо. Садясь, он остановился в пролетке, мельком оглянул старый наш двор и садик. Дряхлый Бушуй глухо и отрывисто лаял из конуры. Леня приподнял шляпу и поклонился кверху. Там, высунувшись до пояса, лежала на подоконнике Настенька.

– Счастливо отправляться... – заговорили кругом.
– Держи ворота! – крикнул дядя Захар. – Опять пьян, черт!..
Держи ворота...
Тетя Лиза прижимала платок к глазам.
– И так дождь идет!.. Ступайте к себе!.. Ну, с Богом!
– Леня!., прощай! – крикнул я резко, даже испугался своего голоса.
Он обернулся ко мне, взглянул растерянно и замахал головой, берясь за шляпу. Уехали.

XVII

Последние дни апреля, но погода холодновата, небо в облаках, перепадают дожди, и наш двор плачет гнилыми стенами сараев. И сад наш плачет поломанными сучьями, разбитым забором и убогой беседкой, когда-то нарядной и пестрой. Глухо бьет копытом застоявшийся Жгут, редко скрипят творила каретного сарая. Дядя Захар скучен, не ездит на завод, и только Александр Иванов выкатывает ранним утром на дрожках.

Я часто поглядываю на кабинетик. Там пусто. Зеленая занавеска за стеклом укрыла его скромные стены и клеенчатый стол.

Тетя Лиза ездила к Троице, и о. Варавва благословил ее просфорой, – признак благодати, как полагают у нас.

Как-то появился в тот дом дурачок Пискун, большой охотник до лоскутков.

– Ох, много у тебя лоскутков... много... Дай лоскутков Пискуну I..

«Много лоскутков!., много!!..» – в этих словах полагали глубоко сокровенный смысл. Были слезы. Пискуну, с подвязанной по-бабьи щекой и рыжей бородкой, навязали самых лучших лоскутков, и он вылетел с ними из ворот, роняя их по двору, а с галереи неслось:

– Всякую шантрапу пускают!.. ГришкаИ. я тебя, подлеца, в три шеи со двора!

Вечерами дядя Захар ходит по темному залу; глухо отдаются в пустом доме пудовые шаги; тетя Лиза одна сидит в спальне перед вечной грудой белья, а маятник в столовой идет-идет, отсчитывая

секунды скучного вечера. Только бабка Василиса, как *perpetuum mobile*, не забывает своего дела и возится у коровника, выкидывая вилами навоз. Да, истинно – *perpetuum mobile*! А когда-то она была первой красавицей и кружила головы ловким молодцам из купецкого рода, в лаковых сапогах и косоворотках под длиннополыми кафтанами. Давно... давно... Теперь косточки этих ядреных молодцов гниют под старыми липами единоверческого кладбища.

Сны... Все видят необычайные сны. Разговоры о них прочно вошли в обиход двора, как теперь утренние газеты. О снах в кухне докладывают наверху, о снах наверху рассуждают на кухне. Сны под пятницу – сны особенные, и я уверен, что Гришка врет, так как ему, именно, и снятся сны под пятницу. Он рассказывает о кучах серебра, о провале крыши и о яме «на самой тоись середке двора».

Сегодня среда, но я видел сон тяжелый, кошмарный. Он давит меня, и я в тоске хожу по садику, где еще недавно ходили *они*, и думаю, думаю об охватившей меня тревоге. Она будет расти к ночи – я знаю, и я боюсь ночи, боюсь пустоты и сгустившихся теней у беседки. В этих тенях и закоулках притаились тайны, стерегущие, будущие... Я хожу по садику и боюсь ночи. А она надвигается в пустоте и тоске. И вокруг разлита эта пустота и тоска, тоска. Точно уже ничего нет для меня ни позади, ни впереди, – одна эта тяжелая мысль о ночи, один страх...

«Жулики» и «мушки» с звонким лаем приняли кого-то, и отсюда кажется, что они рвут этого кого-то... Это, конечно, почтальон, кого они терпеть не могут. Я хожу...

Кто-то дробью скатился с галереи, хлопнуло окно, скрипнуло творило сарая. По двору пробежала Польшка.

– Григорий!.. Григорья!.. Гришка!.. – раздается отчаянный, взвизгивающий голос Польки. – За дохтуром беги!..

Стучат копыта по настилу. Архип торопливо выводит Строгого... Какая тревога!.. Я бегу в страхе, спрашиваю.

– Телеграмма пришла из Питера... Лексей Захарыч при смерти... На машину едут...

Архип никак не может попасть дугой в петлю. Лошадь не стоит, оглобли падают, хлопают двери на галерее, кто-то быстро-быстро пробежал со свечой, мелькнула тень на потолке и провалилась.

Я стою... в ушах отдается бессмысленное – «при смерти...».

Я бегу к себе. Там все сбились в передней и молчат.

Смотрят друг на друга и молчат. Мать накидывает платок на плечи и почти бежит в тот дом.

Сестры в уголке плачут. Чего они плачут?.. Я так странно спокоен, и для меня все это невероятно.

– Может быть, адрес перепутали, – говорит кто-то и сейчас же отвечает:

– Да нет... не может быть... Этим не шутят...

Я уже не боюсь ночи и темноты, иду в зал, припадаю лицом к окнам и смотрю в тот дом. Кабинетик глядит черным глазом, в окна зала черно, и только в дальней комнате, за гостиной, – золотая полоска плохо прикрытой двери.

Въезжает извозчик, бежит запыхавшийся Гришка, и тяжело взбирается на ступеньки крыльца грузная фигура старика-доктора.

Туда я боюсь идти. Я боюсь горя, я боюсь взглянуть на дядю Захара и тетю Лизу, которая бьется теперь на полу.

Поезд идет в 10, а теперь уже около 9.

Распахнулось парадное, выходит доктор и пропадает в воротах, Гришка стоит с разбитым фонарем, в котором оплывает свеча, и тень Строгого мечется по белой стене и уходит под крышу. Громадное колесо захватило весь нижний белый этаж красивой черной звездой. Я открываю окно. Тетя Лиза почти бежит с лестницы, прыгает в пролетку, не попадает на подножку и обрывается. Ее подсаживает Гришка. Дядя Захар, сутуловатый, с низко надвинутым козырьком, медленно, переваливаясь, спускается сверху, и слышно, как жалобно попискивают ступеньки.

Кто-то плачет тоненьким, слабеньким голоском.

Кто это? Польшка?.. Нет, она пристегивает фартук и что-то кладет кучеру в ноги. Кто же?

Бабка Василиса... Согнувшись, сидит она на нижней ступеньке лесенки и плачет.

Протягивается палец дяди Захара, толкает Архипа...

В тишине падающей ночи гремят колеса, и не слышно обычного: «держи ворота!»

Темно в моей комнате. Я лежу и не могу собрать бегающие мысли. Тоска, но страха нет. Вскрикивают вопросы: почему? как? – и уходят без ответа. Стук в стекла. А, дождь пошел... Ярko мигнула

комната и ушла. Гром гремит... А глухо гремит гром в городе под крышами... Я у окна. Вот он, наш старый двор! Он ярко вспыхивает и тонет.

И какой гром! Точно высыпали на крыши груды камней. Какой ливень!..

Назойливо мычат в сарае коровы: должно быть, их не доили сегодня.

Поздно ночью звонок у ворот. Я не сплю, слушаю, жду... Звонок у нашего парадного, шум и беготня в комнатах. Выплываю в столовую. Бабка Василиса, промокшая и еще более похудевшая, принесла телеграмму: она неграмотна.

«Ваш сын... скончался...»

Над моей головой, у жильцов, тревожные, мягкие шаги... Что там?

XVIII

Он вернулся, но не вступил в ворота. *Он* вернулся...

Какая унылая погода, почти осенний дождь, и как хмуро смотрит мокрый колодец с зеленым коньком.

Ег опривезли в горбатом ящике, обитом белой парчой и со стеклом в головах. Нагло глядит этот неуклюжий ящик с белого катафалка, с намокшими ватными султанчиками. Это не простой ящик, сбитый в лавке питерского гробовщика: это – работа бессмысленного перста стихийной силы.

Я стою неподалеку, пляжу на ящик и не могу считать его гробом, не могу плакать и страдать. И не один я: все, все, куда ни взглянешь. У всех деревянные лица, все неопределенно смотрят на белые султанчики, венки, на волочащиеся по грязи кисти покрыва, на ящик... И они не верят.

Слова литии вырываются ветром, несутся по грязной улице и тают в мелкой дробе дождя.

«По-да-а-аждь... Господи...»

Кто-то вскрикивает, но процессия уже ползет, и Александр Иванов подхватывает забытый кем-то у ворот зонтик. У колеса двигается дядя Захар, держась за колонку балдахина, и смотрит на

переступающие ноги. Я вижу его шершавое пальто, и только. Тетю Лизу усадили в карету и дают нюхать спирт.

Широкие ворота монастыря приняли ящик, черный хвост процессии и не закрылись, точно ждали еще...

Сотни грачей и галок гремели в вершинах монастырского сада.

Стройно отдавались под старыми сводами «надгробные рыдания» монахов, и вспугнутой птицей бился в куполе чей-то крик.

«Последнее целование...»

Но его нельзя дать: *он* заперт в ящике, засмолен, завинчен; *он* плядит в стекло закрытыми глазами.

И все спешно подходят, взбираются на ступеньки и долго плядят, думают над стеклом, как кажется. Ящик ждет... Я заглядываю в глубину, в сумрак... Темное лицо с прищуренным глазом. *Он* спит... Я вижу крепкие, белые зубы, дядин нос с горбинкой и черную прядку на лбу...

...Тихие сумерки под белыми березами, дорожка под бузиной... шаги, шепот, смех... тени сгустились за беседкой... белая кофточка...

«Почтальон еще не приходил?»

Ведь это было недавно, вчера, совсем вчера...

Он скрючен в ящике, *его* колени уперлись в завинченную крышку. Оттого такой ящик, и все так странно смотрят.

Зачем это? кто завинтил *его*? какая сила?..

...Святой, Бессмертный, по-ми-луй нас...

Ящик плывет в черной волне. Плачет стекло под дождем. Печально шумят старые липы...

Поворот, последний поворот, камень и железо решеток. Яма и желтый бугор грязной глины. Мостки... и молодцы в коленкоре прикидывают, как бы половчее спустить;

– Готово?..

– Пуска-ай...

Удачно. Не зацепило нигде, не трянуло, и спешно рокочет веревка, спешит выбраться к свету.

В могилу плядят двое бледных, плохо одетых людей. На них форменные фуражки, запачканные грязью высокие сапоги. Они приехали проводить из далекого Питера и, угрюмые, шли за гробом. Они не знали никого из этих чужих им людей; они удивлялись, конечно, что это *его* родные – эти почтенные барыни в шляпах со

стеклярусом, солидные люди в картузах, эти ветхие старушки в платках и салопах. Они знали *его*.

Бабка Василиса, еще более высушенная, укутанная десятком платков, сидит на чужой могиле и вертит белый комочек платка. Она убита, эта семидесятилетняя хлопотунья. Тетю Лизу, со вспухшим лицом и поникшую, словно уснувшую, держит лысый купец-дисконтер, держит неуклюже огромными лапами, – и ни тени мысли на его чугунном лице. Востроносый Трифоныч усердно крестится на березу. Дядя Захар... Дядя Захар страшен застывшей фигурой, почерневшим лицом, провалившимися под лоб глазами. В нем затаилось жестокое что-то, жуткое. Он сжимает чугунную головку решетки. Страшная тяжесть давит его к земле, но он только пригнулся, затаился и думает, думает...

Александр Иванов суетится с кутьей, которую пристроил на соседней могиле, поминутно зажигает гаснущую на кутье свечку, вежливо шныряет в толпе, отбирает свечи, тушит, шепчется с регентом, гоняет старух, прыгает по могилам, мешает.

Стали отходить. Старик в митре слабо взмахнул на прощанье кадиллом.

– Прикажете дрожки? – подскочил Александр Иванов.

Дядя Захар не ответил, подошел к бугорку, постоял... Покачал головой и пошел по могилам, не надевая картуза. Лил дождь. Грачи протяжно шумели в вершинах.

– И вы пожалте-с... помянуть покойника... в собственном доме-с на...

Александр Иванов уже вертелся возле приезжих в потертых пальто.

Они ничего не сказали и подошли к могиле.

В уходившей толпе я заметил знакомое, восковое лицо. Кажется, это была *она*...

Глухо катили кареты и пролетки, шли пешеходы.

Лихо, обгоняя всех и спеша поспеть раньше и встретить, прогремел на дрожках Александр Иванов с кутьей.

У нас опять все говорят шепотом, как когда-то давно, давно...

Вчера ночью в том доме были полицейские и жандармы, перерыли весь дом и даже комнатку бабки, чердак и чуланы, нашли какие-то «банки и трубки» и уехали только под утро.

– Уж это верно... – говорят у нас. – Вон *он* какой оказался... Ну, теперь понятно... Либо *там* с *ним* покончили, либо сам...

Я вижу, что у нас знают что-то. Я чувствовал это еще в день похорон, но теперь знаю и я. Так вот что!..

– К генерал-губернатору поехал с Петром Иванычем... А то теперь затаскают...

Петр Иваныч – очень богатый родственник, которого знают даже министры.

– Прямо выродок из семьи!.. Позор-то какой, Господи!.. Вот, вот... наказал-таки Бог... сыном наказал. Сколько народу слез от него пролило...

Все отодвинуто: говорят только о позоре и наказании. И я понемногу вслушиваюсь, ловлю и узнаю многое.

Я узнаю, что Алексей (его уже не называют Леня) был «у них в шайке, был нигилистом, безбожником и самым последним человеком». Он обирал дядю Захара для них, этих извергов, идущих против всего. Они вызвали его телеграммой приготовить динамит, но его накрыла полиция, а он взял да и отравился «стрихином».

– Вот его и покрючило... Вот Бог-то как делает!..

Так вот оно что!.. Так он был... Мне вспомнились смутные страхи прошлого... Опять встала передо мной, но уже в более ясном виде, та неизвестная, но существующая сила, *они*, которых я когда-то боялся, которых боятся у нас. А я? Нет, мне уже не страшно теперь. Нет, теперь я хочу знать ее, эту силу, «врагов» иг... *Он былих!* И я не знал!.. Совсем рядом, близкий, родной, Леня... Я мог бы узнать от него все, обо всем... А теперь я не могу узнать и не знаю, от кого бы я мог узнать все. Зачем *они* и кто? Мне необходимо узнать все это: ведь с *ними* был Леня. Им я гордился, смотрел на него, как на самого умного и лучшего на нашем дворе, им хотел быть, когда подрасту.

Ему уступал даже дядя Захар. Почему же *они* страшны, если Леня был среди *них*?

И я почувал, что что-то не так, что у нас совсем ничего не знают о *них* и напрасно боятся.

– Теперь всех переберут, того и гляди...

Все газеты и книжки были собраны и проданы в железную лавку. Говорили, шептались, заглядывали в окна, ждали...

В том доме было тихо и жутко. Тетю Лизу увезли в Киев, к пещерам, а дядя Захар... Никто не знал, что делает в Ленином кабинетике дядя Захар, но скоро узнали.

– Запил!

На дворе беспорядок. Архип и Гришка забросили лошадей, напиваются с раннего утра и даже иногда не ночуют.

Александр Иванов – полный хозяин, грозит всех поставить на точку, что-то такое всем показать, рассчитать, но кучер и Гришка стоят друг за дружку горой и требуют за пять месяцев зажитого. По-прежнему мимо ворот плывут неизвестно куда груженные кирпичом подводы, и Александр Иванов теперь ловко нагревает руки, как говорит Трифоныч. Бабка Василиса свалилась, и какая-то кривая старушка продает молоко.

Да, все как будто остановилось, задумалось... Чувствуется, что в нашей ровной и безмятежной жизни пробита брешь; чувствуется, что жизнь нашего двора съехала с хорошо накатанной колеи и теперь пойдет... пойдет... В нее неумолимо и безвозвратно врезалось что-то, и она теперь будет ползти по швам, коробиться и распадаться.

Этот распад, как кажется мне теперь, начался уже давным-давно, когда дядя Захар купил себе к свадьбе цилиндр и брюки, когда стали нанимать молоденьких горничных в фартучках и крахмальных юбках, подписались на «листок», отдали Леню в реальное училище, праздновали медаль и «берлин» трубами и фейерверком, и Гришка нашел дорогу в «библиотеку». Она незаметно менялась, наша жизнь, и вдруг получила удар, задумалась и покатилась...

Теперь будут догнивать старые пни, и от старых корней будут расти побеги. И она пойдет, эта жизнь... Повалятся и уже валятся старые сараи и амбары, захватившие добрые полдесятины, упадут поломанные березки в садике, слетит широкая, как дебелая купчиха, разноцветная беседка, и на месте садика вытянется щеголевато новый дом с доходными квартирами, клозетами и проведенной водой; на месте ухабистой мостовой загудит трамвай, упадут деревянные столбики с масляными коптилками и сверкнет голубой огонь электрического фонаря.

Она распадалась давно. Уже не выжигают страстных крестов на дверях, не курят ладаном, хотя все еще не едят до звезды и исправно ездят к монахам...

На нашем дворе новые упорные слухи. Ничего не было!.. Не было ни «того» в Питере, не было никакой «химии», не было полицейских и жандармов: то есть, ровно ничего не было.

Леня, недавно стоявший в наших сенях, в уголку, и так глядевший на Настеньку, красивый и решительный, – погиб от любви к баронессе! Ему «не ответили», – и он отравился.

Пусть наш двор верит этому интересному слуху. Я не верю. Гришка, купивший себе бронзовые часы, может хоть двадцать раз тыкать своим грязным пальцем в «листок». Пусть репортеры в потертых пальто привозятся почтенным Петром Ивановичем на собственных рысаках, шепчутся в зале и пьют коньяк; пусть их шустрые перышки изображают отчаяние баронессы и пылкую страсть молодой натуры... Пусть...

Я знаю все, все...

Как-то в начале июня захожу я в тот дом. Я хочу первый раз в жизни поговорить с дядей, когда-то страшным, теперь таким жалким, как я предполагаю. Вхожу, чувствую знакомый запах кручонок.

Тетя Лиза! Я смотрю на нее, и кажется мне, что я не видал ее давным-давно. Она, постаревшая, с полупрозрачным лицом, смотрит так странно, почти испуганно. Я сажусь в мягкое, старое кресло, молчу... Смотрю, как ровно двигается большая игла, штопающая неуклюжий носок, как шевелятся морщинистые, потемневшие веки. А где же голубые глаза и маленькие, розовые губки? Морщинки у носа, желтеет кожа на лбу, и низко опущена седящая голова. И вижу я, как красивая тетя Лиза на моих глазах превращается в маленькую, сморщенную старушку...

– Тетя Лиза, вы больны были?.. То есть, я хотел сказать... как дядя?..

– Он не совсем здоров... простудился...

Игла колет ее тонкий палец. Тихо. А маятник, как большая нога идет и идет – в будущее. Я не вижу портрета: его убрали.

– Вы давно у нас не были, тетя Лиза...

Она молчит и поддевает петли. Шлепают туфли в зале, и бабка Василиса проходит тенью.

– Может быть, вы сегодня зайдете к нам?..

Мне жаль тетю Лизу, но я не знаю, как вызвать ее из тяжелого состояния, которое она переживает.

– Да... да... хорошо... Как здоровье мамы?... Бух... бу-ух...

Что такое? Это там, в кабинетике.

Тетя Лиза опускает чулок, смотрит на киот и вздыхает.

– Захарушка!.. что ты... Захарушка!.. – слышится Голос бабки.

Я впиваюсь глазами в тетю Лизу и вижу слезы, слезы....Бу-ух... бу-ум...

Я бегу. За дверью кабинетика слышится бурчание, глухой звон диванной пружины. Сильный удар в дверь.

– Захарушка, отвори... Захарушка...

Бабка Василиса, заострившаяся, с втянутыми щеками, держится за медную ручку двери и просит.

– Л-ленька-а! Ле-енька-а!.. – всхлипывает осипший голос и переходит в бурчанье.

– Господа Бога вспомни!., вспомни Господа Бога!..

– Дьявола!., дьявола!..

Бабка Василиса закрепощивает дверь часто-часто и испуганно, растерянно озирается.

– Оставьте!., маменька, оставьте!.. – с мольбой шепчет тетя Лиза и машет рукой.

Меня охватывает тоска, страшная, давящая тоска. Я отхожу к стеклянному шкафчику. Там все тот же коричневый старичок в шляпе, и веселый косец, и фарфоровая мышка...

Нет, я не могу больше, я бегу из этого дома, от этих бледных, умирающих лиц и водянистых глаз. Я бегу и... В углу, у печки, забытые калоши... А Х.А вот и старая трость, и хлыст на стенке...

XX

Он все еще здесь...

Уныло ползут дни на нашем дворе, в нашем доме. А в том?..

С корнем вырван сильный отпрыск той линии Хмуро-вых, и нам говорят, что та линия вымрет – и к лучшему. Чего хорошего ждать от нее? Люди-то все какие-то несуразные, крутые, взбалмошные...

– Дед-то его, дяди-то Захара, не то разбойник был, не то оголтелый какой-то... Как француз приходил, так он по Москве сновал с шайкой, и не разберешь, кого глушили, – своих ли, французали... Супротив самого Наполеона, как пожары-то пошли, церкву Божию запалил на Зацепе... Вот Господь-то и покарал: сына-то старшего, папашу-то дяденькинова и прикончили парни в рощах. Люют был покойник до девок... у-у-у! Уж что делал!.. Силком одноё увез там-иде, рощи-то вот где сводили... Да под Москвой парни перехватили и порушили оглоблей... И тут кровь пролил – насмерть двоих изувечил. Да и все они такие – хватастые, прямо лютые... Дяденька-то Захар такой-то оттябель был!.. Барку с мукой на Москварике своего кукурента на дно посадил из озорства... Забрался ночью да топором днище и просадила... Ну, судились... чист вышел, как огурчик... И все дело запутал и так подвел, что, быдто, кукурент сам барку спустил... Барина тоже, однова заташил на двор в цилиндре да под колодцем и выкупал и пустил на протувар... И в титах-то сидел, и к губернатору вызывали... И того оплел! Ну вот и вырастил сынка на позор... «В меня да в меня...» Вот те и «в меня»!

Так рассказывали у нас о той линии Хмуровых, и я любил слушать и воскрешать их хотя бы по дяде Захару. И они вставали передо мной в освещении легендарном. Такими, думал я, были и Стенька Разин, и Пугачев... Откуда они такие?..

Дядя Захар, наконец, выполз на свет Божий. Пора, так как Александр Иванов уже третий месяц всем кричит, что он теперь здесь хозяин.

Да, он хозяин. Он уже сплавил кирпич куда-то на новую стройку и затевает «хлигерь» на чистоту. Он уже перевел кирпичников на хозяйский кошт, кормит капустой и червивой солятиной. Уже приходили ходоки с завода и скрылись за решеткой участка по случаю скопа. Он уже ходит – брюки навывпуск, старается говорить гуще, и Трифоныч видел его в Государственном банке, в отделении вкладов.

И вот вышел дядя Захар.

Желтый, взлохмаченный, с ввалившимися ястребиными глазами, он потянулся, расправляя затекшие члены, забрал воздуху и потребовал лошадей.

Архип получил такой «анекдот», что дня два скрывался в конюшне. Лошади были запущены.

Когда приводили Жгута, дядя Захар дернул глазом и отвернулся.

– Продать... Завтра чтоб цыган взял!..

– Слушаю-с... – покорно повторял Александр Иванов.

Потом обошел двор, угрюмо оглядел сараи, конюшни, закоулки лачужки. Все было старо, гнило, широко и скучно. Мрачно взглянул на покосившуюся галерею, убожества которой точно не замечал раньше, махнул рукой...

– Плоха галдареечка-с, рельцы бы подвести... – говорил Александр Иванов, без картузика, следуя тенью.

– Стоит...

Потом был в конторке и перешвырял книги. Потом двинулся на завод, разгромил и уехал в город.

Вернулся он поздней ночью, пьяный, шумел на дворе и оборвал все звонки.

Скоро цыган увел Жгута, Строгого и Крутого, и остались в конюшне Стервец и Злодей. Скоро каретник увез пролетку, маленький шарабан, звонкий набор и троечный выезд.

Все чаще и чаще просыпался я ночью от стука в ворота и грома звонков. Бежали чьи-то шаги, и сиплый голос кричал:

– Дррыхнешь... черрт!.. По-длецы!.. дар-мо-еды!.. Завтра же вон!., всех... всех... Огня давай!..

Щелкает форточка, и тетя Лиза жалобно просит:

– Захар Егорыч!.. да что ты, ей-Богу... Да иди ты, Захар Егорыч...

– Мол...чать!.. куриные... мозги!.. Не ваше... дело!.. Грришка!.. огню!..

– Захар Егорыч... людей-то посовестись...

– Огню!., стой... ты... черрт...

Гришка приносит фонарь, и вижу я, что дядя Захар сидит на ступеньках крыльца. картуз на затылке, пальто нараспашку, расстегнут жилет, и висят обрывки цепочки. Дядя бурчит, шарит в карманах и перекладывает деньги. Громадная черная тень ползает по крыльцу широкими лапами, дергает головой, и картуз дядин падает к ногам Гришки. Тот подымает его и чистит.

– Во-ды... во-ды!.. – стонет дядя Захар.

Он раскачивается, тискает взбитую голову, рвет манишку, и золотая нагрудка со звоном прыгает по камням. Гришка приносит воды и стоит.

– У-у-у... – стонет дядя. – Во-ды-ы... лей... лей... ле-ей.
– Захар Егорыч... Господи!., голубчик... – плачет тетя Лиза.
Она, в белой кофте, со свечкой стоит у окна.
– Ле-ей... о-ох... у-у-у...

Он стонет с болью и глухо, и слышу я, как стучат его зубы.
Наверху открывают окно: слушает кто-то...

Уже играет заря. Кричат петухи на дворе. Белеют холодные окна.
Тускнеет фонарь, и сонно клюет носом взбудораженный Гришка.

Грузно, держась за стенки крыльца, подымается дядя, и вижу я,
как по осунувшемуся лицу ползут бледные тени утра.

XXI

Три года прошло...

Я знаю, что дела дяди Захара рушатся, что Александр Иванов грабит в обе руки, а дядя крутит с утра до ночи, швыряет деньги арфисткам и катает их дюжинами на тройках. Говорят, что в дядю вошел пьяный бес, и теперь все лезет по швам. Тетя Лиза разыскивает дядю по городу, наспех учитывает Александра Иванова, но тот тонок, как нитка, и уже купил дачу в Сокольниках.

Пачками протестуют векселя кредиторы, и судебные пристава показывают исполнительные листы.

На наш двор надвигается незнакомая сила чужого права. Ползет все и ползет с такой быстротой, что год-два – и дядя будет гол, как сокол. Тетя Лиза распродает салопы и дядины запасные еноты и хорьки, ценные шали и бриллианты.

Уже остановился завод, и на кирпич наложен арест. В мутный день ноября кирпичники получили с урезом последний расчет и ушли... навсегда. Уже появлялись солидные люди на нашем дворе, ходили с рулеткой и смотрели на окна. Все висит в воздухе, и дяде Захару придется кончать свои дни на квартире.

В минуты просвета дядя Захар уныло проходит двором, видит, как все старо и ветхо, стоит у крыльца и думает, думает...

Тихо, незаметно отошла бабка Василиса осенней ночью... Ее положили рядом с Леней, и тетя Лиза нашла в ее сундуке две

духовные: в одной все свои капиталы бабка отказывала внуку своему Алексею; в другой, позднейшей, расписывала на монастыри. Ни слова не сказал дядя Захар и даже плакал над гробом старухи.

Дом дядин продан с торгов, и покупатель дал три месяца сроку на выезд.

Это был страшный удар.

Помню, ночью под Благовещенье, загремел звонок у ворот, забегали люди, замелькал огонек фонаря, и полуодетая тетя Лиза выбежала на крыльцо со свечой.

Несли что-то большое: тяжело дышали и неровно потопывали.

– Заноси, заноси... бери на себя... уфф... поддерживай голову-то... На себя... на себя...

– Что с ним такое?.., что?!. Господи... Что такое?.. – не в себе кричала тетя Лиза.

– Да хватило его... в трахтире сидел... Да заноси ты, чо... В колеблющемся свете оплывшей свечи я видел, как громадное черное тело колыхалось в пролете уходившей вверх лестницы.

– Откеда доставили-то? – спрашивал кто-то на улице.

– От Страшнова. Поторопи там, деньги чтоб... За шесть гривен порядили...

XXII

На Пасхе я, обыкновенно, иду на кладбище, несу крашеное яйцо и, как учили нас в детстве, крошу на родных могилах. Отойду в сторонку и смотрю. Где-нибудь уже вертится шустрый воробей, зорко приглядывается с липы грач. Серенькие пичуги уже порхают над крошками, дробят и таскают. Тихо как!..

Вот она, чуткая тишина кладбища, покрывшая гомон и суету тысяч когда-то гремевших, бившихся, плакавших и гордо носивших голову людей.

Теперь тишина, и какая хорошая, милая тишина...

Но не исчезли они и не успокоились совсем. Их памятники и кресты еще говорят о них, – о купцах первой гильдии и кавалерах, о благодетелях, чистых сердцем и примерных семьянах, об этих, в мире отшедших, вечно и горячо оплакиваемых...

Да, здесь примерный музей человеческого совершенства. Здесь всех почистили, оправили в гранит и мрамор, обложили цветами и дерном, оградили решетками и осветили тихим огнем лампад.

Я живу здесь, на этом кладбище, сидя на чугунной скамье. Здесь наш другой двор, постепенно переползающий сюда на вечный покой.

Вот могилка юркого Трифоныча, в прошлом году скончавшегося «от живота» и уступившего прилавок волшебнику Степке, при часах и в лаковых сапогах. Трифоныч, много поработавший в темной каморке, за лавкой, оставил «неутешного и благодарного внука».

Я верю искренности Степки: он очень благодарен скромному Трифонычу, сказавшему – довольно! – в свои шестьдесят четыре года. Рядом лежит Федосья Ивановна, супруга Трифоныча, перед смертью которой жулики вытащили из сеней кипящий самовар, – «на ее голову» – как поспешил отчураться Трифоныч, воздвигший ей мавзолей из песчаного столбика.

Да, здесь целый «тот» двор...

Здесь покоится и прах лихого похитителя девок – отца дяди Захара – под титлом: «блаженни чистии сердцем...»

А вот и белый крест – «под березу» – над Леней, и рядом совсем свежий бугор – бабки Василисы. Они лежат рядом, такие далекие в жизни и такие близкие во гробах.

Кто-то уже был здесь и положил нетронутое яичко. Кто? Может быть, тетя Лиза... Настенька?.. Вряд ли.

Она вышла замуж и едва ли заходит сюда. Но вот уже третью Пасху кто-то приносит одинокий горшок резеды...

Я спрашивал вечно пьяного сторожа.

– Так какая-то... в платочке... нам не известно... Груша?..

Я сижу и смотрю на этот другой наш двор. И мне хочется крикнуть:

– И все-таки успокоились, господа!..

И вас поглотила тайна, которую вы и не чуяли, над которой и не задумывались. Просвирки и сорокоусты, кутьи и заупокойные, девятые и сороковые дни – все эти удобные и легкие пути, конечно, должны препроводить вас в места злачные и прохладные, где вы сейчас бы начали всю ту подчас развеселую, иногда грустно-смешную суету, с которой вам так жалко было расстаться.

Я сижу и думаю, мысленно разрываю бугры, сбрасываю плиты и полусгнившие кресты, вырываю жирные тополи, запустившие Корни глубоко в питательный грунт, взламываю гробовые крышки. И не узнать вас в желтых костяках и черепах с расшатанными зубами, если бы благодарный и заботливый глаз не подсмотрел в книге фабриканта памятников и глыб подходящий стих прощанья, и хорошо оплаченная рука не врезала вас в камень.

И к чему было все?., к чему двадцать два года жизни, борьба и любовь, дядины планы, к чему? Так все непрочно, несложно в итоге... К чему, если вдруг пришлось лечь рядом с бабкой, до сорока лет блазлившей молодцов купецких и до семидесяти возившейся с коровами?

И отвечаю себе: так надо.

Я слышу неровные шаги и тяжелую одышку. А, это дядя Захар. Он недавно оправился и теперь ползет на плече согнувшегося Александра Иванова, который доживает «так» последние месяцы до окончания ликвидации остановившегося «берлина». Александр Иванов – мокрый от поту и красный, и на его лице предупредительность и покорность, а там, за этими плутоватыми глазками, торжество и радость собственника «хлигеря» и дач.

Я не отзываюсь и смотрю. Дядя Захар волочит правую ногу, мажет еще не просохшую глину и глядит остеклевшим взглядом. Он охватывает Александра Иванова за шею и опускается на скамейку, против «своих».

– Да... дай... – глухо говорит он почтительно остановившемуся без картуза конторщику.

Тот стремительно выхватывает из кармана яичко.

– Прикажете раздробить-с?.. Дядя кивает.

– Прикажете им-с?.. – вежливый жест к Ленину бугорку.

– И им-с?.. – кивок на бугорок бабки Василисы.

Он великолепен, этот ловкий плут в новых резиновых калошах. Он вполне заслужил и «хлигерь», и дачи, и выигрышные билеты, ловко вытянутые из широкого кармана «их-с... когда они изволили загулять-с»...

Он, этот ловкий плут, прекрасно понимает тайну жизни, уже знает толк в кулебяках с визигой и в «мадере», в людских сердцах и

модистках. Он знает толк во всем и потому уже отправил в деревню свою супругу, ворочающую на б.

Он ловко дробит яичко, стараясь не замазать пальто, аккуратно делит на две части и, подымая мордочку к небу и шевеля пальцами, журчит.

– Т-т-т-т-т... Сейчас они живым манером-с... и помянут-с... Ишь, божьи птички...

Тихо-тихо. Дядя Захар молчит, смотрит на бугорки. Александр Иванов не решается сесть и высматривает, что бы такое сделать еще.

– А слеплась довольно-с... И камушек бы теперь мажно-с... Митрий Панфилович... а вот Пучков-с... у них камушки-то... так вот намеренно предлагали...

Дядя Захар молчит.

– Общий ежли... так подешевше будет-с... за три с полсотенкой... лабардор будет пер-рвый сорт... в значении, конечно, массы и... Конечно, и финдлянский можно... поде-шевше-с... только што...

Его голосок приятно журчит, но дядя Захар не отзывается.

Я подхожу, здороваюсь с дядей. Александр Иванов почтительно вытирает подкладкой пальто скамейку.

– А... ты... Вы... вы... по... полз... вот...

Мы молчим. Да и о чем говорить? Какое усталое, желтое лицо!..

– По... по... ми... рать ско... ро... – говорит еще не оправившимся языком дядя и смотрит, как воробьи шустро таскают крошки.

– Господи, помирать-с!.. да еще как поживете-с!.. еще и нас похороните-с!.. – спешит успокоить, делая сладкое лицо, конторщик. – Господь даст, еще кирпичики жечь будем-с!..

– Д... ду-р-рак!.. – фыркает дядя Захар, и Александр Иванов делает мне какие-то знаки, точно желает сказать:

– И всегда вот они так-с... ни за что-с...

– Этот... – дядя протягивает железный палец в сторону плута, – бо... бол... ван!.. пожи... ве... те... с... буд... то я... жи... жи... ву... – насилиу выговаривает он. – Ту... тут... пожи... ву... – указывает он на маленький черный крестик, на «заказе», рядом с могилой Лени.

По боковой дорожке прошел плотный господин в цилиндре с лоском, и за ним светлая, роскошная блондинка в ротонде из зеленого

плюша, в сопровождении целой ватаги монахов, послушников и сторожей.

– Ми-илли-енщики... Лобастова дочка с супругом... – почтительно доложил сияющий Александр Иванов. – Пароходы гоняют... Си-ила!.. Вся ихняя родня-с здесь упокояет-ся-с...

Он сдернул картузик и поклонился враскачку. Дядя Захар не повернул головы.

Я смотрю на наш «двор», и мне кажется, что здесь не все еще сладилось, что нет здесь «хозяина». Дядя смотрит на мое пальто и говорит:

– У... у... чишь... ся... все...

– И к чему только это ученье-с?.. одно междоумение... И ведь верно-с... И вот теперь которые... я буду так говорить... самые ученые люди-с... и никуда выходят!..

– Ду... рак!.. – снова фыркает дядя Захар. – Ты за... зайди... по... по... толкуем... тетка... ску... ску...

Я смотрю на дядю Захара и чувствую, как он мне близок, и думаю, что и я ему стал ближе. Ведь я – тоже Хмуров, хоть и из другой линии, что я тоже с того двора и приду на этот «наш двор», и лягу, может быть, здесь, рядом с «хозяином»...

– Эх... Ко... кЪ... люшка... Ко... люшкаЪ – говорит дядя со вздохом, похлопывая меня по коленке все еще тяжелой рукой.

Он смотрит на крест «под березу», и вижу я, как из угла глаза набегает круглая, обидная слеза, скатывается по щеке и пропадает в густых, еще черных усах.

XXIII

Вечером я зашел в тот дом. Там уже не было праздника, стола с закусками и разноцветных пробок. По стульям лежали какие-то шубы, воротники, салопы, халаты и тальмы. Пахло нафталином и молью, запахом ушедших десятилетий.

Эти старые воротники, кофты и стеганые одеяла, пролежавшие годы под спудом – для чего неизвестно, теперь выплянули на свет, чтобы поразить глаз своею ненужностью и провалиться в полосатый мешок старьевщика.

Развороченные сундуки-гиганты стояли на галерее, раскрыв свои пасти, копившие весь этот чудовищный хлам полного хозяйства. Их тоже скоро пустят в оборот, и они, отполированные и закованные, может быть, будут скоро красоваться в других домах.

Картонки с побуревшими шляпами и картузами, десятки прорванных зонтов, огромных, как старые грибы, дюжины ботишков и меховых бархатных сапожков с застежками, изъеденные молью ковры и коврики, старые полости с саней все это выползло греться на солнышко, мозолить глаза и кричать о конце.

Хлам, старый хлам, таившийся по углам, – соловьиные клетки с костяными шишечками, поломанные киоты, десятки железных ржавых форм из-под куличей, исковерканные ладанницы с крестиками, старая сбруя, бубенчики и ремни – все это было когда-то свежо и очень нужно.

Тетя Лиза перебирала весь этот хлам и откладывала то, что следовало взять на квартиру.

Да, все распадалось. Вечно творящая, неумолимая жизнь расшатывала не только людей: она сметала сараи и амбары, вскрывала сокровенные сундуки, вычищала углы, вышвыривала мусор и хлам.

Мы Сидели в столовой, прежней столовой, с теми же часами, высокими стульями и черным подносом на стене. Дядя Захар, утомленный поездкой на кладбище, дремал в своем кресле.

Потемнело в углах. Уже вечер. Я прощаюсь, крепко жму руку дяде.

Он задерживает мою руку в своей и смотрит просительно.

Он говорит с трудом, долго, и я половины не понимаю. Его глаз даже дергается, как раньше когда-то, но упрямый хохол опал, и гордое, ухарское лицо смято. Многого я не могу разобрать и посматриваю на тетю Лизу. Какая она спокойная, холодная, и как странно сухи ее глаза. Она поясняет мне слова дяди.

– Говорит: никого у нас нет... Хмуровы кончились... наши... осталась вторая линия, ты... Так вот бери завод... дешево.

– Да, – явственно выговаривает дядя. – Ты... завод...

– Обворовал нас Сашка-то... опутал...

Вспыхивают глаза дяди Захара и дергается лицо. Он плачет, это ясно.

– Уж не расстраивайся... ну, что уж тут...

Темно и жутко в старой столовой. Кажется, что за дверью сторожит что-то всех, высовывает холодные глаза и пристально, молча смотрит.

...Щелк!..

Это хрустнул старый, отсыревший сундук. Как жутко, как холодно. Кругом стоят унылые, тощие тени прошлого. А из темного пролета двери, молча, пристально глядит *что-то*. И я, как когда-то в детстве, поглядываю в темную пустоту, в коридор.

– Нет, дядя... Я иду по другой дороге... учусь я. Да и денег у меня нет.

Куда мне завод, дело, в котором я ровно ничего не понимаю, кроме кирпичников. Нет, пусть уж лучше берут другие.

Завод, каким-то чудом отбитый у судебного пристава, – последние крохи.

Я понимаю, что дядя хватается за меня, за другую линию Хмуровых. Ведь все же родная кровь, и если не удалось загреметь его Лене, пусть все же свои примут начатое. Дядя делал попытку дать рост от старого пня. Но жизнь нашего двора распадалась, и я уже заносил ногу на другой путь.

Не пироги и жирные кулебяки, не ботвиньи с горами янтарной рыбы, разлитое море на масленице, не выезды, «черти» и «стервецы»; не горничные, в накрахмаленных юбках, в козловых полусапожках и в высоких фартучках, покорно склонявшиеся перед баловством; не тысячи кирпичников, «сукиных детей, мерзавцев и чертей», покорно стаскивавших шапки, были на этом пути.

Нет, на этом пути не было ничего подобного. Ростки от старых пней искали света, и ранние ростки гибли, хваченные морозом.

XXIV

И наша округа, и наш двор, и жизнь его обитателей изменились сильно за пятнадцать лет, и не заметил я, как они изменились. Течение жизни унесло меня далеко от тихого жития родных гнезд и, повертевши, выбросило снова на старое пепелище. И я не узнал его.

Приходил кто-то и перекроил все, повымел и повыгнал многое и многих.

Громадные, гулкие сени галереи, откуда мы, бывало, глазели на шумливую толпу кирпичников и подвиги дяди Захара, ушли, и солидный каменный джентльмен гордо поглядывает на меня новыми стеклами. Сад, милый, незатейливый сад, с курами, кустиками и березками, стерт без следа. Протянулся доходный дом в сорок квартир, и в этих квартирах, на том месте, где клохтали под солнцем разморенные жарой куры, строчат машинки портних, пищат плохо одетые и плохо кормленные дети, висят на сквозных лестницах лоскутные одеяла, виднеются бледные, недовольные лица. Ранним утром из его грязных дверей выходят угрюмые люди и, истомленные, входят к ночи.

А когда-то висела здесь в знойные полдни сытая лень, и дворник Гришка поигрывал под бузиной с востроносыми горничными. Вязкая грязь в дожди и сухая навозная пыль в ведро – забиты камнями, и асфальтовые упругие ленты пробежали на месте хлюпающих досок.

Степка давно прогорел в дедушкиной лавке и теперь, говорят, лихо откалывает на трехрядке по портерным. Темная комнатка отжила свое время, и не безнаказанно было сыпать без счета прянички и орешки в глубокие карманы горничных и модисток. Он уступил бойцу в измазанном мукой пальтишке, быстро закинувшему ловкие, цепкие руки на казенные и общественные места, подымавшемуся в четыре утра и засыпавшему одним глазом в одиннадцать ночи.

И этот боец пустил корни в скудной, казалось, почве.

Он зацепил на книжки жильцов доходного дома; он с утра до ночи дергал картузик перед всяким, входившим в просторную лавку; он водрузил новую вывеску, под черный бархат, с глазастыми буквами; он завел чайную и постоянный двор, и десятки крестьянских возков грудились с гомоном на сдавленном домами дворе. Десятки подвод с мукой и овсом проплывали ежедневно через его склады, и сотни раз в день пробегал боец через двор, отмечал и прикидывал, следил и ругался, мигал и раскланивался, не переставая думать о колебании цен на биржах. Он уже перешвыривал десятки вагонов и, не видя товаров, закупал и запродавал на бумаге, учуя выгоды биржевой игры. Он уже пригласил бухгалтера «для баланца» и ловко вызванивал в телефон Гавриков переулочек и вокзалы. На его плодородной почве быстро вырастают купоны, и рента могучей силой прет в несгораемый шкаф.

Из соседнего дома ушел с одной тросточкой потомственный дворянин Загурский, и на ворота вскарабкалась увесистая фамилия – Гирин.

Милый красноносый Трифоныч, всхрапывавший в пахучем бакалейном холодильнике, на ящике, после лапши и крутой пшенной каши, вовремя убрался от этого звона и треска телефонов и счетов. Не его голове выдержать тысячи деловых расчетов, торговых наметок, бросков и всяких штук хитроумной торговой политики. Не ему под силу палить хорошо застрахованные склады, из которых заблаговременно вывезены товары; не ему ловить подряды и хватать поставки, рестораничить с экономами и приписывать на тощие книжки. Он мог – и ловко мог! – отмеривать шкалики в темноте и подвигать прянички на заедку.

Новое время несло своих, новых людей, и милая простота доброго плута заблаговременно уступила место уверенным хваткам человека американской складки.

А куда же сползли сараи и амбары?

Их нет, и я с тоской смотрю на кирпичные стенки с железными дверцами и вижу скучные вывески занумерованных складов.

А колодец с коньком, милый колодец, издававший пронзительный писк?

Он исчез без следа.

А «тот» дом, деревянная галерея, крылечко с резьбой?

Строго глядит на меня стеклянная дверь, и в ней, как в хорошей оправе, золотится галун человека в синем камзоле.

Только наш дом уцелел и стоит неудачником среди вертящейся жизни, отсталый. И не стыдно ему облупившейся краски, отваливающегося карниза и выгоревших на солнце стекол, сверкающих, как слезы, лучами радуги. И кажется, что новое, выгнавшее хлам и спокойную простоту, кричит:

– Однако, и вам бы пора... того!..

Да, пора. Он, наш старый дом, «сам себя ест», как говорит ловкий боец.

Его, быть может, уже прикинул этот ловкач, выжидающий времени.

Нет, его не уступят, эту милую развалюху, где в больших низких комнатах скрипят половицы, обвисают щелистые двери, плохо ходят оконницы; где в углах еще притаились пугливые тени чудачков и

простачков, еще не выдохлись приятно-старческие запахи ладана и уксуса, деревянного масла и кваса. Нет, он будет стоять в своей печальной отсталости, с большими черными тараканами, выглядывающими по ночам из щелей, со своими преданиями и мелкими чертами небойкой жизни.

Пусть стоит он, пусть раздражает глаза всем, меняющим все на ходячий товар, переводящим все на приятный шелест расписных акций и облигаций. Рабы дохода, они готовы заложить и продать себя, выдавить все соки земли, швырнуться в небо и там создать кредитные учреждения по залогу глубокой синевы и простора.

Да, во мне еще сильна необъяснимая страсть к старому дому, к нашему старому двору. Но она притаилась где-то далеко, в самом сокровенном уголке сердца. Она замрет, выветрится, испарится.

Уже новое сердце шепчет мне: пусть... пусть...

Все сметено, но я не волнуюсь и не печалюсь. Все это так надо. В громадной лаборатории жизни вечно творится, вечно кипит, распадается и создается; там совершается мировая реакция.

Я смотрю и не печалюсь: пусты... Все пришло и уйдет, и на смену незаметно проглянет новое и сметет эти смешные потуги на силу, красоту и полноту жизни: эти доходные клетки, стук машинок, хруст черствых корок, угрюмые лица и торжество бойцов.

Они уйдут, их сметут.

Работает лаборатория мира, уже сильнее клокочет в тигле, рвутся огненные языки...

1906 г.

Полочка

(Из воспоминаний моего приятеля)

I

У меня до сих пор хранится деревянная полочка, сделанная из стенки ящика, в котором когда-то лежали макароны. Стоит нагнуться, – и увидишь надпись, сделанную густой, черной краской:

Самыя лучшія итальянскія макароны

Конечно, это не совсем красиво, но я ревниво оберегаю эту надпись, очень мало подходящую к тому, что хранится на полочке.

Книги и... макароны!

Но когда что-нибудь ярко-ярко освещает вам давно прошедшее, когда в серой веренице ушедших дней вспыхивает вдруг, как огонек во тьме, милый образ, – дорого все, что вызывает его.

Вот почему дорога мне и эта надпись о макаронах: она напоминает мне о дяде.

Но буду рассказывать по порядку.

Впервые я увидел дядю, когда мне было лет девять. Мы только что приехали из другого города, где я родился, а дядя, по старости, не выезжал никуда и, должно быть, знал обо мне только по письмам. У нас часто говорили о нем, называли странным и «книжным» человеком, пожимали плечами и удивлялись, что он слишком много тратит на какие-то, никому не нужные, вещи. Я ждал с нетерпением, когда меня повезут к нему, но поездку откладывали со дня на день.

Случилось как-то, что нашего дворника послали к дяде с запиской, и я, потеряв терпение, не сказав никому ни слова, отправился с ним. Это была дерзость, в которой я не раскаиваюсь.

У меня постукивало сердце, когда я поднимался по лестнице; но когда старичок слуга снял с меня шубку и впустил в комнаты, я положительно потерялся. В комнатах совсем не было стен, – по

крайней мере, я их не видел. Были пол, потолок, окна, двери и... книги. Они шли стройными рядами всюду, куда я ни глядел, в решетчатых полках, точно их собрали сюда со всего света. На самой крайней полочке, совсем под потолком, сидела большая головастая сова. В комнате стоял полумрак, и было тихо, торжественно тихо, как в пустой церкви.

В углу, у окна, в глубоком кожаном кресле сидел он, мой дядя, и держал книгу. На коврике, у его ног, спал крупный дымчатый кот.

Я стоял в дверях, не решаясь переступить. Дядя услышал шорох, повернул голову, и я увидел худое, плохо выбритое лицо и всматривающиеся, усталые глаза. Казалось, он старался понять, кто я. Я шаркнул ножкой и поклонился. Дядя пожал плечами. Путаясь в словах, я объяснил, кто я.

– Поди-ка сюда, голова, – сказал он и поманил пальцем. Я приблизился с чувством благоговения и страха.

– Вот ты какой, – сказал дядя и потрепал меня по щеке. – Каков, однако, ферт! Один заявился!.. Ну, здравствуй. Так это ты большой любитель чтения?

В тоне голоса я уловил похвалу и из скромности опустил глаза.

– Очень рад тебя видеть...

Из проволочной корзинки он достал яблоко и дал мне.

Через пять минут я был, как дома, сидел на скамеечке, рядом с храпевшим котом, и глазел на поразившие меня ряды книг.

Сова под потолком сидела по-прежнему недвижимо. Она не любит дня – раздумывал я – и теперь присмирела, а вот наступит ночь, и тогда...

– Ну, а что ты читал, дружок? – спрашивал дядя.

Что я читал! Я сейчас же захотел показать дяде, с кем он имеет дело, и с жаром принялся перечислять, что я читал.

– Я все-таки порядочно прочел, дядя, – говорил я. – Про «Заколдованную могилу», про «Храбрую шайку и атамана Кольцо», про «Солдата и семь разбойников», про...

– Тпрр... – остановил меня дядя. – Да ты профессор! Кто же тебе такие книги давал?

Это была моя тайна. У меня дома уже отобрали две трепаных книжечки и допытывались, откуда я их добыл. Но я не сказал. Я боялся, что их отберут и от нашего дворника, у которого я доставал

их. Здесь же мне ничто не угрожало, я имел случай познакомиться дядю еще с одним любителем чтения и моим другом и сказал откровенно:

– Мне давал их наш дворник Степан. – У него их во-от сколько! – показал я руками.

– Так-так. Только все это глупости, – сказал дядя. – Надо читать хорошие книги, где говорится о жизни. Видишь, стоят они, – указал он на полки. – Каждая из них – часть сердца человека, которого называют писателем!

Я посмотрел на книги. В сумеречных тенях они уже сливались в сплошную стену.

– Книги не «Петрушка», – продолжал дядя, тряся пальцем, – она не для смеху пишется! Она должна указывать людям, как надо и как не надо жить...

Я слушал и хлопал глазами. Оказывалось, – мы со Степаном даром тратили пятаки.

Дядя подставил к книжной стенке лесенку и, кряхтя, полез кверху.

Мне показалось, что он хочет достать сову: она сидела как раз над концом лестницы. «Сейчас она обязательно шарахнется», – думал я. Но сова не шарахнулась, хотя дядя взял ее за ноги и передвинул. Тут я догадался, что сова не настоящая, а набитое чучело.

– А зачем у вас сова? – спросил я.

– Сова, брат, ночью не спит и во тьме видит. Вот она и сторожит всю эту мудрость, – постучал дядя по книгам. – Не веришь? На-ка вот «Сказки Андерсена», это будет лучше твоих «разбойников».

Должно быть, радость, которую я переживал в этот момент, отразилась у меня на лице; дядя взял меня за подбородок и, глядя в глаза, сказал:

– Книги, которые я буду давать тебе, можешь оставлять у себя. Пусть это будет началом твоей библиотеки. Пусть они будут твоими друзьями.

Как это было давно, но как до сих пор ярко встает в моей памяти!

В тот памятный вечер в моем сердце затеплилась искра. Почти строгий тон дядиных слов, когда говорил он о книгах, черные, молчаливые ряды на полках и грустные сумерки – все это будило во мне тихое чувство благоговения.

Дымчатый кот проснулся и терся у ног. В комнате густились тени ночи. Они глядели из углов слепыми глазами. Я чувствовал их. Совы под потолком уже не было видно, только ряды книг еще поблескивали золотым тиснением. Вошел старичок и зажег лампу.

– Ответа дожидается, с ими-то который пришел, – сказал он.

Я вспомнил о Степане.

– Позови сюда, – сказал дядя.

У меня заиграло сердце: сейчас войдет Степан и увидит все. «Разве он видал что-нибудь подобное?» – думал я. Чтобы показать ему, что я здесь как дома, я перебежал к стенке, отставил ногу и облокотился на книги.

Слышались осторожные шаги и покашливанье. Степан остановился в дверях и высунул голову. Я заметил, как у него метнулись глаза, окинули полки и с почтением остановились на дяде. Он прямо впивался в него, с благоговением слушая о какой-то переносной печке. Но его левый глаз сильно косился на полки.

– Да, – вспомнил дядя. – Ты это давал ему книжки?

Степан съезжился и искоса поглядел на меня.

– Так... баловство-с... пустые сказки-с...

Он оправдывался и продолжал коситься.

– И брось их! Любишь читать?

– Я... конечно... ежель от скуки, обожаю...

Дядя подумал и достал книгу.

– Почитай, только не мажь.

Надо было видеть Степана! Он подался вперед и вытянул руки, точно принял благословение.

Когда мы вышли на улицу, Степан сунул книгу за пазуху, в полушубок.

– Что, Степан? – спрашивал я, забегаю вперед и заглядывая в лицо. – Что, видел?

– Видел, – ответил он. – Откуда он *их* набрал?

– Д ну-ка покажи, про что?

Мы остановились у фонаря, и Степан вынул книгу.

– Издание... третье... Гм... с пор-третом грави-рован-ным...

Степан посмотрел на меня, я на него.

– Должно, ученая книга... – сказал он.

– Обязательно прочитаю.

После ужина я забежал в кухню. Разложив на столе полотенце и спустив руки на край стола, Степан читал при свете маленькой лампочки. На лбу его сверкали капельки пота.

– Что, Степан, интересно?

Он поднял голову и шмурыгнул носом.

– Дюже хорошо! – сказал он, вздыхая. – Про «Записки охотника»... Про нашу хрестьянскую жизнь сказано. Так, что это прямо что-нибудь особенное!..

– Ишь, весь стол захватил! – сказала кухарка. – Карасин тратишь...

Я сказал ей, что обязательно надо читать, – пусть она даже у дяди спросит. Степан сдунул листок на другую сторону – он боялся замазать пальцами, – и сказал:

– Это все дикое необразование. Книга надлежит для научного употребления, а карасин для света!

Я с ним вполне согласился.

II

Мне не запрещали бывать у дяди: он сам просил отпускать меня. И сколько славных вечеров провел я!

Сидишь, бывало, на скамеечке и слышишь покойный голос. С верхних полок глядят портреты писателей, глядят строго, точно думают большую думу. Дядя говорит мне о них, как болели они о людском горе, своими сердцами звали людей к лучшей жизни, указывали пути.

– Многие из них давно умерли, – говорил дядя. – Но все-таки *они... здесь!.. Они молчат, да! Но стоит взять книгу, раскрыть, – и они заговорят! из черных строк заговорят!..*

В тихие сумерки на меня наплывали мечты. Дядя иногда уходил к себе в кабинет, а я забирался в большое кресло и затихал. И казалось мне, что *они...* смотрят на меня с полок и молчат, думают, думают... Кот тихо мурлыкал у ног. Сова сторожила мудрость. Я осторожно слезал с кресла и на цыпочках подходил к полкам. И слушал, зажмурив глаза. Ползли минуты, – и начинало казаться, что кто-то шепчет, шепчет мне что-то... Может быть, это постукивало сердце,

может быть, доносилось мурлыканье кота, но чудилось, что кто-то шепчет...

Однажды дядя рассказывал мне, как он еще мальчиком начал составлять себе библиотеку, покупал и собирал книги. Я смотрел на полки, и вдруг во мне вспыхнула мысль. Я взял дядю за руку и сказал:

– Дядя, дайте мне ваш ящик!

Он с недоумением посмотрел на меня.

Я объяснил, что видел в коридоре большой ящик, в котором, как я знал, привезли дяде книги. Это-то и было особенно дорого мне. Я сказал, что хочу сделать полочку и расставить на ней все свои книги.

– Так лучше я куплю тебе этажерку!

– Нет, дядя! – заупрямился я. – Я хочу полочку, как у вас... из *вашего* ящика!

Он назвал меня чудаком и позволил взять ящик. Помню, при свете лампы мне бросилась в глаза черная надпись:

Самыя лучшія итальянскія макароны

– Мне бы только вот эту доску... – указал я.

Почему мне понравилась эта надпись, – не знаю. Может быть, я подумал тогда, что с этой надписью я никогда не забуду, где достал эту полочку. Мне отбили бочок с надписью. И в следующий мой приход дядя спросил:

– Ну, как твои «макароны»?..

Я рассказал, как ловко устроил полочку на гвоздях и бечевках, и как вышло красиво. Должно быть, я очень горячо говорил, потому что дядя потрогал мой лоб и потрепал по щеке.

– И все еще есть свободное место?

– Да, дядя, есть. Но я *пока* поставлю толстые словари...

– Поди-ка сюда...

Он подвел меня к крайнему окну и показал пачку книг.

– Вот я отобрал тебе... для твоей полочки, макаронщик...

Он почти никогда не улыбался, но тут все его желтое, морщинистое лицо осветилось такой улыбкой, на меня повеяло такой душевной теплотой, что я сразу понял, как ошибались у нас дома, говоря, что у дяди нет сердца, что он черствый и «книжный» человек. Он уселся в кресло и замолчал.

Я гладил кота, думая о том, что слышал сегодня утром. У нас говорили, что у дяди какая-то опасная болезнь, что дядины дни «сочтены». Говорили о каком-то наследстве и капиталах.

В камине догорали дрова. На стеклах лежали багровые от огня, сверкающие узоры мороза. Не знаю, как это вышло, – около щеки я почувствовал холодную ладонь. Я заглянул дяде в лицо, и у меня сжалось сердце: в лице его я видел выражение мучительной боли. Я опять вспомнил о его болезни, и в тишине и полутьме комнаты почудилось мне, что вот-вот надвигается что-то неотвратимое...

Я взял его руку и поднес к губам. В груди стало тесно-тесно, закололо в глазах.

– Дядя? – выкрикнул я, задыхаясь и стискивая зубы.

– Что с тобой, Шура? Что ты?.. – тревожно спросил он.

Я не мог говорить. Я чувствовал, что сейчас расплачусь.

– Ну, что, мой мальчик? Ну, что ты? Чего ты испугался?

Он гладил меня по голове. А я держал его руку, уткнувшись носом в ручку кресла, и чувствовал, как по щекам ползут капли.

Понял ли он, о чем я плакал?

– Ну вот... – говорил он. – Теперь у меня завелся маленький друг...

Я слышал, как он вздохнул.

– А есть у вас еще друзья? – спросил я, польщенный, что дядя назвал меня своим другом.

– Были... и... умерли, – сказал он и сдвинул брови. – Вот теперь мои друзья, – указал он на книги. – Это, брат, самые верные друзья!..

Я глядел на книги, на портреты. Дедушка Крылов, освещаемый вспышками угасающего камина, казалось, подмигивал и говорил:

– А ведь он прав, братец!

С шорохом поползла сломившаяся в середине головешка, дядя шевельнулся и тронул меня за плечо.

– Вот что, дружок, – сказал он. – Видишь эти две полки у окон?..

– Вижу, – сказал я.

– Ну вот... Здесь собраны все наши родные писатели... самое дорогое, что у меня есть... Это *твои* полки. Помни, они *твои*!

– Мои?.. Все эти книги?

– Да! – как-то особенно веско сказал он. – Я... *отказываю* их тебе.

Он вынул записную, с золотым обрезом, книжечку и стал что-то писать карандашом.

– Ты получишь их. «Отказываю»...

Я понимал грустный смысл этого слова. Хотелось плакать, и все же что-то отвлекало меня. Мои книги! Их было так много! И все были в чудесных, – красных и зеленых переплетах с золотом!

– Дядя... – тихо сказал я: – это очень много... Мне бы хоть одну полку и...

– Что?

– Сову... Мне страшно хочется... сову!..

– Сову?.. Ну что же... – Он поглядел кверху. – Возьми сову. Можешь взять и теперь...

Он позвал старичка и велел снять сову. Ее сняли и долго чистили щеточкой и вытирали глаза. Она была великолепна со своими желтыми зрачками и загнутым вдавленным носом.

За мной, по обыкновению, прислали Степана. Мы шли домой торжественно, я нес связку книг для пополнения полочки, а Степан сову.

У фонарей нас останавливали прохожие, глазели на сову, а некоторые даже приторговывались, но Степан кивал на меня и говорил важно:

– Не продажная. Эта сова знаменитая!

– А что?.. – допытывались любопытные.

– А то! Это сова... научная... из собрания книг! Такая, братец мой, сова-а... так это прямо что-нибудь особенное!..

III

Дня через два после этого, в воскресенье утром, я собирался идти к дяде, как к нам в столовую вошел дядин старичок, покрестился на образ и, глубоко вздохнув, сказал деревянным голосом:

– Барин... Михал Васильич... приказали вам долго жить...

Не выдержал и заплакал.

– Нащот распоряжений как... Я их одних в квартире запер... – говорил старичок, тыча в глаза комочком платка.

Это известие никого особенно не потрясло: все знали, что дядя скоро умрет. Я не плакал. Я точно застыл. Помню, стоял у притолки и глядел на подрагивающую бородку старичка. У меня дергался глаз и стучало в висках. А старичок рассказывал, что дядя помер внезапно, ночью, один на один с Господом Богом.

Помню, я ушел к себе на кровать и сидел, перебирая край одеяла. «Дяди нет», – говорил я себе. Поднял голову. На меня глядели черные буквы:

Самыя лучшія итальянскія макароны

Брызнули слезы: я вспомнил все. Эти буквы своим черным светом сразу осветили мне все минувшее: дядю, разговоры, его голос, желтое лицо, все мелочи. Я видел полки с книгами, тихие сумерки и красные угли камина. Я видел так ясно все, что еще так недавно открыло мне какой-то новый мир, – мир живых книг. Да, я уже знал, что они живые. За ними я видел людей. Я знал их. *Они* глядели на меня там, с высоких полок! *Они* втиснули свое сердце в черные ряды строк на белой бумаге. Эти строки сложили в правильные ряды, бросили печатным станком на страницы, и вышла книга.

Моя полочка! С нее, с этой шершавой доски, тоже глядели на меня живые книги... А я плакал.

Старичок собирался уходить, когда я вышел из своего уголка. Он, конечно, видел мои заплаканные глаза, покачал головой и сказал:

– Что ж плакать-то... Призвал Господь... Царство небесное... Работали много, – теперь отдохнуть Господь призвал.

Я с удивлением взглянул на старичка.

– А разве он что работал? – спросил я.

Я думал, что «работать» можно топором, пилой, быть кузнецом, пахать землю, служить в дворниках.

– А как же-с... У себя за столиком... писали-с... в разные ученые журналы. До петушков иной раз... Обложатся книжечками и пишут-с... Ну, и перекипело у них в нутре-с, – не выдержало.

Дядя тоже писал!.. Никто никогда у нас не говорил об этом.

– Они даже очень знамениты были! – продолжал старичок. – Даже такая книга есть, где о них сказано.

Дядя писал книги!.. Значит, он не совсем умер?.. Это вспыхнуло во мне и осветило, и согрело. «Он все-таки жив, – говорил я себе, – и наши не знают этого». Я сделал это своей радостной тайной и решил не говорить никому. Все равно, – никто не поймет этого.

Долго спустя я нашел то, что писал дядя. Это был ряд статей в журналах, статей о книгах.

Послали телеграмму дядину брату. Только теперь узнал я, что у дяди был брат. Он всегда проживал в каком-то далеком городе, где вел торговое дело, и только последнее время, предупрежденный о тяжелой болезни брата, жил в нашем городе. У дяди он никогда не бывал. Это я узнал из разговоров. У нас говорили о наследстве, о капиталах, и кто-то сказал:

– Интересно, оставил ли *он* завещание?

Вечером мы были на панихиде. Дядя в голубом халате лежал на столе в хорошо знакомой мне комнате, где стояло его кресло. Теперь его вынесли, чтобы оно не мешало. Читавшая монахиня погладила меня по голове и подняла кисею, закрывавшую дядино лицо. Оно было такое же, как и при жизни, только стало как-то светлее. В руках, в которых я привык видеть книгу, был образок. Дымчатый кот терся о ножки стола и смотрел на меня, точно хотел сказать, что все кончено.

Казалось, все изменилось в квартире, – только ряды книг по-прежнему чинно стояли, точно для них не могло быть конца. Вдумчиво, как всегда, глядели с высоты портреты писателей, отражая в стеклах дымящие огоньки свечей.

Я взглянуло на *свои* полки. Я унесу их из этой осиротевшей квартиры в свой тихий уголок! С ними я унесу все, что пережил здесь.

Высокий старик с насупленными бровями стоял у окна и разговаривал с юрким, вытягивающим шею, человечком. Он держал себя здесь, как хозяин. Это был дядин брат. На моих глазах он вытащил из моей полки книгу и, держа ее, как подставку, писал что-то на листке бумаги.

– Да, да... но без балдахина. Сейчас же распорядиться!.. Да, он был здесь хозяин. Его все называли наследником.

Ему принадлежало здесь все, все, за исключением *моих* двух полок. Они были *отказаны* мне.

Он швырнул *мою* книгу на окно и прошел в другую комнату. Что было со мной! Он швырнул – мою книгу! Дядину книгу!

Я подошел, взял ее и раскрыл. Гоголь! «Мертвые души»... Он швырнул Гоголя! Я уже знал о нем, «бессмертном», как говорил дядя.

Невольно я поглядел кверху и отыскал знакомый портрет.

Милый Гоголь глядел с посмеивающейся улыбкой из-под прядки волос. Я бережно поставил книгу на место.

Знакомые и незнакомые люди ходили вдоль полок и с любопытством разглядывали книги, показывали пальцами на портреты писателей и путали. Они Гончарова принимали за Тургенева и Пушкина смешивали с Жуковским! Только небольшая группа совсем незнакомых мне людей держалась особняком. Они принесли фарфоровый венок с лентами, ни с кем не здоровались и сейчас же после панихиды ушли. Их знал только дядин старичок.

– Тоже в журналах пишут, – сказал он.

Я с благоговением посмотрел им вслед...

IV

Проползли два томительных дня. Дядю похоронили. В большой комнате, где недавно стояло тихое кресло, теперь гремели тарелками, кушая блины и кисель. Высокий человек, дядя-наследник, распоряжался. Хлопали пробки, пахло ладаном и воском. Озабоченные официанты обносили заливной рыбой. Кто-то шепотом возле меня говорил о капиталах...

А тысячи книг смотрели на все с холодным спокойствием.

Первая острота потери прошла: я смотрел на отказанные мне полки и считал корешки. Много я насчитал за время обеда, – что-то более пятисот. Красные и зеленые корешки сливались, я путался и считал снова.

После обеда, когда все стали расходиться, я понял, что больше не попаду сюда. В последний раз окинул я взглядом стройные ряды книг и остановился на моих полках.

«Когда же дадут мне их?» – спрашивал я себя.

– Чего же ты стоишь? – окликнули меня из передней.

Я указал пальцем на свои полки.

– Дядя *отказал* мне их... Это *мои* книги! – сказал я.

Затихавшее чувство утраты поднялось снова. Мне чувствовалось, что я опять что-то теряю. Не книги, как ценность, – я не умел тогда оценивать на рубли, – мне дороги были они, как *дядины* книги.

– Тише... Что ты болтаешь?.. Какие книги?..

Я знал, что я не болтаю.

– Эти книги *отказал* мне дядя! Он даже записал в золотую книжку!..

Дядя-наследник говорил что-то бойкому человеку, что-то записывал и распорядился. В руке у него была знакомая книжечка с золотым обрезом. Не раздумывая, я подошел к нему, выждал, когда он перестанет говорить, и осторожно потянул его за сюртук.

Он обернулся и посмотрел на меня.

– Тебе что, мальчик? – спросил он сухо.

– Книги... – забормотал я, – вон те книги... две полочки... дядя сказал... записал... в книжку...

– Ах, не мешай ты!.. – Он отвернулся и, постукивая длинным пальцем по книжечке, сказал кланявшемуся человечку:

– Представьте самый подробный счет расходов... и документы!..

Меня потянули за руку. И я ушел.

Больше я не был здесь и не видал дядиных книг. Я слышал, что их стащили с полок, запаковали в кули и продали торговцу книгами.

Где теперь они? Я часто думаю об этом. Где они, так лелеемые когда-то?!.. С них ежедневно стирали пыль. Они стояли такими стройными, внушительными рядами, казались мне полными скрытой, великой силы. Они были так же чисты, как и вписанные в них мысли!

Может быть, их вывезли на рынок, и они разбились по уголкам и полкам... Может быть, попали на чердаки и в подвалы, на непокрытые столы, на которых никогда не лежало книги... В корявые, мозолистые руки, как руки Степана... В занесенные снегом деревни...

А, может быть, и до сих пор распродают на рынках и мокнут под дождем в связках?..

Не знаю.

Раньше я жалел, что они разлетелись, а теперь я понимаю, что лучше, чтобы они ходили из рук в руки и говорили так, как они могут говорить, – мыслями, втиснутыми в черные строки...

Да, у меня не было книг в роскошных переплетах, двух полок, *отказанных* мне дядей! Но у меня осталась полочка... «макаронная»

полочка! Стоило взглянуть на нее, на десятка три книг, на сову, оберегающую мудрость, – передо мной ярко-ярко вставал дядя...

Самыя лучшія итальянскія макароны

Да, немного смешно... Но и теперь еще розовым облаком подымается прошлое, и на глаза набегает сетка...

А Степан все еще читал «Записки охотника»...

Вскоре после похорон дяди он как-то остановил меня и сказал:

– А с книгой-то как быть?.. Кому ее теперь?

– Да разве ты ее не прочел?

– Прочешь-то я ее прочел... только я ее сызнава, в третий раз читаю... Вот какое дело...

Так мы и не додумались.

Как-то вскоре заехал к нам дядя-наследник. Я вспомнил о книге, взял ее у Степана и, когда дядя-наследник пил в зале чай, я положил ее перед ним и сказал:

– Эта книга дядина. Он давал ее читать нашему дворнику Степану.

Дядя-наследник повертел ее, прикинул на руке и сказал:

– Куда она мне!.. Возьми ее себе... на память.

Я шаркнул ножкой и отправился в кухню.

– Степан! – торжественно сказал я. – Вот тебе от дяди... на память!

Он взял ее обеими руками, долго вертел и оглядывал:

– Вот буду помнить старичка... царство ему небесное... Какой человек-то был! – сказал он с чувством. – Такой человек... так это прямо... что-нибудь особенное!

Светлая страница

Памяти отца посвящаю

I

Как будто еще недавно было все это... Огороды с грядками сизой капусты, шумные стаи ворон, густой лесок спаржи... Да, когда имеешь вершков двадцать росту, – и спаржевая посадка кажется лесом. В этих привольных местах мы с Васькой проводили очень хорошие часы, поедая столбунцы и стебельки горьковатой свербинки, благословляя судьбу, пославшую нам такую чудесную рощу, и где же!.. В городе!

Да, еще не так давно в Москве, бок о бок с гроыхающей мостовой, существовало заманчивое тишиной и привольем царство. И мне, и Ваське казалось, что только вороны да мы и знаем прелести этого открытого нами уголка. Нами? Нет. Я никогда не мог уступить первенства, хотя мой приятель и уверял, ссылаясь на Драпа и мальчишку из кузницы, что он и раньше знал огороды и даже собирал там старые гвозди. Конечно, он прихвастнул: я отлично помню его выпученные глаза, когда он впервые взглянул на красный дом без окон и поднял гнилые доски неведомого колодца. Ну, пусть. Пусть и ему принадлежит немножко чести открытия: он стоит того.

Теперь, лет двадцать пять спустя, видны только осколки этого заманчивого мира.

Проходя со стороны Замоскворечья к Крымскому мосту, я и теперь еще вижу по обе стороны улицы выкрашенные в красную краску перила. Они все те же, только стали как будто пониже. По левой стороне они еще выполняют свое назначение, охраняя зевак, особенно по ночам, ибо тротуар круто обрывается за ними, сбегает откос, и внизу тянутся огороды. Но с правой стороны огороды засыпаны, и теперь на пустом пространстве нового квартала скоро вытянутся вдоль улицы дома. А когда-то именно здесь лежало наше зачарованное царство.

Мы пропадали в зарослях лопуха, крапивы и конского щавеля, разыскивая «просвирки» и сладкий дудочник. Вешним воскресным утром нежились мы среди золотого моря крупного одуванчика, во все щеки дую в пискливые трубочки, которые Васька ловко умел мастерить из пустых стебельков. Следили, как воробьи путались в пушистых ветвях спаржи, как вороны и галочки разрывали мусорные кучи. Летними вечерами наблюдали мы с пугливым вниманием, как подозрительные фигуры сползали с откоса на огороды и что-то искали с фонариками на грядках. Васька уверял, что это жулики закапывают клад или отыскивают уже зарытый. Но скоро оказалось, что это мирные рыболовы собирают выползков, крупных червей, выбирающихся к ночи на грядки.

Много хорошего было в этих местах, но самым замечательным было большое деревянное здание, выкрашенное в красную краску. Оно стояло в укромном местечке, в конце огородов. За ним возвышалась насыпь, защищавшая огороды от разливов реки весной. Засыпали огороды, и пропало навеки то памятное красное здание.

Да, памятное. Там жил Кривой. Там, в вейных сумерках, доживали печальные дни свои четыре необыкновенные лошади. Там был черный провал в глубь земли, скрипучие огромные колеса и громыхающие цепи. Нет, уж лучше буду рассказывать по порядку.

II

Мне едва перешло за семь лет.

Помню яркое утро апреля, первые свежие листочки черной смородины в нашем саду и веселый гомон вылетающих из курятника кур. Помню золотистые клубы пыли из-под метлы дворника Гриши и далекие облачка в голубом небе.

Отписав палочки и штришки, я вырвался в сад, запасся горсточкой свежих листочков и забрался на крышу беседки. Лежал на горячем железе, на солнышке, жевал «смородинку» и прислушивался, как по ближним дворам играла шарманка, мурлыкал песенку штукатур на нашем дворе и знакомый мороженщик сладко выкрикивал:

– Мо-ро-же-но-о... хо-ро-ше-е!

С нетерпением поджидал Ваську. Это был мой первый, что называется, закадычный друг, сын сапожника Прохора из подвального этажа. Звали его еще «клейменым» за большое пятно ожога на лбу. Он был года на два старше меня, играл в бабки с левой руки и ничего не боялся. Без сапог и картуза он мог сбегать через всю Москву за голубями на какую-то Трубу, где, как он рассказывал, и трубы-то никакой не было, а просто продавали на рынке голубей и собак. Он ловко умел «чикать» змеи, шнырять по крышам и чердакам и из мусорных куч добывать кости и гвозди на покупку мороженого. Я его считал очень могущественным.

Итак, я поджидал Ваську. Но до обеда он вряд ли вырвется. Прохор с поста приставил его к делу – сучить дратву, и Васька с горечью сообщил мне:

– Теперь капут. Отец меня пришпандорил.

На пожарной каланче, через улицу, ударил тревожный колокол. Пожар! С крыши беседки я видел, как подымали большие черные шары, – три шара с промежутком внизу.

...В нашей части... Если бы был Васька!

По улице уже бежали мальчишки, мастеровые гремели по крышам, вылезая из окон чердаков. Пекаря с засученными рукавами уже торчали на заборе.

– Где пожар? У Крымского моста?!

Крымского моста я не знал, но знал, что совсем недалеко от нас находятся Крымские бани, куда я ходил по субботам. Должно быть, и мост где-нибудь там. Я уже слышал, как гроыхали пожарные и бойко звенели колокольчики.

– Едут! Едут! Нет лучше серых!

Чувство гордости, что это наша, самая лучшая часть, вздрагивает в груди. Серые в яблоках! Только наша часть имеет таких лошадей. Как они мчатся, доставая мордами передние копыта и круто выворачивая шеи! И я кричу вместе со всеми:

– Не выдавай, серые!

И сами пожарные, кажется мне, гордятся и задирают головы, а толстый брандмейстер в черном сюртуке с белыми пуговицами, стоя на подножке, храбро показывает пальцем вперед.

Если бы быть пожарным!

Пекаря уже сорвались с забора и мчатся во весь дух, теряя опорки и опять вскакивая в них. Я бегу, позабыв, что без шляпы, не слушая дворника, который пытается метлой загородить дорогу. Уже далеко впереди мелькают медные каски пожарных. Я бегу и падаю: какой-то мальчишка ловко дал мне «подножку».

– Держи его, р-разбойника! держи!! – кричит весело старичок-лавочник и топает часто-часто на одном месте.

Я пробегаю мимо бань. Но что это! Красные перила тянутся по обе стороны улицы, прямой, как стрела, а за ними... Свежестью и простором пахнуло мне в разгоряченное лицо! Поля! Вправо и влево от улицы, за вереницей зеленеющих ветел, внизу тянулись поля. Это, конечно, были огороды. Я видел избушки, кучи навоза, шесты скворечников, зелень и стаи ворон и галок. Я видел вольное солнце, черные полосы гряд и простор, простор...

Пожарные скрылись, но меня уже занимало другое. Я подлез под перила и стал спускаться с откоса. Цветы! Желтенькие одуванчики весело заглядывали мне в глаза. Черные гряды. Пахнет свежей землей и травкой, пахнет как будто солнцем. Теперь уже не знаю я, как может пахнуть солнечный день, но тогда... Тогда самый простой осколок бутылки в мусорной куче много рассказывал мне о себе, и улыбались вороны, и желтый венчик цикория закрывал собою весь мир. И пахло солнцем.

Я наткнулся на какие-то гнилые доски. Приподнял. В черной глубине увидел я светлое небо и свою голову. Я знал, что это колодец, и глядел с подмывающим страхом, втягивая носом струйки гнили и холодка. Не надо колодца! И я захлопнул крышку. Опять светлый день смотрел на меня, и желтенькие бабочки что-то искали по черным грядам. Зеленое доньшко бутылки сверкало играющим на остром крае лучом.

Я посмотрел на улицу. С шумом колес и медленнодвигающихся пешеходов она теперь показалась мне далекой.

Срывая цветы, я подвигался вперед и скоро выбрался на тропинку, которая привела меня к кучам мусора и навоза. Здесь, уткнувшись лицом в картуз с порванным козырьком, на куче тряпья и мусора храпел человек. Рядом стояла корзина с битым стеклом, костями и тряпками. Я вспомнил про Ваську. Хорошо бы ему побывать здесь: у нас каждый бы день было мороженое.

Я осторожно обошел человека, разыскал местечко почище и развалился. Здесь так хорошо пекло солнышко и гудели большие синие мухи. Лежал и смотрел в небо.

Высоко-высоко, над самой моей головой, стоял в синеве белый змей, плавно поводя мочальным хвостом. Если бы оборвался! Вон видно, как застрял на пути «посланник», переваливается на ниточке. Потрескивает трещотка.

III

«Листовой... – думаю я. – Надо сказать Ваське, чтобы похвостню подлинней делать... Хорошо... Этот уж не даст куры...»

– Эй, ты... господин-сковродин!..

Я привскочил на руках. Спавший человек, в картузе козырьком назад, тыкал в мою ногу палкой.

– Чего на тряпках-то развалился? Пускай!..

И, не дожидаясь, он откинул палкой мои ноги и выдернул огромную замятую тряпку, обдав меня пылью.

– Ферт какой! Ты вот мне спиц дай... Чай, уж куришь?..

Я поспешно вскочил и стал рыться в карманах, прекрасно зная, что все равно я не отыщу ни одной спички. Мне показалось, что он мне не верит, и вывернул карманы.

– Нету... вот...

Посыпались старые перышки, бабка-свинчатка, комочек бечевки и перочинный черепаховый ножичек.

– Таскаешь дрянью всякую... Твой?

Он поднял ножичек, осмотрел, попробовал на ногте и сплюнул через зубы.

– Мой... – нерешительно сказал я, затаился и посмотрел в сторону улицы.

– Не украду... Чего косишься-то... Продаешь? Дам три монетки... Ну! Вот там старушонка груши моченые продает...

Я колебался.

– Не надо. Совсем дрянью, вступился... Хошь, еще свистуна дам...

Он вытащил из сапога свистуна, плиняную трубочку с дырками.

– Ему цена-то полтинник, свистуну-то... Эн, как поет-играет! В мусоре нашел...

Он приложил к губам, зажал дырочки и заиграл «чижика». Мне понравилось.

– Ну давайте... Вы ножичек, а мне свистуна и три монетки.

Свистун и три монетки перешли в мой карман, а ножичек утонул в огромном голенище.

– Прощай, лаковые сапожки. Пора иттить – рожь молотить.

Я смотрел, как человек с палкой прошел по грядам, проваливаясь в рыхлую землю, и поднимался по откосу. Зато у меня свистун. Я вынул его и долго прилаживался; но ничего не выходило. Бродил по огородам и насвистывал. Дул и дул, пока какой-то кол не уперся мне в грудь. Я поднял голову.

Кол, на который я наскочил, был концом перил широкой лестницы. Она подымалась над землей на толстых столбах и упиралась в красную бревенчатую стену без окон. Высоко над крышей торчал шест с вырезанным из железа коньком. Трубы не было. Там, где должен быть, как мне казалось, второй этаж, в стене чернела дыра, к которой и подходила лестница. И лестница-то была необыкновенная. Вся она была сложена из бревнышков, покрытых навозом, и шла двумя заворотами, как деревянная горка. Должно быть, зимой по ней было очень хорошо скатываться на ледянках.

Что такое?!

Из темного отверстия в стене, наверху, выглядывала голова лошади. Это было совсем необыкновенно. Лошадь под крышей! Я уже забыл про свистуна, ступил шага три по лестнице и испугался тишины. Ни звука не доносилось изнутри. Я повернул назад, спустился на землю и обошел здание.

С задней стороны, внизу, была запертая на ржавый замок дверь с намеленным крестом. Высоко над землей окошко. Прудик с водой, покрытой радужными полосами, пощелкивающая клювом в грязи уточка и разохшаяся кадушка, наполовину в воде. И какая-то печальная тишина. Страхом повеяло на меня от молчаливого прудика и от этого странного глухого дома: точно кто-то подсматривает за мной.

В двери были две продольные щели. Я подошел и приложил глаз. Первое, что я увидел в полутьме, была узкая золотистая полоска

солнечного луча, пробившегося в другую щель. Пылинки кружились в ней.

Еще я разглядел... цепи, огромные темные цепи. Они тянулись сверху и пропадали в огромной черной дыре пола. Висели неподвижно. К ним в разных местах были привешены железные короба. Зачем эти цепи и короба?

...Топ... топ... топ... – глухо забило наверху.

Я отскочил от двери, обежал дом, чтобы выбраться к мусорным кучам, и, пробегая мимо лестницы, заглянул кверху. Заглянул и сейчас же отвел глаза.

В темном отверстии, где недавно торчала голова лошади, стоял большого роста человек со свирепым лицом. Он был в полушубке нараспашку и курил трубку. Весь он был какой-то лохматый, в меховой шапке и, как мне показалось, довольно старый и кривой. Я помню свирепый взгляд его единственного глаза. Он точно пронзил меня.

Делая вид, что собираю цветы и вовсе не подсматриваю за ним, я подвигался все ближе и ближе к откосу, попал в канаву с зеленой водой и, наконец, выбрался на мостовую. И только оттуда, из-за красных перил, поглядел. В черном отверстии уже никого не было. Что-то мелькало там, неясное, какие-то странные, пробегающие тени.

Что там? Кто он, который прячется в темноте, и почему там нет окошек? Ах! Я забыл у прудика пучок желтых цветов, которые я собирал для отца...

Надо рассказать Ваське.

III

С Васькой я повидался в тот же день.

– Кривой? – переспросил он, делая страшные глаза. – Знаешь что... Не жулик ли?.. И окошек нет!.. Там, под мостом, всегда жулики... Вон отец сказывал, мастера знакомого, скорняка, обобрали на реке... Огороды, будочников нет...

– Да ведь там люди ходят...

– Мало ли! А ночью-то и... А может, и не жулик.

– А зачем он там живет?

– Мало ли... Они хитрые... Может, и мастерскую держат. Думают все, что мастерская, а они... И цепи... Это я знаю. Это так устроено... Уж это они опускают что-нибудь в погреб. Уж это всегда. Надо обязательно Драпу сказать.

Драп был моим вторым другом. Ему было лет одиннадцать; он был на целую голову выше Васьки и имел очень крепкую грудь. По крайней мере, он всегда хвастался своей грудью, открывал рубаху и кричал:

– Бей, на!

Но ни я, ни Васька из страха не смели ударить. Да, это был настоящий герой, перед которым вся Васькина отвага ничего не стоила. Он мог переплыть какой-то Даниловский пруд, где, как всем было известно, жил огромный сом; лазил по шестам на гулянье под Девичьим монастырем и всегда обыгрывал нас в бабки.

– Почему он Драп? – спрашивал я Ваську.

– Не знаю! Отец его так прозвал.

Потом мне объяснил сам Прохор. Драп явился в мастерскую в рваном драповом пальто с большого роста, и с тех пор его стали называть Драпом.

– Драпа обязательно надо. Он ловкий. Он свою чугунку возьмет.

Чугунка Драпа пользовалась великой славой на нашем дворе. Он чикал ею змеи и играл, как биткой, в бабки.

Была суббота. Назавтра, после обедни, решено было отправиться к загадочному красному дому. Весь вечер мы с Васькой сидели на заднем дворе, в большой пустой бочке из-под сахара, и поджигали себя страшными рассказами. После работ в мастерской появился и Драп.

– Драп, побожись, что никому не скажешь!.. – начал Васька.

У Драпа забегали глаза.

– А что? Да вот тебе... Ну!

– Нет, ты три раза...

– Да вот же тебе! Ну, что?

Васька рассказал все, прибавив, чего и не было.

– Знаю... – с важностью сказал Драп. – Это живодерка. Бегал я к заказчику за мост, видал, как лошадь туда вели.

– Ну, вот, – живодерка! Живодерка за заставой...

– А тут, значит, другая. Трубы нет? Значит, не кузница. Должно быть, фабрика...

– А трубы-то нет! И окон нет...

Дворник Гришка мел двор, подымал тучи пыли.

– Я сейчас спрошу его...

– Стой, дура! – схватил меня за рукав Васька. – Не сказывай, не пустят!

– Да я про другое спрошу... Гриша!

– Чего еще? Ну, выходи из бочки-то... Замету!

– Погоди... Что, у нас тут жулики водятся?

– Где тут? А я-то на что! Они где поплуше... на огородах там... Намедни троих взяли в часть, поймали на барках, на сене... Около моста. Ну, выбирайся...

Мы вылезли из бочки.

– Что! – сказал Васька. – На огородах. Уж я знаю.

– Не пойду я. Не стоит, Васька...

– Струсили! – сказал Драп. – Ладно, я и один сбегаю. Двум смертям не бывать, – одной не миновать. Они, если к ним прямо прийти, ничего не сделают. Только в шайку свою заберут.

– Тогда уж никогда не выпустят, я знаю. И никто на квартиру не пустит.

– Да, – подтвердил и Драп. – Да мы тихо подкрадемся, только посмотреть.

Я долго не мог заснуть в эту ночь. Было жутко. Я бы, пожалуй, и не пошел; но тогда Драп не даст мне прохода, непременно будет дразнить: «барин! кошку жарил!» Он обещал недавно, что никогда не будет дразнить, если я влезу на крышу по высоченной пожарной лестнице; и я, после Долгих колебаний, влез. Но теперь он опять будет дразнить.

Я лежал и смотрел на свой угол, где стояла большая картонная лошадь. Может быть, я уже не увижу ее больше, не буду по вечерам сидеть в кабинете отца... Может быть, я буду разъезжать теперь верхом на настоящей лошади по огородам ночью... Конечно, я не буду нападать, но...

Наутро, после обедни напившись чаю и поев горячих пирожков, я отпросился в сад.

У забора, на груде досок, уже поджидали Васька и Драп. Васька был в чистой розовой рубашке, которая даже гремела на нем и пахла ситцем, и на весь двор дудел в свистуна, которого я уступил ему на денек. Драп был тоже одет по-праздничному: на босых ногах у него были опорки, волосы хорошо смочены квасом, и карман пиджака, – по праздникам он носил старый окороченный сюртук без пуговиц, – сильно отвис, – в нем лежала чугунка и торчал уголок ситничка.

– Ну, идем, что ли! – сказал Драп и плотней надвинул картуз.

Его отважный вид и яркий день подействовали на меня ободряюще. А, все равно.

– Вали через забор! – командовал Драп, запихивая в рот большой кусок ситничка. – А то его дворник в воротах схва-тает! – показал он на меня. – Хошь ситничка?

Милый Драп! Он всегда делился с нами печенкой и ситничком, которые покупал на пятаки заказчиков. И на этот раз он оторвал по куску, сунул остатки за пазуху и посадил меня на забор. Перебрались, причем Драп, как всегда, прошел, растопырив руки, по верхушке забора. Пробежали две улицы, миновали бани и спустились к огородам.

– Здорово здесь! – сказал Васька. – Что гвоздей-то в мусоре! Это, что ли? – показал он на красный дом в конце огородов.

– Да. А вот и колодец...

Осмотрели колодец. Драп плюхнул туда, и мы слышали, как щелкнуло в глубине.

– Ребята, идет кто-то! – крикнул Васька.

Мы оглянулись. Позади нас от бань спускался человек.

– Дай пройти... – скомандовал Драп. – Сюда, ребята!

Мы бросились за ним к огромной куче навоза, шагах в десяти от дорожки, и присели. Человек приближался. Драп вытащил чугунку и плотней надвинул картуз.

– Он, он! – сказал я. – Который стоял...

Он приближался. Это был высокий старик, немного покачивавшийся, в синем казакине внакидку. На щеке его, под закрытым глазом я заметил багровый шрам. Маленькая серебряная серьга болталась в ухе.

– Как у него тут-то! – многозначительно показал Васька на щеку. – Ка-ак его приложили!..

– Рази это жулик! Дурачье! – шепнул Драп. – Вишь, сережка в ухе... Солдат.

– А он, может, нарочно...

Великан приближался, размахивая рукой и издавая губами звуки трубы:

– Ти-там трру... ти-там-трру... тр-ру! Рассыпья, молодцы, за камни – за кусты! По два в ряд! Тру! Ти-там-тру!

Ба-ра-ба-а-ны, бей трево-гу,
Са-ра-жа-а-ай-си со вра-гом!
Барр-ра-ба-ан забил в тревогу,
Пушки гря-а-а-ну-ли уру!

– Здорово поет! – сказал Васька, – а может, он это нарочно...

Мы следили, как великан поднялся по лестнице, отпер дверь и вошел.

– Жарь, ребята! – скомандовал Драп. – Пока не вышел...

Песня на нас подействовала ободряюще. Мы выскочили из-за кучи и забежали за красный дом к прудику.

– Вот здесь... – показал я на дверь.

Васька и Драп прильнули к щелям. Я сторожил окошко; но оно, как и вчера, было закрыто.

– Машина какая-то, – сказал Драп. – Что-то из земли вытаскивают...

Вверху что-то плухо стукнуло в потолок, и вслед за тем мы услышали сиплый голос его.

– Чего в чужую манерку-то лазишь? Дан тебе паек, и жри! Безногая команда... Смотри ты у меня! А ты чего выставилась? Чего на мне написано? Знай свою плепорцию! Вон Губошлеп знает... Ишь, ишь, ехидная ты какая... Ведь это что такое...

– Это он с лошадьми... – шепнул Васька. – Антиресно...

– Тсс!.. – остановил Драп.

– Друзья вы мои распрекрасные! Пр-рощай, Сахарная! крышка тебе по всей твоей жизни и конец! А ты не плачь...

Что ты будешь делать, ежели перемен судьбы... Иди смело, все прймай! Вон Губошлеп молодчина! Ему хоть сейчас... Военная косточка!..

Гремите, тррруб-барр-ра-ба-а-ны-ы,
Знамена вейси по ветрру!
Мундер Нахимов надевает...

– Ты что ж это за ухо меня сосешь, подлец, а?

Бимоклем на врага глядит...
В после-едний раз проща-а-айте, бра-а-ат-цы,
Пор-ра нам в путь, в последний пу-уть!

Стало тихо.

Теперь и я понимал, что наверху жил солдат. Васька еще колебался. Драп сделал нам знак, чтобы стояли смирно, а сам, скинув опорки, чтобы не громыхать, стал подниматься по лестнице. Он делал очень большие шаги, останавливался и слушал. Мы ждали. Сиплый голос стал снова что-то напевать. Мягко фыркнула лошадь. Драп уже подобрался к двери, стал за притолоку, вытянул голову и заглянул. Потом вдруг откинулся назад, вытянулся за притолокой и поднял руки. Строил гримасы и махал нам.

– Колеса! – прошептал он, нагибаясь к нам и взмахивая руками. – Иди!

Мы осторожно ступили на первые бревнышки помоста, как вдруг произошло что-то невероятное. Мы так и сели.

Огромная рука – в этот момент она показалась огромной – быстро выставилась из-за двери, схватила Драпа поперек живота и увлекла. Раздался крик Драпа и дикий хохот. У меня волосы зашевелились на голове. Васька уже был за углом, а я так и замер на лестнице.

– Дяденька-а! – услышали мы пронзительный крик бесстрашного Драпа. – Пу-усти-и, дяденька-а-а!..

– Спущу, спущу-у... ха-ха-ха... Так это ты у меня голубей таскаешь! За голубями!!

– Ай, дяденька! Ей-Богу, не вру-у-у... – ревел Драп. – Мы та-ак...

– Лезь в бадью! лезь!! Спущу в тартарарры!

Драп погибал.

– Кто ты такой есть? Знаешь ты, что я из тебя сейчас сделаю?! А?

Кто ты такой?

– Я, дяденька... Драп...

– Дрррап? Сукно-трика-дррап?! Говори, как звать, чтобы помнить!

Мы услышали топот. Должно быть, он напал на Драпа.

– Ку-уда, бесенок! Сорвешься!!! В колодец ввалишься, подлец ты этакий! Бак там, бак! Слезай сейчас!

– Отпускай лучше! – крикнул Васька. – Отпускай! Я за будочником побегу... Слышь!..

– Ах, подлецы! – раздался сиплый голос, и в дверях показался он.

– Ошалели вы, что ли! Дурачье, шутки не понимают... Иди, не бойся...

В этот момент из-под руки старика стрелой выскочил Драп и прямо со второй площадки ринулся вниз.

– Ах, головорез, шут! Голову чуть не свернул!..

– Вали его! – крикнул Драп, хватая ком сухого навоза.

– Да ты одурел! Тьфу! Вы ежели честью смотреть пришли, так и говори! а не то, чтобы скандалить. Брось!

Драп бросил ком.

– Испугал... Там у него наворочено всего, страсть! Голубей что! Утопить хотел... Там и дна не видно...

– Ха-ха-ха... – покатывался старик, ворочая одним глазом. – Дураки-дураки! Ну, иди, не бойся...

– Машины у него там, лошади...

– Ну, иди, что ли... не бойся!..

– Да-а, иди! А, может, у тебя там... Может, ты нас заманиваешь... – сказал Васька.

– Чего – заманиваешь?

– А, может, ты... Может, у тебя там жулики...

– Ступай вон! – крикнул кривой человек. – Раз ты такое безобразие, нет вам ничего!

И скрылся.

– Он нарочно... – сказал Васька. – А ты заорал!

– Да, как клещами схватил! Сразу, как подкрался...

– Дяденька! – крикнул Васька. – А, дяденька! Старик вышел.

– Ты не пужай... Нам бы машину посмотреть... Вот ему хочется, – указал Васька на меня.

Кривой взглянул на меня, а за ним и Васька с Драпом. Видя, что на меня устремлено все внимание, я и сам оглядел себя. На мне был чистенький костюмчик, лаковые сапожки и, как я знал, синяя шапочка с якорьками.

– У них есть дом... – продолжал Васька, очевидно, желая расположить Кривого в мою пользу.

– А у меня нет?! – усмехнулся Кривой. – Во какие хоромы!

– У него две лошади! – продолжал Васька перечислять мое могущество.

– О! А у меня четыре!

– У него бани и сто кур!

Должно быть, сто кур произвели сильное впечатление на Кривого. Он свесился и внимательно одним глазом оглядел нас.

– Да вы сам-то откуда? – спросил он.

– С его двора...

Васька назвал мою фамилию, и тут произошло совершенно неожиданное. Кривой выпрямился и торжественно снял шапку.

– Так вот кто пришел! Сам молодой хозяин! Хозяин пришел! Пожалуйте, пожалуйста сюда... Здравия желаем. Пожалуйте, поглядите... У меня тут вся механика...

Он спустился к нам и взял меня за руку. Я смотрел, ничего не понимая. Я здесь хозяин?

И Драп, и Васька смотрели на меня и на Кривого.

– А вы чего глаза пучите? Ведь это их водокачка... В бани воду подает...

У меня сильно билось сердце. Этот таинственный дом, эти лошади, колеса и цепи, этот Кривой оказались связанными со мной. Это было мое! И я, я был здесь каким-то хозяином. И все таинственное и такое заманчивое разлетелось. И Кривой, который теперь осторожно вел меня за руку по помосту, был уже простой старый человек, от которого сильно пахло дегтем и навозом. Я хорошо видел его закрытый глаз и другой, которым он добродушно смотрел на меня.

Драп и Васька шли за ним.

– Вон что! – шепотом говорил Драп. – Во-до-качка...

– Вот-с, пожалуйста... – говорил Кривой. – Все мое правление...

Садитесь на стульчик...

Он смахнул рукавом с толстого чурбашка сор, взял меня за плечи и посадил.

– Очень даже на папашеньку похожи... Видите, как у нас здесь налажено. Это водокачка-с. Я при ней водолив-с, у вашего папашеньки служу. Они меня приспособили. По случаю моей старости и глаза, мне бы теперь на паперти стоять, а они меня приспособили, дай им Бог здоровья. «Ты, – говорят, – Сидор, живи у меня по случаю, как ты служил верой и правдой и кровь свою проливал, и как захочешь, я тебя всегда в богадельню определяю». А я говорю: «Я хочу сам себе прокормление иметь, и дайте мне какое услужение работы». А они смеются и говорят: «Дуракам закон не писан, служи водоливом, а за мной считай угол по самый день смерти». Слыхали про Сидора-то Кривого? Это я самый-с и есть.

Он стоял передо мной, склонив голову набок, и смотрел. И Драп, и Васька смотрели. Их приятель так неожиданно оказался таким могущественным. Чувство стыдливого замешательства испытывал я. Я, такой маленький и слабый, оказался хозяином всего, что было кругом, – колес и цепей, лошадей, которые мирно пожевывали в стойлах, сотен голубей, рядками сидевших на стропилах, и этого большого человека, который всем управляет здесь и так бережно и ласково относится ко мне.

– Вот-с лошадки... Эй, вы! Губошлеп, Стальная!

– Стальная?! Где Стальная?

– А вот-с, серенькая-то... Она самая-с... Ужли узнали? Ну, иди!

Он хлопнул Стальную по крупу, вывел из стойла и поставил головой на меня.

Стальная! Вот нам где пришлось встретиться! Столько слез пролил я год назад, когда ее уводили от нас! Цыган уводил ее. Она, бывало, возила детей кататься, как старая и смиренная лошадка.

«Заложить Стальную!»

Я, кажется, еще и сейчас слышу этот далекий теперь голос отца.

Но она стала слепнуть и наткаться на фонарные столбы, и цыган обменял ее на Ворончика, получив еще придачи. Пропала

Стальная. И вот теперь снова была передо мной она, повислая, с красными воспаленными глазами и сильно вздутым животом, с задней ногой, обернутой в грязную тряпку. Вот где привела судьба встретиться! Но она была все того же «мышинного» цвета, с черным клеймом на левой задней ноге, у крупа.

– Узнали-с? Опять у нас. Пал у нас Гнедой на водокачке, и пошел я смотреть на Конную. А она там. Цыган-то ее всучил извозчику, а она, конечно, ему не подошла, ну, и попала на Конную. Мы и купили. Тут ей теперь самое настоящее место.

Я не понимал, почему ей было тут «место». Но я был рад, что она опять у нас, милая Стальная. Я потрепал ее по губам. Она потянула носом и взметнула мордой.

– Признала! Лошадь уж всегда признает!

Мне и самому показалось, что она признала меня. Она обнюхивала мои руки; она всматривалась мутными глазами, медленно подымая волосатые веки. И было грустно. Какая она обвислая вся, старая...

– Последний ей здесь этап, – сказал Сидор. – Всем им... Покружатся, а потом на живодерку... В чистую отставку выйдут!..

И он начал показывать нам всех поочередно. Лошади... Какие лошади!

– Этот будет Губошлеп. Все зубы съел. Был мерин гнед, теперь шерсти на нем нет. Ходит в сапожке, ножки – что сошки, а сам Губошлеп. Вот какой красавец кавалер!

На правой ноге у него была намотана из сена и рогожи огромная култыжка. Весь он был точно изъеден молью, и в потертых местах виднелись розоватые пятна кожи. Понурий, стоял он перед нами и жевал обвислыми губами.

– Самое теперь настоящее имя ему – Губошлеп. Была лошадь военная, теперь, как и я, калека, проживает два века. Ну, слу-ша-а-ай!..

Он приложил ладонь ко рту и затрубил:

– ...Ти-там-трру... Ти-там-тру-ру-ру...

Губошлеп застриг ушами и поднял голову. Губы подобрались, и глаза как-то тревожно-печально осматривали нас. Он точно искал чего-то.

– Не забыл команды! На турку ходил, самые Балканы переходил, себе ногу повредил. Ваш папаша его за диковинку купили, на

водокачку, в богадельню, определили. Ничего, конь крепкий.

Сидор говорил очень складно, посмеиваясь, но никто из нас не смеялся. Мы смотрели на невиданных лошадей.

– Так-то, животинки мои! Живешь, – не с кем покалякать, помрешь, – некому будет поплакать. Вот у нас с ими и компания. Они все понимают. А это вот Вот-те-на – голая спина. Был конь-огонь, теперь по воду ходит.

Он вывел из стойла худую, высокую лошадь. Были видны ребра, сильно выдавались ключицы с впадинами и острый хребет, на котором можно было пересчитать все позвонки.

– Сытая лошадка! Как на Конной вывели ее да как папашенька ваш поглядели на нее да и говорят: «Вот те на! Одна-то кость». Ну, я так ее и зову. А, бывало, Васькой звали... Старательная... на овес. Только ноги волочит, помирать не хочет. А вот и четвертая, Сахарная. Потому сахар у меня крала.

– Как крала?

– Очень хитрая была из себя. Давно было. Забралась ко мне в каморку, мордой дверь с крючка сшибла да прямо в сахар, – на полочке у меня лежал. Весь пакет сожрала. Так я ее с той поры Сахарной и зову.

Сахарная была коротенькая, рыжая лошадка, с маленькой мордочкой. Ее плечи были сильно побиты, с болячками в пластырях. Она стояла перед нами, низко опустив голову, и даже как будто покачивалась.

– Этой всякий срок вышел. Прощай, Сахарная! Теперь на сапоги...

– Как на сапоги?

– На живодерку. А там, конечно, не поглядят. Так-то, молодой хозяин! Прошла весь свой круг жизни.

Сахарная стояла, покачивая головой, как будто слушала и хотела сказать, что она понимает, о чем говорит Сидор.

– И жалко тебя, старуха, а нет никакой возможности. Предел судьбы...

– Жалко, – сказал я. – Сидор, не надо ее на живодерку!

– Не надо... Уже продали. Завтра коновал придет. Ешь, Сахарная, напоследок, отведи душеньку...

Он отвел ее в стойло и подсыпал овса.

– Дяденька, а там уж ее пристукнут? – спросил Васька.

– На перину положат, блинами будут кормить... – хмуро сказал Сидор.

Сахарная стояла тихо, поставив заднее копыто на ребро, как будто и стоять-то ей было уже не под силу, и качала головой в кормушке. Я зашел ближе... Что она делала! Она, должно быть, уже не могла есть. Набирала овес, медленно шевелила губами, а овес сыпался назад в кормушку. Она заметила меня и скосила глаз. Я осторожно поглядел ее по влажным губам. Тогда она затрясла головой и повернулась ко мне. Смотрела...

– Теперь пожалуйста, баринок, всю фабрику мою смотреть...

– Сидор! Вы вот что... Ее не надо на живодерку... Смотрите, она, должно быть, плачет...

– Все оне плачут. Я-то уж их вот как знаю. Все-то их жилки знаю. Круглый год тут с ними, как сверчок, сижу. Вот эта самая-то Сахарная, пять годов со мной тут, так весь ее характер знаю... И вот как, бывало, остановишь всю эту машину и пойдешь спать. А оне, значит, после работы едят. И вот как ночью проснешься и слышишь...

– Что слышишь?

– А все... Как оне будто промеж себя... Разговор какой у них...

Сидор присел на другой обрубок и закурил трубку. Она у него была старая, закопченная, с медной откидывающейся решеточной крышечкой.

– Да-а... И вот, стало быть, перво-наперво это вот Стальная... Весело так: и-и-и-их-хи-и-и-и!.. Эта уж всегда начинает. И так это у ней к концу жалостливо! Да-а... Ну, а не понятно. Так будто это: жила я, говорит, стало быть, в хорошей жизни и возила хорошую публику. И была у меня, скажем, сбруя вся, как из золота. И ела я, значит, самый первый сорт. А теперь мне, значит, вышел перемен судьбы ужасный, и я на водокачке. И потом опять так: и-и-орррр! Будто меня кличет: «Си-и-до-орррр!» Ну, конечно, крикнешь: «Э, черрртт! не ори!» Ну, и замолчит. Оне меня уважают. Плохого не видали...

Мы трое смотрели на Сидора во все глаза. Лошади тихо-тихо жевали.

– Ну, а еще как?

– Ну, а потом сейчас этот, Губошлеп, слышно, как губами – чвак-чвак... И сейчас ногой – бум-бум – об пол. У него дух военный. Будто

шпорами. Приснится ему, конечно, как он на поле битвы, и, может быть, видит страшное кровопролитие и игру трубы... Ну, и вспоминает, и сейчас ногой... Будто скачет на врага... Да-а...

Голубок сорвался со стропил и, звеня крыльями, вылетел в открытую дверь. За ним еще. Тихо было. Драп сидел, разинув рот. Васька стоял у стойла и поглядывал на лошадей.

– Хорошо-с... – продолжал Сидор. – Поговорят и затихнут. Только вода капает... Сверчки отзываются. А там вон, в колодце, булькает что-то.

– Что булькает?

– Неизвестно, а булькает. И вот опять слышу, этот самый Губошлеп вздыхать начнет: а-ах... А-ахх-ха-а... Тяжело так, будто в гору идет. У него, конечно, внутри боль, кровь больная в нем ходит... Ну, и больно ему... И тяжело, конечно, после такой парадной жизни и на водокачку, по кругу ходить. Потом, значит, черед за этой, – указал Сидор на Вот-те-на. Начнет чесаться. Плечи у ней болят. Чешется и хнычет. Тяжко ей. Плечи болят, а ты хомут надевай и в работу становись... Чихает она, конечно, а может, и хнычет... Хны-хны...

– А Сахарная? – спросил Васька.

– Ты погоди, дай сказать! Сахарная! Много ты понимаешь! Да... И вот похнычет-похнычет – даже неприятно слушать. А эта-то уж опосля всех, Сахарная-то... шептаться начинает. Шу-шу-шу-шу... А Стальная-то и-и-до-оррр! А Губошлеп-то бум-бумм. Хны-хны... Всех их опять подымает и растревожит. А я лежу и все, конечно, понимаю. Ну, и пойдешь им овсеца подсыпать, возьмешь фонарик. Притихнут все, стоят это, будто спят... А на глазах-то мокреть-мокро... Да-а... Ну, теперь покажу вам всю механику...

Какая огромная механика! Мы все взирали на Сидора, как на существо из другого мира.

– Уж я вам ее в дело приведу, видней будет. Ну-ка, господин Губошлеп, пожалуйста в строй... ма-арш! А в компанию ему прихватим Стальную... – он поискал глазами, – самая их пора...

Он вывел лошадей из стойл и поставил на крупный бревенчатый помост, посередине которого стоял высокий и толстый столб. Вот-те-на и Сахарная повернули головы и смотрели. Сидор надел на лошадей хомуты, накинул на кольца хомутов крючки с прикрепленными к ним ремнями, к концам которых были привязаны палки с толстыми

крючьями, и зацепил этими крючьями за крюки на концах бревен, вделанных в высокий столб. Лошади стояли покорно, опустив головы.

– Теперь мы им глаза завяжем...

– Зачем же глаза завязывать?

– Обязательно. Кружить оне будут, так вот чтобы головы-то у них не закружились. А то упадут.

– Ну-с, теперь пошла машина. Э-гей! Фю-итть!

Он свистнул. Лошади подались вперед, согнув шеи и вытянув ноги. Хомута врезались в плечи. Скрипнуло, треснуло где-то наверху, громыхнуло. Затряслась водокачка. Забили глухо копыта по навозному выбитому помосту. И толстый столб стал медленно поворачиваться.

– Вот-с. Теперь, плянь-ка, на этом столбу, вверху, колесо поворачивается... Видать?

– Видать... – повторили мы трое.

– Та-ак-с... А на том колесе вставлена дубовая решетка, как все равно решетчатый барабан. Видать? Вот. А вон лежит круглая балка, и на ней, значит, тоже колесо-барабан, а на барабане клинья дубовые – кулаки... Видать?..

– Видать...

– И вот эти кулаки как раз друг за дружкой в решетку попадают. Она вертится, цепляет за кулаки и то колесо поворачивает. Тот, значит, столб лежачий поворачивает. Теперь сюда идем. Во-он, конец этого столба где лежит! А на нем самое большое колесо, водяное называется, а на нем цепи железные... Видать? Во-от... А на цепях бадьи-короба. Теперь, стало быть, колесо водяное вертится, а цепь петлями за кулаки на нем цепляется, и кружится цепь, стало быть... С этого боку вниз на ней ползут пустые кораба. Как доползут до самого низу, где вода в громадной ванне стоит, зачерпнут и уж по этой стороне вверх идти начинают. Вон она ползет, бадья-то, полная, плещет даже, а за ней пониже, вон еще выползает, а там еще... Вон доползла до самого доверху, валиться начинает на колесо, а вода из нее хлещет... А куда хлещет? В корыто под колесом, – вон оно! А оттуда по желобу в бак бежит. Вон он на столбах стоит. Там ведер тысяч пять воды... А уж из бака по трубе в земле туда подает, к баням... – махнул Сидор рукой в сторону огородов. – Вот и все устройство.

Вот они, цепи, и короба, и колеса! И как все просто! Да, теперь все казалось мне простым, и уже не это теперь занимало меня.

– Остановлю я, и все кончится. Нет воды! Значит, я здесь самый главный гвоздь. Вот и качаем с животинками. Отдохнем часок-другой и опять. Так всю жизнь и будем качать. Эй, милья, бу-у-дя! Закачались!

Он даже не сказал – тпррру! Лошади понимали его голос. Они остановились сразу и тяжело дышали.

– Трудно, – сказал Сидор. – Оттого и калеки все. И тихие оне. Сюда попала – пропала. Как покружится, уж никуда ей дороги нет. Уж у ней в голове того... – покрутил он пальцами, – ходит все. Даже и тошнит иной раз. И за все ее старание ей капут. Откачает последний годок, и на живодерку... Вот какая им планида судьбы... Эх ты, Сахарная! И будет от тебя завтра один прах земли!

Мы молчали. Сидор отпряг лошадей, вытер потные плечи сеном и отвел в стойла. Они шли с трудом, покачиваясь. Должно быть, у них кружилась голова.

Я смотрел на Сахарную. Она все так же трясла головой в кормушке. Голубок звонко затрепетал крыльями и опустился ей на спину. Старый Губошлеп – он стоял рядом с ней, – через перегородку, опустил ей на шею свою мягкую морду.

– Друзья, – сказал Сидор. – Никогда не погрызутся. А то лизать начнет. Стоит, дурачок, и лижет. А она только щурится. Знаю я их очень хорошо. Потому я в кавалерии служил, и мне даже вот здесь печать приложили... и глаз пулей вырвало... Здорово поцеловало! Хе!

И Сидор долго рассказывал нам, как он защищал Севастополь, как ему на глазах самого Нахимова вырвало глаз и как ему пожимали руку генералы.

Он стоял перед нами во весь рост. Теперь он не был страшен, и все мы смотрели на него, как на героя. А еще час назад...

Голубок тихо расхаживал по спине Сахарной. Милый голубок!

– Ее завтра возьмут? Сидор, возьмут ее завтра?!

– Ничего не поделаешь. Принесет три целковых и поведет... Провались они – и три целковых-то! Разве мне не жалко! Да я с ними, как с людьми живу... Только они у меня и есть... – Он отвернулся к двери и стоял, насвистывая что-то.

– Какие три целковых?

– За шкуру. Так уже заведено. Ваш папашенька изволили положить. Коновал лошадь возьмет, а мне, за ее, значит, за шкуру, три рублика...

Драп исподлобья смотрел на Сидора. И Васька смотрел. Чего они так смотрят?

Было тихо на водокачке. Голуби иногда срывались и, позванивая крыльями, перелетали к лошадям и рылись в кормушках. «Значит, и всех их так, и Губошлепа, и Стальную...» – Думал я.

«Рад он! – шепнул мне Драп. – Получит три целковых...»

Его глаза блеснули под насупленными бровями, и в них я узнал знакомое выражение, с каким, бывало, он налетал на мальчишек в драках.

– Так-то, молодой хозяин! – сказал Сидор, раскуривая трубочку. – Так и жизнь человеческая. Кружишься-кружишься, а потом... Только, конечно, у нас отрада есть... Хозяин у нас есть... самый главный Хозяин. Он каждого приютит и обласкает... да-а... Он не скажет, что пошел, мол, вон, такой-сякой... вот тебе пачпорт... У Него даже и с самым последним человеком, даже с жуликом и еще чего хуже будет хороший разговор.

Драп спросил хрипло:

– Где ж такой хозяин живет?

– Должен знать самого главного Хозяина! А кто сказал: «придите ко Мне все труждающие, и Я вас всех успокою»? Ну? Не слышал?

– Нет, – сказал Драп.

– И ты не слышал? – спросил Сидор Ваську.

– Не... – задумчиво протянул Васька.

– Ну, баринок знает. Молодой хозяин должен знать... Ужли не знаете? Как же это так?

И я не знал. Мне было стыдно, что я не знал того, что знал Сидор.

– Господь Бог, Иисус Христос! – сказал мне Сидор. – Он наш главный Хозяин. Он не посмотрит, что у тебя там руки в навозе, что Сидор с лошадьми живет. У Него это без значения. А как придет Сидору конец, Он сейчас и скажет: «А ну-ка, Сидор Кривой, поди ко мне. Ты утруждался, вот тебе за это успокоение!» У нас есть, стало быть, отрада, да... А у животинки и того нет... В утруждении и болях к ей сейчас коновал приходит, и разговору никакого...

– А может, и им... – сказал Васька.

– Много ты знаешь! Говорят тебе, что ничего! Лошадь али там что еще – это уж нам представлено. Значит, вся земля, и мы, стало быть, над всем за хозяев... Ну, мы значит...

Стальная заржала. Губошлеп вздрогнул, поднял голову и пожевал губами. Вспорхнули голуби. Этот крик Стальной показался мне печальным, жалующимся. Сахарная стояла, как и раньше, покачивая головой в кормушке.

– А что она сейчас сказала? – спросил Васька Сидора. – У них свой разговор. А только, конечно, сказала.

– А ты знаешь? – спросил Васька.

– Знаю! Они все, значит, ее жилеют, Сахарную... Да вот вам...

Он взял Сахарную и перевел к кормушке Стальной. Сахарная покорно сунула голову в кормушку, и мы увидели, как Стальная отстранилась и тихо фыркнула.

– Видал? Кушай, значит, напоследок! Уж насмотрелся я на них! Да вот, водил я ее прошлым летом на травку, за водокачку... На денек, бывало, отведешь... Может, она и покрепчает, с травки-то... Так что же? Заскучали эти-то. Стоят да оглядываются, – куда, мол, подевалась... Такую ржу подняли! А вот, значит, как коновал завтра придет, биться начнут.

– Как биться?!

– Би-иться. Чуют на нем кровь, потому он лошадей бьет на живодерке. Ну, и почнут копытами стучать, сердятся...

– Не давай ее! – шепнул мне Драп, и опять блеснули его глаза. – Не давай! Ты хозяин, твоя лошадь...

Я стоял, не зная, что мне делать. Да, я был тут «молодой хозяин», жалел Сахарную. А она выставила голову и смотрела в землю, точно раздумывала о чем-то. Впалые бока ее тяжело ходили.

– Сидор, – просительно начал я, чувствуя, как у меня сжимает в горле, – Сидор...

– Чего изволите?

– Ее надо... оставить...

– Да как же это можно-с!.. – сказал он, улыбаясь. – Папашенька не велит-с... Ее и ставить-то некуда, а завтра новую приведут.

– Ты ее спрячь... Ее можно вниз поставить, туда...

Она смотрела на нас, я видел. Она понимала все, я это чувствовал. Она смотрела на меня, на своего «хозяина». И я ничего не

мог сделать. Драп стоял около нее и задумчиво гладил по отвислым влажным губам.

– Плачет! – крикнул Васька. – Ей-Богу, плачет... Течет...

– Уж я знаю, – говорил Сидор, выколачивая о сапог трубку. – У ней теперь на сердце-то жуть... А солнышко-то как любят! У меня солнышко в заднее окошко видать, как садится к вечеру. И бьет оно тогда прямо к стойлам. И как ударит сюда, оне сейчас головы и повернут, и глядят...

Да, Сахарная плакала, плакала беззвучно. Из воспаленных глаз, из-под волосатых век тянулись мутные струйки и собирались во впадинах морды.

– Сидор, голубчик! Ты скажи, что коновал увел ее... Я потом папашу попрошу...

Васька и Драп стояли рядом, плечо к плечу, выжидая.

– Сидор! Я тебе сахару принесу... Сидор!

– Господин, баринок! Да мне бы, верьте душе, самому бы легче было. Ничего не могу! Я должен приказание исполнять... Дисциплина! Ведь меня тогда приказчик, Василий Василович, в шею выгонит! Вы то подумайте! Я знаю, что ночь не усну, на сердце слеза кипит, а не могу...

– Ему денег жалко... – шипел сзади Драп. – Вали, ты здесь хозяин...

– Я хочу, Сидор! – крикнул я. – Я хозяин! Сведи ее вниз! Пожалуйста... У меня есть на голубей... у меня больше рубля есть... Сидор... Я тебе отдам...

– Мы тебе костей насобираем, гвоздей... – вмешался Васька.

– Не могу, – коротко сказал Сидор. – Говорите с папашенькой. Не могу.

Ничто не действовало. Сахарная уже отвернулась от нас и стояла понуро. Уже давно пора было уходить нам. Меня, конечно, разыскивали по соседним дворам.

Помню, мы все трое подошли к Сахарной. Прощались. Маленькая надежда еще была, – может быть, отец позволит. Но, а если его нет дома? Иногда и по воскресеньям он ездил куда-то «по делам» в своем шарабане и возвращался поздно, А завтра, раным-рано, все уже будет кончено. Последний раз взглянули мы на приговоренную к смерти.

– Осерчали, молодой хозяин... – грустно сказал Сидор. – Не моя воля.

Когда мы выходили на помост, солнце било в глаза, и травка под водокачкой была яркая-яркая, и золотые цветы были так прекрасны. Так светло было кругом, так пышно дремали под солнцем зеленые ветла на откосе. Тихие облачка недвижно стояли в небе. И было так тяжело на душе. Сидор стоял в дверях. И хмуро было его лицо с ярким шрамом.

Мы вяло брели по огородам. Уже не было утренней захватывающей радости и ожидания таинственного, – что там? Что там, – теперь это было уже известно.

Васька было пригласил Драпа и меня порыться в мусоре, но Драп только отмахнулся. Шел и грыз ногти. А я... я думал об отце. Когда мы подошли к воротам, дворник уже сообщил, покачивая головой, что меня часа два искали по всем улицам и что мне теперь попадет.

– Проси отца! – настойчиво сказал Драп.

– А папаша дома?

– Никак нет-с... Уехали верхом в Новый Иерусалим.

– Это далеко?

– Сказывали, верст сорок... Обедать давно сели... Серчают на вас там...

Отец уехал... Верст сорок... Драп вывертом пустил камень в воробья, но промахнулся и со звоном посыпались стекла старой галерейки.

– Я тебе все уши оборву! – кричал дворник, пускаясь за Драпом.

Я услышал только топот ног по крыше сарая и грозный крик дворника.

V

День прошел вяло. В кабинете отца темно. Отец, должно быть, придет только ночью. Я ходил из угла в угол и ждал, думая все об одном. Если бы приехал отец!

– Спать, спать!..

Я покорно бреду в детскую и задерживаюсь в темной передней. Что это? Через открытое окно я слышу голос:

– Воды отнюдь не давать! Да хорошенько проволить... Отец! Он вернулся... Я уже слышу его быстрые шаги, уже хлопает дверь. Нет, теперь-то я не пойду спать. Сегодня воскресенье, и я знаю, что буду сидеть в кабинете долго-долго. Отец меня никогда не прогонит. Вот его свежий, веселый голос в столовой. Вот он говорит, чтобы зажгли в кабинете лампу.

– Ничего, не устал... – отвечает он на чей-то вопрос и идет в кабинет.

Я слышу, как со звоном высыпаются деньги, и начинают пощелкивать счеты. К нему, к нему...

Я проскальзываю в темный коридор, тихо вхожу в кабинет и усаживаюсь на большой клеенчатый диван. Здесь так хорошо тихо-тихо сидеть в полутемном уголке, прислонясь горячей щекой к охлаждающей клеенке дивана. Отец сидит за письменным столом. Горит лампа. Я слышу только короткий знакомый стук отсчитываемых монет: чок-чок-чок...

На столе груда медных денег, с краю счеты. Пальцы отца ставят все новые и новые кучки медяков. Я знаю хорошо. Вон самые крупные – идут ряд за рядом, как домики с трубами. Это пятаки. Четыре столбика по десяти пятакон и пятый сверху. Отец считает:

– Два с полтиной... да еще... два с полтиной... Откладывает на счетах, и мне слышится, как и костяшки как будто повторяют за ним:

Чик-чик... два с полтиной...

Вот маленькие, «тройчатки», кучки трехкопеечных, еще дальше – совсем маленькие «семитки» – по две копейки. Много, много денег. Отец мне кажется самым богатым человеком. Каждое воскресенье он сидит вечером в кабинете и пощелкивает на счетах, складывает медные деньги в серенькие мешочки и потом отшвыривает эти мешочки с тупым звуком на пол, в уголок. Эти мешочки приносит к нему толстый приказчик Василий Василиевич. У этого Василия Василиевича какие-то странные глаза. Стоя в дверях кабинета, он всегда говорит с отцом, а одним глазом, пристально смотрит на меня, а если заговорит со мной, этот глаз начинает глядеть вбок. Говоря с отцом, Василий Василиевич переминается с ноги на ногу, очень тихо сморкается в красный платок, голос его становится совсем тонким, так что я даже боюсь, что у него горло тоже делается тонким и

перервется. Он, очевидно, не любит или не умеет говорить, потому что всегда почти повторяет только одно:

– Будьте покойны-с... Понимаю-с... При этом у него выходит: «Будькойныс» и «пымасс».

Я знаю, что отец любит, чтоб я сидел на диване в уголку. Он всегда, бывало, кликнет:

– Эй, капитан! Лезь на свое место!

Иногда, постучав на счетах, он обернется, взглянет на меня, кивнет головой, подмигнет и опять начинает считать. И дремлет мне, и тихо, и тепло на душе.

Я сижу, а он считает, иногда спрашивает:

– Ну, как наши дела? Два с полтиной... – да полтора... Ну, скажи, что хорошенького? Двадцать один, сорок два... На коленках не стоял?

– Нет... А сегодня мне Гриша песенку новую спел...

– Ага... Ну-ка... Сто сорок пять да тридцать четыре... А? Ну-ну...

– А вот так...

Анки-дранки,
Девер-друг,
Тибер-фабер,
Тибер-фук.
Ани-драни,
Ветер-сани,
И-ни-и-ни-и-ни-ам!..

– Та-ак... Хорошо... Спутал ты меня...

– Папаша, а я сегодня на водокачке был...

У меня захватывает в груди. Я буду просить сейчас... Он сделает... А вдруг? Вдруг он скажет, как говорит иногда, – «не твое дело»?

– Мы с Васькой были и Драп...

– Что еще? Какой Драп?

– А мальчик у сапожника...

– погоди ты... Опять все перепутал... И что ты, братец, лезешь с пустяками! Сиди и молчи.

Я долго-долго смотрел в одну точку, на склоненную голову отца с прядью волос надо лбом. Я щурю глаза, и голова его делается маленькой-маленькой, начинает уходить дальше, дальше... Дремлется. И вдруг перед глазами выдвигаются лошадиные морды. Я вздрагиваю и открываю глаза.

– Папаша, – едва выговариваю я. – Папаша... Сахарную... завтра...

– Сиди смирно!

Я так ясно вижу, как завтра огромный коновал, страшный, со зверским лицом разбойника, приходит к Сидору. Он накидывает петлю и тянет Сахарную в дверь водокачки. Она упирается; но Сидор выталкивает ее. Смотрят лошади, голуби бьются под крышей. Они вылетают из двери и кружатся в воздухе, а коновал уже ведет Сахарную по огородам. Она не может идти, у ней кружится голова, она ничего не видит. А коновал тянет и тянет. Он нагнул голову и не замечает, как Васька и Драп подкрадываются с боков, а я с луком и стрелами выскакиваю из-за кучи навозу. У Драпа чугунка. Мы отбиваем Сахарную, коновал гонится, но у него очень тяжелые сапоги, и мы несемся во весь дух, и Сахарная, конечно, понимает, в чем дело, и напрягает последние силы. Гришка помогает нам запереть ворота.

Тут мысли мои обрываются, я вздрагиваю. Отец уже два Раза окликнул меня.

– Заснул, что ли? Ну, иди, получай...

Но мне совсем не весело. Бывало, я всегда с нетерпением ждал этого, срывался с места и смотрел, сколько «осталось». Все копейки с целых рублей шли в мою глиняную копилку на разные разности.

– Счастье тебе сегодня, восемьдесят семь копеек... Ты что это, поросенок? Голова болит, а?

Он взял меня двумя пальцами за щеку и притянул. Милые, родные глаза! Они давно уже закрылись... Они не видели, как «поросенок» ходил в гимназию. Они не видели, с какой тоской смотрел этот «поросенок» на милые ушедшие черты... Родные руки! Их нет, и никто не притянет за щеку и не скажет:

– А? Ты что?

И не посмотрит так.

– Ты что закис? а?

Ласковый ли голос или этот добрый, заглядывающий в душу взгляд, невеселые ли впечатления утра... не знаю. Я заплакал. Стиснуло в горле и зажгло в глазах. Я припал к его груди, горячей щекой к холодной цепочке часов. Пуголка жилета давила мне в висок, но я не мог оторваться. Мои пальцы сжимали руку отца, и я тискался ближе и ближе к нему, теснее к его груди. И то, что я плакал, и то, что так хорошо было плакать на родной груди, сжимать эту руку, которая всегда, всегда ласкала меня, – единственная рука! – все это больше и больше давало волю слезам. Впервые в тот вечер в полутемном кабинете почувствовал я великую силу тихих детских слез. И позже плакал я; но как тогда я никогда не плакал и не заплачу больше...

– Дурашка... – услышал я тревожный голос. – Что с тобой, дурачок?.. Обидел кто?

Он был простой души, мой отец. Он ничего не понимал в тонкостях душевной жизни. Он был мягок сердцем, мой простой отец... Он был чуткий и добрый человек.

– Э, рева, – говорил он, трогая пальцем мои мокрые щеки и размазывая по лицу слезы. – Дождь пошел! Да ты что же это?!

Он подхватил меня под мышки и поднял высоко-высоко к потолку. И опустил сразу.

– Ну? Садись... Садись ты, братец мой, сюда на колени и выкладывай... Ну, кто обидел?

Я еще не мог говорить. Я только замотал головой и спрятал лицо под его руку. Он ущипнул меня за щеку.

– Ну, что дуришь! Мальчишка, а ревешь... Мальчонка!

Он притиснул мою голову локтем.

– Ну, говори! Ну? Живо! Задушу!..

Когда я плакал и жался к нему и чувствовал идущую от него на меня ласкающую теплоту, я ни о чем не думал. Так хорошо было. Но его тревожный голос нашел в моей душе тревожное, и я сказал:

– Сахарная... ее на живодерку...

Он отнял руку.

– Сахарная? Какая еще Сахарная? Что ты говоришь?..

– Лошадь... на водокачке... Сидор говорил...

Он поднял голову и посмотрел на меня.

– Та-та-та-та... Да, вон что!..

Глядел на меня долгим, задумавшимся взглядом.

– Жалко? – спросил он серьезно.

Жалко! Как он сказал! Снова вешним дождем брызнули слезы.

– Да... да...

Я сполз с его колен... Я прижимался лицом к его ноге, а рука цепляла часовую цепочку. Он поднялся и стал ходить по кабинету. Толкнул ногой мешочек с медяками. Ходил, насвистывая любимую песенку:

Вот барка с хлебом небольшая,
Кули и голуби на ней,
И рыбаков большая стая
Уныло ловит пи-ска-а-рей...

Я стоял у стола и смотрел. Я ждал. Вдруг он оборвал песенку, знакомым резким жестом, ладонью, распахнул дверь и крикнул:

– Позвать ко мне Василья Васильича!

И я услышал, как в дальних комнатах повторил голос:

– Василья Васильича наверх!..

Отец продолжал ходить и насвистывать. Взглядывал на меня, посмеиваясь в усы.

– Чего изволите?

Неслышно по ковру из темноты выдвинулся Василий Васильич, остановился в дверях и выгнулся, заложив назад руки.

– Был на водокачке? – спросил отец, продолжая ходить.

– Был-с... будьте покойны-с... – отвечал Василий Васильич, вытягивая шею, точно боясь услышать что-то не обыкновенное, и готовился принять неожиданное. – Каждый день-с... будьте покойны-с...

– Что там за Сахарная? Готова, что ли?

– Так точно-с... готова-с... Коновал завтра берет... Пять лет ходила, будьте покойны-с... Уж заменили-с...

– Оставить.

У меня упало сердце, толкнулось и забилося часто-часто. Отец продолжал ходить, а Василий Васильич втянул голову в плечи и стрельнул в меня глазом. Он подался вперед и нагнулся, точно хотел

упасть или побежать. Но он не сделал ни того, ни другого. Он как-то ловко перекинул голову к плечу и сказал:

– Понимаю-с... Завтра Ленька Цыган свежую приведет, сторговали-с...

– А разве я говорю – не надо?

Молчание. Голова Василия Васильича перекидывается на другое плечо.

– Будьте покойны-с... А ту куда же прикажете? Ваську-с? Сахарную-с?

– А вот... спроси его, – показал отец на меня. – Спроси...

Василий Васильич снова вытянул голову из плеч, и его глаз стрельнул к печке.

– Ну, говори! распоряжайся... Василий Васильич ждет...

Василий Васильич погнулся ко мне, показывая своей напряженной фигурой, что ждет. Он сощурился и подмигнул в пространство.

– Так точно-с... Ждет-с... Что прикажете-с? – говорил он, поглядывая по сторонам.

Я переводил глаза с отца на Василия Васильича, на его хорошо начищенные сапоги и свесившуюся серебряную цепочку с фиолетовой передвижкой и кисточками. Пожал плечами.

– Она будет жить... Ей только немного овса... сена...

– Слышал? – в тон повторил отец, – ей только немного овса, сена...

– Понимаю-с... Будьте покойны-с...

– Ступай.

Камень свалился. Я стоял у стола и смотрел на отца. Он смотрел на меня, склонив голову набок, словно высматривал что или думал о чем-то. О чем он думал? Всегда занятый, только на несколько часов по праздникам отрывавшийся от своего «по делам», он и в эти короткие минуты прочно врос в мое сердце. Я смотрел на него. Он стоял спиной к печке и так хорошо смотрел. Вдруг лицо его стало бледнеть, он откинулся головой к изразцам и приложил руку ко лбу.

Другая рука стала быстро-быстро ощупывать стену. Что-то страшное происходило с ним.

– Папаша!

Он по стенке добрался до уголка и опустился на стул. У него закружилась голова. Я помню этот первый приступ болезни: тихий, полутемный кабинет, лампа, я у стола, и он с ладонью у глаз.

– Ничего, прошло... Ездил сегодня много... Ну, поди-ка, братец, сюда... Так. Значит, теперь твоя Сахарная будет жить на водокачке... И мы с тобой будем жить... Долго жить будем. Будем большие, в шарабанах будем ездить, мосты строить... Ну, целуй, рева! Ну, крепче!

Я целовал его в колючие щеки. Я хотел быть большим-большим. Я хотел так сжать его... сколько хватило бы силы. И никому, никому не отдавать...

И не было у меня силы удержать его. Он скоро ушел... совсем.

VI

Утро сверкает, теплое утро конца апреля. Тополя под окном заглядывают в комнаты золотистыми клейкими почками. Веселым молодым звоном играют колокола, отзвук ушедшей Пасхи. Верба в бутылочке дала белые ниточки корешков, и ее узенькие листочки на красных ветках так весело сквозят на солнце. Воробьи унизали ветку бузины под окном живой серой гирляндой, орут и качаются, спихивая друг дружку. Потягивает навозом со двора, влетит струйка холодка по ветру, должно быть, от грязноватых полосок обледенелого талого снега, еще уцелевших у заборов в тени. Я смотрю, как хороша золотистая пыль под метлой Гриши. Пыль! Первая пыль!.. Двор совсем обсох, и я рад.

Нет, не этому я рад. У нас теперь своя лошадь. Пусть она старая, больная. Но она наша теперь. Я спешу выводить палочки и сажаю кляксы. Я думаю: нет, не палочки это. Это же странники идут друг за дружкой на богомолье к Троице. Не могут же они быть одного роста, и они выходят у меня Разные, кривые и прямые, с хвостиками. Они, как слепые, хватаются друг за друга и на конце строки спускаются под горку. Это мне нравится, но не нравится моей крестной, которая учит меня и всегда гладит по голове. Она подарила мне на Пасху яичко с сереньким растягивающимся червячком, очень жирным, с черными глазами и язычком из красной фланели.

Палочки готовы, идут. Теперь куму-лису. Уже раза два крестная прогоняла меня учить басню, но теперь дело идет бойко. И ничего-то трудного! Там, где кума-лиса залезла в сад, должно быть, было так же хорошо и светло, и так же шумели вороны на бузине. И горели на солнце сочные кисти... Сочные... И я вижу эту лису, как она лезет в сад, и язык у ней красный, как у моего червячка. И сад-то такой, как у старой Миронихи, где бузина и черемуха, и разбитый серый забор. Там летом сливы тоже горели под солнцем, и мы с Васькой ходили и засматривались, как и кума-лиса. Готова басня, я бегу и отвечаю урок, и они, странники, выравниваются под опрятной рукой.

Теперь свобода! Вот и грязная лесенка сапожной мастерской, три каменные скользкие ступени. Здесь никогда не бывает сухо. Рваная, обитая рогожей дверь. Уже на лестнице слышу я постукивание молоточков и отголосок песни, и запах вара. Распахиваю дверь. Вон Драп, скорчившись, сидит под окном на липке. Он упер в грудь сапог и что-то заколачивает в него. Васька стоит у столба и натирает варом дратву. Бледные и лохматые мастера обрезают подметки, бьют молоточками и поют. Прохор ругает какого-то босого человека, который сидит на окне и болтает ногами.

– Васька, – кричу я. – Наша Сахарная!

Драп обертывается и трясет головой. На его лице сияние. Васька строит рожи и поглядывает на Прохора.

– Наша Сахарная! Папаша велел...

– Василья! – строго кричит Прохор. – Дело делай!

Если бы побежать всем! Сейчас там Сидор поет про барабаны, скрипят колеса, и Губошлеп ходит по кругу. А Сахарная все так же стоит. Но нет, теперь нельзя. Драп уже согнулся над сапогом. Только к вечеру он выберется из мастерской. Но Ваську я сманю после обеда. Он уже мотает мне головой и в нетерпении стучит ногами.

– Сахарную не поведут на живодерку, верно... – говорю я и Прохору.

– Ладно, ладно... Дело у нас... Васька!

Через час мы уже мчимся по огородам. Драп, конечно, нет, но он думает вырваться на минутку. Сколько солнца и как подросли лопухи! Как пахнет травой! Тысячи желтых глазков, точно малюсенькие подсолнечники, – одуванчики глядят с откосов. Васька хлопает меня по спине и называет молодцом. Я тоже хлопаю его, и мы валимся на

мусорную кучу. Вот и водокачка. Губошлеп и Стальная ходят по кругу, опустив голову, Сидор чинит хомут.

– Здравствуй, Сидор! Сахарная наша!

– Наша! – повторяет и Сидор.

Он бросает хомут и отдает мне честь.

– Здравия желаю, всякого добра, бычка-сверчка, соли два овина, золото-серебро да новое ведро, барана половину, семьсот поросят – одни ножки висят! Ррад расстарраться!

Он выпаливает все единым духом, даже краснеет его лицо, и мне так нравится, что я прошу его повторить, но у него уже не выходит так хорошо.

– Эй, старуха! Кланяйся! Быть бы тебе сегодня у праздника.

Он хлопает ее по крупу, но «старуха» все так же качает головой.

– Уж был давеча чем свет Василь-то Василич, сказывал. Уж и сам я рад!

Я вытаскиваю из кармана вчерашний пирог с капустой и даю Сидору. Он берет его осторожно, двумя пальцами, и кладет на полочку, где у него стоят грязные пузырьки с черной жидкостью.

– Вот спасибо, на заедочку пойдет. Стало быть, упросили папашеньку... Они доброй души, и не ждешь, а... Теперь ей, значит, дармовой паек пойдет... Хорошо...

– А она долго будет жить?

– Сколько ей положено, до самой смерти.

– Дай нам ее, мы ее на лужок сведем...

Сидор колеблется. Но, во-первых, пирожок смотрит с полки; во-вторых, такой неожиданный оборот дела.

– Ну, что же... Я вам ее сведу сейчас. А тот-то уж приходил, коновал-то... Ра-аным-рано прилетел... Чуть-чуть-то Василь Василич захватил.

– Ну? Что же он, когда узнал?

– Серчал. «Что, всамделе, говорит, беспокоите даром!» Ему с заставы-то пропереть тоже... Да досадно: с ей-то он бы не три рубля выгнал, а десятку...

Я вспомнил о трех рублях Сидора. Нет, ничего. Сидор очень весел. Он так ласково выпугнул голубей из кормушки и даже поет:

Сы-то-нет сизый голубочек...
Сы-то-нет ён и день и ночь...

– Н-но-о, выходи! выбирайся на дачу.

Сахарная закачалась и уставилась на нас. Нет, она все плачет.

– Сидор, она плачет...

– С радости. Она очень благодарна. Н-но, гуляй! Пять годов по земле-то как следует не хаживала...

Да, все они уже не возвращались с водокачки на волю. Их избегали выводить. «Чтобы не расстраивались», – говорил Сидор. «С чистого воздуха у них кровь бунтует, и назад не идут. Не введешь».

Он повел Сахарную. В дверях ударило солнце в глаза. Привыкшая к сумеркам водокачки, куда солнце заглядывало только иногда редкими полосами, Сахарная остановилась. Взмотнула головой к небу и закрыла глаза. Ее ноздри раздулись, ловили бодрый весенний воздух. Затрепетали уши, слыша вновь забытые звуки, доносившиеся от мостовой. Она вся дрожала.

– Очумела! – сказал Сидор. – Отойдешь... Но-но-о!

Она пошла, покачиваясь, цепляя копытами за бревна помоста. Вот и земля, вот и свежая травка лужка у прудика за водокачкой.

– Ну, вот и пасите, – сказал Сидор.

Сахарная осматривалась по сторонам, прислушивалась. От моста донеслось ржание лошади. Сахарная передернула ухом. Сказало ли ей что это ржание, – не знаю, но она открыла рот, показав остатки съеденных зубов, и фыркнула.

– Обойдется... Ишь ты, ишь...

Она нагнула голову и обнюхала землю. Она пыталась ухватить травку. Мы живо помогли ей. Мы совали ей силой в рот молодую крапивку и просвирник, серебристые почки лопуха. Она смотрела на нас, подымая тяжелые веки, и в зрачках ее видел я голубое небо, красное здание водокачки и улыбающуюся Васькину рожу.

Мы пасли Сахарную. Развалились на травке и смотрели. Сидор ушел. Постояв и покачавшись, Сахарная подогнула ноги и повалилась на бок. Потом опрокинулась на спину, дрыгая ногами, и терлась головой о землю. А мы смотрели. Поскрипывала водокачка.

Чьи-то руки закрыли мне глаза. Я услышал испуганное восклицанье Васьки:

– Так это твоя Сахарная?

Отец! Он так незаметно подкрался к нам.

– А это что за зверь? – спросил он, указывая на Ваську.

– А я с его двора... У нас сапожники...

– Вытер бы лучше нос. Эй, Сидор!

Сидор появился в дверях водокачки, быстро сбежал с помоста и поклонился.

– Небось ругаешься, а? Где трешница-то? Его благодари.

– Я? Да я... я р-рад...

– Ладно, заговаривай зубы. На, на, не ной...

Он достал бумажник и отдал Сидору зеленую бумажку.

– А то еще, чего доброго, удушит твою Сахарную... – подмигнул мне отец.

– Я? Да я разве... Господи! Шутить изволите. Да я... Я когда под Черной речкой в бой ходил... одного задел штыком, так он мне и сейчас представляется... Так что враг... А не то что...

– Ну, рассказывай сказки... Известный душегуб. Только помни: мы ее у тебя купили. Ну, ступай. Плачет по тебе водокачка. А ты чего рот разинул? – строго крикнул он на Ваську. – На лбу-то у тебя пироги пекли? Сжег? Получай на пряники!

Он порылся в жилетном кармане и дал двугривенный. Как хорошо помню я его посмеивающиеся глаза и пальцы, роющиеся в жилетных кармашках. Это был человек, который любил давать.

Поплядел кругом, вдохнул свежего воздуха.

– Дача у вас тут. Ну, прощай, некогда мне...

Вбежал на водокачку, пробыл с минуту, покричал за что-то на Сидора и обычной беглой походкой направился по откосу. Я смотрел, как он сел в поджидающий его шарабан. Поехал, конечно, «по делам». Смотрел я на его белый парусинный пиджак, как мелькал он сквозь желтые балки моста. Пропал.

Это короткое посещение обвеяло меня теплым, незабываемым светом. Он забежал к нам. Он урвал минутку. Он проезжал по улице и, должно быть, заметил меня. Вспомнил о вчерашнем вечере в кабинете. И отодвинулась тогда от него хлопотливая деловая жизнь.

И, конечно, он видел милые желтенькие цветы, зелень и небо. Я помню, как сказал он:

– Да у вас тут дача...

– Дву-гри-венный! – протянул Васька. – Разве груш купить? Никак, Драп бежит! Он, он!..

Действительно, за красными перилами по улице бежал Драп. Он несся стрелой, остановился против водокачки и, заметив нас, ринулся комом с откоса, попал в лопухи, потерял опорку и искал.

– Драп! Зде-есь!!

– Уффф... За гвоздями... послал... а я на минутку... Ну-ка... Эн она какая...

Подошел к Сахарной, сорвал лопух, присел на корточки около ее головы и совал ей в рот.

– Хорошо тут... Бежать надо...

– Беги, Драп, – тревожно говорил Васька. – Влетит. Лучше беги... Смотри-ка... двугривенный. Его папаша дал...

– Угости-и... Печенки купим, а? Я всегда угощаю...

– Ладно. Стручков черных возьму еще.

– Побегу я... Слышь, Васька! – крикнул он на бегу, – баранок бы еще?

И высоко подкидывая опорки, Драп умчался стрелой.

VII

Так мы освободили Сахарную.

Лето прошло незаметно. Чуть не каждый день приходили мы с Васькой пасти Сахарную часок-другой. Она как будто окрепла. Так, по крайней мере, уверял Сидор. Она будто бы уже не шепталась по ночам и лучше стала обращаться с овсом. «Меньше расшвыривает».

Она иногда щипала при нас травку, но больше лежала на боку, припав головой к земле. Да, она все же была больна, больна старостью. Здоровая лошадь редко ложится, – уверял Сидор. Насидевшись около нее, мы с Васькой отправлялись бродить по огородам, забирались в заросли спаржи, как зайцы, грызли капустные листья. Мороженым угощались почти каждый день, ибо мусорные кучи оказались неисчерпаемыми. В четыре руки мы выуживали из

них по несколько фунтов ржавых гвоздей и обрезков старого железа и множество пузырьков и баночек из-под мази. Сбыт был обеспечен в железной лавочке и аптеке. По праздникам к нам примыкал Драп и Сидор, и тогда под водокачкой протекали такие часы, как никогда. Сидор пропел нам все свои песни и даже показал, как он объяснялся с французами, когда был в какой-то передовой цепи.

– Мы это живо, потому они очень на это способны. Я ему говорю, стало быть: вот, мол, трубочка-табак, – а он головой качает, понимает, конечно. По-ихнему это будет «фома»... Да и много наших разговоров. Солдат и по-ихнему солдат. Бутылка там, офицер – все едино. Только, конечно, чисто они не могут разговаривать. Водка у них чудно выходила: «удиви» да «удиви»! Как скажет – удиви, ну и дашь из горлышка. Народ занятный!

– Ну, как твоя Сладкая? – спрашивал отец.

– Не Сладкая, а Сахарная...

– Уж и Сахарная! Еще не растаяла?

– Нет. Она еще долго проживет.

Но она прожила недолго. Она «уснула», как говорил Сидор, в начале августа. Три дня я сторожил ее последний час, забегая на водокачку. За неделю она перестала есть. Стояла понурая, и Губошлеп фыркал и часто обнюхивал ее шерсть.

– Скоро, – говорил Сидор. – Чуют. Лошадь за неделю может чуют. Ночью шибко все фырчать начинают. Прощаются.

Дня за три до смерти Сахарная как легла в стойле, так и не вставала. Помню, в воскресенье мы все трое пришли на водокачку.

– Готова, – встретил нас Сидор. – Успокоилась совсем.

– Умерла?

– Околела. Приказала долго жить. Вот пожалуйста...

Мы смотрели. В своем узком стойле лежала она, вытянув в струнки ноги, упираясь в перегородку. Блестели подковы. Сильно ввалились бока. Голова ее с закушенным синим языком лежала под кормушкой на соломе. Возле нее ходил голубок, хлопотливо подбирая овес. Другой сидел на брюхе и обирал перышки. Было тихо на водокачке. Лошади – Губошлеп, Вот-те-на, Стальная и еще новая – Цыганок похрустывали в стойлах, как будто ничего не случилось.

– Маленько повздыхала ночью, слышал я... Так вот: у-у-ухх... А потом и затихла. Да-а... Прошла свой круг жизни до предела судьбы.

Старательная была и мягкая по характеру. Теперь и коновал может свое дело зачинать...

Мы все стояли молча. Совершилось то, что должно было совершиться. Было грустно, да... и все же было хорошо на Душе.

– Царство небесное... – сказал Васька.

– Дурак! – покачал головой Сидор. – Чай, не человек.

Васька ничего не сказал. Драп смотрел исподлобья.

Наши путешествия на огороды скоро прекратились. Подошла осень. Дожди развели на огородах грязь. Зима занесла водокачку снегом, и Сидор сидел теперь одиноко с лошадьми. И голуби, должно быть, жались друг к дружке на стропилах. И тянули лошади по кругу, как всегда, и бадьи одна за другой, плескаясь, совершали круг свой.

VIII

Это все было, было. И не хочу я поставить последней точки, не могу. И старый Сидор, и Васька, и Драп, и дорогая тень стоят передо мной и ведут мою руку.

Прошел год, и я уже не ходил в кабинет и не присаживался в уголок дивана. Не стукали счеты. Темный стоял кабинет вечерами, и жизнь иным лицом глянула на меня. Робко подходил я к знакомой двери и слушал. Нет, пусто там, пусто... Тьма смотрела на меня, и я смотрел на тьму. И слушал. Нет, пусто там, пусто... И кругом пусто и холодно.

Вскоре заболел и старый Сидор, и его отвезли в больницу. Он пролежал до весны, а его место занял кто-то другой, но я не ходил больше на водокачку. Сидор унес оттуда живую душу, и все там казалось мне чужим и непохожим на прошлое.

По весне он пришел к нам и ночевал на кухне. Ему предложили место ночного сторожа, но он отказался.

– Мне бы опять к лошадям, а так я с людьми не могу, отвык.

Помню, сидел он в кухне за столом. Говорил, что пришел проститься.

– Пойду я теперь, баринок, – говорил он мне, дую на блюдечко с чаем, – пойду я в последний круг моей жизни. Покружился, будет. Хочу теперь о душе похлопотать, чтобы туда с чистым пачпортом

заявиться. Пойду, значит, к Троице, потом в Соловки, потом в Киев. Обсмотрю всю землю. На солнышко погляжу...

Как я хотел идти с ним, уйти... Далеко, далеко. Идти и плядеть на солнышко.

У него уже была палка с железным наконечником и клеенчатая сума на ремнях. Мы хорошо простились.

Больше я не видел его и не знаю, что с ним случилось. Сапожники съехали от нас, и я потерял из виду и Ваську, и Драпа.

Много лет прошло, и много перемен произошло в моей жизни.

Как-то зашел я в своем же районе в сапожный магазин заказать болотные сапоги. Вышел хозяин.

– Сейчас мерочку сниму. Эй, Василья!

Знакомый запах кожи и вара. Пахнуло далеким, знакомым.

Рослый худощавый парень вышел из боковушки с полоской бумаги.

– Вот с их... Болотный сапог...

На лбу красное пятно ожога. Василий... Смотрел я на парня. И вдруг хлынуло прошлое. Он вытер руки о фартук и мерил.

Он, он...

– Послушайте... Может быть, я ошибаюсь... Вы не жили... Я назвал улицу, дом.

– Как же-с, жили... Давно, я тогда еще мальчишкой был. А что-с?

– А это ваш отец?

Они оба смотрели на меня.

– Верно-с, это мой папаша...

Я узнал теперь Прохора. Он сильно постарел и носил очки.

– А вы кто же такие будете?

Я назвал себя. Я напомнил о старом дворе, о бабках, о водокачке.

– Ба-а-тюшки... Как не помнить! Господи, и не узнаешь... Мы все вспомнили. Такое хорошее, счастливое и светлое...

– А еще с нами был... помните... Как его звали-то... Еще с чугушкой все ходил...

– Драп! Да он у нас живет! Петр! – крикнул Василий. – Иди-ка сюда! Посмотри-ка... Узнаешь?

На меня смотрел высокий, худой, с впалой грудью, человек. Это Драп? Такой крепкогрудый, точно слитой мальчуган, которого все так

боялись в драках? Бледный, с впалыми Щеками, он стоял у притолоки, покашливая в руку и внимательно разглядывая меня.

– Нет, – сказал он. – Кто ж это? – смущенно спрашивал он.

Мы напомнили ему.

– Ба-а-тюшки!..

Он весь точно расцвел. Щеки порозовели, глаза засветились; я почти уловил бойкость взгляда прежнего Драпа, но все же тень печали не уползла с его лица. Он хорошо помнил все. Он помнил больше нашего.

– Было... – сказал он и сжал губы, даже закусил. – Как же, как же... Еще Сахарная-то... А уж теперь там и огородов нет. Все прошло.

– Да что такое с вами? Вы, должно быть, больны?

– Да, грудь вот болит... – сказал он, тряхнув головой, и засунул обе руки к груди, за грязный высокий фартук.

Молчание. Постукивали так знакомо молоточки за перегородкой. Я не знал, о чем говорить: такой огромной волной хлынуло светлое и печальное. Прошлое хлынуло. Василий снял уже мерку и стоял, перебирая в пальцах полоску. Прохор из-под бумажного прогоревшего абажура лампы, облокотившись на конторку, смотрел на меня с любопытством из-под очков. Драп стоял у притолоки и смотрел вниз и вбок, на мою ногу в носке. Думал о чем-то. Тихая мечтательная улыбка была на его лице.

– Да, да... Сахарная... Еще меня тогда этот старичок сцапал...

Сахарная... Я смотрел на Драпа. Надорвался человек. Что его так сломило? Тяжкая ли работа, недоедание, мыканье ли в плохой одежонке в холоде и под дождем, спанье ли по сырым подвалам? Все вместе? А впереди...

Смотрел я. Тихая, грустная улыбка. О прошлом вспоминает. О чем же и вспоминать, как не о прошлом?! Ведь впереди – быть может, печальный круг жизни, – как сказал бы Сидор. Да, круг. Огромный круг исполинской водокачки – жизни. И идет Драп по этому кругу, идет... Только встретит ли он в конце пути три пары светлых глаз, как когда-то встретила старая кляча? И засветит ли солнце на последние шаги хмурой жизни? Милый Драп!

Мы крепко пожали друг другу руки. Все трое. И улыбались, когда держали свои руки. Прошлому улыбались. Хорошему, светлому. Счастье, если есть в прошлом хоть небольшое светлое. Оно издалека

бросает свет свой на раздвигающуюся впереди, еще не пройденную дорогу и дарит улыбкой, как в пасмурный день солнце вдруг выбросит луч из тучи. Прошое, детское! У нас троих была его чудесная, светлая страница... О, как надо беречь его, беречь это бесценное, детское!.. И ярки, и дороги эти слова бессмертного поэта:

«Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое, ожесточающее мужество, – забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге: не подымете потом...»

Прошло. И уже не крикну я:

– Васька, на водокачку!

И Драп не скажет:

– Бей с одной да я со-с-пар! – как, бывало, на дворике, под солнцем, когда играли в бабки.

И человек в белом парусиновом пиджаке не ущипнет за щеку, не притянет голову к жилету и не скажет:

– Ты что это, кислота? А?.. Нет... Прошло.

Теперь мы все смотрим друг другу в глаза, припоминаем и все думаем грустно:

– Прошло...

1910 г

Рваный барин

<Из воспоминаний моего приятеля>

Мой приятель переезжал на квартиру. Как всегда в таких случаях, в доме все было вывернуто, сдвинуто с мест и разбросано: под стульями стояли тарелки, из груды тряпья выплядывали зеркала, стенные часы мирно покоились на диване. Из выдвинутых ящиков, из всех уголков и щелей повыглянуло то, чего в обычное время и не увидишь. И, точно не замечая этого разгрома, мой приятель сидел у себя в кабинете среди груды книг и бумаг и курил в глубокой задумчивости. На его коленях лежали свернутые в трубку синие листы бумаги. Было тихо. Потревоженная моль играла в полоске солнечного луча.

– Что это ты... такой?

– А?... Да так... Вот... попала на глаза эта вот штука... – щелкнул он пальцами по трубке. – Прошрое...

Он вздохнул, рассеянным взглядом скользнул по моей фигуре и уставился в окно, откуда вливались лучи вечернего света.

Я взял трубку. Это были листы синей воценой бумаги, на которой, обыкновенно, архитекторы вычерчивают или копируют планы. Их было несколько, этих чертежей. И странные они были. Какой-то орел, пущенный в желтые тона, ворота с полумесяцами наверху, что-то еще... А внизу, у правого уголка, на каждом листе стояла витиеватая надпись: «Не имеющий чина и звания Василий Сергеев Коромыслов».

– Гм... странные чертежи... Это что же?

– Ничего странного нет... – почти раздраженно сказал приятель. – И не в этом дело. Вот здесь посмотри...

Он вытянул последние листы, из середины которых выпало помятое письмо, которое он сейчас же поднял.

– Вот... Это интересней.

Я смотрел. На первом листе был вычерчен фасад какого-то сложного сооружения, похожего на храм: огромный купол с

прорывающими его игольчатыми башнями, одна выше другой. Я видел легкие, точно кружевные, лесенки, переброшенные от одной башни к другой и легко взбегающие на высоту. Я видел круглые и готические окна, колоннады, легкие и сквозные, брошенные террасами, выбегающие отовсюду шпили. Весь облик этого сложного сооружения оставлял яркое и захватывающее впечатление воздушности и стремления ввысь, к небу, куда указывали все выше и выше подымавшиеся шпили и лесенки. Здесь было и старое, знакомое мне по архитектурным образцам, и новое, свежее.

Я развернул остальные листы. Здесь были чертежи отдельных частей. Эта была огромная работа.

– Что же это, храм?

– А вот, читай... – показал мой приятель на оборотную сторону главного чертежа.

И я прочитал:

«Чертежи и планы всесветного храма по мысли – „к небу!“ Составил и изобразил на досуге из головы и по образцам не имеющий чина и звания Василий Сергеев Коромыслов».

– Тут, – ответил на мой вопросительный взгляд приятель, – целая история, в этих синих листах... Многие смотрели эти чертежи и признавали огромный полет творческой мысли. Находили и массу погрешностей, технических недостатков и признавали смелость и глубину замысла. А когда узнавали, кто был этот «не имеющий чина и звания», покачивали грустно головой... Да-а...

– Но кто же он был? Он умер?

– Давно. А кто он был... – продолжал мой приятель, задумчиво глядя перед собой. – Это целая история...

– А это письмо...

– На, прочти...

Я прочел и с недоумением посмотрел на приятеля. Но тут как раз приехали подводы, и нужно было отправлять вещи.

Я попросил чертежи на дом, чтобы посмотреть подробней. Целый вечер я рассматривал их и чем больше вглядывался и вдумывался, тем сильнее трогала и захватывала меня смелая мысль неведомого художника. И рисовался мне образ этого художника мощным, с высоко поднятой головой, с глубоким, ушедшим в небесную лазурь взглядом... Вспоминал о письме, и меня, ничего не знавшего о сути

дела, начинала томить грусть... грусть по скорбной жизни и несчастной доле.

А дня через два приятель рассказал мне подробно всю историю, в которой, как оказалось, и сам принимал некоторое участие.

I

– Когда смотришь в прошлое, – начал он, устремляя взгляд под потолок, точно там видел это прошлое, – каждая мелочь получает особенное значение, окутывается какой-то розовой дымкой, и на душе становится и сладко, и грустно. Вот почему я буду рассказывать с некоторыми подробностями. Да ты и не посетуешь на меня: и они имеют свой интерес.

Этот случай, о котором я хочу рассказать, должно быть, тогда, – а тогда мне едва минуло девять лет, – оставил тяжелый след в душе моей: вспомнишь какой-нибудь пустяк, знакомое имя, – как подымается все и выворачивает душу, и слезы набегают на глаза... Вот уже я чувствую, как голос начинает дрожать... Ничего, это пройдет.

Василий Сергеич... Если бы жив был теперь этот Василий Сергеич! Я, быть может, сумел бы скрасить его невеселую дорогу, стер бы постоянную тревожную думу с его осунувшегося лица... Так вот... Вот я и вспомнил все, все... И теперь я – уже не я, а совсем другой, далекий, невозвратимый, маленький мальчуган, ясными глазами смотрю я на мир, и вокруг меня иные лица, отшедшие... Человек с лысой головой и впалой грудью сидит у стола, приложив кулаки к вискам, и думает, думает, а может быть, тихо и незримо плачет. Темная ночь пляшет в комнату, в раскрытое окно, колеблет желтое пламя свечи... И маленький мальчуган вздрагивающим голоском спрашивает тревожно:

– Вы... вы еще не спите?..

И тот, с впалой грудью, лысый человек смотрит долго и грустно и отвечает, точно во сне:

– Не спится, мальчик...

Ну, слушай. Эта история, как часто бывает в жизни, начинается веселенькой встречей, даже очень веселенькой.

Были святки. Мой закадычный друг и сподвижник Васька, сын сапожника с нашего двора, давно сманивал меня побывать в балаганах. Ты не слыхал о нем? О, это был порядочный таки плут и ловкач, чудесный парень! Много делишек и подвигов совершили мы с ним, побывали-таки в переделках, получили много шлепков, потасовок и дуль, но много кое-чего и хорошего сделали. Однажды мы открыли на огородах таинственное здание и спасли старую слепую клячу. Разве я тебе не рассказывал? Это была одна из светлых страниц моей жизни. Ну, об этом после.

Ну, так вот... Этот самый Васька – он называл меня тоже на «ка» – сообщил, что где-то на поле, под монастырем, всегда на святках ставят балаганы и показывают в них всякие чудеса: выскакивают черти, палят пушки, погибают корабли. Он божился, что все это самое настоящее, взаправдашнее.

Я навел справки у дворника Степана, и тот заверил, что Васька сказал сушую правду. – Потому там киятры...

И мы сбежали, захватив все, что было. А было всего – двугривенный.

Еще по дороге мы начали его менять на стручки и ситнички, и когда, при входе на гулянье, наскочили на сверкающую бахромой круглую палатку, в кармане позвякивали два пятака. Под палаткой гремел барабан, и человек в отрепанном пальто дул в огромную трубу, выпучив глаза и поворачиваясь на месте за бегавшими на железных палках конями. Это была карусель, и Васька, как знаток всех этих вещей, заверил, что мы можем кататься хоть до ночи, и нам это не будет стоить ни копейки, надо только выхватывать «партию». Кроме того, для начала надо заплатить по пятаку. Тут Васька ткнул в какой-то столбик с дощечкой и наказал таскать из дощечки кольца, когда будем катить мимо. В этом-то и была загвоздка.

Партия так партия. Мы с надеждой сели на коней, завертелись и принялись. Я решил взять «партию» во что бы то ни стало, тем более, что парень в лохматых рукавицах, раскатывавший коней, крикнул мне на ухо:

– Не удавай, барчук!

Тут мы и принялись. И не только мы: принялись все. Особенно горячо принялся молодец, сидевший как раз пере-До мной. Он был парень дюжий и с резким кряканьем рвал из доски кольцо за кольцом,

каждый раз плотней надвигая картуз. Но нам повезло: состязание скоро кончилось, ибо парень заорал по-другому. Остановили коней и высадили молодца, который вывихнул себе на работе палец, ссадили и меня, требуя новый пяточок, которого у меня не было, и дозволили продолжать одному Ваське, у которого оказалась-таки «партия» в шесть колец. И он снова пустился добывать. Я смотрел, а он добывал и добывал. Он так наострился, что закрыли доску, и парень в лохматых рукавицах зыкнул:

– До ночи тебя катать?.. Пшел!..

Васька не стал спорить, и мы направились к балаганам. Высокие, белеющие свежими досками, с пестрой группой щелкающих по ветру флагов, уже давно манили они меня призывными ударами колокола. Слышались хриплые выкрики:

– Прро-ворррней!.. Не терряйте врремя даррром!..

Мы подобралась к самому высокому, с балконом и ярко расписанными полотнищами. По балкону расхаживал клоун и кричал разбитым голосом:

– К началу, к началу! щипать мочалу!.. Проворрней, проворрней!.. Сейчас сам господин Наполеон на коне начнет палить из пушки! Бородинский бой! Конец на необитаемом острове, появление из-под земли!.. Прроворррней!..

Чудеса были недоступны. Они манили нас со стен балагана, где на крутых волнах черного цвета погибал красный корабль, на носу которого человек в зеленом фраке стрелял во что-то из пушки исполинским снопом огня, хватавшим через все море. Тут же выглядывали из морской пучины бугроватые чудовища, должно быть, крокодилы, а на бережку, возле красивой крепости, стоял серенький человечек в треугольной шляпе и показывал пальцем вдаль. Это, должно быть, и был Наполеон, так как клоун ткнул в него палкой, когда кричал, что сейчас сам господин Наполеон будет палить на коне из пушки.

– Подавился! подавился!.. Гы-гы-гы... – захохотали в толпе.

Клоун в балахоне стоял, прижимая руку к груди, и трясся от душившего его кашля. Его лицо потемнело. Парень в красном плаще, дававший ему пощечины, растерянно смотрел на товарища: очевидно, это не входило в игру.

Наконец, приступ кашля кончился. Клоун хлопнул себя по лбу и засмеялся.

– Хе-хе-хе... Холодом подавился! Застрял в плотке возок льду! Прворорней, проворней! Наполеона играть пойду!

Эту остроту мы долго распевали с Васькой. Потом я понял всю горечь этой шутки.

Все хлынули ко входу, где на невысоком помосте стоял ящик с окошечком, из которого, как хищная птица, выплядывала барыня в лисьей шубе и с сердитым лицом. Иногда она протягивала из окошечка руку и позванивала в колокол. Над окошечком по белым доскам было выведено углем «Касса», что напомнило нам о легкомыслии с двугривенным. За дощатой стеной что-то треснуло, – должно быть, выпалили из пушки.

– Вам тут чего? – раздался из ящика скрипучий голос барыни в лисьей шубе. – Платите деньги и смотрите... Семен, отгоняй мальчишек! Публике только мешают.

Из темной глубины балагана вынырнул долговязый парень в красном плаще и со шпагой и шпагой же отстранил нас.

– Не проедайся, не проедайся!..

Мы шарахнулись, а он взял руки в боки и заорал что было мочи:

– Сейчас начинается! Наполеон и его храбрые маршалы объявляют отражение! Прворней!..

Васька предложил мне юркнуть в темный проход, воспользовавшись приливом публики; уже пригнулся, чтобы юркнуть, но зоркий глаз барыни из ящика пригвоздил его на месте. Как раз в этот момент над моим ухом раздался голос.

– А-а, сударь, и вы здесь!..

Я узнал приказчика дяди, Василия Васильича. Он был при полном параде: в лаковых сапогах, в сверкающих резиновых калошах, в синей чуйке, из кармана которой выплядывал уголок алого платочка, и пощелкивал орешки.

– Изволили любоваться в балагане? – сладким голоском спрашивал он, гремя в кармане орешками. – Очень знаменитое представление киятров... Не были-с? Да что вы-с! Не желательно ли угоститься... орешков?

– У него денег нет... – прошипел Васька.

– А нам зачем деньги-с?! – обращаясь опять-таки ко мне и минуя даже взглядом Ваську, сладким голоском вопрошал Дядин приказчик. – У нас тут есть самый главный. Мы его сейчас встрепенем-с... сей минут-с...

Он зашагал к ящику, из которого зорко, как сердитая птица, высматривала барыня в лисьей шубе. Мы тронулись за ним.

– Вам в *какую* цену? – ласково спросила обитательница клетки. – Есть в 60, в 50...

– Нам это все равное без значения, – отвечал дядин приказчик, вытаскивая для чего-то серебряные часы и раскрывая их почти у самого носа барыни. – Нам надобно самого главного представителя, Василь Сергеича-с... Вот и все-с...

Барыня сделала кислое лицо и крикнула в темный проход:

– Наполеона зовут! Приходите не ко времени... Сейчас спектакли, а вы... – уже совсем не ласково бросила она в пространство.

Василий Васильевич для чего-то позвякал деньгами в кармане, крякнул и тоже бросил в пространство:

– Это нас не касается...

В тот же момент чей-то голос за стеной балагана прогудел глухо, как в пустую бочку:

– Господина Наполеона!.. Хозяйка кличет.

Сейчас же появился и Наполеон, тот самый, что ходил по балкону и кричал. Он уже успел переодеться, и теперь на нем были высокие сапоги с жестяными звездами на каблуках, вроде шпор, серый коленкорный сюртук с крупными пуговицами, тоже из жести и картонная треуголка. Его лицо было тронато синькой и мелом и было так худо, что все кости можно было бы изучить на нем. В одной руке Наполеон держал деревянную шпагу, а другая рука... Но у него и была только одна рука. Вместо другой болтался серый рукав сюртука.

Он метнулся взглядом и узнал приказчика.

– Мое почтение-с...

– А мы к вам-с, – начал шепотом, отводя его в сторону, дядин приказчик. – Вот они-с, – указал он на меня, – племянничек будут-с дяденьки ихнего, Егор Егорыча, которому вы потолки расписывали при моей рекомендации...

– А-а... – протянул Наполеон, ласково взглядывая на меня и протягивая мне руку. Он даже щелкнул шпорой.

Я был не только польщен: я был потрясен и возвеличен. На глазах толпы, жадно приглядывавшейся к Наполеону, мне протягивал руку «самый главный», тот, который сейчас будет палить на коне из пушки.

– Орудуете? – спрашивал Василий Васильевич.

– Что поделаешь! – выговорил со вздохом и трепыхнулся единственной рукой Наполеон. – Сами знаете... время теперь для моей специальности узкое, а тут все-таки три рублика... Хоть с утра до ночи, а все-таки... Плохо. Он покрутил головой.

– А мы к вам-с... – сладким голоском продолжал дядин приказчик. – Вот они-с, – показал он на меня, – очень желают посмотреть на вас на киятрах...

Наполеон шаркнул ногой и надел треуголку.

– Ваш покорнейший слуга...

Он так именно и говорил: «покорнейший».

– Стало быть, им желательно в балаган, а они прокутили весь свой капитал... А вы тут самый главный... Так, чтобы проникнуть... можно?

Тут лицо Наполеона потускнело. Он кашлянул в руку, поглядел в сторону ящика, на меня, на всех нас и еще раз покашлял, точно у него застряло в горле.

– Гм... гм... хорошо-с... Вас двое-с... гм...

Но тут и Васька издал тоже что-то вроде «гм» и дернул меня за рукав.

– Трое вас... гм... Я попробую...

– Ну, ты, чай, и без билета прошмыгнешь, – строго сказал дядин приказчик, отстраняя Ваську.

– Нет, и он... – поддержал я.

– Идти – так всем-с, – сказал решительно Наполеон и его лицо стало строгим. – Тоже ребенок...

Он протянул руку к Ваське и потрепал по плечу. Тот вздохнул и заморгал.

Потом человек в сером сюртуке снял треуголку и мелкими шажками направился к барыне в лисьей шубе. Подойдя к ящику, он втянул голову в плечи, точно кто замахнулся над ним, и, размахивая единственной рукой, в которой была треуголка, стал что-то объяснять,

то прижимая руку со шляпой к груди, то показывая в нашу сторону. Барыня сидела, как каменная. Она только раз повернула голову и скосила рот. После этого Наполеон безнадежно трепыхнулся плечом и почесал за ухом. И тут произошла перемена: он, должно быть, сказал барыне что-то приятное, она закивала головой и черкнула карандашом.

– Пожалуйста-с! – крикнул Наполеон и поманил.

Когда мы проходили за ним в темное отверстие балагана, я услышал трескучий голос:

– Я записала... помните!..

– Это что же-с? – спросил Василий Васильич.

– А-а... – ответил Наполеон, – у ней свои счета... Точность любит.

Он проводил нас на переднее место и сказал, уходя, что сейчас начнется.

В балагане было не теплей, чем под открытым небом, так как в щели прорывался с воющим свистом ветер. Наконец, подняли занавес. Меня не занимали ни город на горе, ни клочья ваты на полу, изображавшие снег. И зачем вата? Можно было бы навалить самого настоящего снега, и он не растаял бы.

– Значит, вроде как зима, и Наполеон будет замерзать, – объяснял мне дядин приказчик, пощелкивая орешки. – Очень интересно.

Из-за кулис вышел Наполеон, понутив голову и выпуская изо рта клубы пара. Должно быть, надо было изобразить, что ему приходится туго: фигура его внушала жалость, и пустой рукав был, очевидно, чем-то набит и висел на белой перевязи, свидетельствуя о полученной ране.

– Ему теперь очень даже нехорошо... Наполеону-то... – пояснял дядин приказчик, с треском сокрушая орешки и выплевывая скорлупку прямо на сцену. – Как мы его, стало быть, приперли, ему и податься некуда... Тьфу, тьфу!.. – с ожесточением выплевывал он скорлупки.

Наполеон подошел к самому краю сцены, грустным взглядом обвел нас, открыл рот, хотел что-то сказать и закашлялся.

– Очень все верно-с! – продолжал объяснять мне дядин приказчик. – Стало быть, мороз, и он, конечно, застудился... Ах, как верно!

А Наполеон продолжал кашлять. Вдали, на пустом месте, путаясь ногами в вате, остановились «маршалы», судя по гусиным крыльям на шляпах. Это были два долговязых парня в позолоченных сапогах, зеленых штанах и красных плащах, с мечами на боку. Один из них только что гнал нас из балагана. Но теперь он уже не имел гордого вида. Напротив, оба они, видимо, были чем-то испуганы, жались друг к другу и оглядывались на кулисы, откуда торчало дуло пушки.

Наконец, Наполеон откашлялся, потер грудь и, выпучив глаза, крикнул сипло:

– Я победил все народы!

Молчание. Василий Васильич поднял палец. Свита вытянула шею. Наполеон грустно покачал головой и задумался.

– И вот, я сжег все мои корабли, и нет возврата в славное мое отечество! – глухо проговорил он, ударяя себя кулаком в грудь. – Нет! Или я покончу дни свои на этих снежных полях, покрытых снегом, или...

Молчание. Мы насторожились. Дядин приказчик раздавил орех.

– Нет! Решено и подписано! Сейчас начнется Бородинский бой!..

Говоря о кораблях, Наполеон показал пальцем в пространство, но там ровно ничего не было.

– А зачем он сжег свои корабли? – спросил я Василия Васильича.

– Ну... так уж ему, значит, понадобилось...

Васька, разинув рот, пожирал глазами Наполеона. Смотрел, подставив к подбородку сложенные кулачки.

– Храбрые мои маршалы! – воззвал Наполеон.

Два маршала в плащах вздрогнули, вытянулись, как по команде, повернулись, враз щелкнув каблуками, и плечо к плечу замаршировали к Наполеону, заходя, как это делают солдаты, плечом. Должно быть, они думали, что должны маршировать, потому что маршалы.

– Зарядить все пушки и орудия! – скомандовал Наполеон и опять принялся ходить, стараясь согреться: его лицо посинело от холода.

А маршалы замаршировали к кулисам, откуда послышался грохот барабана и звук труб. Играли знакомый марш, под который на нашей улице проходили солдаты. А Наполеон подошел к самому краю сцены и прошептал, смотря в землю:

– Чую, что мне несдобровать...

Не успел он договорить, как из-под самых ног его вырвался клуб дыма, языки пламени, и поднялась фигура в черном плаще.

– Кто ты, о незнакомец? – крикнул Наполеон, хватаясь за шпагу.

Незнакомец ответил глухо, словно его душили:

– Сейчас узнаешь... Но помни, что русские непобедимы! При этих словах снова загредел марш, а позади нас публика заревела и закричала: браво!

– Пусть все силы ада идут супротив меня! – кричал Наполеон, выхватывая шпагу. – Я – Наполеон! Властитель ^Мира и народов!!!

А незнакомец предсказал Наполеону, что дни его славы скоро пройдут, и кончит он свою жизнь на необитаемом острове и тогда во второй раз увидит, с кем имеет теперь дело. Тут незнакомец заявил диким ревом:

– Вот кто я!.. Я смерррть твоя-а-а!..

Да, это была смерть. Она откинула плащ, и мы увидели скелет и косу. Наполеон старался пронзить ее шпагой, попадая в воздух, а смерть уходила за кулисы, грозя косой и корчась.

– Ха-ха-ха! – страшно хохотал Наполеон. – Смерть! Не будет этого! Маршалы!

Опять два парня дружным шагом выплыли из-за кулис и враз остановились, делая под козырек.

– Начнем Бородинский бой! – крикнул Наполеон.

– Начнем! – гаркнули маршалы, словно кричали на лошадей, и замаршировали к кулисам. Потом выкатили пушку и навели на город.

– Пали! – скомандовал Наполеон.

Дым окутал все. В нем что-то мелькало, громыхало, сверкало. Наконец, пальба прекратилась. Наполеон уже сидел на пушке, а перед ним стояли два маршала. Они, должно быть, спрашивали, – не ранен ли он.

– Пустяки, – сказал Наполеон, махнув рукой. – Русские не хотят покоряться... но все равно!.. Идем на Москву!

– Идем! – крикнули маршалы, выхватили мечи и, во главе с Наполеоном, направились на Москву, за кулисы, отбивая шаг. Занавес опустили.

– Ай да Василь Сергеич! – сказал дядин приказчик. – Земляк ведь мой! – трогательно сообщал он мне, тыкая себя в грудь пальцем. – На всякие художества может.

Дальше все в том же роде, пока не появился господин в рыжем пальто и не заявил зычным голосом, что представление кончено. Василий Сергеич выходил раскланиваться, прижимал руку к сердцу, а из его рта вырывались клубы пара.

Когда мы выходили из балагана, он, уже в полосатом балахоне, вынырнул из темного прохода и поймал Василия Васильича за рукав.

– Василь Васильич... уж вы, пожалуйста... какая работа будет... чертежник какой... Закиньте хозяину словечко...

Дядин приказчик сделал вдумчивое лицо.

– Гм... Трактирщик у меня есть знакомый... так стены у себя в трактире хочет расписать... для вкуса публики...

– Господи! – вскричал Василий Сергеич. – Так сделаю, что в самый раз! Разве тут мне место!.. – плаксиво зашептал он, показывая на стены балагана. – Разве так можно писать?! Позор это!

– Это что-с? – скосив глаз на яркие полотнища, спросил Василий Васильич.

– Да вот это-то!., это!.. – ударил Василий Сергеич по полотнищу. – А требуют, чтобы страшней было!

Его лицо, истомленное, болезненное, искривилось горькой улыбкой.

– Ничего не поделаешь... Племянники у меня, сами знаете... их в люди вывожу... И грудь вся разбита... А тут – балаганщина... тяжко...

– Конечно, для необразованной публики, которая необразованная... и для детского удовольствия, вот для их... – говорил Василий Васильевич, похлопывая пальцами по полотнищу. – Хорошо-с, закину словечко... Всего наилучшего.

Простились и пошли, а вслед нам неся знакомый осипший и разбитый голос:

– А вот дам ему сладких сухарей, чтобы помер поскорей! На балконе Василий Сергеич уже колотил палкой по огромной картонной голове.

– Прокурат! – сказал дядин приказчик. – Ну, вот и по-лучили-с удовольствие... И вам приятно-с, и папашеньке-с... Все-таки, скажете, не одни-с были-с на черном народе, а со мной... Одним-с очень нехорошо-с ходить в черный народ-с... разные слова нехорошие и поступки-с... и одно дикое необразование...

Я помню его сытое, цвета хорошо отчищенной меди лицо, и сладкий голосок, и постоянно сгибавшуюся набок голову, точно он прислушивался к чему-то, когда говорил с дядей, отцом или со мной. С другими, на нашем дворе, он не говорил. На тех он кричал.

– А что такое – прокурат? – спросил я.

Дядин приказчик немного подумал и сказал решительно:

– А это значит... такое у него понятие ко всему.... Так что даже трудно понять. Который все произошел.

– Фокусник? – спросил Васька.

Но Василий Васильич не удостоил его ответом.

Когда мы вернулись, Василий Васильич сам привел меня в комнаты и доложил домашним:

– Не извольте беспокоиться-с... Сам самолично за ними досмотрел, потому как они только с сапожничким мальчишкой были. И оберег-с, и в киятры сводил-с, и все было в полном приличии, а не как...

Его поблагодарили и дали на чай. И я долго раздумывал, от чего оберег меня дядин приказчик? И не мог понять. Но я все же был доволен, что он попался нам: мы тогда впервые познакомились с Василием Сергеичем и видели его во всей славе, как я думал тогда. Потом мы увидели его еще в большей славе.

Это случилось вскоре.

II

Я всегда с нетерпением поджидал лета, следя за его приближением по разным, хорошо мне известным признакам.

Самым решительным вестником лета являлся полосатый мешок. Его извлекали из недр огромного сундука, пропитанного запахом камфары, и высыпали из него груды парусинных курточек и брюк для примерки. Часами должен был я стоять на одном месте, снимать и надевать, а меня поворачивали, закалывали и припускали на мне. Я потел и вертелся, а в открытые окна смотрелись облитые душистым соком тополевыми почками и вкатывалось дикое гиканье Васьки.

Вторым признаком лета было появление в нашем доме рыжего маляра, от которого пахло замазкой и красками. Маляр приходил

выставлять рамы и наводить ремонт. Он всегда делал свое дело с каким-то особенно свирепым видом, ловко выхватывая стамеску из-за тесемки грязного фартука, и пел себе под нос, точно сердился:

А-эх и те-мы-на-ий ле-ес... да и-эх и те-мы-на-ай...

Я прислушивался, стараясь узнать, что же дальше, но суровый маляр вдруг останавливал ловко ерзавшую стамеску, задумывался, глядел через окно в небо и начинал опять:

Э-эх и в те-мы-но-ом ле-се... да и в те-мы-ным...

И потому ли, что он только и пел о темном лесе, или потому, что часто вздыхал и смотрел исподлобья, он казался мне страшно загадочным.

Потом я узнал его ближе, когда он оттрепал Ваську за волосы. Дело было так.

Маляр поработал, пообедал и завалился спать на крыше сеней. Помурлыкав про темный лес, где, как я теперь узнал, «сы-то-я-ла сосенка», маляр уснул, не успев ничего больше сообщить. Лежал он на спине, а его огненная борода глядела в небо. Мы с Васькой, чтобы было побольше ветру, также забрались на крышу запускать змея. Но так как ветру и на крыше не было, то Васька принялся щекотать соломинкой голые пятки маляра. Но они были покрыты серой и твердой кожей, и маляру было нипочем. Тогда я наклонился к уху маляра и дрожащим голосом затынул:

И-эх и в те-мы-ном ле-е-се..

Опять ничего, только рот маляра перекосялся, и улыбка выползла из-под рыжих усов его на сухие губы. Должно быть, ему было приятно, но он и на этот раз не проснулся. Тогда Васька предложил мне заняться маляром как следует. И мы занялись-таки.

Васька сейчас же приволок на крышу кисть и ведро с краской и помазал маляру пятки. На этот раз маляр поерзал ногами и

успокоился. Васька состроил рожу и продолжал. Он обвел маляру у щиколоток по зеленому браслету и опять состроил рожу. Маляр сладко всхрапывал. Тогда Васька обвел вокруг маляра заколдованный круг, присел на корточки и затянул над самым маляровым ухом песенку, которую я с удовольствием подхватил:

Рыжий красного спросил –
Чем ты бороду красил?
Я не краской, не замазкой:
Я на солнышке лежал,
Кверху бороду держал!

Пели мы ему до тех пор, пока маляр не проснулся и не зыкнул. Мы стихли, а он повернулся на бок и окрасился. Тут и вышло. Я скрылся в окно чердака, а Васька поскользнулся на заколдованном кругу и попал в надежные руки. Тут и вышло... Маляр потрепал Ваську, а потом и сам развеселился, хлопал Ваську по спине и приговаривал:

– Ну, и не реви, дурында... У меня тоже такой шельмец в деревне есть. Что зря хозяйской-то краски извел, ду-ура! Да еще ревет!..

С этой поры маляр стал нашим другом. Он пропел нам всю свою песенку про темный лес, про то, как срубили там сосенку, про то, как «у-гы-на-ли добра молодца в чужу-дальню сторонущку»... Очень хорошая была песенка. И так грустно пел ее маляр, что мне показалось, не про себя ли он и пел-то ее. Пел он и глядел с крыши сеней вдаль, где за кровлями города, за рекой синела полоска леса.

Впервые тогда, на крыше сеней, почувствовал я огромный мир тоски, таящийся в русской песне, тоскующую душу родного мне народа, душу нежную и глубокую, прикрытую бедным одеянием. Да, тогда, на крыше сеней, под перекрикиванье петухов, в воркованье сизых голубей, в грустных звуках маляровой песни приоткрылся мне мир бедной жизни и суровой природы, в котором живая душа незримо тоскует по чему-то прекрасному.

И я, и Васька притихли и смотрели, как шевелятся и вздрагивают губы маляра, а светлые глаза глядят в далекий простор.

Да, маляр простил Ваську и стал нашим другом. Он даже пообещал, как поедет к Петрову дню на покос, привезти нам черных лепешек. Он давал нам замазки для чертиков и даже учил, как надо красить. Это нас развлекло. Васька выкрасил мне сапоги охрой, а я покрыл ему ноги до колен и предложил дворнику Степану отделать самовар, чтобы уже не начищать его кирпичом.

Третьим и самым бесспорным признаком лета было обильное появление на лице Васьки желтеньких пятнышек.

– Видал? – хвастался он, тыкая в нос и под глаза. – Лето скоро. Это оттого, что я счастливый буду...

Пожалуй, он был прав. Появлялись веснушки, и Ваське приваливало счастье. Он переставал бегать в училище и торчал в мастерской только до обеда.

Итак, все признаки были налицо, и на Васькиной рожице пышно расцвело «счастье». Стоял тихий и ясный майский полдень. Мы клеили в сенях змей, и Васька уже собирался тащить его на крышу сушить, как вдруг стайка маленьких белых собачек, всегда подремывавших на крылечке, сорвалась и ринулась с визгом и лаем к воротам.

– Почтальона рвут, – сказал Васька, приделывая хвост змею.

Нет, рвали не почтальона. Тот, обыкновенно, пускал в дело палку, какая-нибудь «Мушка» испускала пронзительный визг, и почтальон победоносно проходил через сени.

Еще мы услышали раскатистый голос дворника и знакомое науськивание;

– Фтю-у! фтю... А не ходи без звонка!.. Шлюнды подзаборные!.. го-го-го... Ха-ха-ха... Фтю-у!..

И чей-то испуганный голос покрыл гомон собак:

– Послушайте! Да возьмите же кто-нибудь!..

Мы выскочили во двор. Возле крыльца стоял человек средних лет и отчаянно подплясывал в кипевшей вокруг стае. Его порыжевшая шляпа-котелок съехала на затылок, прыгал и парусинный пиджачок с уголком красного платка, до которого старалась допрыгнуть одна из «Мушек». Как раз в этот момент шляпа соскочила с его головы, и на нее обрушилась вся свора. Но и незнакомец, забыв об опасности, ринулся спасать свою шляпу. Это была такая свалка, что я на мгновение окаменел. Но Васька нашелся. Он выхватил у Степана

метлу и начал так работать ею по сторонам, что хватил по ногам и незнакомца. Но зато спас шляпу.

– Уффф... спасибо... голуба... – сказал, очищая шляпу о колено, незнакомец, и я сделал открытие, что у него только одна рука.

Да, это был Василий Сергеич, игравший Наполеона.

– Смотри! – сказал он с укоризной Степану. – Они изорвали мне брюки!

Его серенькие брюки были тронуты порядком: на правом колене висел выдранный уголок, а снизу появилась бахромка. Он с сожалением осматривал свой костюм, вывертывая голову и ноги.

– Они изорвали мне брюки! – опять повторил он.

– И был-то рваный!.. Изорвали... – грубо отозвался Степан, подымая метлой тучу пыли. – Чай, на воротах-то сказано – не входить без звонка.

Василий Сергеич поглядел на него долгим взглядом и покачал головой.

– Здравствуйте, – сказал я, робко протягивая руку и расшаркиваясь, – я вас знаю... Вы ведь представляли Наполеона?..

Василий Сергеич вскинул глаза и пригляделся.

– Да ну? Вот так-так!.. Те-те-те... Помню, помню... И он? – Указал он на Ваську.

Слово ли «Наполеон» или рукопожатие, но Степан, Должно быть, струсил. Он перестал мести, снял картуз и сказал уже мягким голоском:

– Вам кого-с, собственно?

– Хозяина, собственно, – ударяя на «собственно», твердо сказал Василий Сергеич. – С этого и следовало начать, а не травить собаками...

– Хозяина дома нет...

– Хорошо, я подожду хозяина, – садясь на крылечко, отвечал Василий Сергеич.

– А то можно-с в садик пройти... там холодок... – предлагал Степан, который, конечно, струсил.

– Хорошо. А как приедет хозяин, доложи, что пришел Коромыслов. По делу! Они знают меня!

Он прошел в сад, а мы остались со Степаном.

– По де-лу! Знаем мы эти дела! Побирошки... рвань коричневая.

– Он Наполеона играл! – сказал я.
– Он барин! – сказал Васька. – У него и шляпа...
– Ба-а-рин! – протянул презрительно Степан. – Рваный барин!
Это верно. Видали таких, – не догляди – и свистнет!..
– Ты, ты, – крикнул я, – дурак!
Степан насмешливо раскланялся и пустил метлой тучу пыли.
– А кто и с роду так.
Этим разговор и кончился: со Степаном было трудно разговаривать.

Зачем Василий Сергеич спрашивал отца? Я предложил Ваське направиться в сад, пока змей посохнет.

III

Василий Сергеич сидел на скамеечке, под кустом бузины, и крутил реденькую бородку. Должно быть, думал о чем-то. Мы остановились поодаль.

– Ну, как дела, братики? – спросил он.
– Ничего. А вы уже теперь не представляете Наполеона?
– Был Наполеон, да весь вышел... – сказал он со вздохом – В школу-то ходите?

Я сказал, что скоро поступлю в гимназию.

– Та-ак... Ну, а ты, босоножка? – обратился он к Ваське, который усиленно тер ногой об ногу.

– Э! – лихо отозвался тот. – Я в сапожники выхожу... А у вас, дяденька, сапоги каши просят, – заявил он, как знаток.

– Что сапоги! – задумчиво сказал Василий Сергеич. – Вот когда здесь каша, – хлопнул он себя по лбу, – тогда плохо, а сапоги... Эх, парнюга! Умная у тебя рожица... Так только сапожником и будешь? А?

Он поймал Ваську за рукав и притянул. Посмотрел на его босые ноги с присохшей сыроватой грязью.

– Да-а... «Ноги босы, грязно тело и едва прикрыта грудь»..
– Это я знаю! – закричал Васька и продолжал, точно рубил котлеты: – «Не стыдися, что за дело, это многих славных путь».

Василий Сергеич рукой остановил его и стал говорить знакомое стихотворение тем торжественным тоном, каким выкрикивал когда-то со сцены балагана:

– Зарядить все пушки и орудия!

Помню я этот торжественный момент, когда голос плохо одетого человека раздавался в нашем тихом саду. Миром и покоем веяло от всего. Безмолвие и зной, казалось, дремали под широко раскинувшимися вишнями, уже осыпанными зелеными плодами, точно из воску сделанными шариками на проволочках. Зарывшись в пыль, под кустами смородины дремали разморенные жарой куры. Кошка спала на крыше беседки, потряхивая головой. Отбивая такт пальцем, говорил Василий Сергеич. Босоногий Васька вдумчиво смотрел исподлобья.

– Хозяин приехал! – крикнул дворник и спугнул знойный покой сада.

Василий Сергеич встрепенулся, обдернул парусинный пиджачок, поправил котелок. Лицо его насторожилось, точно он испугался чего-то. Он провел ладонью по лицу, вздохнул и пошел мелкими шажками из сада.

У крыльца еще стоял отец, отдавая приказания кучеру. Завидев Василия Сергеича, он поморщился и крикнул:

– А-а... ты! Голова закружилась с этими делами! Не знаю, не знаю! – с раздражением говорил он. – Боюсь я тебе дать, боюсь! Сроку только неделя, сейчас узнал...

Он, как всегда, волновался и размахивал рукой. Василий Сергеич молчал, опустив голову и держа котелок в руке.

– Ваше дело... – покорно сказал он, когда отец кончил. – Если не верите...

– И дернуло меня взять этот подряд! – уже на весь двор кричал чем-то расстроенный отец. – Архитектор не берет в такой срок!.. А ты еще говоришь – не верите! Ну, что ты тут можешь? Что? Да говори громче... не слышу! Что?

– Я сделаю, – сказал твердым голосом Василий Сергеич. – Можете не платить, если не сделаю...

Отец опянул его с ног до головы и поморщился.

– Можете не платить! А что толку?! Вот что... Вот тебе за беспокойство... – Он вынул бумажник и вытянул из него зелененькую

бумажку. – Обещал я тебе, велел зайти, да... но... И не сердись, – боюсь... Сам знаешь, дело ответственное...

Василий Сергеич покачал головой.

– Я даром денег не беру. Прощайте.

Он поклонился и пошел к воротам. Отец передернул плечом и мельком оглянул нас.

– Да постой ты! – крикнул он вслед. – От денег-то ты чего отказываешься?! погоди!

Василий Сергеич остановился.

– Мне ваших денег не надо. А что мне отказывают... к этому я привык... – сказал он дрогнувшим голосом. – Будьте здоровы.

– Вернись! – крикнул отец. – Гм... Так и не возьмешь? Привык, что тебе отказывают? Так?

– Привык... – повторил Василий Сергеич.

Отец оглянул его, подумал, тряхнул головой и сказал:

– Ну, хорошо... Идем в кабинет.

Он легонько толкнул Василия Сергеича перед собой в дверь парадного крыльца и скрылся за ним.

Я посмотрел на Ваську, тот на меня. Что произошло, мы ровно ничего не поняли.

– Это, собственно, кто ж они такие будут? – спросил меня подошедший дворник, который все время разговора отца с Василием Сергеичем прятался за колодцем. – Не известно вам?

Я не знал, что сказать, но Васька выступил гордо и заявил:

– А я знаю! Ты не знаешь, а я знаю! Знаешь, кто?

– Кто?

– Про-ку-рат!

Степан, скосив глаз, взглянул на Ваську и плюнул.

– Верно! – подтвердил я. – Он все может!

– А рваный!..

IV

Появление Василия Сергеича и загадочные слова отца возбудили до крайности мое любопытство. Я вошел в дом и пробрался к кабинету. Мне не запрещалось входить в кабинет и смирно сидеть на

большом кожаном диване, но в этот раз я почему-то не решился войти. Из-за двери кабинета доносились два голоса: громкий и властный – отца и тихий, как бы просительный, – Василия Сергеича.

– Говори прямо – да или нет! Можешь? Тут на самолюбие идет! Подряд я вызвался взять... Он был у другого подрядчика, а тот отказался, да слишком поздно отказался, и залог потерял... Теперь никто не хочет брать! – рискованно... Так я из самолюбия взял!

– Я понимаю... Я сделаю-с... – отвечал тихий голос...

– На нашей площади будет проезжать государь...

– Я сделаю, поверьте! – взывал голос Василия Сергеича. – Нужда меня забила... Я не имею звания, потому я самоучкой, из простого сословия я, и вот рвусь и рвусь, и никто никакого внимания! – с дрожью в голосе продолжал Василий Сергеич. – А я ведь чувствую в себе! Хоть бы вот лебеди эти на стене, у Иван Прохорыча в трактире, как вы видали... Разве им такое место нужно?! Им бы где в образованном доме надо пребывать.

– Хорошо, хорошо... – слышался нетерпеливый голос отца. – Завтра приготовишь чертежи... Две арки и четыре щита! Ну, ты видал хоть раз-то, как их надо делать?

– Видал-с... – как-то затаенно отвечал тихий голос. – Только я вам пуцу не такие... Я вам такие пуцу...

– Чтобы вид был! Понимаешь? Вид! – возвышал голос отец.

– Увидят-с... – загадочным тоном отзывался Василий Сергеич. – Вы только дозвоьте мне развернуться! Все они будут у меня говорить-с.

– Что-о? Это как такое – говорить?

– Говорить-с!.. Без слов, а будут-с говорить! Вам Иван Михайлыч всегда чертежи делал... господин архитектор?

– Ну, да... Хороший архитектор... А что?

– Они, действительно, строят дома для квартир, а только ихние дома молчат-с... А надо так строить, чтобы здание говорило! Как вот все равно статуя или картина-с... Ну, ладно, ладно... Ты только не подведи. Значит, завтра чертежи принесешь...

– Будут готовы.

Дверь отворилась, и вышел Василий Сергеич, вытирая лицо красным платком. Заметив меня, он радостно сжал мое плечо, потряс и ничего не сказал. В эту минуту он был, должно быть, счастлив.

В тот же день, вечером, был у нас дядя. Позвали также и Василия Васильича. Дядя пенял, что «такое дело» доверили человеку с улицы. Дядин приказчик прикладывал руку к груди и заверял, что не может поручиться ни за что.

– Выйдет скандал, выйдет! – предупреждал дядя.

– Не поручусь, сомнительно-с... – твердил дядин приказчик, изгибаясь всем своим плотным корпусом и издавая свистящий звук – ссс... – Конечно-с, он мой земляк и бедный человек, но при таком деле-с сомнительно...

– Ты же говорил, что он по разным художествам?! – кричал отец.

– Верно-с, но такая работа серьезная-с... Не поручусь... Кончилось тем, что отец хлопнул дверью и ушел в кабинет.

И опять я все-таки ничего не понял. Я чувствовал только, что готовится что-то важное и тревожное, чего-то боятся... Даже скандал может быть... Я поделился новостями с Васькой.

– Должно, балаган ставить будут, – решил он. – И меня захвати, ежели пойдешь! Ваш ведь балаган-то будет... А?

Дворник Степан открыл нам глаза.

– Не балаган! – сказал он, сплевывая через зубы. – Ли-минация будет для торжества... Вот рваный-то барин и нанялся... Дела-а!.. – покрутил он головой.

V

На следующий день, после обеда, только что мы с Васькой устроились на телеге, чтобы сопровождать нашу кухарку полоскать белье на речку, в ворота вошел торопливой походкой Василий Сергеич, держа под мышкой что-то, завернутое в газету.

– Это что у вас? – спросил я.

Он хлопнул меня по лбу и сказал загадочно:

– Ар-хи-те-кту-ра!..

Слово было непонятное, но дворник Степан сейчас же объяснил:

– Такое строение... на бумаге...

На речку я не поехал. Я вошел в кабинет и присел в уголок на диване. Отец сидел за столом и разглядывал большие синие листы приятно хрустывавшей бумаги. Василий Сергеич стоял,

наклонившись и то и дело вытирая лысину красным платком. Пот катился градом с его сильно осунувшегося лица. На спине парусинного пиджака темнели две мокрые полосы. Его пальцы, указывавшие что-то на синих листах, дрожали. Дрожал и голос.

– Гм... Та-ак... – невнятно говорил отец, разглядывая листы. – А это что?

– А это... это... гм... тут крылья... Он сейчас в охру, под желтое пущен и вида, конечно, не имеет, но в ночи будет в самый раз... в золото будет ударять, как животрепещущий. А вот тут-с, видите, видите, полосы потемней пущены, так это перышки... В ночи переливать будут-с...

– Гм... Перышки? Да где ж они? – спрашивал отец.

– Перышки-с... Они объявятся при огнях... и затрепещут... Будьте покойны-с... Это всех поразит, и будет благодарность. Это все со смыслом пущено. А это, извольте взглянуть, снопики-с... снопы-с... Труд означает народный, всей России... Сердцу будет говорить. А тут вот васильки будут пущены... Огни у меня показаны в особом списке, по буквам... Уж я сам все на местах распланирую...

Он рассказывал долго и подробно и все чего-то боялся. Рассказывал и украдкой взглядывал на отца.

– Гм... Занятно... – и отец хлопнул его по спине. – Ишь, взмок даже. И откуда все это у тебя?

Василий Сергеич пожал плечами и улыбнулся. Я видел, что все идет как по маслу.

– Из головы-с... – Он приложил руку к груди и выпрямился. – Дозвольте вам одно слово сказать! Дозвольте!

Отец поднял голову и смотрел на него. Василий Сергеич стоял в знакомой мне позе Наполеона.

– Что такое? – спросил отец.

– Вы строитель и берете подряды, – начал Василий Сергеич торжественным тоном. – Вы могучий человек на эти Дела! А я человек в неизвестности... Меня даже в хорошие Дома не пускают по моему виду и костюму и даже... травят собаками... А у меня... у меня... есть такое... что может много облегчения произвести...

– Что-о? – спросил отец. – Какое облегчение?

– Вот как-с... – почти шепотом и даже оглядываясь, продолжал Василий Сергеич. – Я изобразил такое, что которые будут смотреть и

проникаться, могут получить утешение скорбей...

Отец смотрел на Василия Сергеича, не понимая, о чем говорит он.

– И я изобразил храм всесветный... воздушный храм... На бумаге, в чертежах-с... Такой храм можно устроить где-нибудь на видном месте, на горе... Он у меня так дан, что все в нем так и подымает к небу... Как взглянешь, так и подымается сердце... – он поднял руку, – чтобы люди к небу больше смотрели... Исполинский храм! – как бы рассуждая сам с собой, продолжал Василий Сергеич. – Выразить словами нельзя, а я его вижу, вижу!.. – Он устремил глаза к окну. – Только две краски – белая и голубая, с переливами. И золота не будет... Как чистый снег, серебро будет пущено...

Теперь, когда я уже не девятилетний мальчуган, я глубоко понимаю душевное состояние говорившего эти слова. Но и тогда что-то горячее запало на сердце и взволновало. Да, так вот и говорил он или приблизительно так. Он, этот одорукий и отрепанный художник, не мог выразить своим бедным языком охватившее его волнение творчества.

– И вот он-с...

Трепетными пальцами единственной руки стал разворачивать он непослушные, свертывавшиеся опять синие листы.

– ...Ты видишь их... Вот они, эти синие листы. Вот пятна расплылись здесь, – быть может, следы чьих-то слез... Вот красный крестик, сделанный карандашиком, – отметка одного архитектора, почтеннейшего Ивана Михайловича. Видишь? Вот это рисунок окна, и тут же красный крестик... Слушай! Я покажу тебе один дом, скверно построенный. Его строил Иван Михайлович. И в этом доме есть окно над крыльцом... Еще не понял? Окно совсем не подходит к дому, но оно прелестно... Эти листы были у этого архитектора, и он же поставил на них этот крестик, и он же строил дом, и он же делал окно. Теперь, конечно, ты понял...

Вот-с, взгляните-с...

Он расправил листы, наложив на края чугунное пресс-папье, и отодвинулся от стола, заложив руку за борт жилета и выставив ногу. Отец смотрел и морщил лоб...

– М-да-а... – протянул он, перелистывая рисунки. – Только это, брат, не по моей части. Ты к кому-нибудь знающему сходи, к

архитектору...

– Ходил-с... – со вздохом сказал Василий Сергеич. – Не допускают до себя. А то один архитектор решеточку у меня выбрал, десять рублей заплатил... Рисунок ему понравился...

– Гм... Ну, завертывай, завертывай. У нас тут дело поважней...

Василий Сергеич со вздохом завернул свои чертежи.

– А вы все-таки возьмите, покажите ученому архитектору какому... У вас большое знакомство...

– Ну, ладно. Оставь.

Отец взял чертежи и бросил на шкаф.

– Значит, завтра с утра. Лес с вечера привезут. Так помни, не подведи!

Василий Сергеич только пожал плечами.

VI

Вечером мы все сидели в саду и пили чай. Отец показывал дяде заготовленные Василием Сергеичем чертежи и пояснял.

– Ох, чует мое сердце, – вздыхал дядя. – Будет скандал...

– Да не каркай ты, ради Бога! – раздраженно говорил отец. – Я тебе прямо скажу, – мне его судьба послала!..

– Будет тебе «судьба», как в газетах прохватят!

– Именно, судьба. С архитекторами я сбился, у всех дела по горло... Один такую цену заломил... Плюнул я, – хоть от подряда отказывайся. А не могу, – сам взял на спор. И Иван-то Михайлович из города выехал... А он бы мог... Он Ватрушкину подрядчику взялся... И вот захожу в трактир один закусить. Вхожу по лестнице, – бац! плывут на меня лебеди!

– Ле-бе-ди?! – переспросил дядя.

– Как живые! А это над лестницей, по стене, целая картина. Очень явственно. А хозяин и говорит: «Это мне один однорукий человек написал». Вот тут меня и толкнуло что в сердце. «А где такой человек?» – спрашиваю. «Здесь, говорит, у меня... Купцу Панкратову план дачи показывает». Посмотрел я на него, – совсем убогий человек, а план у него хорошо выведен. Тут я ему и наказал ко мне зайти. Да

что чудно-то! Про него-то мне твой Василий Васильев и говорил насчет работы какой. Разве это не судьба?!

Я уже хотел уйти из сада, как из-за кустов появилась хорошо знакомая фигура.

Это был очень толстый господин с большим животом и на коротких ножках, в широкополой шляпе и чесучовой паре, с толстой сигарой во рту и кожаным портфелем под мышкой. Он подвигался вперевалку, как покачиваются ваньки-встаньки, и пыхтел. Это был наш архитектор, Иван Михайлович...

– Ффу-у... Ффу-у... – начал он еще издали, вытаскивая из кармана длинный платок и вытирая пот с шеи. – Запрел... ффу-у... – хрипел он, грузно опускаясь на затрепавший под ним стул и распространяя запах крепчайшей сигары. – Только что приехал... ффу-у... Получил, батенька-ма-тенька, вашу телеграмму... ффу-у... Не могу, родной, хоть зарежьте, не могу... Ей-ей! Эх, вы когда схватились! Тут, батенька-матенька, дело ответственное... Ффу-у... И рад душой, а не могу...

Он протер золотые очки и заодно вытер мокрый и красный, собравшийся в жирные складки затылок.

– Ну, что делать, – сказал отец. – Я уж и поручил. Иван Михайлович как-то необыкновенно шустро повернулся на стуле, подергал очки и засопел сигарой.

– А-а... э-э... Кому же? Вихреву? Он вам старье подсунет...

– Нет, – сказал отец, прищуривая глаз. – Коромыслову одному тут...

– Как-с? ффу-у... Дышать нечем... Ко-ро-мы-слову?! Кто ж такой? Не слыхивал...

– Стыдно ему, вот и не говорит... – ответил дядя. – В трактире нашел.

– Как-с? В трактире? Гм...

Он сильно вспотел и в заключение упавшим голосом попросил чаю. Он изнемогал от жары.

– Так, значит, ничего не выйдет? – спросил отец. У меня ёкнуло сердце.

– Сойдет! – махнул рукой Иван Михайлович, отстраняя чертежи. – Ваш подряд не на видных местах... И внимания не обратят. Вот у меня... Я Ватрушкину подрядчику восемь арок создал, да

четыре щита экранных, да колоннаду... ну, у того на видных пунктах... Там нужна рука, художественность? Гм... А здесь сойдет. Впрочем, если вы хотите, я могу предложить вам кое-что... из прежнего... Знаете, время не позволяет...

Отец нахмурился. Он не только нахмурился: он хлопнул ладонью по чертежам и так сильно, что подскочили и зазвенели серебряные ложечки.

– Сойдет! – сказал он, – У нас не на видных местах... И ладно-с, не на видных...

Иван Михайлович хлопал глазами, разевал рот и опять закрывал.

– Ну, скверно-с, и прекрасно-с! – раздраженно говорил отец. – А вот мне нравится!..

Они долго сидели в саду, даже ужинали там. Я со двора слышал раскатистый хохот Ивана Михайловича. Когда я пришел перед сном проститься, среди закусок я увидел синие листы. Архитектор сидел в одной жилетке, веселый, румяный, кушал горячий пирожок, вкусно причмокивая, и говорил:

– Ха-ха-ха... Гениально! хо-хо-хо! Всесветный храм! А знаете, это у них всегда такая повадка... что-нибудь сногшибательное... Икорки? Я возьму, возьму... Что? Посмотреть? Да чего же их смотреть!

Я понял, что отец просил его взять чертежи и посмотреть.

– Ну, заверните... взгляну на досуге... Ваше здоровье! Ложась спать, я вспомнил все пережитое днем: Василия Сергеича и сцену в кабинете, все, что произошло в саду, и толстяка архитектора с его жирным затылком и раскатистым смехом; вспомнил тревогу отца. И хотелось мне, чтобы все вышло удачно, чтобы Василий Сергеич победил, и отец оказался правым. И все, что было в сердце моем, я по-своему вложил в слова вечерней молитвы.

VII

Утром меня разбудил стук топоров и сочное ерзанье рубанков. Я выпянул в окно. Во дворе, на козлах лежали ярко сверкавшие под солнцем доски. Путаясь ногами в пышных стружках, плотники, в красных и белых рубахах, ловко стругали рубанками. И тут же со

складным аршином перебегал с места на место, что-то примерял и заносил в книжечку Василий Сергеич. Он был все в том же парусинном пиджачке и серых брюках. Его сильно помятый и порыжевший котелок сдвинулся на затылок. Пот струился по его бледному, болезненному лицу, носившему на себе ярко выраженные следы волнения и озабоченности.

Тут же я увидел и Ваську, который, видимо, был страшно заинтересован происходившим на дворе: он смотрел в рот Василию Сергеичу, следовал за ним по пятам и даже помогал, придерживая конец аршина.

Во дворе меня охватил острый смолистый аромат свежего дерева. Я раскланялся с Василием Сергеичем. Тот, очевидно, страшно занятый, рассеянно кивнул мне и бросил:

– Работа у нас, работа-с...

Он был увлечен. Он работал, забыв, кажется, все на свете. Он забыл и об обеде, и когда плотники ушли закусить и после прилегли вздремнуть тут же, на стружках, он все бродил с аршином, записной книжкой и синими чертежами, осматривал нарезанное и выструганное, мотал головой, сверял с чертежами и метил. И только тогда уже, когда плотники проснулись и опять принялись стругать и пилить, он вспомнил, что еще не ел, вынул из кармана печеное яйцо и ломоть хлеба и принялся закусывать на ходу.

Раза два заходил отец посмотреть, как работа, глядел на груды дощечек и планочек и спрашивал:

– Ну, как дела?

– Один номер кончаю! – весело сообщал Василий Сергеич. – Будьте благонадежны... Почти целый щит готов...

Мы с Васькой смотрели, выпучив глаза. Какой такой номер? Брусочки, дощечки разные, бревнышки... Какой щит? Во мне начинало зарождаться сомнение.

Поздно вечером ушли плотники, а Василий Сергеич все бродил по работам, складывал планочки, иногда останавливался, ударял себя по лбу и задумывался. Он истомился и растрепался страшно: лицо его осунулось еще более и стало изжелта-серым, пиджачок взмок, и тонкие стружки торчали даже из-за воротника.

Совсем стемнело. Василий Сергеич присел на кучу щепы и задумался. Мы с Васькой присели рядом.

– Устал, устал, братики... – сказал он и грустно улыбнулся.

Было тихо. Давно ушли на ночлег куры и увели с собой веселый гомон жаркого дня. И в тебе было тихо. Неслышно плыли в нем далекие перистые облака. Василий Сергеич сидел, охватив руками колени, и смотрел в небо. О чем думал он? С грустью во взгляде смотрел он в тихое темнеющее небо. Не дух ли его томился в этот тихий час вечера тяжким и сладостно-жутким томленьем, творческий дух, которому суждено было биться на задворках и балаганах?..

Вспоминаешь теперь этот тихий вечерний час, грустные глаза, обращенные к небу, и вздохи... Грустишь и о Василии Сергеиче, и о других многих, так же, как и он, безвестно отошедших, быть может, таивших в себе огромные и неиспользованные силы, не попавших на настоящую дорогу. Ты улыбаешься моим словам... Ступай же на Красную Площадь и всмотришься в это удивительное сооружение, в собор Покрова, в храм Василия Блаженного, знаменитый памятник XVI века. Его создали такие же, из безвестности вышедшие люди, некие Яковлев Посник и другой, по прозвищу Барма... и сколько, быть может, потом было этих безвестных, затертых в глухие времена и по глухим местам камнями суровой жизни!..

Зашуршали стружки, и из сгустившихся сумерек выступила фигура отца.

– А ты все еще здесь? Чего же домой-то не идешь? – спросил он.

– Тут уж и заночую. До квартиры-то мне далеко, а завтра опять с четырех начнем...

– Может, деньжонок надо, а? Ты прямо говори...

– Нет уж, – покачал головой Василий Сергеич. – Как уж сказал: сдам все в исправности, тогда уж...

Долгим взглядом посмотрел на него отец. Действительно, было необыкновенно: всегда все с великой радостью получали деньги, а Василий Сергеич отказывался. Отец хлопнул его по плечу и сказал:

– Ну, ладно... Идем ужинать.

Он ласково подхватил Василия Сергеича под спину и повел, подталкивая. И так хорошо и тепло стало у меня на сердце.

Милый, тихий вечер, милые звезды, милые отошедшие лица...

Ужинали. Василий Сергеич конфузился, часто ронял салфетку и краснел. Отец был очень ласков с ним, сам клал ему на тарелку кушанье и заставлял есть, и по лицу его видел я, что жалко ему этого

робкого человека. После ужина Василий Сергеич попросился переночевать где-нибудь в людской.

– Еще что! – сказал отец. – Ляжешь здесь, на диване. И брось ты, братец мой, ежиться! Терпеть не могу! Смотри веселей!

– Я ничего-с, – робко отозвался Василий Сергеич.

– Ничего-сі – продолжал отец. – Ты у меня строишь, у ме-ня! Ты для меня теперь – ар-хи-тек-тор! Как Иван Михайлыч, все равно.

– Нет-с... – со вздохом сказал Василий Сергеич. – Они имеют и чин, и звание, а я... мне ходу такого нет...

– А я тебе говорю, что мне наплевать! Ничего я во всем этом не понимаю, а вот верю тебе и все! Верю! Может, в твоей-то голове больше, чем в настоящем самом архитекторе сидит, а ты ежишься. А ты только погоди! Мы с тобой еще покажем себя! Я еще, может, в славу тебя произведу. Будет все удачно, так я тебя дом заставлю строить... с балконами и всякой штукой! Ход тебе дам, раз я в тебя верю... Верно! Я вот, может, чую тебя...

Отец разошелся. Он говорил и пристукивал ладонью по столу, а Василий Сергеич сидел и моргал.

– Запугали тебя, вот что... Это я уж вижу, глаз набро-сался. И что много тебе обиды было, – тоже вижу. Вон над тобой Иван Михайлович смеется, – ну, так мы сами над ним посмеемся, годи...

– Позвольте сказать... – дрогнувшим голосом начал Василий Сергеич. – Для вас... для вас... Я не подведу... увидите... А как сейчас сказали, что верите мне, так вот, тут у меня, тут... – постучал он себя в грудь, – тут у меня... тепло... Утешили... утешили...

Его лицо сморщилось, заморгали глаза. Он вытащил красный платок, уткнул в него лицо свое и затрясся.

– Э! да будет тебе! – сказал отец. – Чудак ты человек! Я же тебе говорю, что покажем мы себя! Ничего, ничего...

И он дружески потрепал Василия Сергеича по плечу.

А тот утирал глаза. Я смотрел на него, на отца и чувствовал, что и у меня жжет в глазах. Почему плакал Василий Сергеич? Быть может, у нас впервые почувствовал он привет и ласку... Отец был простой, необразованный человек, но он имел сердце и умел понимать другого. Быть может, в этот тихий вечерний час вспомнился Василию Сергеичу долгий ряд обид и унижений, неудач и ударов жизни, которые согнули спину его, съежили и без того маленькую и убогую

его фигурку. Быть может, в этот тихий вечерний час, обласканный и растроганный доверием к его работе, вспомнил он, что и он – тоже человек, что бьется в нем святая сила, что на своих плечах и разбитой груди вскормил он двух самых близких, кто только и был у него, вскормил и сделал людьми.

– Ну, чего? – участливо спрашивал его отец. – Смотри веселей! И на твоей улице будет праздник.

– Тяжело-с... Тяжкая моя жизнь была... – взволнованно говорил Василий Сергеич, комкая платочек и запрятывая его в карман. – Но теперь, я чувствую, проходит моя скорбь... Племянница моя, Настенька, на этих днях полный курс наук кончает в гимназии... и даже с золотой медалью... Будет учительницей... Тогда нам всем очень хорошо будет. А то ведь, как видите, всего одна рука-то...

В этот вечер я засиделся. Трое нас оставалось в столовой. Тих был и темен вечер. Черный, глядел он в открытое окно, колебля желтое пламя свечи.

Василий Сергеич трогательно рассказывал о своей жизни. Отец крупными шагами ходил по комнате и тихо насвистывал, я сидел в уголку и смотрел на темное окно, а Василий Сергеич глядел на вздрагивающее под ветерком пламя свечи и рассказывал. Как он, сиротой, был привезен в город к иконописцу, как под штамповальным прессом потерял руку, служил у какого-то инженера, а потом у архитектора. Как очутились у него на попечении племянник с племянницей, тоже сироты. Вот тогда-то для одной руки выпало порядком работы. Он чертил для архитекторов планы, писал балаганные декорации, играл в балаганах. Ну, теперь Настенька будет учительницей, а его Мишук пойдет на инженера, как кончит реальное училище. Тогда и он отдохнет. А то вся грудь разбита... Ну, скоро придет время... Вот тогда-то он, как следует, займется своими чертежами... Много надо там кой-чего еще...

И опять начал говорить он о своем храме всесветном. Тогда мне многое было непонятно в словах этого странного человека, но теперь я хорошо понимаю все... Ночи проводил он в маленькой квартирке своей, усталый после балаганной игры, после расписывания потолков и стен по трактирам. Сидел над листами синей вощеной бумаги и творил... И плакал. Он сам рассказывал, что плакал. Холодно было в этой квартирке, руки немели. Его Настенька и Мишук ежились от

холода под драным одеялом, а он сидел, склонившись над чертежами... Кому были нужны эти чертежи? Никто не дал ему за них ни копейки... Но он работал. Он хотел перелить в краски и линии таившийся в нем прекрасный мир... В эти ночные часы он жил и сладко томился, а кругом была молчаливая ночь.

Отец ушел спать и увел меня. В столовой остался Василий Сергеич. Но я долго не мог уснуть, ворочался на постели и думал. Слезы однорукого человека взволновали меня. Об его слезах-то я и думал. И показалось мне почему-то, что и сейчас он сидит один в столовой и плачет. Эту мысль я не мог прогнать.

Помню, я тихо поднялся и босой, в одной рубашке, пробрался к столовой и заглянул в полуоткрытую дверь.

Горела свеча на столе. В окно смотрела ночь. Тянуло ветерком, и пламя свечи колебалось. Василий Сергеич сидел у стола, подперев кулаками виски, и смотрел на пламя свечи. Смотрел и я. И таким одиноким показался мне в эту минуту Василий Сергеич! И захотелось мне подойти к нему и ласково заглянуть в глаза... И я сказал, стоя в дверях:

– Вы... вы еще все не спите?..

Он вздрогнул и обернулся, вдумчиво и как бы с удивлением оглядел меня, и на лице его показалась улыбка.

– Не спится, мальчик...

– А вы спите! – упрасивал я его. – Вам надо завтра рано вставать...

Тогда он поманил меня пальцем и, когда я приблизился, обнял за спину и приподнял к себе на колени.

– Тепленький какой... – ласково сказал он. – Ну, а ты-то чего не спишь? А? Чего не спишь?

– И мне не спится... Знаете, я все думал, что вы сидите и плачете...

– Милый мальчик! – сказал он дрогнувшим голосом. – Милый мальчик! Теперь Василий Коромыслов не будет плакать... отплакался... Теперь он будет строить бо-о-ль-шо-ой дом! С балконами... Хе-хе... со всякой штукой! Так, что ли, а? Теперь хорошо будет...

– Да? А почему будет хорошо?

– Почему? А потому, что теперь у Василия Коромыслова люди есть...

Он крепко сжал мое плечо, как недавно у двери кабинета.

– Люди? Какие люди есть?

– Такие!.. – сказал он шепотом и крепко-крепко сжал меня. – Слышь, петушки кричат? Спать пора...

Эта ночь осталась в моих воспоминаниях самой светлой, хотя и была совсем темная-темная ночь.

А наутро меня опять разбудил стук топоров под окнами и сочное ерзанье рубанков. Какое светлое утро было! Как весело кричали куры! И теперь я иногда вижу эти светлые бодрые утра и слышу бодрые крики птиц, но уже нет в душе того света, тех радостных надежд и ожиданий чего-то грядущего и хорошего, той младенческой ясности, чем переполнено было маленькое сердце в то утро, когда я слышал стук топоров под окнами и сочное ерзанье рубанков...

VIII

Прошло дней пять. По многим местам в городе были возведены арки и щиты, а у нас работы не подвигались. На дворе, правда, вырастали новые и новые кучи планок, фигурных дощечек, брусочков и бревнышек, и Василий Сергеич по-прежнему бегал с озабоченным видом, метил и примерял. Сроку, как говорили, оставалось всего дня два.

– Гони его! – кричал дядя. – Лучше заранее отказаться и потерять задаток, чем оскандалиться. Вон даже и в ведомостях про тебя было, что везде у других закончено, а в твоём районе ничего не делается...

– Мало этого! – говорил отец. – Вот сейчас у меня городская комиссия по украшению города была и беспокоилась... Ну, как-нибудь...

– Да ты сумасшедший?! – горячился дядя. – Ведь и моя репутация страдает! Ведь и мои рабочие-то у тебя... И фамилия та же!

– Цыплят по осени считают! – прищурив глаз, сказал отец.

– Будут тебе цыплята!

Слыша подобные разговоры, – а они, обыкновенно, происходили на дворе, – мы с Васькой решили, что Василий Сергеич «провалится».

Дворник Степан насмешливо подмигивал плотникам.

– Старайся! Должно полагать, земку какую строите?

– Строим, а неизвестно что... – отзывались плотники и крутили головами. – Он знает, безрукий-то! – подмигивали они на Василия Сергеича.

Наконец, когда дядя, что называется, насел на отца, тот вызвал Василия Сергеича и спросил;

– Вот объясни ему, почему не прямо на местах щиты собираешь!

– Чтобы в секрете было! – ответил Василий Сергеич. – Вот Иван Михайлыч только взглянули на мой чертежик, а уж арочку-то одну будто на мой манер возвели... Как бы винтовые столбы... Но только огни не потрафят. А уж я в срок соберу, будьте благонадежны.

Дядя внушительно покачал головой.

В ту же ночь тревожный звонок всполошил весь дом. Что такое? Я вскочил и выплянул в переднюю. Здесь я увидел Василия Сергеича и отца. Василий Сергеич был страшно бледен и как-то весь встрепан. Он прижимал к груди котелок и говорил прерывисто:

– Немного не рассчитал-с... Прикажите еще человек десять плотников добавить для сборки частей и человек пять рабочих – шкалики устанавливать и к утру все будет собрано... Головой ручаюсь... Только прикажите! Сейчас половина второго... К утру не узнаете!..

– Хоть двадцать, хоть тридцать! – кричал отец. – Послать приказчика нарядить еще двадцать пять человек!.. Вдвое платить!

– Слушаю-с, – отвечал чей-то голос с лестницы, от кухни. – Найдем и поставим сей минут-с.

– Смеются все-с... – задыхаясь, говорил Василий Сергеич. – Радуются, что не поспеем, а мы всех поразим.

Отец махнул рукой и хлопнул дверью. Василий Сергеич вытер платком шею и лицо, пожал плечами как-то растерянно и пошел, поникший.

«Должно быть, и он понимает, что ничего не выйдет, – подумал я с тоской. – Теперь Иван Михайлыч будет торжествовать».

Утром заявился к нам на кухню Васька и вызвал меня.

– Побежим на рынок, – сказал он, – там ваш однорукий орудует. Сейчас отец пришел, говорит – огромного орла ставят... Страсть!

– Орла? Какого орла? – спросил я.

– Прямо страсть, громадного! Побежим!

Конечно, мы сейчас же помчались на рынок. Там, на середине площади, неподалеку от бассейной башни, стоял огромный, в вышину большого дома, орел. Это был щит на столбах, но столбов не было видно. Был виден огромный орел. Он стоял, раскинув в обе стороны свои две головы. Его два расправленные, вырезные крыла захватили большое пространство, а между ними, снизу, был устроен проезд в виде высокой, кверху суживавшейся арки. Приспособившись на висячих досках, маляры красили орла в желтый цвет. Масса народу окружала орла-гиганта. Василий Сергеич, все в том же парусинном пиджачке и неизменных серых брюках, еще более восторженный и измятый, чем ночью, стоял на висячей доске, на самом верху, и командовал, как на пожаре, размахивая единственной рукой:

– Прравое крыло гуще! Ввертывай подставки для шкаликов! Начинай с головы! Следом ставь стаканы!

Я вспомнил, как он недавно кричал на балагане.

На наших глазах совершались настоящие чудеса. Как я узнал потом, Василий Сергеич всем рабочим сообщил, что никто не верит, что можно поспеть к вечеру, но он поспеет: все зависит от его помощников. Эти его слова и обещанная хорошая прибавка, а главное то, что многие подшучивали и над рабочими, которые пришли с бору да с сосенки – приказчики набрали их наугад, кто попался ночью, – все это произвело чудеса: работа горела. На наших глазах вытягивались проволоки, ввертывались держалки для шкаликов, подымались корзины со стеклом, устанавливались свечи, протягивалась зажигательная нитка.

– Кипит, кипит!! – говорили в толпе. – Ну, и командир у них! Откуда что берется...

В головах орла, там, где должны быть глаза, были пущены красные с зеленью круги, и рабочие уже поставили там пунцовые кубастики.

– А как зажгут, что будет! – слышались разговоры. – Нигде такого нет по всему городу, только у нас. Немец работал?

– Не немец, а вон энтот! – показал Васька на Василия Сергеича. – Вон однорукий-то на доске висит.

– Плети еще! Что мы не знаем, что ли, его! С балагана взят, за работами смотрит...

У меня заиграло на сердце. Уже теперь не верят, а что будет, когда зажгут огни!

Я не успел, как следует, осмотреться, подойти к Василию Сергеичу и сказать, что орел очень хорош, как подкатил шарабан, и из него выпрыгнул отец. Он остановился и смотрел. По правому, еще не совсем высохшему крылу рабочие по установке шкаликов уже почти заканчивали работу. Чьи-то невидимые руки затягивали узкие промежутки между планками полосками золотистой и палевой материи. Отец смотрел. По его лицу видно было, что он доволен.

– Молодцы, молодцы, черти! как жарят-то! – бормотал он, следя, как люди в опорках, повиснув мухами на узких дощечках, постукивают молоточками, позванивают шкаликами, перекидываются шутками. А выше всех, у самых голов орла, стоял Василий Сергеич на доске и командовал:

– Молодцы, братцы! Никто не верит, что установим в срок! Что мы, не люди, что ли? Хозяин не обидит, а обидит, от себя дополню!

– Понимает дело! Молодчина, Василий Сергеич! – крикнул отец и поманил.

Тот заметил, замахал котелком и стал спускаться. Откуда-то вывернулся дядин приказчик и докладывал:

– Так что на мосту уж закончили установку. Очень все складно у него, по плану все пригнано! Сам смотрел-с... Как теперь вывезли все на место, а у него каждая планка перемучена, что куда. Как почали этого самого орла образовывать, как почали, – живая машина. В три часа водрузили-с...

– Понимает дело! – сказал отец.

– Очень понимает-с... И публика очень, как слышать по разговору, одобряет. А на мосту-с Иван Михайлыч-с были-с...

– Ну, и что же? – спросил отец.

– Молчали-с... Так что все глазом оглянули-с, и ни слова, ни-ни...

– Ага... Сейчас туда поеду.

Василий Сергеич опустил на блоке и подошел к отцу.

– Вот-с, – указал он на орла, – орел-с...

– Два!.. – сказал отец.

– Два? – переспросил Василий Сергеич.

Отец взял его за плечи и потряс.

– Этот поменьше...

Василий Сергеич просиял.

– Будьте благонадежны... – заговорил он в волнении. – Кто другой, а вы в грязь лицом не ударите...

Он поперхнулся, закашлялся, точно захлебнулся. Выхватил платок и прикрыл рот. Его лицо стало серым. Кашель бил его, а он судорожно прижимал платок к губам. Алая струйка окрасила его подбородок.

– Что с тобой? болен? – тревожно спросил отец.

Василий Сергеич покачнулся, схватился за край орла и присел на валявшийся здесь чурбан.

– Ничего-с... это... старое... болезнь старая... пройдет... утомление... кха-кха...

Кто-то из рабочих принес ему воды в жестяной кружке и сказал:

– Давеча вот тоже... В грудях у него слабость...

– Тебе бы того... – заговорил отец растерянно, – отдохнуть...

– Что вы-с? разве это можно? – испуганным тоном заговорил Василий Сергеич. – Ничего-с... отойдет... Поспеем... не подведу... в срок...

Он выпил воды, помочил голову, вытер губы и, весь потный, должно быть, от слабости и бледный, поднялся.

– Да погоди ты, отдышись... – говорил встревоженный отец.

– Не время, не время... Скоро... кончу.

Он подошел к доске, стал на нее и приказал:

– Подымай!

А через минуту на высоте двадцати аршин бросал там и сям по желтому телу орла красочные пятна. Быстро-быстро. Он знал, что делал.

Осмотрев орла, мы побежали к мосту. Там уже все было закончено. При концах моста стояло по два исполинских снопа, пущенные в светло-желтую краску. Снопы эти вверху были разбиты на тонкие расходящиеся планки-колосья и уставлены по линиям зеленоватыми стаканчиками. Над ними перекинулись два огромных серпа, пущенные под серебро и установленные светло-голубыми кубастиками. Здесь также толпился народ. Отца мы уже не застали: он проехал на следующую площадь, где, как сказал нам знакомый

плотник, должна была находиться «огневая» мельница. После целого часа блужданий мы добрались-таки до нее. И повидали-таки штучку.

На площади стояла одна из тех ветрянок, которые я раньше видал только на картинках, самая настоящая, с крыльями, которые вертелись и даже скрипели. Плотник Семен, приставленный сторожем, стоял и повертывал внизу железную ручку, и крылья вертелись. И мельница, и крылья были унизаны фонариками, которые висели на проволочках так ловко, что все время сохраняли свое положение при повороте крыльев и не опрокидывались.

– Америка! – сказал какой-то старичок-лавочник. – До этого надо дойти! Да-а!..

В середине мельницы был проезд, и, таким образом, мельница служила как бы аркой.

По указанию плотника Семена мы побывали и еще в одном месте, где узрели какие-то «винтовые» ворота. Это были два столба, вырезанные винтообразно и унизанные спиралями стаканчиков. Как нам сообщили, здесь вся суть будет видна ночью. Этими «винтовыми» воротами Василий Сергеич хотел показать какую-то «живую радугу». Мы только заметили, что окраска стаканчиков изменялась постепенно снизу доверху.

Да, они были не совсем красивы днем, эти винтовые ворота, но потом, ночью...

Мы поздно вечером вернулись домой, и я получил порядочный нагоняй за самовольство. Но лишь только раскрыл я рот, чтобы криком облегчить скорбь свою, мне погрозили пальцем и сказали: тсс!..

Оказалось, что Василия Сергеича только что привезли с площади. Его привезли без чувств и пригласили доктора. Доктор приказал давать ему кусочки льда внутрь и не беспокоить.

– Только головкой покачали доктор-то!.. – сказала мне старушка-няня.

Вечером, когда началась иллюминация, Василий Сергеич сказал, что выздоровел, и ушел из дому.

– И удержать не могли... Куды тут! Схватился с дивана, бегают, кричат, где шляпа... А сам-то стра-ашный, страшный, чисто упокойник... – Так рассказывала потом няня. – Чисто как помешалось у него тут, в голове-то...

Что было!..

Ночь торжественной иллюминации прошла, как в кошмаре. И где только не побывали мы с Васькой в эту ночь! Разве я мог удержаться от искушения и нарушить данное ему слово: «вместе таскаться по лиминации?» Нет, я сдержал слово и увильнул от удобства смотреть на торжество с мягких подушек экипажа. Но, конечно, не увильнул от кары. Пусть кара, пусть даже две и три кары! Но что лучше, – сидеть чинно, как подобает благовоспитанному мальчику, в коляске и смотреть, что делается позади коляски – ведь «благовоспитанного» мальчика, за неимением свободного места, обыкновенно, сажают спиной к лошадям и сердятся, когда он начинает беспокоить ногами, и одергивают, когда он начинает вертеть головой, – или же, как вольный ветер, переноситься вместе с толпой рука об руку с веселым и ловким босоногим приятелем и гикать, и кричать, как Бог на душу положит? И я принял кару.

Да, где только не побывали мы с Васькой в эту ночь и чего только не насмотрелись! И все же лучше нашего орла, снопов и мельницы мы ничего не нашли. Да и не мы одни. Бродя в толпе, мы слышали возгласы удивления. Да, орел, деревянный, вымазанный в желтую краску... Нет, он не был ни деревянным, ни вымазанным ни в какую краску; это был самый настоящий, живой орел. Ты улыбаешься и не веришь... Нет, опять-таки повторяю, – это был самый настоящий орел. Он трепетал своими перьями. Да, Василий Сергеич уловил великий секрет – сделал из деревянного щита существо живое. Те, брошенные там и сям по телу орла пятна краски, освещенные волнующимися по ветру огоньками удачно подобранных цветных кубастиков, ожили и затрепетали, и желтая краска заиграла сочными тонами живого золота. А снопы! Золотисто-зеленые, с вкрапленными голубыми васильками, они, казалось, волновались в трепетном свете фонариков зеленовато-палевого стекла. А голубые васильки были действительные васильки. А серебристые серпы, отливающие холодом металла, эти гигантские полумесяцы!

Должно быть, молва об орле быстро распространилась по городу. Перед орлом, помещенным, действительно, не на видном пункте,

стояли такие сплошные массы зрителей, как нигде. А что говорили в толпе!

– А говорили – у нас мало будет, а все за рекой, самое настоящее! Вот тебе и настоящее!

– Глазищи-то у него... моргают! Прямо, как живой! Эх, как на обе стороны-то расправился! Си-ила!

– А сказывали так, будто одорукий мастерил, так, малярок...

– Сказывают! Малярок! За его, может, тыща заплачена! Малярок!

Мы долго шныряли вокруг орла, чувствуя себя, как дома. Еще бы не дома! У самого орла, возле левой его ноги, стоял дядин приказчик, Василий Васильич, следил за порядком и командовал:

– Тише, не напирай! Смотри издаля, явственно-хорошо видать... Семен, оправь шкалик! Какая ваша необразованность, господин... толкаетесь... Нельзя-с с прикосновением! Видите, – качается... шкалики трясутся...

Он был великолепен, Василий Васильевич! Он, конечно, чувствовал, что и на него изливается слава орла. Он дутой выпустил серебряную цепочку с эмалевой передвижкой и кисточками, часто посматривал на часы, покручивал усы и, вообще, старался быть на виду.

– Это, дозвоьте вас спросить, кто ж строил-то такого? – спрашивали его из толпы.

– Сами-с... хозяин строил... мы-с... Не напирай, не напирай! Господин городской, не допускайте напору из публики...

– Вот он, вон! – крикнул Васька и показал пальцем к фонарю.

Около бассейной башни, облокотившись на чугунную колонку фонаря, стоял Василий Сергеич. Он был опять все в том же парусинном пиджачке и котелке, бледный, мертвенно-бледный при ярком освещении. То и дело отирал он лицо красным платком и смотрел, смотрел... Смотрел в одну точку, на орла. Он пришел-таки! И я был рад, что пришел он: значит, он не так сильно болен, как говорили у нас.

Мы пробрались к нему, и я осторожно потянул его за рукав.

– А-а... И вы пришли! Ну, как... нравится?

– Да, очень хорошо! – сказал я.

К нам подбежал дядин приказчик и сказал:

– Вас хозяин требует! Там они-с... – указал он на орла. – И с ними там от города двое... господа комиссия.

Василий Сергеич обдернулся и медленной походкой направился за Василием Васильевичем. Мы тоже юркнули за ним в образовавшийся проход. В воротах орла стоял отец с двумя какими-то господами в цилиндрах и что-то рассказывал.

– Вот он самый и есть, строитель-то! – показал он на Василия Сергеича.

Господа в цилиндрах взглянули. Василий Сергеич снял котелок и поклонился. Господа в цилиндрах притронулись к полям шляп.

– Вот члены городской комиссии по украшению города... Хвалят нас... – сказал отец. – Понравилась твоя работа...

– Да, – сказал один из господ в цилиндрах, – очень, очень эффектно... обращает внимание... Об этом говорят... очень приятно...

И господин еще раз притронулся к полям своего блестящего цилиндра.

Василий Сергеич стоял с обнаженной головой. Он слушал медленно высказываемые слова похвалы и улыбался как-то растерянно.

– Ваше имя-отчество...

– Василий Сергеев Коромыслов-с...

– Очень, очень приятно... Вы... я слышал, сам... самостоятельно? То есть, я хочу сказать, вы это все... самоучкой?..

– Да-с... я, собственно, из головы. Я, собственно, не имею чина и...

– Да, да... Обратило внимание... Очень приятно... Господа в цилиндрах прикоснулись к полям и прошли дальше.

Об этой сценке у нас в семье долго потом говорили. Когда комиссия проследовала дальше, отец сказал:

– Чего ты поднялся-то? На тебе лица нет...

– Мое-с... – дрогнувшим голосом сказал Василий Сергеич. – Мне-то и не посмотреть...

– Может, ужинать поедем, а? – предлагал отец. – Не можешь? Ну, завтра приходи за расчетом... Победил ты всех! Вот удружил, вот удружил! Спасибо!..

На нас смотрели. Дядин приказчик вертелся ужом, заглядывал в глаза и повторял со свистом:

– Я говорил-с... уж он достигнет-с... и не подведет-с... никак невозможно-с... Земляк-с... За кого другого не пору-чусь-с, а за него всегда-с... земляк-с...

– Так не поедешь ужинать-то? – спрашивал отец.

– Устал-с... – слабым голосом отзывался Василий Сергеич. – И потом три дня дома не ночевал... а сегодня моя Настенька последний экзамен сдавала...

Отец приказал Василию Васильичу посадить Василия Сергеича на извозчика и отправить домой. Увидав нас, он рассердился, что я шляюсь один по городу, потом ущипнул за щеку. Он был в радостном возбуждении, дал нам с Васькой по гривеннику и наказал идти домой спать.

Когда мы уходили с площади, орел уже догорал снизу, но все еще ярко сверкали его багровые глаза в темноте неба.

X

Утром, когда мы сидели за чайным столом, отец, читавший газету, хлопнул ладонью по листу и весело крикнул:

– Ага! Вот вам и «рваный барин»! Л-ловко!

Рваный барин... Да, с легкой руки дворника Степана за Василием Сергеичем установилась кличка – рваный барин. Горничная, бывало, докладывала:

– Этот вот пришел опять... как его... да вот, рваный барин-то...

И дядя спрашивал отца:

– Ну, как твой рваный барин?

И наши домашние часто в разговоре употребляли это привившееся прозвище. Метко ли оно пришлось, – Василий Сергеич, действительно, имел неказистый вид, – или так навязло на языке, как это иной раз бывает, но прозвище это осталось, потеряв свой первоначальный обидный смысл, который придал ему дворник. И мы с Васькой, в душе питавшие к этому убогому человеку самые горячие чувства, частенько в разговоре друг с другом называли его так, не вдумываясь в смысл.

– Вот что написали! – говорил отец. И стал читать вслух.

В газете сообщалось, что на вчерашней иллюминации орел вызывал общее удивление, так же, как и мельница, и снопы. Сообщалось дальше, что работу эту исполнял молодой архитектор, который почему-то до сих пор не имел случая выдвинуться, даже и фамилия его неизвестна никому, но газета обещала в следующий раз поделиться подробными сведениями, которые уже собираются. Далее газета расхваливала людей с именами и подробно говорила об Иване Михайловиче и господине Ватрушкине, причем Иван Михайлович был назван «нашим известным зодчим, который в настоящее время находится в полном расцвете своего могучего таланта, что обещает в дальнейшем многое». Ивана Михайловича газета похвалила за винтовую колонну, где архитектору и художнику удалось показать чудные световые эффекты и этим самым разделить успех с неизвестным строителем «орла», ибо колонна эта не уступает последнему и может быть признана удачейшим из номеров подрядчика Ватрушкина.

Отец покатывался, читая все это.

– По-хва-ли-ли! Ивана-то Михайлыча! Ха-ха-ха... Ловко за колонну-то! Ха-ха-ха!.. Обрадуется!.. Ха-ха-ха... А ведь это наша!

Как раз вошел Василий Сергеич.

– Читай, брат, читай, – протянул отец газету.

Он читал. И чем больше читал он, тем ниже опускалась его голова.

– Ну, что? Как? – спрашивал отец.

– Да, хвалят... Разве меня кто знает... А все-таки, конечно, приятно.

– Нет, Ивана-то Михайлыча как! Ха-ха-ха... А?

– Им будет обидно... – сказал Василий Сергеич. – А теперь бы, если бы показать кому мои чертежи... а? Теперь, может быть, обратят внимание...

– Да я их дал Ивану Михайлычу... – сказал отец.

– Ему-с? – понуро спросил Василий Сергеич. – Они еще не смотрели? ничего не говорили?

Но не успел он договорить, как в столовую грузно ввалился и сам Иван Михайлович со своим портфелем и сигарой. Его вид был

необыкновенно торжественен и важен. Он швырнул портфель на диван, как это он всегда делал, и, здороваясь, начал:

– Поздравляю, поздравляю! Очень рад! прекрасно и у вас было...

Он протянул руку и Василию Сергеичу и при этом посмотрел вопросительно.

Василий Сергеич даже приподнялся, а отец сказал:

– Вот он самый и есть Коромыслов-то... Так сказать, товарищи вы...

Иван Михайлыч изобразил что-то вроде улыбки и сел.

– Читал, читал... – начал он. – Хвалят вас...

– Эту читал? – протянул ему отец газету.

– Эту? – посмотрел на газету Иван Михайлыч. – Нет, этой не видел...

– Как вас-то тут хвалят! – показывая пальцем на столбец, сказал отец.

– А-а... А ну-ка...

Он уселся поудобней, отстегнул пуговку жилета и, обмахиваясь платочком и раздувая щеки, стал читать. И чем дальше читал он, тем ярче становились его щеки. Из розовых они стали алыми, потом цвета хорошей свеклы, потом густого бордо. Потом он швырнул газету.

– Ослы! – прохрипел он. – Дурак писал и больше ничего!

– Пишите опровержение... – говорил отец. – И он вот напишет, – показал он на ежившегося Василия Сергеича. – Какой он там «молодой архитектор»? И не молодой, и не архитектор!..

Иван Михайлович отмахнулся.

– А я к вам завернул вот по какому поводу, – начал он Деловым тоном. – Сегодня я еду на освящение построенной мною фабрики, пробуду в отлучке с неделю... Гм... Так хотелось бы порешить с вашим делом...

– С каким делом? – спросил отец.

– Вы тот раз вечером говорили относительно стройки нового дома на свободной земле...

– Ах, да-а... Я, знаете, раздумал... – замялся отец. – Не то что раздумал, а слово дал... Вы уж меня простите...

Иван Михайлович поправил очки.

– Вот ему дал слово! – продолжал отец, указывая на Василия Сергеича, который с волнением глядел на отца. – Обещал ему, если

иллюминация сойдет хорошо, пусть план делает...

– Та-ак-с, – протянул Иван Михайлович. – Что же, я очень рад... Только, – мягко-мягко обратился он к Василию Сергеичу, – я позволю себе сказать вам, Сергей Васильич, ваш план не утвердят... Вы не можете его подписать... Это я говорю, поверьте, с самыми чистыми побуждениями... Вы потратите время, труд...

– Верно-с... – смиренно сказал Василий Сергеич – Мне нельзя-с... ибо я не архитектор...

– Да я зна-аю, – сказал отец. – И наплевать! Его план мне подпишет архитектор, раз план будет стоить... И за работами глядеть тоже архитектор будет. А вот хочу я, чтобы по его, по его плану дом стоял. Верю я ему. А вы не обижайтесь... Вы ведь не согласитесь подписать его план и строить...

Тут вышло совсем нехорошо. Иван Михайлович поднялся, гордым взглядом смерил нас всех и сказал...

– Я строю только по своим, по своим планам, а не по чужим... Честь имею кланяться.

Он подчеркнул это и вышел с достоинством, забыв шляпу и портфель. Уже горничная пришла за ними. Василий Сергеич сидел, опустив голову.

– Чего нос повесил? – сказал отец. – Наплевать!..

– Обиделись они...

– Я его не обижал. Я сказал правду. Разве я тебе не обещал? А что я обещаю, я, брат, сдерживаю. Разве меня Иван Михайлович выручил? Он бы сорвал с меня вдесятеро и сунул бы старье! Ну, идем в кабинет, надо рассчитаться...

– А вот мои чертежи-то... – с беспокойством в голосе заговорил Василий Сергеич. – Они у них остались...

– Ладно, я пошлю за ними. Значит, строить будем, а? – хлопнул он по плечу Василия Сергеича. – Хороший, доходный дом? А?

– Я, собственно, могу по внешности изобразить... а вот для дохода-то...

– А мы помощника найдем... Он нам все это и обмозгует.

На следующий день у нас был торжественный обед по случаю успеха. В зале был накрыт огромный стол, в сенях дворник Степан вертел во льду мороженое и сердился, на стеклянную галерею пришли четверо музыкантов и приготавливались к концерту. Они поставили к стенке свои четыре огромных медных трубы и, по случаю жары, принялись обрабатывать приготовленную для них корзину с пивом и медом. Они так ловко управлялись с ней, что Степан сказал, что им впору только на бутылках играть. По всему дому ходили синие волны угарного чада, напущенные приглашенным из трактира басистым поваром, который обещал всем показать, как надо – черт возьми! – готовить слоеные пирожки с ливером. Он переколотил на кухне все горшки и обозвал хозяев кашниками, которые не понимают, что только на плите и в медной посуде можно приготовить что-нибудь путное. Он так меня напугал своим басом, огромным ножом и белым одеянием, что я с тех пор чувствую жуть к поварам, мясникам и, вообще, лицам с грубым голосом и воинственными наклонностями.

Мы с Васькой, пользуясь суматохой и веселым настроением музыкантов, таскали трубы и гудели в них. При нас Степан сообщил главному трубачу с припухшей щекой, что «обязательно будет медаль за хорошую люминацию», и просил «жарить вовсю». Они обещались и просили добавить холодненького по случаю жары.

Отец был в самом прекрасном настроении, ходил по комнатам и посвистывал, поджидая гостей. Наконец, стали собираться и гости. Приехал на своем сером в шарабане торговец лесом, толстый, огромного роста человек, с заплывшими жиром глазами и белыми ресницами, говоривший пискливым голосом. Был еще заводчик, похожий на цыгана и в высоких сапогах, кутивший трубку. Было много подрядчиков в длиннополых сюртуках и даже в чуйках, от которых пахло немножко дегтем, немножко черемуховым мылом. Были барыни в наколках и платьях со сборочками, шумливых, как гремучие змеи. Были старушки в темных турецких шальях и широко расходившихся юбках, очень похожих на муравьиные кучи. В этот торжественный день присутствовала вся родня и знакомые. Даже прабабушка выбралась из затвора и сидела в гостинной, перебирая рубчики лестовки. Не было только Василия Сергеича. Отец нетерпеливо поглядывал в окно, гости чаще и чаще косились на стол с закусками и побрякивали, чувствуя приближение приятного часа.

Музыканты давали о себе знать отрывистыми звуками трубы, а главного лица все еще не было.

На лестницах стояли люди со двора, привлеченные трубными звуками. Я провел Ваську в переднюю, и он спрятался за дверь, рядом с половой щеткой, и, вообще, устроился очень удобно. За пазухой у него было порядком всякого добра – закусок, куриных лапок и пирожков. Я с удовольствием слушал, как он причмокивал, а причмокивал он так сочно, что прабабушка очень обеспокоилась и просила прогнать собаку, которая, будто бы, сидит под диваном и чавкает. Ей всегда чудилось, что в комнату забралась собака.

Наконец, гости не выдержали, и первым подошел к столу торговец лесом и поздравил с благополучным успехом и с пропечатанием в ведомостях.

– Уж теперь вы гордые станете... как вам такая слава вышла... – начала одна из барынь в гремучем платье.

– И нас-то уж, пляди, знать не будете... – добавила другая.

И тут все гремучие и негремучие начали перебирать родных и знакомых, которые возгордились по разным причинам и забыли их. Тут я услышал и о каком-то Сидоре Поликарпыче, который выиграл на какой-то билет сорок тысяч и стал ходить в цилиндрах; о каком-то племяннике, который до того заучился, что даже и не кланяется на улице родной тетке. Началась обычная «язычная канитель», как говорил отец.

– И уж так-то, матушка, боюсь я этих ведомостей... так боюсь... – всплескивая руками, говорила одна старушка в турецкой шали, от которой пахло нафталином. – Как пропечатали, что у нас чулан обокрали, так все и начало мерещиться... Жулики и жулики... И ведь что же! К Успеньеву дню у моей Глашеньки всю как ни на есть сбрую из каретного сарая унесли... Не люблю я эти ведомости... ну их...

Дядин приказчик и кучер были приставлены для порядка. Они распространяли такое сияние от начищенных сапог и умощенных голов, что глазам становилось больно, а пронзительный скрип подметок резал ухо. Василий Васильич заведовал всем и отдавал распоряжения, как капитан парохода. Он загонял и горничную, и кучера, и Степана, который почему-то уже не мог говорить, а сидел в сенях и упрашивал музыкантов:

– Жжжжжжжж... вве-се...лей...

– Идет! – сказал отец, глядевший в окно. – Наконец-то!

Явился Василий Сергеич. Он явился на этот раз в новом сереньком пиджачке и новых, полосками, брюках, но в прежнем котелке. Он даже повязал себе какой-то необыкновенно большой, в виде банта, голубой галстук с белым горошком. От этого галстука лицо его казалось бледнее обыкновенного.

Он вошел сильно сконфуженный устремленными на него взглядами гостей.

– Вот он, герой! – встретил его отец. – Что так поздно? Семеро одного не ждут... хе-хе...

Василий Сергеич сделал общий поклон.

– Простите великодушно... опоздал-с... по семейному делу... – говорил Василий Сергеич, комкая носовой платок и покашливая. – Племянница моя, Настенька... заболела...

– А что такое? Это она-то у тебя с золотой медалью кончает курс? – нарочно громко спросил отец, думается мне, для того, чтобы все узнали об этом и чтобы сделать Василию Сергеичу приятное.

Лицо Василия Сергеича изобразило печаль.

– Так точно-с... кончила с медалью... – тихо сказал он, смотря на пол... – Получила-с...

– А-а... и захворала? – рассеянно спрашивал отец, осматривая стол и что-то подсчитывая, не слушая, что говорит Василий Сергеич.

А он говорил:

– Больную... из гимназии... в слезах... подруга обидела.

– Ну, за стол, господа. Прошу покорно! – провозгласил отец. – Василий Сергеич... сюда, напротив.

Обед начался. Музыканты рявкнули в трубы так неистово, что прабабушка затрясла головой и зажала уши. А рявкнули они не что иное, как «По улице мостовой».

После супа отец приказал разлить шампанское, что Василий Васильич выполнил, как настоящий официант, завернув бутылку в салфетку. Разлил и стал в дверях, вытянув голову, – очевидно, чего-то выжидал.

Отец встал и провозгласил тост за здоровье Василия Сергеича и за его успех.

Дядин приказчик взмахнул руками, и в сенях так ударили трубы «Ах, вы сени, мои сени!», точно сорвались с цепей дикие звери. Гости закричали ура.

Василий Сергеич поднялся бледный, держа в единственной руке бокал шампанского, из которого плескалось вино на скатерть.

– Тсс! Тише! – крикнул отец. – Музыка замолчать! Трубы по взмаху рук дядина приказчика смолкли с ворчаньем.

По лицу Василия Сергеича было заметно, что он хочет что-то сказать.

– Покорнейше и чувствительнейше вас... – начал он взволнованным голосом, в котором мне слышались слезы.

Но тут случилось... Тут случилось то, при воспоминании о чем у меня и до сего дня болью тяжелой сжимается сердце и негодование бьется в груди. И не знаешь, кого винить: случай ли, или нечуткие сердца... Но кипит возмущение... Значит, какой же тут случай?

Только что Василий Сергеич произнес – «покорнейше вас», как раздался испуганный голос горничной:

– Батюшки! Рваного-то барина я облила!..

Это слово – рваный барин, произнесенное здесь, в зале, среди массы гостей, в этот самый теплый момент, быть может, самый светлый момент скорбных дней Василия Сергеича, – ударило меня, как хлыстом по лицу. Но что было еще ужасней, – так это раздавшийся вдруг взрыв, настоящий взрыв хохота. Толстый лесник, закрыв глазки и ухватившись за грудь, давился от свистящего хохота. Заводчик ухал, как в бочку. Хохотали чуйки, длиннополые сюртуки, шали и гремучие барыни смеялись с визгом. Хохот заражал, стихал и снова подымался, перекатываясь под потолком. Звенели стеклянные подвески люстр. Давились и хохотали.

Горничная разносила за рыбой красный соус, высоко подняв его. Суетливый дядин приказчик случайно толкнул ее под руку, и соус опрокинулся прямо на новый пиджачок Василия Сергеича. И потек, потек алыми струйками.

Чему смеялись? Быть может, и не над Василием Сергеичем смеялись, а над растерявшейся и оробевшей горничной. Но плотные люди хохотали до слез, до удушья, до колик под ребрами. А Василий Сергеич стоял белый, с трясущимися губами. Он расплескал свой бокал и обводил растерянным и как бы плачущим взглядом всех. Но

это был только момент. Точно он понял что-то, чего он не понимал только что, и потому так растерянно смотрел. И поняв, он опустил голову, точно упал, точно пришибло его. Уронил голову на тарелку, и затряслись, и заходили углами выдававшиеся его плечи... облитые красным соусом. Горничная отирала их салфеткой, размазывая еще больше.

Хохот стих, и теперь только трубы в сенях взывали порывами. Отец подымал Василия Сергеича за плечи.

– Голубчик... Да что ты... Дура так сказала... а ты...

И вдруг писклявый голос лесника, что-то жующего, пронизал тишину:

– Ну, что там... Мы тебе справим пинжачок! Не отчаивайся.

Это была вторая пощечина. Да, я и тогда понял, что это была пощечина, данная бессознательно грубой рукой, не ведавшей, что она совершает. Этот толстый пискун, торговавший лесом и отдувавшийся от сытного обеда, говорил о «пинжачке», мог понять обиду только в испорченном пиджаке.

Показалось ли всем, что лесник сказал глупость, или его писклявый голос в эту тяжелую минуту показался смешным, но хохот родился снова. Черный заводчик приложил руку к груди и трясся, отмахиваясь другой рукой от лесника. Его перекошенный рот двигался, захватывая воздух, и щурились в смехе глаза. Не зная, что предпринять, Василий Васильевич взмахнул руками, и музыканты ударили: «Ах, вы сени, мои сени!»

Да, это был ад, это был какой-то обед сумасшедших.

Я смотрел на Василия Сергеича. Его поднимал отец за плечи, а он укрывался своей единственной рукой. Его голова тряслась, маленькая лысая голова.

– Пустяки... пустяки... голубчик... по глупости... – уговаривал отец.

Он, наконец, поднял Василия Сергеича и стал отирать его пиджачок. И тут случилось самое знаменательное, чего я никогда не забуду. Василий Сергеич выпрямился. Он выпятил впалую грудь свою, и все черты его худого лица словно натянулись и стали строги и величавы.

– Смейтесь! – крикнул он не своим голосом и с силой Ударил себя в грудь. – Привык!.. Смейтесь!..

Он вытянул руку, словно хотел показать, что она одна у него. Он трясся и кашлял. И то, что случилось с ним на площади, у «орла», случилось и здесь.

– Воды! – закричал отец.

Рот Василия Сергеича кто-то закрыл салфеткой. Кто-то подхватил Василия Сергеича под плечи. Василий Васильич суетился около со стаканом воды. А из сеней гремели трубы.

По знаку отца дядин приказчик подхватил Василия Сергеича под мышки и повел. Не повел, а поволок. Я видел, как волоклись его ноги, оставляя на воощенном полу темные полосы. Я видел, как его серенькие с полосками брюки под-дернулись кверху, и рыжие голенища сапог показывали темные дыры на швах. Все поднялись с мест, загремели стулья, загудели голоса.

Василия Сергеича отвели в столовую и положили на диван. Подсунули под голову подушку, давали нюхать спирт, спустили шторы. Потом вышли и притворили дверь. Когда я проходил коридором, Васька высунул голову из-за двери и дернул меня за рукав. На его лице был испуг.

– Что это, а? – спрашивал он тревожно.

– Ты еще, дурак, забрался! – крикнул позади меня голос. – Тут тебе место?

И не дожидаясь ответа, и не слушая меня, дядин приказчик вытащил испугавшегося Ваську за рукав и вытолкнул в сени.

Прерванный обед продолжался. Но это был уже не веселый и не торжественный обед. Говорили мало, отец был расстроен. Лесник, было, предложил собрать для Василия Сергеича на костюм, но отец стал горячо говорить, что обидели человека.

– Да разве я его обижал? – возражал лесник. – Я по душе сказал.

– Все гордость наша... – говорила какая-то барыня в косынке и палевом шумящем платье. – Приглашен на обед, в хорошую компанию... Другой бы должен благодарить за такое внимание, а тут...

Музыканты по знаку Василия Васильича начали играть марш, но отец крикнул, чтобы замолчали. Ели мороженое, хлопали пробки, снова и снова поздравляли с успехом...

Я воспользовался минутой, выбрался из-за стола и пробрался в столовую. В комнате был желтоватый полусвет от опущенных

соломенных штор. Я стоял и всматривался.

Слышал, как тяжело дышал Василий Сергеич. Его рука свесилась с дивана. На белой подушке выявлялось сероватое лицо. Я смотрел, чувствуя, как сжимается сердце и ноет, ноет. Ближе и ближе подвигался я на цыпочках: меня тянуло к себе это помертвевшее серое лицо. Свесившаяся рука почему-то беспокоила меня. Я подошел вплотную и заглянул в лицо. Горечь и беспомощность видел я в нем. Плохо выбритое лицо, реденькая бородка клинушкой. Подбородок уперся в голубой помятый галстук...

Я опять взглянул на беспокоившую меня свесившуюся руку, хотел нагнуться и поправить ее. Скрипнул пол, и Василий Сергеич открыл глаза. В упор глядел на меня непонимающим взглядом. Я попятился. Он вдруг сморщился, вздохнул, поднял руку и поманил. Я приблизился.

– Мальчик... – едва слышно сказал он. – Друг...

– Да, да... – пробормотал я растерянно.

– Шляпа... моя... тут... Тут где-то...

Он приподнялся на диване и сел, осматривая свои сапоги. Стряхнул какой-то приставший к рукаву кусочек. Покрутил головой.

– Принеси шляпу... – шепотом сказал он, оглядываясь на дверь. – Пожалуйста, никому... никому не говори... Мне домой надо...

Шляпа оказалась в передней. Никому не говоря, может быть, чувствуя, что так лучше, я принес ее.

– Спасибо, мальчик...

Он поднялся с дивана и надел котелок. Постоял, что-то соображая.

– Кажется, сюда... по черному ходу? – спросил он, показывая на дверь к черной передней.

Он знал этот ход. Еще недавно он входил сюда и сидел в этой столовой. Тогда была темная ночь, горела свеча... Тогда было лучше...

– Да, вот в эту дверь и вниз по лестнице... – сказал я.

– Спасибо. Ну, прощай, мальчик...

Он погладил меня по голове и посмотрел в глаза.

– Ты чего плачешь? – спросил он, нагибаясь ко мне.

Я не мог сказать. Как через сетку, видел я его худую фигуру и бледное лицо.

– Не надо, не надо так...

Тогда, видя, что он выходит в переднюю, я нашел силы выговорить:

– Там, в саду... чай накрыт...

Хотел сказать о клубнике, сочной и крупной ранней клубнике, которую отец привез из магазина.

– Скажи там... – показал Василий Сергеич на комнаты, – что... рва-ный ба-рин... благодарит... рва... рванный барин...

Он печально посмотрел мне в лицо и махнул рукой.

– Ничего не говори! – отрывисто сказал он. – Не надо.

И в этот момент мне передалась вся горечь его слов. Передалась вся боль его, выношенная годами, не оставившая его в самую лучшую минуту его жизни, в минуту его торжества.

Он ушел. А я отправился в зал и не мог удержаться: я все передал отцу.

– Ты его упустил?! – крикнул он.

Он выбежал в переднюю и распорядился:

– Сейчас же догнать и вернуть Василия Сергеича!

Минут через десять явился дворник и как-то спутанно доложил, что Василия Сергеича он не мог догнать, потому что нигде его не видно, и неизвестно, где его можно найти. Отец махнул рукой.

Гости еще долго пили чай в саду. В сенях музыкантам поставили стол, навалили пирогов и разных остатков, и началось угощение. Заведовал Василий Васильич. Пришел и повар из кухни и рассказывал, что так потрафить, как он, никто не может. А дворник Степан сидел поодаль и рассуждал сам с собой:

– Да-а... рванный... барин... Вытолкали в шею, а... я лови... А где его... возьмешь? Неизвестно... А нам, братцы... медаль дадут за люминацию... а ты тут... лови... а куда ушел, нам неизвестно...

XII

Утром на другой день отец приказал заложить шарабан, позвал Василия Васильича и спросил, где живет Василий Сергеич. Должно быть, он собирался ехать к нему. Он уже оделся и хотел выходить, как раздался тихий звонок, и горничная доложила, что какая-то незнакомая барышня спрашивает отца.

Я со дня на день ожидал, что меня приструнят и пригласят учительницу французского языка, и потому решил, что эта барышня и есть учительница. Сейчас же отправился в гостиную и через портьеру заглянул в зал.

Совсем еще девочка, в форменном коричневом платье и соломенной с ленточкой шляпке, сидела в передней у зеркала. Ей было, по-моему, не более шестнадцати лет. Она была бледненькая и худенькая, с большими голубыми глазами. Чудные глаза! Как кусочки неба, высматривали они из-за темных ресниц. Так робко сидела она, точно боялась чего-то. В руках у ней было письмо. Из коридора в переднюю прошел отец. Он попросил барышню войти в зал и спросил, что ей угодно.

Она поспешно встала, сделала реверанс и покраснела.

– Я – племянница Василия Сергеевича, – сказала она, протягивая письмо. – Вот письмо вам...

Так вот это кто был! Вот она, Настенька, получившая золотую медаль!

– Очень, очень рад... Пожалуйста, присядьте... Я сейчас...

Он отошел к окну и стал читать письмо. Несколько раз передернул плечом.

– Чудак! – сказал он. – А я только собирался к нему... Гм... Что же он, лежит?

– Да, он болен... Кровохарканье... Он уже давно болен... – грустно сказала барышня.

– Гм... Мне очень досадно, что все так вышло... – сказал отец, точно извинялся. – Но я сам заеду... Вышло так случайно... народ у нас необразованный... Ну, немного грубо вышло...

Барышня с недоумением смотрела на отца.

– Что вышло? – едва слышно спросила она. Отец скомкал письмо и сунул в карман.

– Разве он вам не сказал? – спросил он. – Не обида тут, а, скорее, невежество...

– Его обидели? Дядю обидели?..

Ее личико еще более побледнело, и глаза стали еще больше и потемнели. Она была так хороша в эту минуту, так хороша! Ее робость пропала. Она стояла прямо против отца, глядела ему прямо в глаза и как бы с упреком и болью спрашивала:

– Обидели! Дядю? Но за что, за что его обидели?! Он...

Она сжимала свои маленькие ручки, она дрожала, она плакала.

Отец растерялся. Он пожимал плечами, осматривался, хотел что-то сказать и путался. А она закрыла руками лицо, и тонкие плечики ее с приколотым к ним черным передником вздрагивали.

– Вы... вы ничего, барышня... гм... – растерянно повторял отец, щелкая пальцами. – Все обойдется... ничего... Я его люблю... он хороший... Знаете, наше невежество, народ необразованный... Мы его подыдем... возьмем доктора...

Барышня пересилила себя. Она отняла от лица руки, и я увидел чудные, чистые глаза. Детские глаза.

– Он... он всю жизнь отдал нам... все отдал...

– Успокойтесь, успокойтесь... – взволнованно повторял отец.

– Да, да... – говорила она, конфузясь за свои слезы и растерянность. – Ничего, благодарю вас... Я пойду... Он сказал... дядя сказал, чтобы я взяла его чертежи. У него чертежи есть... синие листы... Дайте, пожалуйста... они очень нужны ему...

– Да, да... Он тут пишет. Но их нет сейчас...

– Нет? Где же они? Как же быть... Как же мне сказать?... – лепетала она растерянно. – А мне нужно... дядя так волнуется... Он не спал всю ночь... писал письмо... Господи, но что же делать!.. Он не уснет, он не может спать... а когда он не спит, он всегда их смотрит...

– Даю вам слово, что я завтра же, сегодня же привезу их. Они у одного архитектора...

– Простите, я пойду... Господи, Господи...

Она говорила, должно быть, уже не соображая, что говорит. И когда уходила, вытащила из кармана платочек и спрятала в него лицо. Я из окна гостиной видел, как она вышла из ворот все с тем же платочком у лица, шла быстро, почти бежала. Ее толкнул кто-то, но она шла, шла, не видя куда.

– Чудак!.. – услышал я и обернулся.

Отец стоял у окна в зале и читал смятое письмо. Читал и качал головой. Потом долго бродил по залу, посвистывая, и качал головой. Я знал его хорошо: он волновался. Потом ушел в кабинет, вышел минут через пять с запиской и приказал отнести ее Ивану Михайловичу.

Смятое письмо! Оно уцелело. Через много лет нашел я его в бумагах отца. Вот оно, пожелтевшее, этот измятый листок с витиеватыми прыгающими буквами. Много лет прошло, а оно живет и томит, ибо в нем часть больной человеческой души...

«Глубокопочитаемый и достоуважаемый...

Не примите за непочтение к Вашей многоуважаемой особе и другим почетным лицам гостей Ваших, что я в оный день торжества и праздника по случаю окончания работ, будучи приглашен на чай и обеденный стол, омрачил сие торжественное собрание горечью своего существования и скорбью души. Прервав мирное торжество неурочным и поздним появлением в непривлекательном и, быть может, даже неприятном для взоров избранной публики костюме, я навлек на себя осмеяние со стороны прислуги и подал повод к осмеянию со стороны гостей Ваших. Всему, значит, виноват мой костюм. И не сочтите за гордость, что внезапно покинул обеденный стол и ушел без благодарности за оный. А ушел я от стыда, ибо, как сказано в Писании, явился во одежде небрачной. Хоть, конечно, и есть пословица, что „шкура овечья, а душа-то человечья“, но есть еще и другая пословица: „не лезь с рылом немытым в калашный ряд“. Сам бы явился принести извинение, но сейчас лежу в болезненном состоянии от грудной болезни и ослаб. И посему письмо сие вручит Вам моя родная племянница Настя, окончившая полный курс наук в гимназии с первой золотой медалью, которую, прошу, не осудите, ежели она явится в старом и даже кое-где заштопанном платье, за что она уже и понесла горькую обиду даже в стенах гимназии от подруги своей, получив в злую минуту во всеуслышанье обидное прозвище – оборванка! И все по злобе, что моей заштопанной Настеньке, а не ее изукрашенной материями подруге присуждена первая золотая медаль! И сие произошло как раз в тот самый торжественный день, когда я запоздал на торжество. А оттого запоздал я, что привез мою Настеньку в болезненном состоянии швейцар из гимназии на извозчике. И вот мы, стало быть, с ней оба оборванцы! Но что делать, если почти у всех людей по две руки, а у меня только одна! И остается мне единое утешение и извинение моему скорбному виду, что при неосторожном обращении моем с костюмом, на коем (старом) много пятен и дыр, я елико возможно старался обходиться осторожно со своей внутренней одеждой, а именно – душой и сердцем и руками, на

которые не допускал класть пятен во всю свою жизнь! И горько мне, помимо всего прочего, что не найду времени и сил исполнить план жизни и соорудить и показать свой храм всесветный, который изобразил, как сил хватило, на чертежах и ношу в сердце. Не суждено мне, ибо при моем необразовании у меня болезнь и бедность и никого нет. И прошу вас, пришлите мои чертежи, ради Бога пришлите! Сердце болит. Пришлите чертежи! Поскорей пришлите чертежи! Я буду смотреть на них и плакать радостными слезами. В последние дни посмотрю на них. Пусть они ничего не стоят, пришлите! И прошу прощения, ежели обидел. И благодарю, ибо вы первый доверились мне в крайнюю минуту в ответственном деле, и я рад, что хоть это неважное Господь Бог и мои силы допустили мне выполнить все честно и благородно даже до хвалы в ведомостях. Пришлите чертежи! За сим желаю Вам доброго здоровья и успеха в делах Ваших и всему семейству Вашему всякого благополучия. Ваш всепокорнейший слуга, не имеющий чина и звания Василий Сергеев Коромыслов».

Вот смотрю я на это письмо, вдумываюсь в смысл этих витиеватых и все же из сердца вырванных строк... Боль и горечь и сознание своей беспомощности и правоты, и сознание забитой светлой силы своей вырвали их. Смотрю, вдумываюсь и чую слезы. Незримые, неискупленные. А-а... много их, этих незримых и неискупленных... Грустно, грустно.

Скоро вернулся посланный к архитектору дворник и доложил:

– Так что, сказывают, уехали на постройку куда-то далеко на неделю... А без них прислуга не может... И все у них на ключе в квартире...

Отец махнул рукой и приказал подавать лошадь.

XIII

Близится конец этой истории...

Должно быть, отец был у Василия Сергеича. Помню, в день появления Настеньки он ездил куда-то и вернулся расстроенный. Он долго ходил по залу и насвистывал. Письмо ли расстроило его или другое что, – не знаю. Вечером он вызвал к себе в кабинет своего старого приказчика Ефимыча, долго о чем-то толковал, звенел замком

чугунного сундука и, провожая Ефимыча до черной передней, наказывал:

– Помни! Аккуратно, число в число. Будет спрашивать, – ни слова – от кого. Понимаешь?

– Понимаю-с... Будьте покойны... – как всегда, отвечал неразговорчивый Ефимыч.

Уже долго спустя, просматривая расходные книги отца, я натолкнулся на следующую запись: «Бедному семейству В. С. (у Ефимыча ведется запись. Потом включить!)»

Милая книжка! Я счастлив, что у моего простого отца была такая книжка. Потом включить! Да, он любил точный счет.

Недели через две к нам приехал наш постоянный доктор, хотя за ним и не посылали. Этот хмурый и важный доктор, говоривший больше отрывистыми звуками и жестами, на этот раз был более разговорчив. Стоя в передней и не снимая пальто, он постукивал палкой в пол и хрипел:

– Чего, собственно, мне ездить? Не стоит. Я не люблю золотить пилюли... Поздно... У него тут... – доктор показал на грудь, – давно пусто... Какой толк от моих визитов?

– Значит... того? – сказал вопросительно отец.

– Угу! – прохрипел доктор и стукнул в пол палкой. – Вопрос нескольких дней... А, знаете, этот ваш больной... личность оригинальная!

– А что? – спросил отец.

– Засиделся я как-то у него... Так он мне такой план развил, замечательно оригинальный план! Прямо, знаете, тонкий план! Про какой-то огромный храм... он его все собирает нарисовать... Ах ты... батюшки, время-то!.. – он вынул часы, – а мне надо... Я вам как-нибудь после... – заторопился доктор. – Очень оригинальный план...

– Да, да... я знаю... – сказал отец.

– Да, да... Не правда ли?

И доктор, сунув что-то в карман, ушел торопливо.

Я знал, что Василий Сергеич умирает. Чем, собственно, он для меня был и почему так вошел в мое сердце? Ну, теперь, когда я в состоянии оценить эту угасшую так грустно личность, еще можно объяснить мой интерес к ней, ибо теперь в моих руках письмо,

чертежи и прошлое. А тогда? И я часто раздумываю: чем он мог так прочно врасти в мое сердце?

Чутко детское сердце! И это сердце учуяло страдание, уловило по взглядам, по тону голоса, по тысячам мелочей, по положениям и событиям жизни это страдание. Человек страдает! Добрый и тихий человек. Это страдание пядело на меня и с балаганных подмостков и звучало так ясно в тот памятный вечер, когда горела свеча, и человек, старый человек, плакал... Тогда маленькое сердце отозвалось и заняло.

И после, когда в гулких сенях гремели трубы, а облитый и осмеянный человек, слабый, однорукий, тряся и обводил всех непонимающим, растерянным взглядом... И кричал болью своею:

– Смейтесь!

И после в полуосвещенной столовой просил помочь ему... уйти, чтобы не возвращаться...

Это страдание, это угнетение человека почуяло маленькое сердце, почуяло и положило на дно свое. И несет его и будет нести...

Итак, я немного уклонился.

Да, я знал, что Василий Сергеич умирает. В доме у нас никто не говорил об этом, отец ездил по своим делам, вечерами иногда бродил по залу и насвистывал, что обозначало, что он чем-то расстроен, но я ежечасно думал, что Василий Сергеич умирает. Стоило мне показаться во дворе, как все ярко вставало в памяти. У садового забора большой грудой были сложены перекореженные иллюминационные щиты. «Орел», тот гордый, величественный и славный «орел», который так недавно красовался на площади, был разбит на брусья и планки, и дворник с кучером пилили их на дрова. Мы с Васькой помогали вытаскивать части из груды и старались отгадывать, какая планочка что изображала.

Мы видели пятна краски, те мазки, которые при освещении и в целом давали впечатление жизни. Теперь все это расплылось на дожде, было не нужно и отвратительно. Мы разыскали остатки клюва, глаза, перья. Все было мертво, плоско. Жизнь, которую сумел вдунуть в эти куски художник, расплылась. Тут же валялись и колосья, и васильки. И было грустно. Прошло утро, когда ерзали сочно по дереву рубанки, суетился человек с аршином, и в душе нарастало ожидание чего-то чудесного. Прошло чудесное и не придет больше...

Я сообщил Ваське, что Василий Сергеич умирает. Он, открыв широко глаза, смотрел на меня. Он, как будто, не верил. Хотел что-то сказать и издал горлом неопределенный звук.

– С чего? – спросил он.

– Тут у него пусто... – показал я на грудь. – Доктор сказал.

Васька не стал спрашивать. Быстро-быстро завертелся на одной ноге, долго вертелся... Потом остановился и сказал:

– А помнишь, как его собаки грызли?

Мы сидели на остатках «орла», «мельницы», «снопов», слушали жужжанье пилы и вспоминали:

– А помнишь?... А помнишь?..

Он больше уже не приходил к нам. Но раза два приходила она, бледная девушка с голубыми глазами. Она так же конфузилась, делала реверанс и мяла платочек. И опять она просила о чертежах. Говоря о здоровье дяди, она плакала, опускала глаза, торопилась уйти... Сбивчиво передавала она, что дядя не спит ночи... Отец дергал плечом, говорил, что сам раза два заезжал к архитектору, что чертежи найдутся, что архитектор еще не приезжал. И она уходила, торопливо прикладывая к глазам комочек платка.

Ее появления оставляли невыразимую грусть. Отец всякий раз немедленно посылал дворника, слышал ответ, что архитектор уехал, что его нет дома, что он сам завезет что нужно. Потом ходил по залу и кого-то бранил мошенником. Провожая бледную девушку в последний ее приход, он сказал:

– Что случится, сейчас же уведомяте...

Она только кивнула.

Дня через два после этого, когда мы сидели за вечерним чаем, принесли телеграмму. Прислал доктор. Отец вскрыл ее, взглянул и перекрестился.

– Царство небесное... Помер наш «рваный барин»...

И грустно-грустно покачал головой.

Я замер. Я не заплакал, а как-то затих. Пошел в детскую, подошел к киоту, где у меня была одна маленькая-маленькая вещичка, к которой я приходил всегда, когда мне было тяжело, когда посещало меня горе. Это было небольшое сахарное яичко, подарок няни. Оно висело за стеклом киота. Знаешь, эти дешевенькие сахарные яички со стеклышком... За розовыми, синими и белыми цветочками

бессмертника и зелеными волокнами мха виднелась в глубине картинка Спасителя, с белым знаменем поднявшегося из гроба. Странно, но всегда от этого сахарного яичка на меня изливалась умиротворяющая грусть, какой-то чарующий покой душевный. Помню, когда няня дарила мне это яичко, на Пасхе, она сказала, что если смотреть в стеклышко, так там живого ангелочка можно увидеть... И я подолгу смотрел, и казалось мне, что я вижу там, за цветами, что-то живое... И радостно было у меня на душе...

И постепенно привык я в минуты детского горя приходить к киоту и смотреть. Чудесная панорама! А какие цветы! Зимой они были особенно красивы... Тогда эта чудесная панорама была для меня полна жизни и какой-то неизъяснимой, радостной красоты. Да и теперь... И теперь я часто останавливаюсь у маленьких лавочек и стараюсь найти мое яичко. И нахожу похожие... И тогда светлая волна набегаёт на меня и несёт маленькие розовые картинки детства...

И вот я стоял у киота и смотрел, смотрел за стеклышко. И ничего не видел. Слезы наполняли глаза. Я плотал их, я старался найти то, что я всегда находил у киота, – грустный покой... И я нашел его.

– ...Теперь смерти нет, батюшка, – говорила когда-то мне няня, даря яичко. – Смертью смерть поправ...

Это вспомнилось мне тогда, и я старался прогнать мысль о смерти. Сделать так, чтобы не думать, что Василий Сергеич умер. И казалось мне, что я добился этого. Я уснул с умиротворенным сердцем.

Я не был на похоронах, но знаю я, где нашел себе последнее место Василий Сергеич.

В праздник освящения плодов был я с отцом в ближнем монастыре, где за стенами покоятся мои близкие. Там пышно разрослись яблочные сады бок о бок с могилами, увенчанными крестами и памятниками. Там много часовен, гранитных глыб и надгробий. Там много успокоившихся.

– Пройдем-ка сюда... – сказал мне отец.

– Куда?

И он повел меня в глубь монастырского кладбища. Отступили глыбы и величавые памятники. У самой задней стены, под вербой, на свеженасыпанном бугорке стоял железный крест, сделанный под березу. На нем жестяной свиток.

– Вот где теперь он, наш архитектор... – сказал отец. – Не забыл?
И прочел я на жестяном свитке:

«...Не имеющий чина и звания архитектор Василий Сергееч Коромыслов».

И еще ниже, славянской вязью: «Блаженни есте, егда поносят вас»...

XIV

А больше и рассказывать нечего...

Да, ты спрашиваешь про чертежи... И про бледную девушку с голубыми глазами... Ну, тут уже нет сложных и трогательных событий. Скучна и монотонна жизнь, и многое идет в ней своей незаметной чередой.

Осенью того же года зашла к нам Настенька. Она пришла проститься. Но это была уже не та растерянная девочка, куда-то спешившая, комкавшая платочек, как было недавно. Она не делала реверансов, не путалась в словах, не одергивала черного передника. Стройная и покойная, с теми же прекрасными глазами, она просто и уверенно пожала руку отца, сказала: «Благодарю, благодарю вас за все», и еще раз пожала руку. В ней чувствовалась мне какая-то покойная сила. Она сказала, что получает место учительницы где-то далеко, что она теперь устроилась, что Миша поедет с ней...

Она погладила меня по стриженной голове и потрепала по щеке. Отец сам проводил ее до двери и сказал:

– Все-таки напишите, если что...

Не знаю, писала ли она. Больше я ее не встречал и ничего о ней не знаю. А помню ее хорошо, особенно ее большие глаза, в которые были, как будто, вправлены кусочки неба. А Мишука мне так и не довелось увидеть...

А чертежи... Они отыскались... года через два. И привез их почтеннейший Иван Михайлович. Он опять сошелся с отцом, строил ему дом, по-прежнему заходил к нам, по-прежнему жирно смеялся и дымил сигарой. А растолстел он еще больше.

Оказывается, чертежи эти завалились у него... за шкаф! А он, видишь ли, так и не догадался туда заглянуть... два года. Все перерыл

в доме, а за шкап-то, черт возьми, и невдомек было заглянуть! И смеялся же он над своей недогадливостью! Весело смеялся.

Конечно, это грустно... Но что особенно грустно, так это то, что та бледная девушка тоже о них забыла...

Прошло много лет. Я вышел в жизнь. Отца давно уже не было в живых. В груди деловых бумаг, расчетных и приходо-расходных книг нашел я эти синие листы и это измятое письмо. Как пламя пожара в темной ночи освещает всю округу, как солнце днем, так эти остатки прошлого сорвали серые покровы годов, – и встало предо мной далекое...

И подумал я, что эти листы, быть может, явятся приветом издалека, последним «здравствуй и прости» из мира нездешнего для тех, кто связан был с творцом их узами крови. Я сделал публикацию в газетах. Никто не отозвался. Может быть, уже нет милой бледной девушки с голубыми глазами... А может быть... забыли?.. Нет, нет... Должно быть, публикация не попала на глаза. А может быть и откликнется кто...

Ты, мой друг, часто блуждаешь из конца в конец родной страны. Ты, быть может, встретишь ее, эту милую бледную девушку... Ее легко узнать. У нее такие глаза, ну... как кусочки неба... Скажи ей, что... Нет, не надо. Пусть лежат они у меня, эти синие листы... Я люблю их, они для меня святы... Глядит на меня с этих листов оборванный человек, расхаживавший по балаганным подмосткам и получавший балаганные пощечины, и не только балаганные... неведомый, не имевший чина и звания художник. Он бродил, долго и мучительно бродил и не вышел на торную дорогу. Но он лелеял в душе огромное, какой-то неведомый храм всесветный. Он молился в нем и плакал в мечтах о нем, хотел бы собрать туда, в этот свой храм, всех, всех, и таких же, как он, огрызков жизни, и иных... Всех. В этом храме не было бы места слезам.

Да, какой-то чудесный храм носил он в чутком сердце своем и не мог рассказать и бросил на бумагу лишь остов, слабую тень. А душу храма унес с собою...

Смотрю на эти листы и строки, и скорбные и розовые волнения из нежного детства движутся на меня тихой волной. И дорогие светлые лица встают, отошедшие... И бледное личико девушки с заплаканными газами, глубокими и голубыми, как небеса...

Что? Я плачу? Нет, это так... прошло...

Приложение к рассказу «Рваный барин»

«Наполеон»

(Рассказ моего друга)

Были святки. Мой закадычный друг Васька с нашего двора давно подбивал меня побывать в балаганах «под Девичьим».

– Огромное место там, пустое, – рассказывал он мне с жаром, – и все там балаганы, и черти выскакивают, и пушки грохают... вот ей-Богу!

И дворник наш тоже побожился, что «бывает, что и чертей показывают... всякие там кеатры!»

Меня выпустили гулять на двор, и я ускользнул с Васькой «под Девичье». Был у меня всего двугривенный. Мы его разменяли по дороге на стрючки и сахарных петушков, а когда добежали до гулянья, Васька взманил меня прокатиться на карусели, обещая взять какую-то «партию» в шесть колец; тогда нас будут катать задаром хоть целый день. Я отдал последний гривенник, Васька взял «партию», прокатился раз пять задаром, и его, наконец, стащили с конька за шиворот.

– Жулики! – обругался он. – Не хочется только городского звать... А в балаган под доски пролезем... мне все известно!

Высокие балаганы заманчиво белели свежими досками, пестрели шелкавшими по ветру флагами. Весело зазывал колокол, парни сипло орал на морозе:

– Пра-воррней, пра-воррней!.. Не теряйте время дар-рром!..

Мы протискались к высокому балагану с раскрашенным балконом. По балкону ходил какой-то в зеленом балахоне и орал хриплым голосом:

– К началу, к началу, щипать мочалу! Сейчас сам господин Наполеон будет палить из пушки... по ста-рушке! Эй, городской, начнем Бородинский бой!.. Гренадер-военный, у тебя шаг

здоровенный... шагай – не бойся, только в баню сходи помойся, а то у нас все господа за грош, а на тебе грязь да вошь!..

Все весело топтались, гоготали. Солдаты валили кучами, брали в окошечке билеты и пропадали за полотном, на котором были намазаны корабли, стрелявшие огнем пушки, бушующее море, откуда высовывали морды зеленые крокодилы и огненные змеи, стояла красная крепость на горе, усыпанная солдатами, и перед ней, скрестив руки, – человек в сером сюртуке и в шляпе с пером. Я подумал, что это, пожалуй. Наполеон и есть, который будет палить из пушки.

Васька пробовал проскользнуть с солдатами, но его схватил парень в красном плаще, с золотым мечом, и столкнул со ступеньки в снег. Тогда он повел меня кругом балагана – поискать, нет ли дырки. Но дырки не было, и мы опять очутились перед входом. В окошечке торчала голова барыни в лисьей шубе и зорко поглядывала на нас. Иногда барыня высовывалась, как собака из конуры, дергала в колокол и огрызалась:

– Если желаете в спиктакли, платите деньги. Сенька, гони мальчишек!

Из-за моря со змеями выскакивал красный парень и отгонял нас мечом. А в балагане уж раз выпалили из пушки. Васька уже предлагал подкопаться под стенку сзади, как вдруг надо мной раздался веселый голос:

– А, и вы здесь, сударь?! Неужто одни ушли?..

И я увидел дядина приказчика. Он был в синей чуйке, в новых резиновых калошах и пощелкивал шпанские орешки. У меня засосало сердце, что я убежал без спросу. Он, должно быть, заметил мое смущение.

– Ничего-с, скажем, что со мной были. Угощайтесь... – протянул он орешков на ладони, – изволили любоваться на приставление кеятров?

– У него де-нег нету, – плаксиво зашипел Васька.

– Связались вы, сударь, с таким сопливым! – сказал дядин приказчик, даже и не взглянув на Ваську. – А зачем нам с вами платить деньги, ежели у нас тут самый главный представитель, который папеньке стенки в банях расписывал! Да мы его сейчас встрепенем!..

Он подошел к окошечку и важно закачал пальцем. Барыня что-то поморщилась и закричала злым голосом:

– Приходите в самые спиктакли! Наполеона требуют! – крикнула она под занавеску.

Дядин приказчик вынул серебряные часы и долго смотрел на них. Потом погромел мелочью в кармане.

– Наполеона, Василь Сергеева... хозяйка кличет! – заорал кто-то за стеною, и появился тот, который недавно ходил по балагану.

Он теперь был в серых сапогах с жестяными звездами, где шпоры, в сером коленкоровом сюртуке с огромными жестяными пуговицами и в серой картонной треуголке. И лицо у него было серое и до того худое, что выступали кости. В одной руке он держал жестяную шпагу, в другой... Но другой руки не было, а болтался пустой рукав.

Он метнулся, узнав приказчика; как будто растерялся.

– А мы к вам-с, для кеятров, – сказал дядин приказчик, тыкая меня в башлычок. – Они, стало быть, сынок папеньки ихнего, стенки-то расписывали через меня... И еще будете иметь заказы! Удовлетворите уж такое ихнее любопытство. Желательно в балаган, а они прокутили весь свой капитал!

– Да что вы-с! – воскликнул серенький человек и протянул мне руку, в которой была шпага. Даже пошаркал звездами.

Я был изумлен, польщен. Все глазели на «самого главного», который сейчас будет палить из пушки, а он протягивал мне руку и кланялся!

– Вы теперь, стало быть, самый главный Анаполеон и есть? – спрашивал дядин приказчик важно, пощелкивая орешками.

– Зима-с, – поддернул Наполеон плечом. – Малярной работы нет, а тут все рублика два-три. С утра до ночи, спектаклей двадцать, и на морозе, и на балагане орать надо... Вот и представляю.

– Дело хорошее. Уж вы устройте, ублагоотворите, при протехции кеятров! – настаивал приказчик.

Наполеон сморщился и покашлял в руку. Поглядел на барыню в ящике и опять покашлял.

– Да с удовольствием, отчего же-с... Трое вас...

– Сопливый и без билета прошмыгнет! – толкнул дядин приказчик Ваську.

– Дя-динька, – захрипел Васька, цепляясь за мой тулупчик.

– Идти – так уж всем-с! – сказал строго Наполеон и направился к барыне.

Он что-то говорил ей, снял треуголку и постучал ею в грудь; но та сидела как каменная, поджав губы.

– Хорошо-с, – сказал грустно Наполеон и махнул рукой. – Запишите. – И поманил нас шпагой. – Пожалуйте смотреть-с!

– Первые места если, рупь за троих!! – крикнула строго барыня.

– Ловко вам наше угощение влетело! – сказал дядин приказчик. – Зато из чести стараетесь, для протехции! Вы теперь, стало быть, будто царь... царь Анаполеон!

– Да, – сказал уныло Наполеон. – Вот вчера простудился, всю грудь завалило, и голос потерял, сиплю. А для Наполеона, сами знаете, надо героем быть! И голос резкий чтобы.

– Ничего, сойдет. Анаполеон у нас померз. Вот и выходит, в самый вы раз, – сказал дядин приказчик, похлопывая по плечу Наполеона.

Серенький человек посадил нас на переднюю скамейку, где коптели в деревянной канавке лампы, и сказал, что сейчас начнется.

– Велит хозяин повеселей, для смеху публики... – усмехнулся он. – Ну, придется, знаете, ломаться! А разве так для Наполеона надо?! – показалось, сказал он мне и даже ласково подморгнул. – Ну, я уж для смеху выдумываю, сочиняю сам!..

Он ушел. Занавес заколыхался, и заколыхались на нем дворцы и тигры. В балагане было, кажется, еще холоднее, чем снаружи, даже свистело в щели. Сзади стучали ногами от мороза. Наконец занавес поднялся, и я увидал город на горе, и по этой синей горе белели клубочки дыма и лезли синие турки в красных шапках. Сверху сошвыривали их штыками наши. На полу была навалена куча снега, самого настоящего, и он не таял. На куче стояла табуретка и валялось несколько березовых поленьев.

– Стало быть, зима, и Анаполеон будет замерзать! – сказал мне дядин приказчик, пощелкивая орешками.

– А помрет? – спросил боязливо Васька.

– А ты не встревайся, сопливый... сиди-пляди! – сказал строго приказчик, швыряя скорлупки в снег. – Им бы весь намест завалить надо, для вида лучше!

Вышел Наполеон, опустив голову на грудь. Дошел до ламп, и стало видно, как изо рта его вырывался пар. Видно по всему было, что ему очень плохо.

– Ах, какой ужасный русский мороз! – прохрипел он, грея дыханием руку. – Сегодня, должно быть, сто градусов! Ужасно!

Он грозно топнул – прыгнули язычки в лампах – и сел на табуретку, разминая ногами скрипевший снег. Рукав его сюртука мотался, постукивали ноги о табуретку, подрагивали плечи.

– Здорово прихватило? – кричали сзади.

– Ему теперь прямо беда... Анаполеону-то! – объяснял мне дядин приказчик, выплевывая скорлупки прямо Наполеону под ноги. – Некуда ему податься, как приперли! Одна табуретка ему осталась да полешки... тьфу, тьфу! – поплевывал он скорлупками. – Ну-ка, Василь Сергеев... докажи себя! Повеселее!..

Наполеон поглядел на нас и усмехнулся грустно. Опять подошел к лампам и погрозил кулаком на публику.

– Не сдамся!.. Все... на банку!.. – крикнул он весело. Так все и загудели:

– Верно! С морозу-то и на целую бутылку можно!..

– Роковой час пришел! – хрипнул Наполеон и поперхнулся: забило его кашлем.

– До чего все верно-с! – вздохнул дядин приказчик. – Стало быть, лютый мороз, и он, понятно, застудился. Ну до чего все ве-рно!..

– Храбрые мои марша-лы-ы! – крикнул Наполеон, махая шпагой.

Появились парни в красных плащах, в зеленых штанах, в золотых сапогах и с золотыми мечами, которыми они враз стукнули, как ружьями. На их высоких шляпах торчало по гусиному крылу. Один из них только что гнал нас от балагана. Но теперь оба были чем-то испуганы и все глядели туда, откуда вышли. А оттуда выглядывала пушка. Наполеон потер себе грудь и крикнул шипящим голосом:

– Я победил все народы!..

Маршалы вытянули шеи и опять стукнули мечами.

– И вот попал в снега России! Ужасно! Но все равно. Я сжег все корабли, и уже нет мне возврата в славное мое отечество! – выговорил Наполеон в отчаянии и стукнул кулаком в грудь. – Нет, не сдамся! Ужли я должен покончить свои роковые дни на проклятых русских полях, покрытых снегом?! О, горькая моя судьба!..

И он опустил голову на грудь. Все замерли. Дядин приказчик разгрыз орех.

– Решено и подписано! Сейчас начнется славный Бородинский бой!..

– Ура! – гаркнули маршалы и опять стукнули мечами.

– Да это наши солдаты, из Хамовников! – крикнул кто-то за мною. – С первой роты, Перновского полку!.. Митю-гин, жарь!..

– А зачем он сжег свои корабли? – спросил я дядиного приказчика.

– Значит... так уже ему занудилось. На дрова, может, по случаю морозов... Уж это ему известно!

– Храбрые мои марша-лы-ы! – крикнул Наполеон. Парни вытянулись, как по команде, и замаршировали плечо к плечу. Потому и маршировали, что – маршалы?

– Зарядить все пушки и орудия! – крикнул Наполеон и заходил, притопывая, чтобы согреться.

– Чего ж он дрова-то не зажигает? – спросил Васька.

– Не умеет, – усмехнулся дядин приказчик и хитро подмигнул мне: – Полиция не позволяет, по случаю пожара.

Маршалы отмаршировали за кулисы, откуда послышался барабанный бой и труба. Началось самое интересное. Наполеон подошел к краю, погрел руку над лампой – так все и зашумели! – и прошептал:

– Чую, что несдобровать! А, плевать! – крикнул он лихо, плюнул и даже растер ногой. – А напоследок выпью... ро-му!

И ловко крякнул. Весь балаган так и загромыхал. Дядин приказчик даже всплеснул руками и затопал:

– Ну до чего же ве-рно!..

Наполеон достал из кармана бутылочку и, подмигнув нам, забулькал. Все закричали «браво!».

– Маленько обогрелся, – крякнул Наполеон, подмигивая. – Ух, русские морозы!

– Да, брат, без ее плохо! – кричали сзади.

– А теперь... в страшный бой, и пусть судьба решит!..

Но не успел он договорить, как из-под его ног вырвался белый дым, словно вытряхнули муку, и поднялось что-то в белом, как привидение.

– Кто ты... о незнакомец? – крикнул Наполеон, махая шпагой.

Незнакомец ответил загробным голосом:

– Знай, несчастный, что русские непобедимы! Ударили лихо трубы – «Ах вы, сени, мои сени», – и весь балаган загремел ногами и заорал «браво!».

Наполеон гордо откинулся и пырял в воздух шпагой.

– Все силы ада су-против меня! – хрипел он. – Но я, Наполеон, властитель мира и народов! Кто ты?..

– Я... – словно завывло привидение, – конец твоему гордому ндраву! Слава твоя прошла!

И незнакомец провыл, что Наполеон помрет постыдной смертью середь моря-окияна на острове и тогда увидит его опять, в последний раз!

– Кто же ты? – кричал Наполеон, пыряя шпагой.

– Кто я-аааа?! – завывл незнакомец ужасным воем. – Я... смерррртть твоя!..

Простыня распахнулась, и мы увидели черное, расписанное белыми полосками, как скелет, а из-под пола выставилась сверкающая коса. Смерть подхватила косу и провела ею над головой Наполеона. Снизу задымилось и едко запахло серой. Наполеон махнул шпагой, а смерть медленно пятилась и грозила косой. Наконец ушла.

– Ха-ха-ха! – хохотал страшно Наполеон. – Смерть? Плевать! Маршалы, ко мне! Начнем Бородинский бой!

– Начнем! – гаркнули маршалы, словно на лошадей, и выкатили пушку.

– Пали! – скомандовал Наполеон.

Грохнуло, и все заволокло дымом. И такая пошла стрельба, что стало страшно. Наконец затихло. Наполеон, кашляя от дыма, махнул платочком. Опять появились маршалы. Наполеон сел на пушку, а маршалы стали его разглядывать: не ранен ли?

– Ага! – крикнул Наполеон, – русские не сдаются? В таком случае идем прямо на Москву!

– Ура! – заорали маршалы и стукнули мечами.

Занавес опустился. Вышел кто-то в хорьковой шубе и объявил, что завтра будут представлять бегство Наполеона из Москвы, русские пляски-апофеоз и дивертисмент с ножами и огнями, фокусы!

– Ай, Василь Сергеич... Какой представитель знаменитый, – сказал дядин приказчик. – Земляк мой, всякие художества умеет.

Когда мы выходили из балагана, нас нагнал Василий Сергеич, уже в зеленом балахоне.

– Посмеялись, сударь? – ласково сказал он и погладил меня по башлычку. – Вот как на хлеб да на квас-то зарабатываем!

И попросил дядинного приказчика похлопотать для него работки.

– Найдется, опосля праздников наведайся, – сказал дядин приказчик.

– Одному-то бы ничего, да братнины сироты при мне...

– Для тебя отказу не будет. И сударь папашеньку попросит...

Когда мы пошли от балагана, по балкону ходила огромная черная голова, а бывший Наполеон колотил по ней палкой и кричал сиплым голосом:

– А вот дать сладких сухарей, чтобы издох поскорей! Проворней, проворней... кхеа... кха... Ах, застрял в плотке возок льду... проворней, проворней... Наполеона представлять пойду!..

– Пропавший человек! – сказал дядин приказчик.

– Почему – пропавший?

– Пропадет. В больницу его надо, кровью плюет, а он вон на морозе ломается, орет. А зато людям весело!

Я оглянулся на балаган, на зеленого человека, что-то кричавшего на народ, приставив ко рту руку, и мне стало чего-то грустно.

– Вот и получили удовольствие, – говорил мне дядин приказчик ласково, – и папашеньке скажете, что не одни были, а со мной... сводил вас на представление кеятров, и денежек не платили-с. И со мной-с. Одним нехорошо в черный народ ходить-с... слова разные нехорошие и поступки-с. Так и скажите-с, что со мной, в сохранности. Орешков-с?..

Я все оглядывался. Вспоминал серое лицо Наполеона, и рукав его сюртука, и кашель. И флаги на пестрых балаганах уже не манили меня веселым шелканьем.

– А вы чего это приуныли? – спрашивал дядин приказчик весело. – Васька-то вон как прыгает! Без спросу ушли, что ли... боитесь, что трепка будет? А вы скажете, что со мной...

Пожалуй, и это меня тревожило. И было еще, другое.

Севр, март 1928

Русская песня

Я с нетерпением поджидал лета, следя за его приближением по хорошо мне известным признакам.

Самым ранним вестником лета являлся полосатый мешок. Его вытягивали из огромного сундука, пропитанного запахом камфары, и вываливали из него груды парусиновых курточек и штанишек для примерки. Я подолгу должен был стоять на одном месте, снимать, надевать, опять снимать и снова надевать, а меня поворачивали, закалывали на мне, припускали и отпускали – «на полвершочка». Я потел и вертелся, а за не выставленными еще рамами качались тополевые ветки с золотившимися от клея почками и радостно голубело небо.

Вторым и важным признаком весны-лета было появление рыжего маляра, от которого пахло самой весной – замазкой и красками. Маляр приходил выставлять рамы – «впускать весну» – наводить ремонт. Он появлялся всегда внезапно и говорил мрачно, покачиваясь:

– Ну, и где у вас тут чего?..

И с таким видом выхватывал стамески из-за тесемки грязного фартука, словно хотел зарезать. Потом начинал драть замазку и сердито мурлыкать под нос:

И-ах и те-мы-най ле-со...

Да йехх и те-мы-на-ай...

Я старался узнать, что дальше, но суровый маляр вдруг останавливал стамеску, плотал из желтой бутылочки, у которой на зеленом ярлычке стояло «политура», плевал на пол, свирепо взглядывал на меня и начинал опять:

Ах-ехх и в те-мы-на-ам ле...

Да и в те... мы-иы-мм!..

И пел все громче. И потому ли, что он только всего и пел, что про темный лес, или потому, что вскрикивал и вздыхал, взглядывая свирепо исподлобья, – он казался мне очень страшным.

Потом мы его хорошо узнали, когда он оттаскал моего приятеля Ваську за волосы.

Так было дело.

Маляр поработал, пообедал и завалился спать на крыше сеней, на солнышке. Помурлыкав про темный лес, где «сы-тоя-ла ах да и со-сенка», маляр заснул, ничего больше не сообщив. Лежал он на спине, а его рыжая борода глядела в небо. Мы с Васькой, чтобы было побольше ветру, тоже забрались на крышу – пускать «монаха». Но ветру и на крыше не было. Тогда Васька от нечего делать принялся щекотать соломинкой голые маляровы пятки. Но они были покрыты серой и твердой кожей, похожей на замазку, и маляру было нипочем. Тогда я наклонился к уху маляра и дрожащим тоненьким голосом запел:

И-ах и в те-мы-ном ле-э...

Рот маляра перекосялся, и улыбка выползла из-под рыжих его усов на сухие губы. Должно быть, было приятно ему, но он все-таки не проснулся. Тогда Васька предложил приняться за маляра как следует. И мы принялись-таки.

Васька приволок на крышу большую кисть и ведро с краской и выкрасил маляру пятки. Маляр лягнулся и успокоился. Васька соорудил рожу и продолжал. Он обвел маляру у щиколоток по зеленому браслету, а я осторожно покрасил большие пальцы и ногти. Маляр сладко похрапывал – должно быть, от удовольствия. Тогда Васька обвел вокруг маляра широкий «заколдованный круг», присел на корточки и затянул над самым маляровым ухом песенку, которую с удовольствием подхватил и я:

Рыжий красного спросил:
– Чем ты бороду лучил?
– Я не краской, не замазкой,
Я на солнышке лежал!

Я на солнышке лежал,
Кверху бороду держал!

Маляр заворочался и зевнул. Мы притихли, а он повернулся на бок и выкрасился. Тут и вышло. Я махнул в слуховое окошко, а Васька поскользнулся и попал маляру в лапы. Маляр оттрепал Ваську и грозил окунуть в ведро, но скоро развеселился, гладил по спине Ваську и приговаривал:

– А ты не реви, дурашка. Такой же растет у меня в деревне. Что хозяйской краски извел, ду-ра... да еще ревет!..

С того случая маляр сделался нашим другом. Он пропел нам всю песенку про темный лес, как срубили сосенку, как «угы-на-ли добра молодца в чужу-дальнюю сы-торонуш-ку!..» Хорошая была песенка. И так жалостливо пел он ее, что думалось мне: не про себя ли и пел ее? Пел и еще песенки – про «темную ноченьку, осеннюю», и про «березыньку», и еще про «поле чистое»...

Впервые тогда, на крыше сеней, почувствовал я неведомый мне дотоле мир – тоски и раздолья, таящийся в русской песне, неведомую в глубине своей душу родного мне народа, нежную и суровую, прикрытую грубым одеянием. Тогда, на крыше сеней, в ворковании сизых голубков, в унылых звуках маляровой песни приоткрылся мне новый мир – и ласковой и суровой природы русской, в котором душа тоскует и ждет чего-то... Тогда-то, на ранней моей поре, – впервые, быть может, – почувствовал я силу и красоту народного слова русского, мягкость его, и ласку, и раздолье. Просто пришло оно и ласково легло в душу. Потом – я познал его: крепость его и сладость. И все узнаю его...

Солдат Кузьма

(Из детских воспоминаний приятеля)

I

Давно его нет на свете, – лет, пожалуй, двадцать прошло, как его нет, – а я так хорошо его помню, точно он вчера только навестил меня: я дотронулся до его большой, жесткой руки, в которой, бывало, тонула моя ладошка, и он так отчетливо, по-солдатски сказал обычную свою прибаутку:

– Много лет, сударь, здравствовать – не помирать, мылиться-париться, крыс-мышей не бояться, с легким паром оставаться!

Так, бывало, говаривал он в бане, окачивая меня последним тазом. Служил он при наших банях парильщиком.

Почему же я так хорошо его помню? Должно быть, было в нем что-то, что не может и не должно забыться.

Я – маленький-маленький, такой маленький, что могу подходить под стол, а когда попадаю в баню, – не в общую, где очень шумно и ничего не видно от густого пару, а в небольшую, какую-то особенную, где моется всего два-три человека, и, должно быть, дорогую, потому что тут не бывает бедно одетых людей, – я никак не могу вскарабкаться на пузатый тугой диван, и меня подсаживает шлепочком парень в белой рубахе с красным пояском и в валенках. Приводит меня в баню старая нянька и наказывает этому парню вымыть, как следует.

– Вымыть чтоб его, как следует, а потом я его захвачу, в окошечко стукну. Солдат, скажи, чтобы мыл!

Она уходит с узелочком в какую-то другую баню, а я остаюсь с парнем, который зачем-то сперва подергает меня за маковку башлыка и сделает страшное лицо, потом принимается стаскивать с меня полушубочек, неприятно щекочет шею холодными пальцами и все шевелит рыжими усами, как таракан.

– Ну, теперь ты ко мне попал! – сердито говорит парень и хмурит брови, пугает меня. – Ну, а мыть-то кого позвать, – Левона али Солдата?

А сам все супится. Я молчу. Мне хочется, чтобы он привел Солдата, потому что с Солдатом весело: он всегда смешно говорит и рассказывает про англичана, который подарил ему трубочку. Но мне не хочется отвечать парню. Он шевелит усами, морщится, поглядывая на мои башмачки, – я знаю почему, – и, наконец, подумав и покачав головой, говорит:

– Ну, хорошо. Позовем Солдата.

Он и сам любит разговаривать с Солдатом, а только притворяется, что ему хочется позвать какого-то Левона. За Солдатом он посылает куда-то мальчика, который всегда спит у печки, положив голову на ладошку, а сам принимается расстегивать пуговицы моих башмачков.

– Не стыдно в башмаках-то ходить, по-бабьи! В мужскую баню ходишь, – надо сапоги заводить. А то что ж это такое, – совсем настоящий мужчина, а в башмаках! Да и брюки бы надо на подтяжках носить... или на ремешке, а не на кофте.

Мне очень стыдно перед парнем, что я опять в башмаках.

– Я куплю себе охотничьи сапоги, – говорю я и смотрю на валенки парня. – Мне на Рождество даст папаша рублик, а я куплю сапоги...

– Вот. Со шпорами покупай.

– Да, со шпорами. И валенки куплю.

– Потом калоши еще надо кожаные, за пяточок.

– Да. А валенки сколько стоят, двадцать копеек?

– Двадцать копеек.

Парень вдруг раздувает щеки и сразу смеется в руки. Я знаю, что он потому смеется, что у меня девочкины чулочки, – длинные.

– Я себе маленькие чулочки куплю... – говорю я, чтобы он не смеялся. – Я ведь не девчонка, а мальчик.

– Самый настоящий мужчина! – говорит он, снимая с меня рубашку, и я вздрагиваю от его холодных пальцев.

Мне хочется заплакать. В зеркало, напротив, я вижу, какой я худой и маленький перед этим парнем-надоедой. И потому особенно радостным кажется приход Солдата-парильщика.

С замиранием сердца слышу я, как хлопаед на пружинке наружная дверь, шуршит по стенке сухой веник и слышится знакомое кряканье. Входит высокий-высокий худой Солдат в опорках на босу ногу, хотя на дворе мороз, в ситцевой рубахе, в кафтане внакидку, в солдатской кепке с доньшком наверху и с веником под мышкой. Он всегда приходит с трубочкой, которую я очень хорошо знаю. В одном ухе у Солдата беленькая серьга – солдатская. Тут начинается интересное.

Солдат с шумом сбрасывает опорки и подходит к печке погреть руки. И все-то крякает. Лицо у него коричневое, худое, с длинным носом, а глаза смеются; бороды совсем нет, а только коротенькие усы, которые колются: я с ним христосовался на Пасхе. Когда он моет меня и наклоняется близко к моему носу, я слышу, как от него приятно пахнет вином и мятными пряниками. Пьяных я боюсь, но Солдата я никогда не видал пьяным: он всегда ходит прямо и говорит скоро.

Сбоку печки Солдат открывает маленькую дверку и начинает пускать туда дым изо рта: так велит ему парень.

– Ну-ка, покажь трубочку-то! – просит парень, берет трубочку, начинает курить и пускать дым в печку.

– Опять все покажь да покажь! – говорит Солдат, точно сердится на парня, а сам дает. – Надо бы мне хоть по пятаку за показ брать, ей-Богу! – подмигивает он мне. – Ведь правда, сударь? Аглицкая трубка, серебряная, с оленями, с медведями... Найди-ка поди такую трубку!

Парень вертит трубочку, разглядывает. Я перехожу к ним по дивану, который, как будто, прыгает под ногами и подкидывает меня, останавливаюсь за спиной парня, тянусь посмотреть на трубочку поближе и слышу, как от головы парня пахнет деревянным маслом. А парень уже подобрел и даже протягивает мне трубочку, стараясь щекотнуть под бок. Я верчу трубочку, вижу, как по белому столбику нарисованы черные олени, кустики, охотник на лошади; вижу, как будто, и медведей, но они уже стерлись; вижу еще собаку, которую парень считает за лисицу, но у ней нет хвоста, и не видно хорошо, собака это или лисица; на крышечке, которая качается на цепочке и вся в дырках, – на самой маковке приклеен зеленый камушек.

– Зумруд-камень... – хрипит Солдат, выколачивая трубочку о печку. – Больших денег стоит. Таких камней нигде нет, только у меня. Верно! Тот самый англичан говорил.

– Низумруд! – говорит парень. – Вот так штука!

Я знаю, что они говорят не так: надо говорить – азум-руд. Так велела мне говорить нянька, когда я рассказал ей про солдатову трубочку.

– Зумруд-камень! – сердито хрипит Солдат. – Сыщи-ка еще такую! Сколько она по морям каталась, пока мне в руки попалась. А стала она мне – вот и вот...

Солдат тычет себя в грудь и в бок, у ноги. Я знаю, что это значит: там у него пули от врага. А в боку и сейчас еще сидит вражья пуля, которую он называет шельмой, и которую ему подарил на память в какую-то севастопольскую кампанию англичан, – носи, не забывай!

– Двадцать два года ей, шельме... замуж пора выдавать, а она все сидит! Верно, сударь?

Парень так и покатывается, упал даже на диван и все смеется, – но это он все хитрит, он хочет ухватить меня за ноги и пощекотать пяточку.

– Как пошли мы тогда на него в ночное время... ничего не видать. Затаился он... Как кто? Враг, неприятель... там и француз, и турок, и англичаны были... затаился – ни-ни! чисто его и нет! А уж нам хорошо известно: хоронится он в траншее, ждет, чтобы мы ближе подошли. А там, думает себе, я их и огрею. Ладно, скуси-ка патрон сперва. А мы все ближе подбираемся...

Я уже сижу в баньке, маленькой, как комнатка, чуть освещенной лампочкой в фонаре. Темно в углах. Под полком совсем чернота, и там-то трещит сверчок. Там и еще что-то живет, какой-то «банный хозяин», который, будто бы, швыряется по ночам шайками и выпускает из кранов воду – балуется. А сверчки у него вместо музыкантов. И как только сверчок засверчит, – значит, время подошло «банному хозяину» выходить. Такими рассказами напугал меня парень-надоеда. А под полом, под щелями, куда стекает вода, живут водяные крысы, и если остаться одному в бане, – прощай, загрызут насмерть.

Я сижу на лавке и стараюсь подбирать ноги повыше, – шуршит что-то под полом, уж не они ли? Солдат царапает мне голову ногтями, мыло стекает на глаза, я жмурюсь, и страшно хочется открыть глаза и поглядеть в темноту, под полоч.

– ...Тут-то он нас и почил, и почил жарить... Из траншей... Ладно. Чего? глаз зашипало, а? Ну, промой глазок. Хорошо... Ка-ак мы на его ахнем... рраз! в самое это место мне шельма и впилась, в грудь стукнула... а уж добежал до его, вижу – сидят в канаве с ружьями... Опять – рраз! В это место цопнуло, в бок.

Я скорей протираю глаза от мыла, чтобы еще раз посмотреть, куда его цопнуло. Вижу на груди темную ямку, как маленькую лодочку. Да, это не сказка. Да, это было на самом деле! Мне и жалко Солдата, и рад я чему-то, – может быть, тому, что сам вижу, совсем ясно вижу, как это было. А вот и «шельма». Она сидит в боку, у ноги, и Солдат позволяет мне ощупать ее: да, жесткая, как орешек. И белый рубец.

– Ну, еще раз голову помою, жмурься. Хорошо-о... Как ожгло меня! Раз выстрелил, скусил патрон, стал заряд ставить... пошла у меня голова кругом... и ни-чего-то я и не помню, как помер.

– А не помер ведь, а? Это так только, как помер, а не помер?

– Ну, так только, конечно... замутилось в голове, удар получил. Ладно. Сколько так времени прошло, не знаю, а сошло с меня, вижу, – матушки ты мои, где ж это я? И у самой головы кряхтит что-то. А уж светать стало. Смотрю – канава, траншея ихняя, и лежу я на нем, на враге, в горло его руками вцепился. А это он хрипит. Ну, отпустил. Оказался англичан, – на щеках у него как кошачьи лапки приклеены, все они так себе бородку оставляли, по-матросски. Парень здоровущий, прямо... красивый!

– И хороший он, да? – спрашиваю я, уже давно зная, что англичан окажется хорошим.

– Ничего, хороший... прямо душевный парень оказался.

И мне так хочется, чтобы и тот, англичан, тоже думал про Солдата, что и Солдат хороший.

– А кругом тихо, кто побит, кто схоронился, а наши их дальше погнажи. Нет никого, а санитары еще не подошли, которые раненых подбирают. А тут мы с ним одни. Ну, разговорились. Какие уж мы тут враги-неприятели! Чуть двигаться можем. Ничего, разговорились. Он по-своему, я ему по-своему. Все понимает. «Что ж это ты, говорю, со мной сделал? Куда я теперь гожусь?»

Мне почему-то смешно от этих слов, – как будто, все страшное прошло, и начинается солдатова дружба с англичаном. Смеется и Солдат.

– Ах ты, говорю, такой-сякой! Маленько его поругал. А он мне на плечо показывает – тоже, мол, и ему вlepили, в это место. Да сиди ты, видал уж... ну, в плечо. Сейчас глаза защиплет! «Каля-маля, – говорит, – гав-гав-дую-не вздую^[37]». По-своему. И не вздуешь, говорю, шалишь. А в груди у меня жгет, как уголья там. И смерть моя – курить хочется. Отвалился от него, пальцем погрозил – не трожь! Вытащил из-за голенища трубочку свою заветную... такая у меня была, с черной головкой, три монетки всего и стоила-то... Стал кисет с табачком-махорочкой доставать с груди, – на груди у меня был, чтобы не потерять, за рубахой. Насилу выдрал, а сам от боли чуть не ору, – вот как больно, как кожу с меня дерут... Глядь, кисет-то мой – пожалуйста бриться! наскрозь его прострелило, как меня в грудь-то ударило, даже прилип к ране-то. Вот отчего и жгло-то, от табаку! И табачок мой прямо... смок вчистую, не годится. Чуть не заплакал! Ну, как я свою кровь курить буду?! А тут, смотрю, и он, англичан, тоже свою трубочку вытащил... вот какая у меня-то его трубка, та самая...

Я знаю, отлично знаю, что это *его* трубка, но мне хочется, чтобы Солдат еще и еще подтвердил. И я спрашиваю:

– Это вот которую сейчас смотрели... это *его* трубочка? та самая?

– Ну, понятно, *его*. Ты слушай, как было дело.

Солдат кладет меня на лавку, на тростниковый коврик, высоко взбивает мыло в медном тазу, опускает в эту пену по локоть руку с мочалкой, несет ко мне целый ворох точно взбитых сливок и начинает так приятно капать мне на спину клочьями горячей воздушной пены, и разглаживать, и чуть-чуть щекотать.словно и ему приятно.

– И вдруг, брат ты мой, преподносит он мне... и что б ты думал, а?

Я знаю, что *тот* ему преподносит, но не хочу говорить: пусть он сам еще и еще раз скажет: он любит об этом рассказывать!

– Вот тут-то он меня и подивил! Преподносит мне на ладошке... в коробочке такой хрустальной-стеклянной... что б ты думал, а? Табак, брат, преподносит! Ей-Богу, табак!

Я уже не боюсь мыла, открываю глаза, слежу, знаю, что сейчас будет. Солдат со всего маху кидает мочалку в таз с мыльной пеной, да так, что клочья ее летят во все стороны, на меня, на него, на стены, на потолок, и раздается звук – хлюпп!

– Та-бак! Во!! И там у него, помню, деньги еще были, серебряные. Открыл коробочку и, – пожалуйста, можете курить! Да-а... Ладно. А я ему тоже по-благородному, показываю на свою трубку, – можно, значит? Можно, – говорит. На словах непонятно у него, а уж прямо видать, что можно, даже пальцем в табак потыкал и в трубочку пальцем. Уж прямо видно, что желает угостить. Хорошо-о... Набил я трубочку, высек огоньку... спички тогда до-ро-гие были! Из камушка высек на трут. Та-ба-ак! Ну, табак, брат, прямо... ду-хи-аромат, дорогой, заграничный, деликатный... Ну, конечно, и он закурил.

– Ту трубочку?

– Понятно. Покурили всласть, а сами друг дружки стережемся, ружья держим. А уж белый день на дворе. Тут ихние лежат, а тут наши. Спят сном беспробудным, вечным, царство небесное... Отслужили верой и правдой, а кто виноват – там Господь рассудит. Ладно. А бой, слышно, идет, только далёко. Вижу – домой надо идти, чиниться: вся рубаха у меня мокрая, и слабнуть стало в голове, и холодно стало. Объясняю ему – надо. И он головой тоже – надо, говорит. Надо так надо. Ну, показал ему на ружье – не трожь, говорю, меня, как пойду! Все понимает. Замотал головой, говорит – не трону, стало быть, можешь идти. Ну, говорю, и я тебя не трону. Кепочкой накрылся – прощай. А он мычит, руку протягивает. Очень хорошо попрощались, прямо – душевный молодчик оказался. Прямо жалко мне от него уходить. Говорю ему: «очень ты для меня хороший, даром что неприятель, а как чистый друг... пойдём к нам в плен!» А он тут, будто, прикинулся – не понимает. Тут я ему растолковал на пальцах. Нет, не желает. К своим желает. Еще за руки подержались. Тут вдруг он мне трубочку и дает! Что ты думаешь! Сует в руку и головой просит – возьми на память! А?! До слез удивил. А мою, с черненькой-то головкой, себе желает. «Да, говорю, моя что! три, говорю, монетки ей цена вся, а твоя эн какая!» Никаких разговоров. Давай и давай. А мне, прямо совестно, – дорогая его штука, нехорошо брать. Нет! Упрямый! Взял да насильно в карман пихать стал, а сам смеется. Так и поменялись. А потом расползлись помаленьку...

Я лежу в мыле, и мне хочется, чтобы он все рассказывал и рассказывал про англичана. И так все ясно передо мной: я вижу и ту канаву, и их трубки, и их лица. И сладко так у меня внутри, и хочется

с чего-то заплакать, и уже колет в носу. А жилистые руки Солдата мягко-мягко взбивают в тазу пышную пузырчатую пену, с бульканьем купают в ней пушистую мочалку, и вижу я на груди у себя, как слабо потрескивают и лопаются мыльные пузырьки с огоньками. И, как будто, плыву я куда-то. Так бы, кажется, и лежал все в полутемной баньке со сверчками, с колышущимися тенями в углах, с медным тазом, покоем и тишиной и ласковым хри-поватым голосом Солдата. И думается, бывало, – а что, если бы пришел сюда, в нашу баньку, и тот англичан. Так бы и сидели мы трое. Они бы держались за руки, курили бы из своих трубок, а я бы смотрел на них.

– А еще не видались с англичаном?

– Нет. Да где там увидаться! Меня тогда месяца три лечили. А потом опять *он* мне ногу смазал, поцарапал. А там и замиренье вышло.

Потом Солдат ведет меня на полок, но не на самый верх, где не усидеть от жары, а только на половинку лесенки, и принимается парить, легонько похлестывая веником, а сам насвистывает. Я знаю, что он насвистывает.

– Это ты сигнал свистишь, да? это на обед?

– Самый он. «У тя-теньки, у ма-меньки мальчик просит говядинки: дай-дай-дай!» На рожке так выходит. А это вот будет что: туру-туру! туру-туру! туру-туру-ти-та-та-та?! Так, для стрельбы. «Рассыпья, мо-лодцы! за камни-за-кусты! по два в ряд, не смотри назад, береги заряд!»

– А в атаку как? Ну, пожалуйста... представь, как в атаку...

Солдат смеется, качает головой. Но я знаю – он непременно представит. И вот он спускается с полка, берет медный таз и начинает корешком веника выбивать часто-часто и припевать: тата-тата, тата-тата, тата-тата... – подходит все ближе, ближе, лезет на лесенку, наступая на меня. Мне даже страшно, я залезаю выше, в самую жарницу. Солдат ставит таз, кричит – ура! подхватывает меня под мышки и несет скачивать. И я не чувствую его жестких рук, – мне так хорошо. И так хорошо пахнет мылом, березовым веником и водой. И так ласково-ласково посвистывает сверчок.

А потом, сидя в простыне, в предбаннике, я прошу дать мне подержать ту трубку. Я долго держу ее и опять вижу все, как было: вижу дырочку на груди у Солдата и англичана в каске, и как они

пожимают друг другу руки, и страшно мне хочется, чтобы англичан был жив.

– А он жив, который трубочку подарил?

– Может, и жив, – говорит Солдат, пуская дым в дверку печки. – Боле двадцати годов прошло. Небось, трубочку мою давно выкинул. Чего ему моя трубка! Они богатые...

– Нет! – уверенно говорю я: мне хочется, чтобы англичан сберег солдатову трубочку, которая стоит три монетки. – Он ее бережет, она у него в столе лежит, в ящике!

– А ты почему знаешь? – спрашивает Солдат, и лицо его становится строгим.

– В ящике, в ящике у него! – кричу я, и опять покалывает у меня в носу.

– Ну, в ящике так в ящике... – говорит Солдат, пуская синие дымки из носу.

А парень прямо повалился на диван, закинул голову и смеется, растянув рот. Чему он смеется?!

II

Еще я помню...

Помню я светлый весенний день, выставленные рамы и запах распускающихся тополевых почек, похожий на запах ладана. Помню наплывающие, бодрые, куда-то зовущие звуки военной музыки и оглушающее громыханье пушек и зеленых повозок по мостовой. Все идут и идут бесконечными бурными рядами солдаты; все кепки, кепки, кепки, а поверх кепок сверкающие штыки и флажки. А позади большие телеги с парусиновой крышкой и красным крестом. Я знаю, что это наши солдаты – идут на войну. У нас в доме все щиплют корпию, набивают пригоршнями путаных ниточек стеклянные банки, чтобы не было пыли; насыпают табаком папиросы. И это все – на войну. Вечером я люблю забиться под стол и слушать, как читают газету. И там – все про войну. Мне страшно, но я хочу и хочу слушать. Там все – про турок... Турки... Они мне кажутся не людьми даже. Они все кого-то режут и жгут. Как разбойники. Их-то вот усмирять и идут наши солдаты.

Скоро я хорошо узнаю, что делают эти ужасные турки. Как-то пришли к нам во двор два черномазых парня. Они были в веревочных туфлях, в синих широких штанах, завязанных у ступни, и в кофтах с большими железными пуговицами; волосы у них были черные и густые, как шапки, а глаза – с большими белками навывкате. Парни мычали, разевали рты и тыкали в них грязными пальцами. У них не было языков. Они были оттуда, где турки, и назывались болгарами. И потом все чаще и чаще стали заходить эти болгары, сербы и еще другие, с маленькими ребятками, выглядивавшими из каких-то мешков. Они плакали и протягивали руки. Приходили и с обезьянками. Было жалко и обезьянок, точно и их мучили турки. Нянька, бывало, скажет:

– Побалуй-побалуй, сейчас позову турку! Онте язык-то...

– А его солдаты не пустят!

– Турку-то? Да он везде пролезет, – как нечистый!

К нам заходит старушка из богадельни, Авдотья Полуга-риха, которая ходила в Старый Ерусалим – поклониться Гробу Господню. Страшно станет, как примется она рассказывать. Повидала-таки она страху! Там-то вот, оказывается, и живут турки. Лезла она на сорокаверстную гору, – все обязательно на нее должны влезть, а то турки ко Гробу Господню не допустят, – чуть жива осталась: сидит там на маковке огромнейший султан-турок с пикой и все норовит пикой этой спихнуть в тартарары.

– Сохранил Господь, обошла я турку того страшного постом и молитвой. И есть там вода – кипяток, из каменной горы льется. Рыбку можно варить, кто не знает. А вода-то та из преисподней у них текет, из ада! А они-то все заманивают – рыбку свари, поешь! И кидали они меня, турки окаянные, в океян-черно-море с высокого корабля, душу хотели загубить. Не попустил Господь: упала я прямо в лодку. А и опять они, черномазые, тут. Деньгами откупилась. А у каждого-то длинная-предлинная сабля. Захочет – сейчас голову и отрубит. Да-а... И управы на них не найти. Не найти-и...

Рассказывала еще Полугариха, что турки и в храм-то Господень только за деньги пускают, и стоят с острыми саблями – сторожат. Огня небесного ждут, зажгутся ли свечи.

– Они-то стоят, дожидаются, саблями так и помахивают, а мы-то плачем-плачем, Господа просим-просим. Хочется им нам головы

порубить, а Господь-то и не дает! Да-а... Свечи-то сами и загорятся! Стало быть, наша вера самая правая! А турки кричат: наша вера правая! Всех вас сейчас в свою веру обернем, а то головы посекем! Да-а...

Уж сколько же страхов насажала эта Авдотья! И была в ее рассказах и правда, и сказка. Но тогда все казалось правдой.

– Ты что ж это лопочешь-то без понятия! – скажет нянька, занавешивая на ночь окна. – Ты каку молитву-то зачитал? Только бы ему отзвонить... Ты про солдатиков помолись, турку чтобы им задолеть. За веру нашу сражаются, за храмы Господни-и... И днем, и ночью сражаются, страху не боятся...

Поглядишь на темное окно – и захолонет на сердце. А тут еще где-то начинает трещать сверчок – цырр... цырр... Двух сверчков принес мне из бани на Пасху Солдат, принес в пузырьке – в подарок, а они у меня выпрыгнули и куда-то запропастились. Одного нянька поймала у меня в лифчике, а другой куда-то запрятался и, как ночь, так и начинает сверчать. И станет еще страшней.

И вот я помню яркое, солнечное утро, солнечные пятна от оконных рам на красных занавесках комнаты. Входит нянька, открывает занавески. В глаза ударяет солнцем и голубым, страшно голубым небом. Так и защуришься – больно даже.

– Вставай-ка скорей, Кузьма Петрович прощаться пришел.

Какой Кузьма Петрович? Почему – прощаться?

Но скоро я понимаю все. Пришел Солдат, мой милый Солдат, который так хорошо рассказывал и так ласково охлестывал меня веничком на полке. Оказывается, он тоже идет воевать с турками.

И тут узнаю я, что его зовут Кузьма Петрович, что идет он своей охотой, что он давно «отслужил свое», что он не простой солдат, а «николаевский». И почему-то я рад, что его зовут Кузьма Петрович. Мне очень нравится имя – Кузьма. Такое оно – хорошее, ласковое, мягкое, как подушка. Кузь-ма... Кузьма-а... И я часто потом повторяю, сидя в уголке, вспоминая худое лицо Солдата и его сиповатый голос: Кузьма... Кузьма-а...

А вот уже и прощаться надо с Кузьмой.

Вот передняя перед столовой, стол в углу, где всегда стоят два самовара, тот самый стол, куда посылают меня за капризы – на задний стол, к музыкантам. За столом сидит мой отец, в парусиновом

пиджаке, а перед ним у стенки стоит Кузьма. Но теперь он совсем другой, чем всегда. Он не в опорках, как в бане, и не в кафтане. Он в сапогах и в настоящей солдатской шинели. На груди у него три медали и серебряный крестик. Он, кажется, еще выше стал и прямей; и лицо строгое у него, и сероватые волосы стоят, как щетка; но все та же белая сережка в ухе и красная царапинка на щеке.

Почему я так ясно все помню, до мелочей? Ведь уже больше тридцати лет прошло, а так ясно все помнится! И даже как Кузьма переступал с ноги на ногу, и даже как уронил свою старую кепку, и все, все, как будто в душе у меня написал кто книгу с картинками, и я ее сейчас перелистываю и читаю. И синеватые, бритые щеки, и подстриженные усы, и серые глаза...

– Смотри, Кузьма... – говорит отец, – уже не молод ты. Верно, за правое дело идешь, за веру, за отечество...

– Так точно-с... – говорит Кузьма, перекладывая из руки в руку кепку. – На что-нибудь и я пригожусь, человек бывалый... Там бывалые-то нужны. За хорошее дело хочу постоять, а там что Бог даст...

Я стою за сундуками, смотрю, слушаю, и хочется мне заплакать. Мне жалко Кузьму. Мне жалко, что он уходит совсем.

– От сна отбился, все дума у меня... – тихо говорит Кузьма. – Значит, надобно мне идти...

Отец вынимает из кошелька деньги, – не рубль, а бумажки: одну, другую, третью, – и дает Кузьме. Тот говорит, что так много ему не нужно. Но отец велит ему взять, говорит про зиму, про сапоги, про табак: пусть он сам все себе купить. Говорит, что сам хочет одеть его для службы, и надо ему все новое.

Потом начинается беготня. Приносят белье, вяжут все в большой узел. Кладут папиросы, мыло, колбасу, апельсины, чай-сахар. Кузьму сажают в передней к столу, угощают вином и всякой закуской. Кузьма сидит на табуретке, завернув под нее ноги, ест колбасу и вытирает рукавом рот. Нянька стоит у стенки, покачивает головой, «сокрушается», – так у нас говорят про нее, когда она начинает трясти головой на руке, – и просит Кузьму:

– Кушай, батюшка, Кузьма Петрович, радеть ты наш! Воевать-то будешь – и наголодаешься, и наголодаешься. Может, внучка моего где встренешь, – поклонись от меня...

Я прячусь за сундуками, боюсь подойти к Кузьме, – вот-вот заплачу.

Ну, вот он уже и закусил, и напился чаю. Нянька сует в карман его жесткой шинели пару красных яиц, припасенных ею от Пасхи, связку сдобных баранок, лимончик, кланяется низко-низко и говорит:

– Пошли тебе Господь Батюшка невредимо воротиться... За святое дело трудишься, Кузьма Петрович.

– А вам счастливо оставаться, Василиса Микитишна... покорнейше благодарим за ласку... за нас помолитесь... – говорит ей Кузьма и тоже низко кланяется.

И много раз все кланяются и кланяются они друг дружке.

Входит отец, обнимает Кузьму, и, вижу я, у него на глазах слезы. Кузьма три раза целуется с отцом, вертит головой, точно христосуется. И все наши целуются с Кузьмой на прощанье. Тут и я выхожу из-за сундуков, трусь у стенки, трусь около серой шинели, от которой пахнет собаками и дегтем, дергаю за полу и зову:

– Кузьма! Кузьма-а...

Он нагибается ко мне, смотрит веселыми глазами и берет под мышки, как в бане, когда несет на полочку. Через застилающие слезы я вижу красивый белый крестик на желтенькой ленточке и медали. Он, покалывая усами, целует меня несколько раз, опускает на пол и смотрит с улыбкой, избочив голову.

– Кто ж теперь мыть-то будет, а? Ну-ну, ничего... – говорит он, садясь на корточки. – Как с туркой разделаемся, опять будем мыться. Я еще, может, тебе гостинцу какого от турки привезу...

Я плачу, вцепившись в его шинель, от которой пахнет собаками и дегтем. Он отводит меня рукой и встает. Говорит – «счастливо оставаться» – и спускается в кухню. Я вижу его стриженный затылок и подрагивающую серьгу. Все идут в сени, откуда можно еще раз попрощаться в окно. Кричат Кузьме. В боковое окно сеней мне видно, как из каретного сарая выходит наш толстый кучер, старик Авдоким, вытирает на ходу грязным фартуком руки и подходит к Кузьме. Они говорят о чем-то, Авдоким бежит в каретный сарай, сейчас же выбегает в синей своей поддевке, запирает сарай и спешит за Кузьмой, оглядываясь в окна сеней. Отец машет ему – пусть идет. Потом говорит, покачивая головой:

– Теперь закрутит, мошенник. Ну, Бог с ним.

Я знаю, что это такое – закрутит. Это значит, что Авдоким будет лежать скоро в каретном сарае и петь песни, а лошадей запрягать и ездить кучером будет дворник Гриша. Потом Авдоким придет в кухню и будет просить прощения. И его простят. Потом он пойдет к Иверской служить молебен и опять будет кучером.

III

Вот уже и осень, и холода, а нет и нет никаких вестей о Кузьме-добровольце. Так у нас его называют. Летом о нем забылось за играми.

Опять водит меня нянька в баню и поручает парню-насмешнику. И уже не спрашивает парень, – Солдата мне или рыжего Левона. Прямо посылает за Левонем. Левона я не люблю. Он молчит, точно набрал воды в рот, и совсем не умеет мыть. Мочалка у него жесткая, а не особенная, как у Кузьмы, он больно царапает голову ногтями, окачивает то холодной водой, то как кипятком, не носит на полок парить и ничего не рассказывает. Только разве и скажет сердито:

– Еще раз голову мыть буду.

Скучно мне с ним, и безо всякой охоты хожу я в баню. И сверчки теперь кричат по-другому, и не страшно мне почему-то, словно и банный хозяин ушел отсюда с Кузьмой, и старые водяные крысы. Все другое. Только защуришься иногда – и вдруг представится, что это Кузьма гремит тазом, что это Кузьма покрякивает и выплескивает из шайки. Откроешь глаза, – нет, не Кузьма.

А вот и морозы. И ни одной-то весточки от Кузьмы! Может быть, уж и нету его на свете? Говорят у нас, что много полегло наших солдат под какой-то Плевной. Там засел самый плавный турецкий генерал Осман-паша, который почему-то кажется мне похожим на нашего толстого Авдокима. Может быть, и Кузьма полег?

Помню я, – говорили еще о каких-то горах, засыпанных снегом: будто стоят на этих горах наши солдаты, а турки все хотят сбить их с высоких гор. Я спрашиваю няньку:

– Когда же придет Кузьма?

– Может, и совсем не придет. Сложил, может, наш Кузьма Петрович косточки свои на чужой земле, царство ему небесное! Нет и

нет весточки от него...

И вдруг, перед Рождеством, пришло от Кузьмы письмо. Так ясно помню, даже синий толстый конверт. И буквы в письме большие, с мой ноготь, кривые, все вверх и вниз, как и у меня, когда я пишу палочки по линейкам.

– Давно написал, еще летом... – сказал отец. – А жив ли теперь, ничего не известно.

Я знаю, что убили на войне племянника нашего Авдокима; он приходил раз чинить нам качели. Привезли без ноги сына нашего лавочника. Мимо наших окон часто провозят в больницы в холщовых фурах с красным крестом раненых. Бывало, сидишь на окне и ждешь, вот повезут. Кричат с улицы! – везут – и бегут все, кто к воротам, кто к окнам. И видны под холщовой крышей повязанные в белое головы, руки... Няня крестится, шепчет:

– Господи-батюшка... страдальцы наши безвинные-неповинные... мученики-защитники. И чего это турка какая поганая на земле развелась, попустил Господь? Никому от нее покою нету...

И хоть знаю я, что турки – обыкновенные люди, как и все, и уже видел их на картинках, от этих слов мне становится неприятно и жутко. Когда расшалишься к ночи и не хочешь идти в постель, нянька станет у двери и захрипит:

– Сейчас кликну бушубузуку!

И про баши-бузуков я знал уже, но все же затаишься и спросишь:

– А что такое бушубузука?

– Тигра такая турецкая, вот что!

– Нет, не тигра; а турка на лошади, сорвиголова!

– В тебя, думаешь? Погоди, по-годи... А не будешь спать, он и сюда прилетит. Слышишь...

Я слышу, как няня нарочно стучит в стенку, но все же мне почему-то страшно. Я прячусь с головой под одеяло и начинаю думать о Кузьме, о сверчках в пузыречке, – хорошо бы опять наловить их, – о моей лошади, у которой облупились все ноги и слезли с картона все пятнышки, о пушке, которая стоит на стуле рядом и заряжена горохом – на ба-ши-бузуков, об оловянных солдатиках в белых коробочках из еловой стружки, которых мне все обещают купить и все не покупают, о Рождестве... За окном метель воет и шипит и даже постукивает чем-то в печке. Что это?.. Выставишь

голову в прохладный воздух полутемной комнаты. Стоит смиренно на стульчике пушка, заряженная горохом, глядит в темный угол. Храпит няня.

- Няня! Ня-ня!
- Ну, чего еще?!
- Не храпи-и...

IV

Уже стаял снег, когда воротился Кузьма. Помню я, как вошла в комнаты няня и сказала, всплеснув руками:

- Кузьма-то Петрович... в куфне сидит! воротился!!
- Ей не верят, – шутит? Няня крестится и повторяет:
- Сидит там... саблю показывает!
- Тащи его сюда! – кричит радостно отец.

И вот стучит нижняя дверь, и я вижу большой мешок, обшитый позументом. Потом показывается и сам Кузьма, звякая и громыхая чем-то по лестнице.

Кузьма... Он, как будто, совсем другой – худой, старый, с особенными глазами, выглядывающими далеко из-под лба. Он в той же шинели, только зашитой веревочками, в той же, как будто, кепке с порванным козырьком, только сапоги почему-то у него желтые, словно он их покрасил. Да, вот почему он стал, как будто, другой: у него седая борода! И еще новое: у него теперь три креста, два серебряных и один золотой. Нет, он совсем другой, старый-старый. У него и голос другой, свистит и шипит. Да у него нет передних зубов, и потому, пожалуй, рот стал гораздо шире!

А вот и сабля, большая, в железе; это она так гремела по ступенькам.

Кузьму целуют, спрашивают, держат за руки, ведут в комнаты. Кузьму угощают обедом, и не на заднем столе, а вместе со всеми. Спрашивают, почему он похрамывает, отчего у него нет зубов и не отморозил ли он лицо. Он говорит, что похрамывает от пули, которая, слава Богу, умная шельма оказалась – сама на волю выскочила; передние зубы выбил ему один «молодчик ихний», хотел по виску зацепить прикладом, а соскользнуло у него дело это, «зубами

заговелся». Узнают, что Кузьма сильно пообморозился на высоких горах, где померзло много народу.

– Кушай, батюшка, Кузьма Петрович... болезный ты наш... защитник... – причитает от стенки няня, утирая слезы.

– Ешь! Кузьма, ешь! – говорит отец. – Сколько крестов-то нахватал!

– Дали... – тихо отвечает Кузьма. – Этот вот, серебряный, товарищи присудили, потому было нам пять крестов на роту нашу за спасение орудиев... мы их на себе в гору вывезли сквозь турок, от неприятеля. А золотой я принял от князя... приколот мне сам на параде...

– За что же золотой-то? – спрашивают Кузьму.

– Да полковника ихнего забрал живым.

Я не свожу глаз с Кузьмы: ведь это не простой, не настоящий Кузьма, а совсем особенный, который замерзал на горах, видел Осман-пашу и взял живого полковника ихнего. И потому посадили его со всеми, как гостя. Нет, это совсем не простой Кузьма.

После обеда наступает самое плавное. Кузьма развязывает коричневый мешок, турецкий мешок, и вынимает подарки. Тут все самое настоящее, турецкое. Тут красные турецкие туфли без каблуков, прошитые зелеными нитками, – есть и на мои ноги маленькие; тут и красные фески с черными кисточками, – досталась и мне одна. От туфель и от фески пахнет чем-то необыкновенным, турками пахнет. Такого запаха больше я никогда не слыхал, – будто и чернослив, и кожа, и что-то еще. Отцу моему Кузьма подносит турецкую саблю, которую сам отбил на каких-то горах. Это – огромная сабля, гораздо больше меня, страшно тяжелая, страшно гремучая и пахнет тоже чем-то особенным, может быть, порохом. У ней черная рукоятка в рубчиках, зашитая в кожу. Я не могу поднять эту саблю, да и сам Кузьма вытащил ее из железной крышки, чуть-чуть помахал и сказал, что тяжелая.

– Очень здоров был турка! Вон и пятна остались, – показал он на рыжие пятна, – заржавела.

Много лет прошло с того дня. Теперь сабля эта висит у меня на стене, и я отдал ее своему сыну, этот кусочек далекого прошлого, мертвый кусочек, с которым связано у меня столько живых и важных, до слез трогающих воспоминаний Я эту саблю теперь хорошо знаю. Я

знаю, что она немецкой работы: на ней есть клеймо прусского города – Золинген. Да, немцы продавали тогда туркам оружие, как продают и теперь, в эту великую войну народов. Но это все же подлинная «турецкая» сабля, отбитая Кузьмой на горах. Я недавно осматривал лезвие этой сабли, хорошо смазанное салом, чтобы не было ржавчины. Да, так и остались рыжие пятна, на которые показал Кузьма пальцем. Ржавые пятна! Нет, нет, это не только ржавые пятна! Это следы бывшего страдания, следы русской крови, пролитой на холодных высоких горах. Пусть навсегда сохранятся эти рыжие пятна ржавчины.

До вечера остается у нас Кузьма. Он сидит на диване, курит из бумажки «турецкий табак» и рассказывает про войну. А где же *та* трубка?

Уходя, он за что-то благодарит. Ему-то за что же благодарить?! Он же сражался с турками и принес нам подарки! С собой он уносит узел, из которого торчит уголок стеганого пальто: должно быть, ему подарили пальто. На прощанье он трогает меня за кисточку фески и говорит весело:

– Такие же вот и турчонки махонькие. Мыться-то будем, а? Вот приходи в субботу.

Я смотрю на него снизу вверх и благодарю глазами. И потом думаю: неужели же он и теперь будет мыть меня? столько крестов у него!

Да, он по-прежнему меня мыл.

Помню, как я вскарабкался на диван в предбаннике, – я уже умел это делать, – а парень-надоеда сказал:

– Теперь можно и Солдата позвать!

Так и осветилось все в комнате, хотя в ней и так было светло.

И было все так, как раньше. Знакомо хлопнула дверь на пружинке, послышалось знакомое кряканье, шорох сухого веника и шарканье опорков. И опять прежний Солдат-Кузьма. Ни шинели, ни крестиков. На нем белая рубаха, накинут рыжий кафтан, на голове знакомая кепка с порванным козырьком.

– Здравия желаю! – говорит он, вытягиваясь и козыряя.

Я страшно рад, я счастлив при виде Кузьмы. Я спешу вынуть из кармашка припасенный для него подарок, который я сам придумал, – маленькую оловянную пушечку на колесиках, которую можно возить

за ниточку. Он берет ее, вертит, ставит на свою большую ладонь, отводит руку и смотрит. Парень хохочет:

– Блох тебе из ее стрелять, в самый раз!

– Ты ее себе на столик поставь, – говорю я Кузьме. – Там у тебя были такие пушки?

– Маленько побольше, – отвечает Кузьма, перекатывает пушечку на ладони и осторожно ставит на окошко, за моей спиной.

– Это я тебе... это твоя пушечка!

– Моя-а?

Он очень рад, улыбается, покачивает головой, берет пушечку, опять ее перекатывает на руке и называет меня чудачком.

– Ну-ну... поставлю у себя на полочку на знак памяти.

И опять все так, как всегда... Полутемная банька, и сверчок, и Кузьма. Он все так же моет меня, царапает голову, мягко-мягко намыливает особенной своей мочалкой, осторожно переворачивает на спинку, несет на полку, похлестывает веничком. Потом забирается на самую верхнюю полку, в страшную жару, побрякивает там и начинает:

– А там-то мо-розы были... вот какие мо-розы были-и!.. А-а... хорошо кости попарить... а-а... Да-а... Нашего брата померзло там, на горах на Балканских!..

– И ты мерз, а? мерз, Кузьма? – спрашиваю я.

– Как все, так и я. Всю себе морду я там обморозил. Вот когда я до теплоты-то добрался...

А сверчок потрескивает-сверчит – цырр-цырр...

– Где же твоя трубочка-то, старая-то? – вспоминаю я.

– Да что, брат... какое дело-то вышло, – говорит он. – Утерял я ее там, на горах... Сказать не могу, как жалко. Когда мерз-то, так, брат, покурить захотелось, обогреться... сказать не могу. Достал я ее, а руки-то занялись, захладили, она у меня в снег-то и упали... как провалились. А метель была. Весь снег перерыл – нет и нет, чисто как сгибла. Как стает снег, турка какой-нибудь найдет. Так жалел, так жалел – сказать не могу!

И мне так жалко той трубочки, что хочется плакать.

– А англичана не видал опять?

– А чего ему там делать. Там, брат, я турки вот досыта навидался.

– А турка тебе ничего не подарил?

– Как не подарить, подарил. Вот тут вот... – показывает он на ногу, под коленом, – в самое это место стукнул меня пулькой, да, спасибо, выскочила. Вот сюда вот...

Я поднимаюсь к нему, в самую жарницу. Пробую ногу, чувствую, – жестко тут и ямка, как будто. Теперь у него, значит, три пули.

– С туркой, брат, не шути! – говорит Кузьма. – Он мастер драться. Драться с ним – одно удовольствие!

– А не говорил с ним в канаве?

– В какой канаве? А-а... это как с англичаном-то? Не случилось. А коль бы случилось, отчего не поговорить. Как под Плевной мы стояли, – крикнешь, бывало: «Эй, ты! здравствуй, Осман-паша!» а он сейчас и отзовется: «Сала маленько!»^[38]. По-ихнему значит – здравствуй! А то – «кошке алтын!» – кричит. Значит, как вы проживаете, и всякая штука. Ничего, народ хороший... Да ведь и то сказать: он за свое про свое воюет, а мы тоже за свое. Так оно и кружится – кто за что. Ну только, конечно, мы за правду, за православных христиан...

Дремлется в теплоте и полутьме полка, сверчит сверчок, а Кузьма все рассказывает про турецкие сады, про большой турецкий город, где продают туфли и ковры, хороший табак и многое. Но пора. Он подхватывает меня и несет скачивать. Вот и последний таз, и я жду – скажет ли он, как раньше. И слышу радостно:

– Много лет, сударь, здравствовать – не помирать, мылиться-париться, крыс, мышей не бояться, с легким паром оставаться!

Да он совсем прежний – хороший и веселый, И еще не раз мыл он меня, и не раз приносил я ему что-нибудь «на знак памяти»: хрустальный шарик, сводную картинку, карамельку. И много лет мало кому известный, только в большие праздники надевавший свои кресты, знаки незаметного геройства, нес он мало почетную свою должность парильщика при банях. Потом стал слабеть, стали сильнее кричать в нем забытые, было, раны, и его поместили в военную богадельню.

Теперь его уже нет на свете, но, как видите, от него кое-что осталось, о чем не грех рассказать.

Праздничные герои

Они заявлялись на Рождество. Может быть, приходили и на Пасху, но на Пасху неудивительно, а на Рождество, когда такие морозы, а они заявлялись в прюнелевых ботинках, в легких пальтишках без пуговиц и каких-то кургузых кофтах и долго не могли говорить с холода, а попрыгивали в кухне, у печки, – это осталось в памяти.

Откуда они являлись и куда уходили? Теперь я знаю, куда идут они и откуда приходят, а тогда... тогда я считал их диковинными и сам хотел бы пойти с ними, в их необыкновенную жизнь.

– А где они живут? – спрашивал я старую няньку.

– За окнами! – говорила она сердито.

За окнами... За окнами – снег, запушившиеся белым деревья, морозное солнце в дыму. Значит, они там, везде?

– А почему у кормилицы сын мошенник?

– Пустая балаболка... – сердилась нянька. – Мороз вон в окошко смотрит.

Смотрю на черные окна в елочках – мороз там. И *они* там, живущие за окнами. Я ничего не знаю о них, и жалко мне их почему-то, и весело, что они есть и завтра опять придут.

А вот и завтра. Оно пришло после ночной метели, в ярком солнце и крепком морозе. У меня заломило в теплых варежках пальцы и запищали ноги в меховых ботиках, пока я шел от обедни. А они уже подбираются. Вот кто-то шмыгнул в ворота, – уж не Пискун ли?

В парадном позванивает звонок, позванивает по-разному. Теперь в редких домах сохранились эти милые старенькие звонки, каждый со своим голоском. Теперь пошли электрические, – один, как другой. Теперь не узнаешь, звонится ли богач-родственник, который, бывало, звонился крепко, которого боялся звонок и голосил так, точно вот-вот разлетится; или это дальняя родственница, старушка в потертом салопчике, которая все раздумывает, не пройти ли с черного хода, и робко звонится, чтобы поздравить и молчаливо напомнить, что ее еще не стащили на кладбище.

Чуть слышно звякнул звонок, точно его задели тряпочкой. Это, конечно, старичок-лавочник, торгующий в доме тридцать пять лет. Он совсем беленький, точно его почистили к празднику мелом и забыли встряхнуть. Он говорит прибаутками, приносит коробочки с монпансье и весь сладкий: пахнет винными ягодами, мятными пряниками и царе-градским стрючком, сладким и вязким духом, который сохранился еще в бакалейном ряду. Он поздравляет с высокаторжественным днем, пьет чай вприкуску, где-нибудь с уголка, и внимательно слушает, что говорят другие. О нем забывают, и он уплывает незаметно. А звонок крепнет и крепнет – приходят люди солидные. И чем дальше – храбрее звонит звонок.

А там что?

Я знаю, что с черного хода идут *они*. Сбегаю вниз, к кухне, приоткрываю дверь и заглядываю. А, вон он, Пискун!

Пискун сидит на лавке, возле лохани. На нем кацавейка с разными рукавами – один поновее, светлые брюки и дамские меховые сапожки, под бархат. Уши повязаны грязным шарфом, красным с зелеными полосами, и рыженькая борода торчит прямо, точно сломалась. Я знаю, что у него нет ушей, – он отморозил их, когда уснул на снегу. Кто он – не знаю. Но у него такой тонкой голос, – должно быть, и голос он отморозил, – что его все жалеют и зовут Пискуном. Даже наш толстый кучер, который со всеми ругается, говорит жалостно:

– Пискун, ты, Пискун... пропащая твоя головушка!

Глаза у Пискуна всегда плачут, а руки дрожат. Он сидит тихо и ест пирожок над горстью, чтобы не пропадали крошки. Это для него вчера собирали старые сапоги и брюки, вязали в узел и отослали на кухню... Пискуну дадут сапоги и брюки.

– А Пискун кто? – спрашиваю я няньку.

– А вот будешь из рюмочек допивать, вот и будешь Пискун. Таких-то ероев вон сколько на улице-то... Значит, Пискун герой... А другие – тоже герои?

Рядом с ним сидит плотник Семен, безрукий. Давным-давно он делал курятник и поставил высокие качели в саду. Но тогда были обе руки. Он одет хорошо: в черном, со сборами, полушубке, с цветной вышивкой по груди, в белых, с розовыми разводами, валенках. В левой руке у него кулечек с крашеными кирпичиками: это он принес мне

подарок, как и в прошлое Рождество. Правый рукав полушубка набит мочалом и тряпками, – он давал мне пощупать, – затянут внизу ремешком для тепла и болтается, точно толстая колбаса. Руку его съел антонов огонь.

– С турками воевал, барчук! – говорил он, посмеиваясь.

За ним сидит бледная женщина с узелком, в тальме с висюльками, худая, как смерть. На коленях у ней мальчуган в голубой шубке-матроске с якорьками на пуговках, в серой барашковой шапочке с болтающимися наушниками и в красненьких рукавичках; на щеках у него розовые полоски, в руке пирожок, на который он смотрит, в другой – розовый пряник. Должно быть, от пряника розовые полоски. Кухарка трогает его носик и дает куриную лапку. Но взять не во что, и женщина сует лапку ему в кармашек.

А что наверху? Там новые люди. Все в сюртуках, с красными лицами, в белых воротничках. Стоят у стола и побрякивают. И мне хочется крикнуть. А когда пьет диакон, огромный, с пышными волосами, и крикает, у меня вздрагивает в груди. Но тут все известно.

А там что еще, на кухне?

Тут народу прибавилось. Я вижу мою кормилицу. Она сидит в ковровом платке и плачет. Почему она плачет? Она что-то рассказывает. Должно быть, про то, что у нее сын мошенник. Я слышу, как она все повторяет:

– Пачпорта не дает...

Скрипит мерзлая дверь, и входит человек, которого называют «подбитый барин». Он не похож на других, может быть, барин, но почему же «подбитый»? Он высокого роста, в узеньком легком пальтишке, в грязной фуражке, как околоточный, без калош. Кланяется слегка и становится к печке, совсем близко ко мне. Я хорошо вижу его синий нос, длинные черные усы и выпуклые глаза. Он побрякивает, как господа в сюртуках, и вынимает из кармана конверт.

– Доложите хозяевам... – говорит он строго и крикает. В кухне смеются и не хотят идти вверх.

– Народы! – говорит барин, похлопывая конвертом.

Приходят еще, занимают все лавки, дышат на красные руки. Приходит Василь Сергеич, попрыгивает. Под мышкой у него серое

суконце, где фокусы, и он непременно будет жевать салфетки и плотать рюмки.

В передней накрыли стол. Стоит зеленая «четверть», лежит на тарелке колбаса. Сейчас будут вызывать снизу.

– Пискуна!

Пискун едва лезет по лестнице – у него ноги не слушаются. Подтягивается на перильцах, а красное лицо перекосилось, точно он вот заплачет.

– Со днем Рождества Христова... – жалобно пищит он и вдруг начинает плакать.

Почему он плачет? Что у него отморожены уши или потому, что не слушаются ноги? Я смотрю на его руки – они красные, в трещинах, и ему, конечно, больно.

Ему дают рубль, угощают водкой, но он не пьет. Начинает рыться в кармане и вытаскивает бумажку. Там маленькая коробочка, а под стеклышком шумят разноцветные сахарные зерна-драже.

– Дозвольте сударю... очень занятно им... – пищит он, протягивая мне коробочку.

Я беру и убегаю в столовую. Какая коробочка! А что ему дать? У меня есть хрустальные шарики, с залитыми в них пестрыми ниточками, но мне жалко отдавать шарики. Я ему солдатика подарю – без головы который. Я нахожу солдатика, но Пискуна уже нет. В передней стоит кормилица. Она обнимает меня, целует мокрым лицом своего выкормыша и начинает поспешно шарить в карманах. Достает апельсин и шоколадку в бумажке, на которой нарисована башенка. Почему мне жалко ее, и я сам начинаю плакать? Я прижимаю холодный апельсин к глазам и через щелочку смотрю на кормилицу. Она смотрит на меня и покачивает красным лицом.

– Ну, поздравь...

Она долго отказывается взять рюмку, пьет, жует колбасу и все поглядывает на меня. Она желает нам очень много. Мне она желает расти всем на утеху.

Где она, выкормившая меня? Теперь бы я мог многое сказать ей, посмотреть, какая она, спросить, как живет и почему у нее сын мошенник.

Появляется и подбитый барин. Он размахивает руками и играет фуражкой. Выпить отказывается. Он теперь совсем не выносит духу, и

у него даже «не проскочит по случаю пищевода».

– Ну, а попробуй...

– Разве по случаю великого праздника, – хрипит он. – Позвольте же в сей высокаторжественный день...

Он не берет колбасы, выпивает молча еще, и еще, и еще. Вынимает из-под грязного жилета конверт и дрожащими пальцами вытягивает из конверта бумажку. На ней в уголке розовый ангел в золотых завитушках и кудряво написано синей краской: Рождество Христово!

– Вот-с, дозволейте воспроизвести... от избытка собственного трудолюбия!..

Он читает внушительно, положив руку на грудь, и трясет головой. Усы у него повисли, как будто плачут.

И пусть ничто за этот праздник
Не омрачает торжества!

Он вдруг опадает, склоняет голову, сует листочек и говорит, будто точит ножи:

Поднес по-чтительно-с... про-казник
В сей день Христова Рождества-с...

Все смеются. Смеется и подбитый барин. Он говорит, что имел честь получить ласковое наименование – проказник и потому вставил для увеселения, чтобы оживить стих.

И еще поднимаются снизу, чтобы принести поздравления. Разные, которые живут за окнами. Уходят и благодарят, уносят в своих узелках что-то до следующего Рождества. Куда? – Не знаю.

Шумят в зале. Здесь Василь Сергеевич, из-под Девичья, показывает фокусы. Глокает рюмки и таскает их у меня из кармана, жует салфетки, гоняет магической палочкой шарики под железными колпачками, ест эти шарики, давится, и вдруг начинает вытаскивать изо рта веревки. Ходит на голове, крякает уткой, пилит губами, говорит животом, наконец, плотает ножи и начинает таскать их из каблука. Смеются краснолицые господа в сюртуках и дают

гривенники. Он лыс и стар, серое у него лицо, все оно в лапках и цапинках. Но он ничего, все улыбается и приглашает всех под Девичье, где играет на балагане. Гремят трубы в снях. Сени деревянные, промерзшие, гулкие. Словно там разбивают стекла и ломают стены. Это пришли музыканты – «последние люди».

– Береги шубы!

Есть слух, что музыканты потаскивают шубы, но их пускают.

Впереди выступает длинный, как жердь, с красным шарфом на шее и головой толкачом. Он с огромной медной трубой, которая больше меня. Дует так, что мне страшно, как бы не выскочили и не разбились его глаза. За ним серенький старичок крючком, с вытянутым, как у мышки, лицом, дует в маленькую трубу, и еще толстенький, с маленькой головой, с огромным заплатанным барабаном. Он колотит култышкой, точно колет дрова. Все зажимают уши, но музыканты серьезны. Играют «Камаринского», «Славься, ты славься», «По улице мостовой», а Василь Сергеич ерзает на одной ноге.

Вот и прошел день. Опять в черные окна смотрит мороз, поблескивают елочки на стеклах. Я дремлю. Снова проходит весь день, тихий теперь, в молчаливых фигурах. Думаю, где теперь все они, эти люди? Чего у них *там*?

Еще год проходит, еще приходят они, но их меньше. Сплыли куда-то...

Смотрю на коробочку с пестрыми зернышками.

И теперь иногда вижу я эти коробочки. Ими торгуют старушки на уголках из корзин: на ветру и пыли ярко смотрит пунцовая сахарная клубника, красные петушки, розовые пряники-ломучки. И их-то редко встречаешь. Ушли и коробочки, и кормилицы, и подбитые барины, и Пискуны. Может быть, есть они все, но в домах их что-то не видно. Может быть, их убирают куда-нибудь, чтобы не шмыгали зря? Может быть, всем им назначили по теплomu месту? Может быть, как-нибудь под сурдинку наделяют целковыми, и они не прыгают по морозцу? Много иного пошло теперь. Вот везде теперь электрические звонки, и по ним не узнаешь, кто просится. Много света на улицах, везде образцовый порядок, исправные швейцары на подъездах, и ворота под наблюдением. И не легко разыскать черный ход. А морозы все те же, а жизнь стала строже и сумрачней. Хмурится, хоть и в огнях вся. И

кормилицы еще выкармливают чужих... А хотелось бы и теперь встретить долгого человека с медной трубой, смело входящего в чужие дома – поздравить.

Как мы летали

(Из воспоминаний приятеля)

I

Было это на Пасхе... ну, конечно: еще Петьку Драпа облизал хоботом слон, а Драп растрогался и прожертвовал слону луковое яичко! Теперь я хорошо вспомнил прошлое.

Я снова маленький, на мне желтый костюмчик и башмачки на пуговках. За эти башмачки Драп дразнит меня девчонкой. Да, сапоги куда лучше! Вон у Васьки были сапоги – со скрипом, на гривенник скрипу в них было; даже собаки пугались. Милый Драп! Вот его плутоватая рожица, измазанная сапожным варом, и белые голодные зубы, которые всегда что-то грызут. Я и теперь еще помню кислый запах сапожного клейстера и острый дух черной дратвы. Помню и удивительный подвиг Драпа на Даниловском кладбище, где и теперь, быть может, все еще полеживает в пруду старый сом; и милых жуликов в нашем саду, в беседке, с которыми провел ужасную ночь незабываемый Драп; и погибших голубей-чистяков, по которым Драп плакал... Сколько всего! О старой кляче Сахарной, как мы ее выручали от коновала, я уже рассказал когда-то^[39]. Про сома и про жуликов даже и вспомнить страшно. А вот лучше я расскажу веселенькую, – а пожалуй, и не совсем веселенькую, – историю о том, как мы летали.

Мы живем на большом дворе, – его уже нет теперь! Тут садишка, с яблоньками и березками без верхушек, сараюшки и погреба, колодец, в который можно звонко плевать, и очень большая лужа. Васька и Драп любят прыгать в ней босиком и нарочно брызгают на мой чистый костюмчик. Это мои друзья. Васька – сын сапожника Прохора, с нашего двора. Ему лет девять, он на целую голову выше меня и такой тонкий, что может быстро пролезать в подворотню.

Драп в науке у Прохора: учится сучить дратву и носить сапоги заказчикам. Он еще выше Васьки, мордастый, кулаки у него

железные, а грудь чугунная. Он часто выпячивает ее и предлагает «попробовать»:

– А ну, попробуй! Бей, на! Кулаком бей!

На вихрастой голове его много плешинок, словно ее ощипывали. Васька говорит, что это оттого, что «учит отец сучить дратву».

– А почему он – Драп?

– А в таком пальте к нам пришел, весь рваный! Отец и прозвал.

Да, у Драпа пальто особенное, до пяток, без пуговиц, черно-зелено-желтое, на спине нашиты разные лоскутки, и наш дворник Гришка называет это пальто фракком. Конечно, на смех. Мы с Васькой признали Драпа героем с той поры, как он, сидя на заборе, насыпал какому-то барину сухого навозу на шляпу-цилиндр. За это он три дня высидел на веревке, на хлебе и на воде. Старичок лавочник, у которого из сарая «убежал» ящик медовых пряников, пообещал Драпу:

– Быть тебе, язва, на каторге, как пить!

А Прохор так и сказал, когда я сунулся было проведать друга:

– Я ему еще голову оторву! – и такое сделал лицо, что Драп метнулся, словно летела в него колодка.

Славился и Васька, и потому было у него еще два имени: Меченый и Хорек. Меченый – это за красное пятно на лбу: приложил кто-то утюгом. А Хорьком ни за что прозвали: таскал хорек яйца у скорнячихи из сарая, и Васька даже видал хорька, как он «нес яйцо в лапках», а все думали на него. Но он и не думал обижаться, а про «меченого» говорил даже с гордостью:

– Бог шельму метит!

Я тоже подавал некоторые надежды прославиться. Тот же лавочник, старичок Трифоньч, предсказывал мне даже горькое будущее:

– Уж и выйдет из тебя пе-рец!

Но мы пользовались и любовью. Особенно нас любили стекольщики, мороженщики и метла дворника Гришки, которая по нас даже плакала. Гришка всегда говорил:

– Эх, плачет по вас метла!

Итак, дело было на Пасхе.

Сияло солнце, трезвонили на колокольнях и чуть-чуть начали зеленеть березки в саду. Васька сидел на курятнике в новой, гремучей, розовой рубахе, которую уже успел располосовать заборным гвоздем, и ловил голубей в петельку, на крупу. Но голуби знали хитрость и не шли. Я тоже подманивал, но и ко мне не шли. Драп ободрял: теперь только успевай огребать пятаки! Обещал ему заказчик один, аптекарь, по пятаку за голубя: любил жареных голубей. Вот Драп и старался из всех сил и гремел по крышам, заганивая к нам голубей. Но голуби только метались с крыши на крышу. А «пятаков» было много. Мы с Васькой на одном только амбаре насчитали сорок три «пятака»! Драп сердился, что мы очень громко дышим и что Васькина розовая рубаха портит все дело, и придумал самый верный способ: ловить по десятку сразу. Только бы достать столярного клею и налить на крышу. Сами и будут приклеиваться! Но тут прибежал Копченый, кузнецов мальчишка, и заорал, словно его зарезали:

– Чего я скажу-то! Француз на шаре летит! Вот ей-Богу!

Он так принялся божиться и креститься, что мы сейчас же поверили, бросили ловлю и узнали, что вчера приходил от портных к кузнецам в гости земляк и звал глядеть всех на зверей, которые живут в саду, рядом с портными, и на француза. В сад можно прямо через забор, – так все портные ходят, а то дорого, – из сада и полетит француз. Полетит он под шаром, на одной руке, заберется в самую высь, а оттуда сошвырнется вниз головой на зонтике. Тут уж мы не поверили, но Копченый так принялся божиться, так стучал себя в грудь кулаком, что Драп задумался и велел мальчишке поцеловать крест. Мальчишка поцеловал. Тут все поверили. Драп погрозил ему кулаком, если надует, и побежал с Васькой готовиться в дорогу. А я посмотрел на окна: не пустят с ними! Но когда мальчишка сказал, что француз, может быть, расшибется сегодня вдребезги, – все говорят, что обязательно расшибется, – я решил, во что бы то ни стало бежать, хоть и без шляпы.

Пока Драп с Васькой бегали, мальчишка выиграл у меня в орлянку пару яиц, выменял картинку из сахарного яичка на гайку, – чикать змей гайкой на нитке куда лучше, чем камушком! – съел яйца и сказал в утешение, что без шляпы бежать даже легче. Прибежал Драп и велел мальчишке собираться. Он был уже совсем наготове: надел

старый, обсаленный сюртук без пуговиц, до самых пяток, подаренный ему хорошим заказчиком, – совсем как пальто! – надел новый картуз за три гривенника, сползавший ему на глаза, и выполоскал в луже опорки. Васька был очень нарядный: был он в пиджаке до колен и с длиннейшими рукавами, так что мог даже хлестаться, в сапогах со скрипом на гривенник, а на голенища выпустил гороховые штаны. Кузнецов мальчишка помылся под колодцем, размазал сажу и посмотрелся в лужу, чисто ли вымылся.

– А ты не ходи! – строго сказал мне Драп. – Задавят еще.

Тогда я вытащил из кармашка заветный кошелечек красного бархата, маленький, как пакетик для порошка, и показал, как смиренно лежит там новенькая бумажка – рублик.

– Я бы там мороженого купил... – сказал я Драпу просительно. – Я всех зверей знаю. Это Зоологический сад называется...

Драп помял кошелечек, тронул бумажку и сказал с завистью:

– Ишь жила какая... а не показывал! Смотри, выпорют тебя!

Васька с кузнечонком тоже подержали кошелечек, и Васька сказал:

– Возьмем. Может, и не выпорют.

И мы помчали.

III

Драп сунул опорки в карманы сюртука, чтобы легче бежать. Васька тоже скинул сапоги и мчался, раскачивая их за ушки. Кузнечонок был совсем налегке: оказывается, его послали за луком в лавочку, а он убежал с нами. Я бы тоже разделался с башмачками, да было долго расстегивать, и чулки еще были. Мы бежали, вспрыгивая на тумбы, а Драп лихо гикал и напевал свою песенку:

Эх, шильце в руках,
Щетинка в зубах,
Сам при хвартуке!

По дороге завернули на колокольню и позвонили. Заплатил за нас Драп сторожу пятак. Милый Драп! Он любил угощать на свои скудные пятаки. Он купил на уголку у старушки пяток луковых яиц, дал нам по яичку, а пятое спрятал про запас. Тут же мы их и съели, кокнув о тумбочку.

На мосту, помню, остановились «покупать шары». Они так ярко сквозили на солнце, красные, синие, шуршали бочками, и пахло от них радостным праздником, чем-то неуловимым, что и теперь еще напоминает весну, синее небо и балаганы под Девичьим. «Покупал» шар Васька. Он торговался долго, мальчишка-торговец оторвал наконец самый маленький, взял за ниточку в зубы, чтобы надвязать подлинней, но тут Драп сделал, как и раньше частенько, свою «штуку» – накрепко ущипнул мальчишку, тот вскрикнул, а освободившийся красный шар понесся в простор, становясь все меньше и меньше. И стал как клюковка.

И мы тоже понеслись в пространство!

Дорога была дальняя. Кузнечонок вел нас проходными дворами, где играли шарманки, задирали мальчишки, пугали метлами дворники. И веселый же был этот бег под перезвон с колоколен, мимо цветных гроздей шаров, мимо лавчонок, в окошках которых празднично висели сахарные яички, мимо лотков с красными и розовыми грудями пряников, мимо ящиков на колесах с соломкой, на которой были навалены горки красных и лиловых яиц, на которых играло солнце! Оно и с нами играло. Драп ржал, как жеребенок, подкидывая черными пятками, подпрыгивал и срывал зазеленевшие ветки, свесившиеся из-за заборов. Пахло теплой навозной пылью. Во дворах обдавало приятным холодком от залежавшегося в тени синеватого крупчатого снега, по которому обязательно пробегали Драп с Васькой, выдавливая следки. С этих снеговых холмиков кое-где мальчишки катали красные яйца. Пасха, милая, далекая Пасха! красные скорлупки, по-особенному радостные, лотки с апельсинами, треск пистолетиков, гнусавый писк жестяных дудок, пиликающие гармоны приодевшихся и уже захмелевших мастеровых! Чудесно! Праздник!

В каком-то большом дворе, помню, лежали огромные рыжие котлы. Мы влезли в них и погукали, и Драп сказал, что в таких котлах черти на том свете кипятят грешников. Он все знал! Скоро кузнечонок

шмыгнул в ворота и объявил нам пугливым шепотом, что здесь-то и живут портные.

– Вон она, музыка-то играет!

Доносило трубы и барабан, совсем как на гулянье, где балаганы. Во дворе у забора густо росла бузина, а за бузиной возились мальчишки, как воробьи. Они набегали во двор и пропадали за бузиной, словно проваливались сквозь землю. Стоял под бузиной взъерошенный человек в красной рубахе, без пояса, с красными опухшими глазами, босой, и держал картуз. Мальчишки кидали ему в картуз копейки и ныряли за бузину. Кузнечонок замялся, заежился, но Драп сказал:

– Смотри, Копченый, ежели ты наду-ул!.. Кузнечонок перекрестился и юркнул в какой-то подвал.

Скоро он оттуда выскочил, как пробка из пистолета, запрыгал на ножке и забожился. За ним тяжело выбрался хромой старик с завязанным глазом.

– Да ей-Богу, дяденька Василий... да отсохни глаза, лопни руки... свои земляки, с нашего двора! – кричал кузнечонок, прыгая бесом.

Хромой пригляделся к нам одним глазом, словно пырлял, дал для чего-то Копченому подзатыльник и сказал взъерошенному человеку под бузиной:

– Пропусти так, земляки мои... У, чертенята!

Тут он заухал, словно на зайцев, и еще закатил Копченому подзатыльник.

– Не буди до времени!

Тут мы поняли, что портные дело наладили ловко: проделали в заборе дыру в сад, – соседи были с садом, – и пропускали за пятаки желающих. Потом кузнечонок рассказал, что и садовый сторож, гулявший за забором, все это знает и даже считает на бумажке, сколько прошло от портных.

– Лезь, мразь! – крикнул взъерошенный, у которого в картузе было порядочно медяков, мы проскочили в дыру, а за нами раздался голос взъерошенного:

– Наши это, землячки!

– Ладно! – сказал сторож с медным кружком на груди. – Больно у вас земляков много!

Да, это был сад, новый сад. Я уже знал его, но бывал зимой. А теперь дорожки были желтенькие, зеленела трава, сверкал пруд, деревья тронулись в зелень, а за проволочными сетками шустро перепархивали птицы. Всюду развевались сине-красные флаги и важно колыхались грозди цветных шаров. По дорожкам гуляли господа, чистая публика, и прилично попрыгивали дети в красных и синих шапочках и чистеньких пальтецах с якорьками. Драп было заробел и заметался, – уж очень чудён он был в своем сюртуке до пяток, – но тут встретилась нам кучка мальчишек, даже без картузов, и Драп храбро сказал:

– К слонам пойдём!

Он еще у забора надел свои опорки, которые поминутно сваливались, и все запахивал сюртук, чтобы не видно было его красной рубахи. Васька засунул руки в карманы пиджака и ходил важно и с таким скрипом, что дети показывали пальцами. Кузнечонок и совсем ничего не боялся, даже толкнул какого-то гимназиста, мешавшего ему смотреть на белку. Я... но я был ничего себе, совсем как настоящая публика, только без шляпы.

Мы обежали весь сад и на берегу пруда, перед беседкой в виде огромной раковины, где сидели солдаты-музыканты с ясными трубами, увидели большой-большой, величиной с дом, желтоватый, будто прозрачный шар. Он покачивался слегка, придерживаемый толстыми канатами. Обычной корзины не было. Вместо нее висела трапедия – палка на двух веревках. К шару нас не пустил солдат, погрозил. Барин, державший на руке девочку в белой шляпке, спросил солдата, скоро ли полетит.

– В пять часов, не скоро, – сказал солдат. Оставалось еще часа четыре. Раненько мы забрались!

Пошли плазеть на зверей.

У медведей, за железными прутьями, Драп еще прокутил пятак: купил ситничек и ткнул самому крупному бурому медведю под язык, на белые мокрые зубы. Тут и я тронул бумажный рублик. Потом мы с Драпом прожертвовали по пятаку белому медведю, мотавшемуся на мягких желтых лапах по скользкому порожку, у грязной воды.

Кузнечонок с Васькой взяли у меня «взаймы» по гривенничку, и пришлось дать, хоть и знал я, что отдадут они на том свете угольками. Потом пошли обезьяны, от которых воняло так, что даже Драп зажал нос, но кузнечонок ухитрился-таки вырвать у обезьянки сочную морковку из лапки и съел с Васькой.

– Обей вы дураки! – сказал Драп. – Идем к филинам!

Филин дремал на камнях и только приподымал веки, а не вылезал. Драп знал филинов и сказал нам, что это не настоящие, а так: настоящие филины кричат. Тут они с Васькой выломали из куста толстый прут, всунули за решетку и столкнули филина с камня. Он свалился, как пакля, подергал крыльями, постучал клювом со злости и опять убрался. Да, это был не настоящий: даже и тут не кричал. Зато закричал Драп, когда какой-то старик в очках ухватил его за ухо и рванул.

– Я тебе попугаю!

Уже бежал сторож от пруда, но мы перемахнули лужком и затерялись в толпе. К слонам!

V

В огромном сарае было очень жарко и пахло слонами. Так и сказал Драп. За рельсовыми перилами стояли два слона, прикованные за толстые серые ноги цепями. Они погромыхивали этими цепями и все кланялись, поматывая ушами и хоботами. А то принимались покачиваться, словно качали воду. Я слонов знал, но знал их и кузнечонок, который перекувырнулся на рельсовой перекладине, чтобы показать нам, что он тут как дома. Но Драп с Васькой притихли, и, видимо, были поражены. Особенно Драп. Он не отрываясь смотрел, как слоны вытягивали хоботы и брали ситнички. Загибали их кверху, словно хотели закинуть к потолку, и, закрывив хобот, засовывали ситнички в узкий розовый рот под клыками; потом сладко жевали, поматывая грузными хоботами, покачивали ими, словно хотели вот-вот размахнуться. Драп смотрел, зачарованный, и все повторял:

– Как жрут-то!

А слоны плотали и плотали ситнички, словно работали машины. Драп выставился вперед, положил подбородок на перильца и все смотрел. Мы уже напляделись, Васька тянул идти дальше, к тиграм, – тигры людей едят! – но Драп и не шевельнулся. Что его поразило в слонах – так и не сказал он, но потом всегда говорил, когда вспоминал о саде:

– Как жрут-то!

Может быть, потому так говорил, что всегда хотел есть и всегда голодал.

Он порылся в карманах. Оставался последний пятак от праздничных пятаков заказчиков. Он тронул за рукав старика сторожа и сказал жалобно:

– Ну, последний прожертвую!..

Сторож дал ему ситник. Драп показал ситник слону, тот потянулся хоботом, но Драп не дал. Тогда слон поклонился Драпу: ну, дай! Тут Драп уже не смог продлить своего удовольствия, отдал ситник и с разинутым ртом смотрел, как и его ситник пропал под хоботом. Слон потянулся хоботом к Драпу, сдернул с него картуз и... Драп крикнул, словно его ущипнули:

– Ай!

Новый картуз, купленный за три гривенника, понесся под потолок, покрутился там и погрузился в пасть... Драп пронзительно вскрикнул. Но это только показалось, что в пасть, а просто – слон пошутил, будто все знал про Драпа: как он гордился своим картузом, купленным на пятаки заказчиков. Он только попугал, посмеялся и ловким взмахом, играючи, положил Драпу картуз на вихрастую голову. Вот так торжество было! Драп запрыгал и лихо оглянул всех. И не успел хорошенько оглянуть, как слон снова потянул хобот, Драп уже выставил голову, чтобы опять прогулялся его картуз, но... слон только скользнул хоботом по Драповой роже, облизал мокрым кончиком, будто даже пощекотал Драпа под подбородком, – Драп так и говорил, что «здорово пощекотал, как теркой!» – и поклонился. И тут все поняли, что понравился Драп слону.

– А это ты ему, значит, ндрависься... – сказал сторож Драпу.

Ваське стало досадно. Они с кузнечонком натравливали слона на свои картузы, почмокивали и свистали, но дело не выгорало. А Драп пустился нашаривать по своим карманам, – не завалилось ли там чего.

Вынул бабку-свинчатку, моток ниток, кусок вара, гайку. И вдруг в заднем кармане своего сюртука нащупал спрятанное про запас луковое яичко. И показал слону: на! Слон нерешительно потянул хоботом, – должно быть, никогда не видал яичка, – не камень ли? Обнюхал и осторожно прихватил с черной ладони Драпа неожиданный дар. Опять понес высоко-высоко, повертел под потолком, словно показывал всем, какая у него штучка, загнул хобот, направил яичко в пасть и... задумался. О чем он задумался? Думал ли он, что Драп – ведь слоны умные – просто хочет сшутить с ним шутку и дал ему камушек, или – кто знает! – может быть, пожалел Драпа, но только опять покачался, словно в глубокой думе, развернул хобот и протянул Драпу яичко – возьми! Но Драп не взял. Он даже помотал головой и убрал руки за спину. Тогда слон поклонялся, опять покачался, пофыркал даже, словно хотел сказать что-то, – ведь слоны умные! – и тихо-тихо положил яичко на рельсовые перильца! И оно осталось лежать! Оно осталось лежать на покатых перильцах. Это действительно было чудо! Все смотрели, как лежало яичко, словно приклеенное.

– Не желает твоего яичка, – сказал сторож.

Но Драп яичка не взял.

– Пусть съест, все одно... – стал твердить он, пряча за спиной руки.

Тут слон будто понял. Он взял яичко и тихо постучал им по рельсе. Оно слабо треснуло и осталось лежать. Это всем страшно понравилось. Публика надвинулась на нас, разглядывала Драпа. Какой-то парень хлопнул Драпа картузом по плечу и крикнул:

– Сам трескай, больше ничего. Слон не опоганит!

Тут Драп проснулся, облупил яичко, скусил половинку, а другую протянул слону. Слон взял и съел.

– Разговелся! – крикнул мастеровой, и все засмеялись.

Пора было дальше идти, но Драп не двигался, как мы его ни толкали с Васькой. Кузнечонок вертелся на рельсе и совал слону грязные пятки на потеху публики, – Драп и на это не обращал внимания. Он дернул меня за руку и сказал жалобно:

– Здесь бы остаться... со слоном... Кормили бы его...

Это было бы хорошо! Под крышей перелетали голуби, воробьи мышами шмыгали на сене, в углу. И такое веселое солнце было в этом

гулком сарае, с окошками наверху. Сюда не придет Прохор, не шваркнет колодкой и не пообещает отмотать Драпу голову. Хорошо спать на сене... Вытянет слон хобот, пощекочет за вихры, как это он сейчас сделал. Да, понравилась ему Драпова голова. А что? Не почуял ли он невеселую жизнь Драпа?! Может быть, плешинки на Драповой голове что-нибудь сказали ему? Кто знает... Может быть, в серых, грустных глазах Драпа было что-то особенное, что понял огромный слон, много выдавший, потерявший свою свободу. Ведь и Драп был в неволе...

И долго потом вспоминал Драп слона. Бывало, сидим на крыше, чикаем змеи. Небо над нами высоко-высоко, ласточки в нем играют, дрожит нитка чужого змея, трещит «посланник» по нитке, Драп смотрит-смотрит да вдруг и скажет:

– Эх, слона бы теперь повидать!..

Слоны... Драп все сараи, все заборы исчертил во дворе «слонами». Выпросил у меня «звериную» книжку, где был нарисован слон, и все срисовывал, чтобы выходило лучше. И достиг! Таких слонов рисовал и углем и мелом, что даже дворник Гришка попросил его «начертить про слона» на стенке его сторожки, возле ворот. И начертил же Драп! Этот слон, во всю стену, даже смеялся, а хобот его шел винтом, как тогда, с яичком. Так и нарисовал с яичком, только яичко вышло величиной с арбуз.

Драп занял у кузнечонка пару пятаков – Копченный носил их во рту, как в кошельке, – стравил на ситнички для слона, задолжал мне еще двугривенный, потом еще и еще, обещая отплатить голубями, и даже обругал нас с Васькой, что мы не даем больше. Он до того надоел сторожу с приставаньем – откуда слон, и сколько он стоит, и сколько ему годов, – что сторож плюнул.

– Да уйди ты, смола! Ну, чего тебе нужно? Украсть, что ль, его хочешь?

Когда вышли мы из слоновника, Драп широко разинул рот, словно собирался плотать что-то очень вкусное, поморгал и сказал так необыкновенно, что меня даже удивило, какой Драп стал добрый:

– Эй, Колька! Слон, прямо... по-братски!..

Пора было идти к французу. Мы послонялись по домикам и клеткам, – Васька выщипнул у белки из хвоста пучок волосков, на память, – и попали на большую площадку, где было много столиков. Тут сидели богатые господа и кушали. Им приносили на столики лакеи во фраках и с салфетками на плече всякие вещи в серебряных кастрюльках и лодочках, и так хорошо пахло жареным и пирожками. Играла и здесь музыка, а господа слушали и кушали. Нам страшно хотелось есть. Васька так и шмыгал между столами, заглядывая в рот и в тарелки. И кузнечонок. А Драп остановился против толстого господина, в цилиндре, и жадно смотрел, как тот грыз и обсасывал косточку. Перед господином стояла жареная курица с воткнутой в нее вилкой. Смотрел, словно говорил:

– Дяденька, дай!

И таки добился. Господин протянул Драпу вилку и сказал строго:

– Ну, проходи, проходи!

Кузнечонок вертелся около двух белых барынь, которые ели целую грудку красных раков и запивали из стаканчиков.

– Мальчик, тебе г'аков хочется? – картаво спросила одна из барынь.

Васька заорал: «Гаков, гаков!» – и завертелся на ножке. Погнал его лакей салфеткой. Мы долго крутились у столиков – уж очень хорошо пахло, а у нас вышли все пары и донимал голод. Стали укорять Драпа: пожертвовал все слону! Пахло рябчиками, – знал я этот чудесный запах! – а Драп уверял, плотая слюни, что это наваристыми щами. Васька говорил, что бараниной, а кузнечонок, у которого началась икота, с визгом божился, что это пахнет кашей из поросенка.

И я забыл правило – не глядеть в рот. Помню, как одна барыня с красными девочками, кушавшая ветчину с пирожками, укоризненно покачала головой и сказала:

– Мальчик, а ведь неприлично глядеть в рот.

Так меня и ошпарило, хоть провалиться. Но тут Васька до того озлился, что ему хочется есть, что стал на голову и прошелся между столами, корячась в воздухе сапогами, от которых несло дегтем. Барыни повскакали, боясь, что сапоги попадут к ним в тарелки, и стали звать лакея. Тут наконец нас выгнали салфетками, а какой-то толстяк во фраке пообещал нарвать уши.

Но тут вдруг зашумели голоса – шар летит! И мы кинулись, забыв голод.

VII

На широкой площадке теперь была гибель народу. Стояли на скамейках, напирали к шару. Музыканты трубили в ясные трубы. Шар важно покачивался на своих веревках. Васька согнулся и юркнул между ногами вперед, за ним полезли кузнечонок, и Драп, и я, боясь затеряться в толпе. Нас нажимали коленями и ругали, но мы в один миг вырвались к кругу, где было свободно. Шумели голоса:

– Француз! француз!

Что-то праздничное было во всем. Обширная площадка, посыпанная желто-красным песком, была оцеплена тысячами народу, а шар в этом кругу был словно пойманный – не уйдешь!

– Француз! Француз идет!

И мы наконец увидели этого удивительного француза. Он появился из домика возле музыкантов, похожего на избушку, в удивительном костюме. Васька даже крикнул:

– Го-лый!

Конечно, француз был не голый, – что мог знать Васька! – а как акробат из цирка. Он был в розоватом трико, обтягивавшем его стройное тело. На груди и на поясе сверкал, как драгоценные камни, цветной бисер-хрусталики, – зеленый, золотой, всякий. Руки были совсем голые и с такими наростами мускулов, что все так и зашумели:

– Ну и здоров француз!

Очень красив был этот француз, – курчавый, чернобровый, с густыми черными усами и розовыми щеками. Он остановился на порожке беседки и послал всем нам воздушный поцелуй – вот так. Все закричали «ура!».

А француз поклонился, приложив руки к груди, и весь засверкал дрогнувшим бисером. Драп потом говорил: «Весь в огнях!»

Подпрыгивая, как цирковой наездник, француз подбежал к шару, приложил кончики пальцев ко рту и развел руками: опять послал поцелуи и поклонился. Тут Васька заорал первый:

– Урра-а!!

Не мог удержаться, встал на голову и подрыгал ногами. Кругом пошел смех. Кто-то прихватил Ваську за ноги и подергал. Даже француз заметил и посмеялся. Он даже послал нам – я это отлично заметил – особенный поцелуй. Драп потом спорил, что это ему послал: смотрел прямо на него; но кузнечонок божился, что ему: француз будто бы прищурился и погрозил ему пальцем. Васька считал, что ему за то, что он прошелся на голове. Что бы там ни было, но мы таки получили поцелуй от француз. Потом француз взял сигару у господина в цилиндре и в перчатках, с красным галстуком, у того самого, который ел курицу, покурил наскоро, разглядывая публику, и все шурился. Хорошо он курил. Затянется скоро-скоро и выпустит в ноздри.

– Напоследок накуривается! – сказал кто-то. – То жив-жив, а то и... вдребезги!

Кузнечонок шипел мне в ухо:

– Обязательно расшибется, ей-Богу!

Драп толкнул меня, сделал страшные глаза, мотнул на француз и прохрипел:

– Вот!

Хотел ли он сказать этим, что вот, мол, скоро расшибется француз, или хотел выразить свой восторг отчаянной храбростью, – не знаю. У меня колотилось сердце за француз. Даже присмирел и Васька. Сказал только:

– Курит-то как отчаянно!

Француз курил наскоро, частыми затяжками, поглядывая на сигару, и как будто думал о чем-то. Может быть, о своей судьбе. Поглядывал на небо – высоко, черт возьми! Подрагивали на солнце его хрусталики. Может быть, слегка и дрожал француз... Кто-то вытолкнул Драпа вперед и крикнул:

– Чего глядишь-то, лети!

Драп съежился и подался назад. Да, страшно было. Кто-то детским голоском плакал, должно быть, тоже боялся: «Мама-а...». Только музыканты не боялись. Они так трубили и гремели, словно хотели всех развеселить и подбодрить француз. А тут господин в цилиндре, ковырявший перышком в зубах, махнул рукой, – и к шару явился лакей с подносиком, а на подносике был стаканчик с чем-то золотистым.

– Лекарство ему дают! – сказал кучер с подрубленными волосами, в синей безрукавке. – Значит, чтобы покрепше был. Дорожка тоже дальняя.

– Еще куда попадет! На том свете-то этого не попробуешь, да.

Француз взял стаканчик и опрокинул в рот. Усмехнулся, вытер усы поданным ему красным платочком, тряхнул головой, словно хотел сказать: погибать так погибать! – хлопнул в ладоши, подвигал руками, чтобы вольней было, и, запрокинув голову, поглядел в небо, будто примеривал – высоко ли. Поглядели и мы. Вы-соко! Пущенный кем-то красный шар казался клюковкой в синей бездонной дали. Голова кружилась.

– Пускают! – закричали голоса.

VIII

Да, отпускали шар. Господин в цилиндре, помахивая тросточкой с зажатым в руке розовым платочком, указывал десятку солдат, как надо отпускать шар. Те вертели что-то руками, разматывали с валиков канаты, на которых покачивался палевый шар – дом. Француз молодецки крикнул: «Алло!» – подпрыгнул и опять хлопнул в ладошки, и подпрыгнул на нем шумящий, сверкающий пояс с висюльками. Стало жутко. Я уже влюбился во француза, в его курчавую голову, в его розоватые ноги, в его отвагу. Драп выставился вперед и, слышалось мне, постукивал зубами. Только кузнечонок все повторял: «Расшибется, ей-Богу, расшибется!»

– А ты, дурак, молчи! Этим не шути! – сказал кучер. – Жалеть человека надо, а он...

– Матушки! – закричал кто-то пронзительно. – Вскочил, никак!

Француз подпрыгнул, схватился за трапецию под шаром, раскачался и, ловко перевернувшись вниз головой, сразу сел на трапецию. Сел и опять послал поцелуй.

– Ну, могуч! – сказал кучер. – Что за отчаянный! беда...

Да, француз ничего не боялся. Даже принялся раскачиваться, словно это ему одно удовольствие. Покачивался и покачивался под музыку, а шар подымался и подымался на канатах толчками. Был он теперь порядочно от земли: упади – разобьешься. Господин в

цилиндре глядел на француза, задрал голову, и что-то кричал не по-нашему. Француз подергал за веревочку от какой-то кишки сбоку шара. Эта-то кишка и был тот зонтик, на котором он должен был швырнуться на землю, – сложенный и смятый, как повисшая серая тряпка.

– Стой! – крикнул господин солдатам.

– Ну, ежели у его голова закружится... – пугающим голосом сказал кучер. – Шабаш тогда!

Нет, у француза голова не кружилась. Он весело крикнул: «Адье!» – плюнул даже, – и Васька видел, и кузнечонок, – махнул красным платочком и... я подумал, что он свалился. Но это нарочно он, чтобы попугать. Он вдруг соскользнул с трапеции, словно падал, схватился одной рукой за палку трапеции и повис в воздухе. Мало того! Чтобы еще сильнее удивить и напугать, он подтянулся, вцепился зубами в палку, да так и повис, покачиваясь. Так все и завывали внизу, а кузнечонок завизжал:

– Нет, не расшибется!

В этот жуткий момент господин в цилиндре крикнул: «Пускать!» – шар рванулся, хлестнули по воздуху четыре конца веревок, и шар с французом потянул вверх и вбок, за музыкантскую беседку. Концом веревки плеснуло по крыше беседки, – и пошел шар выше и выше, подгоняемый загремевшими литаврами и еще громче зазвеневшими трубами. Мы задирали головы и колыхнулись с толпой, куда-то бежавшей. Но не надо было бежать: шар был хорошо виден. Француз уже сидел на трапеции и обеими руками, ничуть не держась, посылал нам воздушные поцелуи. И вдруг уронил платочек. Как красная птичка, поплавал платочек в воздухе и плавно опустился на свеженькую березку. Какие-то мальчишки уже полезли за ним, стаскивая друг дружку. Уже не помню, что было дальше. Мы были в небе! Француз выламывался под шаром и теперь казался маленьким мальчиком. Шар становился не больше куля с овсом, потом вдруг...

Первым заверещал Драп. Он так заверещал, словно ему свернули голову.

– Швырнулся!!!

Швырнулся француз. Это был один миг: вдруг перекувыркнулся шар, рванулся в сторону и завертелся волчком – легко ему стало. А француз канул с него камнем – черкнуло в воздухе. Десятки красных

и синих шаров, пущенных как привет французу, мелькали в глазах и путались, но все же француза стало видней. Он как будто тише падал теперь и вдруг остановился, стал длинным-длинным, вытягивался на наших глазах и... над ним вырос красивый широкий зонтик. Это раскрылся над ним парашют, с протянутыми к французу веревочками, захватил воздуха, раздулся и стал медленно опускаться. Очень медленно, как опускается пущенный с крыши дома издыхающий детский шар. Француз был теперь хорошо виден. Вытянув руки и ноги, он падал стрелкой, как длинный гвоздь; мелькнул за крестами дальней церкви, за садом, и провалился. Думали мы, что это близко совсем, тут же за садом где-то. Но скоро господин в цилиндре собрал на круг публику и сообщил нам, что отважный француз совершенно благополучно сел на Ходынском поле и скоро явится приветствовать почтеннейшую публику. Закричал «ура», и все закричали. А шар... шар теперь был хорошо виден. Он что-то похудел, словно из него выпустили газ, и, пошатываясь, опускался тряпкой.

Только теперь я почувствовал, как у меня ослабели ноги, — должно быть, от страха за француза. Да и все ослабли. Драп сидел на травке и скреб в голове. Васька лежал на брюхе и спорил с кузнечонком, который уверял, что тут просто жульничество, что это просто — отвели всем глаза и пустили такую-этакую куклу... под француза. А настоящий француз соскочил, дескать, за беседкой и прячется в избушке. Драп до того озлился, что схватил кузнечонка за ногу и так дернул, что чуть не оторвал ногу. Тогда кузнечонек признал, что он просто наврал, чтобы было смешно.

— Дурак, — сказал Драп. — А француз молодчина!

Скоро пришло известие, что француз наскочил на дерево, когда опускался, и распорол себе бок. Потом заговорила публика, что француза привезли на извозчике замертво, и он так устал, что насилу ноги волочит. Потом появился господин в цилиндре, что-то жевавший, опять крикнул «ура!» и вывел за руку француза из избушки. Вывел и стал раскланиваться, словно он-то вот и летал. Француз раскланивался, прижимал руку к сердцу, но уже не посылал поцелуев. Он казался страшно усталым и был бледен как смерть. Он все поджимал ноги и дрожал хрусталиками — вот-вот упадет, словно его били по ногам, а глаза его были белые, как у вареной рыбы. Кто-то сказал:

– Недолго и помереть так-то. Ишь как его вывернуло! Да, бедность чего не заставит вытворять... Есть которые сабли плотают.

И уже совсем другим, не героем, представился мне француз этот. Бедность! И эти блестящие стекляшки – бедность. И эти поцелуи – все та же бедность. Этот вон толстый господин не полетит, ему и на земле хорошо.

– Еще раз – ура храбрецу! – прокричал господин и потер руки.

Драп сказал:

– Эх, лучше бы и мне летать, чем в сапожниках! По крайней мере, уж либо голову сломил, либо...

Да так и не досказал, что еще – либо.

А уж наступил вечер, давно пора было возвращаться домой. Вот тут-то и начало сосать сердце. Помню, собрались мы у медведей, к слонам уже не пускали, поздно. Драп предложил было идти на Москву-реку и там заночевать на плотках, а то Прохор насмерть будет лупить.

Даже звал и совсем остаться на реке, ловить рыбу и голубей и торговать для пропитания. Васька соглашался только ночевать, а то можно помереть с голоду. Кузнечонку было все равно, хоть на шаре лететь. Он стал божиться, что хозяин лупит его калеными железными прутьями: раскалит добела и лупит. Кузнечонку без порки не обойтись, – это все понимали: все еще в лавочку за луком бегают с самого утра, а уж и ночь на дворе, уж и фонарики зажигаются. Ужасно хотелось есть. Стали, на меня глядя, нить и Васька с кузнечонком: страшно идти домой, а надо. Тогда Драп выправил грудь, стукнул в нее кулаком и крикнул:

– Черти вы, черти! Меня больше всех лупить будут, а не боюсь! Француз смерти не боится, и я не боюсь! Двум смертям не бывать...

Это всех ободрило. По дороге пугнули на прощанье филина с камней, и он заверещал так, что стал настоящим.

Драп наконец-то признал его за настоящего. Вышли уже через вход, теперь сиявший белыми фонариками-кубастиками, под музыку. Потом страшно далекий путь, ночные улицы, ужасные камни, набившие ноги до волдырей. Потом расплата. Но самое важное... А вот.

Помню веселый перезвон на колокольнях... Был последний день Пасхи, суббота. Помню, принесла монашка освященный артос, кусочек огромного пшеничного хлеба, что лежит всю Пасху на аналое в церкви, а в субботу раздается как святой хлеб. Я сидел узником в детской, на ключе. Мне принесли стакан молока и ломоть хлеба. И вот монашка принесла мне кусочек артоса – «на радость и на здоровье». Какая радость? Радость, что меня заперли, что сняли с меня башмаки, чтобы я не убежал как-нибудь в окошко? Нечего сказать – радость! Наступил вечер. Но я был не один в запертой комнатке. Со мной было то, чего нельзя ничем запереть, чего нельзя отнять – мои думы, мои мечты. Со мной, в моих грезах, был чудесный француз, его звонкие хрустали, его воздушные поцелуи, трапеция и шар в синеве неба. Я летел вместе с ним, летел в бездонность, где вольная воля, где играют звезды. Вон они, звезды. Они заглядывают и ко мне в темницу через молоденькие душистые листочки старого тополя под окном. Хорошо бы туда, в темно-синий простор, где нет этих скучных часов, отмеривающих своим скрипучим маятником медленное время; где нет насмешника – Гришки, который называет меня «рестантом» и уверяет, разговаривая со мной в окошко, что Драпу Прохор «всю голову отмотал напрочь»; где нет этого надоевшего двора, такого будничного теперь, после волшебного дня, проведенного в сказочном саду, где француз-герой швыряется камнем с неба, где живет умный слон, где звери из дальних стран. Где необычная жизнь, где все другое.

Я знаю от того же Гришки, что ему велено нарезать прутьев, свежих березовых прутьев, которые так чудесно пахнут. Может быть, он нарочно это сказал, чтобы помучить? За что же еще-то наказывать?! Ведь уже другой день я на ключе и босой. Я уже знаю от Гришки, что кузнечонка на улице не видно, – может быть, уж и помер от «каленых прутьев», – что Васька «сидеть не может», так его отшпандорили. И мне сказано строго, что теперь кончена моя беготня с уличными мальчишками, что нет теперь для меня двора, а сапожников с нашего двора заставят съехать, чтобы они меня не портили. Это ужасно. Это такие мои друзья, без которых и жизнь мне не в жизнь. Портят меня!.. Чем же они меня портят? Я думаю и думаю уже целый день об этом. Драп... Но я не знаю никого лучше Драпа.

Пусть ни Васьки не будет, ни этого плута кузнечонка, который унес у меня этой зимой бархатные саночки с бахромой и заплатил мне за них чугунную бабку и три копейки. Но Драп... с ним мы могли бы уйти куда-нибудь далеко-далеко... Сколько раз манил он меня за Воробьевы горы, в далекий путь... Там где-то, верст за сто, а может быть, и за тысячу, – его Бронницы, его деревня, где ловят прямо руками огромных раков, где сена столько, что не уложить в наши сараи, а зимой такие горы снегу, что санки катятся целый час. Там, в его лесах, живут волки, всякие, злые и добрые, про которых он мне рассказывал много-много. Там целые поля сладкого гороху, огурцов сколько хочешь, а грибов и брусники столько, что не унесешь. Там ночью пасутся лошади, и Драп сторожит их у огонька, на речке. Там можно всю ночь печь в горячей золе картошку и есть напролет всю ночь. Там сороки трещат на каких-то ригах. И там не бьют по голове колодкой, и никто его не шпыняет там. Только теперь изба у него забита, мать померла, а всех их, пятерых братьев, роздали в люди – в сапожники и по трактирам в мальчишки.

Хорошо бы... Если бы там жила его мать, мы бы ушли. Я бы стал помогать ему возить дрова из лесу, молотить, косить... И не надо было учить, как Авраам сидел у дуба, а звук *E* пишется вот так, а говорится вот так.

– Колька... – неожиданно позвал меня голос Драпа. Драп!!

Я подбежал к окну и увидел Драпа. Он сидел на тополе, едва видный в темноте вечера.

– Сидишь, Колька?

– Сижу... А тебя лупил Прохор?

– Наплевать, – говорит Драп дрогнувшим голосом. – Потерплю еще малость, а то убегу. А тот француз далеко живет?

– Не знаю. А что?

– К нему бы уйти... А то заколотят все равно. Знаешь что, я одну штуковинку придумал...

Он говорит шепотком, шипит, и я чую, что «штуковинка», которую Драп придумал, необыкновенное что-нибудь. Может быть, он такое придумал... может быть, хочет убежать в деревню?..

– Драп, голубчик, иди ко мне... я тебе доску положу гладильную...

– Нет, ты лучше иди ко мне, а то еще накроют меня у тебя – тогда мне смерть. Лезь сюда, я тебе лепешечки дам. Земляк из деревни привез, угостил.

О, я знаю эти чудесные черные лепешки, с соломинками, с зернышками овса и с дырочками, похожие на пряник! А мне так хочется есть. Я мигом всовываю через окно на тополь гладильную доску, Драп подхватывает ее и кладет концом между суком и деревом. Теперь можно и перемахнуть. Доска лежит прочно на подоконнике и в тополе. Я делаю шаг, доска колыхнется, а до земли высоко, можно разбиться.

– Иди же! – шипит Драп. – Э, трусишка... барин, кошку жарил!

– Я боюсь, Драпик... насмерть ведь...

– А француз-то! – говорит лихо Драп. – Гляди, на!

Он лезет на доску и шагает ко мне. Тополь дрожит, кончик доски постукивает на подоконнике, но Драп идет смело. На серединке спускает ноги и даже подпрыгивает сидя.

– Ничего не боюсь, плевать!

Я лезу к нему на коленках, он подбодряет и отодвигается. Совсем не страшно! Внизу журчат растревоженные куры в курятнике. Я уже на тополе, Драп дружески обхватывает меня, и слышу я, как пахнет им, самым настоящим Драпом, – сапогами, варом и чем-то едим. Мы сидим в тополе, на суку.

– А что, – говорит Драп мечтательно, – слоны далеко живут?

– Далеко. Они живут... за морями, где горячая Африка.

– Да, далеко. А француз оттуда?

– Француз... Он тоже далеко... Француз из Франции.

– Может, врешь ты все? А француз где – там слоны есть?

Я не знаю, но мне вдруг приходит в голову, что обрадуется Драп, и я говорю:

– Там и французы бывают. Робинзон Крузо... Я тебе дам книжку. И попугаи там...

– Знаю я попугаев. Это которые билеты вытаскивают.

Верно. Ходит по дворам у нас черномазый мальчишка с зеленым попугаем и дает за три копейки выдернутый попугаем билет «на счастье».

– Попробуй-ка, – говорит Драп, – какая у меня шишка на башке. Всю голову разломило, кружится..

Я пробую, но в темноте не видно. Я шарю по вихрастой голове, Драп берет мою руку и направляет. Вот. О, какая шишка, с кулак!

– Наплевать! – говорит Драп отчаянно. – Все равно, в воскресенье, завтра, опять убегу туда. Все равно. Встану завтра чем свет, наловлю голубей десятка три, стащу к Розен-бергу в аптеку... А что, не возьмут меня к зверям служить? Обучили бы со зверями заниматься, стал бы как работать! А что, Франция это далеко? пешком дойти можно?

Не знаю я, но кажется мне, с этого тополя, теперь все далеким.

– Далеко, Драп... тыщи верст! Не дойти пешком.

– Эх... – вздыхает Драп. – Да, не дойти. А кузнечонка хозяин в погребу на цельную ночь запер.

– А что у тебя за штуковинка? говорил-то?

– Только, слышь, не сказывай никому, – шипит Драп. – Я обязательно полечу, стараться буду. У скорнячихи зонт огромный есть, на погребнице лежит... на рынок она его для торгу берет всегда...

– Это белый-то? Да, замеча-тельный! – говорю я и начинаю понимать штуковинку.

– Белый. С таким зонтом не пропадешь... можно сколько хочешь полететь. Завтра залезу на амбар и полечу, а потом и с вашего верху, с самой крыши... Ежели с третьего яруса слечу лихо, тогда с чего хочешь тебе слечу! Потом с Казанской колокольни попробую... Хочешь, и тебе могу дать?

– А страшно-то!

– Дурак, страшно! Тот-то эн с какой высочищи летает! А что, у французов сапожники есть? Ну, ты узнай поверней.

– А чего?

– А не сфискалишь? Ну, вот что. Может я... ты только не сказывай... я еще, может, убегу... все равно мне здесь не жить. До меня вон Алешка жил, ему Прохор руку перешиб и печенки отбил колодкой. Захирел-захирел и помер в деревне. Убегу!

Мне становится страшно. Что будет, если уйдет Драп? Тогда все пропало. Меня охватывает такая тоска, такая боль щемит сердце, что я хватаю за руку Драпа, в горле у меня режет, глаза жжет, и я не могу выговорить слова.

– Не убегай, Драп... милый... мы лучше... вместе уйдем... У меня в копилке три рублика есть... Папаша помер... все равно...

– Нет, тебе никак нельзя... – говорит Драп. – У вас дом большой, лошади, все богатство. А я голый, сам себе голова. Буду идти, идти... по разным дорогам, по лесам... странники разные так идут... а то, может, на разбойников наскочу, они к себе возьмут. Есть добрые разбойники. Дойду до Серги-Тройцы... А то к цыганам попрошусь, по дорогам буду ездить с ними, кур воровать. Все равно, наплевать! Только вот писать не умею...

– А тебе зачем... писать?

– А то как! Зайду далеко, а как тебе письмо написать? У меня, может, деньги где откроются, клад найду? Тогда мы здорово бы...

– Тогда можно корабль купить! – говорю я. – Накупить товаров – и к черным народам, к ефиопам поехать, к туркам...

Так мы мечтаем долго-долго. Уже совсем ночь. Уже давно слышим мы окрик жены Прохора:

– Драп, лешман! Куда тебя запропастило, чертененка? Лохань выносить ступай!

– Дался я им! – злобно говорит Драп. – Колодками кормят, черти... Есть не дают. Ни ужина, ни обеда. Только лепешки ел – земляк угостил. На лепешечки, есть у меня кусочек...

Он достает из пазухи теплый, пропитанный его духом кусок лепешки. Разламываем и чавкаем молча. Над нами звезды. В тополе так душисто пахнет, что кружится голова. Мне вдруг слышится, что Драп делает что-то горлом, так вот: гум-гум. Я быстро проглатываю кусок и спрашиваю:

– Драп, ты чего? чего плачешь?

Драп молчит, но сильней слышится – гум-гум-гум... потом всхлипывание носом, потом дрожит гладильная доска, дрожит тополь, дрожит, слышу я, Драп. Слышу я, как подрагивает его коленка об мою ногу.

– Не пойду я домой... – сдавленно говорит-скрипит Драп. – Заколотят меня, Колька...

Да, у Драпа защиты нет: ни отца, ни матери.

– Драп, – говорю я, – когда я буду большой, я тебя к нам возьму. Будешь, может быть, лесом торговать. Я обязательно буду лесом торговать. Будем на барках по рекам ездить...

– Заколотят меня, Колька... Нет, полечу лучше! Либо смерть приму, либо...

Слышу я, как идут шаги к моей комнате по коридору. Я вскакиваю, все забыв, и... лечу вниз, на проволочную сетку, под которой живут цыплята. По голове ударяет меня гладильная доска, которая летит за мной. Я сижу в провалившейся сетке и вижу на фоне звездного неба, как в тополе раскачивается уцепившийся за сук Драп. Он качается долго и страшно, все старается зацепиться пяткой за дерево и все никак не достанет.

– Вот провалённая сила! – кричит наша кухарка, высунув голову из кухонного окошка, под тополем. – Да куда вас, чертей, носит!

Я чуть жив, молчу, ничего не понимаю от испуга. Я путаюсь в прорванной сетке и не свожу глаз с качающегося Драпа.

– Ой! – сдавленным голосом кричит Драп. – Колька, упаду!

И с этим криком Драп падает на меня с высоты. А кругом шумят. Гришка ругается, что сломали садок цыплячий, что ему опять его завтра налаживать. Хозяйка Драпа тычет в сетку лоханной палкой и тоненьким, будто ласковым голоском подзывает:

– Поди, поди сюда... я тебе скажу-покажу... Да пойдешь ты, идолова голова!

Драп царапается по сетке, скользит вдоль стены кошкой, чтобы уюркнуть в щель между домом и забором, в глухой тупичок, но у входа в щель уже стоит наготове Гришка и перехватывает его за волосы. Толстая старуха скорнячиха кричит на весь двор, что пропал у ней зонтик с погребницы, – не эти ли чертенята унесли? А из окна раздаётся суровый голос и призывает меня к жизни:

– Сидел два дня на ключе – еще посидишь!

Я слышу визгливый, словно кошачий, крик в темноте. Это кричит Драп. Кричит ужасно. Все разлетелось, как дым, как сон, – и скучная, жуткая подчас жизнь опять показывает мне серое свое лицо и сурово смотрит. Нет ничего: ни Африки, ни лесов, ни далекого неба, ни француза, ни веселых ярких шаров... Где-то слоны ходят под жарким солнцем, в зеленых лесах... Где-то живут храбрые вольные французы, гуляют нарядные дети под музыку, вьются флаги, господа кушают за беленькими столами, звучат ясные трубы... А здесь – старый двор, развалившиеся сараи, угрозы, крики... Скучная жизнь! Ну, ничего. Она опять засверкает, вот только взойдет солнце.

1923 г.

Очерки

Из цикла «Суровые дни». В деревне

На крыльях

Рокочут. И ночью, и днем рокочут...

Услышишь в ночи, как заревет в перелеске, перед рекой, перед железным мостом, в железном грохоте, – вспоминается маленький, с испитым, в морщинках, лицом, товарный кондуктор с сундучком и отстегнутым хлястиком замызганной шинели.

– Даже начальство удивляется – откуда что! Та-ак работаем... прямо, гоном!

Стали на разъездах цветные поезда – зеленые, желтые синие: дали дорогу красным, еще вчера неслышно пробиравшимся по ночным путям. Теперь они слышны, только они одни, провожаемы надеждой, желанные. Они пошли и пошли, пошли и пошли ходом, в лязге, реве и грохоте, с широкогрудыми высоченными ревунами в голове. Теперь уж не ждут часами на глухих станциях, чтобы пропустить щеголеватый экспресс в огнях, чтобы захватить сиротливый вагончик с овсом или платформу бревен какого-нибудь уездного торговца. Рокочут без остановки, с места до места, полные доверху, не теряющие по дороге; и машинисты у них на страже, и топки полны, и кондуктора не дремлют. Не лес и мануфактура, не товары какие обычные на них, что могут ждать, – валит на них поднимающаяся сила, живая сталь, натуго закрутившаяся пружина великого размаха. Бегут и бегут в грохоте, не сдерживаемые мостами.

На мосту, – виден его серый сквозной переплет, – за лугом, над кустами густого тальника, над рекой, – сторожевые огни. Не дремлет стража. Нет-нет – и гукнет встревоженный чем-то выстрел. Напрасно. Покойно кругом. Никто не подойдет, нет врагов здесь, в Калужской губернии, на тихой речке. И нигде на родной земле нет врагов. За лесами? За лесами поля, за полями опять леса, – родные леса, родные поля, – деревни, города с трубами, а за ними опять леса и поля. Кругом родное, провожающее тревогами этот железный грохот ночного бодрствования. А на тихой речке что за неурочный огонь? Какой-нибудь рыболов пристраивается на отмели на ночную ловлю.

Сидит с удочкой, слышит набегающий рокот колес и думает – дай-то, Господи. И вспоминает про своего сына, артиллериста-наводчика. В Смоленске стоял... где-то теперь?..

Покойно кругом, но не спит стража на мосту. Кто знает! Вон, говорят, другой день бродит у полустанка неведомый человек в серой тройке. Чего ему тут делать?

– ...И вдруг заявляется эта незнакомая личность, в серой хорошей тройке... – рассказывает покупателем старичок-лавочник с полустанка. – Обсмотрел все полочки, какой есть товар. А есть, спрашивает, у вас настоящие консервы?

– Какие такие – настоящие консервы? – спрашиваю его, будто и не знаю.

– Разные, – говорит. – Кильки, сардинки, а если есть, то и перца бы маринованного... в жестяных коробках!

– Ага... В жестяных коробках?! Нет-с, говорю, в жестяных коробках у меня нет ничего. В жестяных коробках, говорю, порох, бывает, продается и еще, бывает, что и дина-мит-с! А вам, собственно, для какой же надобности?

– Закусить.

– Вот селедку возьмите и закусите.

– Нет, селедки я не хочу. Мне надо консервы.

– По-нимаете? А уж меня еще намедни из трактира предупреждали. Третий день вертится неизвестный человек у дороги. То на переезде, на бревнышке посидит – обсматривается, то в чайной чайку попьет с ситным, присматривается подозрительно, а ни с кем разговору не заводит. Женщина тут наша проходила с корзинкой – в корзинку заглянул, засмеялся. Скажите, пожалуйста, чего тут смеяться? Все при деле, сурьозны, у каждого сын ли, два ли, у кого и папаша на войну ушли... везде забота и труд, как говорится, а он ходит и посмеивается... Да еще консервов! Жестяные коробки... И неизвестно откуда взялся!

– Ну, и что же, узнали?

– Наши мужики уж взялись за это дело – смотреть надоело. Борис Иваныч, урядник, приезжает... указывают ему и сообщают – так и так. Где такое? А вот тут, опять вон сидит у самой линии, на перекладинке. Примите его на основании закона, разглядите его вид. Теперь такое время, что шляющихся людей надо обязательно сторожить.

Жестянки все разыскивает. И пошли все, полон трактир. Какой вы человек, где живете, какой при тебе вид? Оказался лакей. Какой лакей? Новый лакей, от господина Ерофеева, с мансуровского хутора, прежний на войну взят. И показывает документ. – «Барин уехал на неделю, а мне делать нечего, хожу от тоски в трактир чай пить и гуляю. Барин одинокий, дал позволение гулять». – Ну, тут мы ему все стали говорить. Урядник ему сказал: «Тебе бы какое дело делать, а ты только народ смущаешь». Ну, он нам тоже объяснил. – «Я, говорит, сам бы на войну полетел, но у меня грыжа и хожу на бандаже даже. А сюда я из хутора от тоски хожу, смотрю, как поезда, солдатики наши едут, кланяюсь им». – И вот вынимает портмоне, достает рублик и подает уряднику: «Примите от меня в пользу военных действий!» Ну ничего, пошли все чай пить. А то прямо сомнение на всех навел. Всяко бывает...

Лавочник, седенький, румяный, чистенький старичок, теперь орудует один в лавке. Оба сына ушли – кавалерист и пехота. Он тот же, как и раньше, – разговорчивый и не унывает; только никак не может разыскать товар: на покой, было, отходил, а теперь надо торговать. Ищет свечи – находит чай. Перепутал цены.

– Ставили они у меня тут всякие свои знаки, сколько себе стоит... а расспросить-то как следует забыл, не до того было, спешка...

Прочитывает покупателям письма, открытку и настоящее, которые лежат на виду, под весами.

– Николая пишет – на позицию идут завтра... дней десять тому, а теперь неизвестно, как что. Но надеюсь на святителя-угодника Николу Чудотворца... Как Господь, дело святое... А другой у Двинска. Этот у меня отчаянный. – «Молите, говорит, папаша, Бога, чтобы я там как с немкой какой не окрутился! Чего, говорит, вам из Берлина привезти?» – Привезти... Сам-то бы приехал! А карасину нет и нет, военное движение сейчас, а уж с карасином потерпим.

Я смотрю в его приятное, открытое, доброе лицо – русское лицо. Оно спокойно. Я не слышу от него ни упрека, ни жалобы. Он знает, что мы войны не хотели, а упреки и жалобы не помощь.

– Как думаю-то? А так думаю, что, как у нас пословица такая есть: зачинщику первый кнут. И это так и будет-с. И вот вам порука!

И показывает на образ Николы.

– Может, даже это и к лучшему, что они первые. Гордость и высокое мнение очень, как по газетам говорят. Поет курица петухом – на свою голову. Ай за карасином? Нет, брат, сам со свечкой сижу.

Теперь уже не слышно в ночи от полустанка криков, – это в первые дни было. Теперь проходят дальние поезда. Округа уже отдала своих. А то, как спустится ночь, услышишь гул набегающего поезда, и в тиши полей за две версты прокатывается за сердце хватающее – ура-а! И слышится оно долго-долго, пока не поглотит в грохоте на мосту. Это окружные, провожаемые высыпавшими жителями станционного поселка. Они проезжают мимо знакомых мест. Но не видно знакомых мест в темноте. Так пусть услышат. Ура-а!!

Совсем глубокая ночь, скоро начнет светать. А все громыкает и громыкает по мосту, спешит-спешит. Спешит Россия, летит на железных крыльях с широких своих просторов на потревоженные границы. Шумит и шумит железной гремя. И болит сердце, хоть верит и твердо знает, что после великих бурь приходят долгие, незакатные дни.

На пункте

По белому тракту тянут и тянут телеги, все в одну сторону, к городку. С боковых дорог, с большака и проселков, вливаются точно такие же, медленные, тархтящие, перегруженные, – словно на ярмарку едут, на большой праздник: везут по целому семейству. И в каждой телеге молодые бабы в белых платочках, старухи – в темных, повязанных натуго, – ветряная погода сегодня, – и пожилые мужики; эти больше идут сбоку, чертят в раздумье кнутьями по шоссе. А позади, на грядке, свесив ноги и заломив картузы, – призываемые к оружию. Тянут на призывной пункт. Едут молча, в серьезном раздумье. И по тому, как сидят в белых платочках, плотно сжав губы, молодые бабы и старухи, напустив на глаза платки, и по тому, как шйгают бородатые мужики, и как поглядывают задумчиво запасные, иные уже в своей форме, в которой еще недавно пришли со службы, парадной и сверкающей галунами, радостной форме отпуска, – видно, что захвачены все большой и тяжелой думой, и что всех ждет там, куда едут, – большое и важное. Говорят мало, рассеянно грызут

подсолнухи. Доносится отрывочное, не захватывающее глубоко, – трудно молчать:

– Овсы-то какие плохие...

– Зятю мою гармонию не давай... На Спаса дай, а потом опять в укладку прибери...

– Буде скулить-то...

На лицах шагающих мужиков суровая маска – ничего не прочесть. Не то прикидывает что, не то опечален. Не понукают лошадей. И лошади идут мерно, раздумчиво. Точно и они знают, что и им скоро призыв: завтра и их поведут на пункт. Лица запасных сосредоточенно-деловиты. С такими лицами входят в церковь.

Солнце сверкает всюду, березы раскосматились от ветра, плещут зелеными космами, – плакучие, теперь расшумевшиеся березы. Грачиные стаи пируют свои новоселья в полях – черные осенние полки. Покойны красноватые стада с черным овечьим подстадьем; нагуливаются у лесков по взгорьям.

– Лавошник из Тресвятского сына повез...

Лавочник, в сером кафтане, повязанном лиловым кушаком, толстый, и едва может уместиться на тарантасе. Но теперь он ухитряется сидеть бочком, на поручнях тарантаса, а все сиденье уступил такому же плотному, как и сам он, сыну-бородачу, в точно таком же пиджаке, с мучными мазками: все равно скоро дадут другую одежду. И поп своего сына везет, незадавшегося Серегу, только что пристроившегося конторщиком в княжеское имение. А вот и знакомый, любитель-рыболов, еще вчера ловко зацепивший на спиннинг окуня, земледел из Ташкента, гремит в тарантасе, углубившись в газету. Он – прапорщик и едет по призывной карточке получать деньги на обмундировку. А вот и еще знакомая фигура – трактирщик с полустанка. И он? Еще вчера всегда красный с лица, всегда за частоколом пивных бутылок, он сидел за трактирным катком, зоркий на каждую копейку, хоть и поналиты и посоловели глаза. А теперь вот и он. Где-то он раздобыл подкрепления – и, видимо, в боевом Духе. С ним рядом мальчишка-племянник в кепочке, – детей У него нет, – вожжи у самого трактирщика, то и дело он встряхивает ими, гонит с треском, лихо вывертываясь в веренице телег, покачивается буйной спиной, от которой, без Щей, начинается круглая голова, и, нагоняя, кричит, встряхивая картуз:

– По-бьем.

У него остаются на жену и племянницу трактир и другой, на сдаче, и дровяной склад. Все его хорошо знают здесь: то и дело он дергает козырьком, и ему дергают и что-то кричат вдогонку, а он все встряхивает вожжами.

В городке будто большой базар, но не видно мешков и жбанов, веселой торговой суеты, привязанных к грядкам телят, лошадей за телегами, пестрых юбок, цветастых платков. Не видно пошатающихся. Не гудят трактиры, нет поросячьего визга и гармоник. Не подняты серые оглобли. По широкой улице-тракту, к стороне казарм, белую дорогу залило черным людским потоком: рядами снуют призываемые к оружию, толпятся в кучках бабы, пытая лицами; стоят ожидающие толпы мужиков. Уже сидят на «вольных» картузах солдатские кокарды. Окриком прорезая толпу, лихо стелет солдат-вестовой с попрыгивающей у бока сумкой. Ни тревоги, ни суеты. Нет радости, но и нет тревоги. Старушечьи лица каменно-скрытны. Под белыми платочками церковно-строги и побелели лица молодых женщин; пытаются молчаливо-говорящими взглядами. Мужики-отцы хмуры. У них, кто идет на войну, – ненаигранная выправка стойкости. Да, с такими именно лицами входят в церковь.

Выгон за городком – в телегах, в лошадиных головах, в дугах. Кучки народа на траве, ждут. Так бывает в ожидании крестного хода. Вытоптано под одинокими березами: уже не первый день ждут. У казарм отгорожена луговина, высятся шесты с номерами, стоят наскоро сколоченные помосты-столы, и ефрейтора, «старшие», кричат командно:

– Восьмого года, разбирай ложки!

Прыгают с воли за городьбу, бегут под шесты. Густыми, солдатскими голосами поют молитву под небом.

– Лапша у них... Говядиной кормят!

– Каша белая... Будто макароны, в шаечках-то...

Забор закрыт головами, платками. Бабы пытливо высматривают, что там едят. Едят хорошо. Валит густой пар от столов, и до луговинки несет по ветру духом солдатского варева – лаврового листа и гвоздики. И сотни ворон и галок сидят на крышах казарм и тоже поглядывают на столы.

– Отменили пока. Нас, крестовых, после, через неделю... – говорит хмуро бородатый ополченец бабе. – Вот какое дело...

Стоит у своей телеги и смотрит на свои сапоги, и не разберешь – доволен или недоволен.

– Слава тебе, Господи... Да садись ты, поедem... – отвечает баба, дергая его за рукав и подбирая вожжи. – Да садись ты!

И видно по всему в ней, как ей хочется скорей увезти его.

Двигаются телеги, выбираются из рядов. Как будто посветлели лица на этих телегах. Картузы лише задраны и показывают наколотые кокарды. Это отпущенные на несколько дней, – домой.

Уже два поезда отошли. Куда – не знает никто. Знают только, что порядок большой.

Обступили жадно маленького кондуктора, с испитым лицом, в шинели с отстегнутым хлястиком. Слушают, наваливаясь на плечи.

– Скрозь гоним... по десятку поездов в ночь. Так работаем... прямо, гоном. Начальство само удивляется, откуда что! Насыпем туда наро-ду! Нет, нас не берут. Немыслимое дело без нас...

С ветром доносит от станции вскрикивающие гудки и рожки. На глинистой насыпи, за выгоном, вывертывается длинный-длинный товарный поезд.

– Вся Россия зашевелилась...

– Ночью артилерия прошла... сто вагонов!

– Сто-о ваго-нов!

– Все в одну сторону жарим, не подгадим... – говорит кондуктор; и гордо поднята его маленькая голова в смятой, облезлой фуражке, и глаза болезненно-лихорадочно блестят. Видно, что только сменился, что давно не спал, а хочется ему быть на людях.

Ни ругани, ни песни, необычный вид многолюдного русского базара. Казенки закрыты.

Уже полным-полно на выгоне, а телеги все прут и прут. Сколько их! И долгие зеленые дроги в пару коней, – это с белорусских хуторов, с новых мест, белые хохлы из далекой Подолии, оседающие на калужских полях. Коренастые, высокие мужики, с мягким говором и ласковыми глазами.

– Хохла-то понаехало!

– Баба у их мелкая, а сами ничего... И лошади добрые.

Хуторяне с Каменец-Подольска жмутся в свою кучку, говорят «путаными словами», и присматриваются к ним доселе не видавшие их. И у хохлов на картузах кокарды. И так же хохлы крестятся, когда проносят покойника на кладбище за выгоном, и головы у них точь-в-точь, как у калужан, подрубленные с затылка. Только коричневые куртки, под бобрик, да вышитые по вороту кой у кого белые рубахи.

– И вы?

– И я.

Это знакомый часовщик, еврей. Еще недавно он мирно сидел за своим столиком перед единственным окошком своего магазина-жилища. Осматривал мои остановившиеся часы, вставив в глаз черный стаканчик-лупу. Теперь и он с кокардой. А он как? Он один здесь, в тысячной толпе. Нет, он вымазан тем же миром, как и они. А он один здесь. Здесь только четыре семьи евреев. Взят еще доктор.

– Ну как?

– Ничего. Брата тоже должны потребовать... Он на лесопильном заводе, только в другом уезде. С братом бы попасть, в один полк!

Он оглядывается на толпу, оправляет шляпу, на которой так неуютно торчит кокарда. Да, он одинок. Лучше бы ему с братом.

– Здравствуйте, – говорит ему кондуктор; он еще не ушел. – А часики-то мои как же? Говорят, в ночь нашу бригаду отправляют на границу. И вы, стало быть? – замечает у него кокарду.

– Запасной, так и я... – говорит часовщик, и лицо у него вдумчиво-озабоченное. – Ваши часы... – он что-то соображает, старается вспомнить. – Да, да... с эмалевой крышечкой? часы готовы... После обеда заходите.

– Так, так... – говорит кондуктор, всматриваясь в кокарду. – Вот спасибо, спасибо. Стало-ть и вы... Плохо будет публике без вас. У Ивана Петровича по биллиарду выходит, а на часы он не годится... Он мне летось ка-кие часы изгадил!

Под березами одиноко сидит старуха, повязанная до глаз. Крутит соломинку на коленях. За ней свесилась белая голова лошади и дремлет, опустив седые ресницы. Отсюда я опять вижу часовщика. Он все еще стоит, рыжеватый, высокий, и оглядывает толпу. Чего ждет? Одинокий, как и эта старуха. А она чего ждет, кого? Из-под серой теплой кофты комом выпирает поддернутая синяя, с красными цветочками, юбка, порванные шерстяные чулки на других чулках и

широконосые башмаки, какие-то сиротливые, стоптанные. Лошадь в дремоте потряхивает седой головой. Должно быть, и старуха седа. Совсем наклонилась к коленям, а узловатые худые пальцы все вертят соломинку и надламывают ногтями.

– Ослобонили нашего, – слышу я за спиной запыхавшийся голос. – Зубов не достало...

Над старухой – рыжеватый, крупный мужик, в шапке, управляет узду на лошади, высвобождает холку.

– Да ну?! – спрашивает старуха, вывертывая голову. – Ослобонили?!

– Зубов не хватает... одинцати зубов... Вон бегет!

Старуха сидит, раскинув руки, и видно теперь, что она кривая, и лицо у нее – комочек. Высокий, уже немолодой мужик степенно шагает к ней, потирая шею, и, видимо, старается не торопиться.

– Да вот... говорят, зубов не хватает... ослободили. Не гожусь сухари жевать...

Говорит с усмешкой и, как будто, смущен. Объясняет еще и еще обступившим, поеживая плечами, глядит через головы, словно недоумевает. Посмеиваясь, разевает рот и показывает пальцем. Ему смотрят в рот; видно, как палец попрыгивает во рту, насчитывает. Старуха поднялась и тоже заглядывает ему в рот, будто не знает, что сыну челноком раздробило челюсть на фабрике, и выбило зубы.

– Беззубых не берут, – говорит, ощериваясь, кокардник. – Стало быть, много нас, зубастых!

Беззубого провожают до лошади. Старуха крестится и суетливо лезет на телегу; торопится и никак не может укрепиться на ступице. Мужик подтягивает подпругу и гудит в бороду:

– Не торопись, по-спеешь.

Беззубый жует провалившимся ртом и шепеляво посмеивается матери:

– Не отымут, не бойсь. Зубастых, говорят, много. Вот те и ефрейтор!

– Карасину-то бы закупить... мучки бы...

– Ладно, закупим... – говорит мужик, нагибается к колесу, пробует тяж, и видно, как он крутит там головой и улыбается. Под телегу, под старую свою кобылу.

За забором покончили с обедом и поют молитву. Телеги все увозят отпущенных на побывку, а новые все еще вливаются на выгон, и вон их сколько, – весь тракт в них, – ползут и ползут.

– Тыщи народу!

В потребиловке – трактирщик с полустанка. Он еще более покраснел, – очевидно, ездит с запасом, – требует «самых лучших» папирос, чуть-чуть покачивается, говорит часто-часто, кокарду налепил на самый гребешок серой фуражки.

– Простукали – говорят: на тебя надо особую мерку. По животу не сойдется казенный ремень! Сойдется! На унтер-офицера найдут, что требуется... Давай шиколладу, что ли...

Взламывает прямо в бумажке, ест с оловом, садится на цареградские стручки в мешке.

– Теперь в трактире пусть жена с племянницей движут... Ай сдать?

– Ничего, устроился, Семен Акинфыч?

– По-бьем!

– Да еще неизвестно, кого бить-то...

– Всех побьем!

На переезде заложен шлагбаум, у будки. Идет поезд, тяжело тянет из-под горы. Двери красных вагонов раздвинуты. Видны лошадиные головы в ряд; свесив ноги над полотном, сидит, заломив фуражку, с лихо выпущенным из-под околыша зачесом, казак, – совсем юное розовое лицо. Облокотившись, стоит у двери другой. И еще – казаки и кони, казаки и кони. И крутит один фуражкой, – вот-вот заплешет.

Они уже готовы – степные птицы.

Лошадиная сила

На углу площади уездного городка, забитой, как и все смежные улицы, приведенными на осмотр лошадами всякой масти, и даже такой, какой не видала, кажется, ни одна конская ярмарка, стоят два мужика. Они уже сдали в казну, на войну, своих лошадей и теперь поджидают еще не управившегося Степана Махорку, чтобы идти в чайную; а пока уверяют друг друга, что тут дело правильное и на совесть, что хоть и не добрал один пятерки против своей цены, – так пятерку-то лошадь за два года оправдала или нет? Горячо говорят;

один, черный, с желтым водяночным лицом, получивший за свою лошадь семь рублей лишку, все пристукивает кулаком по костлявому заду чужой лошадечки-мыши, словно по столбушку.

– Ну, за мово лишку дали... Дак мой го-сподский! я его, прямо, из плотки у Пал Петровича выдрал. Мой в антиле-рию вон, солдат метил, а с твоим и в обоз наплачешься. Обиды нету...

– За-чем, какая обида! – отмахивает головой русый, на лице которого и недоумение, и, как будто, уверенность. – С им наплачешься. Я к тому, что... Пятишну-то за два года отработал он мне ай нет?!

– Не то, что пятишну, – он тебе три красных отработал! Он тебе, прямо... полсотни отработал!

– Не-эт! – с сердцем говорит мужик и отмахивает головой. – Три-то красных он мне обработал, это верно... Я на нем за зиму понабраал, с лесопилки возили. Плохо-плохо – четвертной обогнал, а полсотни – не-эт, не обработал...

– Пожалуй, что полсотни-то не обработал. Рублей сорок... А почту-то в Столбы гонял?! Да он тебе за полсотни обработал!

– Месяц только и гонял, разругался. А может, и полсотни отработал...

Они бы еще поговорили, но заругался хозяин лошадечки:

– Чего по заду-то долбаешь... колоду нашел!

Наконец, пришел и Махорка, маленький, востроглазый мужичок в большой шапке, привел на веревке понурую пегую лошадь. Вид у Махорки какой-то сбитый, точно его обидели, а он еще не разобрал, – чем.

– Ужли не взяли?! – воскликнули оба враз.

– Обещались, как подрастет... – усмехнулся Махорка, привязывая повод к кушаку, чтобы освободить руки. – Не хуже, чай, других-то! – оглянул он лошадку и толкнул под губу.

Она моргнула и пожевала.

– В годах, а околевать не желает... – сказал русый.

– А ты у ее на крестинах был?.., в годах!.. У трактирш-шика по тринадцатому взяли... в го-дах!

– Трактиршшикову я знаю... Иван Миронова. Я мерина его очень хорошо знаю. Он любую пушку своротит...

– И моя своротит. Покорми-ка ее овсом недельку другую, – что хошь увезет!

Пегая кобылка обнюхивает изрытыми губами хозяйскую спину, в дегте, пофыркивает скромненько и постукивает задней ногой, – не пора ли и ко дворам. К двум десяткам ей, а пришла она сюда еще с вечера и еще ничего не ела. Пора ко дворам.

Глядят из рядов вороные, саврасые, гнедые, бурые, всякие. Тут и клейменные, и без тавра, лопухие и со стрелчатými ушами, с головами добрыми и строгими; и с побитым плечом, и со всяким изьянцем; и стройные – полукровки, и сытые, лохмоногие – волостных богатеев, и такие, что не дотронешься до морды, и крохотные лошади-мышы. Есть и жеребые, невесть для чего приведенные бестолковым хозяином, с толстыми, как веревки, жилами по брюху, и кормящие, с тревожно-кротко спрашивающими глазами, с жеребятками, словно на деревянных ножках, в гривках-щечочках, помахивающими игрушечными хвостиками. Есть тут – с молодым, огненным и задорным глазом; и уже и вовсе не смотрящие на свет Божий. В ночь сдвинуло их сюда, на стонный пункт, чуть ли не с целого уезда, и все еще движет и движет, заливает ими улицы и переулки и наполняет весь городок тревожным ржаньем.

– И сколько же на их овса запасать надоть! А прокормят.

– Про-кормят. У казне овса-то запасено... сто тыщ!., вагонов сто тыщ, а то больше. Солдаты сказывали.

На площади, перед бассейном, похожим на исполинский улей, стоит длинный стол под черной клеенкой: вытащили его из какого-нибудь присутственного места. За столом – приемная комиссия. Очень толстый военный ветеринар, в рыжих бакенбардах-котлетках, краснолицый, в выпуклых синих очках, стоя с краю стола со стаканом чаю, подает знаки пальцем и головой, а их ловит вертлявый ветеринарный фельдшер, у которого такой длинный нос, что страшно становится, когда заглядывает фельдшер в рот лошади, – отхватит. Фельдшер подымает и мнет лошадям ноги, кидает мерку, приподнимает веки; двое драгун, распялив лошади рот, показывают ему зубы, машут перед глазами флажком. Слышно:

– Недомер! Пломба! Недомер!

Кипит работа. «Мыши» так и плывут – мимо, мимо, мимо, – куда тут она, жалкая, лохматая скотинка! А много ее. Нежданно

вывернется красавец, атласный, беспокойный, с кровью в глазу, дробно чокающий подковами. А там опять тянутся «ерши», – все позвонки на виду, с изъеденными хребтами.

– Козу привел! – говорит председатель-полковник, с вчесанными в усы густыми подусниками и изумрудом на мизинце, который он отставляет, подписывая квитанции.

И ухмыляются мужики на моргающую кобылку.

Ступают, как по коврам идут, валки, раздобревшие; спины, как кресло, широкие; боком движутся на задеревеневших ногах дремлющие, «соломенные»; выскакивают, подняв хвост трубой, «овсяные». И опять нет-нет и вывернется красавец или выездная, жалеемая хозяином, вся-то в масле, с желобком на спине.

Кавалеристы-приемщики, только-только призванные из запаса, уже обошлись и вложились в дело. И походка у них – бывалая, вихляющая. Лихо выхватывают они поводья, лихо поворачивают и в четверть, и вполовину, поддавая под морду и вытягиваясь на носках; «красавцы» храпят и скрежещут на камне, оседая на задние ноги, но привычный рванок поводьями сразу их покоряет.

Клеймят пломбами гривы, защемляют пряди деревянными значками, смотря по разряду, – взята. Все дальше вытягиваются ряды крупов у новеньких коновязей. И все еще не уходят иные хозяева, вертят в пальцах квитанцию и следят за своими, все еще озирающимися и подымающими уши.

Вот совсем белый старик, длиннобородый, в длиннополом платье старообрядческого начетчика. С ним светловолосый, толстощекий парнишка. И старик, и парнишка поглядывают растерянно то на комиссию, то на вороного коня, которого уводит драгун.

– Взята твоя! – кричит старику полковник и отмахивает рукой, отставляя мизинец с камнем. – Деньги получишь по ассигновке!! Следующий!

Но старик все стоит, глядит на квитанцию, похлопывает ею по ладони, как будто высчитывает что-то. Парнишка пугливо косится на полковника. Старикова коня, вороного, с белой залысиной и тремя белыми ножками-чулками, – откуда достал он такого, на него залюбовалась комиссия, – с трудом ведет драгун к коновязи. Конь заносится и храпит, показывая желтый оскал.

– Следующий!! – кричит строго ветеринар.

– Ваше прево-схо-дительство... – старчески-мягко и отечески-вразумительно говорит старик, потряхивая бородой. – Трех сынов я послал, внук вот от одного. Теперь уже совсем легко отдам Мальчика. Свидетельство его вам известно... – показывает старик на кучу бумаг на столе. – Покорнейше прошу-с, запишите... его в кавалерию, чтобы не стыдно было... кровей знаменитых лошадей!

Он кладет на стол полученную квитанцию и несколько раз прихлопывает по ней ладонью.

– Хорошо, хорошо... – торопит полковник, рассматривая изумруд, – следующий.

– Для меня ему, – показывает старик к коновязям, – нет никакой цены, сам выходил... Не могу я его обидеть: жертвую на войну. С меня и моего хватит-с...

Старик кланяется, лицо его заливают кровью, дрожит борода, подрагивает и рука на квитанции.

– Вы отказываетесь от платы?.. – говорит, хмуро переглянувшись с членами, полковник. – Вам назначен высший размер!..

– На войну жертвую! – мягко и настойчиво повторяет старик.

– Да-а... вот что! Благодарю... от имени отечества! – говорит полковник особенно громко и отчетливо. – Виноват, надо занести в протокол и приобщить квитанцию... Подпи-шите-с...

Старик не хочет подписываться, да он и неграмотен. За него расписывается застыдившийся и раскрасневшийся парнишка. Долго расписывается, раскачивая руку над бумагой, но все терпеливо ждут. Полковник привстает и пожимает старинову руку. И он, и старик растроганы, и толстый ветеринар, и носастый фельдшер. Смотрят к коновязям, где все еще возятся с вороным, – не хочет он к коновязям. Кругом шепчут, и уже идет по толпе стариково имя, – Бахромов, огородник, конятник. Старик оборачивается к коновязям, хочет идти туда, к Мальчику, который уже бьет задними, – делает шага два, круто поворачивает и уходит в толпу. За ним следует внук.

Провели четырех, в попонках, с подгородного конского завода. При каждой лошади молодец. На каждой попонке длинное красное «К» под коронкой. Румяный, круглолицый, улыбающийся, в золотых очках, владелец выкладывает аттестаты и удостоверения коннозаводства. Пару освобождают: это производители. С улыбкой принимает владелец квитанции. Улыбается и полковник знает, что

тысячные рысаки. Но теперь не время тонких оценок: нужна сила, а не секунды.

Вот такие теперь нужны.

И вот выдвигаются – звери не звери, кони не кони. По десятку пудов на ногах – мохнатые кувалды. Шею у груди не охватить руками. Гнедые крупы в чуть мерцающих яблоках, гора железного мяса, – расперло их. Вывернут эти крупы сотню пудов из грязи. Оскал чернорозовой пасти страшен. Крутые белки залиты кровью. А спины – широченнейшие корыта.

Это тяжеловозы с прядильной фабрики, шутя выворачивающие в осеннее бездорожье стопудовые воза с хлопком.

Совсем малютка перед ними драгун-приемщик, осторожно принимает повод, осторожно выпядывает статьи. Чего их глядеть! Издалека приглядывается фельдшер. Откидывается набок, потряхивает головой полковник. Вот она, настоящая-то сила! И особенно четко, с приятным потрескиванием, отрывает полковник квитанции, раз за разом семь раз, и так же отчетливо передает самому фабриканту и пожимает руку: они знакомы.

И опять «мыши»... Теперь они совсем мелкая мелочь после этих зверей. Но и из них уходят крепкие к коновязям.

– На овсе разойдутся!

Скачет с присвистом на поджаром и тонкомордом рыжем цыган. Сидит на рогожке вместо седла, вертит-крутит веревочными поводьями, гикает, сверкая зубами, ставит рыжего на дыбы в тесном месте, крутится на задних ногах, показывает «фигуры». И цыган, и жеребчик забрызганы по уши желтой грязью – должно быть, летели по проселкам. Посмеивается зубами цыган, покашиваются мужики. Откуда достал такого жеребчика? Может, и свел где...

– Йей, дорогу! – дерзко кричит цыган, позванивая серебряными яйцами-подвесками на груди, на синем кафтане, и коротким галопом выкидывается к столбу.

Но тут его шашкой по каблуку осаживает полицейский: черед знай!

Что-то сильно напирает народ на стол, городовые и стражники не занимаются своим делом. Сбились и лошади, видны их головы из-за хозяйских плеч.

– Не понимаю! – кричит полковник, – не слышу ничего! Какая неправда?

– Неправда вышла... неправда... – волною проходит по толпе и гудит в глубине площади.

Сзади напирают сильнее, передние совсем вылезли с лошадьми, расстроили длинные ряды крупов.

– Тише! – кричит полковник, приподымаясь. – Полиция, Держать порядок!

Стоит перед столом высокий мужик с чахоточным лицом, глаза в красных кругах, запавшие, щеки втянулись под скулы, борода реденькая, сивая; держит в кулаке картуз, козырьком стучит себя по груди; говорит глухо, чуть слышно. Его лошадь, чалая, низенькая, с прорезанными ушами, взята. Приемщик ввернул ей в гриву значок.

– Говори громче! – нетерпеливо кричит полковник, наваливается на стол и прикладывает ладонь к уху: – Недоволен, что ли?

– Мы ничего... – глухо, точно икая, говорит мужик, – такой закон, всем надо. А вот это... как наш старшина клячу привел мененую, а дома у его буланых пара... Это не годится! У государства все равны! Елкинский старшина, Ворочулин...

Гудят, напирают.

– Тише! – кричит полковник, стучит кулаком. – Полиция, старшину сюда!

– Старшину-у! Ворочулина, старшину!

Голоса ищут по всей площади, нащупывают. Нашли.

– Иде-от!.. голову лысую несет...

Старшина идет, опустив голову, без картуза, серый с лица, еще более серый от черной бороды скребочком, в серой поддевке лавочника. За ним зелено-бледный урядник, отыскивающий трусливыми глазами сидящего с края стола исправника. Весь стол рассматривает старшину в упор, в угрожающей тишине.

– Ло-шади есть... бу-ланые?! – пронизывая взглядом и отделяя слова, спрашивает полковник и сечет ладонью.

Старшина силится подобрать прыгающие помертвелые губы – вот-вот упадет: кружится у него голова. А сотни глаз накаливают ему спину, жгут.

– Так точно, есть, ваше высокоблагородие... простите... – чуть слышно бормочет старшина, глядя в картуз, точно видит там жуткую

свою участь.

– Телеграфировать губернатору! – бросает полковник в сторону поднявшегося исправника. – Подлеца под арест, лошадей отобрать! Пшел!!

И по всей тысячеголовой площади, переливаясь в углы, отдается единый, глубокий, довольный вздох:

– А-а-а...

И надолго по чайным и трактирам и потом по всему уезду и губернии пойдет тысячеустый говор о старшине, мошеннике-старшине, паре буланых и о справедливом полковнике.

Льет дождь. Наскоро поставили рейки и натянули холст над комиссией. Сильней и сильней льет дождь, поливает тысячи мужиков, тысячи лошадей. Валит острый пар с обтянувшихся под дождем плянцевитых хребтов и крупов. Сила какая их! И прав был мужик, остановившийся с веревочной обротью на перекрестке и выкрикнувший, поглядев на концы:

– Кольки ж у нас силы-то лошадиной, мать ты моя-а!..

Ночью, поезд за поездом, тронулась эта сила в неведомое. Храпели и бились кони, упорно не желая входить по зыбким мосткам в темные дыры вагонов, боясь темноты, боясь беспокойных фонарей и тревожного блеска железа. С завязанными глазами, заносясь и вскидываясь, бомбами влетали иные кони в вагон, оскаливая зубы, стараясь сбить втягивавших их привычных, лихих драгун, позванивающих шпорами. Глухо стучали в настил вагона, ржали и засекались. Вопросительно вглядываясь, тихо-покорно входили трудовые, бывалые. Ведут – надо идти.

И часто рассказывали потом и вспоминали хозяева, как их лошади плакали. Плакали и иные хозяева: привыкли, жалко.

Развяза

Каждый вечер бабка Настасья заносит в усадьбу молоко из деревни. Приходит она с невесткой, придурковатой Марьей, становится на порожке кухни и начинает монотонную старушечью воркотню. Она сухая, сгорбленная, совсем маленькая, и не верится, что когда-то была высокая и такая, что, бывало, никто не пройдет, не

взглянув, когда была девкой. Так заляпала и забила ее суровая жизнь. Голос у ней разбитый, напоминающий звяканье треснувшего горшка: по груди били; едва-едва видит свет белый: по голове били и много плакала. Невестка ее не придурковата, какой ее считают: запугана она, и пугливая душа ее где-то бродит – вне жизни. Она больше молчит, крутит пальцами и глядит в землю.

Рассказывала как-то бабка Настасья про свою судьбу: –..Уж как, бывало, мытарил покойник... и-и-и! Лошадь не лошадь, – что ему под руку только попало, – все таш-Шил. А вино его так. И чем-чем не бил! одной печкой только не бил. Вот и Василья весь в его вышел, озорник. По делу – Цены нет, кровельщиком он. Отчаянней его не найти, очень отчаянный... По колокольням вот, по трубам... на высоту самый дерзкой, ничего не боится. Выше птицы завьется, хочь и пьяный. А как на землю ступил – на глаза ему не попадайся, не дай Бог. Перед самой Пасхой корову нашу свел, замок сбил... А корова-то какая была! За сорок рублей в городе продал, деньги пропил. Все ташшил и ташшил, в покойника. А скажешь чего, – сейчас на кулаки! «Я вас кормлю!» А?! Кормлю... Живой порошок отродясь не выдвали. Ну, да и терпенья не станет, сердца не уймешь... Скажешь, бывало, – прости, Господи: «хоть бы в Сибирь тебя, каторжника, угнали! развязал бы ты нас, черная твоя доля!» На Марье места живого не найти, как за ее примется. Только и вздохнем, как в Москву уедет. А заявится – сейчас за Марью. – «Баба игде?» – Сейчас в Лобачево, за ей... домой волочит. Там не дают, он сейчас живо отобьет и опять. Такой-то отчаянный! Хочь и сын родной, а прямо скажу, – только бы Господь послал развязу...

Совсем недавно так рассказывала про свою судьбу бабка Настасья. И вот теперь наступила им развяза: отчаянный кровельщик ушел на войну.

В тот вечер, когда они проводили его в неведомый путь с полустанка железной дороги, – он запоздал и пустился один догонять свой эшелон, – пришли они на усадьбу, и старуха долго хныкала в сумерках на порожке кухни, а Марья вздыхала. Старуха рассказывала подробно, как они его снаряжали, как она заняла ему три рубли на дорогу, сердешному, – без сапог вовсе к солдатам-то своим пришел, все как есть пропил! – как она с Марьей в два дня пошили ему новую

розовую рубаху и подштанники, и как старуха отдала ему свое расшитое крестиками полотенце, припасенное про смертный день.

– Не брал все... – «Я, говорит, и кулаком утрусь». – Навязала ему, благословила, честь честью. – «Слезы, говорю, кулаком-то утирают, а ты возьми-кась матернее полотенчику в благословение, для счастья». Стал от меня принимать, поглядел – заплакал. Да... поглядел – заплакал... заморгал. На лавке сидел, ногти все грыз. А потом встал и говорит, – давайте, прощаться будем. Простился по-хорошему, в ноги мне поклонился, Марью за руку держал... Накликала я на его головушку... все Господа, Царицу Небесную просила, развязал бы нас... Рубликами ему, три рубли. Все вспомянет когда – калачика купит...

В конце августа, вечером, как обычно, принесли они молоко. Принесли еще письмо, которое передал им на дороге сотский. Они уже знали, что письмо это, – они никогда не получали писем, – прислал им Василий с войны: так сказал им сотский, потому что на письме нет марки; такие письма теперь все получают с войны. Письмо было сильно затерто, стоял на нем слепой фиолетовый штемпель, на котором едва виден орел, и можно было разобрать только одно слово – полк.

– Почитай-ка, батюшка... неграмотные мы-та...

Ни бабка, ни ее полунемая невестка не хотели входить в покои, боялись загрязнить чистый пол и долго не соглашались сесть. Присели на уголках стульев. Старуха достала комочек платка, в котором она носила свои медяки, и приготовилась поплакать. Невестка, краснорукая, крепкая молодая баба, круглоглазая, в мужицких сапогах, не подымала глаз от полу и не проронила слова.

Для старухи это было, кажется, первое письмо в жизни: она не помнила, когда она еще получала письма, – неграмотный у ней был старик, покойник, а Василий не писал никогда.

Начало было обычное, страшно вежливой начальной формулы, неизвестно кем изобретенной, прочно вошедшей в обиход и только за последнее время уступающей более простым оборотам речи. Было тут и – «родительнице нашей, Настасье Петровне», и «дорогой супруге нашей, Марье Степановне с любовью низкий поклон», и уведомление, что это «от сына вашего и супруга вашего Василия Николаевича», и заявление, что «жив и здоров, чего и вам желаем». Все обычное.

Старуха плакала, потыкивала комочком платка в глаза, и слушала очень внимательно, перегнувшись на стуле, чтобы не проронить слова. Марья сидела понуро.

Потом писал Василий, что был в бою, но пока цел, а рядом с ним убило товарища: «упал на меня, под ноги».

– Господи, Господи... – сказала старуха, – спаси его и сохрани.

Дальше стояли самые простые слова, но перед смертью, которая уже заглядывает в глаза, все, должно быть, кажется иным совсем, и из простых слов глядится значительное. И это значительное почувствовалось и бабкой, и Марьей. Солдат просто и даже сурово просил благословить его впоследствии, писал: «не чаю свидетелься». «Чего плохого видели от меня, потому ничего хорошего не видали, простите и на мне не попомните. Теперь я здесь совсем трезвый, стою перед судьбой. Ворочусь – другое у нас будет. И Марья пусть не поминает плохого».

Письмо кончалось сообщением, что писано в окопах на доске, потому так плохо, и рука устала от ружья, а сверху зудят пули. «Молитесь обо мне».

Бабка плотала слезы: было слышно, как она делала горлом, как будто икала. Марья смотрела перед собой ничего не видящими глазами. Молчали и не уходили. Придавило их необычное, не похожее ни на что, что повидали они тяжкого в жизни.

Я предложил написать Василию. Ведь все пишут своим, а ему от кого же и получить! Бабка обрадовалась, сказала:

– Пропиши ты ему по-хорошему, как пожальчей... Кто ему там доброе слово скажет!.. Что писать-то – вот...

Она склонила голову набок, подперла ладонью подбородок.

– Поклон от меня пропишите... – сказала первое свое слово Марья и замолчала, – стала опять смотреть в пол. И вдруг заплакала тонким-тонким, нутряным стоном. Бабка толкнула ее и сказала:

– Вздумала чего... в чужом месте.

Марья зажала стон. Стало совсем тихо. Бабка начала говорить, что надо писать. Начала с вежливости, кому и от кого поклоны, – обычное. Потом замолчала. Нечего больше сказать? Нет, было что сказать. Бабка поднялась с уголка стула и подошла к столу. Только-только она все не решалась войти в комнаты, а теперь все забыла. Она оперлась жилистыми, бурыми руками с глянцевыми красными

ожогами и сколупнутыми болячками, с зажатым в пальцах грязным платком-тряпицей, уставилась на непонятные ей начальные строки письма и, тыча желтым ногтем в бумагу, где было чисто, сказала так, как будто ее Василий был здесь:

– Посылаю я тебе, Васенька, сынок мой родной, головушка твоя бедная, горевая... родительское свое, матернее благословение... – она пристукнула по столу костяшками пальцев, – которое нерушимое... нет у мене обиды на тебе! – бабка опять пристукнула, – какая у мене на тебе обида-а... Нет никакой обиды-ы... у сердца матери твое-эй...

Тут она запуталась, заспешила, заплакала. Смотрела на меня мокрыми воспаленными глазами в вылезших ресницах и повторяла:

– Какая у мене на его обида? Нет у мене обиды...

Бабка завернула письмо в платочек и понесла бережно, у груди. Долго еще оставались они у кухни, и слышалась из темноты жалостная старушечья воркотня.

Наутро я повстречал бабку на почте, у полустанка. Она спрашивала у самого почтового начальника, дойдет ли ее письмо без марки. Он сказал, что дойдет. Но она продолжала пытаться, – скоро ли дойдет. Он сказал, что – скоро, и при ней опустил в ящик. Старуха посмотрела на ящик и покрестилась. Пошла дробно и спешно, как всегда, думая, быть может, о трех рублях, которые она заняла у попадьи и которые надо отработать на огороде – картошкой.

Ожидание

Все ждут и все в ожидании.

Это чувство томительно. Знакомо оно и природе. Бывают такие долгие непогожие осени, когда и скотина в хлеву, говорят мужики, закиснет и перестает кормиться, когда терпеливые к неуюту галки начинают ронять запревающие от сырости, слабеющие перья, а лошади болят ногами.

Когда льют осенние дожди, киснут дороги, а мокрый и грязный неуют с воем носится по пустым полям, – ждешь не дождешься, когда же, наконец, закурится, забелеет и за-куется эта непокрытая грязная нагота. Близится, наконец, желанное. Падают иней, морщатся в багровых закатах лужи, уходят ветры. Хлюпающие дороги стали твердей, звончей. Дали ясны, тихи. Небо в ночи засыпано золотым

горохом. Воздух тонок необычайно. Чутка тишина, как никогда. Близится белый покой, как леса затихли! Они ждут. Даже уцелевшие листья чутких осин не дрогнут. Когда же? Может быть, еще долго? Может, опять зашумит и завоет в лесах, опять раскуются и поплывут дороги? а дождь зацарапается по крышам, по стенам, по окнам... а небо потеряет звезды?.. И кажется, что избитые ветрами придорожные березы большаков уже готовы хлестаться и безнадежно ронять свои зыбкие плакучие ветви. Нет и нет все еще крепкого светлого покоя, прочно накатанных белых дорог, розового рассвета, скрипа и хруста и ночного сверканья белой земли...

Бывают такие томительно-долгие непогожие осени. Так же тяжелы и мутны серые дни ожидания.

Здесь, в полях, эта пора еще не наступила. Еще шумят по лесам ветры, не особенно надоедно падают дожди. Много еще красного и желтого золота по опушкам. Дороги еще не слишком развихлялись. И не родилась еще тоска по белому покою. А все ждут и ждут в наступившем затишье.

Отгремели неурочные поезда; отъехали все, кому нужно было отъехать. Далеко шумит военная гроза, не докатываются сюда ее ширящиеся волны. Лобовые осеннего призыва уже погуливают в рекрутках, шапках и башлыках. Ходят по лесу смягченные далью и глушью звуки прощальной гармоник-двухрядки. Оборвутся, – точно прислушиваются к чему, ждут.

В богатой усадьбе, недавно отделанной заново, после женитьбы старшего сына на миллионерше, – издалека с лугов виден белый дом, островерхая церковь и багровые клены, – горе. Длинной, все цапающей рукой захватила война и эту усадьбу. Говорят, старая барыня ждет со дня на день тело своего сына, офицера-кавалериста, недавно женившегося. Его где-то похоронили, в земле немецкой. Родные ищут.

– Постелю ему постлали... – рассказывал каменщик Иван, неожиданно трезвый и мучающийся, – склали на совесть. А вот помянуть не придется... Не осталось ли, часом, у вас какой водчонки?..

Говорит шутливо, как после обычной работы. А сейчас, ведь, приготавливал новое место в семейном склепе для «молодчинищи».

– Судьба-то наша! Перед Петровками я им камин вы-кладал... – говорит Иван. – Выкладал я им камин теракот-ный, швецкий. А Алексей Семеныч, вот которого убили на войне, все смотрел с супругой, как я, значит, выкладал... Мо-лод-чинища! солидный из себя, тяжелый. И, как сказать, в пиджаке был... не военный были, а запасной, прапорщик. И жена у него тоже со-лидная, прямо – портрет. И говорит мне покойник: «Ты, Иван Иванович, клади на совесть, не мошенничай. Мы с женой тепло любим!» И ее похлопывает по плечу: «Я тебе сейчас поднесу, только ты камин мне обле-портуй в самый раз!» Ну, никогда не обманывал. Скажет – поднесу, уж поднесет беспременно. Так я ему целу неделю клал, а он мне все подносил. Ну, уж и склал им! Вот теперь клал для них склеп, – так вот, как живого видел, как он сам мне подносил. Вот она, война-то что идекает! Думано ли, гадаю ли!

Многие ходили в усадьбу глядеть новое место в подвальном этаже вотчинной церкви, заделанном старой решеткой, с неугасимыми лампадами, фарфоровыми пасхальными яйцами, изъеденными пылью, и усохшими венками. В большом, заново отделанном доме живет теперь только одна старая барыня, сидит без ног целые дни в кресле и ждет, ждет. Ежедневно приходит к ней батюшка и пытается утешать. А у самого три сына, все учителя, тоже ушли, – получают пока военному делу. Батюшка успокаивает старуху, а сам беспокоенно ждет, сам мятежный.

Теперь он уже не может говорить спокойно, как говорил обычно. Он тычет пальцами, глаза горят, весь он возбужден страшно.

– Да! – кричит он, впиваясь во все острыми черными глазами. – Ошибался, а теперь прямо говорю! Жиды – красавцы, поляки – красавцы, а немцы – стервецы... надо их с лица земли, стереть эту пакость!

Бегаёт в зеленом подряснике, тычет пальцами и громит немцев всякими словами.

– И сотрут! – кричит он и выхватывает с полочки, роняя троичские листки, календарь. – Вот-с, читайте-с! Хоть господин Брюс и не всегда правильно говорил, а теперь это будет, будет, будет! Увидите!!

И, тыча пальцем, читает по складам, с великой уверенностью в голосе:

– Произойдет... великая перемена... в некотором знаменитом... знаменитом?! государствене! Во-от оно! Вот-вот-вот – пе-ре-ме-на-то! Будет ему перемена! Все переменят, все! Я бы этого мошенника на необитаемый остров засадил! Ведь это антихрист!

– Да будет тебе, отец... расхотился! – унимает его попадьа. – С месяц все так: из церкви придет и ругается. Что толку от твоего крику!

– Такое всем беспокойство причинил, а?! Мошенник, а не кейзер! Теперь этот батюшка успокаивает барыню. Как он ее успокаивает!

В пять часов вечера, когда приходят газеты, на почте не протолчешься. Приходят издадека и каждый день, из-за десятка верст, посылают ребят. Из брезента вываливают огромные пачки газет. Этого никогда не было. Макар Иваныч, старый почтовый начальник, говорит с сомнением:

– Понятно, у каждого там свой человек... но только уж и не знаю, как сказать... уж очень шибко пошла газета!

И смотрит опасно. Сам он выписывать «Колокол».

Десятки рук тянутся за решетку, упрашивают начальника не тянуть. Добиваются писем, но пока немного приходит этих писем со штемпелями полков. Здесь и старухи, и бородатые мужики-отцы, и робкие девушки, и затаенно ждущие, пытающие тревожными взглядами молодухи.

Спрашивают старичка-почтаря:

– Ну, как у нас там... чего пишут-то, Макар Иваныч?

– Хорошо пишут, а лучшего подождем. Говорит бодро и бодро понукает подручного.

По воскресеньям у железнодорожного переезда, под полустанком, собирается толпа, больше – женщины. Стоят, прислонившись к заставной балке переезда, ждут поезда. Все больше молодые лица, здоровые, с тревожным блеском в глазах. У многих мужья на войне. Многие еще не имеют от них писем. Стоят и ждут, поплеывая подсолнушки, – не выпадет ли счастье, не сойдет ли с поезда солдат, отпущенный на короткую побывку. В первое время бывали случаи. А теперь, должно быть, уже всех погнали, – никто не приезжает. Вот, говорят, раненых скоро будут отпускать на поправку. Много прошло с ними поездов. Больше ночами проходят здесь.

Ночью проходит и почтовый, не останавливается теперь на полустанке, как прежде: теперь спешат. Но и к почтовому приходят иные. Как знать, – может, и услышишь чего: ведь почтовый-то, слышно, идет с тех мест.

Не останавливается почтовый, с ревом проносится в темноту, кидая искры, и ничего нельзя услышать. Всегда провожает его стрелочник Чубенка, полтавский хохол, пытается затаившимся взглядом. Днем так плядит, а ночью-то иначе разве? Там у него большое – ушли два сына. Сам он тоже солдат, только уже имеет чистый билет. И не заметить, что он тоже все ждет; но он ждет. Он так внимательно оглядывает вагонные окна, так задумчиво смотрит вслед уходящим туда поездам. И так тревожно-пытливо ловит захлестанные дождем окна и полураздвинутые двери санитарных вагонов, неспешно возвращающихся оттуда.

– Чубенка, а получили вы письма?

– Было одно, може ще напышут... Да що пысма! Пысали в газетах, що усе лягают: и наши лягают, и германцы, и австрияки... А австрияки, мов тии листя, – показывает он на клен, под которым уже закрылась земля красными звездами.

Говорит он спокойно, бесстрастно даже. Война! Жалей не жалей – все ложатся, такое дело. Плохо, что на чужом поле ложатся. У него нездоровое, желтоватое лицо в черной бороде, желтая куртка с желтым рожком и флажком за пазухой. Невеселые, слабые глаза. Похрамывает. Я часто вижу его возле будки. Сюда он перетащил кое-что с родины. По краю небольшого огорода летом пышно красовались подсолнухи, теперь одни тычины. Но еще густо глядят почерневшие головки мака, который он все собирается вытрясти и все никак не найдет времени; скоро его совсем растрясут сороки и воробьи. Я не понимаю, зачем ему мак. Валяются на мокрых грядках огромные палевые тыквы. Я не понимаю, зачем ему и тыквы. Пора бы уж их срезать, что ли. И мальвы у него под окном, плохонькие, тощие. В его будке висит под зеркальцем в веночке из бессмертников фотографическая карточка двух солдат-сыновей, со знаками за отличную стрельбу и поставленными между колен тесаками. Недавно на рамочке был васильковый веночек, теперь бессмертники. Зачем бессмертники! И зачем он покинул свой милый край, свою Украину,

для этого неприглядного места, где все время гуляет ветер, а теперь так и совсем неуютно в дожде.

Его старуха последние дни печальна и ждет вестей, а он ничего, как будто. Да ведь и то сказать – что такое солдат? Чубенка это хорошо знает. Солдат это – такое, что его булавкой коли, а он не должен подавать никакого виду. Вот что такое солдат. На него и пули, и штыки, и пушки, и вся артиллерия, и немцы, и все злодеи, а он никакого виду! Вот что такое солдат. Он сам был солдат. И теперь, коли позовут, пойдет. Все едино – тут ли с рожком бегать, там ли с ружьем. Да там-то, если бы еще рядышком с сыновьями-то...

И хоть он хорошо знает, что такое настоящий солдат, – а его сыны настоящие солдаты, – нет-нет и затуманится у него в глазах дума, и поглядит он в ту сторону, откуда приходят вести! И он ждет.

Но эти... как они ждут!

С утра льет и льет дождь, холодно, и порывами налетает ветер. А две бабы, говорил Чубенка, стоят с самого раннего утра: сегодня должны пройти четыре санитарных поезда. Он уж толковал им – не останавливаются здесь. Нет, они ждут и ждут. Укрыться от дождя некуда, на полустанке ничего, кроме двух будок, нет, – голая земля. Неподалеку трактир, лавки и почта, но пока добежишь оттуда, – проскочит поезд. Кабы устроились на скамейке, укрытой узким гребешком крыши над будкой. Стоят рядом, притиснувшись, кутаясь в платки, с посиневшими унылыми лицами. И ждут.

– Сказано вам, не останавливаются!

И начинает рассказывать им, какое было сражение под городом Ильвовом.

– Так тебе тут и лягают, лягают и лягают усе!

– И никакого замирения... и никакого замирения... – вздыхает одна из баб.

Она смотрит жутко круглыми, птичьими, усталыми глазами. Тяжелая печаль на том жутком от внутренней боли лице. У ней ушел муж. У другой совсем перекошено лицо от опухоли, она все почвокивает зубом и морщится: другой месяц, с самого прощанья, болят у ней зубы. У ней ушел сын.

– Вот, стоит на дождю – зубы и болят... – говорит Чубенка, присаживаясь на скамью, у ног бабы. – Ну, сказано ж, що не становится. От дурная! Замы-рения! Хиба ж може буты замырение!

Мы их у всех должны побрать и все города у них позабирать, – тогда може замырение быты. Приказано их с лица земли, да як?! щоб духу не було. Пла-чет... А що вродить з твоего плачу? Грязь.

Говорит Чубенка сердито, – доняли, видно, его эти унылые бабы. Он уже раза два ходил к себе и опять приходил и опять говорил, что не останавливаются поезда. И про плач говорил не раз. Но ждут бабы. Может быть, увидят хоть на ходу, в окошко; услышат чего. Может, и остановится еще, и они пойдут и спросят про своих.

И я стою рядом с ними на скамейке и хоронюсь от дождя. Разве тоже хочу увидеть кого через мелькающие, забрызганные дождем окна? И стрелочник все топчется на грязи, на дожде. Он-то чего тут? Разве он не знает лучше всех, что поезд не останавливается здесь? Не хватает еще его старухи. Но зачем ей мокнуть! Как, зачем? А может пропустить поезд – ведь эти поезда без расписания. Ведь этим поездам теперь всегда и везде открытая дорога. А Чубенка-то на что! Ему хоть и шибко за пятьдесят, а глаз его очень далеко видит. А до будки два-три десятка шагов. Еще успеет добежать старуха. Вон она, накинула на голову кафтан, смотрит с порога...

– От собачий немец, якую войну закрутив!

Гудит далеко по ветру. Это на дальней остановке, еще не скоро. Все смотрят. Густая, серая полоса дождя как исполинская основа, протянулась накось, от неба к земле. Ничего не увидишь сквозь эту плачущую пелену.

Под избой

– ...Да ведь как началось... обыкновенно. Стал было я самовар разводить, – стражник мимо сиганул, к волостному. Ну, конечно, мне это без внимания. Пять часов, молодых надо подымать, – на поле собирались, дожинать. Михайла мой только тринадцатого числа, в воскресенье, свадьбу играл, женился... ну, конечно, три дни гуляли, то-се... распо-странялись по душам с молодой-то. Перед Пасхой только со службы воротился, из солдат. «Буде, кричу, робят-то насыпать... хлеба для их запасать надо, жать время, осыпается!» А Мишка мой из сенцев мычит: ладно, поспеем!.. И сноха, слышу, хикает и хикает. Кадушку свалили. Ну, конечно... распространяются... А-ты, дело какое! Ну, хорошо. А тут моя, – и что ей в голову влезло, –

роется в укладочке, говорит, – как бы моль не потлила. И вытаскивает, – ведь вот что к чему-то! – Михайлову солдатскую фуражку и на свет смотрит. «Чего ты?» – говорю. «Да, говорит, моля ее, никак, съела». Потом уж опосле стали мы с ней обсуждать все дело, – вспомнила: во сне ей привиделось – моль всю ее укладку поточила... Михайло приходит, требует, – давай нам картошки новой, живо! Завтракать сейчас, и в поле. А уж картошка кипит, то-се... И картошка нонешний год, прямо... задалась, никогда такой не было, рано завязалась, и, как песок, рассыпчатая. У Щербачихи на семена брал. И навсягды у ее брать буду, управляющий попу рекомендовал. А вот сейчас, погодите... Значит, так... картошка. Едим. Михайла своей подкладает – не стисняйся, ешь, к мужнину хлебу примыкай.

Дядя Семен, бывший десятский, говорит не спеша, приминая большим пальцем золу в трубочке, помогает разговору. Остановится, поглядит на трубочку, на золу, вспомнит – и опять говорит обстоятельно. Большая его голова, в сидящих кольцах на висках, опущена. Молодая сноха работает на станке фитильные ленты, но дело у ней идет плохо: подолгу останавливает станок и слушает. Я вижу ее с завалинки в окошко – видна только верхняя часть лица, в белом платочке. Она чернобровенькая, в румянце, востроносенькая, беленькая, писаная. Взяли ее без приданого, по любви, за красоту. Семенова старуха, видно мне, возится в сараюшке, во дворе, у овцы, которая вчера воротилась с поля с переломленной ножкой. Из-за плеча старухи я вижу и черную морду овцы с робкими влажными глазами, разевающую с чего-то рот, – должно быть, от боли.

– Натуго мотай, слышь... – говорит старухе Семен. – До Покрова подживет...

Засматривает под крышу. Там ласточки налепили гроздь серых шершавых гнезд. Я знаю, почему Семен засматривает на эти гнезда. Первый год они у него завелись, и он верит, что это к благополучию: голуби если и ласточки – к благополучию. А вот у Никифоровых, через дом, повадилась сорока на зорьке сокотать – вести будут. А какие теперь вести! Старуха Семенова знает, какие теперь вести. А ласточка – дело другое, только бы в окошко не залетела. Старуха все знает. Нехорошо тоже, когда дятел начнет долбить с уголка, паклю тащить. Самое плохое. Но сосняк отсюда далеко, и всего раз было за ее время, – налетал дятел на попов дом, – у попа потом враз оба сына

утопли. А вот в Любицах, версты четыре отсюда, за прошлый год два раза случилось, там сосняк. И тоже верно.

– Ну, хорошо. Едим картошку. И вот в окошко – стук-стук!

Бабка гладит овцу, а сама повернула голову к избе и слушает: это видно по настороженной голове.

– Староста в окошко заглянул, вот в это самое окошко, и глаза у него не то чтобы беспокойные, а сурьозно так глядит, – я его прямо даже не узнал. – «Солдата твоего на войну требуют, на мобилизацию, к утрему завтра в город с билетом чтобы... И всем поголовно на войну, которые запасные!» – И нет его.

– Велел к пяти часам чтобы... – говорит от сарая бабка. – Господи, Господи...

– Да, к пяти чтобы часам быть. И ушел стучать. Ну, тут, конечно, началось представление... – говорит Семен, кривя губы, не то посмеиваясь, не то с горечью. – Бабы выть, то-се... а Миш глянул на меня, на Марью на свою... сразу как потемнел: «Не может быть у нас никакой войны!» – Не поверил.

– И не верил, и не верил... – закачалась, не подымаясь от овцы, старуха.

– И не поверишь. Десятский Иван Прокофьев прибег, кричит, – с немцами война началась! Ну, потом всем семейством три дни в городе жили, на выгоне. Ну, ничего... на народе обошлись. Главное дело, без обиды уж, всем итить. И народу навалило – откуда взялось! Валит и валит, валит и валит. А по летнему времени у нас мало мужиков, в Москве работают. А набралось – тыщи народу. А вот послушай. Сколько живу, мне пятьдесят восьмой, а такого дела не видал. Турецкую помню, японскую, – ни-сравнимо. Прямо, как укрепление в народе какое стало: ни горячего разговору, ни скандалу... казенки закрыли – совсем не распространялись, это прямо надо сказать. И вот, чуднбе дело, – как на крыльях все стали... чисто вот как на крыльях. Удрученья такого нет. Главное, – всем, никому никакого уважения, все обязаны, по закону. С японцами когда – тогда по годам различали: у нас не берут, а через три двора Егора потребовали, а у Камкина и у Барановых не беспокоили. Ну, и было очень обидно – почему так. А тут – под косу, всех. А через неделю и «крестовых», ратников затребовали. Всем стало понятно – дело сурьозное, извинять нельзя никого, Все-эх, дочиста. У нас тут за Поджабным завод литейный,

богачи такие... все леса до самого города ихние... – никакого извинения не дали. Обоих сынов, и никакого разговору. И пошли. Один – унтер-офицер, другой – писарь. Прикатили на автомобиле, с мамашей и папашей. Стой, не распространяйся. Сурьозное дело. Немцы зачали, от них беда, с ними разговор строгий. Японцы воевали за тыщи верст, а тут рядом. Начнет одолевать – куда денешься? А я уж их знаю, их карахтер. На лаковом заводе жил, знаю. Главный лаковар у нас был, Фердинанд Иваныч Стук, баварский немец. У него из камушка вода потекет. Что не так – сейчас кулачищем в морду тычет. «Швинья русский, шарлатан!» И первое удовольствие – на сапоги плюнуть. И шесть тыщ получал! А кто он сам-то, Фердинанд-то Иваныч, какого он происхождения? Был фельфебель запасной, баварский. Ну, лак мог варить, секрет знал. Пришел с узелочком, а теперь и жену выписал, дом за Семеновской заставой купил, лаковый собственный завод поставил. Кормиться к нам ездят... А дать им ходу – такое пойдет, хуже хрену. И не выдерешь. Цепкие, не дай Бог. В газетах читали давеча в трактире, – всех одолеть грозитя, всех царей и королей долой. Ну, тут дело сурьозное...

Семен и сам читает газеты, всю ночь читает, и знает многое. Он знает, что за нас царица морей, Англия, которая уж если примется – распространит. За нас и Франция, которая республика, но флот тоже замечательный, и по сухопутью ежели двинет – про-щай! За нас и Бельгия, о которой Семен очень хорошего мнения: на литейном заводе директор из Бельгии, Николай Мартыныч Бофэ – поглядеть такого!

Ростом в сажень, одной рукой, играючи, пять пудов швырком. И все-таки Семен говорит, что дело не шуточное. Немцев он опасается.

– Они так не пойдут, в отмашку. Он уж все на бумажке прикинул, вывел, что ему требуется, и шумит. Маленько только промахнулся, – почитай-ка вон по газетам, что! – так принялись, такое объединив, такая дружба у всех, – держись, не распространяйся. Все согласились в союз. И что такое это поляки? не православные, а славяне! А-а... та-ак. Значит, и римский папа тоже, и за французов, с нами, значит. Америку бы к нам! Что-то тут у нас не сварилось. Америка всегда за нас была...

Бабка устроила овцу и присела к нам. Уже вечерет. Ближе и ближе щелканье пастушьих кнутов. Сегодня суббота, ударяют ко всенощной. Проходят старухи в церковь. Девчонки бегут к околице

встречать субботнее, раннее, стадо. Все – как всегда: и тихий звон, и полощущиеся на речных песках ребятишки, и луг за рекой, к лесу, с последними возами запоздавшего сена.

– Письмо прислал... Пишет, что скоро повезут на линию огня, на позицию... Прощенья у всех просят...

Старуха прикрылась коричневой жилистой рукой, с медным супружеским кольцом, и всхлипывает.

– Затянула... Мало ночи тебе! – ласково-сурово говорит ей Семен. – Дело сурьозное, каждый может ожидать. Кому какое счастье. Кузьма вон, – семь пуль ему в ногу попало в Порт-Артуре, – все вышли, кости не тронули. И опять пошел воевать. А нашему все удача: и унтер-офицер, и сапер. Саперам не в первую голову итить. Вон Зеленова старуха в церкву пошла... и ты ступай, помолись. И не плачет. А они вон три недели письма не получают. Как получили, что в боевую линию ихний вышел... только и всего. Что она тебе сказывала, ну? – уже раздраженно, почти кричит Семен на старуху, трясая за плечо.

Бабка не плачет уже. Она сморщилась, уставилась на разъехавшийся полсапожек и говорит вздыхая:

– На приступ иду... говорит...

– То-то и есть – на приступ! Значит – что? Почему три недели не пишет? Вот то-то и есть. А Михайла наш са-пер! Саперы всегда в укрытии... – говорит ей Семен, смотрит на меня и старается улыбаться.

В сараюшке жалобно мекает овца. Громыкает телега, вывертывает из-за церкви. Едет сотский, старик Цыганов. Что-то кричит Зеленовой старухе и трясет рукой. Пылит к нам.

– Чего в городе слыхать? – окликает его Семен.

Цыганов останавливает лошадь, оправляет шлею, не спешит.

– Говорили разное... И немцы бьются, и французы бьются... все бьются, а толку нет. Наши шар ихний взяли, прострелили. Казак ешшо двадцать немцев зарубил... Чего ж ешшо-то? Да, будет им разрыв большой. На почте газеты читали... – берем ихние города, по десять городов... Ничего, хорошо... Наши пока движут по всем местам, ходом идут. А карасину нет и нет...

– Дай-то Господи... – шепчет за спиной бабка. – Картошку-то почем продавали?

– А еще что? – спрашивает Семен.

– В плен много отдается, ихних. Раненые наши едут, в больницы кладут...

– Кричат, поди? – слышу я молодой голос позади.

Это молодуха бросила свой станок.

– Про это не пишут. Значит, пока все слава Богу...

Подходят еще и еще и двигаются рядом с телегой, а сотский все останавливается и опять трогает. Видно в самый конец села. Крестятся, ставят ноги на ступицу, смотрят вслед. А сотский размахивает рукой.

– Ну, радуйся, старуха, – говорит Семен, – ступай в церкву. Города ихние берем, – значит, Михайле и делать нечего. Сапер тогда идет, как если они на нас станут наседать. Ну, и иди в церкву. Вон уж и корова у двора. Да иди ты, сделай милость... Марья выдоит.

Мы остаемся вдвоем, на завалинке. Молчим. Тихо. Лицо Семена сумрачное. Я чувствую, – одна и одна у него дума – о Михайле. Но ведь до саперов еще не дошло! Или дошло?

– Саперы для защиты назначены, для укреплений... – говорит он. – Старуху я этим и ворожу. Чего там... Я про саперов очень хорошо знаю, что к чему, – сам в саперах служил. Без сапера ни шагу не сделать. И по крепости сапер, и по пехоте... и наступай, и отходи – без сапера не обойдешься. Мой Михайла, – да вы его видали, – еще подюжей меня будет... Самая крепость – в саперы... Степан мой, тот квельый уродился, в каретниках, в Москве... да что! А Михайла... Жадность-то обуяла! Кормили их, поили... все большие дела – в каждом немец. А теперь и землю хотят...

– Ну, а как думаешь, победим?

– А это как Господь даст. По народу-то, глядеться, Должны бы мы одолеть. Потому, чисто на крыльях поднялись. Измены бы какой не было... Да что я тебе скажу, – бабы нонче куда меньше выли! Землю завоевать грозитя... Ну, землю-то нашу в кармане не унесешь, возьми-ка ее...

Семен исподлобья глядит за реку – широко там. И как тихо. Перезванивают колокола, – покойный вечерний перезвон. Покойна заречная даль. По вертлявой дороге в лугах, светлых после покоса, рысцей трусит белая лошадка, не взятая на войну, – должно быть, старенькая. Конечно, старенькая, белая вся, а бежит, попыливает. Все,

как всегда. И небо, как всегда, – покойное, мягкое, русское небо. От лесу спускается на луга пестрая кучка ребят – ходили за брусникой. Как всегда.

– Опять дымит... – говорит Семен. – Подают и подают.

За краем лугов, где – чуть видно – белеет нитка шоссе, дымит. Там чугунка. Тянется длинный-длинный товарный поезд. Уже забежал за край леса, дымит над зеленой каймой, а хвост все еще за лугами, за шоссе. Да, подают и подают. Вот уже третий ползет за этот час, как сидим.

– Двери раздвинуты, – военный. Еще до Сибири, сказывают, не дошло. А уж как Сибирь двинут... Ото всех морей идем, ото всех океянов. Удумать бы сдюжили, а силы много у нас... Не должны уступить.

Смотрю на Семена. Что в нем? Спокоен, беззлобен. Война для него не подвиг и не игра и, пожалуй, даже не зло. Страшно важное, страшно трудное дело. Сделать его нужно, – не отвернешься. Но нельзя и забыть свое, здешнее. Сегодня он отсаялся и рад узнать от меня, что идет к дождю. У него на усадьбе за плетнем штук пятнадцать хороших яблонь. Грушовку и аркад он снял, завтра собирается снимать коро-бовку и боровинку – дюже покраснела. У него в садочке шалаш, краснеет на травке лоскутное одеяло, и он спит в шалаше вот уже третью неделю, сторожит от поганцев-ребятишек. У него хорошая антоновка, первое яблоко, и он мне подробно рассказывает, как заводил этот садочек, сколько собрал в прошлом году и как лет пятнадцать тому назад выдрал веревкой в этом садочке своего Мишку – не показывай дорожку другим.

– По весне сам мне весь сад окопал – сапер. Да ведь как окопал-то! За час все, на полторы ло-паты! Наклали мы ему грушовки полон мешок, еще пробель только-только показала. А уж теперь и антоновка скоро сок даст. А как, раненые-то которые или кто убит... фамилии-то печатают?

– Нет еще, не видал.

– Будут когда – следи уж Михайла Семеныч Орешкин, сапер. Гляди ты, опять дымит! Ну, дай Бог на счастье...

За семью печатями

С какого конца ни въезжай в Большие Кресты, увидишь в середине села ярко-зеленую крышу, а над ней плакучую, развесистую березу. Это плядит с бугорка на меняющийся свет Божий казенная винная лавка – № 33. Каждый мужик, подъезжая, непременно помянет Столярову поговорку:

– Три да три: выпил – карман потри.

Столяр Митрий, покривившаяся изба которого как раз напротив лавки, бывало, плакался на судьбу за такое соседство:

– Никуда от нее не денешься, – плачешь, а идешь. Да-а, как глаза ни три, а все – в три да в три! Сам и полки ей отлакировал, а через ее одна неприятность.

Теперь она запечатана, и крепко набитые тропки к ней по зеленому бугорку уже повеселели после августовских дождей мелкой осенней травкой. Но зеленая, с чернью и золотцем, вывеска еще не снята и наводит на размышления. Еще не отъехала к брату-бухгалтеру, в Тулу, и сиделица Капитолина Петровна, дворянка и хорошего воспитания, хотя уже продала батюшке поросенка. Но корову еще придерживает. Вот когда и корову продаст да придет от бухгалтера ей настоящее разрешение, чтобы выезжала, тогда все разрешится. А теперь... кто что знать может? Висит и висит вывеска. И все еще приостанавливаются по старой привычке под бугорком телеги, и лошаденки собираются подремать, но сейчас же трогаются под ругань к бойко заторговавшей чайной.

Печатали лавку урядник со старостой и понятые. Староста, Фотоген Иванович, сам, бывало, помогавший набивать тропки, переступив выбитый ногами порог, потянул было носом и защурился, но тут же встряхнулся, вспомнив, какая на нем обязанность, покрестился на полки и сказал Капитолине Петровне:

– Ну, Петровна... побазарила да и будет! То она нас под арест сажала, теперь мы ее до времени под печать. Показывай свое удовольствие!

И запечатали семью печатями. Нужно было только четыре печати, но староста разошелся и набавил еще три штуки.

– Верней будет. Урядник сказал:

– Акцизный положит вам резолюцию на бутылки, нацот числа. Но ежели только слом печати – объявляю под уголовной угрозой. И будьте здоровы.

Случилось это ранним утром, – даже столяр не мог усмотреть. Но похвалил за ухватку:

– Спёрва ее, черти, предупредили... потом уж по окошкам стали стучать – на мибелизацию. Очень все искусственно, безо всякого скандалу. Такое дело, без порядку нельзя. Маленько поразберутся, тогда...

И поразобрались, а на замке все висела и висела печать. Мужики захаживали, поглядывали на печать и беседовали со стражником, который по праздникам приходил на крылечко лавки и садился под самую печать – покуривал.

– Стерегешь все, чтобы не убегла? а?

– Стерегу, чтобы не убегла.

– Дело хорошее. На немца бы тебе, а то вон какими делами орудуешь.

– Нам – куда прикажут. И на немца можно.

– Эх, слеза-то наша... кра-асная!

И смотрели на большую печать под замком. Сиделица Капитолина Петровна рассказывала:

– Можете себе представить, – всю мне голову простучали – заказчики-то мои! Ходят и поглядывают в окошки. Все какой-то ослободяющей бумаги ждали, будто вышла от министров бумага, а я ее утаила. И вдруг, представьте, вижу: Митрий-столяр, самый мой главный заказчик, на кухне у меня сидит! «Чего тебе, голубчик?» А он, представьте, бух передо мной на коленки и начинает на меня креститься! «Отче наш» зачитал! Как помешательство в нем. «Хоть капельку, только на язык взять!» Но я-то тут что могу? Я сама в таком положении... то есть, в критическом, – не нынче-завтра к брату должна уехать, на большую семью... И вытаскивает бечевку! «Порешусь сейчас – на тебе моя кровь будет!» Представьте!

– Да, ведь, как сказать, по статистике трудно, но есть, – говорил урядник. – Ежели поделиться впечатлениями, то вот какой сорт. Составлено по моему участку два протокола за самоубийство от тоски по спиртным напиткам. Один в Новой Гати потравился неизвестным составом, некоторое количество древесным спиртом опились до

очумения, некоторые натурат с малиной стали употреблять. Ну... Митрий, конечно, политуру пьет, которой был запас. Составил на него протокол по жалобе бабы, что вынула она его из петли. В заключение – немножко укрепляются. От баб имею неоднократно чувствительную благодарность за предупреждение. Вообще, довольно благополучно.

Первые недели приходили слухи, что вышел *ей* срок, и вот-вот освободят от печати. Но не выходил срок. А пришел ненастный октябрьский день, приехала из города винная подвода под брезентом, и все собрались смотреть, как укладывали ящиками звонкую, покачивающую красными шапочками, поплескивающую, укрыли брезентом и повезли со стражниками.

– Хоронить повезли, шабаш!

И в Больших Крестах стало тихо. Теперь только ребяташки собирались в праздник на бугорок и жигали камушками по вывеске.

– Вали в тридцать-то три! Р-раз!!

Митрий столяр, убитый политурой, угрюмо смотрел в окошко, – для произволу оставлено! – да сумрачные от дум по ушедшим бабы крикнут когда хозяйственно:

– Окошки-то, пострелята, барыне не побейте!

А тут Капитолина Петровна продала и корову, и пару стульев, и второй самовар, который держала для контролера и прочих заезжих, и теперь уже и Митрий не сомневался, – что кончено все, в отделку.

Позвала его матушка подновить приданный комод. Пришел он опухший, мутный, – даже подивилась на него матушка. Сказала:

– Глаза-то у тебя, Митрий, какие... как у мерзлой рыбы!

– Нечем жить стало, матушка... потому. Пустота для меня все теперь. Лучше удавиться.

И так принялся драть комод стамеской, что матушка пригрозила его прогнать.

– Мочи моей нет, сердце горит, рука не владеет. Теперь по всей России будут удавляться или того же сорту. Конец. Для души нету ничего.

Тут вышел из спальни, ото сна, батюшка и сказал строго:

– За твои дурацкие речи возьму вот и наложу на тебя епитимью! Теперь все должны бодриться, а не... давиться!

– У кого запасено... чего там!., бодрись... – ворчнул Митрий и еще пуще принялся драть комод.

– Для души нет... гх! – рассуждал батюшка, попивая квас с мяткой, чтобы погасить постные щи с головизной. – Гх... Теперь всем надо усиленно работать, стремиться к упрочнению, а не... расточаться. Для души нет ничего! А чего тебе для души? Вот, волшебный фонарь выпишем... будет тебе и для души.

– Вол-шебный! Эпто вон козу намедни в Гати показывали-то... какое же от ее веселье для души! Тут надо чего изобретать настоящего, а не козу глядеть. Как сделали из меня убогого человека, – мне теперь не до фонарей. Я, может, и в Бога теперь не верю!

– Что-о?! – строго окрикнул батюшка и даже стукнул по столу кружкой.

– Да что, в сам-деле! У меня теперь веры ни в чего нет. Уничтожили, когда у меня уж и жизни никакой не стало! Ну, куда я теперь что могу? И работать я не могу!

Он шваркнул стамеску об пол и сказал так, как никогда еще не говорил с батюшкой:

– У вас всего запасёно... дайте самую малость, укреплюсь.

– Не на того напал. Буду я тебе потакать!

– А сами пьете?!

– Да ты... счумел?! Ах, ты, негодный-негодный!! Ты к пастырю...

– Ну, удавлюсь!

– Ну, и удавись!! Худая трава из поля вон! И отпевать не будут.

– Можете не отпевать, в землю все равно зароят.

– Дурак ты, вот что! Глаза сперва промой судачьи.

– Смейтесь, мне теперь один ход. Может, я теперь хуже судака!

Матушка подошла и пошептала:

– Поднеси ему хоть зверобойной рюмку, а то он мне комод не подновит.

Но батюшка только строго взглянул на нее и сказал Митрию:

– Уйди с моих глаз, смотреть на тебя нехорошо.

– Поглядите, когда труп будет.

И ушел, оставив стамеску. Даже распахнул дверь кухни. Пошел к учительнице Катеньке Розовой, – не надо ли чего подновить, – рассказал, что вышла у него с попом неприятность, и спросил, правильно ли он объяснил про фонарь.

Она его успокоила, накапала эфирно-валериановых капель и дала почитать Басни Крылова.

– Это тебя успокоит и отвлечет.

На другой день Митрий принес ей басни, сказал – очень замечательное чтение, – и попросил еще капель: лучше сердце не падает. Учительница порадовалась, накапала капель и дала брошюрку – «Корень всякого зла – вино». Вечером он принес «Корень» и объявил:

– Все очень правильно. Замечательное чтение. Теперь буду каплями лечиться. Сделайте милость, накапайте погуще.

За неделю он выпил все капли и «перечитал» горку книжек. А через три дня после этого жена вытащила его из петли, и он куда-то исчез.

Ходила Столярова баба к батюшке, но тот утешения не дал, а пригрозил.

– Как увижу, – посажу на епитимью. У меня с ними разговор короткой.

II

Летом тянулись через Большие Кресты нищие. Теперь их не видно. Аккуратно через два дня приходила в усадьбу «правильная чета» – старик Архипка со своею старухой, – желтые и отечные, как волдыри желтого воску, всегда навеселе, всегда утаивающие друг от друга собранные копейки, чтобы выпить украдкой. К ночи их можно было найти в канаве, где-нибудь за трактиром.

– Так со свадьбы и не протрезвлялись!

Они уже не ходят теперь под окнами и не валяются по канавам. Они понабрали мешки сухарей и не знают, на что истратить прикопившуюся мелочь. Они перемучились и теперь «обошлись». Просветлело в седых головах и опухших глазах, и уже стыдно, как будто, стучаться под окнами. Да и к кому стучаться!

– Хоть поговеть привелось... – каждому рассказывает словно проснувшаяся старуха. – Сколько годов-то не говели!..

Они пообчистились, и Архипушка нерешительно говорит:

– Хорошо бы заторговать иголкой и всяким бабьим товаром.

– Самоваришко бы завести, перед смертью чайку попить...

Они только теперь проснулись и вспоминают сынка, младенца Василия, который как-то сумел родиться у них и которого они же сами споили по третьему году. Какой бы мужик теперь был! Должно быть, страшна их жизнь. Жизнь-то? Старик смотрит недоумевающими, в бельмах, глазами и говорит, точно поскрипывают ржавые петли:

– Жись-та... Путаная она была. Чего и видал – не упомню.

Немного знают о них в округе.

– Темные они. Старуха-то, будто, у кабатчика в няньках с девчонок жила, брюхатую ее и венчали. Бил ее Архипка колом, чужого ребенка из ее вышиб. Потом стали жить, скандалились все. Сперва он ее лупил, а как ослабел, – она стала его мызгать. Шапку как скинет – с полголовы у него волосы выдраны. Такие преставления делали!

Теперь они проснулись и ходят, потупясь, словно ищут потерянное.

III

– Скажите на милость, и что такое! – говорит старичок-лавочник с полустанка. – Карасину расход большой, – чисто его пить начали. И, вообще, такое развитие, что... Очень мелкая бакалея трогается... чай-сахар там и мыло-с... и карамелька не залеживается?! Оживать стали, не иначе. Приказчик со склада был, говорит – так палубник подбирают, не напасешься. А это – укрываться стали которые. А как снежку подвалит, станут дорожки, пойдет с лесу возка, – кошельками заторгуем... Сынки-то мои-с? В действии, в полном действии... И благодаря Господу Богу и его угоднику святителю Николаю Чудотворцу... лампадочка у меня дённо и ношно, – покуда живы и здоровы. Кавалерист который, Николая, в Восточной Пруссии был, очень отчаянные у них сражения были – читать страшно, но благодаря Богу... А вот я вам покажу-с...

Он вынимает из промасленного ящика, где лежат фитили и красные лампадочки с белыми глазками, папочку из синей сахарной бумаги, и дает розовенький, «дамский» конвертик, на желтой подкладке которого стоит фиолетовый штампель: «Гюстав

Шибулинский, писчебумажная фабрика, Гумбинен». Отпечатано по-немецки.

– Нарочно-с, как знак победы, письмо мне написал на вражеской бумаге, на счете даже. Счет-с ведь? Линеечки-то, как у нас?!

Да, письмо на счете. В заголовке значится – Insterburg, den 29. XL 1912, Мануфактурная торговля. Зильберг и Розенкранц. В большом выборе мануфактурные товары en detail Damen und Herren Konfektion. Rechnug fur Herr Karl Triebe...

Стоит на счете для г. Карла Трибе: 2 – шерстяной материи по 3 марк. и 1 шерстяной платок – 4 марк.

– Шерстяная материя? Да ну?! Ловко придумал! Это он: дескать, по торговой мы части, вот вам, папаша, ихняя торговля. Инте-ресно... Шерстяной платок! А может, не было под рукой бумажки чистой, нашел там где... Конечно, там стрельба и разрушение... дома падают от орудий. Жуть, сударь, там! – говорит ласковый, румяный старичок, смотрит с улыбкой на измятый счет-письмецо и разглаживает фиолетовыми, ознобленными в холодной лавочке пальцами.

Письмо на счете. Война, сметающая счета из Инстербург-га в Калужскую губернию. Шерстяная материя г-жи Трибе... Г-жа Трибе из Инстербурга и Семен Афанасьич Рыбкин, торгующий керосином, чаем и дегтем...

– Покуда хорошо. А другой мой, отчаянный-то, на немке который жениться все угрожал, покуда в Двинске. Пишет – скоро окрещусь огнем! Вот какой! И торговлишка ничего-с, и покуда все слава Богу-с! У меня вот заступа и укрепле-ние-с...

И опять, как в первый наш разговор, показывает на образ Николы Чудотворца.

– Через воспрещение водочки этой прямо чистое пре-вращение-с. Только бы вот красненьким не забаловались.

А «красненькое» уже приделось в цветастые этикетки, надело золотые, серебряные, синие и красные шапочки и все чаще и чаще попадаются по канавам и задворкам разбитые черногорлые бутылки. Уже бегают по селу ребяташки и гудят в гулкие, отбитые горлышки.

Как-то заявился поправить печь каменщик и печник Иван, всех дел мастер, потолковал о войне, о немцах, которые, слышал он, – газету читали в чайной, – все коньяк да Ром пьют и всегда при себе имеют на случай, если простуда какая; попросил, нет ли какой водчонки, и сказал неопределенно:

– А баловство-то свое я, надо быть, бросил. Разве этого когда... портевейну выпьешь.

И когда сказал про «портевейн», выставил ногу и сдвинул картуз.

– По богатому теперь, конечно... только какое это вино, – один разговор. Сердце жгет, а... настоящего чувства нету? И голова болит, и... градусу, что ль, нету настоящего?..

Голос у Ивана – бухающий, глаза тревожные, ошари-вающие, лицо обтянутое, цвета синеватой глины. И дух от него едкий. Говорит, икает и все потирает грудь.

– Должны изобрести ученые люди средство от этого... от алкоголя, раз все привыкли, а то разоримся в отделку... – говорит Иван, выпрашивая мутным взглядом. – Ну, что такое это виноградное вино? Вот Василь Прохоров, трактирщик... угощает меня, хорошо. Пью. Почему такое не ощущаю ничего? Говорит – надо желудок тонкий, а то скрозь не вникает и действия нету. Господское вино, говорит. А?! – «Возьми, говорит, хересу... замечательный херес у меня есть, испанской херес!» – Почему херес? Непонятно. – «Все равно, а ты прими, от него сразу прояснит». – Взял херес, – шесть гривен полбутылки. Выпил духом, не закусывал: его всегда без закуски надо, а то не окажет. Ничего, а сердце жгет! Почему не действует, ежели херес? – «Не знаю, говорит, батюшка хвалил. Возьми на пробу рому самого отчаянного, с картинкой, Борис Иваныч, урядник, остался доволен». – Да-вай. Нарисовано хорошо... по морю корабль на парусах, горы и дерева, сидит в кусту арап в белой шляпе, безо всего, только тут у него полотенцем закрыто, и из толстой бутылки потягивает, а тут все ему на головах несут всякие фрухты и бутылки... и красавица с ним губастая под большим листом сидит и папироску курит. И как чертенята пляшут. – «Это, говорит, ихние короли пьют. Вот и печать, смотри, – ихний знак, что настоящий ром». – Сколько? – «С кого два рубля, с тебя за печку, – печь ему склал! – рубликом удовольствуюсь». – С крестником мы были, стали пить... Ро-ом!.. Мать ты моя-а!.. Никогда пить его не буду. Померли, было. Рассуждать

можно, умственное все ничего, а сели с крестником на копыльях – глина глиной. В сторону, понимаешь, мотает, а ходу настоящего нет. А трактирщик гогочет! – «Ежели бы хочь на о-дин гра-дус перепустить... – три дня, так и просидишь. Мадеры хочешь, – сейчас облегчит?» – И уж разговору у меня не стало никакого. Что т-та-кой, а?! Потом три дни в голове звонило, и все красное: небо – красное, трава – красная, известку мешаю – красная! А?! Потом уж я всю эту музыку постиг. А вот. Приходит из Лысова Степка, племянник, объявляет: такое хозяин у нас варенье варит, чисто крыс морить собрался. А это он у лы-совского погребщика подручным. Может, видали: мурластый из себя такой, трактир у него и погребок. Один он сын, люди воевать пошли, а ему счастье – один сын, и морда, как зерькало. Вот он при трактире-то и выдумал вино делать. Купил двадцать четвертей красного и теперь такое вино производит – не дай Бог. Секрет из Москвы достал от брата, как составлять, пакетов всяких приволок, купоросу, коры там всякой, порошков, капель лимонных для отшибки... да еще, само главное, спирту казенного, синенького-то! И пошло писать! Как заперли трактир, так, говорит, всю ночь с хозяином и не спали. Поставил Степку перед иконой, велел побожиться, страшал все. Дал рубль. – «Узнает полиция – обоим нам в тюрьму не миновать на три года! А будут хорошо покупать, – мне хорошая польза и тебе рубль накину. Отравы через это нет, даже напротив, укрепляться будут, ученые составляют секрет за большие деньги. Везде так заведено, а то настоящего вина не хватает и кислое оно, а тут на вкус ни сравнить!» – Вот. Всю ночь с хозяином не спали, воду ему все таскал из колодца, а он на карасинке свою кашу варил. Веслом в кадлушке помешает чего, понюхает, подольет чего. Патки крутой добавлял кусочки, глядя по сорту. Бутылок наготовили! всякого-то сорту! И ром у них, и пор-тевейн, и херес этот самый... А жена билетики резала и наклеивала. Тот разливает, она – шлеп да шлеп. И нашлепала бутылок – полон погреб. А?! Ну, что делают?! Да, ведь, уморит народ! Нет, говорит. Хозяин при нем полстаканчика выпил, но только его стошнило, – говорит, от своей работы стошнило, как знато, из какой силы приготовлено, а если холодненького, то как самое хорошее вино, заграничное. На прахтике испытано, по науке! И теперь такие деньги загребает! А настоящее-то ежели продавать –

никаких капиталов не хватит, и все равно нарвешься... Нет никакого выхода.

Говорит Иван, чуть посмеиваясь, а глаза тревожные и больные. Он – хороший печник, известный на всю округу, – «прямо, мне королем здесь быть надо, на коне ездить, как я замечательный по печам!» – а пропил всю свою душу. Осталось в его душе два чувства: злоба и жалоба.

– Работа наша в сырости да в грязи... чего хорошего видали?! Выпил – просох, а то никакой возможности. Ни образования нет, ни понятия-ума, чисто я как свинья! Сунешься к себе в дом – чернота, грязнота, хорошего разговору – один сукин сын, ей-Богу! А-ты, горе зеленое! Я в таком случае бабу принимаюсь жучить, чтобы не саднила. Устройства нету настоящего, дураками жить легче, пьяницами. Верно? Дела эти хорошо известны... оч-чень даже хорошо! Верно?

Смотрит и насмешливо и злобно дергается худым плечом, кривится угарная злоба в его подвижном усохшем лице из синеватой глины, и неподвижно-жутко глядят остеклевшие, разум потерявшие голубые глаза. А, должно быть, очень красив был и тонок чертами. И знакомое в этом потерявшемся, расточившем все чудесное лице: не то Тимирязев, не то Сенкевич. Он сплевывает, выворачивая во рту *сухим* языком, глядит на заглинившиеся штаны, на кофту, шершавую, с отсыхающими пленками глины, потирает истрескавшиеся в кровь бугроватые руки.

– Ладно! – говорит он решительно. – Зачинать так зачинать, прикрывать так прикрывать, – вчистую! По крайности, детям будет счастье. Смертной казнью казни, а чтоб нигде этого духу не было! Ни этой виноградной, жульнической! Ни-чего! Или бы уж позволяй сызнова, самую дешевую чтоб. По крайности, все потравимся и конец. А то одно баловство, а сурьозу нету. У меня вон три товарища за один год пропали. А господа теперь. Барыне я Линвертовой под городом плиту клал и выпил-то с холоду каплю самую... «Пьяница! Дураки, необразованные мужики! Работать не же-лают, скандалничают! Всю кухню мне продушил, в квартире пары!» Вон меня сейчас, что я ей баночку с маслом разбил, с ноготок-то и масла было... «Все они воры и пьяницы, вон-вон-вон!» А кто теперь кровь свою отдает за Россию, муки примает, а?! Она этого не чувствует?! Теперь песню какую я слышал,

один студент сочинил, Лексей Иваныч... на даче тут жили, на велсипеде катались за барышнями?! А?! Прямо – плакать хочется! «Нас много, серых, много и все обречены!» Печи бы ее класть – «вон-вон-вон!» У меня мозгу в голове не меньше её – «вон-вон-вон!» Она пообедала, на постелю завалилась, глаза продрала, – картины какие смотреть поехала в иликтрический театр, или гости к ним пришли, – на моей плите кастрюльки кипят-варют ей. Как она пищей заправилась – хоть бутылку ей становь – одно веселое развлечение для ней, больше ничего, и вреду нет. «Вон-вон-вон!» Так она мне тогда горячего поднесла, – пошел, кирпичом ей в парадную запустил. «Вон-вон-вон!» А сама с двумя дилекторами с фабрики путается. Необразованные, неделикатные! Я б ее к себе в избу спать положил ночки на три – запила бы, дели-катная! Нет у нас настоящего порядку!

– А пить будешь?

Он смотрит на свой кирпичный сапог, накрепко, добела закусывает губы, лицо напрягается до узелков на синих сосудах, до мелкой дрожи, и говорит хрипло, точно бьет отрывистыми словами:

– Буду!.. Спирт пить буду... все едино!.. Ослепну, а буду пить!..

Он работает скучно, мнет пальцами-грабельками мокрую глину, давит ее, пропуская в пальцах, словно что душит, часто икает, дергаясь худыми плечами, и все просит испить воды. Часто трет лоб и темя, замазывая глиной, – болит у него голова. Уходит, безнадежно спрашивая, не осталось ли «настоящей», и в комнатах долго стоит едкий угарный дух древесного спирта.

V

Приехал из Москвы мужичок Осип Клеенкин, разносчик, посоветовал отслужить молебен по случаю избавления «от лютого врага». Три года в деревне не был, пропадал в пьянстве, шатался «последним котом», – видали его однодеревенцы на папертях. А теперь Клеенкин приехал в синей поддевке, в хороших сапогах и калошах, в мягкой шляпе на длинных, как у попа, волосах и с зонтом. Ходил, попискивая калошами и помахивая зонтом, рассказывал, что

состоит в трезвенниках, у братца, что все у них сестры и братья во Христе и крепко держат крепость свою – хорошую жизнь и трезвость.

– Теперь я бо-гатый! – говорил Клеенкин, помахивая зонтом. – Я теперь на небо гляжу, крепость вижу. Укрепляйтесь во Христе, братцы!

Все смотрели на него, как на чудо, на его зонт, мягкую шляпу и калоши. А ему приятно было говорить певучим, «духовным» голосом, точно он и не Осип Клеенкин, торгующий селедками и мороженой рыбой, а новый человек из новой и светлой Христовой крепости. И волосы его, и зонт, и певучий голос, и ласковые глаза – все это самое новое и совсем из другой жизни, радостной и нездешней. Ходили за ним бабы и степенные мужики. Только батюшка покосился на волосы и шляпу, одобрил молебственное рвение, а про «братство» сказал:

– Ох, новизна эта... сбиться можно в иную крайность. Смотри, Осип.

А Осип сказал, поматывая зонтом:

– Мы врага нашего гоним, крепость нашу укрепляем. Все мы во Христе братья и сестры, Христовы воины. Помолитесь, батюшка, с нами за укрепление.

Батюшка опять похвалил за рвение, взял требник и поискал. Искал и не находил: на какой случай молебствовать? Диакон посоветовал:

– Есть страждущие... – молитву на всякую немощь?..

– Нет, – сказал батюшка, – надо торжественней. Вот разве молитву «о скверноядших»?

– Подходит по предмету, да...

Батюшка перелистал весь требник почаевского издания.

– Ведь вот, есть же молитва «еже освятити какое-либо благовонное зелие», а об избавлении от этого зла... гм!..

Тогда псаломщик, который хорошо знал по философии, предложил:

– А вот, батюшка, если... «над сосудом осквернившимся», ежели принять, что человек, как, вообще... сосуд души, и, конечно, все употреблявшие напитки осквернились?

– Нет, – сказал батюшка, – не совсем подходит. Разве вот молитва – «о еже...»

И, не найдя подходящего, служил благодарственное молебствие об избавлении от недугов, соединив с молитвою «на основание нового дому»...

Был торжественный крестный ход, а после хода Осип Клеенкин, собрав баб и всех, кто желал прикоснуться к святому делу, стал на сваленные под бугорком с тропками бревна и, помахивая зонтом, учил петь новый стих великого братства:

...Крепость Мою не сдавайте,
Скоро, скоро Я приду.
Вы на небо отвечайте:
«Не сдадимся мы врагу!»

Длинный был стих, трудный был стих, но все пели, путая и коверкая новые слова, в которых чуялось... Что чуялось? Чуялось что-то. Пели, смотря в мутное небо, куда смотрел и Клеенкин. Разевали рты, ощупью нетвердой подбирали слова, и крепче вздымались голоса на знакомом стихе о «крепости»:

Крепость Мою не сдавайте,
Скоро, скоро Я приду!

В мутное, невеселое, непогожее небо смотрели глаза, крепче нажимали голоса чующих что-то, пока неясное, а тучи ползли и ползли. А с бугорка глядело все еще неснятое – 33.

VI

Пришел в усадьбу столяр Митрий и заявил, что может сделать необыкновенное бюро из палисандрового дерева.

– У меня теперь твердость в руке... Все могу! Конечно, не может. Он весь трясется, глаза – в сизых, набухших веках и мутны-мутны, синеватые губы сухи и жаждут, мочалистая борода стала еще редей. Но он хочет «делать».

– Прямо, я теперь всем прозрел, все мне открыто стало. Нет дурей нашего народу, честное слово. Да вот... возьму себя за пример. Ну, что теперь я? У меня на луковку нету, а вчера в городе шкиндер-бальзам пил за руль семь гривен... честное слово! Теперь, скажем, как я бы должен быть? Служил я в Москве, высокое место занимал, в доверии у подрядчика. Любил меня до страсти. «Вот что, Митюха-соколик, бери от меня подряды махонькие, будь рядчиком. Денег тебе на руки ни монетки, а вот тебе насупротив дом – три тыщи с землей рендованной, будешь веки вечные Богу за меня молить!» А до-ом... беда, а не дом! Сосна – топор не берет, скондовый, мать честная! Рыскай, больше никаких! Ну, не дурак я?! Отказался. Отработал бы ему в два-три года. А через е! Я б теперь завился под самую маковку! «Нет, не осилю, Мартын Петрович». «Осилишь!» – «Не осилю!» Прямо, умолял! Вот, покойник, помер, царство небесное, а то бы свидетельство от него представил.

Он стоит под яблонями, смотрит растерянно на свои трясущиеся руки, которые теперь, – знает он хорошо, – ничего не могут, рваный, синеватый, угарный. И уже не кровь в нем, а застаревший спирт, и не голова, а куб перегонный. Один из тысячи этой округи, сотни лет пьяных, сбитых, ломавших жизни. И пьяны все еще вон те покривившиеся избушки, и деревья, и косогоры.

– Прокурила она меня до самого заду! На Донской улице жил, у Мартын Петровича, старого завету человек. Ну, конечно, молодой, глаза у меня свежие, как у орла... хохолок я носил, сапоги рантовые, когда запирал употребление... мелкой гармоньей, спинжак синий! Духи покупал в уточках стеклянных, в ватке, – прямо, яблоками от меня, – очень чисто ходил! Часовщикову дочь сватали, сколько-то там приданого полагалось, – у часовщика два магазина, и еще заводил по казенным местам. Сколько они на меня припасу всякого стравили! – лошадь можно купить, а не то чтобы жениха приобрести! Пирогами, часы мне за полцены... А она – Анюточка-цветочек, не забудь меня, дружок! – пел, бывало, ей все так. Благословились, честь честью. А уж я первый подряд взял, рыск показать: все шкапы в гимназии на Канаве перебрать – на тыщу рублей! Задаток взял. А тут, в самый день венца, белошвейка моя, Верочка беленькая... с ней я, как сказать, имел любовь, и тоже она по рюмкам звонила. Приходит моя Верочка, – р-раз меня по щеке! Оч-чень яркая такая была, худощавая,

злю-щая, когда в ней ревность. Узнала про часовщика. «Глаза и ей, и тебе, паскуде, выдеру, вуксусом оболью!» А уж я с часовщика сдул задатку сто целковых. «Пойдем, выпьем, говорю, напоследок холостой жизни... может, я обдумаюсь!» Э, думаю, очумеет она у меня, я сейчас к невесте – и сварганим свадьбу. Успокоил ее, белошвейку-то, – к Бакастову, в трактир. Укреплюсь, мимо буду, через плечо. А я очень ловко могу. Начали, Раз-раз, раз-раз. Жалко мне ее стало! Пьет, а сама плачет. А-а-ты, несчастная! Р-раз, – резанул одну-другую, как штучек восемь прополоскал – сияние у меня начинается. – У вас, может, настоечка какая есть... мне бы только отлакироваться? Нету? Ну, ладно. – Стало мне ее жальчей и жальчей. И до того мы с ней, с Веркой, настеклились... – сам хозяин приходил и водку дальнейшую воспретил. Меня там уважали... чтобы в полицию не таскали... И вдруг – часовщик с двоюродным братом и еще какие-то ихние, в картузах, сродственники. «Венчаться!» – «Не желаю! вот моя Верушка, законная жена!» Так и отринули. Как?! Пирог наш ел?! Сто рублей взял?! А!! В участок! На дороге бой, у бассейны. Спинжак с меня сорвали, брюку оторвали, сапог мальчишка стащил, его сынишка... полон рынок народу, свистки так и жучат – ух ты! Сражение цельное разгорелось. Время праздничное, наши паркетчики по пивным сидели, – сейчас на скандал! Плешкин-сапожник, на меня сапоги к свадьбе шил, – за меня. У часовщика полон рынок покупателей, конечно, – мясники, бараночники, мучники, – на нас ахнули. А тут плотники с Донской подоспели, с струментом шли. Бей! Володимирские, не удай! А уж они – на соломинку окоротить топориком могут, а как в битву такую, за своего – тут мясники что! За ножи!! В лавки побежали... сечки-топоры! Часы с меня, помню, сам часовщик сорвал первым делом. Как орел налетел! С Шаболовки пожарные тут – качай! Кончилось так, что один потом в больнице помер, двоюродный брат часовщиков, а нашему паркетчику рот разорвали до уха – тросточкой ему зацепили. Суд потом был, сидели все, на покаяние троих отдали... Через *ее* все. А то бы я с не теперешней бы свеклой своей жил, а с Анютой. Она потом за мясника вышла, – говорят, на фтомобиле ездит уж...

Потом Митрий стал рассказывать про свои муки. Не спал две недели, все думал: порешить себя, либо что изобрести.

– Прибег к старому средству – политуру стал очищать. Смолоду-то бы ничего, а как прожжено у меня все, – яд чистый. Луковку надрезал, опустил в стакан, сольцой посыпал – стал осаждать. На ватку канифоль всю эту пособрал, стал сосать. Не гожусь. Духи пил, в город бегал, – нету удовольствия! Давиться стал, жена вынула, – не сказывайте никому. – А может, чего осталось, хоть наливочки, а? Ни у кого нет. У попа три четверти запасёно, не дает. «Я, говорит, давно ждал, что воспретят, бросал семена добрые, а вот и взошло!» А сам и перед обедом, и перед ужином. – Ходил к доктору, Маркиз Иванычу Кохману, прописал чтобы, сердце упало. Для врачебной надобности – можно. Взял рупь. Бутылочку спирта... что-то с меня в аптеке взяли... рупь с чем-то. Пошел опять повторить: новый рецепт! Как так, новый?! «А яд!» Я-ад? Ну-к что ж, что яд! Знаю, что яд, а зачем сколько годов безо всякого документу продавали с каждого угла? – «Спросите, говорит, у кого знаете». Во-от как! Пошел к Кохману. Давай рецепт. – «Рупь». – А народ от него так и валит, с рецептами все, для врачебной надобности. Глядь-поглядь – по улице подвода. Она! Да водка! Насчитал Двадцать четыре четверти. Что такое, какое право покупать? Фабриканту Махаеву доктор прописал, из склада отпущено Для ванны, купаться от болезни. А-а, вот что-о... К Кохману. – «Дайте мне сразу на два ведра водки рецепт, чтобы мыться по случаю какой болезни, вам известно» – «Уходите, говорит, вон». – «Что-о?! Фабриканту даете, мне – нет?» В полицию. Телеграмма полетела, воспретили со склада давать. И так теперь все обре-зали! Баба моя скалится: «Что-о, запечатали твою красоту?!» Ей хорошо, а как я боле двадцати лет травился, кто в этом виноват? Я бы, может, теперь в каком доме жил, в хорьковой бы шубе ходил И сколько я денег пропил! Гляньте, как руки-то... кур воровал! И здоровье пропил, и шубу свою хорьковую, и Анюту... Образованная какая барышня была, романы читала Теперь синий спирт пью с квасом. Рвотный камень фершел посоветовал принимать – все кишки выворотит, пить бросишь. Да-вай! У-ух!! Чуть не помер Глаза вылезли. Три дни проскучал – да-вай! Шкиндер-бальзам вчера пил... Что мне теперь принимать, научите.

И когда он так спрашивал и все чего-то искал глазами в яблонях и траве, – вынырнул, как тень, из-за угла дома высокий, жилистый и рыжий, портной Василий. И поклонился конфузливо.

– Пришел-с отработать за матерьял-с...

Его не было видно с лета, с того самого злосчастливого дня, когда снял он, как-то особенно торопливо, мерку, забрал материал, заявил, что найти его можно очень легко, – живет против версты, где у избы разворочена крыша, – сказал, что может фраки-сюртуки шить, и пропал. Была найдена и верста, и крыша, но портного не оказывалось все лето. Приходила жена, извинялась, – затопил портной с пьяных глаз печку, покидал туда весь материал и картуз собственный, и сапоги мальчишкины.

– Совсем он у меня ополоумел.

Когда приходилось заметить Рыжего, на дорогах, он уходил в кусты или хоронился в канаве. И вот теперь неожиданно появился и попросил на деловой разговор.

– Ваше благородие! Конечно, надо говорить – подмочился. Но могу на какой угодно фасон, только укажите по журналу. Сюртуки, мундиры, фраки, визитки, шмокинг-редингот-полуфрак, на всякий манер. Обеспечу. У Гартель-мана, на Арбате жил, на сто рублей, как закройщик. Плеваке шил фрак на суд. Плеваку изволили знать? Замечательно мог говорить, а фраки носил строго. На певца Хохлова... не изволили знать-с? Дембна пел, опять я для них шил. – «Ты, говорит, Рыжий, так шьешь, что даже не чувствуешь, во фраке я или безо всего!» – Билеты давали на представление в Большой театр. Дембна когда пел, барышни им простынями трясли, когда они руки растопырят! Чего я не видал! Онегина пели... Никто так не мог. Еще кому я шил... Обер-пальцмейстеру, господину Огареву. Привозили с городовыми, сажали в кабинет на три дня. Шей, такой-сякой! По полбутылки на день отпускали. Меня вся Москва знала. За границей мои фраки гуляли... Город Париж знаете?

– Ну, как же это ты тут очутился, изба у тебя раскрыта.

– Хорошо еще, что очутился. А то у нас были тоже замечательные мастера, – нигде не очутились: съютюжились и все-с. Так вот, сюртуки-фраки, пальто деми-сезон, меховое... Но главная специальность – фраки. На глаз могу-с, – талью только прикинуть...

Он в ситцевых розовых штанах, босой, в картузе без козырька, без щек, без бровей, на месте которых багровые полосы горячего утюга, в небывалой венгерке. Стоит, подрагивая на осеннем ветру.

– Батюшке ряску шью, уряднику мундир... У трактирщика бы машинку выкупить, ваше благородие!.. Придется если – в Москву могу.

Стоят они двое, мастера. И все замято и стерто в них и запечатано накрепко – не отпечатать. Рвутся сорвать печати, шить фракы, клеить палисандровое бюро, выкладывать, терракотовые каминны. И пьяны они давним пьянством, а запечатанная душа рвется и смотрит из мутных глаз. Россия смотрит. И как хорошо говорит, и как по-чудесному может чувствовать. И как понимает все, – проклятые печати! И бабка Настасья с мужем и сыном, лихим кровельщиком, и столяр, потерявший свою Анюту-цветочек и хорьковую шубу, и «правильная чета», перезабывшая свою жизнь, и многие-многие с этой малой округи, – бесконечная галерея человеческих черепков. Осматриваются теперь отуманенными глазами...

VIII

Батюшка угощает заливным судаком и, подвигая рюмку черносмородиновой, вздыхает.

– Уж на что мы, люди интеллигентные, а и то доводим До гиперболы времяпрепровождение, – постукивает он вилочкой по рюмочке. – А что говорить о нижних этажах! – опускает он вилку к полу, в нос собачонке. – И что же там усматриваете? Самоотравление, разорение хозяйства, сквернословие, неуважение к сану и положению и всевозможные болезни! Кануло в вечность – и что же? Рвение к церкви подымается, безобразий не наблюдается, обиход улучшается, здоровье укрепляется, начальство удивляется!

Он разводит руками и очень доволен, что вышло складно. Да, у него есть причина радоваться: призванного из запаса сына-учителя вернули на днях из-за грыжи; кроме того, вчера забагрил на омуте восьмифунтового судака.

– И хотя бы напряжем все силы и даже до копейки ребром, зато потом будем загребать сторицей во всех отношениях: культура развивается, умы проясняются, население ободряется и... опять начальство удивляется! Хе-хе-хе...

И опять наливает.

Оборот жизни

Осенние дни. Тихо и грустно. Еще стоят кое-где в просторе *бурых* пустых полей, как забытые маленькие шеренги крестцов нового хлеба. Золотятся по вечерам в косом солнце. Тихи и мягки проселочные дороги. Курятся золотой пылью за неслышной телегой. Тихи и осенние рощи в позолоте, мягки и теплы, строги и холодны за ними, на дальнем взгорье, сумрачные боры. И так покойно смотрит за ними даль, чистая-чистая, как глаза ребенка. Как вырезанные из золотой бумаги, четко стоят-идут большаком вольно раздавшиеся вековые березы. Идут и дремлют.

Всюду чуткий покой погожих осенних дней, забытых ветром. А налетит и перебудоражит скоро, закрутит и захлещет, и побегут в мутную даль придорожные березы, и заплачут рощи.

Мы сидим на голом бугре за селом. Отсюда далеко видно.

– А это Сутягино, крыша-то красная... – показывает за большак столяр Митрий. – Такое торжество было! да свадьба. Женился сын, офицер... на неделю приехал с войны жениться. Откладать-то неудобно было... с гувернанткой жил. Ну, понятно... Мамаша ихняя не позволяла. А тут надо оформить по закону... Сегодня жив, а там... Разбирать нечего, крайность. Пожалела барыня за ребенка – женись! Все его владения будут, как папашу убьют! Уж и гордая барыня!

А война. Она такого обороту даст, что и своих не узнаешь. Старики у нас разошлись... что-то такое и не понять. Три старика вот поженились... правда, богатые, вдовы... Таких-то ядреных девок себе повыбрали, не говори! Самую головку. Для народоселения... Крепкие старики, нельзя сказать... с детьми будут. А девочки такие... Ничего не поделаешь, устраиваться-то надо. А у какой и природа требует, что твоя телка... Закон ещества! Одну у нас повенчали за трактирщика из Боркина... старухи Зеленовой Настюшку. Грудастая, мордастая... кровью горит! Ну трактирщик тоже мужик

самостоятельный, чижолый... при капитале. Ревела все... а тут, пляжу, катают чуть не в обнимку... на Спаса были в гостях. «Он, гыть, мне вот-вот вилсипед купит!» С мошкинской учительницы в пример... И ку-упит! Так и козыряет за ней петухом. Тут у нас новостей есть. Война, брат... она зацепит. Еще какое будет!

Да. Крепко и глубоко зацепила невиданная война. Со стороны будто и не так заметно: тянется привычная жизнь, погромыхивают в базарные дни телеги, уходит и приходит в обычный час стадо, гнусаво покрикивает по округе хромой коновал Савелий – «поросят лечить требуется ль кому!» – бродят лениво меднолицые татары с тележкой, ворожат бабьи глаза, раскидывая на травке под ветлами яркий ситец. Обычно по череду идут работы: возят навоз на пары, помаленьку запахивают, почикивают под сараями – отбивают косы, поскрипывают шумящие воза с сеном, в зажелтевших полях вытянулись крестцы нового хлеба. Неторопливо по ряду движется жизнь по накатанной колее. А если вглядеться...

Строится жизнь, поскрипывает, а прет по каким-то своим дорогам. Те же, как будто стоят тихие избы, а сколько новых узлов заплелось и запуталось за оконцами, за серенькими стенами. И сколько этих узлов придется разрывать, с болью или скорбно распутывать в долгие дни и ночи, что не устоять в неподвижно унылом однообразии этим нахмурившимся избам под ветлами и особенно пышными в это лето, как свежей кровью залитыми, рябинами. Не будут они стоять, как стояли века, раздадутся их стены, и заговорит в них иная жизнь. Да уж и теперь говорит...

– Эх, ми-лай! – говорит Митрий. – Так все перекувырнуло все у меня... чисто как выпался! Шабаш.

Да, ему, видно, скоро – шабаш. Как будто у него желтуха: желтые белки, зелено под глазами, и осунувшееся лицо будто пропитано охрой в зелень, а беловатые десны обнажились. Он тяжело дышит, говорит, будто ворочает бревна, и все покряхтывает и потирает у печени.

– Только не поглядишь сам-то, чего изо всего этого выйdet... Пущено лачку здорово... заблестит! Так-то заблестит... А занятно бы поглядеть...

Что заблестит? Да все. Так он верит. И хорошо знает, что ему поглядеть не придется.

– Шабаш, попито-пожито. Давно бросил водошное занятие... желудок не принимает. А какая со мной на этот счет штука вышла! Как узнал о себе, чего у меня болит... еще до этого с месяц... маленько одеколоном прошибся. Чего они там в него напустили... а как отколдовали. Взял за рупь с четвертью, с картинкой... написано – Калибри... значит по-военному... калибр? Вот это-то калибр меня и саданул, выхлестало... И уж не желаю, никакой радости не признаю. И пошло, брат ты мой, у меня дело в масштаб!.. Сейчас, например, дело так мне и бегет... Заказ взял в городе... гроба да кресты. Госпиталю этого товара требуется несколько... Оборот пошел такой драгоценный по работе, – покрутил он желтыми узловатыми пальцами, – значит, одно цепляет-тащит, другое натекает... оборот! Да и везде теперь оборот, как ни промерь... Да-а... И тут у нас... – поглядел он с бугра на Большие Кресты, – всякого обороту есть... всего прой-зошло! В масштаб!

А все те же, как будто, избы и ветлы, и рябины. Но в самой середине села, где зияла развороченной крышкой изба портного, – черное пятно пожарища в черных ветлах. Сгорел и самый портной, не попал в Москву шить сюртуки и фраки.

– Настигла судьба нашего Рыжего... Спирт перегонять изловчился... секрет открыл. Гонял да пробовал по вкусу. Догонялся до градусов... ке-эк всю его аптеку фукнет... готов! Прикрыл дело. Мальчишку его угольщику в лес баба отдала, а сама, слышать, в Москве живет... к брату, ассенизатору поступила, на бочке ездит... Как фукнуло-то! Ежели тут поразобратся... такое движение всего, беда!

И еще новое. Красный попов дом теперь голубой, помолодевший, терраса в полотнах с фестонами, на беседке посажен на тычок золотенький шар – будто увеселительный сад. На балкончике в покрасневшем винограде, что-то голубенькое вытряхивает белую скатерть.

– Ма-ша!.. – показывает на голубенькое Митрий и расплывается в болезненную, жуткую на его лице улыбку. – Вот гвоздь-то нам вколотили! С веселым теперь попом живем. Музыка такая идет!.. Новый, как же. Тот-то, рыбак-то наш, помер на масленице. То, говорят – объелся, а то будто от расстройства. Три тыщи дал под хороший процент в городе мушнику под дом. На войне мушник... Срок

подошел, давай деньги! Нету, муж на войне. Про-дам с торгу! Не продашь, военная защита у нас! Отсрочку имеем. Да еще за твои двадцать процентов засудим. Сразу его ударом... А этот новый, стрыженный, совсем мальчишка еще. Ему бы призываться скоро, ратник он... а он уюркнул – в попы. Только семинарию закончил, женился и – поп! Цельный день граммофон поет, а он все по террасе похаживает да Машу кличет. Маша да Маша! В саду целуются, друг за дружкой гоняются... Ма-ша! Тот-то, бывало, зачнет в церкви разносить... ку-да! А этот – Куцый. Мальчишки дразнят. И никто его не слушает. Еще и не обегались вдосталь, а службу правит. Теперь бы утешать, а ему веры нет, бабы и не глядят. Маша да Маша! Как поехала старая-то попадья... все наливку распродавала, шесть четвертей! Хорошие деньги взяла.

Рассказывает и рассказывает про округу. Да какая же жизнь кругом, упрятавшаяся в тихих полях, смешная и горькая! И какое движение всего. Только смотреть и смотреть и захватывать жадно, пока еще не рассыпалась. Жуткая и красивая пестрота, в дегте и сусали, в неслышных криках, в зажатых столах и беззаботности. Быть!

– Крестами я теперь занимаюсь... Поглядите мою работу на кладбище! Губаниха наша померла-укрылась. Что говорить – горевая. Ей крест выстругал знаменитый, сосновый, в два аршина... в память. Соседи были. Максиму такой отделал... в городе не купить, нет. Барыня заказывала, из березы, под светлый лак, а по рисуночку гвоздем прожег, как чири-паховый. Ему стоит, человек был смиренный, а сила в нем такая была... под конец только объявилась. Стал людей утешать! Да. Так хоронили... трогательно смотреть. У него своих семеро осталось, все девчонки... да братниных четыре головы. Одиннадцать голов! Как встали они на кладбище... глядят на публику... беда! Трактирщик был, который вот винный-то погреб, фабрику искусственную завел! Ему Максим сон растолковал, что будет ему капитал. Ну, правда, брата его убили на войне, а ему хороший капитал достался... тыщ десять! Увидал детей, пожалел в благодарность... четвертной сунул. Потом говорит – приют! Насыпано там сирот, прямая обязанность! Мадам, положьте фундамент! – Барыню с усадьбы подковырнул. А тут эти девчонки тара-щутся. Барыня сейчас, – ах, ах... сто рублей! Землю даю! Трактирщик напротив ей, – двести! – Народ глядит, заваривай!

Батюшка, стрыженный... тоже: давайте, пропитаем... из копейки рубли! А тут барынин студент сейчас – бумагу написал... лист! Собрал по местам за триста. Лесник с полустанку как узнал, что трактирщик барыню перешиб, обиделся: трактирщик за его сына дочь не отдал... хромой сын у него. На три сотни, говорит, лесу объявляю, а там еще от меня будет на покрывку, ежели трактирщик отделку примет. Гляди, как ковырнул! Принимаю отделку! Принимаешь? Так вот от меня еще палубнику тыщу штук, выше не перекинешь! – Засерчал. Говорит: стекла беру, застеклю! Ей-Богу! А, стекла? Печки мои, выше трубы не накроешь! Накрою!.. Накрыл! Что ты думаешь?.. Отопление принимаю! Значит, выше трубы – дым! Во как им Максим подложил! Ну, думаю, скоро, Митрий, помирать будешь... пропил ты свою душу... счет подаду-ут! После и тебе сироты будут! Пять дверей на себя записал, за работу... и еще скидка им от меня будет... С весны и двинуть. Какое дело-то! Так все загорячились – не понять.

И Максим помер. Сколько смертей за один этот год в малой округе. Какое движение всего! Помер чудной Максим, хмурый с маленькими глазами лесного человека, с маленьким лбом, заросшим до переносицы волосами, пугливо всматривавшийся в непонятное, чувявшееся его пугливой душе, тщетно старавшийся постигнуть и разгадать судьбу. Когда-то он говорил, что «все может себя оказать, только надо понять, в чем тут суть». Да, все может себя оказать и отыщется суть: вот уже приют строят. В чем же тут суть?

Рассказывает и рассказывает столяр про округу, и столько нового в незаметной жизни, столько перерыто и вывернуто за один год, что, пожалуй, и «заблестит»!

– Вот она, сила-то его, и объявилась. Максима-то! Бабы наши свое болтают: темная, будто, в нем сила жила, всего ему открывала. Правда, что вид у него дикой, чисто совиный... а вот через него-то у нас и сирот подберут. Вот-те си-ла!

Митрий пересчитывает по пальцам поставленные кресты на кладбище, заколоченные избы, пленных, убитых и воротившихся с чистой отставкой. Он знает законченные и назревающие драмы, плачущих вдов и иных, уже забывших и завязавших новые семьи. Пошатнувшиеся и поднимающиеся дела. И опять говорит, что оборот пущен шибко, а что из этого выйдет, – увидит, кто доживет.

– Там... на войне-то лес рубят! – говорит он, и его жуткое желтое лицо покойника мудро и необычно вдумчиво, словно вот-вот провидит. – А тут щепка да стружка летит. Будет чем топить. Вот приходи, потолкуем напоследок. Покажу, какой я и себе крест загнул... Нельзя, чище моего никто не уделает. А чего? Ничего не боюсь. Я вот когда с пятого этажу летел, на Молчановке дом строили... испугался раз. У меня и секрет есть... ничего не поделаешь. А вот. Прихожу в госпиталь, партию им привез... к доктору попросился. Вот тут вот болит и болит, ноет. Так и так, жизнь моя вся во хмелю, боль ничего... как теперь лечиться? Поглядел на меня, сморщился и говорит: «да, твои, говорит, доктора на стенках висят, по твоему лику прекрасному вижу! Однако, скинь рубаху!» Веселый барин, военный! Ну, проревзовал меня... дока! «Такой, говорит, у тебя рак во всем этом месте... даже в руке его держу... такой рак, что само лучшее тебе не резаться. Так приходишь». – А сколько, спрашиваю, можно с им доходить? – «От силы, говорит, два года. А будешь пить – больше года не выстоишь». – Такой веселый, и у меня страху нет. Будто так и нужно. Да еще подумал – каждому когда-нибудь, а помереть нужно... да на войне теперь молодые смерть принимают... И совсем у меня страху нет! – «А как будут подходить боли... – а должны быть такие боли, что кричать буду, – так, говорит, я тебе на этот случай капель хороших пропишу, будешь принимать». – Во-енный, так прямо и говорит. Так, будто разговариваем, весело, по пустяку. И секрет дал. Значит, как и капли не станут помогать, тогда чтоб сразу полрюмки хватить и... «уснешь, как младенец!» И большой пузырек дал, беленькая. А потом и говорит: «Ты, говорит, не тужи, Митрий... от этой болезни и цари помирают, нельзя излечить – рак!» – Нельзя – так нельзя. Только бы до конца войны дождаться, кто кого перемахнет... поглядеть, что будет.

Спокойно-грустно его лицо, грусть и в усталых глазах. Вся жизнь позади... а какая жизнь?! Вся она у него оставила черные следы свои на побитых, в синеватых шрамах и желтых мозолях, руках, в грустных глазах. И кругом грустно и тихо. Стоят крестцы нового хлеба. И они грустны. И грустны осенние рощи в позолоте. На западной стороне залегло в небе, в розовых тучках-подушках, червонное золото и умирает тихо. Видно с бугра, как у церкви псаломщик, в белой рубахе, приставил к рябине лесенку и взбирается – хочет снимать.

Босая девочка стоит под рябиной в красной рубашке, и смотрит на него, заложив руки за спинку. Подняла голову с белой косынкой и смотрит. Белая церковь – золотисто-розовая от заката.

– Яблока нонче мало... – задумчиво говорит Митрий, соскребывая с желтого ногтя лак. – Рекомендовал он мне еще яблока печеного, сахарком посыпать для вкуса... вкусу у меня, как будто нет, как трава все. А то горшит и горшит. У дяди Семена какие деревья, а ни яблочка нет. Сын у него по ним хлопотал, люби-тель! Теперь на войне... В город ходил, приценялся... сорок копеек! какая четверка... де-сяток! От яблока мне легшит, верно сказал. Вот сейчас пойду, сахарком посыплю, а ночь капельков...

Смотрю на него, – трет правый бок, а в лице грусть и мука. Он уже умирает, умирает незаметно, тихо в этих тихих полях. Покоряется смерти, как покорился жизни. Кто его таким сделал? Почему не кричит, не жалуется, не прокликает жизнь, которую пропил? И как же он может, приговоренный, спокойно тесать кресты и сбивать гробы на последнем пороге? Что это – сила какая в нем или рабья покорность? А на него и смотреть жутко. Он облизывает синеватые, измятые губы в насохших пленках, приставил руку к глазам и смотрит в поля к золотистым лесам за ними. И говорит спокойно:

– А вот пойду-ка я завтречком в лес за грибами, куда сила-то не ушла... И калинки бы хорошо попарить, кислого так хочу... беда. Значит, не могут его лечить, не дошли. Говорит, наскрозь проедает, потом вот дух может быть нехороший. Но только до этого не доводить чтобы. В больницу можно, говорит... только тесно теперь... А давно я в лесу-то не был... Да, попито-пожито.

Нет, не рабья покорность, и не скажешь – что же? Откуда же в нем такое, чего достигают лишь избранные, глубоко проникшие в сокровенную тайну – жизнь-смерть? Или уж столяр Митрий так много понял нутром, много страдал, что поднялся над жизнью, философски посвистывая? Не умеет ее ценить. Нет, умеет. Он вон даже про канареек рассказывает любовно, водит их в своей убогой избушке, – вот на Полотняном Заводе кинарейки! – любит брать в руки и согревает дыханьем. Он шутливо рассказывает, что поет ласточка, прилетая и отлетая, и с азартом может еще представить, как вороны долбят запоздавшую сову на заре. Он столько расскажет про жизнь и в таких красках, что не описать в книгах. В садике у него

всего-навсего одна бузина да рябина, но он такое расскажет про бузину, «американскую ягоду», и как дрозды подошли от его рябины, что подивисься и уже не расскажешь так. Расскажет он – и почему кривы проселочные дороги, – сказку про трех кумов и бутылку водки, – и как любился с его канарейкой щеголь-прохвост, красноголовый красавчик, и с чего это елки зимой зеленые. С полей, что ли, этих набрался ласковой грусти, смешка и тишины душевной.

– Теперь уж и кинареек перевожу. Без хозяйского глазу какой уход! Третья пузо показывает, потому кинарейка строгая птица... хворой руки не любит, так плешками и пойдет, перушки скидает... – грустно говорит Митрий. – И спариваться не позволяю. А секрету свою не скажу... никак не доверяю. Пусть вот достигнут, как его голого узнать... кто он такой, самчик аль самчиха! А я на другой день докажу! Через это сколько неприятности бывает! Как мне чижом надули, я сколько капиталу положил, теперь знаю. Да-а... А то у меня один кенарь запойный был, ей-Богу! Привык и привык. Как рюмку увидал – писк такой подымет, не дай Бог! Перышки – так – ффу! А уж и пел! Голос такой... могучий... в учителя покупали на заводе – полсотни! Вот какая природа! Что ж ты думаешь! Пропал голос... пропал и пропал! Три года его держал, по старой памяти. Потом щегол этот у него отбил супругу, и стали они его рва-ать... Так и задолбили. Бабы одинаковы. Я про кинареек такое знаю... крой лаком!

Солнце покраснело, покраснели и рощи, и крестцы, и березы большой дороги. Куда моложе стали, – розовые теперь идут, в розовое. И Митрий стал золотиться, яснеть, розоветь, словно совсем здоровый. А вот и не стало солнца – и все сереет и меркнет. Смотрит на меня сумрачное больное лицо человека, которому не дожидаться иной поры, когда все заблестит, чтобы уже не меркнуть.

– Воюют-то там, что ли? – устало спрашивает Митрий, показывая на сизо-багровый закат в тучах. – Та-ак... Чисто кровь с дымом! Вот мы тут посидели по пустяку, а там уж... кресты тешут. Да, пустяком не обойдется.

– Заблестит?

– Заблестит, коль под лак пустят. И зябнуть стал все. Да и капелек принять надо...

Согнувшись на больной бок, медленно спускается он с бугра. И видно далеко в чистом воздухе, как у мостика присаживается и

потирает бок, как опять подымается и подходит к своей избе. Там, на завалинке, розовая девчонка пестует его годовалого мальчику. Митрий подходит, топает на девчонку, грозит кулаком и присаживается на завалинку. Девчонка бежит в избу – самовар ставить: вьется уже темный дымок. А Митрий сидит и сидит. Должно быть, доняли его боли.

Максимова сила

Не упомянуть такой глубокой зимы. Навалило снегов, думали – не протаает. На большаке накрутило под самые сучья, овраги позанесло вровень, и был слух, что где-то под Боровском провалился в овраг дьячок и замерз. С больших ли снегов, или потому, что известный в округе волчий охотник, барин Каштанов, был теперь на войне, или еще по какой причине, – объявилось много волков. На Святках свадьба их забежала в Большие Кресты и разорвала Дьяконова кобелька Франца, которого до войны звали Шариком.

– А может и *оттуда* подались, с перепугу... – говорил работник Максим из усадьбы и значительно подымал совиные брови. – Так партиями и ходил. На Крещение в сад к нам тройка его забегла под яблони. Всю ночь спать, окаянные, не давали... выли. А потом какая история! Выхожу утречком, пляжу... навертели они мне на снегу! Да ведь как! Каждый шут ямку себе пролежал и... навертел, чтобы не стыдно сказать... А?! Что за суть этому? Почему беспрерывно в сад зандобилось, прямо супротив самых окон... Способней бы на скотный податься, все живым пахнет... ан нет. Чего такое?..

Максим за зиму подался сильно. Еще больше померкли сумрачные его глаза, пугливо высматривающие и ждущие притаившейся от него жути. Напугала его война, задавила всякими думами. Щеки опали и потемнели, борода пошла серенькими кусточками. Еще больше, чем осенью, стал он тревожно-сосредоточен, силится проникать в суть всего, и пугливой душе его будто передается незримое. Уже оправдались иные из осенних его примет. Сорванный августовской бурей крест с колокольни сказался; хоть и не пришла неведомая беда, но и не прошло бесследно: батюшка зимой помер.

– На него и показывало, а невдомек. Ближе-то его ко кресту кому быть!

Оправдался и случай с письмом. Когда совал письмо в ящик на почте, оно перегнулось и застряло; подумал тогда – не получить брату весточки, не воротится с войны. Как раз так и вышло, хоть и не совсем так: попал брат в плен к немцам.

– Чую – не, воротится, уморят. Вон хлебом-то каким, сказывают, кормят... из опилок пекут! Писал брат – пришли хоть черных сухариков! Посылал, а слуху от него нет и нет.

Максим стал говорить полусшепотом, словно и своих слов боится. Да и как не бояться ему всего! В отведенном ему в людской уголке «набито до потолка». У него своих семеро, все девчонки-погодки, старшей десятый год, да после брата-вдовца четверо привалило. Привезла ему их двоюродная тетка – корми. Он на них получает двенадцать рублей, на хлеб, пожалуй, и хватит, а дальше как?

– Поглядишь – сердце сохнет.

Совсюду смотрит на него страх. А от места откажут? а ну, заболеешь? А как увидит урядника, – похолодеют ноги: думает, что за ним.

И вот эта «шутка» волков засела в его маленькой голове.

– Чую, что оправдается. Одна-то ямка уж объявилась. А вот. Волки-то на Крещение были, а девятого числа, в ночь, прискакал нарочный. Телеграмма! Чего такое? Барыни нашей брата ранили. А?! Прошло время, отпилили ему ногу, не выжил. Докладывал я ей тогда про волков, а она меня дураком назвала... а как увидела, в чем суть, что не без причины, так осерча-ла!.. «Через тебя, все ты накликал!» Я накликал! Да я думать-то об этом – ничего не возьму! Ну, поглядим, чего дальше окажется. А уж о-кажет.

И кажется, он вобрал в свою темную душу все рассеянные по округе страхи. А много их. Они и в глазах баб, выстаивающих часы на почте, и в затихающем грохоте пробегающих поездов, украшенных березками, и в раскатах ночного грома. Они попрыгивают в сумке скачущего урядника и в визгливых трелях гармонии, вдруг обрывающихся с разгульной песней. И в черных галочьих стаях.

Их провожает Максим пугающими глазами, долго стоит и думает о своем.

– Галки-то?.. Я галок очень хорошо знаю, как им лететь... Летошний год летали как летали... А теперь навалило!.. Стало быть, подаются.

Часто он уходил на большак, к чайной лавке. Странники ходят по большакам, несут вести. А как не поверишь: бродит человек по всему свету, всего повидает. То проходил странник, сказывал – не пройдет трех ден – не сберешь трех вещей. То попадались старухи, шли из города Лось на Киев, карманы полны одних грошей. То попался черный мужик без шапки – шел большаком, мотался, а говорить не может. Много чудесного проходило по большаку. Такого никогда не было.

Узнали в селе Максимовы приметы, и стали ходить к нему бабы, сказывать сны. Просили растолковать, что будет. Он толковал охотно, расспрашивал, вдумывался, иногда затруднялся и наказывал приходить еще. Подолгу останавливался на одном месте и смотрел в землю. Жена стала называть его тошным и суморошным и просила барыню – пострацать.

– Мука моя с ним... ночь не спит, глаза пучит. Всем девчонкам волосики пообрезал, все ладит – волосы собирать надо, продавать... три рубли за фунт платят! Что выдумал-то! Всех почекрыжил, теперь ко мне пристаёт: режь и режь ему косу, продавай, а то скоро есть нечего будет! А то уставится на печку и бормочет, шут страшный: «Чурик-чурик, зачу-рай!» Чисто колдун какой. И девчонок обучил, так все и голоса – чурик да чурик. Жуть с им.

Барыня вызывала Максима и выговаривала, чтобы не смущал темных людей, что и так на душе неспокойно, а он ходит и выдумывает плуности. А Максим говорил свое, говорил затаенно и пугал глазами:

– Сам-то я ничего, а чую, сила в меня находит... людям-то говорить надо чего на утешение. Сила во мне говорит, а я сам как могу?.. А с чего ж мне видения-то, барыня, бывают?

– Барыня даже побелела, – рассказывал жене Максим про свой разговор, – и приказала все открыть по секрету, какие бывают видения. И даже стул принесла.

– А вот. Одно так... к Покрову было... – загадочно зашептал Максим и пугал глазами. – Пришел к нашей печке, в людскую... огромный еж, стал шуметь. Я на его тоже зашумел... а он всю свою

иглу как подымет!., и на меня! Чисто как лес темный, так щетинами и шумит-гремит... чисто ко-пья!.. Потом закорючился и истаял. Проснулся, а все слышу – шумит подо мной, под печкой... Стало быть, уходил он-то. Как проникнуть в суть, а? Темное – и шумит! Ну, а еще было... колкол, будто, висит у вас... в первом покое, а барин наш в одном, конечно, белье лежит на кровати... И вовсе у них белья не стало. Кости потом видал...

Барыня, как услышала про кости, совсем расстроилась. Стала махать руками и сердиться. «Смотри, Максим... этим шутить нельзя! В нашей, говорит, жизни бывают всякие такие силы... и ежели человек начнет себя наводить, все будет думать, так и будет. Брось, говорит, глупости эти и меня не пужай. А вот я пожалюсь батюшке, он тебя вразумит»...

– А я ей объяснил, как что... что я не про нечистую силу, а сердце сосет, вот и утешаю. А она мне опять свое: «А накликать нечего!» А сама боится.

Батюшка призвал его и стал вразумлять. Это был новый батюшка, совсем молоденький, и волосы у него еще не выросли – Куцый. Прозвали его мальчишки. Он сказал, что все это одни глупые суеверия, и сны объяснять нельзя. Даже грех.

Но Максим, посмеялся только и поспорил:

– А как же в самых священных книгах про сны? А вон Фараон-то какие замечательные сны видал, а царь Иосиф ему толковал? Значит, такая сила есть от Господа.

Тогда и батюшка рассердился. Сказал:

– А ты Иосиф?! Так на то была воля Божия! Но Максим поспорил и тут:

– А может, и на меня воля Божия? Хочу людей утешать.

Так ничего батюшка и не добился. А бабы приходили и приходили. Они приходили даже с округи, верст за десять, больше по воскресеньям. Тогда Максим удалялся на скотный двор, чтобы ему не мешали, садился на сани и слушал вдумчиво. Горничная раз залезла в сарай – приказала ей барыня – и все узнала, как толкует Максим. Спрашивала его баба:

– Пятый месяц от мужа письма нет с войны... Чего ждать?

– Сказывай как на духу мне, чего во сне видала? – спрашивал Максим строго.

– Чего видала-та... А вот в огороде у нас куры, будто... рассаду почитай всю повыдергали... а тут собака за ими припустила... А то не упомяну, чего бы еще-то...

– Рассаду... повыдергали... Так! – строго говорил Максим и все глядел себе под ноги. – А потом собаки...

– Собаки-та повыгнали кур-та! Не собаки рассаду-та... та собаки-та кур!

– Ты, слушай! – сердился Максим на бабу. – Стало быть, выходит тебе... чего? Вот бы у тебе куры всю рассаду повытаскали!.. Всю повыдергали или как?..

– Нет-нет! с краюшку только, а собаки-та и пустились...

– С краюшку... Краюшком и пройдет. Пройдет! Жив-невредим!

И так и вышло. И пошли по округе вести, что утешает шибко мужик Максим от Больших Крестов, плохое не говорит, а жалеет, И стали приносить ему яйца, лепешки и полотенца. Сначала он удивлялся, а потом попривык.

– Принимаю на сирот... – говорил он и крестился на небо. – Сам Господь силу такую посылает, на сирот.

– Купи сонник, – посмеялся ему как-то урядник, – тогда все проникнешь. Ученые люди составляли.

Максим сходил в город и купил сонник. Он долго его читал и твердил. Он узнал, что означает видеть во сне аббата, абрикосы, ангела, акулу и даже Акулину. С удивлением он открыл, что видеть вяз значит – быть во многолюдном собрании, где все будут хвалить себя; а есть зеленые огурцы – потерять по векселю. Жена подивилась, что ему носят бабы, и перестала сердиться.

– На сирот тружусь, все думаю... – говорил ей Максим. – А понимать не могу.

– А чего тебе понимать?

– Чего... – вздыхал тяжело Максим и морщился, словно от боли.

– Да не лупись ты, как очумелый! – кричала на него жена. – Ну, чего ты лупишься-то на меня?!

Стала она бояться, как он неподвижно смотрел, будто виделось ему что-то страшное.

– Марфуша... с чего во мне страх? – спрашивал он иногда плачущим голосом. – Ай уж через меня мука-горе?.. И сирот жалко, и

тебя жалко... Помрут... Сижу, а они мне в глаза глядят, просят... В чем суть? Ночью лягу, а они все глядят?

– А чего глядят-то? чего говорят? – пугливо пыталась его жена.

– Так, глядят... молчат.

Это случилось с Максимом весной, в солнечный тихий полдень. Тесал он во дворе тележную ось, тесал и тесал, только летели березовые щепки. Стоял в кругу белой щепы, не видя, что остался от оси колышек. И тут в первый раз услышал непонятный голос:

«Скинись, поди, в колодец! скинись! скинись!!»

Голос говорил в правое ухо, к саду, и был настойчивый, шипящий и страшный. И даже не удивился Максим – все потом рассказал жене, – что говорит ему невидимый голос: будто так и нужно; будто и не один он в углу двора, а есть и еще, только не видно их. Поглядел на господский дом – никого не было в окнах. Поглядел к саду: сквозили из-за решетки зацветающие яблони. А голос шипел – настаивал:

«Скинись! скинись в колодец!»

Тогда он посмотрел на небо – увидела его таким горничная с балкона. Стоял, опустив топор, закинув голову, и смотрел в небо. Оно было синее-синее, без единого облачка. Крутились и кувыркались над садом псаломщиковы голуби. Выронил топор и тихо пошел в людскую. Горничная испугалась и пошла поглядеть. Максим сидел у стола, положив голову в руки, и не отозвался на окрик. И никого не было в людской: жена с ребятами убирала в саду дорожки. Прибежала жена, растолкала его за плечи. Спросила:

– Чего ты, суморошный?

А он посмотрел на нее «чужими» глазами и сказал тихо:

– Накатывает, Марфуша... боюсь.

И стал с той поры худеть и худеть и не спал ночами. Острыми уголками стали его крутые плечи, и почернело лицо. Петровками поговел, причастился, и в этот день, в праздник Петра и Павла, открылся жене, что велит ему сделать голос. Сказал и заплакал. Заплакала и Марфуша. Потому плакали, что чуяли оба, что так и будет. И все потом спрашивала его Марфуша:

– А еще чего велит голос?

– Зудит и зудит: «не работай, решишь! все узнаешь!» А то обернется и начнет плакать: «Судьба твоя разнесчастная, скинись!»

– А ты говори молитву...

– Говорил уж... зудит...

– А сходи в больницу...

– Нет... не могут тут доктора... Сила в меня находит.

Барыня стала искать другого работника, а они оба стали покорно ждать, что будет.

Под Ильин день барыня приказала заколоть индюка. Был тихий, солнечно-золотистый вечер. В Больших Крестах звонили ко всенощной. А когда перестали звонить, было хорошо слушать, как звенели у колокольни стрижи. Пахло сладко лесовым сеном, сушившимся на усадьбе. Возились на нем под косым солнцем Максимовы ребяташки, пели про «чурика». Максим сидел на корточках перед большим серым камнем, на котором много лет точили ножи. Сидел и натачивал. Пришла Марфуша, согнала ребяташек и пособрала сено. Потом доила коров. Пришла, а Максим все натачивал. Плюнула и сказала с сердцем:

– Чего ж ты, тошный? Индюка колоть надо, а он все точит!

Максим плюнул на нож, ощерился и забормотал, натачивая:

– Нагрею-наточу... побрею-заплачу!

Барыня варила в саду варенье. Ей надоило слушать, как лязгает нож о камень, и она послала горничную сказать, чтобы перестали точить. Максим поглядел на горничную, поплевал и продолжал свое дело.

– Нагрею-наточу... побрею-заплачу...

Горничная крикнула на него, он испугался и ушел в людскую. Отдал Марфуше нож и сказал:

– Боюсь...

Весь вечер смирно сидел на лавке и отдирал заусеницы. Наташка, старшенькая, которую он любил больше всех, подошла к нему и привалилась головой на колени. Он стал гладить ее стриженную лесенками белобрысую головенку и все пошевеливал совиными бровями, будто вот-вот заплачет. Наташка спросила:

– А голос что говорит? А где голос? а какой голос? зеленый? А чего пальчики грызешь?

Максим сидел понуро, глядел на ребяташек. Сидели они на лавке, голова к голове, много-много, и глядели на красную деревянную чашку, куда крошила мать хлеба. А когда стали ужинать, он полез прятаться под лавку. Марфуша вытащила его, стала было совать ему

ложку в руки, но он замотал головой и полез на печку. Всю ночь, причитая тихо, призывала она Максима сойти и лечь спать, А он сидел и сидел, спустив ноги и прикрывшись руками. Всю ночь мигала зарница, и вспыхивало в людской. Только под утро забылась Марфуша, а когда встала доить корову, увидала Максима у лавки, где спали девочки. Он лежал ничком, уже похолодевший, с ножом под горлом.

И пошел по округе слух, что пришла ночью к Максиму темная его сила, которая ему все открывала, и открыла ему напоследок такое, что перерезал горло.

Мирон и Даша

Уже три раза гуляли рекруты без обычного гомона и разгульного гула бубен. Бродили они по Большим Крестам, убивая ненужное теперь время, кричали песни, и невнятно подыгрывала им гармонья. Пели о том, как мать в последнюю ночь сидит у изголовья, роняет над сыном слезы и называет его ласковыми словами. И про Карпаты пели, про неведомые Карпаты, каменные горы, за которыми неизвестно что. И про Варшаву, тоже неведомую, что кровью связывала теперь себя с Большими Крестами.

Так гуляли раз от разу все более юные рекруты. И ушли. И уже иных нет на свете. А на смену приходят отвоевавшиеся, незаметно вплетаются в распадающиеся звенья жизни. Тихи они, и в них тихо.

К покосу воротился плотник Мирон: отпустили его на поправку, на год. Побывал в боях, два раза ходил на штыки, заколол одного германца, – даже в лицо упомянул, – а было ли от него что еще – не знает: стрелял, как и все. Не тронуло его ни штыком, ни пулей, а всем приметно, что пложет его снутри: и голос переменялся, ослаб, и ходит не так, как раньше. А лицо, как будто, здоровое, с загарцем, и не застудился, хоть и полежал в окопах.

– Так было мокро... соломы наваливали, чтобы не подмокло. Ротный оберегал: плавное дело – не подмокайся, а то все почки застудишь. Другие застужались, и сейчас ноги пухнут... и никуда. В землянке раз спал... соломы подо мной было густо. Утром гляжу – будто я на перине, везде мне мягко, а стены движут... А это натекло к нам с горы, дождь был – так с соломой и подняло! Смерили потом – аршин! Смеху бы-ло...

Ничем не попортило, только «толкнуло» его снарядом: совсем рядом ударило. А что было дальше – не помнил. Рассказали потом товарищи, что взмыло его и шмякнуло оземь. С час лежал без понятия, все лицо и руки посекло песком до крови, насилу отмыли; с неделю не говорил от страха, и все тошнило; два месяца в госпитале лежал, а там – отпустили на поправку.

– Крылушки и подсекло. Топориком еще хорошо могу, ну только задвохаюсь скоро. И подымать чего если... трудно. Еще вот в шее иной ломить начинает шибко, а то в ноги, в самые кончики сверлит-стреляет. А так, поделать чего... могу.

На бумажке записал ему фельдшер в госпитале его болезнь. По-русски написал – «травматический невроз в достаточной степени», а под чертой поставил нотабене и написал по-латыни: «*Tabes dorsalis*», потом –? и в скобочках: «мнение трех врачей в противоположность двух, к которым и присоединяюсь! Старший фельдшер... сводного госпиталя Кораблев».

Про свою болезнь Мирон говорит мало, но бумажку носит при себе – на случай кому показать. Показывал учительнице – ничего не могла объяснить. Молодой батюшка сказал, что первое слово – травма – по-гречески значит «рана», а второе – вообще, нервная болезнь: ничего серьезного нет.

– Какая же у меня рана?! Нет ничего.

Как будто совестно: никакой раны нет, а выписали на поправку. Да и в чайной стали поговаривать: докторов задарил, вот и пустили, а наших, вон, и с прострелами не пускают. Собирался Мирон сходить в земскую больницу, да работа.

Говорит еще не совсем твердо, чуть заикается, и это, видимо, его удивляет – что такое? И про немца говорит часто, которого пришлось заколоть.

– Так заверещал нехорошо... чисто на кошку наступил. Сейчас его голос слышу. У него штычек-то саблей да и подлинный, а я с лету, да в самое это место, в мягкое-то... Присягу принимал... а подумать теперь – до сердца достает. А то он бы меня, все равно.

Немца он видит, как живого. Некрасивый был немец, крупнозубый, глаза навывкат, губы растрепаны, вихрастый, без фуражки. Росту был необыкновенного, а может, так показалось: снизу его колол.

– Только-был хрипнул – «рус-рус!» – готов.

Рассказывает Мирон без хвастовства и злобы, и как-то не вяжется, что этот мягкий, застенчивый, голубоглазый мужик кого-то мог заколоть. Это самый тихий мужик в селе. Должно быть, потому и называют его – Мироша. Он очень красив, моложав для тридцати лет, и тихая ласка смотрит из его задумчивых глаз. Они у него голубиноного цвета, как часто бывает у светло-русых молодых мужиков. Он среднего роста, складный, с мягкой, как пушок, русой бородкой, с пухлыми, добрыми губами. Да и весь он мягкий и ласковый. Такие, как он, застенчивы, не любят ругаться, не задираются, когда выпьют, а ласково тарашат телячьи глаза и мямлят, а когда приходят домой, скрытно пробираются в уголок – проспаться. У него изба, как игрушка, новенькая, в чудесной, затейливой резьбе: года четыре, как выстроил, когда пришел из солдат По бокам скворечники, тоже точеные, а на широкой резьбе ворот, на тычке, жестяной петушок-вертушка. Самая нарядная стройка в селе, с занавесочками из тюля, с фуксиями и геранями, с резными коньками на облицовке. Обдελывал он ее любовно. И жизнь его началась любовно.

У него жена Даша, первая красавица в округе, под стать ему, – светло-русая, с тонкими чертами лица, синеглазая, ласковая славянка. Когда она стоит в церкви, в белом платочке, ясная, тихая и какая-то особенно чистая, и смотрит к иконостасу, – с нее можно писать русскую Деву Марию. Всем известно, что в нее был безнадежно влюблен трактирщик с полустанка, тот самый, который лихо кричал – побьем! – когда катил в город ставиться на войну. С нее хотел рисовать «картинку» студент из усадьбы, давал деньги, но она отказалась: муж на войне, грешно. Приехал с войны Мирон, а она опять отказалась: некогда, муж приехал.

Приятно смотреть, как они оба, Мирон и Даша, идут к обедне. На ней голубенькое платье и белый платочек. Она несет годовалую Танюшку, которую называет – «ясная ты моя», а Мирон, прибранный и тоже весь ясный, ведет за руку трехлетнего Ваню, в башмачках на пуговках, с голыми ножками, как водит своих внучат барыня из усадьбы, – в плисовой курточке с кружевцами и в красной жокейской кепке.

Это совсем новая для Крестов семейка: так они чисты, ласковы, и так у них чисто в доме. На светлых стенах, которые Даша каждую

субботу выскребывает с мылом, развешаны в рамочках «сухаревские» картинки, – Мирон любит моря и горы, – красуется на полочке будильник, который может играть – «По улице мостовой», а в ажурной рамочке, Мироновой работы, за стеклышком, – кабинетная фотография супругов, первого года свадьбы. В шкафчике, за стеклом, голубые чашки с цветочками, много веселого цветного стекла, и никелированный самовар – дынькой, из которого они пьют по праздникам. Они любовно устраивают хозяйство.

История их любви трогательна.

– Добывал ее себе, как Жар-Птицу! – говорит их сосед, Семен Орешкин.

Правда, Даша досталась Мирону недешево. Придя из солдат, годов пять тому, работал Мирон в Остапкове, верст за пятьдесят от Крестов. Там-то и высмотрел свою Дашу, в семье старовера. Высмотрел – и потерял сон. Валялся у старовера в ногах, дал зарок креститься двумя перстами, купил на ворота новый медный восьмиконечный крест, даром перебрал будущему тестю избу и двор – старик не сдавался. Тогда купил Мирон и привел старику во двор облюбованную стариком лошадь, отдал три четвертных, – старик обещал подумать. Подарил старику валенки, шапку и теплые рукавицы, а староверскому начетчику новый кафтан на зайце, и такими трудами заработал себе пригожую Дашу. Но и старик в долгу не остался: пригнал к зятю стельную корову и тройку овец, а на свадьбе подарил дочери выигрышный билет в хрустальной шкатулочке.

– За купца отдать думал... стоит она купца.

– Будем и мы людьми! – сказал Мирон.

С поста по Михайлов день работал Мирон в Москве, даже не приезжал на покос, все спешил сколотить тысячу и заторговать лесом на полустанке. Даша ткала на станке фитильные ленты на фабрику, помогала сколачивать. Сколотили семьсот рублей, и уж последнее лето ходил Мирон на заработки, когда началась война.

За год войны Мирон переслал своей Даше целую пачку нежнейших писем, которые она бережно складывала в хрустальную шкатулочку, к выигрышному билету, а с собой принес варшавскую шелковую косынку и германскую каску. Теперь она лежит у него на шкафчике – знак победы. Теперь они опять вместе, вместе ходят к

обедне и снова живут надеждами. Дядя Степан называет их «голубьями» и завидует, что у них так хорошо вышло, а его Михайла, сапер, еще воюет, наводит мосты под немцев.

Их жизнь будто налаживается. В Москву Мирону идти нельзя: и с женой расставаться больно, и нет прежней силы, и в отпускном билете прописано, что отпущен на родину, на поправку. Но у него и в округе много работы. Постукивает теперь топориком на воле. Поставил батюшке новый палисадник, починил барыне лодки, поделал койки для земского лазарета. Шлют за ним отовсюду – только обирай деньги. И он рад шагать по округе, доколачивать последние сотни; подымается с солнцем и приходит домой в темноте. Они радостно ужинают при свете настольной лампочки-ночника, в голубом шарике – последний подарок Даше. Мирон держит на коленях Ваню и кормит с ложки, заглядывая ему в глаза и поглаживая светлые кудерьки. После ужина он еще ковыряет долотом липовое полено, мастерит Ване «крейсер». Потом оба еще сидят на резном крылечке, ласковые друг к другу, и шепчутся о хорошем, что будет, когда заторгуют лесом. Гадают, кончится ли война к году. И кажется им, что кончится. Он уже рассказал дяде Семену, что Ванюшку, как подрастет, будет учить по торговой части, а то и на офицера, а Танюшку обучать разным занятиям и «как, например, делать сыр».

– Сыр, говорит, обучится делать... выгодное занятие! – рассказывал про Мирона Семен Орешкин. – Выдумает, чудило! А это уж он там как-нибудь углядел, у немцев. Уж кто-нибудь его распространил по этому делу.

На Успеньев день в Крестах было освящение земского лазарета. Приехали с округи и из управы. Был на торжестве и Мирон с Дашей, надел боевую фуражку и повесил георгиевскую медальку. После молебна комиссия осмотрела койки и одобрила чистоту работы – делал Мирон на совесть. Улучив минутку, Даша подошла к доктору, который будет навещать лазарет, и попросила совета, не надо ли Мирону полечиться, а то очень стали уставать ноги и ломит шею. Она была пригожа в голубом платочке, который она научилась от горничной из усадьбы повязывать на манер чепчика, а когда говорила с господами – краснела. Доктор залюбовался ею, – потом рассказывал про нее и называл «красавкой» – взял ласково ее руку, похлопал по ладони и сказал, что после закуски сам зайдет к ним и посмотрит.

Они пили чай из своего самовара-дыньки под молодой березкой, на травке, у крылечка. Сидели празднично четверо, светловолосые, голубоглазые, ясные, – славянская семейка. Радостно глядела на них праздничная изба-игрушка, смеялись солнцу окошки красными сержками фуксий. И опять доктор залюбовался. Он подсел к столику, попробовал сотового меду, пощекотал Танюшу за ушками, подивился ее кудряшкам – откуда такая славная детишка! – и стал спрашивать Мирона, что с ним такое.

– Виноват, ваше благородие... слаб только, а так ничего. Она все...

Стоял по-солдатски, руки к ногам, и застенчиво улыбался. А потом обошелся, рассказал, как все было, и как лечился, и как помиловала его судьба. И показал доктору бумажку.

– Хорошо, – сказал доктор, проглядев бумажку, и улыбнулся.

Улыбнулись и Даша, и Мирон, обрадованные, что улыбнулся доктор. А Даша уже приготовила для доктора полтинник и отобранные яйца в лукошке. Упрашивала покушать медку и все краснела.

– Чайку бы откушали... уж извините, что беспокоим...

А Мирон молодецкато стоял, руки по швам, и отчеканивал по-солдатски:

– Только бы чуток укрепиться... а то совсем хорошо, ваше благородие!

Слушал их разговор дядя Семен со своего крылечка, и было ему досадно, что не послали вот на поправку его Ми-хайлу, а Мирона послали.

Доктор отдал бумажку, потеревил за подбородок Ванюшку, тут же, на воле, простукал Мирона через рубаху, долго глядел в глаза и велел Мирону сесть на табуретку, взять руки за спину и положить нога на ногу. Потом ребром ладони много раз подсекал под коленку. И опять сказал: «хорошо». Потом все нажимал по хребту большим пальцем, а Мирон кричал. Опять сказал – «хорошо», похлопал Мирона по плечу и послал его принести воды: помыть руки. И когда Мирон, радуясь, что все хорошо, бодро пошел в избу, доктор дал в рот Танюше медку и сказал Даше:

– Да, дело его неважно.

Увидал, как подобрались вдруг побелевшие Дашины губы и потемнели глаза, поправился:

– На войну не пойдет.

Помыл руки из ковшика, наказал Мирону ходить в лазарет на прием, и пошел, не взяв ни яиц, ни денег. Даша проводила его до церкви, к тарантасу. Шла за ним и упрашивала принять хоть яички. А когда он сел в тарантас, спросила, что же такое у Мирона.

– Болезнь серьезная, – сказал доктор, невольно любуясь Дашей. – На года... Называется – сухотка мозга. А мужу не говори.

– А пройдет?.. – пугливо спросила Даша.

– Там посмотрим... – прямо не сказал доктор и приказал ехать.

– А работать сможет?..

Но уже катил тарантас, и не слышал доктор. Даша постояла у церкви, будто искала что-то на травке. И пошла, забыв у ограды поставленное в крапиву лукошко. Когда подошла к избе, Мирон стоял с дядей Семеном, разговаривал про войну.

– Ну, чего говорил-то? – спросил он Дашу.

Даша затаила свою тревогу и сказала пригоже:

– А сказал, что работать будешь... пройдет.

– Вот то-то и есть! – обрадовался Мирон. – Садись, дядя Семен, чай пить будем.

Даша стала перетирать посуду. Взглянула на ясный самоварчик, на свои цветочки в окошках, нагнулась к Танюше, которая сидела в стульчике Мироновой работы, и не могла удержаться – захлипала.

– Чего же ты реветь-то вздумала? – тревожно сказал Мирон. – Вот, дуреха, на войну, что ль, возьмут, боишься?

– Нет... так... напугалась... – не показывая лица, сказала в Танюшку Даша.

– Войну бы тебе показать... там бы вот напугалась!

Вечером, как всегда, Мирон снял с полочки будильник, посадил на колени Ваню и завел машинку. Будильник заиграл «По улице мостовой», а они оба слушали и улыбались. Слушала и Даша, убаюкивая Танюшу. Слушал и дядя Семен с улицы, облокотившись на подоконник, глядел в комнату на голубой ночничок и завидовал, как у Мирона чисто и приглядно, как ему повезло на войне – отпущен на целый год и может работать, а его Михайла все еще под Двинском где-то.

Лихой кровельщик

Воротился и лихой кровельщик.

Ближе к полевому концу Крестов стоит невеселая изба бабки Настасьи, с год тому проводившей на войну своего сына-пьяницу. Перекосилась, захромала. Давно бы завалилась, если бы не поддержала ее предусмотрительно кем-то посаженная ветла. Эта ветла и этот бедный из бедных двор, пропивавшийся поколениями, хорошо известны Крестам. Так и говорят про него: «Ветла да метла – все и Грачовы». И еще говорят: «Грачовы – кровельщики: и покроют, и раскроют». Такой крыши ни у кого нет: мох зеленый – хоть по грибы ходи. И отец, и сын раскрывали, а уцелела-таки изба: Цепко держалась за нее бабка Настасья, которую муж разве только печкой не бил.

Теперь все дома, с хозяином. Теперь никуда не уйдет хозяин: одна нога. Был он в немецкой земле, повидал «город Кильзит» и Мазурские озера. Бил германца под Инстербур-гом, переходил по горло три немецких реки, досыта поел немецкой свинины – на года запасёно! – оставил в безымянном глухом лесу, занесенном снегами, левую ногу, оторванную снарядом, и вернулся-таки под свою крышу. Безо всего вернулся, не заработал даже медали. Но память принес: медный молочник, сильно помятый, поднятый на ходу, в грязи, в немецком поселке.

– Туда шли по богатству, начальство не велело прикасаться. Отудова шли с изменой... не охота смотреть. Дела были!

Бабка Настасья, которая носит молоко по дачам усадьбы, носит с собой этот молочник и всем рассказывает про свою радость. И плачет.

– На Казанскую-Матушку воротился... Сидим у двора с Марьей, ужинать время, а письмо от него было на Петров день, из Мининска написал. Ждите, говорит, меня к холодам... вскорости не ослобжусь... штоп у меня на ноге лопнул, трубочку ставят... А тут и вот он! Лавошник с полустанку привез. «Вот, говорит, бабка... товару тебе заморского привез об одном сапоге, пенсия ему вышла, сто двадцать рублей». Так мы и обмерли. А Васенька-то на костылях прыг с телеги! Уж так мы повеселели, а он сюрьозный...

Только об одном и говорит бабка. А еще совсем недавно, прошлой весной, другое говорила:

– Развязал бы он нас, пьяница... черная его доля!

А теперь и к невесткиной родне сбегала, в Лобачево, за десять верст, чтобы и лобачевцы знали. И все позвякивает о медный пятак диковинный вражий молочник в ее кармане. Рубль за молочник давал урядник – для станowego метил – не отдала. Батюшка давал два рубля, в усадьбе покупали за трешницу. Поколебалась бабка и не отдала.

– В гостинчик принес.

И все знают, что это первый ее гостинчик от сына за всю ее жизнь.

И молчаливой жене своей Марье, столько лет битой, принес Василий гостинчик. Принес ей пару мытых бумажных платков, в которых ему подарили на Пасху в городском лазарете пачку махорки, три золотника чаю и пряников.

Теперь уж он никуда не уйдет от них, не будет лазить по крышам, ставить кресты на церквах и громоотводы на фабричных трубах. Будет бродить у двора.

В погожие дни сидит на чурочке, под окном избы, положив под руками новенькие желтые костыли, выданные ему из госпиталя, и глядит на тихую улицу. Сидит часами, покуривает из фарфоровой трубочки, в синих разводах, с головой бородатого старичка в колпачке. Эту трубочку подарил ему пленный немец.

– Поменялись на разговоре. Дал ему жестяную спишеш-ницу, с тройкой... дуга понравилась. Немец ничего, деликатный...

При выписке получил он вольное платье: новую хорошую тройку, хромовые сапоги с калошами – один сапог и одну калошу – и картуз в рубль сорок. Но боевую фуражку захватил на память: прорвана она пулей над правым ухом, в тулье.

Он сухощав, скуласт; на воспаленном, сильно рябом лице ни волоска: выела оспа; острые маленькие глаза беспокойно выплядывают над скулами – что-то отыскивают. Такие глаза бывают у пойманной птицы. Да, теперь он прочно пришит к земле костылем. Ни лихости, ни былого задора. Не завьется теперь под крест и не пройдет за бутылку водки по высоченному краю сквозного железнодорожного моста. Не ударит картузом по руке инженера-бельгийца, все за ту же водку, что с одной веревкой, дощечкой да парой палок доберется до маковки заводской трубы.

Сидит на чурочке и смотрит перед собой на конец костыля: что ж теперь? Вид у него, как у человека, которого выхватили неожиданно из

горячей работы. То крутил его вихрь и грохот, а теперь страшная тишина, тихие поля, умирающая избушка, которую он будто только теперь увидел. Да, теперь не накроешь.

Рад ли он, что вернулся? По его лицу не узнать. Сидит, будто все еще не может опомниться, и думает, думает. Ну, а что же самого замечательного было с ним на войне?

– Самого замечательного?.. Особо замечательного ничего не было.

– Ну, а как... жарко было, в смысле боя? – спрашивал его студент из усадьбы.

– Ничего. Погода была деликатная. А когда и дожди... Сады у них замечательные, яблоки всякие, больше кулака есть. Яблоки все ели. Свиной тоже много держат. Соленую ихнюю свинину ели... не переест. А то раз сливочного масла три бочки нашли, получили в окопы более четверки на душу. Которые непривычны к нему – ноги мазали.

О боях мало говорит. Рассказывает больше про новые места, про разные мелочи, которые его поразили.

– Привели раз немца, стали по-польски говорить. Немец говорит: «Вы хитрые, первые войну начали». А мы ему – «Врешь, вы начали!» – «Нет, вы! Вы, говорит, загодя все дороги изгадили, никуда не годятся, ямы одни да грязь., все дороги устранили!» – «Да у нас, говорим, всегда такие дороги, а то и хуже». Прищурил глаз и посмеивается: «Ах, какие вы хитрые! Разве это дороги? И дома, говорит, все поломали, оставили одни сараи». – «Какие сараи?» – «А вот такие, говорит, соломой покрыты». Уж смеялись! Хитрые и хитрые! Втолкуй ему. Тут я ему и сказал: «Мы, говорю, под Богом ходим, небом укрываемся, чертом подпираемся!» Не понял! – «С дорогами-то, говорю, и слепой без горя, а ты вот без дорог сумей!» Так ничего и не понял. – «Нет, вы хитрые!»

Еще про «Саску-дерзыс» рассказывал охотно.

– А это у нас в роте был прапорщик. Соберутся к ротному господа офицеры из других рот, и батька придет. Как свободное время – в карты хлещутся. Весело, всякие анекдоты, смех... А прапорщик был за полуротного, Александр Евгенич, картавый. Бывало кричит: «На стыки!» Но был отчаянный. Придешь к ротному в землянку, фельдфебель пошлет, а они под него задаются и говорит: «Саска,

дерзис!» А он карту бьет, и наваривает: «Дерзус!» И вот так было. Прибег я раз к ним: «Ваше высокородие, казак из штаба!» Приказано второму батальону выбить немцев с бугра. Бросили карты, побежали. Правда, стоять надоело, целую неделю в окопах сидели. Как стемнело, вылезли из окопов, стали перебегать цепями... Ночь, темно, дождь пошел. А уж те учуяли: сушат нас пулями – засушили! Ротный, слышу, кричит с правого флангу, будто смеется: «Саска дерзис... натинаяется!» А прапорщик в середке шел, возле меня. Весело так ему гакнул: «Дерзус!» И готов, в лоб прямо. Больше и слова не сказал.

Это было замечательно, и еще как немца воровали.

– Кузнец был у нас в полковом обозе. Вскрыл посылки – поймали. Отдали под суд, а потом из обоза в строй. А тут и приходит приказ из штаба дивизии – языка достать, во что бы то ни стало. Думали-думали – ничего не придумали. И батальонные думали, и ротные... Как его добудешь! А надо немедленно. А они колючие, черти... живыми не даются. Вот тут самый тот кузнец-вор и говорит ротному; «Дозвольте, могу расстараться, только за меня отхлопочите на суде». – «Как можешь, объясни». – «А уж это, говорит, дозвольте мне распределить план». – «Ну, распределяй, говорит, а не достанешь – на глаза не попадайся». А кузнец говорит. «Мне суд не сладок, а тогда мне водки хотелось, искал попользоваться, Бог не привел. Будьте покойны: либо голову сложу, либо немца приволоку». Попросил выбрать двоих, которые отчаянные. Опросили, кто желает. Доверился солдатик один, Пиньчук, нашего взводу... ну, и я прикинул: может, крест заработаю, а то все равно скушно, решайся моя судьба. Ротный нас перекрестил, совет дал: «Ну, подлецы-друзья, заочно вас целую и благословляю. Заработайте себе кресты, а мне славу!» Кузнец взял палку аршина три с половиной, затесал, а на верхушку гвоздь вколотил. И еще газету себе выпросил. Глядят – что будет? – «Вот, говорит, этим инструментом и выловлю», Подошла ночь, велит нам за ним ползти. Поползли к ихнему окопу, шагов с шестьсот до них было. Приползли на середку, кузнец сейчас палку в землю воткнул покрепче, а на гвоздь газету повесил. Велел назад ползти. Утром глядим – газета висит. На другое утро, глядь – нет газеты! Стой, был! Ночью опять ползем, лопатки велел захватить. Опять газету повесил, глядь – сыгарка на ниточке висит! В обмен на газету. Тут кузнец и говорит: «Жалко тебя, товарищ, а изловлю, вместе лучше покурим». Велел

отползти чуть вперед и в сторонку, шагов на десять, канавку рыть, а землю подальше раскидывать. А на пашне, было. Выкопали канавку, аршин десять, чуть чтобы лечь вровень, как по шнурку. Легли. – «Ну, говорит, спи-высыпайся, а я стеречь стану». Ночь проспали. Глядим – висит газета. Лежим, день белый. Как зачали они палить! И наши, и те! Зыкают пули – вот-вот врежет. Иная совсем сбоку запашет, земля летит. А наши, говорили потом, беспокоились – куда мы подевались? В бинокль не могли усмотреть – поле и поле, знаку нашего нет. Ротный так и порешил: сдались, сукины сыны, либо немцы забрали. А кузнец ругается: «Только бы они мне, такие, шеста не сбили». Сухарика погрызли, пить смерть хочется, а не уползешь. Пролежали до ночи. «Может, еще заявится, – стал нас кузнец уговаривать, – крестов нам приволокет, а мне суда не будет». Нашла ночь, а немца и знаку нет. Уж и сушил их кузнец! «Ладно, говорит, на газету не изловлю, – на огонь выйдешь; на голос выманю. У меня еще планы будут». Мозговой был! Уж светать стало, опять день лежать. А пить – прямо погибаем. А кузнец их содит! Кофю у них варить стали; по ветерку слышно. Вдруг, слышим, – шагает... А тума-ан... близко не видать. Видим – идет так свободно человек, без ружья, здо-ровый. Два шага – и станет. И к шесту... Кузнец знак нам – ползи, не шуми. Винтовки оставили – как бы сгоряча не запороть... надвигаемся, как змеи. А он к шесту подошел, газету снял, чего-то вешает... Как кузнец его – цоп за ноги! плати деньги! шинелью-то и накрыл, навалился. Да мы еще. Он вывернул голову да меня за палец зубами, вот рубчик остался. Кузнец нож ему показывает – позевай! Матушки – унтер-офицер! на петлицах пуговицы с черным орлом! Орел, рваные крылья. Не дается. Вывернулся да кузнеца в ухо. Кузнец – брык, а мы уж успокоили, сдавили под загривок, не скрипи. Ну, потом успокоился. Выбрали винтовки и поволокли его по-хорошему к себе. Ротный всех нас перецеловал, немцу папироску в зубы, куриную ногу, шиколладу. Сперва посурьезничал, а то и улыбаться стал. – «Пишите, говорит, моему ротному записку, что принял все меры, а то мне казнь будет». Ну, ротный вызвал умеющего, написали записку: «поймал, говорит, вашего судака наш кузнец обозный, сдался геройски». С ракетой к ним перекинули в кошельке. Сейчас его в штаб дивизии. «На всех, говорит, рапорт напишу, приставлю». Только ничего не вышло. Как зачали они по нас шпарить с обеда, осерчали, а к ночи в атаку.

Семнадцатого ноября, ночью... Ротного убили, кузнец без вести пропал. Все офицеры наши выбыли. Рапорт-то и не успели написать. А то бы с крестами были.

Бабка Настасья слушает и моргает, и понятно ей одно только – это ее Василий, и теперь не уйдет.

– Ну... по деревьям лазил для наблюдательного пункта...

– А как немцы?

– Ничего, хорошо умеют... – говорит он, кривя губы, и глядит на остаток ноги с завернутой кверху, подколотой штаниной.

Он еще не совсем отошел, еще не весь здесь. Смотрит-осматривается, как человек, только что переплывший реку. И каким же маленьким и скучным, должно быть, кажется ему теперь здешнее после просторов, где топчут и жгут, где жизнь потеряла цену, а смерть... К ней привыкают скоро и не обращают внимания.

– День думаешь, другой... а там и думать не думаешь.

В огне и грохоте показалась ему новая жизнь. Повидал немецкую землю. Да, живут. Удивила она его ровными, как оструганная доска, дорогами, чанами с мясом, окороками на чердаках, машинами, чистенькими хуторами, садами, яблоками, погребями, полными масла и пива, закромами пшеницы и ячменя, возделанными полями. Жизнь какая! Собственными глазами видел и прикоснулся. И какой же жалкой должна показаться ему теперь эта приткнувшаяся к ветле изба.

– Правда, скушно. Послужил отечеству... Мы за свое, а им-то за свое куда злей нужно. Нажито у них – в сто годов не проешь...

Заглядывает под нависший над ним хохолок избушки.

– В гошпиталь из вагона два барина меня волокли, для отечества тоже старались. Папиросками угощали...

Все кривит рот и глядит на свою кулдышку.

– Обещали механическую ногу выдать... мерку сымали, к Рождеству наказали приезжать. Обещали на казенное место взять... Чего ни обещали!..

Его Марья, всегда его боявшаяся, и теперь, как будто, еще боится. Глядит на него тугим, сторожким лицом, косит пуливо. Чуть покличет – бежит. И видно по его лицу, что доволен он, что тут его Марья, что подает ему костыли и помогает подняться, хотя он это и один умеет. Бабка печет ему яйца, дает молока, всячески старается

скрасить скучное житье дома: а ну – уйдет? Да куда же ему уйти! И на Ильин день, и на первого Спаса она приходила к батюшке, выпрашивала у него стаканчик церковного вина, «для больного», и плакалась, рассказывая, как ласков с ней Васенька: ни крикнет, ни обругает.

– Свету дождались.

<1915>

В Сибирь за освобожденными

Поезд №...

Это санитарный поезд В. З. С. За ним большая работа – 57 рейсов на фронт. Теперь временное затишье в его работе, и ему первому выпало счастливое поручение идти в Сибирь за освобожденными борцами. Длинный-длинный свинцово-сизый, не радостный и не печальный – строгий поезд. Во всю длину сизых своих вагонов принял он необычные белые полотнища с красными, праздничными начертаниями: «Следует в Сибирь за освобожденными борцами за свободу России», «Граждане, готовьте достойную встречу», «Свободные граждане старой Москвы ждут дорогих гостей».

– За *ними*, значит? – спрашивают на станциях, мотая головой туда, к Сибири.

– За *ними*.

Понятно. Станционные начальники очень охотно принимают печатные обращения к населению – «Граждане, готовьте достойную встречу!» – и сами наклеивают их на видных местах, у колокола. Толпа жадно читает. Некому гнать и сорвать некому. Слово теперь свободно – бояться некого. Но еще есть страх, притаился в прислушивающихся лицах, в пытливых взглядах, в топчущихся нерешительно ногах. Но все больше и больше уходит в прошлое, уходит с тающими снегами, с последними старыми снегами.

– Снег, никак? – спрашивает солдатская голова из опущенного по-летнему окошка вагона.

Да, идет снежок. Бородатая голова под огромной мохнатой шапкой отвечает ласковым басом:

– Снежок... новый!

Что он хочет оказать? Что и снежок теперь новый? Да, старые снега тают.

В поезде до самого отхода из Москвы кипит работа. Ученики художественных училищ – барышни, мальчуганы в форме – бегают с кистями и блюдечками, с яркими лоскутами по вагонам, украшают

поезд плакатами. Они устроили походную студию и спешат-спешат. Пусть эти плакаты скажут за них слово приветов тем, далеким, неизвестным, которые тоже спешат теперь, подтягиваются из гиблых сибирских мест к станциям. Прыгают кисти в захламленных пальцах, напрягается мысль – что писать? Так много радостного, такого неожиданного в душе. Мажут по красному ластуку и атласу кисти, выводят бронзовой вязью слова приветов и новой жизни – свободное поле творчества. Что писать? Пишут лирическое, переполняющее нежные души, юные души. «Да здравствует братство!», «Светлое будущее!», «Заря свободы русской да озарит весь мир!» То девушки. Мальчуганы ударяют больше в политику. Один, закусив язык и надув красные щеки, старательно накладывает радужные лучи вокруг головы солдата с бледным лицом, с флажком на штыке. Яркость красок невероятная – больно смотреть. Должно быть, такая же яркость и на душе у художника. Он восторженно ляпает густые красные пятна где только можно и спешно выводит красными буквами:

НАМ НЕ НАДЫ ЗЛАТЫЕ КУМИРЫ!

Едут одиннадцать человек делегатов московского Совета солдатских депутатов – почетная депутация от войск московского гарнизона, всех родов оружия. Это все – молодец к молодцу, один из них авиатор, дважды ранен – в грудь навывлет и в ногу. Они тоже принимают участие в художественной работе.

Невысокого роста, коренастый пехотинец, с крупным бантом у сердца, восторженный и горячий, больше склоняется к политическим изречениям. Действует кистью решительно, словно штыком. Весь светится праздником чрезвычайным. Его изречения кратки и крепки, как штыковые удары:

МЕСТЬ ТИРАНАМ!

Тонколикая, нежная, синеглазая девушка, погрызавая мятную карамельку, только что вывела красивой бронзовой вязью: «Светлое будущее!»

– Месть тир-ранам! – читает солдат, размашисто-любовно кидая знак восклицательный.

– Но это же... некрасиво! – говорит барышня, и нежное ее лицо поводит гримаской.

Солдат вскидывает плакат, отводит в сторону и читает, любуясь:

– Месть тир-ранам! Нет, хорошо! Я не согласен на вашу точку зрения!

Но и это – праздничное и молодое: добродушное лицо солдата, в серых глазах радостное. Впереди – неведомая дорога, Сибирь, почетное поручение сказать слово приветов освобожденным, быть стражей почетной. Какая тут месть тиранам! Да и не может теперь быть тиранов.

Кипит работа. Полсотни плакатов готовы. Творчество иссякает. Что же еще придумать? Просят надписей у поездного персонала, у доктора, у сестер. Идет в помощь Чехов, Пушкин, Тютчев. «В Москву, в Москву! Во глубине сибирских руд вы сохранили гордое терпенье!» Опять нежно, красиво. И вдруг новый плакат ярко кричит:

Вперед, народ, без колебаний,
За хлеб, за волю – без вождей!
Долой живущих без страданий,
Долой буржуев и царей!

Мальчуган с пухлыми румяными щеками, в форменном картузике, с ребячьими глазками-искорками – в восторге. Вот это – плакат! Но барышням после Чехова не нравится. Да и делегат колеблется – «без вождей» даже! Так все мирно, за окном сцепщики деловито помахивают флажками, по-гукивают буднично паровозы, весна плещется в лужицах, солнечная. И барышни такие нежные, вежливые. Нет в душе яростного напора.

– Это ни на что не похоже! И еще это – буржуев. Кто это сочиняет? – взволнованно восклицает барышня. Доктор поезда прищуривается себе: ничего, пишите. Еще предстоит проверка жюри в пути. Потом украсимся, а пока надо доставить в Самару очередную партию раненых.

И дети подают голосок. Притащил кто-то свой гербарий. Налепили листочки на свой белый картон и вывели красными мильми мазочками: «Дети приветствуют». И еще многое, – простое, милое.

Что-то пасхальное, нежное, как душа ребенка, в этих скромных плакатах с поблекшею зеленью. Солнце зажигает живые куски атласа, смеется, весеннее, и пасхально смеется с веселых кусков золотая, искорками сыплющая вязь: «Мы вас ждем, родные братья!»

Смотришь, – и поднимаются в душе светлые порывы, и перед этими радостными кусками красного атласа меркнет и выносится из души последнее притаившееся сомнение. Не надо сомнений. В новое надо идти с детскими глазами. Ведь это – не робкий красный флажок за окном, на черном депо, играющий в ветре. Это – уверенно воздвигнутая надежда. И эти уже замусоленные красные ленточки на кофтах женщин, деловито разгребающих черный на рельсах снег, – надежда, пусть неосознанная. Это – чудо-надежда, которая должна претвориться в явь. Теперь кстати весна: весна укрепляет надежды.

– Может, и за Байкал пойдем, – говорят солдаты.

– Тысячи их там насыпано!

– Вывезем. Говорят, царские поезда за ними посылают, литерные... Керенский понимает дело.

И они хотят понимать. Одиннадцать человек их, солдат, – и все захвачены, впервые может быть, пробудившейся политической мыслью. И всюду, куда ни глянешь в толпу на станциях, – слова, вопросы, жадные руки, хватающие листки, чтобы уяснить, поверить. Глядишь и не веришь: ведь это же воскресение из мертвых.

Ночь

Ночь, – и пошла дорога. Москва, – одни редкие золотые огни, а впереди – темнота, ночь, Россия. Тихая ночь, тихая, неведомая темнота. Что там. какие страхи? И вот раскрывается понемногу темнота, и в редких станционных огнях выглядывает неизвестное.

Идет работа. Постукивают блинками вагоны. Мужики прилипли к желтой стене, у фонаря, и читают два голоса, вперевивку: «Местный исполнительный комитет просит граждан поддерживать порядок». Ни суеты, ни брани. Пропала брань, злость. За две тысячи верст пути, в давке на узловых путях, в атаках редких вагонов, не слышал я бывалой брани. Словно подменили народ. Сумрачны, строги лица, но это – новая строгость и сумрачность, невиданная раньше. Это – родившееся

сознание. С такими лицами стоят в церкви. Так вот она какая, Россия! И чем дальше, – крепче и крепче веришь, что это она, самая подлинная, вскрытая внезапным порывом не желающей умирать жизни. Россия – не неведомый, таинственный сфинкс, не темная сила, что пойдет ломить и корезить: нет, это Россия прекрасная, которую знали и глубоко чужали Достоевский и Лев Толстой. Только глубоко чувствующий, сознающий себя народ может оказаться таким на крутом переломе жизни. И скажу – воистину *свободный* народ.

– Ну, как, все спокойно?

– Сами себя храним... – отвечает строгий мужик в оранжевом полушубке, почмокивая лаптями в едва затянувшейся луже. – Понимаем, чай. Дело государственное. Упрочнили бы только.

Нет серой внушительной фигуры жандарма. Ходит железнодорожник с ружьем, худенький, востроносый.

– Полный порядок. Полиция не противилась. Говорили, что и сами перевороту рады. Ведь выбраны волостные комитеты, попов не допускают. Учителям тоже веры мало. Насчет помещиков еще разговору нет, а монастырями интересуются. Все еще не одумаются никак. Прямо из ночи – и как солнце! Хотя мы просвещаем демократическими программами... И все согласны, чтобы по порядку. Посягательства нет.

Ночь. Спит Россия в полях, – что видит? Ни огонька, ни далекого зарева. Не будет зарева. Так говорит народ.

– Добро – да губить!

Но в ночи плохо видно, что в лицах. Светает, белее поля, шумнее станция. Ну что за лица и что говорят? Говорят очень мало. Но какие лица! И какие пылающие глаза.

Челябинск, 22 марта 1917 г

(Русские ведомости 1917 1 апр. № 73 С. 3)

Голутвино

Утро. Голутвино. Там, где обычно постаивал солидный жандарм-картина, серо маячит приземистый, совсем будничного вида солдат в измятой шинельке. Он прижал винтовку к груди, как дети куклу,

глубоко запустил в рукава руки – так потеплей – и по складам разбирает плакат на вагоне:

– Бо...рцам... за слободу и сча-стие...

Трясет головой, быстро вытаскивает из рукава руку и облегчает нос. Растрогала и приковала его надпись. Он продолжает вычитывать, медленно продвигаясь вдоль вагона и волоча винтовку, и его сонное, одеревеневшее от холодной ночи лицо начинает проясняться мыслью. Он видит, как выпрыгнул из вагона санитар с печатным листом «К населению», схватывается и с винтовкой наперевес, словно в атаку, бежит к стенке, где уже наклеивают новый «листок».

– Про войну?

– Нет, освобожденных борцов за свободу встречайте!

– Ладно, не обидим.

И начинает дремать, прихватив винтовку к груди. Перед входом в вокзал толпа мужиков цапает на лету трепыхающиеся листки газеты.

– Знаю, да не такая! – кричит один в ушастом азыме, разворачивая газету «Вперед». – Наша потонче будет! «Земля» называется.

– А ты читай, все ваши! – говорит смазчик. – А то мне дай.

– Сам состарайся. А только что не настоящая эта. Наша длинней прописана.

В толпе высокий солдат-делегат. На него смотрят с уважением и надеждой: на груди его большой красный бант. Круто заломив серую шапку он говорит с подъемом, крепко ставит слова. Хмурые, бородатые лица вбирают жадно.

– Знайте, прошла пора измывательства над народом! Теперь мы – люди! Добьемся правов! Только держите во всем порядок! Без закону обиды никому быть не должно! Они хотели открыть фронт немцам – и тогда что бы вышло?!

– Известное дело...

– И тогда германцы со своим тираном Вильгельмом залили бы всю Россию кровью!

Он так говорит, буква «р» так резко звучит в тишине утра, что многим жутко. Головы оглядываются сторожко, сивый старик снимает шапку и крестится. Солдатик скинул оцепенение, подбодрился и взял винтовку как следует.

– Стало быть, надо вести войну, братцы! Укреплять свободу!

– Невозможно допустить... Правильно. Покорно благодарим!

Солдату нельзя не верить: свой брат. Но они и на меня смотрят, пытаются глазами, спрашивают. И начинаю говорить я, нежданно, не в силах быть только свидетелем. Как слушают! Жадно-зорко глядят десятки пытающих глаз, тревожно спрашивающих, и больно становится от их вопрошающей тревоги, за которой таится радость. Да верно ли *это*? Не обернется ли? Не повторится ли прошлое? Да нет же, не повторится! И с каждым словом, с каждым звуком моего голоса, в котором, чувствую я, начинают слышаться слезы, перед этой толпой охватывает еще. ни разу не пережитое так волнение, – лица начинают яснеть, радостная уверенность одолевает тревогу.

– Дай же Бог! Покорно благодарим...

Это незабываемое «покорно благодарим!» Оно шло всю дорогу, до самых Уральских гор. Это – святой ответ на доброе слово. Это – незаслуженная награда. Это – истинное сердце народа, которого считали диким, которого боялись иные и еще боятся. Надо видеть народ, надо говорить с ним, найти понятный язык. Это – великое счастье, и счастья этого надо добиваться.

Еще более напряженно-пугливы лица детей, подростков. Глядят светлые детские глаза из-под картузов и шапок, почему-то тонки и бледны лица. *Таких* лиц я не видал раньше. И не скажешь, что в них. Не страх ли? Да, дети не те. И по ним ударила неожиданность. Свобода?! Что же это такое свобода? Они тихо, удивительно вежливо отвечают. Это прямо воспитанные дети. Теперь они проходит не предусмотренную никем школу. Настроение старших так на них действует. И улыбаются они застенчиво. Не забуду я никогда, как однажды ночью, на глухом разъезде перед Рузаевкой, подошел ко мне мальчуган лет 13 и сказал:

– У нас все тихо и товар стал дешевле... Только водку вот сегодня носили в двух четвертях...

И он тревожно смотрел, говоря это. И какая осмысленность была в этой тревоге!

– А как про монастыри положат? – спрашивает пожилой чернобородый мужик, и в его горячих черных глазах видно, как бы положил он. – Такое богатство и без прикосновения! Та-ак... Учредительное Собрание... Пони-маю... Они учредят!

– Не они, а выборные ваши. Вы выберете и пошлете.

– Правильно. Мы до закону не станем. А так, чтобы по совести. А то такое богатство, да на ветру!

Так говорят повсюду. Будут ждать до новых порядков.

– Долго терпели. Теперь немного и потерпеть можно.

Высокий, бритый, похожий на американца солдат-делегат, с решительным железным лицом, на каждой остановке призывает к порядку:

– Ребята, помни! Сами за собой смотрите! У всех образованных народов первое дело – порядок! Вот социалисты-революционеры и те призывают, чтобы был порядок! – кричит он и стремительно раздает в жадные руки листки с программой, – про землю и волю.

Комкают, засовывают за пазуху, выпрашивают еще. Бегут за солдатом, стучат в окна вагонов. Это ли народ, который не созрел, для сознательной жизни! Он уже всюду повыбрал волостные комитеты и посменил полицию. И, выбирая, по плану действовал. Но об этом после.

– А вы, дети, будете счастливее отцов!

– Детей, главное дело, лучше учить надо, чтобы не наше понятие имели...

И так говорят всюду.

Большая станция, много народа, а как тихо! Некому наводить порядок. Так необычно все, – от красного флага с серебряной бахромой, с вышитым золотом словом «Свобода», до высунувшегося наполовину в окно вагона солдата с красными лентами, который бешено громит старую, проклятую власть, до глубокого старика, приседающего от слабости, который скручивает в трубочку, чтобы не помять, программу с.-р. Дома ему прочтут, он вряд ли поймет, что в ней, и положит за образа.

– А ты, дед, рад новой жизни?

– Как Господь. Правды давно ждали.

Понимает ли? Вряд ли, но чует. Он повторяет последнее мое слово и одобрительно покачивает головой.

– Верно. Любовно надо.

Как легко раскрываются запуганные, замордованные души! Слово от сердца – верный путь к ним. И так повсюду. Ведь это новый язык, которым не пробовали говорить с народом. А он его ждал, ждал правды, и верит ему, и понимает.

– Почему дети такие... смирные?

– А боятся. «Чего-о?!..» – А что казнить будут.

Вот что. Напугали каратели. Голутвино – былые времена ужаса и напрасной смерти. Еще живут ужасы в народе. Еще не вошло в сознание *новое*, еще боятся верить, что весь народ, сам народ, перевернул жизнь, и к старому нет возврата.

Да верно ли?..

И потому приходят к каждому поезду и все еще боятся радоваться.

В Рязани

Полон вокзал, кипит, что муравейник. И как муравейник бесшумен. Ни давки, ни пьяных, ни ругани. Все осторожны и вежливы необыкновенно.

«Сами хранят себя».

– И что вы за неделикатная... баба! – с трудом сдерживаясь, с загоревшимися глазами, скрипит, по виду, чернорабочий, в лаптях и в выгоревшем драповом пальто, вытягивая из-под бабы мешок. – Креслы вам мои пожитки?

Баба, закутанная по самые глаза в ковровый платок, слезает нехотя, недоумело смотрит на пожитки и говорит в тон:

– Две ночи не спамши, родимый... Зубы болят, смерть... Да еще и зубы болят. В другое-то время была бы схватка.

– Я сам две не спал.

И так повсюду. Словно подменил кто народ.

Всюду солдаты с ружьями. Они мирно постаивают у касс, у багажного отделения, у проходов. Все при лентах. Деловито-мирны, совсем не нужны. Никто ничего не нарушает. Не чудо ли?! А какие лица! На всех решительно глубоко залегло сознание важного и огромного, как жизнь.

Я пробираюсь в каше голов, ног, узлов, сундучков и детишек. Ни резкого слова за невольный толчок, ни ядовитой усмешки, что вот, мол, ба-рин.

– Марочки вам? А вот тут, во-он, окошечко-то!

За тысячи верст ни одного выкрика, ни одного злого слова. За каждое разъяснение, за каждый ответ я слышал только одно: покорно благодарим!

В вокзале красные флаги. Даже старик – багажный, совсем ископаемый старик, нацепил красную ленточку.

– Жандармы? Без противления. Оружие сами выдали. Все в порядке.

Бойко везет извозчик в город. Сильно потаяло, дорога на бугре изрыта. Навстречу – возки с дровами, кувыркаются в рытвинах, сползают в бегущие под гору потоки. Загрузили возки. За ними еще баба с колыхающимся сеном, за ней поп с изнеможенным лисьим лицом, в лисьей шубе, будто с картины Сурикова. За нами подвода с хлопком. Ну, будет дело!

– Эй, тетка! Выгрбайся на бугорок, мать честная! Только и всего гомона. Мирно разъехались, а извозчик обертывается и говорит, посмеиваясь:

– У нас теперь самый благородный порядок.

Тихо прошла в Рязани революция. Отгремел праздник, пошла обычная жизнь. Учатся на плацу солдаты. Кой-где только краснеют флаги, да в проезжавшем солдатском возке с дровами криво воткнуто красное знамя.

– Такой образованный народ стал, – даже немислимо! – опять говорит извозчик. – Намедни все с музыкой и блакатами гуляли для торжества свободы, – такой антирес был! Ну поря-док!.. Потому некому мешать стало.

В земской управе, в зале, у стены, где еще недавно висел портрет, – живые знаки победы – стяги. Зеленые, красные, голубые. На них нашиты цветные слова: «Дайте армии хлеб!» «Вперед, свободное земство!» На белом с черной каймой: «Вечная память павшим за свободу». Мальчик, лет десяти, за сторожа. Он деловито докладывает, что г. председатель на очень важном совете. От председателя узнато, что в уезде спокойно, выбраны волостные комитеты. Священников и учителей не выбирают.

– Действуют планомерно, как видите.

В совете рабочих депутатов пустынно: разошлись до ночи.

– Что скажете – могу передать, – говорит и тут мальчуган, единственный в городской управе дежурный.

Дремлет военный караул, охраняет исполнительный комитет. Не от кого оберегать: здесь достаточно и одного мальчугана.

На пути к вокзалу из-под лошадиных Копыт с визгом выскакивает полосатая свинка.

– Свиньи, и те рады! – говорит извозчик.

Омск, 23 марта 1917 г.

(Русские ведомости. 1917. 5 апр. № 74. С. 3)

На Сызрань

Ночью – не помню, на каком разъезде, на грани Пензенской и Симбирской губерний, – пришлось опять говорить с толпой. Моросил дождь, промозгло подувало с темных полей, неуют жуткий, а народ топчется здесь с утра, чередуясь. Вышли из темных деревень «за светом». В мокрых лаптях стоят, почмокивают, просят «понятных слов». Надо видеть эти незабываемые лица, эти топчущиеся ноги. Слышать надо трудные вздохи, в которых – сложные чувства, тихий призыв: скажи. Опять раздаем «литературу», случайную, предварительно просмотрев ее. Бедно, бедно. Надо вагоны листков, ясно составленных, без этих смущающих слов, вычитанных знатоками в книгах: референдум, инициатива, минимум, пропорциональное представительство, национализация. Сухие слова.

– По-немецкому пишут, без понятия... – уныло сказал бледный, чахоточный парень и порвал листок.

С народом надо говорить его языком. И я говорил. Самое сложное передавал я в понятных словах, – и понималось все, и прояснялись лица. И везде – «покорно благодарим!»

Там, в Москве, думалось: как-то в плуши, в народе. Побаиваются народа: темный, всего можно ждать. Да, очень темный для городских понятий и слов. Но в этой темноте такой свет заложен, такая чуткость и такая жажда познать, что великое преступление будет, если кого удержит бессмысленный страх от самого тесного общения с народом. Надо к нему идти, в самые недра. Теперь не может быть отговорок: некому помешать. Надо идти с самым открытым сердцем. И станет тепло заолодавшей душе, и жизнь оправдается. Идти, учить и

учиться. Надо переезжать из села в село и отвечать народу. Он спросит сам. И умело спросит. Пусть идут любящие народ, чтобы не пошли иные. Ведь скоро придется выбирать в учредительное собрание.

– Поучите, господин! – в голос взывают на разъезде.

И я, сколько есть разумения, говорю. Но ведь это – только глухой разъезд. Господи, какая необъятность вокруг! И какая неведомость.

Все рады, что кончилось, наконец, *ихняя* власть.

– Вестей все ждете?

– Ждем. Придет поезд, – кто и скажет, втолкует чего.

– А как о войне думаете?

– Как думать-то... Не лапоть, с ноги не скинешь.

– Товарищи-крестьяне! – кричит солдат-делегат, раздавая листки. – Через штыки и окопы не протянешь руку на мир! Сломать их надо!

– Не откажешься. Хлеб отдаем. Собрали мы три тыщи пудов да семь сот деньгами... так, для жертвы. Господа пусть больше дадут. Наша Пензенская – самая господская. На каждом краю по господскому раю. Теперь у графини... пять тыщ одного лесу! А? Это беспрерменно надо сообразить для правды. Воспретить надо банку продавать. Один человек нам все дело доказал. Всю, говорит, землю по банкам разложат, а сами с деньгами за границу для опасности. А банки все больше заграничные. Тогда нам за граница воспретит земелькой благословиться. Собрание-то? Уж мы туда направим, под его голову расписку возьмем. А ни рубить, ни жечь не дозволим народное добро. Не пятый год. От царя на казну отписали, а тут легкой правду учередить.

– Наши-то бы робята так толковать могли! Учить надо. Да бегут от нас. Дикая жизнь. У нашего старшины сын в академиях обучился лесному делу, – возьми его! На шесть тыщ к господам ушел. С нами ему скушно. А вот теперь, как лес нам отпишут, – гуляй с нами! Шесть – не шесть, а цену ему можем положить за науку. Ну, только воровать не дозволим. Хонтроль ему будет.

– Больше положим – гони в доход. Лесную коперацию делай!

– Монастыри надо рассчитать, – на старичков отпустим, чтобы Богу молились. Нам солдат учередил все.

Появляется из толпы солдат. Этот – из Питера, только с революции. Он очень речист. В Москве был проездом, смотрел «арсенал» и все знает.

– Москва не годится супротив Петрограда. Нет никакой интеллигенции. Как стал функционировать по улицам, – сразу увидел. Совсем для Питера контрактас!

Этот всему научит. Знает, почему кожи нет: немцы всю до войны скупили, и каждой коже надо три года «травиться».

– Всю Расею разули... – говорит квелый старик, поднимая ногу в обледенелом лапте, – Лапотки три целковых... Хлаг веселый, а ноги мерзнут.

– Дедко, до-мой!.. – тянет его за рукав девочка. – Пальники плачут...

– Погодь, Манька. Праздник, вишь какой хлаг веселый!

– Скепический старик! – говорит солдат. – Таковую язву да на учредительное собрание! Думают посылать. Надо людей развитых в специальном образовании и прикладных науках; самоопределение надо понимать.

Что же творится в просторах, – и там, и там! Пусть задумаются над этим.

На ст. Барыш узнаю, что неподалеку, верстах в 12, – имение и фабрики Протопопова. Народу немного, – работают фабрики его и акчуринские, в 3 верстах.

– Ну, как Протопопов? – спрашивает усмешливо один из солдат-делегатов у тощего, остроносого мужика.

– Одеть бы его, – резко выкрикивает мужичок, – в полную солдатскую амуницию, да пригнать его сюда на рассмотрение.

Семья Протопопова живет здесь. Как помещиками ими Довольны. Ничего господа. Ни в имении, ни на фабрике ничего не тронут.

– Стражи-то у него много было?

– У каждого хорошего господина стража имеется. Секретный от Протопопова циркуляр был, – можете и на свой счет добавлять стражников, своих нужных людей, чтоб от войны ослободить. Ну, богатые и ослободили. Для прилику он – стражник, а при хозяевах остается.

Залитые огнями, уходят в черноту ненастной ночи громадные корпуса акчуринских суконных фабрик. На оборону работают.

Над Волгой

Полное солнца утро. Весна, весна! Слышно, за окнами шумит она, еще белая, вся в снегу, но уже играющая ручьями, петушиными криками, гамом грачей. Вон они, в березах и тополях, над фиолетовыми садами.

Опускаю окно. Да, весна, раздольная, волжская, степная Новая весна, в играющих на утреннем волжском ветерке красных флагах. Она слилась с весной жизни народа, и потому такой необычный, праздничный гомон. Флаги, флаги. Бегут солдаты, выхватывая на бегу листки, бегут всегда покойные сарты в халатах словно из цветных одеял, в снежных и полосатых чалмах, в цветных сапогах, в вышитых шелком тюбетейках. Бегут и кричат бабы в полушубках, откуда-то взявшиеся китайцы в синих кофтах и матово-черных кривоносых туфлях. И начальник станции, и хромая собака. Бегут к вагону, откуда летят листки. Писк мальчишек, словно сбесившихся от весны, грачиное кряканье и хлопанье крыльев в сквозных на синем небе березах. И целый океан солнца, – бешеного солнца белых волжских полей.

Это – станция Батраки. Необычная, снежная, весенняя Пасха в красных флагах. Это снежно-весеннее, новое какое-то солнце, солнце свободной Волги, расшевелило и сартов. Их бронзовые лики оживлены, в черных глазах – озарение, чалмы сбиваются на затылки. Они хватают листки и смеются в них, прикладывая к носам. Пахнет, а что, – неведомо. Тонконогий, стальной, молодой сарт-красавец, в голубой тюбетейке, – его можно поставить как готовую статуэтку коринфской бронзы, – важно берет листок и начинает переводить. Сарты слушают, открыв белые зубы и приложив руки к груди. Молитва? Их языки шевелятся, их лица оживлены, головы поднимаются к небу, – и начинается непонятное гор-готанье. Словно заклекотали вольные степные орлята.

– Валяй, ребята! – хлопая одного по плечу, лиловому с желтым, весело говорит солдат с красным бантом. – Всем свобода!

– Вабода! – кричат и смеются сарты. – Карош!

– Ура! – раскатывается с *путей*, от проезжающего эшелона.

– Бабы, и вам свобода! – кричит солдат. Подхватывают листки и бабы, шумят. Всех закружил первый весенний день в красных флагах. Блеск и блеск, – и в лужах, и в грачиных крыльях, и в глазах, и в небе. А *тут* еще китаец, словно его прошибла весна волжских далей, подкидывает аршином фестоны-буфы цветных шелков, – желтых, бирюзовых, розовых, – раскидывает по плечам и головам бабьим и стреляет в смехе раскосыми глазами...

Идет поезд, разбрасывая листки бегущим, вбирая в опущенные окна крепкий, налитый талым весенним снежком воздух, мимо садов по обрывам, мимо сараюшек; на навозных крышах орут ядреные с солнца петухи. Мимо лохма-теньких, оранжевого плюша, коровенок у черных дыр хлебов, мимо курящихся паром тающих куч навоза, с грачами, лакированными под черное серебро от солнца, с закутанными еще ребятками, копошащимися в канавах. Бегут бешеные ручьи по срывам, брунеют яблони по садам, Волга слепит сине-серебряным своим полем. В мареве маячит сквозной Сызранский мост, загибая вправо.

Так вот она, весенне-снежная Волга. Какой простор, какое раздолье! Больно смотреть, – солнцем слепит она. Дух захватывает от таких просторов. Надо уметь дышать, – задохнешься. Надо уметь смотреть, – ослепнешь. С такой высоты, откуда открывается сердцу российская беспредельность, смело крикнешь:

– Свобода!

В таких просторах поверишь крепко, что не мог народ навсегда остаться рабом. В таких даях живет свобода.

Грачи... Они шумят над сверкающей Волгой. Они опять прилетели, – шуметь, строить.

– Грачи! Грачи!! – кричат высунувшиеся из окон стриженные солдатские головы.

Радостная весна, забываемая, новая.

Ново-Николаевск. 25 марта 1917 г

(Русские ведомости 1917 6 апр. № 75 С. 2)

Жажда живого слова. Митинг в вагоне

Снова утро. Где, что за станция? А не все ли равно. Тот же народ. Но здесь его что-то особенно много. Лица, руки, – желты, как охра. Какой-то завод, – на оборону работает. Я вижу желтые, худые руки, словно протравленные мастикой. Странные, жуткие глаза на желтых, политых желчью лицах. Я вижу жадные, конвульсиями сводимые пальцы, тянущиеся к небу.

– Мне! Мне! Господин, разрешите! Пожа... пожалте! Сюда, старичку-то! Для души... листик хоть!..

Свалка у вагонов. Словно раздают хлеб голодным. Да, голодным... Видеть надо эти хватающие пальцы, желтые клещи, пересмякшие губы, бледные губы, беловатые десны и глаза в желтоватых белках. А одеяния! Стыдно и больно, что в России так одеваются. Обносилась, оголилась она, богатая. Спрятаны в просторах, под горами, на тысячи верст, сокровища. Ходит-бродит по ним нищая Русь.

И стыдно, и больно, что суют в эти жадные руки не слово жизни, а сухие слова случайных листков, где забитый разум едва-едва выберет живые зерна.

– Про-грам-ма... ми-ни-мум?... – слышу, читает на лету чахоточный, черноватый мастеровой с лихорадочными глазами. И глядит в сторону.

А дальше прочтет про «пропорциональное представительство», про «обобществление», про «инициативу».

– Дайте старичку!.. Господи...

Старичок с мешком и клюкой, собравшийся, быть может, в весенний путь по монастырям, рвется изо всей мочи к солдату, но лес желтых, голодных рук не дает.

Не надо, старик! Ведь и тут, – минимум и инициатива. А тебе надо живое слово.

Стыдно до ужаса. Вот на мешках сидит тихая старушка, опустив голову в глубокой думе. Над ней девочка в капорчике по складам читает рваный листок. Кто-то нацепил девочке розетку, – кусок красной подвязки. И широколобый старик приклонил ухо, – слушает. И благоговейное недоумение на лице. Бегут толпы за поездом. Газета «Вперед» летит в лужи, на крыши красных вагонов, на фонари стрелок, мечется на ветру, как подбитая птица. За ней прыгают через

снеговые канавы, ляпают валенками в рыхлый снег, в воду, под колеса, падают на стрелках, срываются на сигнальных проволоках. Бешеная погоня за живым словом. А его нет и нет. А молодцы-делегаты с подножек, рискуя сорваться, мечут лист за листом, счастливые, что кидают хоть искру света.

Изголодавшемуся по правде народу дайте живое слово!

– Не это надо! – говорю я солдатам. – А вам все ясно? Нет, и этим, избранным, неясно многое. Новые слова упали неожиданно.

– Заходите к нам, поговорить надо... – приглашают солдаты к себе в вагон.

И вот начинается наш митинг в громыхающем поезде.

– Председателя надо выбрать! – кричит высокий, с лицом американца.

Ничего, можно и так. Но, видимо, очень хочется, чтобы все шло «по программе».

И открывается незаполненная пропасть. Даже трудно подумать, как мало знают. И приходится подымать давно забытый багаж государственно-правовых знаний. Идет лекция о верховной власти, о конституциях, основных законах, о монархии и республике, о свободах, об учредительном собрании. А за окнами шумят голоса:

– Листков!

Солдаты слушают жадно. Как сухая земля пьет дождь, вбирают они новое слово. Открывается новый мир. Спорят о праве на землю.

– Всему трудящемуся народу! Отобрать без всякого разговору!

– Национализацию надо!

– Кооперацию земельную!

– Нельзя кооперацию! Разве можно всем одно платить!

– А ежели у меня пятеро, а у тебя двое?

– Надо с точки! Позвольте, господин... Я с точки. Примерно, в Сибири двое могут убрать 50 десятин. А почему? Они машинами. Дай мне машины! А мне на трех десятинах чего делать? Нельзя оставлять культурные хозяйства! По пять тыщ десятин в одни руки! С машинами сами все разделаем! Агрономов не надо. В Сибири без их умеют. Какие маслоделы!

Гудит нестройный митинг. Все толкуют по-разному, «от себя» и «с точки». Не земельный вопрос, а пучина. И начинают, слово за словом, соображать, что нелегко развязать узел. А земельные банки? А

держатели мелких облигаций, тот же бедный народ? А иностранцы, держатели закладных листов и земельных акций? А крупные имения рядом с богатыми землей деревнями? Одним махом не решишь вопроса.

И чем дальше идет митинг – крепче веришь в глубокий народный дух, ищущий правды.

– Там должно все по порядку в учредительном. Верно, спешить с этим нельзя. На века строится.

Жадная и сухая земля! Лить и лить на нее освежающую воду. Всю Россию покрыть живым словом. И все поймет, самое сложное поймет. Только бы не втискивали освобожденную жизнь в «программы».

Милые люди, чудесный народ! Счастлив, что с доверием, открыто-дружески пожимают твою руку. Зовут приходить еще.

– Обо многом потолковать надо. Много у нас и темного, и горячего.

Эти крепкие руки умеют пожимать нежно. Эти хмурые лица умеют нежно смотреть. И слово от сердца, ясное, разбивающее темноту, – не останется вопиющим в пустыне гласом.

– Газетку-у! листочков! – вопят за окнами.

Солдаты делают свое дело. Солдаты не устают говорить народу. И говорят хорошо, – толково, крепко.

Самара. «Бабушка революции» и дети

В пути узнаем, что освобожденные едут мелкими партиями, много больных, много детей. Часто в окна вагонов летит «ура!», – то ли от эшелонов с красными флажками, высунутыми в узкие окна теплушек, то ли от «пассажирских», в которых едут кучки освобожденных. Узнаем, что Мария Спиридонова – еще в Чите, что «бабушка» уже проехала, что бывшие политические «каторжане» подтягиваются к Иркутску.

– Десятки тысяч! Непокрытая беднота... А сколько еще в гиблых местах!

Узнаем, что среди «политических» открыт провокатор, многих когда-то выдавший. На каком-то питательном пункте так и записал

кто-то в контрольную ведомость:

«...Девять товарищей и один провокатор».

Его, конечно, арестовали.

Узнаем, что всюду полиция без сопротивления выдала оружие новой власти, что комитеты организованы, хлеб подвозят, работают фабрики и заводы. Народ верит новой власти безусловно. Часто видишь такие сцены;

– С праздником! – кричит багажный старик-кондуктор другому.

– И вас с тем же! Некрасов не обманет!

– Эге!

И раскланиваются, радостные.

А вот и Самара. Флаги, флаги. В вокзале гирлянды цветных флажков. Встречали вчера Брежневскую. Встречали, как дорогую бабушку-королеву свободной жизни. Приняли из почетного «сухомлиновского» вагона на помост, крытый красным сукном, под звуки Марсельезы. Тысячи народа.

Всюду цветные плакаты, следы торжества: «Сегодня приезжает бабушка!», «Не утруждайте бабушку лишними разговорами!»

На трамвае едем на главную площадь. Порядок полный. Берем извозчика и мчим к новому «губернаторскому» дому.

– Только, было, отстроил, – не довелось пожить, Нака-сь вот, – говорит извозчик, – князь Голицын.

– Ну, как, хороший был?

– Ничего. Ну только, как охотиться зачнет, хошь пожар. Начнут ему про дела докладать, а враг ежели захочет его отвести от разбора дела, только скажет: вальдшнепы там либо зайцы налетели, – шабаш! Прямо из-за стола и в охоту! Ну, теперь на войну собирается.

В «губернаторском» доме – совет рабочих депутатов.

На крыльце толпа: ждут «бабушку». Караулы дежурят. В совете рабочих депутатов – горячая работа. Ночи не спали. Готовят «литературу». Сознают, что надо давать «понятное». Готовят десятки тысяч брошюр. Издают «Известия». В вопросе о войне расколу, кажется, нет. Совет солдатских депутатов вынес резолюцию о продолжении войны до конца, до победы. Об этом сейчас говорит в зале рядом и бабушка. Она сегодня с 8 утра ездит по казармам. Везде прием самый горячий! И это понятно. Она сама – слово жизни, слово жизни, выкованное страданием и борьбой. И говорит так, что поймет

ребенок. Она вся – любовь, вся – жертва, вся – огонь согревающий. Ее на руках носят. Ее седины – святы. Ее жизнь – чистота и подвиг. Ее слово – огонь очищающий и дождь благодатный. Величие простоты и победной правды.

Гремит зала за стеной. Бабушку провожают через дорогу в Народный театр. Там – митинг молодежи. Все школы Самары там.

Все ярусы, партер, ложи – битком. Всюду детские лица. Красные знамена, цветы, кокарды, пуговицы. На сцене в кресле, в светло-сиреневом платье с алой лентой через плечо – бабушка. Волосы совершенно серебряные. Лицо – сильно тронутое морщинками, еще свежее, щеки горят. Она взволнована. Она празднует светлый день. Самая маленькая на митинге девчушка, лет 4 крошка в красном платье, – ее ставят на столик, – говорит первое приветствие:

– Да здравствует дорогая бабушка!

Буря гремящих рук, юных рук. Гимназисты играют туш. Сотни юных приветствий. И чудесная, часовая речь-слово бабушки. Дорогое, живое слово. Она говорит о деятельной любви к народу. Она посылает детей, будущих строителей жизни, в народ.

...«Узнавайте народ, сумеете его полюбить и отдайте себя ему!»

Она имеет право сказать это.

Многие плакали. Это слово любви и подвига – высшая школа, очищающая юные души. Этот митинг-встреча оставил неизгладимое впечатление. Надо было видеть глаза и лица детей! Чистые глаза, одухотворенные лица. И выпало мне великое счастье в этой дивной аудитории сказать «бабушке» взволнованное слово приветия и коснуться губами горячей щеки, обвеянной и обожженной сибирскими непогодами долгих лет.

Годы пройдут, – и останется в душе сон удивительный. Звуки труб, красные знамена, тысячи юных лиц, тысячи восторженных глаз, и эта среброволосая женщина, в которой и радость победы, и горечь страданий, и непоколебимая вера, и властно направляющая любовь. И вывод из величественной и страшной жизни:

– Отдайте себя народу!

26 марта 1917 г. Красноярск

(Русские ведомости 1917. 7 апр. № 76. С. 2)

Те же картины до самого Урала. Кучки народу на станциях, жадно прислушивающиеся и приглядывающиеся. И тревога, и неопределенная, но крепкая какая-то дума. О чем? Чувствуется на лицах нежданность удара. Пожалуй, радостная. Флаги, флаги... Поматываются в ветре или висят поникло. Да что флаги! Флаг яркий – знак, только знак, что «неправда», старое, уг-нет – сбиты. Давайте новое! И ищет напряженный взгляд, где же оно и какое будет. И неутихающая боль – война! Испытание огнем. Выдержат ли? И каждый в сокровенной глубине держит: надо выдержать. И еще от этого суровы лица. Пошли места татарские. Скуластые, желтоватые лица, с реденькими бородками, пожевывают губами.

– Сабода... люрюция!

Что эти думают? Не понять. Один жилистый, косоглазый старичок с лошадиными зубами, потопотал лаптишками и проскрипел, показывая на мои ботинки:

– Тебе так – мне так. – Давай мне так. И посмеялся косыми щелками и зубами.

– Четыре каров был, – две живет. Четыре каров нада.

Вот как понимают. Да и другие, пожалуй, так же.

Порядок... Порядок есть, и сами, пока что, управляют.

На ст. Кропачево, помню, огромный рыжий мужик, в рогоже на плечах и с красным лоскутком на рогоже, рассказал про порядок.

– Воры есть, ну, только беспрекословно удерживаем для порядка. Покуда эта вот... имилиция достигнет, мы суд сами постановляем. Как украл у нас в деревне один телицу... ладно. Нашли, шкуру уж ободрал. Мясо хозяину отдали, а его в шкуру заворотили да по деревне палками страмить. А в волости тридцать розог ввалили. Ну, приезжал к нам один исполнитель, просвещение делал, говорит: так и надоть для порядка. Благодарил. «Вы, – говорит, – мудры». Лупите – и все. Такое просвещение сделал.

– А как полицию заменяли?

– Обиды не было. Мы, говорят, сами давно первороту ждали, теперь в мужики подадимся. Скрозь народ не пойдем. Тоже православные хресьяне. Про новое-то чего думаю? Глаза у мене

завязаны... как тут думать! Взял ты в руку топор избу править – чего думать! Умеешь топором орудовать, – сделаешь. А не умеешь, – думай – не думай – один топор. Глаза бы развязали...

За Уфой, по горке, поезд ползет. Из барачков выбегают работающие на линии пленные, австрийцы и германцы. Плакаты! Стараются понять, что такое. Понимают, революция! Машут руками, козыряют, кричат что-то, смеются. Свобода! Может быть, и им скоро свобода?!

Дальше в горы – больше флагов по станциям. Народу меньше. И жадности к «листкам» меньше; словно тут и сами все понимают: не удивишь Народ сибирский, самостоятельный, – заводские. Горят в темноте под черными горами заводские печи-жертвенники, на час не затихли: погаси, – не скоро зажжешь. Идет невидная, важная работа в горах. Порядок и работа. Крепко держит кирку и молот рука уральца. И воздух здесь крепкий, ядерный, и поступь, и говор. И нет растерянности на лицах.

– Не бросали работы?

– Разве ее можно бросить! У нас – огонь. Неразговорчивы. И на станциях надписи иные: «Труд и порядок – гарантия свободы», «Мы – социалисты», «Да здравствует социальная республика». И от гор, и от нешумных станций, и от хмурой хвои на скалах, и от суровых лиц строгостью и спокойствием веет. Знают и верят. И сделают.

Урал прекрасен. Светел Урал в своей темной хвое и сером камне. Просторен, тих, величаво спокоен... Глядишь с перевала: Европа – там, Азия – тут. Не веришь. Божьи горы. Никакой Азии, никакой Европы, а ширь светлая, простор Божьего мира, в котором всем место. В этой необъятной шире, перед вольно разбросавшимися сопками в белых полосах умирающего света, на синих далях – вечная свобода, чистая, Божья свобода. Здесь душа ширится и растет. Отсюда, с перевала, видишь далеко от себя, вне себя видишь. Здесь мысли не по земле ходят. И нет охоты – ни в Европу, ни в Азию.

Отсюда – холодная, далекая, неуютная Сибирь. Она приносит сумеречные вести, черные отголоски прошлого. Встречные поезда переполнены. Едут даже на крышах, на буферах, на подножках. В давке, в спертom вагонном духе едут освобожденные, набиваются по 60 человек в вагон. Много больных.

Тяжело слушать, что рассказывают. Свобода всех всколыхнула. Плюющие кровью, истомленные, иссосанные неволей и нищетой особенно нервно, страстно приняли радостную нежданно весть. И заспешили, заспешили. Страх, как бы не умереть здесь, в этой темной Сибири, пустой, холодной; страстное желание увидеть своими глазами Россию новую, за которую отдали безоглядно жизнь, – страх этот гнал их на поезда. Не удержали их ни уговоры более рассудительных, ни собственная беспомощность.

– Умрем мы здесь... Лучше там. Здесь так страшно. Наспех одетые, с лихорадочными глазами, с ничтожными вспомоществованиями от иркутского комитета помощи амнистированным, который делает героические усилия, бьется, чтобы как-нибудь сносно одеть и ссудить на дорогу сотни и тысячи возвращающихся к жизни, – они, эти возвращающиеся, днями снуют по Иркутску, бегают на вокзал, в комитет за справками, ночи не спят от радостной бессонницы, дни и ночи едут, спешат в духоте вагонов и спрашивают на остановках: скоро?!

Я видел эти лица, в которых и смерть, и жизнь. Это – волнующие тени, это – само страдание. Я видел бескровные детские лица, тонкие пальчики, цапающие по пыльным стеклам вагонов, приплюснутые носы, алые ленточки в светлых волосах. Платки, прижатые к губам. Слабые, потухающие глаза, выпитые Сибирью. Это надо видеть...

– Спиридонова? Нет, она остается в Чите, работает в комитете. Ее захватило.

Большинство видных борцов за свободу уже проехало. Иные остались работать в Чите, в Иркутске, вошли в состав исполнительных комитетов, в советы депутатов. Строят новую жизнь.

– А самый наплыв будет в мае. В гиблых местах многих задержало весеннее бездорожье.

Тяжелой, холодной, неудобной представилась мне Сибирь. Холодные, немые дали. Жутко-немые. Не укладываются в душу. Это – не светлый Урал, где самые камни мягки на светлом небе расцвета. Это – бесснежная стыдь, белые широкие реки в мерзлых буроватых берегах, горелые леса по линии, редкие люди на станциях, сумеречные люди, неприветливые. Мягкого говорка не жди. Мягкого взгляда не увидишь. Кто их такими сделал? Одинаковые по лику и какие-то сборные. Словно согнали их с мест дальних и непохожих. И

хохлы – не настоящие хохлы, и великоруссы – не те; и поляки, да не из Польши. И какие-то черномазые, с орлиными носами, – с какого Кавказа? Какое-то месиво, новая какая-то народность. И все – суровы, все исподлобья смотрят. Сибирь! Скорей бы на Русь, под мягкие небеса, к нежным березам. Здесь и березы-то – не березы. Уж очень белы, словно покрашены известью. Холодные березы. И правы те, кого там тянет к себе обратно теплая, благодушная, пусть и несуразная даже, Россия: в ней и умереть легче.

– Эшелон! Сибирский эшелон!!

Мы высовываемся в окошки. Да, эшелон. Высунулось в узенькое оконце теплушки красное знамя с золотыми кистями. Золотые буквы: «Да здравствует демократическая республика! Война до победного конца!»

Серые шапки. Красные лица. Гармоника пилит. Рев – ура! Грохот вагонов. Сурово, крепко все, несокрушимо.

Ревет поезд, ветром рвет красное знамя. И лохматый медведь-кондуктор, в огромной папахе, – на площадке последнего вагона. Да, это Сибирь.

– Да, народ строгий, – говорит санитар-менонит, голубоглазый. Их немцы боятся. – А теперь... – и он замолчал.

– А что теперь?

– Знамя новое, свое... свобода! Шутить не любят.

А вот и еще поезд пережидает на станции. Везет куда-то китайцев, сине-грязных с конскими волосами на угловатых головах, пергаментолицых, скучных. Будто им все равно, – вези. А вот и другие, которым не все равно: это пленные. Два парня-германца, краснощекие, круглолицые, живые парни-куклы. Скалят белые зубы, а в душе свое.

– Велика Сибирь?

– Я, я, пелика.

– Чего ваши спят, – пиши! Пусть революцию свою делают, войну кончим! – кричит наш повар.

– Та-та, – прищелкивает языком германец. – Махензи!

– Черти хитрые!

Но австриец с подвязанной губой, будто бы фабрикант, знает по-русски и говорит, прищурясь, в повислые рыжие усы:

– Когда приедем домой, сами будем делать. До конца довезете на Зибирь, – война капут. Далеко. Зибирь!

И он, и германцы задумываются. Глядят вперед. Там то же: леса, леса, леса. Для них Сибирь и совсем непонятна.

– Махен-зи Зибирь! – кричит германец и отматывает головой.

Иркутск. 29 марта 1917 г.

(Русские ведомости. 1917. 9 апр. № 78. С. 5)

Иркутск. Освобождение

Холодный, неуютный город за ледяной Ангарой, суровый, темный. Холодом тянет от сумрачного собора. Не входит в душу: нет в нем российской ласковости, теплого золотца церковных главок. Деревянные серые дома, – арестантское, сумеречное. Солнце, – но и оно холодное. И странно, зачем здесь грачи: нет весны на мерзлых бурых холмах. Чего им тут, – на Русь бы летели! И народ неуютный, поглядывающий исподлобья, жесткий. Орехи такие бывают: крепко их надо грызть, а разгрызешь, – сладкий. И этих сумрачных тоже, быть может, надо разгрызть умеючи.

Никто не встречает поезда, хоть и послали с дороги телеграмму. Малолюдно на станции. Равнодушно поглядывают на длинный поезд в плакатах, первый здесь поезд всероссийского земского союза, – приехали из Москвы, за освобожденными. Увезем в Россию от вас.

– У... – неопределенно-скрытно отвечает кряжистый «чалдон» в лохматой папахе, жует бурыми скулами, высматривает из-под нависшей на глаза черной шерсти. – Там у вас хлеб почему?

Неподатливы на слова. Во всех – напряженное «свое про себя». С чего такие? Многие здесь – из невольных поселенцев. По холодным рекам живут, камни видят.

Бежит подо льдом Ангара. Взорвали ее у города, чтобы наладить перевоз катерами: неверная она такая. То спит, а то и рванет неожиданно. Погубила она немало народу, – обманчивый ледяной покров. Смотришь на нее с катера, набитого народом, – мчит она ледяные воды, прозрачные даже в половодье, – жуть. И не поймешь, с

чего же на сердце камень. От мерзлых бурых нагорий? От сумрачных глаз? Чужая земля, Бог с ней. Не укладывается в душу.

Страстной вторник. Ходит народ по улицам, прямым как стрелки, но предпраздничной, радостной суеты не видно. Так, ходят, покупают, – и хмуры-хмуры. На углах – конные солдаты. Серые арестанты, выпущенные указом, почему-то тянут по мостовой. Они бродят волками, поглядывают тревожно хмуро, косятся. И на них косятся. Да и понятно: вырезана семья на заимке, под городом. А в Чите, говорят, каждый день такое. Тысячами собираются туда из каторжных тюрем.

– Выпустили... – тревожно говорит хмурый хозяин-бакалейщик, в широкую горсть сгребая толщенную золотую цепь с живота. – На что эта шпана пойти может? Без гроша, без одежды. Не всякий на работу примет. На базаре вот такой один сгреб пять пар рябчиков, говорит: «Обменяй на голову!» И пошел.

И бродят серые люди, с серыми лицами, с душою смутной. Что кроме «серой» свободы подарила им революция?

Я говорил с ними.

Черный, одутлый, с мягкими карими глазами, в которых спряталась колючая мысль, сказал, водя рукой у колен, словно подтягивал недавно снятые, но не ушедшие от него кандалы;

– Политикам все внимание, а нам... получай все четыре света, – и на зиму, и на лето.

– В зубы пятки, – играй в прятки! – поддакнул, пряча глаза, тощий и маленький, и потянул носом, как гончая.

И пошли, расставляя ноги и озираясь. Куда пошли?

Потом, в Светлую ночь, в бурную, снежную сибирскую ночь, вспомнились они мне на ст. Тайга. Вернулись в жути... Об этом после.

На белом доме с колоннами, бывшей резиденции генерал-губернатора, большой красный флаг играет в ветре, – упрямо-живой, смелый. Тылом к дому стоит кряжистая, темной бронзы фигура. Стоит в сквере на берегу Ангары, сбывчив голову на широченных плечах, крепко зажав кулак. Тяжелая фигура. Это Александр III глядит к Байкалу. За ним, в доме, теперь заседает исполнительный комитет из бывших политических каторжан. Сон? Повернул бы тяжелое бронзовое лицо, поглядел бы, какое знамя играет в ветре. И кажется:

вот повернется на тяжелых ногах, плянет... и подастся с тяжкого основания, охраняемого орлами.

Исполнительный комитет во главе с бывшими каторжанами Кругликовым и членом Гос. Думы Салтыковым и представитель комитета помощи освобожденным Пестун, – каторжанин тоже, – приветствуют поезд всероссийского земского союза. Так неожиданно, так прекрасно! А то приходилось отправлять в невозможных условиях: ни спать, ни сидеть.

По дороге набивалось в вагон до сотни. Днями нельзя было выйти из вагона.

Узнаем, что в настоящее время в Иркутске человек триста. Ежедневно отправляли около ста. Выдавали по четыре рубля суточных. Больных очень много. Одежды в Иркутске нет. Истрачено более 200 000 р. Ждут денег. Заняли в банке 100 000. Ожидают в мае из дальних мест Якутского края тысяч до трех, не все успели выбраться до весеннего бездорожья.

Нервное, умное лицо близоруко глядит на меня через очки. Горечь, усталость и огонек в нем. Это – Пестун, вынесший тяжкую каторгу. Он тоже в Россию хочет, но сознание высокого долга его удерживает. С двумя товарищами он круглые сутки в работе: устраивает освобожденных, рвет последние силы.

– Поглядеть новую Россию?.. Да, неудержимо тянет... – говорит Пестун, и в его глазах за очками – влажное. – Но бежать от товарищей, бросить так... Нет. Беспомощных много...

А его товарищ Миша, – забыл я его фамилию, – красавец парень, бывший железнодорожник, два раза приговоренный к каторге, на 4 и 12 лет, краснеет застенчиво и говорит смущенно:

– Мы – сильные. Сперва устроим товарищей, а там... – И его голубые глаза туманятся, провидят необъятные дали.

Это – удивительные люди. Слава им, оставшимся на трудном посту в эти славно-будоражные дни Великого Воскресения! Они – на черной работе. Они отыскивают и раздают платье, размещают по квартирам, выдают тысячи справок, отправляют поездами. Они не теряют головы в этой сложной работе, с тысячами измученных, изнервничавшихся, рвущихся в жизнь людей. Это – капитаны на корабле в бурю. Привет им, террористам когда-то, теперь мирным делателям жизни! Святое несут они в себе.

Видишь в городе страшно нервных людей, спешно идущих с невидящими, как будто лихорадочными глазами. Их узнаешь сразу, – освобожденные. В глазах – радость? Да, но и еще что-то. И растерянность, и печаль, и тревога. Да, ударила их и каторга, и радость неожиданная. Плохо, наспех одетые женщины, – в Иркутске одежный кризис, – детишки в самых неожиданных, не по сезону одеяниях, чуть ли не в соломенных шляпах и картузах, в валенках и парусиновых башмачках; мужчины в кепках, зеленых, синих, тирольских шляпах, в меховых треухах, в котелках, в «итальянках», в конфедератках, в жокейках. И в высоких сапогах, и в шикарных штиблетах, и в «бурках». Даже в желтых крагах. Одного я видел во фраке даже и... в кепке. Был один в арестантском даже. Грустно, больно смотреть.

Умучили, разули, раздели. Заколотить в гроб не пришлось, – спасла революция. И революция одевает их, как может, лишь бы прикрыть. Это необходимо исправить. Для них все должно быть. Государство обязано им слишком многим. И, конечно, оно этот свой долг оплатит. Они прекрасно-горды. Но оно сумеет так сделать, что не причинит им боли. Это – почетные граждане новой России.

Исполнительный комитет делает визит поезду. Поезд оставляет прекрасное впечатление удобства и чистоты. Дамы приносят цветы. Слов мало, немного скучновато, «по-сибирски». Ни музыки, ни приветных знамен, ни Марсельезы, ни криков «ура», ни речей. Серовато, как все. А мы ждали восторженности. Еще не родилась она на этих бурых, мерзлых нагорьях. Не прижилась. Не светит и не греет здесь ласковое солнышко святой Руси.

Посадка. Отъезд

Сумерки. Холодеет к ночи. Проступают сибирские звезды. Пестун и Миша и еще третий, бундист – в работе. Сейчас начинается посадка. Бегут одиночные фигуры по рельсам, бегут кучки, волокут скарб. Не разберешь в сумерках. Помогают одиночные солдаты. Женщины растеряны, зовут детей, несут на руках, ведут, спотыкаются на рельсах. Плачут дети. Больные беспомощно присаживаются на узлы, тревожно спрашивают, возьмут ли их. Возьмут, всех возьмут, кто

попал в список двухсот, которых может забрать наш поезд. Разбиваются по вагонам, группируются по партиям. Пестун и Миша устанавливают порядок, спорят: надо отделять нуждающихся в большем покое. Доктор, сестры и братья милосердия и молодцы-санитары сбились с ног в эту темную, холодную ночь посадки. Бегут и бегут растерянные люди, боятся, – забудут их. Тянется жалобный плач детей: холодно, ночь. Старый террорист, армянин, убивший в Тифлисе жандарма, приговоренный к смерти и чудом спасшийся, изъеденный долгими годами каторги, еле живой, беспомощно сидит на рельсах на чемоданчике; чуть дышит. Желто его лицо, погасли глаза.

– Идите, дорогой, идите! – упрашивает сестра.

Он чуть не плачет от радости увидеть родной Кавказ. Пока он чуть отдохнет: трудно дышать и холодно. У него берут чемоданчик, но он не дает: тут белье и лекарство. Его уговаривают: все есть в поезде, – и белье, и лекарство. Все есть?! И лекарство?! Эти заброшенные люди еще не верят, что для них все есть.

– Доктора! В 7-м вагоне – сердечный припадок!

Доктор, без фуражки, в одной тужурке, – везде. Везде сестры и братья. Тоненькая докторша в кожаном картузике, в кожаной курточке, слабая и сильная, уже назначает лекарства, уже выстукивает. Сестры поят детей молоком под открытым холодным небом, под звездами. Спят детишки под звездами, на руках матерей, ждущих еще посадки, – сибирские, привыкшие ко всему детишки. Ковыляет на култышках боевой товарищ, – оторвало ему ноги бомбой. Подбадривает:

– В Россию едем. Там дадут ноги!

Выступает размеренно на длинных ногах сумрачный человек во фраке, в кепочке, в синих очках. Это – анархист-коммунист. Как будто и жуткая фигура, а присмотришь, – нежная, ждущая ласки душа, нежный поэт. Корректно одетый господин с проседью, южного красивого типа, не спеша, проходит с чемоданом. Турист и турист. Спокойное лицо, спокойный шаг. И не поверишь, что это – когда-то «смертник», когда-то активнейший член военной организации, горячий, непримиримый, бившийся с тюремной властью за права каторжанина, бурный из бурных, перерезавший себе вены. Идут и бегут неясные фигуры, сухо покашливая. За всеми – годы каторги, за

многими – страшные дни и часы ожидавшейся смерти. И все жадно хватаются за холодные поручни вагонов. Скорей отсюда!

Глядишь, и не сознаешь сразу, чего ты являешься тихим свидетелем. Вот она, – чудеснейшая из побед. И вот они, – жертвы и победители. Слава им вечная! Вечная память павшим!

Спит глухая Сибирь. Она не вышла проводить поезд. Не принесла она ни ободряющей музыки, ни знамен, ни криков прощального привета. Спала она в эту звездную холодную ночь за ледяной Ангарой, в теплых домах из крепких сосновых бревен. Чалдонская сумрачная Сибирь.

Глубокая ночь. Тихо в поезде. Но не спят разволновавшиеся пассажиры. Так в Светлую ночь не спят чуткие. Ходит слесарь, постукивает по колесам.

В три часа ночи тихо отходит поезд, погромыхивает через белый Иркут. И сразу на душе легче. Дальше уходят проклятые гиблые места.

Омск, 3 апреля 1917 г.

(Русские ведомости. 1917. 13 апр. № 81. С. 3)

Тайга. Тяжелый груз. Вечер субботний

Снова тайга, провалы за чащами, сопки, дикие лесные долинки, покореженные лесными дьяволами горы гниющего сухостоя, деревья сплошь без верхушек, обгорелые вывороченные пни, кислые болота в кочках, с сиротливыми лиственницами-скелетами, заросли желтого сосняка, сороки, словно с тоски поджавшиеся на сухих березках, тонкие белые арки худосочных берез в чащах, синие дымки с красными языками пламени по дальним взгорьям, – так, крошево лесное, будто прошли здесь огни и мечи страшных сибирских орд. Тайга. Люди? Не видно. Звери? И зверя нет. Пустыня. Натесал кто-то сотню сосновых бревен, свалил на солнышке, будто гигантскую спаржу, рядом и забыл. Ни дорог, ни жилья. Так и сгниют. Много их тут по тайге, этого случайного поделья. Жаль, страшно жаль бесхозяйственности сибирской.

И опять тяжело на сердце: какой разгром! И рвется душа туда, на светлую Русь. А там как? Ищет ли верного русла великое российское

половодье? Найдет ли? Уж очень тяжело смотреть на вывороченные обгорелые пни, на невесть для чего затесанные и брошенные чудесные бревна. Мимо, мимо, жуткая тайга! Сгинь!..

Наш сумрачный сизый поезд повеселел. Выглянули из вагонов красные флаги и плещутся в вихре хода. Глянешь на закругления, – весь на виду, длинная-длинная сизая цепь вагонов шумит беззвучно красным криком знамен. И некому слышать этот торжествующий крик: одни поджавшиеся сороки на сухостое да удирающий на кругах в чашу ястреб.

Тайга, тайна...

– Чего такое?.. – вопрошает будто на переезде вытянувшая непонимающее лицо простоволосая баба-сторожиха, а ей несется с вертявых флагов, – сумей-ка прочесть! – «Земля и воля!», «Демократическая республика!».

Страшно и непонятно ей. Стоит долго, глядит долго в пылящий хвост. Грохочет в ушах потревоженная тайга.

«Хлеб и воля!»

Это кричит с черного знамени. Это анархист-коммунист, высокий латыш во фраке, старательно вывел бронзой на черном куске свою упрощенную «программу»: сыт – и гуляй! Лучшей программы и не найти.

Не встречают на станциях, малоллюдно. Только на станции Зима в Страстной четверг, когда с милой резвой церквушки призывал слабенький колокол к Евангелиям, кучка железнодорожников нестройно пропела «Марсельезу» и попросила ораторов Говорили с площадки вагона, под красным флагом, под звон церквушки. Тихий вечер и первый свободный крик, – бурный крик освобожденной души. И в крике этом – не призыв к творчеству, к созиданию развороченной жизни, а все тот же былой напор на преграды, уже разрушенные. Еще не найдена верная перспектива, не взят верный тон, Еще много боли и горечи Потом все нашлось, а пока:

– Товарищи, не верьте! Стойте за совет рабочих и солдатских депутатов! Им только верьте!! Не верьте приходящим к вам в шляпах и брюках! Не ждите учредительного собрания!

Да, было это. И тяжело было слушать. И не молчала душа. Но то был первый, огневой крик. А дальше, дальше – ближе к России, – и ближе к истине. По часам зрели и освобождались души, ясел и

обострялся внутренний взор И широкой волной летела с площадок воплощенная в яркое слово мысль:

– Верьте, товарищи! Полное единение! Доверие и контроль!! Будем строить свободную, великонародную Россию!

Дальше, – и больше взаимного понимания, связи с живой жизнью, с живыми людьми, с требованиями рассудка С полей полыхнуло в замуравленные души живым ветром, зешним творящим духом живой воли.

Мчит поезд и день, и ночь: веют и веют красные флаги в тайге. Свобода! Новая жизнь воскресла!! Скоро в этих невидных, белых сибирских церквах запоют «и сущим во гро-бех»...

Это уже поют флаги, лесные ручьи по косогорам, набухающие реки. Розовые зори смеются в топях.

Тают оставшиеся по щелям снега. Тает ледок, и люди узнают друг друга, соприкасаются сердцем. Первое знакомство нашего персонала и освобожденных. Первый митинг в вагоне. Первые приветствия земскому союзу. Товарищеское сближение. И начинают вскрываться замкнувшиеся души, – и какие чудесные души! Ясный и чистый человеческий свет льется, теплеют глаза, и самое ценное, что есть и вечно прекрасно в человеке, что одно в силах руководить жизнью, – любовь великая и светлая вера в жизнь, – вот она Мы говорим приветы. И я, далекий от бурь борьбы, получаю нежданную, быть может, очень мало заслуженную награду. Эти люди, кого я теперь впервые так близко чувствую, получившие во имя деятельной любви к народу клеймо каторжан, получавшие петлю и кандалы, – эти люди связывают с собой и меня, русского литератора, и любовно-трогательно говорят мне, что они меня знают, что я был с ними, что и я – их товарищ!

Великая награда! Она вызывает слезы, она освещает и греет душу. А за темными окнами – неведомая тайга, разбуженная грохотом. Этот грохот разбудит все, и проснется Тайга Великой Руси; уже проснулась. И не будут спать в гнилом сне лесные великаны. Верить надо и любовно делать. И будет.

Тяжкий груз везет поезд. С нами 11 «смертников», долгие ночи ожидавших петли и принявших бессрочную и долгосрочную каторгу.

С нами – юноша, 15 ночей ожидавший прихода палача. Но пришла революция и сказала: гряди! И не поверил он, бился и ломал

освобождавшие его руки.

– Вы лжете! Вы пришли вешать!!

Теперь он только-только приходит в себя, больной, в жару. Днями лежит на койке, а сестра говорит ему тихие слова. И он начинает говорить о родине, с которой навсегда простился.

С нами груз 1255 лет каторги и ссылки, по 8 1/2 лет на человека, – да революцией сброшено 750. С нами человек, арестованный более сотни раз! С нами 80 тяжких приговоров военных судов. С нами сто сорок восемь активных деятелей, младшему из которых – 20 и старшему – 82 года. Все народности России, все сословия до купца и казаков. Представители, кажется, всех религий и всех партий, до анархистов-коммунистов, коих 13. Представители всех профессий и положений, – от члена Государственной Думы до доктора тибетской медицины, он же и анархист, и чревовещатель. С нами тридцать шесть штук детворы самого разнообразного калибра, от месячного до «сознательных», которые знают, что «митинг», это – где много говорят, поют песни и читают стихи «Птичка Божия не знает».

Для детворы устраиваются игры, и анархист во фраке, сумрачный человек, показывает с милой серьезностью фокусы и говорит животом.

Много больных и слабых. Надо дивиться, что не все еще лежат пластом после всего пережитого. Надо послушать, в душу надо принять, что изведено по этапам, в пересылках и каторгах! Десятки городов, – десятки каторг, по которым тащили в цепях, в которых вытраивали душу, выматывали по жилочкам... И страшный Орел, и жуткий Тобольск, – великие гнойники, – во всех рассказах. О многом не говорят: страшно вспомнить. И стыдно за человеческое. Страшно слушать, как воют последние ночи «смертники»...

Слушаем, и нас давит кошмар. И, кажется, всегда буду видеть, как двое крестьян, сын, молодой парень, и старик-отец, аграрники, ожидают смерти. Сидят в смежных камерах. Сын бьется головой о стены и зовет: отец! А старик забился в дальний угол, затиснул кулаки в колени, нагнул голову и молчит, молчит... И ночи, и дни так.

Красноярск встречает тысячами солдат. Катят тележку с трибуной, зовут ораторов. Шумит митинг. Поминают павших, поют славу живым. Тысячи мощных потоков ревут вслед нашему поезду,

машут платки в ответ, и голубоватые австрийцы, вспугнутые криком, выныривают из землянок и тоже машут платками.

– Мир! Ура! Мир!..

Они принимают наши платки за весть о мире. Они подкидывают в небо свои угловатые кепки, они пляшут и радостно пинают друг дружку.

И вот новый день, Великая Суббота, приходит ясный и теплый. Солнцем залита тайга, стала куда мягче. Сороки прыгают и ныряют в елках, – насиделись. Белка скользит по сухостою, смеются лужи, смеются окошки свежих лесных избушек. Смеются флаги. Головы высунулись в опущенные окна.

– Весна! «Весна, выставляется первая рама!» – кричит молодой голос, и вот вертится в грохоте раздольно рождающаяся песня:

За наш народ.

За святой девиз «вперед»!

Кружит головы бурная весна светлой надежды.

В столовой – горы белых яиц. Работают сестры, братья. Все. А вот уж и блюда, десяток блюд, – красных, розовых, синих, желтых, всяких. Санитары разносят по вагонам. В столовых скоро будут готовить пасхальные столы. Детям распределяют игрушки. В Красноярске уже приняли груз, – заказанные куличи и пасхи. Повара кипят. Радостно работают они и рады во сто раз больше «кипеть для товарищей», – так и заявил на митинге их представитель. На многих лицах, разучившихся улыбаться, – слабые улыбки далеких воспоминаний. Вечер субботний... Ушедшее далекое детство... ушедшие невозвратно тихие радости.

На редких, невеселых церквушках, где раздвинулись дали, – можно разобрать на светлом небе, – черные фигурки возятся, устанавливают, должно быть, плоски ли, вензеля ли. Да, устанавливают. Падает тихий вечер, но солнце что-то позатихло. Опускается в сизую тучу на закате.

Светлая ночь в тайге. – Буран. – Страшное. – Станция Болотная

Ночь, звезд не видно. Запотели окна, а за ними светлеет. Что, рассвет? Нет, не рассвет, а буря, мерзлая Сибирь неожиданно провожает пушистой зимой апреля наш спешно выбирающийся на светлую Русь поезд. Холодные ветры хлещут и бьют по окнам, шумят по тайге.

О, какая метель!

Белая тайга воеет за окнами, показывает свою Светлую Ночь. Пусть. Не закажешь дорогу. Рвет и рвет вперед поезд. Наш машинист дал слово мчать нас с предельной скоростью. Два паровоза ревут победно.

А вот и полночь. Спит поезд; утром решены розговоры: надо больным покой. Но персонал ждать не хочет: Светлая Ночь с нами!

– Какой снег! Белая Пасха!

– Христос Воскресе! Воистину!

Да, первая Пасха в свободной Руси и... в тайге! Первая Пасха в снеговой буре, в железном грохоте на лету. Трещит и колыхает. Несет, мчит.

– Христос Воскресе, дорогие друзья! Христос Воскресе, милая родина!

Да живет любовью!

Мы тихо сидим в прибранной столовой с чистыми занавесками. Сестры – в белом, лица – особенные, новые. И так идут к белым платьям и белому столу, – и пусть и к белому, что за окнами! – белые лилии, подаренные нам в Иркутске. И в Иркутске – белые лилии! О, они найдутся везде, лишь бы была любовь и умение их вырастить! И думаем мы каждый свое, и смотрим, как покачиваются белые лилии. А что там, в России? Там реки шумят, там – великое половодье... Да спадут тихо великие воды и текут величаво и благостно. Эта дума у всех, должно быть.

А вот и рассвет. Метель, метель. Белые стоят ели, и тайга белая, задавленная снегами. Холмы, сугробы. Засыпаны сосны. Как сахарные стоят одиноко лиственницы. Собачонка у будки ныряет по шею в рыхлом снегу. Какая мягкая, белая Сибирь! И как мягко, неслышно несется поезд по мягким рельсам.

Я иду к себе в тепло натопленное купе, – и мне скучно-скучно. Где же весна-то?! Прохожу мимо двери, за которой спит бывший «смертник», террорист-кавказец. И он не спит. Мучает его сухой,

беспомощный кашель. Нет тут праздника, и воскресения нет. Я вспоминаю слабые, помертвелые глаза, черные, словно приклеенные на желтом лице усы и слабый голос-мольбу:

– Так жить хочется... ведь я не жил... ведь я еще – не старый...

Да, он еще не жил. Он и весну-то еще не знает, какая она и что в ней чудесного. И вот Сибирь провожает его метелью, ему трудно дышать. И вспоминается еще его просьба:

– Мне бы ножку куриную... темное мясо... А белое не надо...

Дали ему ножку? Ведь и это – радость. Конечно, дали.

Я прислоняю лицо к окну: метет. И мысленно я желаю тому, кто кашляет за этой дверью и кто не знает меня, чудесного воскресения, чудесного возврата промчавшейся мимо жизни, любви, и ласки и звезд теплой кавказской ночи.

А он все кашляет и тяжело дышит. А сколько таких, кто остался за Байкалом навеки? Сколько таких, кто кашляет и тяжело дышит и кого, быть может, последней вьюгой провожает Сибирь в эту последнюю Светлую Ночь?!

И пока я так думаю, проходя мысленно по вагонам в эту необычайную ночь, там, впереди, верстах в сотне от нас, на станции Тайга, совершается страшное...

– Христос Воскресе! – говорю я утром делегатам-солдатам.

– Воистину Воскресе! А слышали, что случилось?! Ужас! На станции Тайга, – мы ее к утру проехали, – в эту ночь каторжане вырезали семью.

– Что?! Не может быть...

Ударяет, как обухом.

– Говорят, солдат раненый пришел на поправку к семье... И его, и жену, и троих ребят... Будто, солдатами переоделись. Поймали их на станции, заарестовали. У нашего машиниста четвертной отняли. Сменился, домой пошел, а они окружили...

От этих слов опять валится тяжелый камень на сердце, – тот камень, что навалила Сибирь; а сбросила Светлая Ночь. Тот камень, что ложился минутами и там, в России, когда всматривался на станциях в замкнутые лица, в пытливо-недоверчиво вопрошающие глаза толпы.

...Сумеют или не сумеют принять? – спрашивало из-под камня, и отзывалось: сумеют, – и камень падал. Теперь он навалился страшно.

И в жути встала белая сибирская ночь Светлого Воскресения. И в ней – тьма и страх. В Светлую Ночь, в первую великую ночь свободной Руси!..

Лица солдат задумчивы: не по себе им. И опять мучающий голос из-под камня: сумеют ли или не сумеют принять новую жизнь и привести на землю воскресение и весну?

И вот приходит ответный и верный голос, приходит скоро-скоро, не далее сотни верст от этой ужасной Тайги...

Есть на великом сибирском пути невидная станция Болотная. Так все невзрачно здесь. И названия-то соседские – невзрачные: Чахлово, Таскаево. Что тут есть интересного. Так, – пустыня.

Но что это за вереница людей под красным флагом, и что так машет рукой железнодорожник в высоком треухе? И почему раздвигается невидная, темная толпа? Да это – процессия! День серый, снежный, но снег перестал. Чуть тает. А процессия тянется, один за другим влезает люди в вагон, – влезает молча, с бледными взволнованными лицами, со светлыми лицами... Они проходят, одетые в порыжевшие пальто, женщины – в платочках, закутанные. И лица у них... Какие лица! И какие удивительные глаза! И как будто смущение и как будто робость, словно боятся спугнуть что-то чудесное. С такими лицами несут великие и светлые тайны.

Идут, идут. И несут дары, – небогатые, но бесценные дары. Несут куличи и пасхи, несут сайки, куски копченой свинины, опять куличи, облитые и простые, ситные хлеба, маленькие, детские куличики, баранки, яйца в платочках. Несут, несут. Они заваливают всю столовую, они заставляют столы и пол, лавки. Все несут, несут. Ставят и кладут молча и тихо уходят. С молитвой в душе, с чудесным чудом в душе и тихой думой в глазах. Тихие, светлые люди... сибирские люди, сумрачные...

Есть на Великом Сибирском пути невзрачная станция Болотная... Люди живут на ней, и они сказали, что везде *люди*. И они молча, неслышно сказали это.

Это – было такое огромное, такое... – нет слов сказать, – что сердце не нашло места вместить в себя. И мне не стыдно сознаться. Я заплакал. Это было такое чудесное, такое прекрасное необъятное, что я заплакала.

И упал камень с души, и сказал голос: сумеют принять и сумеют сделать. Жила бы любовь и говорила своим языком и научила делать. И будет все.

Да, есть на Великом пути Сибирском невзрачная станция Болотная. Пусть ее все знают. Примите мой слабый привет и низкий поклон, живые русские люди! Всю Сибирь, всю тайгу осветили вы... и не оцените вы, какой след оставили ваши лица и ваши дары в сердцах тех двухсот, кого вы явились встретить.

Самое ценное, что показала Сибирь.

Екатеринбург. 5 апреля 1917 г.

(Русские ведомости. 1917. 18 апр. (1 мая). № 86. С.3.)

Наброски

Екатеринбургская ласка. – Весенняя тоска-жажда

Екатеринбург в солнце, в красных флагах, в пасхальном звоне, в медном громе приветствующего оркестра. Почему-то он белым кажется. Или это светлая Русь показывает милый лик свой? Много веселых лиц. Или такое довольство здесь, или это погожий пасхальный день так смягчит и красит? Весел белый вокзал, с широкими лестницами вниз, в светлую залу, где шумно расхватывают с ларя газеты. Весел и город белый, монастыри и церкви. Даже и старый дом весел, бар-ско-заводский, под рыжей крышей, против старинной церкви; веет от него воспоминанием юных лет, когда впервые читал «Приваловские миллионы». Ширится душа, верит в широкий размах, в вольную силу, – ломать и строить.

– Смотрите, как это... трогательно! – говорит бывший революционер-каторжанин, и в его глазах нежность.

Что его так растрогало? И не его одного. Смотрит и хмурый, в медвежьей шапке каторжанин-рабочий, с крутыми усами, крутой с лица. Что их так трогает? Малость, а как значительно! Мало нужно душе, даже железом тронутой, чтобы оттаять. Небольшой стол, под белой скатертью, с вазочкой бумажных цветов, с пятком красных яиц, с прислоненным к подсвечнику плакатом. «Этот стол для наших гостей, освобожденных борцов за свободу; можете требовать обед».

Верить нужно в человеческую душу, как бы ни сгушалась и ни кипела кровь. Только... ключи надо уметь найти к ней, отомкнуть то чудесное, что так нужно теперь российскому новоселью; что необходимо всем партиям и всем программам, без чего – засушь и смерть. Это сказала Сибирь на глухой станции. Это потом сказала и Русь, – в удивительном городке Вятского края...

Ночью прошли Урал. Пермь подымает поезд оркестром на рассвете. Разлившаяся безбрежно Кама встречает редким туманом и уходящим льдом зачинающейся весны. Прет широченной водяной грудью на мост, на его зеленые сквозные шатры-беседки. Стоит мост в

напоре, – не страшно. – Вот он, символ! Какой разлив, – и какая крепость!

Голова кружится, смотреть жутко: рвет и рвет Кама, бьет. А кругом – даль без края, а поезд мчит и мчит Где же земля?

Вот она. Поля, поля... Широкие увалы пошли, с серыми, вольно раскидавшимися деревнями, с черными пашнями, уже поглотившими снега. С еловыми лесами на окраине неба, с ометами и скирдами-гигантами за деревнями, у риг Хлебные места, богатые.

Санитар-менонит, колонист, любит поля и скирды, ширь и ровень. Золотом оценил он скучные глазу равнины приуральской Сибири, черные пустыни-пашни. Не приглянулся ему Урал: камень. А тут опять укладливо и тепло: поля.

– Золота тут! Такое богатство земли... а-а-а!

И тоскливо-жадно глядит на заворачивающиеся ковры-поля. А руки движутся, и лицо – живое Сеять, сеять! Три года не был в милой работе. И не он один. И солдат-делегат, черный и сумрачный, открывает белые зубы, когда говорит зе-мля! И это слово, – зе-мля, – выходит у него сочно и густо: накипела жажда во рту, вешний земляной сок слышится, словно вздирают влажный, тяжелый пласт нови.

Накипела в душах великая тоска-жажда: творить Вон стада диких уток плещутся в ярких болотах, в солнце. Взлетают и тянут крестиками. Весна кипит, зовет строить и жить. Вон косячок гусей серокрылых совсем низко тянет в луга. И их провожает жадно тоскующий взгляд. И красную юбку копающейся в огороде бабы-сторожихи, и мужика, облаживающего сверкающим топором прясло, – совсем рядом видно, как скачут живые белые щепки. Да, строят, живут...

– Теперь по рыбным ватагам... на Каспий! – жадно говорит другой солдат-делегат, живавший по промыслам. – Во-ля!

Сколько сжатой, притаившейся силы, жажды! Она просыпается по весне. А теперь весна, теперь величайшая весна, и сколько полей безмерных ждет верной руки, мерного шага и хозяйского глаза. Вся Россия, – одно великое поле, – ждет.

– Сутки стоять придется в этой дыре! Товарный разбился, будут поднимать паровоз.

Глазов. Низенькое здание станции, низенький городок, глухой, сонный. Что веселого тут? А там ждет Россия. Кругом ровно, лесочки, кусточки. Городок, где пожил подневольно, если не ошибаюсь, В. Г. Короленко. И, кажется, он сказал про этот унылый городишко: «ненастоящий город».

Городишко, но на станциилюдно, шумно. Солдаты, одни солдаты. Все серое, движущееся. С сумками, на походе.

– Эшелон задержался.

Молодежь – офицеры – в «боевом», с револьверами, в ремнях накрест, в подтянутых шинелях. Лица серьезные, твердые. Солдаты сурово-спокойны. Иные в вагонах-теплушках, иные на платформе. Сгрудились у возвышения, откуда говорит один из наших, освобожденных. Временами прокатывается «ура».

Важный момент: эшелон направляется в окопы. Весь поезд выставил головы, слушает напряженно. Офицеры похаживают. На их лицах – сдержанное волнение. Им, ответственным, вовсе не все равно, как подействуют на солдат жгучие слова с возвышения. А митинг все горячий. Вскрикивает на трибуну молодой прапорщик, кричит чеканно:

– Мы также куем свободу! Наши груди готовы! Солдаты и офицеры – дети единой родины!

– Уррра-а-а!

Его сменяет другой, кто идет с эшелоном. Он кричит, что не раз встречал смерть в атаках.

– Все за родину, новую, свободную! Да здравствует единая армия, защитница России! Да здравствует временное правительство и порядок!

И еще, еще. Вскрикивают наши ораторы. Горят страсти.

– Да здравствуют советы солдатских и рабочих депутатов!

– Уррра-а-а!

И подымается новый прапорщик, немолодой, с умным, скуластым лицом. Солдаты встречают его особенно шумно. Это – один из любимцев здешнего гарнизона. Он только что прибыл из далекого города округа, со съезда войсковых делегатов. Он говорит понятно, сжился с народом. В его прошлом, – узнаем мы потом, – печать политического борца.

– Дайте же завершить нам дело! – кричит он, ударяя в грудь кулаком. – Верьте нам, мы не отдадим свободу! Но дайте армии делать дело! Берегите святую силу, – организованность и честную дисциплину!

Еще ни разу не слышанное в пути «ура!» покрывает оратора. Паровоз эшелона дает гудки. Трубят сбор. Бегут солдаты, бегут офицеры, оправляя шапки. Лица еще более строги. Поезд с эшелоном уходит вперед: где-то, перед местом крушения, назначена пересадка.

Вечер. В вагоне-столовой – гости делегаты от гарнизона. Пришли и прапорщики: молодой, говоривший первым, и пожилой. Стоит гомон. Разделились на кучки. Страстно говорят о войне, о мире, о дисциплине. Спорят. Охрипли, пот льет ручьями. Пожилой прапорщик режет начистоту:

– Оставьте армию делать дело народа, и она сделает. Не шатайте военную дисциплину. Дисциплина теперь не рабство.

Молодежь из освобожденных больше ударяется в догматизм. Слышатся привычные митинговые слова: директивы, самосознание, потенциальное соотношение сил. Пожилой прапорщик охрип. Вынул платок и все собирает пот с дотемна побуревшего лица.

– Какой же вы партии?

– Зачем вам знать это? – кричит в изнеможении прапорщик. – Я теперь – солдат! Ни в одной стране... армия не раздирается политическими страстями! Тем более теперь... война на переломе!

Лица солдат напряжены мыслью, новой, непривычной работой. В короткое время внутренний мир переполнился массой вопросов, слов, экономических и политических положений. А жизнь каждый час ставит новые знаки вопроса: разберись и ответь! Глаза жадно плядут, лбы взмокли, сжатые кулаки стучат. Скачут фразы: от Маркса к Циммервальду, от классовой борьбы к отданию чести, от «желающей властвовать буржуазии» к распорядку в воинской части.

– Вы как понимаете анархизм и какой?

– Анархизм не против государственности! – кричит ефрейтор.

– Армия – не партия, не с.-д.! Там и сила мужицкая! Земля!!

– Я веду в атаку, кроют двенадцатидюймовыми... а мы запутались в политических дискуссиях! Это хуже колючей проволоки!

Звенят стаканы, стучат молодые кулаки, горят глаза.

Уже ночь. Солдаты на станции облепили вагоны, ждут своих делегатов. Ждут, не отзовется ли кто новым словом, не раскроет ли и не осветит ли все. Трогательна эта надежда, и больно знать, что напрасна: сразу не осветишь.

– Товарищи, к нам! – приглашают глазовские делегаты. – В наш клуб!

Сон черной ночи

Черная ночь, мерцают звезды. В тишине слышно, как однозвучно лают собаки в уснувшем городишке. Глушь и чернота там. Куда же идти? И где тут солдатский клуб? И что за клуб в этом городишке? И представляются мне низенькая казарма-барак, лампочки-коптилки, тяжкий дух дегтя и сырости.

Двое солдат удивительно нежно подхватывают меня под руки. Они знают меня, читали. Бережно ведут они меня в темноте, волоком волокут, мчат. Мчат за убегающими солдатами, командующими из тьмы:

– Право! Через канаву сигай! Через кучу, на дощенку вали!

Куда мчат?! Мы прыгаем через канавы с водой, спотыкаемся на мягкие кучи. Я чуть различаю полные водой рвы, хлюпающие доски. Вязнем все трое, чмокаем. По огороду, должно быть, мчим, по кочерыжкам.

– Топь тут! Забирай вправо!

И вправо – топь. Доски трещат под сапогами. Кто-то уже плещется вброд, бурчит. Лезем в дыру в заборе, а за забором прудок – не прудок, лужа – не лужа: звезды тревожно плещутся.

– Вот какая дорога в солдатский клуб! – смеется кто-то, и две руки вымахивают меня на воздух, через канаву.

И вот смотрят из черноты широкие окна громадного дома, выросшего внезапно. Окна – в сажень. Асфальтовая дорожка. Широкий вход, вестибюль. Широкие ступени. Электрические лампочки в елках. Куда попали? Театр? Широкая лестница в елках. Налево, в нише, – образ Спасителя, под лампадой – красная ленточка. Храм?

– Наш клуб солдатский!

На площадке – дневальные, молодежь. Подтянутые, молодцы. С высокого потолка спускаются на шнурах лампочки в хвое, перехваченной красными лентами. Пасхальное. После тьмы, рвов, мусорных куч – такое!

Входим в обширную двухсветную залу, с лепкой, тронутой пятнами сырости. Красивые хоры, – для оркестра, что ли. Все – в гирляндах из хвои. И те же на длинных нитях лампочки в зелени и лентах. Не все горят. А вот и все загорелись. Направо – эстрада. На ней, в елках, – рояль. И вижу я на стене за эстрадой белый кивот.

– Наша эмблема!

Что было недавно в этом кивоте? Царский портрет? А может быть, и не было ничего, не было и кивота?

В белой раме кивота, увитого хвоей, с красным плакатом, на котором начертано: «Свобода, равенство, братство», – картина. Красные лучи зари так и блещут. Слева солдат стоит, держит винтовку. Стоит, – сторожит свидетелем. Посредине – широкий пень, на пне – наковальня, на наковальне... Справа – рабочий в фартуке, мускулистые руки, засучены рукава, – и бьет этот рабочий тяжелым молотом по царской короне. Уже смял половину, занес высоко молот, чтобы закончить.

Так вот он, солдатский клуб! Здесь раньше была гимназия, потом казарма. Теперь клуб гарнизона.

– Какой-то купец пожертвовал миллион на гимназию, – объясняет солдат-хозяин. – С народа взял, – народу и отдал. Все – люди, все – Россия.

Не солодовниковские ли это миллионы?

Громадная зала наполняется. Солдаты, все солдаты. Юные лица, радостные глаза. И в этих глазах одна мысль, радостная:

– Теперь и мы можем принять гостей. Все – люди, все – Россия!

Ширится душа и наполняется страшно громадным и радостным. Только что вышли из черной ночи на пустыре и вот – чудо... сон снится. Борцы за свободу, освобожденные, молча плядут. И для них – чудо и сон. Здесь, в темном городишке, – такое!? Новая Россия так чудесно встречает, так смотрит! Какие же возможности открываются!

Прапорщик ведет нас в читальню, большую комнату, бывший класс. И тут – зелень и электричество, и веселые ленты. Два длинных белых стола засыпали газеты, все газеты Москвы, Питера и Поволжья:

«интеллигентские» и партийные. Только-только зачинается библиотека.

– Идемте в чайную залу!

Огромная комната. Кипят самовары на стойках. Солдаты режут окорока, но как режут! В этих движениях рук, в этих лицах – весь человек, наши первые радостные хозяева. Кажется, самый нож смеется, – сверкает, горд делом. Работают, как машины, – и в минуту горы бутербродов на блюдах, полки стаканов. Пряники и конфеты бегут на тарелках в двухсветную залу. По белой стене из хвои:

«Первая Пасха в свободной Руси. 2-го апреля 1917 г.»

В зале столы готовы, – больше сотни гостей. За каждым из нас – хозяева. Не успел оплянуться, – новый стакан стоит, загорелая рука протягивает блюдо. Растроганы и поражены все. Молчат, смотрят. Как сон волшебный, сон черной ночи. Вот он, свободный народ, молодой, каким давным-давно мог бы быть. Какие возможности открываются! Переполнено сердце, нельзя молчать. И мы начинаем говорить, встаем на стулья. Сотни молодых лиц смотрят и ждут. Нет, это уже не партийные, не программные речи: теперь говорит сердце, открывается широко и обнимает братски.

– ...Смотрели мы из окон вагонов на темный городок... таких городков много, – вся Россия. Смотрели в черную ночь, – что там? Собаки лаяли в пустоте. Спит Русь в черноте и грязи. И вот вы позвали, – и мы пошли по вашему зову, по пустырям, рвам и ямам, по грязи, по хлюпающим доскам, падая и не зная, куда придем, и где же, наконец, этот ваш клуб солдатский... И вот мы пришли... в храм! Сон это? Это же храм молодой русской демократии, ваш и наш. Из тьмы мы попали в свет яркий и видим родные лица. И вера растет в душе, и открывается даль безмерная. Вот – Россия! Темная она, ночь над ней, как над этим, милым нам теперь городком. Но из этой тьмы – свет! В этом сокрытом свете – любовь и братство! Вы подарили нам эту радость, эту великую надежду. Верить можно! Вся Россия хранит свет великий под видимой тьмой, и этот свет разольется. Надо только делать и делать! И будет Россия новая. Но ее надо сделать, эту новую, будущую Россию! Делать любовью, братством. За нее же, товарищи, за Новую, за вас, дорогие друзья, за наши светлые надежды!

Что только было! Все загремело, закачалось, задвигалось. Всеми овладел святой экстаз. Блестели слезы, обнимались и целовали друг

друга. Испушенные политические борцы были растроганы. Солдаты подхватывают и качают. Солдаты принимают и отдают братские поцелуи. Качают борцов за свободу. Делегат московского гарнизона, в кожаной куртке, кричит взволнованно, что он счастлив сказать московским товарищам, что он видел!

Звуки рояля. Это играет прапорщик. Солдат выступает певцом. Хозяева угощают нас целым концертом. Хор мощно поет «Дубинушку», «Марсельезу», ряд песен. Резонанс ли какой особенный, души ли это пели, – но этот хор я слышал впервые, – необычайный. Всех захватило, все пели. Закрутило чудесным вихрем. Помню, скинул я шубу, пел, все забыв. Декламировал майковские «Поля»...

Но пора, пора. Глубокая ночь.

– Останьтесь еще, побудьте с нами!

Нежданно случился великий праздник. И долго потом все вспоминали, где же мы были? И говорили все:

– Это был сон чудесный.

Нет, это было. И это сказало ярко, какой чудесной может быть явь. Надо только суметь сделать ее. А для этого надо... страстно хотеть. Для этого надо шире открывать душу, крепче сжимать дружные руки, хотеть крепко.

После чудесного сна ночи

Утро, яркое, теплое. Солнечный, пасхальный, перезвон. Выглянул в окошко вагона, – пусто на станции. Дремлют на солнышке два мужика в овчинных шапках, в заплатанных полушубках. Странник чинит сапог, продирает зубами дратву. Ни одного солдата, словно их и не было здесь. Видны за станцией домишки городка, побуревшие верхушки садов. Летают грачи над ними. Серовато, сонно. А где же тот чудный дом, что горел окнами в черноте? Смотришь, – и нет его. Где же? Или это все сон?

Выхожу на площадку за станцией. Грязь какая! Да где же дом-то? Пустырь, далеко впереди – домишки. Там ведь где-то тот дом, тот храм-клуб... Есть какой-то кирпичный дом, влево, – не то фабрика, не то доходный, московский. Но это близко, а тот дом был так далеко, мы

так долго бежали во тьме к нему по ямам и рвам, по кучам, через заборы, через прудки... так, как солдаты ходят. Так все изменилось днем. Вон бараки. Солдаты сушат рубахи. Солдаты – на луговинке, в кучах. Солдаты несут обед в котелках. Я иду по доскам тротуара, положенным над канавами. Пустынно. Вывеска странная: «Кофейня с ваннами»! Дальше – меблированные комнаты... Клопова! Удивительно. Сколько раз встречал я в глухих городках уездных эти ржавые вывески с рыжими буквами, одни и те же, – словно переносил их кто-то из городка в городок. И почему-то всегда – или Клопова, или Колпакова. Улицы – перины засыхающей вязкой грязи, с дырками лошадиных ног. С давних пор привезенный кем-то мостовой камень уже давно медленно поглощается трясинной, гибнет. Его долго-долго будут выковыривать, добывать из этой «породы», опять сложат в кучи, и опять он потонет. Вон и дрожки извозчичьи тонут на углу, где «биржа» – по ступицы увязли. И лошадки увязли по брюхо. И спят извозчики в шапках-стогах. Сон... Заколдованный городок.

Двигается старенький отставной чиновник, давний, лет пятьдесят, как в отставке. Может быть, какой-нибудь Растаковский. Остановился на уголке, поднял широченный козырек широченного картуза с кокардой, вынул красный платок, нюхает из жестяной коробочки, рыбной, с выдавленным осетром на крышке. На него смотрит лиловая тощая собака из канавы.

– Скажите... где здесь большой дом, с электричеством, где чудесно поют молодые солдаты... а зала – в два света?

Старик подозрительно долго глядит на меня, жует синеватым подбородком. Переминается в валяных ботиках.

– Не могу сказать... Поют солдаты?.. С электричеством? Не могу сказать...

И отходит бочком, подальше. И оглядывается, – я это чувствую.

Он не знает, что здесь есть чудесная, великолепная зала в два света! Да есть ли?

Из вспухшего от грязи переулка вычмокивают четыре всадника... Что это?! С какой греческой вазы соскочили эти четыре скифа на пузатых, коротконогих, большеголовых лошадках цвета слабо паленой тряпки? На шершавых лошадках, выщелкивающих пробки грязи выше заборов. Да это – вятки-лошадки. А эти коренастые, низкорослые всадники-скифы, с бороденками красной меди, с веревками-кнутьями,

в лохматых овчинных шапках, в звериных полушубках, скуластые... не вотяки ли? Они остановились на утолку. Пусто вокруг, только они одни.

А вот и пожарная каланча, страшно большая, страшно книзу широкая, сизая, с красной подкраской. Пожарный облокотился и плюет вниз задумчиво. Долго плюет. И какие странные домики, давние, с занавесочками, с бутылочками в уголках окошек, с зацветающими гераньками. Где-нибудь тут и человек с алебардой. У какого-нибудь каменного желтого подъезда и Свистунов, и Пуговицын, в сапогах с раструбом, где-нибудь уж и Держиморда... А вон там, где старые деревья и дом с рыжей крышей, в синих заплатках, еще проживает Антон Антоныч, Вон уж Анна Андреевна выставила голову в бумажных папильотках, глядит на пустую улицу, а это ее Авдотья бежит, босая, с запиской, погибая в грязи Ну, конечно, в номерах Клопова все еще, пожалуй, пребывает «молодой человек, лет 23-х», а два коротеньких человечка кушают семгу. Вон на уголке поставил Антон Антоныч, не памятник, правда, и не что еще, а щит для никому не нужных афиш, и сюда уже натаскали граждане всякой дряни Лежит ржавое ведро, торчит из грязи в канаве костяк собаки. Записка... «Граждане и товарищи!» Новое... Группа сознательных служащих торговых заведений города приглашает «организоваться в этот великий момент, когда Россия ищет новых путей».

Нет, это уже не гоголевский городок, это – новый. И не сон был ночью. Есть где-то здесь чудесная двухсветная зала и молодые солдаты, которые так славно чувствуют. Я иду мимо старых лабазов, с прожаренными солнцем коричневыми стенами, с мосточками, на которых десятками спят собаки Смотрю на белый собор, на речку, на старушку, бережно вкушающую просвиру, на двух пышных, как рассидевшиеся наседки, горожанок, показывающих толстые ноги в палевых чулках, пробираясь по камушкам через грязь площади. Забираюсь в глухие переулки. Ищу новое и хочу видеть старое. Длинный забор с колонками поверху. Старый огромный сад. Старый дом, серый, с набитыми медальонами серого шелка. И вдруг из ворот выбегает девчушка, лет шестнадцати, легкая, тоненькая, в вязаном голубом платочке на тонких плечах, с черной косой, с лицом нежным и тонким Выбежала, остановилась вдруг, поглядела направо – пусто, налево – тоже. И замерла, стоит... Глядит в небо. Милое,

одухотворенное лицо... Вся – порыв, внезапно застывший на какой-то мысли. Куда побежать, куда? В синее небо улететь, откуда все видно?

Я тихо иду, заглядываю в глаза. Милые глаза, юные. В небо лети, милая девушка, оттуда все видно! И уходит она со мной, в моем воспоминании. А я все хожу и отыскиваю *от* дом. И не могу найти. Неужели же это тот красный, у станции'?

Вечером мы уходим. Опять солдаты. Пожилой прапорщик ведет взвод, почетный караул. Машинист гудит долго-долго, тревожно, словно поезд в опасности. Это он собирает город. Начинают просыпаться, двигаться, подходить. Мы его весь видим. Даже и давешний старичок тут, в теплых ботиках, с красным платком. И Анна Андреевна, и молодой человек «недурной наружности», и многие. И гимназистка с черной косой. Она почему-то все складывает ладошки у шеи и глядит вдумчиво. Гремит оркестр. Грачи разлетались к вечеру, гремят. Поезд отходит в гуле. Прапорщик отдает команду, солдаты берут на караул! Поют «Марсельезу», треплются флаги. Я всматриваюсь в недалекий дом на пустыре и все еще спрашиваю себя: сон это был?

И сон, и явь. Явь, рождающаяся из сна.

(Русские ведомости. 1917. 30 апр (13 мая). № 96. С. 3; 7 мая (20 мая). № 102. С. 3)

Суд Соломона

(Чего ждет земля)

I

Под городом – заливные луга, на десятки верст – пойма. Чудесное сено, окское. Такие луга, что триста пудов с десятины – не диво. Торчат по лугам столбушки, идут кой-где канавы – указывают границы. Много всяких владельцев на этой пойме: и барин Трегубов, и господин Скрипицын, и монастырь, два даже; и слобожане подмонастырные, и слобожане с горы, и городские мещане, и купец Косарев, и фабрикант просто, – Иван Арефьич, – и фабрикант – Товарищество; и городские, и подгородные церкви. Много споров видали эти луга. Много и драк кровавых бывало из-за каких-то «мысков», «островков» и «ям». Бывали и убийства: с косами народ, а в былое время и водка поддавала жару. Разве его, черта, заметишь, столбушек, когда зелено в глазах от травы и водки! А рука разошлась...

В мае луга «заказаны»: проезд воспрещен, дороги перерыты канавами, торчат местами еловые вешки – заказ! В дощатую хибарку, за мостиком, перебирается из слободки сторож, Семен Николаич, прозвищем – Вострый, или, как он почетно именуется себя, – смотритель лугов. Лет ему семьдесят, он сухощав, высок, темен и сух лицом, взглядом строгий: поверх железных очков пронзительно-востро поглядывают глаза. Потому и зовется – Вострый. А, пожалуй, и потому, что обрежешься об него: на все ответит, все знает: даже какие на небе звезды. Самоучка, умный старик. Много, хоть и без разбору, читал и может наизусть говорить стихи. Особенно почитает Некрасова и Льва Толстого.

Прошлым летом мы беседовали с ним подолгу: приятный, умный старик. Любит крепко Россию, любит и вообще – человечество. Везде трудовой народ, одни и те же трудовые боли: француз ли, немец ли – все одно. И потому войну переживал с болью:

– За немцев досадно! Механики, должны бы иметь понятие трудовое, даже первые в мире социал-демократы, – Вострый про это хорошо знает, – и могли допустить такую дикость! Значит, нет еще у них трудового понятия в высшем масштабе!

Вострый любит говорить примером и образно:

– Читал я вчера господина Вольтера, французского мудреца! И какая правда сказана в его сочинениях даже больше ста лет! Ворона вон полетела – и та живет на свободе, дышит воздухом! Какое же это счастье Господь дарует – дышать свободой полей! А человек жаждет угнетать и не понимает красоты свободы, когда каждый имеет право дышать! И выходит – ворона счастливей человека. Один император говорит сыну Семена Николаича: «немца коли!» Другой император говорит сыну немецкого Семена Николаича: «Русского коли!» Нет, не могу понять!

И, бывало, часто изображал, как люди пакостят свою жизнь злобой и жадностью, когда можно бы, пораскинув дружно мозгами, устроить на всей земле чудесный сад-рай – для всех. А изобразив, как чудесно будут жить люди лет через двести, когда поумнеют, грустно заканчивал стихом поэта Державина, – изменяя его нарочно:

– А теперь в виду нашей глупости и подлости, что мы видим? А видим вот что, как написал господин Державин:

«Где стол был яств – там... гроб..! стоит!»

II

И в эту весну въехал Вострый на сторожевой пост свой и водрузил красный флажок над своей хибаркой Бывало, такой флажок вывешивался на вешке, у въезда в луга, когда начинался покос, и означал – ход свободен! И урядник, и даже огнеглазый исправник, ездивший на дрожках купаться, – не воспрещали. Теперь флажок играет и в неурочное время – да здравствует демократическая Республика! Бывало, писал Вострый на дощечке черными буквами на шесте у хибарки: «Проезд по лугам воспрещен! Смотритель лугов С. Н. Кубарев». Теперь на жестяной вывеске красной краской выписано крупно: «Проезд на луга строго воспрещен

Исполнительным Комитетом! Граждане, щадите общественное добро! Смотритель лугов и гражданин Кубарев».

Как и в былое время, к Вострому собираются по вечерам слобожане, и происходит митинг-беседа Вострый толкует про государство, как его понимать надлежит, – историю он знает недурно, особенно любит рассказывать, как боролся английский народ за права-вольности, – и особенно о правах на землю. Он всегда был за то, чтобы – «земля трудовому народу», но враг нахрапа:

– Нахрапом только изгадишь святое дело. Все друг дружке плотки перервут – и не будет толку. Нужен новый и верный закон-правда, твердый закон. Государство что есть? Государство все равно что телега. Все в ней в исправности – смело садись, увезет хоть десяток! А ежели каждый по колесу утащит, а то и оглобли повывернут да лошадь сдохла, – ни телеги, ни... удовольствия. А оглоблями-то по башке друг дружку. И голов не соберешь. А с государством... куда сложнее! Это такая теле-жища... сто семьдесят пять с половиной миллионов свободных граждан в новую, счастливую жизнь должна привезти! Да не растерять! Да в такую жизнь, где бы никто не удручал никого, не давил личность всякого, самого слабенького человечка, уважал, как подобие Божие! Где бы все друг дружке руки жали, как братья равные! Ведь тогда какой праздник-то будет! Так для этого-то как аккуратно телегу смазывать надо, а? лошадь кормить! Тут думать и думать надо.

Вострый теперь особенно вдумчиво глядит на луга: ба-альиое дело, строгое. Может такое быть, что и сена не соберут. Друг дружку будут караулить. Много было хозяев, а теперь на каждую десятину по десятку.

– Это почему же?

– Почему? А потому, что мы прав не знаем, а владеть желаем! А правда-то истина одна! Ведь двух-то правд уж никак быть не должно? Ведь верно? Вот и по лугам этим да и по всей земле. Значит, надо найти и всем показать правду. А от правды обиды быть никакой не может. Так ее утвердить, правду, чтобы уж никто не смог ее опровергнуть. И, значит, что? Значит, надо ее установить Травка вот подрастет – кому травка? А покуда правда не установлена, как я должен смотреть? Никому травить не позволю! Убейте меня сперва, а там что хотите-воротите.

– Кому же травка-то?

Вострый любовно оглядывает луга, еще черно-зеленые, еще только-только прокалывающие зеленую иглу свою через осевший после разлива ил. Господи, ширь-даль какая! Оглядывает и слободу, и монастыри: там, на горе, желтый, тут, за спиной, – белый. Оглядывает и кутающийся в сумерки город, и почерневшие фабричные трубы. И видится по его задумавшемуся лику, что прикидывает он одно и одно: какая же сила владельцев с правами на луга эти, владельцев новых и давних, с колышками и канавами-границами. Прикидывает и права-бумаги с печатями, синие и белые листы купчих крепостей и записей всяких, дарственных и наследственных. Да, много всего. Глядит и почесывает за ухом. Что же, теперь и всем «крепостям» крышка? А на их место какие же документы будут и кто их установит и для кого?

III

– Намедни пришел ко мне слободской, Федор Рыжий. Говорит – так порешим, чтобы от монастыря к нам луга беспрременно. Ладно: к нам – так к нам. А тут из-под Зато-нова идут мужики на фабрику, на смену. Стали курить у моей хоромы, послушали наш разговор. Послушали да и говорят: «наши это луга беспрременно будут, возьмем от монастыря в свое владение по гроб вечности!» Спор. Почему? – какие такие ваши права-документы-крепости? Федору-то Рыжему жалко, значит, лугов: семь десятин – тыщи! Сейчас права-законы потребовал. «Какими правами можете доискаться? Раз теперь у нас жизнь вся на новую колодку, и, может, теперь и совсем никаких правое нет, а все похерено на новые права для всего трудящегося народа?!» А те его и зацепили: «А раз, говорят, теперь никаких правое – и мы можем! Но только у нас права особенные». – «Какие такие, особенные?!» – «А такие, говорят, наши права, что старики знают. Наш бывший барин-помещик Затонов, эти самые луга монастырю за спасение души отказал, вечное поминанье, а то бы они нам пошли. В старых книгах записан помин души помещика Затонова за семь десятин! Наш поп все указать может. Укажу, говорит, только вы, братцы, причту де-сятинку уделите по-братски, – я, говорит, и за вас буду молиться, и помещика помяну когда, – вам греха не будет, что

помин души прекратите». – И спрашивают опять Рыжего: «А вы почему можете за луга хвататься, по каким законам?» – Ну, Рыжий тоже свою правду из сапога тащит, на бумажке уж у него выписано чего-то. Говорит: «У нас старая старина записана, старей вашей! в 1817 годе! Была тогда слобода наша под монастырем, отхватил тогда монастырь у нас сады-огороды, двенадцать десятин, а взамен этого – на-ка, выкуси! Пусть лугами и платит!» Мужики-то и ухватились, – стой! Врешь, говорят, раз у вас сады-огороды отхватил монастырь – сады-огороды и получай обратно.

– Как так? Ишь, вы! Сады-огороды... а процент нам, а? За сто лет какой нам выходит процент? Сто, может, тыщ.! – Ну, мужики расстроились. «А мы-то как же? Барин, черти его задери, душу свою спасать захотел, нас ограбил, – а мы и не можем? Мы своих ходочков пошлем, пушай нам там, в Питере, всю правду провлекут!» – Споров было!

– Как же порешили?

– Расстроились, боле ничего. А вот как начнет травка подрастать – разго-вор будет... не дай Бог. Ежели единую правду не постигнут.

– А какая же единая правда?

И опять не ответил Вострый, но по старым его глазам было видно, что знает он свою единую правду. Опять начал:

– Погоди-ка, послушай еще штуку веселую. Намедни опять проходит тут поп Тресвятский, подгородный. Ряску подобрал, сигает через канаву ко мне. Никогда и не захаживал к моей хоромине рань такую. То-се, пято-десято, – поговорили. «Лужки поглядеть, батюшка?» – «Лужки. Погодка теплая, прогуливаюсь. Хорошо нонче заливало, Господь даст – с сенцом будем». – Поздравил я его со свободой жизни. Ничего будто, только все по лугам глазами и шарит. «Ну, как, спрашивает, народ чего толкует про землю?» – Ну, выложил ему все, что, мол, за монастырскими-то лугами во сто рук тянутся. Как дернет шляпой! «Ну, говорит, сам царь Соломон Премудрый не разберет!» – Запустил руку в карман до сапога и вытаскивает бумаги – целый ворох. «Вот, говорит, как меня овцы мои любят, все мне в любви объясняются. Третий день покою ночного нет». – И давай читать!

– Первое прошение получил я от твоих слободских, здешних. Вот что пишут: «Передайте-ка, батюшка, церковные луга нам, потому они

с нашими рядышком, межа в межу, а ваша церковь за десять верст отсюда. К нам луга тянут, четыре ваши десятинки».

– Это одно дело. – Разворачивает другую бумажку, – от сельчан села Тресвятского, от прихожан его, стало быть, подгородных. Читает: «Нам, обязательно, передавайте ваши луга, потому мы чада вашей церкви и ваши прихожане. Мы, говорят, вас поим-кормим за ваши требы, и церковь только нами и держится: по народному праву-закону нам надлежит косить». – А луга-то те, четыре десятинки, купец Простухин церкви отписал, причту, ради духовника отца Павла-покойника, в шестьдесят пятом годе! Ладно. Вынимает третью бумагу. Оказывается, – городские мещане требуют им отдать. Никакого резону, а просто – им и им отдай! Ну, к тому натягивают, что Простухин раньше мещанин был, ихнего общества. Значит, и выходит, что они вроде как его наследники. Ладно. И выкладывает еще, четвертую бумагу, письмо-конверт, заказное. А это ему ломовой подрядчик, Василь Василич Волков все резоны прив'ел и тоже на луга упирает: «Я, говорит, держу в такое трудное для России время восемьдесят лошадей и все продовольствие для города со станции доставляю и на оборону работаю». – Это первое. – «А потом, говорит, я у вас, глибокоуважаемый пастырь, двенадцать лет эти луга арендовал и деньги всегда исправно платил. И переплатил я вам таким манером...» Тут и подсчитал рублей на пятьсот. – «Потому, говорит, по новому закону должны признать, что арендатору первое право без суда, без спору. Иначе, говорит, – поставленный в критическое положение без сена с моими восьмьюдесятью лошадьми, я буду ликвидироваться и дело прикрою, и тогда сами доставляйте продовольствие, как можете». Вот так загнул! Перечитал мне поп все эти послания и говорит: «Завтра, говорит, от себя пятое напишу, изложу все права церковные, – даже и пункт и закон назвал, решение Синода там или Сената, на бумажке у него уж выписано, – и пошлю всю эту канитель в Исполнительный Комитет: пусть там все права разбирают». – И пошел, шляпой помахивает. Видал? А поповы-то луга – слеза одна, четыре десятинки. А других-то владельцев – сотня, да на каждого-то так вот по пяти прав ежели, – чего может быть?! Так ведь тут суд самого царя Соломона нужен!

– Ну, какой же выход-то придумать? Соломон-то что бы сказал, а?

Вострый долго думает, пожевывает губами и востро-пронзительно смотрит поверх железных очков.

– Суд какой? А вот ежели бы призвать сюда Соломона Премудрого, да поводить бы его по лугам нашим, да все бы ему документы показать, – цельная гора их! – да все бы разговоры послушал, – знаешь, чего бы сказал? А вот чего. Ежели так все будет, и каждый... по своим правам-неправам потянется, – никому трава не достанется! все затопчут!

– Ну, это и так понятно. А как надо-то?

Вострый выпрямился, еще ниже, на самый кончик облупившегося бурого носа спустил очки, глаза уставил строго-строго, пронзительно и властно, как сам царь Соломон, махнул рукой на луга.

– Вот что Соломон присудил бы, и я это твердей твердого знаю. Пускай травы растут-цветут на пользу народа-государства и ни одна нога чтобы не мяла, ни одна коса нахрапом не закосила! Пускай до поры до время прежний владелец косит, пока... – тут Вострый строго погрозил пальцем. – Пока Великое Всенародное Собрание, которое Учредительное, не разберет все дело земельное! Пока не установит законопавного, по мудрому и общему согласию принятого, что с землей делать. К государству ли отойдет вся спорная земля по всей России, а государство будет отдавать ее в аренду по справедливости, кому в ней нужда большая, – это уже по местам будет видно, свои общества решать будут по особым законам. Или к обществам отойдет, по уездам или по волостям там, то ли, приговоры коих... – это уж любезное дело! – пусть обжалывают в суды, кто недоволен. Но чтобы закон, самый крепкий закон! Тогда и вся государственная телега поедет, и головы друг с дружки не посшибают, и добро будет цело. Государственное добро, для всего народа!

И тут помягчело лицо Вострого, заулыбалось, и глаза его стали уже не строгие, а ласковые.

– Господи! – воскликнул он к небу, – сколько терпели! теперь самую малость потерпеть надо. Перед окаянством терпели, когда свету впереди не чуяли, а теперь-то, перед мерцанием счастья да не потерпеть! Господи! До-жил! Сколько прочитал книг всяких и сколько по ним правды узнал! Графа Толстого читал... про Генри Джорджа, американца, знаю хорошо, как он про землю для народа толкует. Господина... как его фамилия-то... забыл! Тоже ученый по народным

делаю... В 906 годе книжка такая была, красень-кая, земельный вопрос, аграр-ный! Сжег я ее тогда со страху, от полиции. Я теперь своим слобожанам прямо говорю: ребята-товарищи! Свету дождались, правда идет! Ужли ж мы ее искорежим, испугаем, правду?! Мы же люди теперь, устроители своего счастья, а дети наши должны и совсем быть в счастья труда свободного и всех прав гражданских! Ужли ж мы испугаем и убьем правду в тот самый час, когда она только рождается, из яичка вылупливается?! По лугам этим доказываю им, как надо. Ну, мыслимое ли дело тут без согласия друг с дружкой, без рассудка решать?! Верного жди права-закона! Свои люди, верные, выбранные от всего народа дело решат для всех. Там их никто подкупить не может. А у всех тут косы, говорю, вострые, плотки широкие! Проплотите вы, говорю, друг дружку, а луга-то, земля-то правды ждет, а не крови! Много ее пролито, поту-слез. Пора с этим делом покончить.

Вострый говорит вдохновенно, словно пророк. Да он и похож на старого пророка. И жизнь долгая, трудовая, и книги, которых он прочел много, и газеты, – он уже лет двенадцать читает газеты, с первой революции читать их начал, – все это оставило в нем след светлый. И этот светлый след, и его крепкая голова помогают ему разбираться в важных вопросах, поставленных жизнью. И кажется, что и сам царь Соломон Премудрый не сказал бы лучше.

(Власть народа 1917. 11 мая. № 12. С. 3)

Разруха ли?

(С дороги)

Странное дело... Читаешь газеты день за днем, – и в каждом листе змея высовывает свое жало. И так было много этих жал за последний месяц, что уже подымалось сомнение: да жива ли жизнь на Руси? «Республики», разгромы, беспорядки по железным дорогам, «отложения» и «восстания», забастовки, – все трещит и лезет по швам... Страхи идут с листов газет, часто облеченные в крупно-черные буквы. И корчится в этих страхах, и рвет последние нервы мирный гражданин российский. С опаской высовывает он нос на улицу. Делая страшное лицо, вопрошает он десяток таких же: «А вы читали? Это черт знает что!» А новый лист наутро снова бьет его по тому же месту. И редко раздастся в его душе, по-заячьи настроенной, трезвый голос:

– А ведь как, на самом-то деле, прекрасно! Как тихо, как деловито на Руси! Ведь во все бы колокола звонить надо! Ведь праздник, величайший праздник настал, и как мало звона! Как поразительно тих народ! Как он буднично трезв! А какое завоевал себе счастье!

Да, этот трезвый голос не то еще сказать должен. Он должен бы сказать:

– Народ воистину достоин свободы: Он умеет принять ее! И рассмеется на эти слова иной начитавшийся ловко подбираемых «ужасов» читатель. Тихо?! Деловито?! Это когда люди часами, днями, разинув рты, слушают и болтаются по митингам, когда забастовки и забастовки, когда... и так далее.

Да, тихо. Только прикинуть бескрайность Руси. И насчитаешь десяток-другой местечек, где было не совсем тихо. Только подсчитать – вспомнить «тишину» прежних лет! И встанут проклятые призраки проклятых погромов: и Кишинев, и Баку, и Гомель, и еще, еще. А разгромы малой революции! Пусть вспомнит обыватель. А тысячи удушенных, расстрелянных, в каторге замученных людей?! Да, тогда

было тихо. Тогда об этом писалось мало. А десятки, если не сотни тысяч, с голоду умиравших крестьян, право помочь которым надо было добывать чуть ли не через урядника и все выше. Пусть все вспомнят. А карательные экспедиции? А ежечасное хватание за ворот? А сотня миллионов, отданная в кулаки участку? А негласные избиения и пытки! Да, было тихо. А миллионы рабочих и служащих, «малого брата», который не смел пикнуть, который летел с места и обрекал на голод семью по прихоти, подлости и самовластии начальства! Да, было тихо. Голоса, полного человеческого голоса тогда никто не слышал. Теперь человек говорит полным голосом, – и вот пошумнее стало. И многим уже начинает слышаться – набат и тревога. Уже начинают грезиться «рабы возмутившиеся», когда и всего-то шума, что люди и стали говорить громче. Да ведь такое случилось, что надо бы голову потерять, на головах ходить бы от радости, опьянеть до потери рассудка. Свести миллион несведенных счетов. И народ – раб так бы и поступил. Но народ наш не раб и он не мог так поступить и теперь уже не поступит, как бы его ни вызывали те тайные враги, кто питает еще надежду сделать его рабом. Народ хорошо знает, что не подачка, не хороший «на чай» его свобода, от чего можно бы походить и на голове. Нет, он глубиной своей чувствует, что свобода – это его стихия, как воздух, как жизнь. И потому он спокойно серьезен, как закончивший работу на своем поле пахарь. Надо сберечь поле И отсюда понятная тревога за урожай. Он знает, что эта свобода – величайшее из богатств. И он сумеет его сохранить и он знает, как его сохранять надо.

Вот проехал я более тысячи верст. И что же я видел?! Видел я труд и труд; труд и порядок Поля... Они живут, они уже золотисто колосятся всюду. Первые свободные поля. Их оплодотворила Святая Революция. Это святой хлеб свободной Руси. Когда очаги бурлили и иные решали вопрос, жива ли еще Россия, она спокойно-твердо кидала семена в новую землю. А ломалось, заново шилась вся Россия! Чудо? Нет, это просто сеялась трезвая, мудрая крестьянская Русь, которую ни удивить, ни обрадовать до безумия, ни оглушить до беспамятства ничто и никто не в силах. Вот они, поля! Уже начались покосы. Уже стоят стога.

А скоро выскочат рядками крестцы, важно и сытно плянут по задворьям скирды. Мало народу в полях. Но есть чародей какой-то,

который все успевает сделать. Это тот мужик, которого иные считали лентяем и пьяницей, которым кормились, слишком мало ему давая, и который прокормил Русь, требуя должного. Поклонитесь же этим святым полям и вы, пугающиеся шумов. Они тихи и святы.

Что же я еще видел? Бегут поезда и днем, и ночью. Без останова, о котором пугливо шепчутся. Да, бегут, – и не воскрес призрак забастовки. Не чудо ли? Нет, и это не чудо. Ибо миллион – железнодорожник не так уж наивен и не так глуп и не так незрел политически, как казалось иным пугливым. Да, он не из теста «рабов возмутившихся» сделан. Он один из первых протянул руку к свободе и знает, как надо ее беречь. Он совершает подвиг воистину, он, может быть, даже недоедает. Он терпит. И в этом святом терпении величайшая зрелость воли и мысли. И да поклонятся все пугающиеся шумов засаленным рубашкам и мокрым от поту обнаженным рукам. Это – святое.

Сотни вагонов с углем... О, под этими волнующимися полями не остывая идет работа. В эти дни Великого праздника, когда хочется жадно-жадно дышать всей грудью, – огромная армия на черной и страшной глубине делает свое, опять повторю – святое дело. Бросили и ушли? О, эти черные люди отлично знают, как надо охранить белоснежные одежды Свободы. Требуют слишком много? А сколько они заплатили и все платят и сколько заплатят еще! Да, они, быть может, не знают двойной и тройной бухгалтерии, они так много давали, так мало всегда имели, что их – «требуем»! – не могло не зазвучать так громко. Но они хорошо знают, что без их нечеловеческого труда гибель жизни, что придет теперь *настоящая бухгалтерия*, – и сурово покорно стоят на своих постах.

Эта тысяча верст пути может научить многому, – и самое главное, покажет истинный лик России. Этот лик спокоен, сурово тих, деловито вдумчив. Сознателен так, так чуток к рождающейся в муках жизни, что забыл улыбки.

Солдаты... Их теперь уже не так много. Ни разгула, ни бесшабашества. Едут туда, сюда. Едут законно. С готовностью показывают документы патрулям. С первого слова подчиняются станционной страже. В их среде не слышишь спора за места. Они охотно его дают. В крупнейших узловых пунктах порядок, кажется, больший, чем в былое время. Какой тут разгул, когда не улыбаются

лица! Война... Ее тяжелая печать чувствуется на всем. Но эта печать не в силах заставить опустить руки. Руки работают. И как же они будут работать, когда эта печать спадет! Свободный народ тогда в полной мере поймет и докажет, что свободный труд, дающий по-человечески жить, труд на себя и на своем поле – для общего грядущего счастья – не есть проклятие. Давящую петлю с труда – бесправие – он уже сорвал. Остается сорвать проклятие, наложенное на труд войной – разрушение и бессцельность. Этого ждать недолго.

И вот еду и еду, и все смотрю – где же она, разруха, анархия? Ее нет в народе. Народ хочет жить, знает, что порядок и труд необходимы, как воздух. Но знает также, что не уживешь в гнилом воздухе. И если и «шумит» где, значит, чует, что валяется где-то гниль. И требует, чтобы этой гнили не было.

1 июня 1917 г

(Власть народа 1917. 25 июня № 50. С 3)

Пятна

I. «Обобществление»

Шли они, все четверо, уже вторые сутки из-под Тарусы с тревожно-заманивающими думами, – да верно ли? Погода была теплая, в солнце, жаворонки различно журчали над поймой, над зеленеющими полями, веселили душу. И нетвердая надежда укреплялась: может, и верно! В сквозном, еще только разбивающем почку березняке, с непросочившимися бурыми лужами, стало посумрачней, лапти подмокли, и на душе стало не то чтобы скучно, а сомнительно как-то. Да повстречайся в разбитом, грязью заляпанном шарабане поп, отворотился, будто правое колесо оглядывал. Но они окликнули:

– В городе-то как, батюшка?

Батюшка дернулся, подергал шляпу, остановил лошадку и заторопился:

– А Господь знает... не могу ничего сказать. А вы, значит, на работку? Дело дорое, дорое... работка нужна, нужна... С Господом...

И погнал, нахлестывая. Они поглядели вслед.

– Ишь его дернуло! – сказал один, русский, кряжистый, бородатый. – Пужливый...

То же, должно быть, подумали – не сказали, – и другие. Все они были один в одного, будто братья. Все – русые, крепкие, широкие, – калужские мужики, с румяно-загорелыми лицами, в лаптях, в свежих онучах, в сермягах цвета квасной гущи, с белыми мешками под правым локтем, в синих, третной пестряди, штанах, – самые заправские плотогоны.

– Пужливый... – повторил первый задумчиво.

Пока шли лесом, – не говорили. А как вышли к капустникам, бок о бок с кладбищем, увидели за полем белый город на взгорье, красные трубы фабрик под дымным облачком, – заговорили враз. Присели на просохшем бугру.

– Дымят-канителют... Эх, дело-то не с руки... какая еш-шо работка будет!

– Поглядим, – увидим. Люди работают.

– Перво дело проверку накинём... недолго, может, и поканителют. Сказывал тот, – в канпанию записаться... а там все видать будет, как обощастливают. Сказывал, ежели такие милиёны... чего *ему!* Народу, небось, набегло!..

– Черта, его, послушаешь, да... По разговору-то он будто правду говорит... с чего же ему народ-то омманывать? Говорит, – решили, подписали, штобы всем, которые рабочие и трудящие... Да и бабы покою не дают.

– На плоту-то я – сам король, а... вон они, трубы-то! Народ озорной, городской. Скажут – наше место, чего вам тут?

– Так наймемся... поглядим. Сходно будет, – поживем. По сотне – не меньше запишут. И то ладно. Народу-то нон-че не больно много. Толконись куда хошь. Плотов-то нонче и Шибарков не погнал.

Переговаривались, но уже не было той уверенности и легкости, с которой вышли они из деревни. Сомнение наводило тихо дымившиеся трубы и непривычный город.

– Тут-то протукаем, а там, гляди, выйдет какое прописанье по камитету нащот земли... Бабы-то чего смогут! Каждый день жди, чего выйдет.

– До осени не будет. Камитет не велит, закону годить надо, будто. А тут уж порешено – подписано. Божилси эн-тот... осчастливят всех, которые трудящие. Только бы подписаться поспеть. Как кто подписан в канпании, – дело верное. Всей артели, которая рабочая... как хозяевам отпишут по закону.

– Уж уду-мают! Го-ловы!

– Ломали-ломали, уже когда-нибудь да надо. Тоже *ему* милиёнов-то натаскано горбом-то нашим! Теперь все удума-ли-раздознали, в газете пишут. Энтот и газету показывал. Корусть ему какая зря-то молоть?

– Говорил, – заплакал! Жисть-то тоже чижолая ихняя. По каторгам гоняли, в остроге сидел сколько! Глядеть на его жалости. Тошший...

И все они ярко представили себе того незнакомого человека, не то барина, – в шляпе был и в очках, – не то рабочего человека: в синей рубахе был, в ремне, в пальтишке, – что говорил на сходе.

– За народ старался. Мы, – говорит, – головы за народ клали! Верно, теперь все видать. И землю, и фабрики! Чтобы осчастливить.

И пошли в город. Шли поселком, мимо одинаковых домиков, в два окошка, с садиками в два-три шага, с цветочками, с пестрыми заплатками занавесок в окошках, с ребятишками у канав, в грязи.

– Ишь ты, один в один! Чисто их Господь накарсил, десятки! Как подогнали-то знаменито! – сказал один, мотая головой к домикам. – По солдатскому манеру.

И по той стороне были такие же домики, и в проездах, – туда и сюда, – такие же. Словно их и вправду Господь накарсил, как васильки – синенькие, как куриная слепота – желтенькие.

– Может, и казенные какие... для солдат тоже строят, а то для этих... для беженков...

Грязь в улице была непролазная – жидель-глина. На уголке один из мужиков, помоложе, приладил к глазу ладонь и прочитал на крошечной железной вывеске:

– «Шу-рикова седьмая». Шу-рикова! И фабрики *его*... Шурикова. Стало быть, все *его*!

И еще подошел проезд, и такая же вывеска. И на ней тоже было написано: «Шурикова шестая». И еще – пятая, четвертая, третья...

– Все *его*!!

– Цельный город! Во-от!

– Энтот-то так и сказывал. И все фабрики, и все земли... Какие милиёны! А народу-то не видать...

На уголке, у лавки с большой вывеской, на которой тот же грамотный прочитал по складам: «Потреби-ловская лавка... 5... Шуриковского Товарищества», – встретили они женщину с ребенком и спросили, чьи такие домики, кто живет.

– Все знать вам надо... – сказала, посмеиваясь, женщина. – А фабричный поселок наш... рабочие шуриковские живут. А что?

Но они не сказали, что им на самом деле хотелось знать. Только грамотный потрогал шапку и сказал, словно прятал мысли:

– Так... глядим. Все одинакие...

– Ишь какие вы... образованные! – опять усмехнулась женщина, оглядывая сермяги и лапти. – Сами-то одинакие Пальгаи!

Это было насмешливое, немного, пожалуй, и обидное слово-прозвище – пальгаи. Бросают его неуклюжим плотогонам-калужанам.

И потому все немного обиделись, а грамотный и ответил:

– Фабришные да скотина – по гудку ходют, травку рвут, плотку дерут. А мы вас кормим! Вот тебе и... пальгай!

– Пальгай и есть! – сказала женщина и засмеялась. – Экие образованные! Робят, что ль, в мешках-то несете, портки трясете? По белу капустку к нам?

Посмотрела усмешливо, показала белые зубы и пошла. А мужики нахмурились.

– Ишь, чертовка какая, зубастая... Они все такие, озорные...

Эта встреча приостановила их ход. Они потоптались на уголку, у лавки. И когда они так стояли, словно раздумывая – не зайти ли, – через дорогу шел на них человек в выгоревшем, жестком от давнего глянца, драповом когда-то, пальтишке, с оборванными карманами. С разлету прыгал-шагал он по кирпичам, утонувшим в грязи, в опорке и в рваной калоше на босу ногу, без картуза. Он перемахнул через канаву, потерял опорок и выругался. Они посторонились, приглядываясь к желтому, испитому лицу в ямках и косточках, в черных кусточках на подбородке и скулях, – к острому до боли и злости лицу.

– Расставились на дороге!.. – сказал человек в сердцах и шмыгнул в лавку, но на порожке задержался. – Дяди Грыши!?

Это почему-то особенно зацепило: «Дяди Грыши»! Было и это прозвище, тоже обидно-насмешливое.

– Видал? – сказал грамотный. – Табак я и сам курить умею... – и пошел в лавку.

– Будя тебе, Степан... – остановил было один из троих. – Спешить время...

И вошли все трое.

В лавке приятно пахло мятными пряниками, хоть их и не видно было. Да и пустовато было по полкам. Лежали белые хлебы, селедки в бочке, орехи в стеклянных банках, горка зеленого лука в корешках-ниточках, и много висело на стенках пестрых плакатов с барынями, пьющими что-то из чашечек с клубящимися дымками, с толстыми ребятишками, засовывающими в пухлые рты печенье, с турками, потягивающими через трубочки из бутылок, с приплясывающими тонконогими господами, в стеклышках у глаза, раскуривающими папироски. Человек с оборванными карманами рылся в бочонке,

выбирая селедку. Над прилавком читал газетку кривой приказчик, с георгиевской ленточкой-нашивкой.

– Махорка есть? – спросил первый мужик, Степан, пристукивая по прилавку кулаком-кувалдой.

– Сто лет – все нет... – сказал, не отрываясь от газетки, приказчик.

– А что у вас есть-то? – оглядел стены и пустые полки мужик. – Селедки плавают. Бел хлеб давай... тройку!

– Пришлому не даем, покажь марку.

– Мар-ку-у?! – прищелкнул языком мужик. – Марку просит... – усмехнулся он спутникам.

– Дурака-то строить нечего... чай, знаешь...

– Значит, не есть нам твою хлеба. Свою найдем. У нас лепёх полон мешок.

– Чего ж охальничаешь-то? – вскрикнул нежданно все еще рывшийся в бочонке. – Лепешники! По погребам хороните... граждане!

– А ты не серчай, милаш... не серчай. Мы твою не просим. Чего с тебя взять? Карманы сыпятся. Пару селедок не уложишь... дброги ноньча.

– Степан, время итить... – потянули мужики в голос. – А вот ты, милый человек, растолкуй нам... – обратился один, самый старший, с сединой, к человеку в пальтишке. – Фабрики Шурикова знаешь?

– Ну, знаешь!

– На работу берут или как? Почем рядют? Тут и приказчик поднялся от газетки и оглядел.

– С лепешек-то своих да на... фа-брику?! – сказал он, высверливая бойким, горячим глазом-глазком.

И тощий человек уставился, поматывая селедкой.

– Да уж такое дело, милаш... где пощастливить... Чай, все люди...

– Не слышать, чтобы нанимали... – посверлил глазом приказчик. – Слышать у нас.

– А чего слышать-то?

– Слышать у нас, что три дни работаем, три дни так...

– Та-ак... Стало быть, гуляете по вольному делу...

Тут тощий человек щелкнул селедкой по прилавку, брызнуло даже из селедочной головы на газетку, и сказал, словно скрипнул:

– Да вы чего? Чего дураков-то крутите! С неба, что ли, свалились?

– Чего там... знамо, укрываетесь... Бона што! – погрозил пальцем мужик на Степана. – Видать! Дошло до сердца, так...

– Знаю я вас, господа синаторы... – сказал приказчик. – Ловить рыбку на плотках-то ваших. Не прикидывайся молоденцем, не отхватишь, толсто!

– Ишь, ишь! – опять погрозил мужик. – А я разя отхватить чего от тебя желаю? Я по совести, как прикажут. Ежели будет обобществление... писано по новому закону, чтобы по правде, кто рабочий, трудящий...

– Грамоту знаешь? – сказал, наконец, Степан, которому уже надоела неопределенность. – По всем деревням объявляют, ездют. Будет всем обобществление. И всю землю, и фабрики-заводы... А вы здешние, калуцкие. Желаем пристать.

Тут и приказчик, и человек в пальтишке так и прыснули.

– А чего? – недоверчиво сказал старший. – Смех смехом, а... этого дела укрывать не годится. И к нам люди дознают. И про землю тоже. Все, сказывал вон, и землю получать могут... ну, хоть и тебе могут предоставить, останется чего. А у его вон полон город... какие миллионы!.. Нам, милый человек, мы не жадные...

– Стало быть, за фабриками за нашими прикатили? – спросил ехидно, усмешливо человек с селедкой. – То паль-гай-пальгай, а то., на вот! Наши ведь фабрики-то! Мы на них работаем! Вот так гу-си!

Тут уж стало совсем обидно.

– А ты не закрывай, не закрывай... – сказал с сердцем старший. – Не дурей вас. Знаем. Да нам, ежели тебе правду говорить, и не с руки ваше дело пылить. А вот... ежели дадут хоть по сотняге на брата, мы и домой, ко дворам. Нам с земелькой-то куда способней. А только вот свово тоже упускать не годится...

– Правда, – сказал приказчик. – Обобщасливиться каждому желательно, и ступайте вы сейчас прямо на фабрику и... – тут он глянул на тощего и поперхнулся. – Там вас и ошастливят.

– Но три сотни требуй! Права доказывай! – совсем отмяк и тощий. – Эх, дядя Грыш!

– Ну, ты не шути, не крестник! – поднял голос Степан. – Думаешь, в городе живешь – все знаешь? А работать где желаем, – там и работаем! Ты вот за сто рублей, может, а я на полсотни пойду! Еще потягаем! Мы и с Оки увидим-услышим. Наши парни тоже кровь проливали да селедок не ели по рупь – цалковый! Надел баретки так думать – я какой! У меня дома сапоги на печке спят-отдыхают. Придет время, приду и в сапогах! А то – пальгай! Идем, робята. С этими говорить – дубовы вицы надоть.

– Ай да Калуга! – сказал приказчик, смеясь.

Уже отошли шагов двадцать, а из лавочки все еще доносился визгливый и скрипучий смех в кашле. На выходе из поселка перед зеленым лужком с учившимися солдатами мужики остановились. Дымили слабо белым дымком фабричные корпуса, уходя под горку, – дымили на окраине города.

– Ишь, черти! – сказал Степан, – А дознать надо. Там поглядим.

– Пошли на работу, так надо дойти... Наймемся, коли сходно. А то и по дворам, пока что... Дасть по сотне, – и... домой пойдем.

– И энтот-то наказывал... сомущать будут, – не верьте! Тоже каждому хочется. Фабришные... вот и отводят. Нет, мы это дело разберем.

– Чего там! Ишь у *ево* сколько? Кругом все его!

Тут самый тихий мужик, который все молчал, снял шапку, помолился на церковные главки городского монастыря и сказал вразумительно:

– Как бы чего не вышло... Нужды-то такой нету... толко-немся, будто работы не будет ли, да и ко двору. И по лесу работы много.

И они пошли к фабрикам, но уже не тем ровным и покойным ходом, каким шли полями и поймой. Здесь уже не журчали жаворонки. Курились черноголовые трубы, и от белых дымков над черными головами шло неверное что-то, смутное.

– Может, чего поверней узнаем... Всякого слуху много.

(Русские ведомости. 1917. 21 мая (3 июня). № 113. С. 4)

II. Веселый разговор

Было это на перегоне между Рязанью и Ряжском. Явился «огонь и полымь», – как окрестил один из мужиков-пассажиров подсевшего господина в шляпе, – и все время неустанно кричал и доказывал, что надо не с потолка законы писать, а выдирать «из земляной недрь». А с потолка можно такие законы написать, что и во сне не приснится; а если и приснится, так с похмелья разве.

А дело началось со следующего.

Вагон был набит битком, – больше солдатами. В уголке, у двери, осело человек пять мужиков, на подбор степенных. С солдатами они не заговаривали, а поуркивали что-то про себя, будто совещались. И нет-нет да и повышали голос, и тогда доносились слова: «на съезде», «безо всякого выкупа». И опять поуркивали. На остановке втиснулся, выпирая плотно сгрудившихся к двери солдат, человек высокого роста, в кожаной затертой куртке, в суконной шляпе на затылке и в охотничьих сапогах; такой здоровяк, плечистый и большеголовый, что подавшиеся солдаты только поворчали, а один, совсем мальчик, такой рябой, что, как говорится, курочке негде клюнуть, даже воскликнул радостно:

– Вот напугал-то... дядя!

«Дядя» прикинул мужиков, усмотрел в уголку мешок, занимавший место, и властно сказал-крикнул, уже простирая к углу бурую руку-лапу:

– А ну-ка, галантерею-то свою под лавку. Не полати!

Занес ногу через две пары колен, сдернул мешок под лавку и сел тяжело, разминая плечом соседа.

– А ты бы полегше, не на кобылу свою лезешь, – сказал сосед, а прочие поглядели хмуро. – Не прежние времена.

– Верно, гражданин, что не прежние! – воскликнул, покривив запекшиеся губы, пассажир. – Я вчера, брат, с билетом первого класса на буферах сорок верст продрал, а никому про кобылу не говорил. А мне, может, автомобиль бы требовать надо.

– Ишь ты... Автомобиль тебе! Министор какой! – заговорили мужики и стали оглядывать пассажира.

Прикинули бычью, в глину запекшуюся шею, в трещинах и буграх, сидящие, по-казачьи выпущенные усы, соколы – бывают такие – веселые глаза, с усмешливым блеском, твердый, с горбинкой,

нос с беспокойными ноздрями, – и, видимо, остались довольны. Владелец мешка сказал совсем мирно:

– За какие-то дела почет-то тебе?

– А вот за такие! – горячо, с накальцем отозвался пассажир. – У меня работа по земле, пять десятин картошки еще не посажено, а я, как меченый черт, ношусь по округе. Да, черт меня побери, с чего ношусь-то? Ты же засмеешься, дураком назовешь, а ношусь!

– Чудной... – сказал уже совсем довольный мужик и пригласил и других оценить, – ну, не чудной ли!

И опять все прикинули.

– Занятно? Теперь на «барина» поглядеть всякому интересно, как он повертываться начнет. Вот и погляди.

И хоть говорил с накальцем, а соколы, голубоватые глаза посмеивались, и губы посмеивались под усами. Один из мужиков, болезненный, все время закутывавший шею шерстяным шарфом, хотя в вагоне было, как в бане, сказал глухо:

– А чего носишься-то? Ай чего потерял?

– Пока еще не потерял! – воскликнул «чудной», закуривая из серебряного портсигара с золотой монограммой толстую крученку. – А уж собираются землячки с собственной моей земли попереть. Ступай, говорят, Иван Алексеич, к чертовой матери, много тобой довольны. А ведь и впрямь довольны! Я у них с десятков ребят окрестил, школу наладил, кооперацию, а намекают. А сами в продовольственный комитет выбрали. Теперь и ношусь, налаживаю, запасы учитываю, скотину и все прочее. Три недели кручусь. «Попили нашей крови-поту, – говорят, – а все ты более нас знаешь, налаживай!» Это как по-русски назвать? Или хоть чтобы вежливо, по-французски? Француз бы рот разинул. Я вот у тебя сына окрестил, по-братски жили, водку, бывало, пивали...

– Да да... – поддакнули мужики, заинтересовались.

– На стенках, бывало, друг дружку лупили, блины выколачивали, – потряс он кулаком под носом соседа, – а вот пожалуйте! «А придется никак тебе, Иван Алексеич, опростаться, – говорят. – Такой закон положим, чтобы всю землю трудящему народу и без выкупа. А будем тебя содержать по силе-возможности».

– Это они уважают, стало быть... из уважения, – пояснил сосед ласково. – Значит, любят тебя.

– Значит, лю-бят! – раздраженно крикнул пассажир. – Как волк козу!

– Обижаться чего ж... Надо, чтобы народу хорошо было, – рассудительно сказал сосед, беспокойно затеребив пальцами седеющую бородку. – Как порешат... Там тоже головы-то!.. Мысленное ли дело государству такие капиталы платить. Складней без выкупа-то...

– Без выкупа?! Песню-то эту давно слышим. Только как спеть ее?

– Затянем, так споем. Господь поможет...

И все, видимо, согласились: споют. Даже и покивали.

– Ах вы, певчие! – уже весело крикнул «чудной». – А ежели я козлом драть буду?

– Это ты как же... значит, насупротив пойдешь... всему народу?!

Слова «всему народу» сосед произнес так громко, что уже прислушивавшиеся к беседе солдаты придвинулись, и ряд голов всунулся в разговор. Пассажир откинулся к стенке, положил бурые кулаки на измазанные дегтем серые брюки, туго обтянувшие крепкие ноги, и смотрел вызывающе, посмеиваясь в усы.

– Меня, брат, словами не запугаешь: «всему народу». Я сам на земле родился, землей давился. На земле и песню спою. Знаю, чем земля пахнет.

– Знаем и мы, чем пахнет, – сказал мужик и поглядел на ладони в желтоватых мозолях-желваках.

– У меня этой красоты тоже есть, – показал пассажир и свои руки, и все заглянули. – Без выкупа? Ладно. У меня – сто сорок десятин...

– Да-да-да... Сто-о сорок!

– И на каждой пяди ногти мои растут! Это во что прикинешь, а? Да я, черт вас подери, каждую пядь проскреб, промял, протоптал! Я сорок семь лет, как себя помню, как еще только... стал без матери, по коленки в земле увяз! От отца принял шестьдесят десятин, да штаны, да калечь., да вот башкой да этими вот граблями набил еще восемьдесят! Шестерых детей вывел, три сына у меня на войне, один – без ноги. Без выкупа?! А как я свои восемьдесят набил!!!

Мужики молчали. Но тут унтер-офицер, сапер, слушавший все время с усмешкой и даже прищурясь, сказал:

– Значит, была эксплуатация! Называется земельная рента буржуазия!

Сказал он эту фразу очень отчетливо, словно докладывал. Мужики одобрительно подкивнули, а рябой солдатик опять обрадовался и без слов трепанул по плечу другого, ловко?! Пассажир сделал губами пфф! словно отдул, и треснул кулаком по коленке.

– Рен-ту... буржу-а-зию! – сказал он, передразнивая. – А я вот тебе еще наговорю, интенсификация-мандат-ритуфель! Это чего такое будет?

Тут все очень заинтересовались, а сосед умылся и покрутил головой.

– За-нятно!

– А будет это сотрясение воздуха, больше ничего. А что такое рента? Ну, что? – крикнул пассажир солдату. – Слыхали звон! Теперь слова вместо оглобли, башку прошибать! Надо их понимать!

– Мы все понимаем, – сказал сапер. – Тоже и нас разными словами обманывали. Теперь дознаем сами.

– Его не объедешь, саперного батальону! – радостно воскликнул рябой солдатик. – Такого подведет!..

– Ну, как же ты, по-русски будем говорить... десятинки-то себе облюбовал? – попытал сосед. – И семью поднял, и...

– Без выкупа?! Нет, брат... с печенками у меня рви... без выкупа! Кому потом-кровью, жизнью всей досталось, – у того не вырвешь! Кротова знаешь, из-под Самосина? – спросил пассажир мужика-соседа. – Мельница еще... Должен знать.

– Мы знаем, – сказал больной мужик. – За тыщу десятин, все сдает...

– Ага! Он все заложил, да и под вторую, все из имения выскреб. У него ты возьмешь без выкупа, у дармоеда. А я, как черт кручусь по земле боле сорока лет, у меня чистенькая... значит, мы с ним одинаки, а?! Нет, ты погоди... Я вам пропою песенку, а вы послушайте про ренту буржу-а-зии! И вы, господин сапер! Оторви-ка у меня руки, на! – протянул он руки саперу. – Нет, ты возмись и попробуй! Оторви! Всурьез оторви! Вот пришел ты ко мне хоть в ночное время и желаешь мне оторвать руки...

– Не понимаю ваши слова... – сказал сапер обидчиво.

– Не понимаете'?! Нет, вы очень хорошо понимаете! Вы ренту буржуазии понимаете, а как голову человеку рвать или руки, – так-таки и не понимаете?! Придут, а я вот и подставлю шею: на, миленький, режь, не бойся, я – смирный... – вытянул пассажир голову, пригнулся и показал воловью, налившуюся малиновой кровью шею.

– Хи-хи, чу-дак! – обрадовался рябой солдатик, а мужики стали сумрачны.

– Кет, брат! Тут-то уж я постою за себя, сам к печенкам дорогу знаю, бывалый! Восьмипудовые кули через голову, бывало, швырял! Меня словами не запугаешь! Сам в России прописан, да и сыновья прописаны крепко! Землей ото всех несет! Так вот, как придут ко мне голову-то отматывать, потому голова у меня в земле завязла... ладно! Это вы в программу впишите обязательно, где про ренту! Да и мужичков пересмотрите, найдется... У меня каждая десятинка с кровью запечена!

– А как добывал-то, ты вот что нам докажи! – сказал сосед, поглаживая пассажира любовно по коленке. – Бывало, что и винцом с народишки утягивали, приговоры писали жульнинские...

– А вот. Остался после отца один, шестьдесят десятин. Пашня была, на хлеб мажь, вот как разделали. С отцом разделали, да с сестрой, замуж потом вышла. Жenu выбрал, – работница, на земле выросла! Из Пахомова, крестьянка родом. А я – дворянин!

– Знаем Пахомово. Чья такая?

– Черенкова, арендатора мельницы.

– Да как не знать-то! Очень хорошо знаем. Семья хорошая...

– Вот. Взял без гроша, за руки. И работали мы с ней да с сестрой пять лет, как дьяволы! Вы в праздник по кабакам ходили, а мы – в поле, да в огороде, да на скотном. Кто у вас тут племенных поросят повел? Знаешь «лаврушинского заводу»?

– Как не знать! Ужли твои поросята? Да они у нас на сто верст гремят! Так ты сам Лаврушин и есть? – подивился мужик. – С чего ж я тебя не видал-то?

– Ага! А с того и не видал, что некогда было мне тебе показываться.

– Ну, правда, мы сами – из Крышкина, не близко...

– Я вам поросят наплодил. Теперь не надо, обзавелись породкой, теперь – без вы-купа! А эти мне поросята в пять лет жизни влезли! Три года не уводились, ночи не спал... Бывало, как пороситься, раз пять за ночь-то на варок слетаешь. Так вот это-то мне поросятки в конце концов деньги дали. Я за двадцать лет, – у меня книги ведутся, – взял с них двадцать тысяч!

– Да ну-у! Двадцать тыщ!

– У меня все записи за тридцать лет есть, ткну в нос, как разговор будет. Племенную скотину выводил... По три тысячи кур морожу за зиму, каплунов в Москву ставлю! Так вот только через двадцать лет, по рубликам сколачивая, – по рубликам! – я еще пятьдесят десятин купил у Капустиной барыни, с усадьбой. Только у ней и было. Старуха, я же у ней и арендовал, да платил-то не то, что вы платите. Вы по чем платили лет двадцать тому? По семи, да меньше? А я по совести, – гляди в книгах. Я ей восемьсот рублей платил. Половину под овес пустил, а половину – под кормовую свеклу. Я же вам и кормовую свеклу повел в округе! До меня не было. А теперь сеете!

– Как не сеять, сеем.

– Вот. А теперь – к чертовой матери?! Без вы-купа?! Стали дети расти – пятеро сыновей. Знаешь, какой они у меня веры? Язычники!

– Эт-то почему ж?

– А вот землю любят. Земле молятся. Теперь у меня – двое агрономы, один – плодовик, специалист. Он мне сад на полсотни десятин разбить обещал, пока пятнадцать посадки сделал, война помешала. У меня этот сад годов через пяток, знаешь, сколько давать должен? Двадцать тысяч чистого! Видал?!

– Да-да-да... Двадцать тыщ!!

– Так кому же его подарить-то... без вы-ку-па? Симону Гулимону, или Ивану Постному, что не спал – не гадал, а теперь соседом саду моего оказался и говорит: мне подавай, без вы-ку-па! Нет, меня не ухватишь за петушиное место! Мой сын старший в Америку ездил плодвое дело изучать, лихорадкой там заболел, три года сажал, опыты делал, десять тысяч убил, а труда его и не сочтешь, – а теперь вынь да положь?! Нет, дудки! С корнями рви, не дамся! Я за сорок-то восемь лет не знал, что такое за праздник бывает. Да, а теперь имею. Вот у меня нонче сад цветет!.. Богу молюсь на него, словно у меня все ангелы белые в него собрались, одели его,

накурили... Вот забегу, постою, – голова кружится, слезы... Понимаешь, слезы?! Мое, жизнь тут моя, кровь, сила, все прошлое! Жена-старуха сядет, всплеснет руками... «Господи, а чего ж я раньше-то не видала, не нагляделась?!»

А скоро и помирать... У меня нот астма... Вот наемни выбежал ночью в сад, удушье., отлежался под деревьями... звезды на небе... Вы смеетесь, а я скажу – в голос стал кричать! Нет, брат., поговорим! А вот стою наемни на валу, – сад у меня валом обведен и елочками, – а едет знакомый старик, умный старик, да и не чужой, а кум... едет в телеге и ухмыляется... и пальцем грозит. Что такое? «Здравствуй, говорит, Иван Алексеич, сад-то у тебя больно хорош!» – «Хорош, говорю». – «Ну, гуляй, гуляй досыту... скоро и я у тебя гу-яять буду!» И смеется. «Приходи, говорю, я хорошему человеку не воспрещаю.» – «Нет, говорит, я взаправду буду гулять, по-хозяйски, по закону».

– Да-да-да... по закону?!

– Нет, брат... не погуляешь! – крикнул пассажир, ударяя кулаком по ноге. – Вы-рублю! Своими руками вырву, повы-рываю! К чертовой матери! Так ему и сказал. «Не можешь, говорит, уничтожить добро!» А кто его взрастил, кум? У тебя, говорю, правда-то с крючьями, на что угодно навесишь? И на икону, и кобыле на хвост?!

– Ска-зал! Молодчи-на! – всплеснул руками мужик. – Ну? А он чего?

– Ничего не сказал, поехал. Господи! А лес-то мой!!! Каждую березку сам посадил, шу-мят! У меня ни вершочка не гуляет. Тридцать десятин последние, – болото купил, осушил, под клевер пустил. Предлагал анохинским мужикам брать, смеялись. Берите, осушите! Нет. А теперь ругаются, – отнял! Ладно, пускай поют. Затяну и я!

– Но вы, простите... – сказал сапер. – Не только своими грудями... вы и людей держите, небось? Значит, вы их, так сказать, эксплуатации подвергали, а они вам излишек своего труда отдавали без всякого вознаграждения! Это теперь стало всем понятно. И мы это обязательно устраним. Это буржуйская ухватка. Теперь все можно высчитать...

– Бумажный разговор! Вы вот их прогоните от меня, чего они вам скажут! Дайте им то, что они у меня получают Дайте! – закричал пассажир. – Да всем дайте по вашему рассуждению! Из чего будете

давать? Припасли для них? Накопили богатства-то? Укажите мне, а я погляжу Я социализм очень хорошо знаю, сыновья – не дураки, сами были политики. Я бы вам показал Степана своего! Социалист-революционер тоже! Эх, трава зеленая! Вот мужички уж приходили ко мне, прикидывали, как это они ко всему моему пристроятся. Куда они их, вот этих-то служащих моих, денут? Ступайте, скажут, откуда пришли, к чертовой матери. А они, – их у меня семеро с бабами, – по десятку лет живут. Они поблагодарят благодетелей! А как надо мне было осенью коноплю убирать, – пять десятин у меня конопляника, – взарез подошло, – мне соседи мои любезные, у кого я детей крестил, такую цену наворотили, что плюнул, перекрестившись: а, ну, пропадай, моя конопля! Вот за то-то и бьют нас немцы! Облупленное яичко почему не съесть! Нет, дорогой, я облупил, я и съем, или уж!..

Он треснул кулаком по коленке, поднялся и, опять расталкивая плечами, пошел. Подошла станция.

– Ишь, огонь-полынь! – сказал мужик-сосед. – Ему-то больно обидно.

– Они наскажут... – отозвался сапер. – Буржуазия!

– А поросятки его плоду-щие!

– Такой не может пропасть, хочь совсем его обдери. Обрастет, – сказал больной мужик. – Самостоятельный господин.

– А ба-альпой с ним разговор будет, не дай Бог. Он зря не подастся. Ишь как... с печенками!

– Пожили, наша теперь пора, – сказал рябенький солдатик. – О бедном народе надо понимать, раз демократы...

– Яблочка захотелось? – сказал на его слова самый старший мужик, все молчавший. – Он сады сажал, а тебе чблочка... Сколь обидно человеку. У меня телок пал, с месяц поил... сколь обидно! А он вон сколько годов старался...

– Лес рубят – щепки летят. Да и полетят! – отозвался сапер. – А то...

– А ты лес-то рубить руби, да глаз береги... Да и семянки не забывай оставить, – наставительно перебил старик. – Я пустых слов не люблю. Жизнь тоже понимать надо, правду-то... Плевелу-то рвать надо, да как бы и пошеничку не выхватить. Нам хорошее семя тоже нужно, своо дерьма много. А за семенами-то иной походишь-наплачешься...

Мужики молчали. Сапер стал объяснять про буржуазию, и труд, и про рабочих. Много непонятных, чужих слов высказал. Мужики все молчали, поддакивали. Когда, наконец, он устал говорить или убедился, что они плохо понимают и замолчал, – мужик-сосед сказал сочувственно:

– Этот настоящий, земляной. С ним надо сурьезно говорить. Его вон и в продовольствие взяли. И разговор у него веселый, дело знает.

– Нам тоже хорошее семя нужно... – повторил старик. – Ну, чегой-то будет... О, Господи!..

(Русские ведомости 1917. 11 июня. № 131 С. 2–3)

III. По мелководью

За ночь на пристань подсыпалось народу с поездов. С гоготом сыпалось по крутому откосу, от железнодорожного моста, топотало, трещало по кустам, бухало. В росистой ночи с поемных лугов шли дергачинные трескучие зовы, – ночной покой, – а тут, под кручью, шумел человеческий стон: требовали черта-капитана, приказывали гнать пароход, долбили поленьями в лавчонку: «Не имеешь права запираяться, раз тут тыщи народу». Слышались выкрики:

– А Мишка-то где ж? Ужли выпал?!

– Говорю, – выпал! С последней станции выпал, с подножки...

– Вот черт, дурак! Может, под колеса...

– Темно, не видать. Черт их знает, вагоны качало шибко.

Машиниста, дьявола, надо бы...

– Степка, канарейка у тебе?

– У мене! Клетке бочок пробили, я уж картузом приткнул!

– ...У меня муж свой хороший! Ишь, чего выдумал!

– А почему такое, – хо-ро-ший? Вы вкусу не знаете...

Гагакали тихо-строга гуси, заливался поросенок, кричали дети.

– Фу, ты... черт! С гусями еще путаются... Чего расставился, базар тебе тут?! Избу цельную приволок!

– Чья пила? А то сломаю! Сапог изгадил!

– Ну, моя... – отвечает старческий голос. – У моей пилы глаз нету для тебя. Носит вас, бешеных чертей...

Играет гармоника под сухой четкий треск, – кастаньеты будто.

– Ах, леший, чего выделявает! Ложками!
– Немцы, бывало, заслушивались! Чисто пулемет!
– ...Она про-о-си-ла па-пи-ро-о-су-уу. Я ей сигару пред-ло-жи-ил! – поет под гармонику тонкий голос, – совсем писарской. – Такова страннава во-про-су-у-у!..

Бьет три часа. Это в монастыре, к городу. В рассвете видна река, широкая, курящаяся туманом. Виден весь стан. Половина его уже на белом пароходике. Половина ждет парохода на низ. Глеет синеватый костерок в кустах. Под мостом стоят – дремлют часовые.

– Боле не пущай, потонем!

Кого-то отпихивают шестом, но плохо: лезет через борт, бормоча:

– Одним больше – меньше... слава те, Господи, не впервой...

Пароходик резко кричит три раза. Сходни убраны.

– Погожай, слышь! – кричит умоляющий голос. – Задремал в кусту, ей-Богу! Канарейка разбудила! Степка, цапайся!

Гогочут. Протягивают шест. Человек в черном пиджачке, босой, с клеткой в черном коленкоре, хватается за шест и тянет к себе пароходик.

– Братцы, допустите!

По двум шестам он-таки добирается, размахивая клеткой.

В четыре часа, как обычно, пароходик трогается. Июньское солнце уже показывается над рощами левого берега. Синеглавый монастырь на горе горит, как новенький. Гудят ревучими гармониями фабрики. Река уже начинает гореть розовато-белым накальцем. Редкие в этом году плотогонны уже дерут пятернями головы, стоя в белых рубахах у соломенных шалашей. Все – как всегда. Необычного разве только – красный флажок на мачте да разговор с капитанского мостика:

– А вот и то! – кричит долговязый пароходный «матрос» в грязной и рваной полосатой фуфайке, с очень маленькой головой, похожий на безголового. – А вот не ты, а вы!

– Вот дурья голова! – благодушно отвечает капитан, не похожий на капитана: в сапогах-бутылках, в обсаленном пиджаке, грузный, пожилой бородач, с лицом речного подрядчика. – Одиннадцать годов ездим, а я тебе выкатать буду! Вот дурья башка! Учиться для тебя буду!

– Сам дурья башка! – говорит-ворчит матрос, лениво выбирая на борт чалки. – Теперь каждая личность чтобы!..

– Верно! – отзывается из толпы, – кучи мешков, солдат, мужиков. – Учись – выучишься.

Капитан плюет в кулаки и, покрестившись на монастырь, принимается вертеть колесо.

– А ты, «личность», по ногам не ходи, не стежка! – сердито говорит старик-торговец, только что открестившийся. – Гуси тебе помешали! Головку было отдавил, сусала!

Он и еще трое, – солдат с медалью, чиновник в драповом наглухо застегнутом пальто и монашка с узлом, – сидят на исполинском садке-корзине, набитом гусями. Гуси все высовывают шафранные кожаные носы и гакают. Монашка поджимает ноги, – должно быть, ее щиплют.

– Старик-старик, а экую махину вволок! – говорит солдат с гармоньей через плечо. – Людям местов нет, а энти черти...

– Им гусь завсегда дорожей человека! Хлеба нету, а они с гусями занимаются. Нет настоящего закону!

Гуси согласны: га-га-га-га! Тяжко им: более полусотни в садке.

– Чай, рубликов по шесть? – справляется у гусятника баба, прижимая локтем трепыхающийся и повизгивающий мешок: там поросенок.

– По шесть-то прыгает на нашест! – говорит торговец. – И с чего это столько народу стало ездить! Цельная армия!

– От беспокойства... от коловороту-то самого... – недовольно отзывается старый-старый, в полушубке, с пилой в станочке, привязанный к мешку вместе с сапогами. Я вот пять годов домовал, вот сволокут под березу... хвастать не хвастать, а восемьдесят два года мне. Теперь, как этот коловорот-то поше-ол, как по-шеол, цена-то истинная и объявилась... Дес-сять рублей на день! Сну нет и нет. Пой-ду! Пошел! Две неделки топориком потяпал, – сотнягу! Вот те и гроб дубовый. Ну, беспокой-ство-о! Напугал меня там выхарь один. «Уходи, говорит, старик, все место потише где... а то неравно помрешь, – обязательно с красным хлагом похороним...» Да-а... Церкви, говорит, вот-вот прикроют, колокола... Ну, и побег от греха...

– Это и у нас слух пуцали, которые отчаянные... – сказал торговец. – Он, такой-сякой сын, в церкви-то с отроду не был, разве по ночному делу... ему чего! Только за это кишки выпороть мало! Ах ты, дело душевное!

– А ежели это новый порядок, веручение! – сказал с ехидством матрос, тоже приладившийся к садку. – Каждому, как сказать, желательно понятие проникнуть. Попы – первые лиходеи. А как которые умные народы... к предмеру сказать, в Америке или там французы, немцы... все начисто выставили, всех попов-монахов. Кадиллом кадет, а в семь карманов кладет.

– И все-то врет! – сказал торговец ко всему пароходу, чтобы обратить внимание. – Во Франции собор самый замечательный на земле! Который немцы расколотили... Да за такие слова тебя, знаешь, как надо?.. За хвост да в воду, дело душевное! Кресты поснимать! Иконы покидать! А?! Эта зараза, и у нас на базаре была! Бабенка одна оголтелая... как зачала, церкви обобрать, золото с икон да камни драгоценные чтоб по бедным раздать... Да, как приступили к ей, да как почали ее по щекам селедкой хлестать... – покорила! На коленках прощения просила. Меня, говорит, мухотаев-ские конторщики обучили, всю сацилизму узнала через их! Вот, дело душевное!

Кое-кто из солдат, густо заливших палубу и сидевшие на садке поддержали торговца. Чиновник только строго поднял брови и глубже запрятал подбородок в воротник. Начался разговор долгий. Трое солдат заявили, что, доведись до них, «без разговорю голову проломить поленом али там сапогом...»

– И спору чтобы не допускать, а то зараза! Это чтобы и колоколов не было! А Светлый День как? А?! Христос воскресе из мертвых!

Матрос, которого напрасно капитан звал гудками к промеру фарватера, оправдывался:

– Я, как сказать, собчаю то, что... к предмеру нащот такого вопроса касаются образованные, которые могут чисто сказать. Такие учения есть, чтобы ничего не могло воспрепятствовать леригии...

– Вот дураков понаделают! – с сердцем сказал гусятник. – Бормочит без понятия, как индюк... дыл-дыл... дыл-дыл!

– Удивительно! – сказал чиновник.

– Без церкви никак нельзя... – вставляет свое слово пожилой солдат, предварительно объявивший, что отпущен по годам вчистую. – Он смерти не видал... А кто смерть видал, этого не годится! Все молитвы прочитаешь, как ежели она тут.

– Как можно! Вся жизнь на церкви зиждит... И начало, и конец, – строго продолжал гусятник. – И купель, и гроб.

– Истинная правда, позвольте сказать... – вмешивается в беседу рыжий, сухощавый мужик.

– Ну, и ароматы возишь! – говорит гусятник, покрутив носом.

– Селедошники мы, ничего... А в этом и суть. Селедками торгую в Охотном... И, стало быть, кроме как селетки мне ничего и не надоть? А? Ну, нет. Я про церковь говорю. Каждый год на покос езжу. Говею каждый год. Приступаю к Св. Дарам, телу – здоровье, душе – спасение. А селедками все пахнешь. Обижаются, с транвая сколько ссаживали... а из церкви меня никто не имеет права выставить. Ту же ложечку принимаю в рот и крест целую. Это как? Татары и то себя соблюдают. Да разве мыслимо без всего! Супротив церкви!

– А есть такие стервецы. И вот даже на мощи нападение было. И жечь принимались.

– И не разразило?! – спросил старик-плотник.

– Там-то не разразило, а в городе шею намяли здорово! Вон они, щеголи-то эти, – гляди и гляди! – сказал гусятник, мотнув к борту, где на ящике примостилась компания. – Энти на все пойдут.

На ящике сидели трое: девица в шляпке с вишнями, курившая из кулачка и визливо смеявшаяся с солдатами; кривой гармонист, в лаковых сапогах, в кепке, в венгерке, – откуда он ее раздобыл, – подтянутый чеканным пояском, и хмурый, цыганского облика, пожилой человек, с подвязанной щекой, с кнутом: должно быть, барышник. Тут было веселье неподдельное. Солдаты гоготали, как гармонист то прыскал девицу из флакона, то сам «принимал капли от любви». Играл на итальянке и пел куплеты:

...Нету стенок, – одна печь,

А министры скажут речь!

Ух ты-ы!

Речку скажут да помажут –

Станет речка кверху течь!

Их ты-ы!

Гоготали так, что покрывали и гармонию, и страшный скрипучий треск расхлябанного парходика. А гармонист хоть бы улыбнулся! И цыган не смеялся: постукивал кнутовищем по сапогу. Только девица стреляла глазами и покатывалась, завораживая солдат.

– Развелось этой сволоты! – сурово сказал торговец. – Понапущали изо всех дыр. Вот в Сучкове трактирщицу с детьми порубили, – не они ли? А то странники еще будто ночевали...

– На странников не говорите, папаша... – раздался певучий голосок. – Энти и нам дело портят.

И как из земли появился странник: до этого он незаметно сидел за ногами, у борта. Были при нем и потрескавшаяся клеенчатая сумка-ранец, и железный стержень, с медным крестиком-набалдашничком, и черный чайник, и запасные лапотки. И лик самый страннический, – болезненно-бесцветный, страннический, прыщавый, хрящеватый.

– Наступил, – и мокро! – сказал гусятник. – От слова объявляется, как плесня.

Но странник и не обиделся.

– Вы про церковь небесную говорите, а я прислушал. Истинная правда. И что же это будет, как по *их* выйдет! На место храмов Божиих и монастырей фабрик везде наставят! Все земли от обитателей отберут... Сколько народу разорят! А к тому идет, и уж бумагу подают казенную...

– Вашей вшивой команде конец теперь... – сказал солдат. – Да чего от тебя хорошего?! Дезертир, небось...

– А ну-ка, оправдайся! – подзадорил гусятник.

– Я?! – оторопело спросил странник. – Оправдаюсь! Жулик не оправдывается, кот... а я, – вот! – засуетился он, распахнув ряску. – Вот чичас досмотрите мои права...

Он вытащил клеенчатую сумочку-книжку, по каким собирают на построение храма, вытянул из нее истлевший по складкам грязный листок и потыкал пальцем.

– ...из Смоленского врачебного управления... безземельному крестьянину... в удостоверение... что... при посторонней грыжке еще страдает... пе-ри-ди-чески!.. эмпе... лим-пи-сеей! – насилу выговорил странник, тыча пальцем в коричневое пятно на бумаге, уже потертое. – А?! Припадошный я, могу на всяком месте сказаться. Вот

и оправдался! Вот и хожу по монастырям, питаюсь... от святыне иконы к мощам...

– От каши да ко щам! – подмигнул солдат. – А я бы всю эту команду на казенную работу. Дороги прокладать! У нас вовсе дорог нету, от того и безобразия всякие.

Опять звал пароход, – промеряй фарватер! Но матрос был при гармонисте, подухивал. Открылись и влево, и вправо белые пески, и пароходик юлил среди белых и красных колпачков, метался. Капитан потел за своим колесом, поплеывая в кулаки.

– Дай ему по шее, эй! Слышь! – кричал капитан. – На мель посажу!

– Вали! – отвечали капитану из толпы – Веселей будет!

– Тьфу, черти серые!

Вылез из трюма распоясанный парнишка, выдернул по-тосатую мерочку-шестик из-под кучи баб, обругал баб и пошел на нос «ковырять в речке».

– Черт расхристаный! – кричали ему бабы.

– Кто как, а я по правильной бумаге, – оправдывался странник. – Я че охаверзник, не блудник... и снов не открываю. А то даже антилегент у нас есть, как барин... Санька Маленький... тот сны открывает, игуменьи чай его пить к себе приглашают... Ему и послушниц разрешают...

– Истреблять вас до мозга костей! – крикнул подобравшийся к разговору матрос. – На Хитровке я тебе любую бумагу выправлю. Напишут, что и вовсе без головы, одна кишка!

– С такими лицами я спориться не желаю, – сказал странник, пряча бумагу. – А без церкви задичает душа! Мы этого не дозволим.

– Ах ты... слякоть! Мы!!

– У нас трое мужиков с фабрики сбегли... – гнусаво сказал человек с вдавленным, закорючкой, носом. – Это в Ду-ракине у нас, огромная фабрика. Как пошла революция, пошел шу-ум, – испугались. Ну, и взяли в миг-мгновение расчет. Сухариков насушили, – пошли.

– Куда пошли-то? – спросил торговец.

– А по монастырям ходить. Тихие все. Один все кина-рейками занимался.

– Это где, у Дуракине? Есть там кинарейки, знаю, – сказал человек с клеткой. До этого он сидел в толпе, поставив между ногами клетку, и, не обращая внимания ни на что, посвистывал в дудочку, учил «славного кенаря, цена – четвертной». – Есть сурьезные кинарейки, у Васичкина.

– Он самый и ушел. «Боюсь», – говорит.

– А как же кинарейки-то?

– Что! – перебил странник. – Вот такие, которые... ка-рактер такой. Душа покою желает, святой жизни. Ну, разве мысленная вещь монастыри решить! Да я вот от своего ка-рактера всего ужашаюсь. Как где крик, – я бегу, бегу... до первого кусту! Намедни в Галкине человека убивали...

– Как так, убивали? – спросил гусятник, а чиновник вобрал голову, скосил рот и опять процедил:

– Удиви-тельно!

– А будто телку угонял. Как его по-гнали... а я у речки сухарики мочил, трапезывал. К речке как подогнали, на коленки он, а я трясусь... Хрест вынал, целовал. «Я, – говорит, – православные, только зря на ее замахнулся лозой, а не угонял!» Как воск белый. Пачпорт! Да на меня, – пач-порт! Трясусь, а показал. Никто прочитав не годится, – бабы да мужики. А пастух кричит: «Другой день вижу – по кустам хоронится, два барана пропало!» Как вдарит его один гапогом в это место, – го-тов! Голову проломил. А со мной болезнь. Покуда отчухался, – ночь Гляжу, чего это я, какое место? Речка самая, костерик горит, и два мужичка сидят. «Что, – говорят, – отчухался, черт паршивый?» Все и вспомнил. «Счастье, говорят, твое, что падающий ты, бабы подолами укрыли, а то бы и тебя в пару к этому сукину коту впрягли!» Гляжу, а он лежит к огоньку пятками, портки в лоскутьях. Да, синие портки с белой полосой, – из флагов, что ли, сделаны. Да я, говорю, ни к чему к этому делу, я – убогий... печать на болезнь имею. Дали покурить. «Ты, говорят, убогий, на нас не серчай, очень сейчас все запуталось, не оглядишься. Но только мы самого настоящего приняли, – это про его-то, – у него и в пачпорте показано, что вор. Мы, говорят, уж четвертого так искореняем. А как зацепим кого не в раз, и отмолить можем. Есть у нас вдова и еще старик святой жизни, – дадим на панихидку». Вот, братия, а ежели и панихидки отслужить негде будет?

– Три с половиной! Три-и, – лениво кричал парнишка с носа.

– Старое понятие! – скосив презрительно рот, сказал матрос. – Ежели теперь так... Объявилась теперь станочная жила во всем народе и называется – демо-кратия! То господь были да мы, чернота несчастная, а теперь в нас – вся жизнь. Что без нас могут? Ничего не могут! Вот где корень.

– Верно. Попили нашего поту-крови... – сказал, хриплый голос из-за солдатских голов. – Без барина проживем!

– Вот самая важная причина! – ободрился матрос и снял даже обсаленную фуражку, словно говорил на митинге Теперь, товарищи, что же случилось? Теперь случилось, товарищи, то, что... демократия! Она всему план, и... корень. Так ли я говорю? Значит, надо как? Демо-кратически! Значит, надо так, чтобы был обчий труд и свобода! А разная интеллигенция и эти буржуи... им теперь конец! Правильно говорю?

– Правильно! Браво!

– Вот ты мне и проведи железную дорогу! – сказал, словно ударил, высокий, как жердь тощий, чернявый господин в соломенной широкополой шляпе, в вышитой рубаше под накинутым на плечи пиджаком, с пачкой газет, которою ударял по ладони, как приколачивал слово за словом. Выдвинулся он из толпы, а за ним худенькая и маленькая дама в пенсне и тоже с газетой. Лицо дамы было тревожное. Она даже попробовала удержать господина, но он нервно пожал плечом. – Ты мне хоть этот сквернейший в мире пароходишко выстрой! Ты мне ногу отыми, если антонов огонь... моему или своему сыну горлосечение сделай, если крупн у него, а то помрет! Погоди!! Ты через Волгу... да хоть через эту Оку мост перекинь, как тот! Ты разве без интеллигента только телегу сляпаешь, да и то скверную!

– Коля, оставь! – просила дама. – Они тебя не поймут!

– Оставь! Ты мне напиши такую книгу, чтобы я человеком себя почувствовал и над своею жизнью заплакал! Ты вот болтаешь, что демо-кратия, а ни черта не смыслишь!

– Это как же я не смыслю? А ты смыслишь! Хуже я тебя!

– Орешь: анти-ли-генция! Понимаешь ты, что такое – ан-ти-ли-генция?! Она для вас жизнь лучшую строит, Бога ищет столетия! Она вас от смерти спасала, она в Сибири за вас умирала, гибла за вас на

виселице! Учительница! – показал господин на дергавшую его даму, – ваших детей учит, гроши получает, от чахотки гибнет, а ее вот такой же, как ты, «демократ» буржуйкой обозвал!

– Коля! Да Коля же!

– А-а! «Попили поту-крови»! Я давно про этот пот-кровь слышу, – попугайское слово! Интеллигенция поту твоего попила?! Да знаешь ли ты, что станется с народом, если вдруг вся, – да не вся, а хоть половина, – интеллигенции возьмет да от обиды, от невозможности работать, от твоей плотки, и уйдет из России?!

– Сами управимся!

– Ты справишься! Это он-то управится! – возмущенно щелкнул газетой господин и поглядел на даму. – А будет то, что так и сгниете в черноте от нищеты! В дикарей обернетесь! Эх, вы, умники! В культурных странах, в Америке, в Англии, в Германии, образование уважается и ценится, а у нас – сами! Да ну вас к чертям! – нежданно закончил чернявый и сорвал шляпу. – Вот когда башку разобьете...

– А вы кто такие? Вы за революцию или как? – Во какие гуси пошли! Им наше новое-то – как кошке табак!

– Что?! – опять закричал чернявый. – Ваше? Новое? Ты его делал, новое-то? Ну, что с тобой болтать... у тебя только и есть, что плотка, а раньше была еще и водка!

– Выгнали вас, очень просто, откуда там... – сказал матрос. – То, гляди, сотнягу огребал, а теперь...

Засмеялись кругом. Дама затормошилась опять, но чернявый не уступал.

– А ты, небось, себе разом три назначил? Подорожал в двадцать раз? Народ-то тебя, друг милый, скоро раскусит!

Тут пароход хрипнул днищем и ткнулся так, что все шарахнулись.

– Промерил! – язвительно сказал чернявый. – Покажешь дорожку! Аме-ри-ка!

– Речист зато! – сказал плотник. – Чище фуганку чешет.

– А триста ему подай! – добавил гусйтник. – Езжу который год – ничуть не лучшеем. Раз по двадцать на одном рейде садимся. Ну, теперь скидай, Вася, штаны, полезай за раками. А то намокнешь.

– Ну, и полезу! – выругавшись, сказал матрос. – Черти проклятые!

Кто были черти, – неизвестно. Но не полез, а, вытянув с крыши шест, стал отпихиваться, призывая подлеца-парнишку.

– Далеко ты на багре уедешь! – кричали солдаты. – Штаны сымай!

– У его штаны умные, мочить жалко! Пароходик не двигался, как ни тарахтела машина.

– Задний давай! – кричал Вася. Теперь его все стали называть Васей. – Не во всю пузу сели!

Но капитан показал кулак, сошел с мостика и приказал завозить якорь: сели накрепко «во всю пузу».

– Скидай штаны, Вася... Богом тебя прошу! – нетвердо выговорил гармонист и заиграл «марш»:

Мамашинька-д говорит,
Коровушка-д не доит...

Матрос швырнул шест и полез через борт, не раздеваясь. Добрел до лодочки за кормой, где покоился завозный якорь, и стал звать парнишку:

– Васька, помогай!

Так все и загоготали.

– На Васьках едем!

– Видали? – сказал чернявый, объявивший солдатам, что он – городской учитель. – Так все у нас! На Васьках едем!

– А вы объясните нам, где причина та, что... почему вы правы, а он не прав! – сказал до сего времени вдумчиво слушавший спор молодой солдат с нашивками и крестом. – Я понимаю, а вы всем объясните, как вы учитель.

– Объясню! Я все объясню!

...Коровушка-д не доит,
Молочко-ом не поит!

– Не озорничай, Серенька! – закричала девица. – Монашка едет!

– Жарь, Серена! – потребовали солдаты. – Эй, с ложками! Вали!!

Начался концерт. Монашка опустила глаза. Дама закрылась газетой. Учитель повел плечами, чиновник сказал: удивительно!

– Занятно, душевное дело! Что, мать, каков молебен-то правят!

...Бредет полем бык-бык,
Коровушка мык-мык!

– Дале завози-и! – гремел капитан. – Черти, к бакану завози!

– Так-то вот в одном монастыре было... зачали непотребное петь... – начал было странник, но учитель опять сорвал шляпу и закричал, покрывая новый куплет:

– Вот он, наш российский народ! Смех и цинизм! И это тогда, когда...

– Коля! Коля!! – бросилась к нему худенькая дама.

– Нет, я выскажусь! Здесь люди! Пусть они слушают!

Гармоника замолкла, оборвались ложки.

– Тише! – закричали голоса. – Оратор говорит!

На песках появилась пестрая кучка ребят и затянула:

– Газе-эт! газ-эт!

Мало кто слушал учителя: смотрели, как «Васьки» возились с якорем. Якорь «посадили», но он тут же и пополз к пароходу, только солдаты принялись вертеть ворот.

– Навали-ись! – кричал капитан. – Багром подопри-и!

Навалились, сели на якорь и вместе с якорем поползли к пароходу.

– Слазь на воду! Слазь все! – кричал капитан. – Перегрузили!

Но слезать никто не хотел. Смотрели с песков коровы, играл пастух, доносило кукушку. Хорошо сидеть на воде!

– А по мне хочь неделю так, было бы хлебушка!

А с кормы какой-то солдатик уже выхватывает «на мушку» уклеек.

– Мух давай, черти! Головля пымаю!

– На воду слазь, говорю! Все слазь! Опять стали завозить якорь.

– Вот, – ораторствовал учитель, – не умеем даже якоря закрепить!

– И чего только вы расходуетесь! – посмеиваются из толпы. Мало, что ль, дураков-то!

– На что мы годны?! Труд не чтим, знания нам не нужно! Для нас труд – проклятие. Не уважаем и другим мешаем.

Кривой гармонист, смотревший учителю в рот и для смеха собиравший щепоткой в кулак слезы, вдруг резанул гармонией и пустил фальцетом:

Л-лимо-над-газюсь напыюсь я,
Л-ли-монад, ах, л-ли-мо-на-ад!

Взрыв хохота испугал коров: стали коровы выходить из воды. Пастух бросил играть, послушал, вышел на край песков.

– Хлебушка не продадите ли?

– Я б этого капитана искупал! С голоду уморит! Почему буфетов не держут?

– Всю жизнь прикрыли! Одно безобразие...

– Хуже будет! – продолжает учитель. – Взались управлять, а мыслить не желаем. Рай впереди, а потесниться, потерпеть не в силах! Сразу подай! А откуда брать? Надо создать! На глубину вышли, да мелко плаваем!

– И вовсе сидим! Га-га га!

Все гогочут. Учитель недоумевающе смотрит, качает головой и принимается за газету. Дама что-то горячо ему шепчет. Цыган и девица начинают играть в карты. Швыряют трешницы и пятерки. К ним подходит высокий солдат, с раздутой щекой, в повязке, и «враз охватывает пару красных». И еще солдат ввязывается и закладывает пятерки. Выигрывает. Цыгану не везет. Он вытаскивает бумажник и, перекрестившись, ставит четвертной.

– Боле сотни цыган просадил!

Игра начинает разгораться. Проигралась и девица. Но все хохочет и ворожит глазами. С ней шушукаются, ставят за нее, но ей положительно не везет. Выигрывают солдаты. Особенно усердно старается ей помочь бравый унтер-офицер с крестом. Она шепчет ему на ухо, кладет на грудь голову и упрашивает:

– Голубчик, проиграешь? Ваничка, не надо!

Солдат достает еще пятерку. Опять незадача, девица отводит его на кипу прессованного сена и начинает шептаться. А

«проигравшийся» цыган угрюмо сидит и постукивает кнутовищем по сапогу.

– Так их, чертей, и надоть! Попали на солдат!

– Да, ловко! – опять начинает учитель. – Дети! Даже и тут не хотят вдуматься, что этот вот, раздутый, может быть, из их же шайки. Кто только не обманывает народ!

– Да, – говорит гусятник. – Вот тоже и церкви Божий... как их можно, чтобы похерить? Душа – дух Божий! А тоже хотят обмануть, утешение отнять. Из корысти? Эти вот разные гармонисты и из ученых прохвосты тоже есть. Попы, мол, у нас пьяницы, грабят. А его *он* мне на место церкви даст? Поп – пьяница? Да он мне, может, милей другого митрополита! Есть такие попы, что...

– Верно. Наш поп шук глушить любит, ну, службу знает!

– Есть в Высоком монастыре схимонах о. Руфим... ну, божественный... непроходимо божественный, – сказал странник. – Гроши плотает.

– Чего?! – подивились солдаты.

– Гроши, говорю, плотает. Иди к нему, у кого горе, на всякое время и на всякий час. Баб к нему ходит! Неотступно! Или у кой муж пропал, или там корова... или какое ей полагается там, каждой бабе, сострадание. Ну, и снимает. Сейчас воскричит: «Подавай грош, горе зеленое!» Бабы ему самые что ни есть зеленые гроши несут, ядовитые самые. «Ну, говорит, все сострадание твое и горе принимаю в себя!» Хлоп, – и проплотит. Грошей двадцать заплотает за день!

– И ничего?! Не срыгнет?

– Ничего. Ну, только зеленеть стал шибко. Оказывает. Ну, яд принимает в себя, а бабам сразу облегчение выходит.

– Вот душевное дело, – вздохнул гусятник. – Значит, сочувствие через него народу. И помрет.

– Обязательно помереть должен... Другой год плотает, – шибко сдал.

– И не застрет в нем?!

– Ну, приладился так... от прахтики! Есть сабли плотают. Ежели бы капитал!

Смеется даже и монашка. Якорь, наконец, закрепили, матрос уперся в него багром и воротом сдвинули парходик с хряща.

– Гроши грошами, а уж какие-нибудь плотатели да есть. Ишь ты, все-ё серебро и медь начисто проплотили.

– А вот потряси и вытрясишь! У кого пузо толстое, – тряси смело: звон будет.

– Ежели и тебя, дядя, потрясти, гляди, чего и скинешь! – говорит один из солдат торговцу.

– Подставляй картуз, – полон будет!

Опять все грохочут, даже и унылая монашка. Капитан кричит:

– Василий! Опять меркой брюхо подпираешь?! Ты меня еще на Каменке посади, – я тебя тогда, курья голова, за борт!

– Сам – курья голова! – лениво отзывается матрос. – Двадцать годов, старая крыса, возит... каждый раз садимся. По нашей воде надо какие пароходы? Надо такие, чтобы... Дело не в промере...

Присаживается на садок курить. С него стекает на гусей. Те довольны: погакивают.

– Эх, народ! – с сердцем говорит задумавшийся о чем-то сапер. – Теперь надо прямо зубами в работу вгрызаться! Всю буржуазию в работу! Глупей, что ль, прочих народов?! Да мы – на все таланты!

– Обязательно! – говорит матрос. – Пароходы выдумали!

– Электричество – мы! – продолжает сапер. – Яблочки-ны фонари!

– Закалка, например, стальная... Нашему инженеру в Америке памятник стоит! Сибирская дорога! Это тебе не мутовку облизать!

– А граф Толстой! – кричит матрос. – Наш!

– Петр Великий! Мало тебе?! – говорит гусятник.

– А Василий Великий, Иван Богослов! – добавляет странник.

– То – греки. А вот Ломоносов – наш!

– Что?! – крикнул учитель. – Да все, кого называли, ^{тм} интеллигенция! Буржуи по-вашему!

– Тогда буржуев не было, – говорит матрос.

– Я вам тысячу имен назову, кого во всем мире знают, – все из интеллигенции! На этом паршивом пароходишке, может быть, едет гений. Но надо учиться, верить науке! Надо рука в руку с интеллигенцией, не оскорблять! А мы думаем, что все можем, а сами гроши плотаем!

– Слезы плотаем! – говорит торговец. – Штукатур семь с полтиной за сажень дерет! Это называется грабеж! Казнить за это!

– Все трудящиеся виноваты! А сам за гуся, небось, красную! Вот позапутаете жизнь, – всех казнить будем, – говорит матрос.

– Эх, кинареечку разве искупать! – сказал канареечник, зачерпывая картузом из реки.

Стали плядеть, как купается в картузе канарейка.

– Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда!

– Это сказал поэт Пушкин! – продолжал учитель. – Но вам не надо Пушкина. Будь он жив, – его бы обозвали буржуем и послали бы подметать улицу! Не надо нам ни Пушкина, ни Гоголя, ни Толстого, ни Ломоносова! Это все – буржуи и прохвосты!

– Уж и злости в вас! – сказал сапер. – Если есть дураки, так нельзя на всю демократию клеветать! Дурацкие примеры ставите.

– Что?! Вы меня, значит, дураком?!

– И не думал! Вот пожалуйста, как они все наоборот!

– А ты душевней, душевней... – сказал торговец солдату. – А ты, мать, в Пустынь, а?

Монашка колыхнулась. Бледное, одутлое лицо ее дрогнуло и стало тревожным. Все время она жалась, старалась казаться незаметной. Когда говорили кругом, она настораживалась. Слова торговца и странника ее, видимо, успокаивали. Но когда начинался спор, – говорил матрос и горячился учитель, – она пугливо косилась.

– В город, спаси вас Господи... Одежальце стегала, благодетельнице везу... Наша обитель Знаменская, бе-едная.

– Слыхали. Монастырь ладный. Пьяниц отчитывали? Эх, прогорело ваше дело. Но уважаю ваш монастырь. Пение, чистота. Ежели и монастыри прикроют, – задичаем. Семь веков обитель стоит! Татар прогоняла. Белый всадник, например, выехал на белом коне в западные ворота и... того.

– Копьем татарского гада пронзил, в пасть и в бок... – певуче заговорила монашка. – На стенке у нас изображение...

– Смотрите! – сказал солдат. – Обман народу.

– Про гада и приставка, может, а татар гоняли. Но стирать нельзя! – сказал торговец. – Замечательная картина! Фреска называется.

– Вся потрескалась, облупилась! – грустно сказала монашка. – В грамотах записано про гада...

– А мощи еще не открыли?

– Под спудом, спаси вас Господи.

– Время-то упустили! Теперь контроль бу-дет!..

– Да уж поглядим! – сказал матрос. – Чурочку сунуть, – и мо-щи!

Не добрались нащот земли?

Монашка съежилась и покосилась.

– Добрались, спаси вас Господи. Скоро все по миру пойдем. Добрались. У вас земелька есть, хозяйство, двор скотный, дровец загоняли. Мужичкам приплод отдавали дешево! А коровки все холмогорки да голанки. Такие есть, что по два ведра доились. Приют содержим сиротский, беженский, молочком питали и самим оставалось... Ну, теперь мужички говорят: наше и наше! Земельку нам купец Аксеньев пожертвовал вовсе пустую. А теперь – рай. Мужички-то и пожелали...

– В рай! Понимают дело. Было имение – станет запустение, растащут, – сказал торговец. – Раструсят Россию на пух, на пёрья...

– Да, вашему сословию клин вгонят! – сказал солдат, сплевывая на сапог после курева и растирая другим сапогом. – Для чего ваше сословие существует?

– А души спасение? – тихо-робко спросила монашка и испугалась.

– У вас души чистые... девки больше! А не девки – и того чище!

Опять засмеялись. Учитель принялся было объяснять, как были нужны монастыри, упомянул о жизни души, но его голос не вызвал отклика.

– Пустыня духа! – воскликнул он патетически.

– А я бы всю эту сословию чернохвостую за хвост да палкой! – сказал матрос.

– Да за что же-с, спаси вас Господи?! – вострепетала монашка. – Мы никому зла не делаем. Живем тихо, по Господу...

– А... искпорприяторы! Деньги сосете! То часовню *какую* поставят, будто восемь младенцевских головок водой на доске прибило, – сейчас крестный ход! Деньги давай! А то сон увидала какая старушенция, будто на дубу ей привидение было... белого ястреба... или там огонь кого опалил... деньги подавай! Отменить, – боле ничего!

– Да за что же-с?! – умоляюще спросила монахиня.

– Не спорьте, они не поймут! – крикнул учитель. – Они на все через черные очки!

– Не умеете вы, господин, объяснить народу! – сказал торговец – Эх, слова у меня нету, а чувствую! Сами затоскуют без всего. Тихий народ отстоять не может, которому душевное дорого, а три горлана могут уничтожить! Скушно без монастырей будет! За всюнощную придешь... душа поет, как «Слава в Вышних Богу!». «Славим Тя... бла-го-да-рим Тя-а!» – разбитым, старческим баритонцем пропел гусятник.

– Народ! – воскликнул учитель. – Если бы он знал, сколько красоты в жизни, сколько значения в каком-нибудь слове, в старой покосившейся колокольне, башне! Он с легким сердцем может смести в одну кучу и сор, и жемчуг!

– А вот и учите, разьясняйте! На то вы и учитель! – сказал торговец строго. – А сердчать... какой резон! Я народ знаю. Ежели ему на душу попадешь, – от себя не пустит. А чин, а благовест! А кладбища-то, кладбища! Ланпадочки горят, цветы...

– Это вон в высококовом монастыре-то, знаешь! – сказали в два голоса. – Там все фабрикантов кладут, кирпичами муруют. Восемь фабрикантов лежит, за каждого по двадцать тысяч вкладу. Нас так не хоронят.

– А им удобно! Они оттуда фабрики слушают, а им монахи поют. В мощи и производут.

– А вот повытаскать их оттуда, а деньги отобрать!

– Опять сели!!

Пароход вдвинулся словно в чашу кустов, – так затрещало и заскрипело и снизу, и вверху.

– Каменка! – сказал матрос. – Чисто подгадает, старый черт.

Началась ругань. Ругался маячник с берега: давал будто упреждающие сигналы, баканы не успел переставить. Капитан сучил ему кулаки. Ругался парнишка, что упреждал капитана, кричал – два с половиной! Ругали матроса солдаты, что не мерял. Опять пришлось завозить якорь. Канареечник заявил, что ему домой время, верст пять до деревни, и под общий хохот пошел по брюхо в воде, размахивая клеткой, а за ним поплыл, потешая толпу, Степка. Встал на голову и показал сапоги.

– Эх, веселая жизнь пошла! Водчонки бы, – и умирать не надо!

– Купаться, товарищи! Пушай бабы заслепнут!

Пошел гогот, и началось купанье. Лезли белые и коричневые тела на борта, плюхались с уханьем, со свистом, с гиком. Две гармонии откалывали жарко. А на песках опять появилась пестрая стайка ребят и затянула истошными голосками:

– Газзе-эт! давайте-а, га-ззе-эт!!

Учитель поднял высоко пачку газет и крикнул:

– Донесите им! Господа, кто может?

Не отзывался никто: барахтались, боролись в воде, брызгали на смотревших. Пара мальчишек кинулась с песков в воду, дошла по грудь и поплыла, отпихивая друг дружку. Подплыла, схватила пачку, смочила, и так, зажав в кулаке, пошла саженками к берегу.

– Светлое пятно! – сказал учитель. – На них – надежда. А монашка тихо-певуче рассказывала гусятнику:

– И вот и приходит казацкий офицер тот домой после войны турецкой. А как на войну собирался, заехал в тот монастырь и служил молебен перед иконой Пречистой Владычицы Всех Страстей. И возвратился невредимо. А богатый был несметно, с Дону-реки, называется Область. Казаки все там. И виноград сеют. Вино-то церковное от них идет. И вот, – послал ему Господь испытания, и находит в доме своем непотребство...

– Да, ну-у?! Непо-требство?!

Заинтересованные словом «непотребство» к монашке надвигаются слушатели. Старик-плотник совсем привалился к ее коленям и слушает, приставив руку к уху. Чиновник весь обратился в слух. Странник сделал лицо, словно принимал святыню.

– Да. Оставил молодую жену... два года не видался, а застает ее с ребеночком на руках, и ребеночку ангельской душе, четыре ли, пять ли месяцев..

– Господи, Твоя воля! – вздохнул странник.

– Так, так... Значит, девять да пять, итого четырнадцать, а его два года не значилось при ней. Вот так заганула она ему!

– И пронзил он саблей жену-изменщицу, и младенчика, ангельскую душу. И потом застрелился из пистолета. И прекратился весь род его казацкий. Некому стало богатство его присудить. И отхлопотал его высокопреосвященство митрополит Филарет тое имущество-капитал на тот монастырь. Поехал к государь-ампиратору,

а там уж двенадцать асау-лов-атаманов. Приехали по тому ж делу. Но был Промысел Божий – на монастырь перетянул митрополит-то. Игуменья-то, графиня была, доказала, что обещался офицер-то казацкий вклад дать за спасение. И стало монастырю обеспечение... шестьсот сестер, так каждой на месяц стали выдавать из проценту по четыре с полтиной! Как хорошо-то!

– Вот она, ржа-то!

– Сорок годов так и пожил А теперь, – писала нашей матушке ихняя игуменья, – отбирают, слышь, от них и капиталы, и землю ту. Как это рыволюции началось, казаки те и вступишь: «Выдать весь капитал, три дни сроку!» Так все и повалились. Игуменья, – и эта из княгинь родом, – телеграммы министрам, князьям, графам, генералам... А графы-то и князья – ни слова! Прижукнулись. Нет теперь никаких правое! Сил-то им нет. А министры прислали будто депешу строгую и ничего из нее не видать. Читали-читали, так ничего и не прочитали. А стоит одно слово: возвратить! Такая-то скорбь! Ограбили и ограбили! Сирот-то...

– Да, казаков ограбили! – сказал гусятник. – Си-ро-ты!

– Да промысел-то Господень устраивал, – недоуменно, возведя очи на гусятника, пропела монашка. – А теперь грозятся за 40 годов прбцент требовать. Будто за двести тыщ!

– С молотка и продадут! – сказал кто-то из солдат. – Ну, как же не уничтожить вас, чернохвостую команду!

– Да за что же-с, спаси вас Господи?!

– Братцы-ы!! – завопил вдруг один из купавшихся, хлопая себя по втянутому бурому животу. – Нашел секрет! Во почему мы на мель-то все садимся! Наше-ол секрет!

Потянулись головы за борт.

– Ну, какой секрет?

– А вот! – кричал голый человек, показывая на пароход и подпрыгивая в воде – А вот плянь-ка отсюда и узнаешь! Читай, чего написано: «Хо-зя-ин»!

– Го-го-го!! – загремело, заухало, затопотало и покатилося по реке.

Все смеялось, и матрос, опять подползавший на якорю, и капитан, вытиравший залысину красным платком, и учитель, и даже монашка. Смеялось и солнце в реке, и в небе.

– Вот она, главная-то причина! Теперь все хозяева на мели! Го-го-го! Перекрасить надо!

– «Трудящий» пусть!

– Нет, «Гражданин», «Россия»!

– Есть это! Товарищи: «Свобода»!

– Правильно! Побежим шустрей! Слободней ему будет! Эй, маляры! Которые маляры? Живописцы! В новую его веру окрестить!

– Могу! – отозвалось с кормы, и ловивший «на мушку» тощий солдатик замахал фуражкой. – Краски давай, кисть!

– Товарищи! – кричал капитан, топоча сапогами-бутылками, на которых смеялось солнце. – Да погоди... а, черти полосатые! Братцы! Вот, черти! Стой, слово скажу!

– «Хозяина» желает. Крась!

– Братики! Да погоди!.. Краски с собой нету! Возвратимся, сами перекрасим, – взмолился капитан. – Товарищи! Христом-Богом прошу... помогите, без вас не слезу! Станьте на багры, други! Да враз! Бо-гом прошу!

Голос ли капитана пришелся по душе, деловой ли и братский тон или так весело и светло было на реке, но вдруг, как по волшебству, изменилась картина. Бравый унтер-офицер, с крестиком, что шептался с девицей, командно крикнул:

– Товарищи, берись! Что, в самделе!

– Вали! Где багры! Эй, кто матросы? Якорь сажай!

– Шесты, с этого борту! Тащи его с якоря, черта! Ползает как стерва!

Трое скovyрнули матроса-Васю с якоря. Пошел ворот скрипеть. Багры, как паучьи ноги, впились в плотный хрящ. Залапало колесо пластинами – задний ход. Треснуло, словно распоролось днище...

– Уррра-а!

– Вот она, сила-то, как играет, – сказал гусятник. – И чего только можно натворить с народом! Миг один!

– Давай мерку! – хмуро сказал отряхивавшемуся Васе солдат. – Я дело знаю, по Волге плаывал! С вами до ночи не доедешь, с чертями!

Он вырвал мерку и пошел на нос, показав капитану шестик.

– Четы-ри-и! – прокатился резкий, уверенный окрик.

– Ту-гу! – весело вскрикнул пароход, и поплыли берега, пески, рощи.

– Теперь, видать, доедем! – сказал гусятник. – Руки взялись!

Июль 1917 г.

(Русские ведомости. 1917. 16 июля. № 161; 23 июля. № 167. С. 2–3)

IV. «Перекасти-поле»

*Тяжело – хоть плачь
Смотришь: через поле
Перекасти-поле
Прыгает, как мяч.*

А. Фет.

I

Далеко внизу, за балками, за виноградниками – море. Синее, пустое: ни паруса, ни дымки, ни точки. А погляди на север, – горы, камень, темные волны леса, золотые пятна зреющих нив. И над всем – опять синее, без отметинки, небо.

А вблизи и вокруг светлые виноградники, белые дачки, белые дороги. Глянешь в конец веранды, – на версты тихая долина, цветные точки коров по дубнячку на взгорьях. Вспыхивает в лесках белая пелена: это автомобиль высверливает дорогу. Тихо. Накипает жара. Постукивает мотыга в балочке.

– А дыньки-то бы полить к вечерку!.. – доходит лениво-ласковый бабий голос с соседней дачки.

– Мо-жно!.. – отзывается из балки потукивающий мотыгой.

Эту дорожку прокладывает хохол Иван. Бьют внизу в таз, в пансионе, к чаю. Выстрел... Это другой хохол, Смородина или Калина прозвищем, шугает дроздов. Трещит кто-то в кустах лавровишни, закрывших перед верандой море, – словно медведь лезет. Это – беломордый Милаш, теленок, которому всего три недели, бродит по саду и учится объедать виноград. Он выдирается из лавровишни, останавливается и долго смотрит: учится жизни. Темен и незнаком

ему светлый мир, а вчера уже приезжали татары и торговали под нож. Учись пока! Вчера он долго жевал носовой платок, теперь принимается за полотенце. Ну, соси, соси... Не кажется ли и тебе, как и мне, когда я бездумно пляжу на море, что нет ничего больше и никогда не будет? Море и... полотенце. А все-таки ты счастливый: не знаешь, что татары сторгуют тебя под нож. И вовсе не сказка это синее море. И не по-сказочному оно пустынно. Постукивающий в балке хохол завтра опять уходит в свой полк, и некому будет поливать дыньки. А сейчас принесут газеты, горы раздвинутся, и там – Россия... Есть там тысячеверстная полоса, – война Счастливый, ты ничего не знаешь. Оттуда я получил вот этот конвертик. А сегодня, не знаешь... будет? Этого и я не знаю.

Слышно топанье с горки и нежное, детское ля-ля-ля... А, Комбинэ! На дорожке к веранде, у высокого кипариса, сидит беленький голоногий человечек с черными ножками, с черными лапками. Сидит на корточках, в своем «комбинэ», как она называет штаники с лифчиком. Она постарше телка: ей три... года. Но она тоже учится жизни. Возьмет коробку из-под сардинок или шишечку кипариса и спрашивает:

– Это по-те-му?..

Теперь она нашла на дорожке раздавленную зеленую грушу, с которой уже трудятся муравьи, и боится потрогать пальцем. Ветерок с моря поигрывает в ее светлых кудряшках.

– Здравствуй, Комбинэ!

Она попрыгивает по бетону веранды упругими пяточками, глядит на меня облупившимися щеками и драным от солнца носиком-пуговкой и говорит, таращась:

– У меня синие г'аза.

– Это по-те-му? А как тебя зовут, Комбинэ?

– Гаина Никоявна Богатёва! – говорит она быстро-быстро.

– Богачо-ва?! Эге! Ну, по нынешним временам это... это, Комбинэ, не тово... не годится! – говорит мой приятель, высматривая из-под лавровишни.

– Это по-те-му?..

– Да уж так. Лучше будь ты... Бедняжкина. А то вот приедут татары и тово-с...

– Тово-с... – вдумчиво повторяет Комбинэ и смотрит, как Милаш жуует старую газету.

– И про-пишут тебе ижицу!

– Это по-те-му-у?.. – плаксиво говорит Комбинэ и растягивает пальчиком рот.

– А вот потому... не будь Богачова! Спроси-ка у Милаша... он, брат, умней самого римского папы!

– Папы... А мой папа... на войне уби'и... зивотика...

Милаш отжевал газету и тянет со столика салфетку. В тишине долго живет звон ложечки.

– М-да, это плохо... Это совсем, брат, плохо.

– Это потему? – показывает вдруг Комбинэ на кипарис, в котором торчит газета.

– А это такой умный кипарис, газету читает. Он, брат, все-о знает. И почему ты Бедняжкина... Поче-му-у? А ну-ка, спроси. Кипарис-кипарис, почему Галина Николавна тово-с... Бедняжкина?..

Кипарис крепко пахнет смолой и молчит. Комбинэ ждет ответа. В тишине потукивает-потукивает мотыга.

– Даже и кипарис не знает! А он – старый кипарис, умный... ишь, какой! Все видит, а не знает! Ну, тогда, значит, никто ничего не знает.

– Это по-те-му?

– Ну, почему... а я почем знаю, – почему! На вот тебе грушку и жуй. Тогда все знать будешь.

– Да...

Она берет грушку, – «зеленое масло», – и вонзает в теплый мягкий бочок два своих белых, острых зубка. И вдруг отдергивает руку и пугливо глядит: по грушке бегают муравей.

– А этот зверь называется ма-ла-вей! – говорит мой приятель. – Он, брат, тоже любит груши и фамилия ему... Гоген-Цоллерн! Не знаешь, а?..

– Не-эт... – плаксиво говорит Комбинэ.

– И не надо. А «домик паромщика» знаешь? Все нет! Ах, ты, какая... умная! И цели войны не знаешь?! Молод-чина!

– А мой папа... на войне уби'и... зивотика...

– Да ладно, это дело известное. Ну, не обижайся. Вон и Милаш не знает Кто же тогда знает?!

Кто-то идет к нам. Катятся камушки, слышна бегущая, прыгающая поступь, и на веранде появляется человек.

– Добрый день вашей милости!

– Вот, Комбинэ, кто все знает-то! – говорит мой приятель. – Вот этот дядя зна-эт! Он и про продовольственный вопрос знает, и про Бога, и про сметану на базаре...

Это – Горчица. Лицо и руки у него в пятнах-веснушках и кажутся забрызганными горчицей. Подвигается он верткой походкой, словно взвинчивает гибкие ноги. На нем песочного цвета курточка, такие же, очень тонкие, брюки в обтяжку, измазанные в глине желтые баретки и полотняная сумка с хлебом и неведомым инструментом. Картузик на нем спортивный, шведский, и тоже в глине. Голова маленькая, с бегающими зеленоватыми глазками, рыжие усы – ниточки, острые нижние скулы, обожженные солнцем до синевы. Он худощав и вертляв, губы тонки и плоски, и весь он какой-то костяно-щепной, – верткий.

Пропало тихое утро. Я закрываю глаза, – и передо мной вместо синего моря опять выявляется надоедающая мне последнее время пологая котловина, сплошь захваченная желтым, сухим и колким перекасти-полем. Она тут, за взгорьем. Вчера я долго глядел на нее сверху. Для винограда место, или пусть бы росла тихая травка... Зачем здесь перекасти-поле?! Оно неприятно-сухо пошуркивает в ветре, бесплодно для жизни сохнет, срывается и прыгает бестолково. Отшвырни палкой, – и покатило, попрыгивая, попало под встречный ветер, – и опять тут, и опять скачет. Откуда и зачем попало оно в эту тихую котловину? Сгрести бы в кучу да сжечь: гореть будет жарко, с трескучим шипом.

– Доброго здоровьица вашей милости!

Он присаживается на балкон веранды, захлестывая ногой столбик, и принимается скручивать папироску, вертко зализывая бумажку.

– А дозвоьте вашу милость спросить...

Опять! Вот уже больше недели мы говорим, и наши слова скручиваются в странно путанный ворох, – сжечь только! Падают

сухо, и... трах! – ломаются. И на целый день остается усталость и безнадежность. Да и мешает делу. Горчица является отработать, получает по восемь рублей за день, а работы почти не видно. Этот столик, с готовыми ножками, делал дня три. Но надо же человеку отработать триста рублей, прихваченные на постройку дома! Теперь за ним к пятистам. Я загадываю, сколько он отработает к сентябрю, – и по моей арифметике выходит что-то под восемьсот.

– Нашел вашей милости покупателя для свинок... – говорит Горчица, облизывая губы. – К примеру сказать, как я не лиходей вашей милости... по сорок рубликов пуд. Ну, конечно, как бы сказать... – думатца так, что вашей милости подойдет, как ежели узять на глаз, чего их прокормить станет по ценам современности! При таком случае я, конечно... как я не лиходей вашей милости, говорю: прибавляй неуклонно по пятерке! Ну, только что, ежели посчитать, как бы сказать в выражение того, что...

Я закрываю глаза и слышу: сыплются, сыплются сухие ломкие прутья, – тащи, вороны, на гнезда!

– Этот номер не пройдет! – рушит всю эту сушь приятель.

– Дозвольте внести, как сказать... подправку. Думатца так, что... по настоящему делу гляди, расчет не выйдет. Н-но... ежели, извольте вникнуть в центр сути... потому как я не лиходей вашей...

Комбинэ сосет грушку и смотрит на Горчицу во все глаза: он все знает!

– А скажите, Никифор... – говорит мой приятель. – Вас выбрали в продовольственный комитет или... что-то вы вчера говорили, в Учредительное Собрание? Разве уж...

– Покуда для продовольствия населения, как сказать... как я это дело очень наблюдаю на практике. Я так объясню вашей милости... как я во флоте служил, свет, понятно, видал... а то у нас вовсе темный народ... никакими фонарями не осветить! Но как же меня можно ровнять, как я вовсе темный человек... с образованными которые! И, конечно, как бы сказать к примеру... мне от народу уважение, как я могу четко говорить на митингах! Но я, прямо, можно сказать, дурак... ежели, к примеру, взять вашу милость! Но раз нас интигенция оставляет на произвол судьбы, то, значит, я должен нести эту... Вчера господин инженер на митинге выразил... такое слово!

– Обязанность?

– Нет, резкое такое... мини...?

– Министерство, что ли?

– Забыл. Мис... мису...

– А почему не нравится вам всем понятное слово – обязанность?

Вам непременно ми-сси-ю?!

– Как вам известно! А?! И не слышали, а... Самое оно. Еще одно слово вчера узнал: ка-птиж!

– Каптиж?! Не знаю. Может, каптаж?

– Нет... кон-тация?..

– Кооптация?! Это когда...

– Узнали?! Оно! Теперь слов на-ко!.. Вот господин инженер у нас, конечно, как сказать... демократ настоящий, рабочий человек, какие слова загибает! С нами ходит в продовольственной комиссии осматривать... ну, и, как бы сказать... подпо-ра! Влияние дает! А ведь отдохнуть приехал. Значит, сочувствие! Намедни как узя-ял, как стал греметь! Змеи, анти-демократия! Потому, как сказать... муку прячут, и неравномерное определение продуктов. А тут супруга этого самого генерала, извольте знать, пансион-то этот самый... Кригер-то этот как загрозится, а я и говорю: «Вы, говорю, опять-таки генерал, и по-старому желаете людей душить и распинать, и двуххвостками... Но мы вас сами теперь за усы можем потянуть!»

– Та-ак... Ну и что же он?

– Кровью налил, боле ничего. Мы его с митингов наших окончательно выставили. А то повадился ходить, разъяснять. Дураки мы, не понимаем! И Клошкина тоже вон. Ведь это что! У одного человека боле милиёну!

Дошло дело до богачей. Богачи у Горчицы – все, кто больше его имеет, кто приезжает на дачи, кто может засадить табаком десятину. Сам он рвется выбраться в богачи, уже купил участок и вывел домик.

– И вот господин Клошкин заявляется к нам на митинг...

– То есть, приходит на общественный митинг?

– К нам! Интелигенция теперь, конечно, избегает... не ндравится наше рассуждение! Мы уж своими средствами.

– Почему же избегает? Что все выставляете?

– Ну, как это вы все, ваша милость... Разве я лиходей образованного народа?! Которые трудящие, вот они, и вы, или там

инженеры, дохтора, учителя... Это самая кость, как бы сказать, земли!

– Соль земли?

– Верно, соль. Но тут был на митинге у нас спор, который труд легшей... фи-зический или, к примеру, вумствен-ный?

– Ага. Ну, и как же порешили?

– Ну, как бы сказать вашей милости... – Горчица прикидывает и меня, и приятеля. – По науке выходит вумственный, ну, а на прахтике без физического труда демократии, как бы сказать. Ну, может нешто самый даже ученый инженер построить, хоть бы сказать, мост безо всякого народу? Или солидное здание, водопровод там или кресер? Никак не может.

– Как это верно! – говорит мой приятель. – И можно ли, к примеру говоря, без лошади втащить на гору сюда бочку воды? Инженер не осилит.

– Понятно, как тут были и учитель, и инженер, и дох-тор... все хорошие господа-демократы, мы говорим враз: «Труд вумственный шибчей мотаает». Но тут дохтор как вскочит! – «Господа-товарищи, дозвоьте мне внести прах-тическую подправку! Раз я всю науку про человека произошел физически! Я сколько опираций произвел по всей форме... но что, говорит, я перед рабочим человеком! Я в чистоте, курю папироски и на мне поту никогда не бывает, потому как я всегда в чистом белье... и живу-существую в чистом воздухе, и все мое воспитание самое сытное, и вино хорошее навсягды пью – и труд вумственный совсем легшей, никак нельзя ровнять!» – Очень жалеет демократию. – «И жалованье я хорошее получаю за такое удовольствие. И преклонитесь, как бы сказать, все перед трудом физическим!» – Ка-чать! Приятно было всем слушать. – «Вам, говорит, наша наука доказала безапелляционно, пять бы часов надоть всего работать, а то гибельные последствия на детей. А мы можем безо всяких последствий работать хоть пятнадцать часов!» – Хирург! И вот ваша милость даже ночное дело работаете, пишете за ланпочкой... – ласково говорит Горчица.

– Могу в чистом воздухе. А Клошкина-то за что выгнали?

– А за его супругу. Жалиться стала: «Ко мне ворвалась комиссия продовольствия, а я берегла! Протчие поели, а я берегла!» – Ну, сахару нашли у ней... Купила, говорит, когда еще вольный был! Ну, ваша милость... на взгляд равенства разве можно допустить, хоть бы у ей и

три пансиона было... – «Эти, говорит, члены ваши вошли ко мне и бабы!» – Стой, какие такие ба-бы? почему ба-бы?! Раз все сословия теперь женщины, то почему ба-бы?! – «Я, говорит, в мыслях не имела оскорбить, а так, по привычке... женщины вашего брата!» – А?! Ну, ваша милость, прикиньте, как бы, к примеру, про вас так... вашего бра-та! И тут инженер наш... да вы видали, рыжеватый да еще шевелюра у его обросла, как сказать, растительностью... уж и горяч, беда! Именье тут все собирается заводить, приглядывает... – «Это что же такое, говорит... издевательство над демократией? Мало им, что людей на собак меняли и пороли, и, еще, как бы сказать... ин... интеграт?!»

– Как, инте-грат?! Инквизиция, может?

– Да, похоже так. И сейчас ко всему нашему собранию: – «Товарищ доктор! Выскажите свой кон-петентный взгляд на это безобразие! Что такое, ихний брат и наш брат? Как они вот во всем белом здесь и у них пансион, а мы все, можно сказать, пролетарии, то какое различие? Или кровь, может, у них красная-голубая, а у нас и вовсе черная? Или, может, у них и кость особенной покраски, белая или там зеленая, и ребры, может, у них какие голубые, – вот грохоту-то бы-ло!

– А у нас – черные?! Вы, как бы сказать, хирург, то вам известно на прахтике. Скажите, как на экзамене, как эксперт... по науке! Швырните им в лицо слово науки!»

– Здо-рово загнул! Умный?

– Прямо, шпикулентная голова! С на-ми кружи-ит! Выберем его во все комитеты, всегда поддержит! И откуда взялся! И приехал-то с месяц, а теперь как свой брат. Ну, доктор, конечно, сейчас на подмогу, и говорит: «Могу, говорит, свидетельствовать под присягой, что никогда во всей моей прахтике не видал разных костей, а все одинаки. И вот, как бы к примеру сказать, ежели взять косточку от этого вот господина генерала, – на Кригера-то! – и хоть бы вот для слички косточку от товарища-дрогаля, – ни малейшей разницы!» – «И кровь одинакая?» – «И кровь». – «Ага! Они себе кости зеленые присудили?! Вон! Долой!!!» А Клошкин встал и говорит: «Господа!» – Никогда товарищами не называет! – «Я вижу, так что дело к тому идет, что вы свободу на пустяковые слова и препирательства хотите разменять! Вы

вооружаете сословия и не даете спокойно работать! И чего вы добьетесь?» – И вот тут-то мысли его и объявились!

– «И добьетесь вы того, что будет старый режим и будут вас жать худшей!» – Тут я, не соврать вашей милости, и скомандовал... как я могу не терять в присутствии духа, а то все затихли: вон его, контрреволюционера, раз он на старое метит! Чтоб не было ему доступа на митинги!

– Значит, благородным манером...

– Выставили! Взамен того, чтобы разъяснить нашему темному народу и учить по правде держать нашу руку... нас ведь масса! Ну, теперь в Учредительное первым делом пошлем инженера и демократов.

– А себя не выставите?

– Ну, как сказать... склоняют некоторые, потому, я строг нащот революции и по этим... по реформам. Меня шибко слушаются. Меня, как сказать, из слова вышибить никто не сможет! Не алтуфий какой, форматы могу устанавливать. Былое дело, как попа в топке сожгли... Говорят – из топки голова женщины! Волосы у попа длинные... ну, гляжу – поп! Одна голова осталась, выпала...

– Это по-те-му? – спрашивает Комбинэ. Смотрела она, как Милаш обсасывал баретку Горчицы.

– А вот, намедни, как я попа... в щель, прямо, забил! Пришел к нам на митинг как путный. Спорим про труд, который легшей. Вот долгогривый встал и тоже со своим двугривенным: «Я тоже, говорит, понимаю про труд, что надоть восемь часов... в это я непоколебимо верю!» – Кеэк под его подкачусь... ах ты, стерволюда! – «А-а, вы теперь непоколе-би-мо верите? Вы теперь за народ? А как вы про крамолу молитву читали, тоже непоколе-би-мо верили про крамолу?!» Глянул на меня сентябрем, а я на его а-вгустом! – «Вам, говорю, не место тут, с демократами, как вы самый есть контрреволюционер!» Теперь ни ногой! Ну, что мы, ваша милость?! Все мы в темноте, как свиньи в грязи... нам нужно настоящее просвещение науки, а нету настоящих людей. Начнут разъяснять, а все нороят напротив!

– А надо, чтобы вам нравилось? Это и будет просвещение?

– Да ведь не вовсе слепые! Общее равенство надоть по науке! Я, как бы сказать вашей милости, человек вовсе темный перед вами или

хоть бы перед их милостью... а вижу сволоту. Зачем обман?! Я ничего, конечно, не признаю, никакой веры, как бы сказать. Ну, Бога кто видал? Есть, которые богов бьют, дикари там или... А то обманывают, чтобы сосать... как вот пиявки. Я им доказал на Афоне!

– Да вы, Никифор, по всем вопросам...

– Шарик, понятно, играют. Приходим на Афон всей эскадрой, заканчиваем кампанию. Спустили нас на берег, приказано к мощам приклататься. Ну, построились в затылок.

Ну, думаю, как бы это мне им открытие сделать, для всех свидетелей! Понятно, подхожу, руку это пристроил, а монах чует. Говорит – не подымать покрыва! «А, говорю, вы, может, тут пустое место прикрыли, как я могу знать?» – Откинул с уголка – рука, живая декорация! А-а... палец и отломал! А там... фитиль! самый как ланпадный фитиль! – «Это, говорю, из какого такого матерьялу сработано?» – Да в нос ему! Тот – ах-ах, а я пальчик-то тррах! – и еще сломал! В-воск! Принес старшему офицеру... ну, сказать, был хороший барин, как бы вот ваша милость. – «Вот, говорю, ваше высокородие, как монахи... на что воск-то у них идет, мануфактура мощей!» Да в свечку и сунул. Закапало! Вот испугался! «Побожись», – говорит. А я божиться и ногами умею. Вот – хрест не гнись, святые не вались! – «Ну, говорит, и дерзкой же ты, Лейкин! Страшно с тобой!» – Выкинуть велел в море, не показывать протчим. Теперь во всем этом море вода святая через меня!

Он крутит усик и загибает картузик лише. Нога его отплелась от столбушка и играет.

– Но дело не кончается. Съехали опять на берег, водки достали на сто рублей в складчину... в духане, верст семь, укрепились в натуральную величину. Сейчас монахов потребовали на контроль. А с судов сигнал: вертайся! Это еще перед тем восстанием. Не желаем сигналов! Спустили тогда на нас стрелковую роту. Взять огнем! Передалась, с нами стали гулять. Гармоньи, скрипки! Все монахи прижукну-лись, в страшном поту. Потребовали ихняго анхимандрита. Болен! Хочь помирает, а пускай с нами беседовать идет про веру! Желаем все узнать про веру и тайны! Испужались. Расшибем всех к чертовой матери! Предоставили нам пузатого монаха, под анхимандрита. Взяли мы его под руки вежливо, поднесли водки ковщ, – пей-лакай! Побелел! То рыжий был, а тут седой! – «Вы,

говорит, и-и-и... и-и-и...» Ну, отошел. – «Защити, говорит, язык ваш от слова одного, а не чтобы мне водку пить!» Пей, а то в пузу вольем! И накачали мы его! Тут сам энтот, по малу время, анхимандрит заявляется, отболел. Ну, по-человечьи нам обсказал: душа у кого тишины желает – тот и живет тут... и у каж-ного свой Бог. Вреду ему от нас не было. Мужик он допрежде был, хозяйство нам показал. Нет, ваша милость, надо обязательно всю леригию перетряхнуть. Вот попа скоро будем оспоривать, митинг устрою. Инженер доклад читать обещал.

– Ну, а по народному образованию или про финансы что скажете, Никифор?

– Про финансы... Я, как сказать, темный человек, но рассуждаю так, что финансы надо делать в настоящем смысле. Один чтоб налог, – на роскошь! Дорогое все обложить...

– Землю, фабрики...

– За-чем! Земля – трудовому народу, фабрики – рабочим, на прибыль...

– Что же облагать-то?

– А капиталы-то! Эна, миллиарды капиталов! Но все за границу попали. Невода-то у нас, выловим. И раз интили-генция от нас воротит, нет нам указаний на почве лозунгов, то... сами постигнем! Так я рассуждаю: я, как сказать, вовсе темный человек, может, даже и кость у меня какая синяя, ну, а уж если назначут ото всего народа... в Учредительное, к примеру, – надо потрудиться. Вот, может, у вас нащот государственных делов книжечка какая есть?..

Сыплется и шуршит хворост. Эй, галки, растаскивай! Но нет галок. А Никифор уже положил обе ноги на балкончик и только-только входит в аппетит. Он закидывает вопросами: почему это никто ничего не пишет – не просвещает? Почему нет настоящего просвещения? Почему «ученые люди, которые должны бы, как сказать...» – не ходят на митинги? Почему?..

Мы говорим и ломаем хворост. Он слушает краешком уха и посмеивается тонкими губами, делая вид, что это ему все известно, пустяк! И опять начинает: «Господа, понятно, умеют складно сказать, но ежели все разобрать с точки демократии...»

И я с тоской спрашиваю себя: почему он ничего не желает знать? Почему кривит губы и такой колкий? Почему бегают глаза и слова

валятся, как сухие листья? И еще думаю: что было бы, если бы он и многие-многие сняли с души колючую оболочку, глубже пустили корни в землю и верили не слову ветра! И еще думаю: он усох, его носит ветром, и он скоро сойдет. Нужна новая почва и новое семя. Конечно, оно поднимется.

III

– Ну, а как с домом? Железо брали почему?

– Теперь железо полсотни рубликов. Да и нету. Ну, как это, ваша милость, в образованных, как сказать, руках буржуазии было самое дело – синдикат... а гра-беж! А как я вообще бедный человек, то... в порту в моем ведении смоленый брезент... то штучку, конечно, приспособил, обтянул крышу. Вот телочку бы мне такую на раззавод!

– Это бычок... – говорит мой приятель.

– Ежели бы к осени тыщонку, к лету у меня – двенадцать тыщ было б! Вот у нас жид-еврей один... Не люблю я их, но этому в ножки поклонюсь! Просто сказать – беженец, квасник, а теперь за двадцать тыщ вчера купчую совершил! Такого я уважаю!

– Подрабатывать ему будете?

– Да, имели некоторый разговор, интересовался моим взглядом по ихнему вопросу, – уклончиво говорит Никифор, вертко обсасывая губы. – Еврейский вопрос, как бы сказать... не так, чтобы... Я национальность признаю, как, вообще, всякое существование должно себя оправдать... но только, конечно, жида... Их вопрос будем скоро разбирать на всякие резоны. Но этого жида я, как сказать, уважаю. Есть, понятно, которые дрогали, как сказать, не возражают, што...

Видно с высоты, как цапается по горке согнутая фигурка. Я знаю: это – занесенный сюда с далекого севера дряхлый сборщик на храм, один из «Власов». Видит его и Горчица.

– Вот они, и все для обману! Все бы на полезное надо, церкви бы все разломать на школы или дома для митингов... просвещение напускать. А эту бы сволоту, – показывает он на цапающуюся фигурку, – рука бы не дрогнула, пришиб бы как мокрицу! Тыщи набирают!

У него глаза колко смотрят и холодеют. Вот они, настоящие-то его глаза!

– Понятно, контр-революционер! – говорит приятель. Горчица прикидывает, – не смеется ли «ваша милость».

Но лицо приятеля серьезно, только уголок рта подергивается.

– Комбинэ! Госпожа Бедняжкина! Вы, конечно, все поняли?

– Да, – с готовностью отвечает Комбинэ. – У меня – г'аза синие.

– Правильно. Ну, давай-ка свой драный нос, я его сейчас...

– Это по-те-му?.. Я – умная...

– Ужасно! Ну, иди-ка ты, госпожа Бедняжкина... ляг вон на солнышко и зажмурься.

– А по-те-му? Так?

– Так. Солнышко сказочку тебе расскажет.

– А тево? А Милаш – умный?

– А вот... что вот Милаш ходит себе по саду, жует платки да груши. А еще скажет, кто тут самый умный. Ну, кто, а? Ну?

Мой приятель пристально-усмешливо смотрит на голоногую фигурку. Она запускает черные лапки в разрезы штаников и выворачивает кулачки.

– Ну, так кто же самый-то умный, а? Ну, скорей! Комбинэ лукаво оглядывает нас, присаживается на корточки и лукаво шепчет:

– Я-а... – и широко разевает белозубый рот.

Горчица подмаргивает усом, пощуривается, и начинает быстро-быстро качать ногой. Комбинэ следит за желтой бареткой.

– А если вас, госпожа Бедняжкина, спросит какой дядя или тетя, почему вы – самая умная, так всем и говорите: я... са-ма-я... умная... потому, что ни-чего не знаю и все спрашиваю: по-те-му? Поняли? Ну, повторите: я... са-мая... у-мна-я...

Горчица так раскачивает ногой, что Комбинэ, повторив «я самая умная», вдруг оборачивается к ноге и говорит:

– А у дяди нога плягает... потому?

И на веранде становится совсем весело.

Август 1917 г.

(Русские ведомости. 1917. 20 авг. № 190 С 2–3)

Зашел я как-то на одну из московских окраин. Где еще недавно тянулись огороды и в высокой спарже полеживали местные жулики, – теперь тянулся квартал домов однообразных, без единого садика. Чисто, ровно, и скучно. Должно быть и люди скучные живут в них: нет ни скворечников, ни голубятен, ни крыш столетних, на которых растет лебеда, ни закоулков с просвирничком, ни рябинки, ни бузины. Бывало, наткнешься на флигелек, – заглядишься! Или «итальянское» окно попадется с цветными стеклами и кошкой в выбитой четвертушке; или такую ввернет резьбу на ворота и под гребешок крыши какой-нибудь «отставной фельдфебель, и потомственный мещанин Потатаев», что сразу постигаешь: и какое лицо у Потатаева, и как он поживает за крепкими сосновыми бревнышками, и какие настойки пьет. Или увидишь вдруг в настезь открытые ворота вывешенный на солнце цветастый ковер с пятном какого-то происшествия и сухенькую старушку с веничком... И опять – целое откровение, и новая повесть жизни. А тут, на этих желтых и синих ящиках только одно написано: живут люди. И хочется дальше, на старую стройку. Уличка за улицей выводит меня к садам и тупичкам. Тут приятно пахнет августовской садовой сыростью, горечью усыхающих тополевых листьев. Смеется в вечернем солнце обильно-красная в это лето рябина. Девочка с белой косичкой сидит под забором, с кистями рябины в коленях, и вся-то ушла в чудесную работу: нанизывает ягоды для кораллового ожерелья. Мальчишка с рябины кидает в меня свежим пучком и называет «баржуем»... И даже это новое слово не может развеять охватывающего меня волнения.

...Август, холодеющие вечера, галки в стаях. По садам – тихие, грузно завешенные рябины. Бывало, прибежишь из гимназии и – в сад: не оборвали ли рябину, оставленную до морозов? Залезешь на нее, устроишься в развилке сучьев и почитываешь «Великого предводителя аукасов». И ешь до оскомины упруго-лопающиеся горькие ягоды. А сам – далеко-далеко, и какие чудесные дали видишь!.. И сердце бьется высоким чувством, и душа жаждет чудесного геройства. А завтра – к Ивану Гаврилычу, в лавочку букиниста, покупать-менять новые книги. Не новые, а двадцать раз проученные другими, в чернильных пятнах, исчерченные цветными карандашами.

Великое обновление эти старые, закапанные книги! Теперь все по-новому будет, – даешь себе слово, – и лучше буду учиться, и читать буду только серьезное, чтобы знать жизнь. Успенского читать буду и... «Приключения Рокамболя». Лежит в уголке окошка у Ивана Гаврилыча... А вот и темная лавочка, всегда горит лампа, и в грудах книг, всегда в шубе, с поднятым лисьим воротником, повязанным красным жгутом платочка, – счастливый обладатель сокровищ, Иван Гаврилыч. Сунешь ему робко связочку старых книжек, уже ненужных, и вымениваешь на Цезаря или Ксенофонта... Больше тридцати лет тому, а как ярко!

– Вот тебе самый лучший Ксенофонт... и без разговору! – строго скажет Иван Гаврилыч, сунет запыленный томик, и не откажешься.

Сурово глядит из-под лохматых бровей, над опустившимися к самому кончику носа, железными очками, и чувствуешь к нему великое уважение. Все книги знает! Всегда что-нибудь толстое читает под своей лампой. Разговаривает с солидными господами про «Историю цивилизации в Англии» и называет много незнакомых фамилий. Я уже тогда, маленький гимназист, знаю, что есть Спенсер, Мингл, Шлоссер, Дарвин и Бокль. Я, конечно, все это буду читать, попрошу совета у Ивана Гаврилыча. А в годы студенчества... Помню, подмигивает хитро над теми же очками и шепчет таинственно, по-приятельски:

– По старому знакомству, бери на прочет господина Чернышевского «Что делать?». А принесешь, дам... только под секретом! – сочинение Летурно... замечательная книга! «Прогресс нравственности»! Цен-зу-ра сожгла... – совсем тихо-жутко говорит он. – Дам тебе почитать. Надо просвещение делать!

Уходят и уже ушли из жизни эти хорошие русские люди, по-своему, любовно и без корысти, служившие просвещению. Сплыл и Иван Гаврилыч. Живет где-то на здешней окраине, я знаю. Мучается застарелым ревматизмом. Уже больше часу брожу я по этим тупичкам и закоулкам, где у него – свой домик. Он мне не нужен, но раз я попал сюда, – хорошо бы найти, вспомнить далекое прошлое... Я читаю ржавые вывесочки на воротах, отыскиваю какой-то Кривой или Короткий тупик, – не помню. И вдруг совсем неожиданно, в тупичке, я вижу... Иван Гаврилыч! В своей вылинявшей до желтой зелени шубейке, с вытертым лисьим воротником и в валенках, сидит он на

лавочке у ворот серенького домика, в четыре окна, на вечернем солнце, под свешивающейся грузной рябиной. Перед ним – трое мальчишек, показывают на рябину.

– Всем по гривеннику и... без разговору!

Вот оно, его увесистое «без разговору»! И скрипучий голос, и острый взгляд поверх очков. Только не с проседью острая бородка, а совсем белая, нос сизо-багровый, старческий, и лицо водяночное.

– Пожалуйста! – с сердцем кричит он мне еще издали, тыча в мальчишек палкой. – По пол-тиннику требуют оборвать рябину!! Вот, мошенники! Сопляки, а... Да я, бывало, за одно удовольствие!..

– На кой нам твои гривенники! Я в очередях рупь за полчаса нащелкаю... – говорит мальчишка в солдатской фуражке, которая пляшет у него на глазах.

– Рупь?! Я вот тебе такой нащелкаю... Ну, вот, последний мой сказ: собрать всю рябину за... шесть гривен... и без разговору!

Мальчишки, наконец, соглашаются и лезут на рябину. Я напоминаю Ивану Гавриловичу, что так и так. Он приглядывается и как будто припоминает. Но он все же рад, приглашает присесть на лавочку.

– Так, так. У меня покупателей... и не сосчитаешь. Три профессора теперь стали... учителя есть, директор гимназии. Есть люди знаменитые. Поработал в лавочке церкви и отечеству на пользу, – как говорится. А, припоминаю! – говорит он, приглядываясь, – Эге, сесть начали... Ксенофонта-то? Так это вы мне, значит, эту «Сакру физику»-то продали, редкостную-то? Помню. Дело прошлое, нажил на ней пару четвертных... Ну, теперь помню.

Пусть нажил, но тогда эта «Сакра-физика» чудесно выручила меня. Я смотрю на Иван Гаврилыча, – и мне грустно. Если бы опять быть тем, далеким, не знающим жизни, стоять перед ним в темной лавочке, и ждать великого, радостного, таящегося в этих пыльных горах! Сколько впереди лет, сколько еще узнавать нового! Сколько надежд чудесных, которые прекрасно осуществляются!

– Мошенники... – ворчит Иван Гаврилыч, следя за мальчишками. – Сучья не поломайте! Бывало, за две-то копейки «Светлый день» увидишь! А ценишь-то как... На рупь-то-другой книг-то сколько накупит, да драгоценных! Мыслей великих почерпнет! А эти вот теперь швыряются на всякое дерьмо, прости

Господи! А то в оборот пускают, перепродают. Такой-то разврат пошел... С этих вот пор спекуляцией занимаются. Такой пример. Бывало, мальчишка в лавке у меня трется, зажмет две копейки в кулак, – и «Бабу-Ягу» ему, и «Яшку», и все чтобы. А я у этих книжки за целное лето в руках не видал. А энтот, вон, в картузе-то, вчера на целковый на цельный патоки достал, стрескал. Жульничают... Возют мимо нас торф, так они кирпичики по два, по три с возу... в лавочку волокут, продают. Кто чем!

– Ну, они не виноваты, – говорю. – В наше время другие условия были...

– А что? Плохо, что ль, было?! Книжное дело взять... Тогда подстрочники или конспекты эти... за редкость были! Ну, и гимназист был настоящий. Трудящийся был гимназист-учащийся. И студент был настоящий, твердый студент. А теперь все нашеромыжку пошло. Теперь вон, будто, и на задачник подстрочник составили... За две копейки весь тебе университет! Вот год от году больше хулиганов и выходит. И в интеллигенции вашей много хулиганов пошло! Книгу забывают, мысль-то...

– Эге, старые-то дрожжи...

– Понятно, я книжный человек. Книга-то тогда веская была, из тряпки, вечная. А теперь из всякого... делают, на три дня. Бывало, чтобы постигнуть, ну... как там история, хоть бы куль-ту-ры!.. Или государственное право, так – как? Прочитает капитальную какую книгу, да не одну. Историю революции, например... Карно ли, или Мише... или самого Шлоссера, «История XVIII века»!.. – он подумал, поглядывая на рябину, где уже дрались мальчишки и сыпали на нас ягоды. – Или еще капитальней, да в подлинниках... Мишле там, или господина Тьера! Вот он и знал всю суть идеи и развитие жизни! Поучительно! Он и ошибется меньше, если на практике проводит. А теперь, – ухватил брошюрку за гривенник, – такой же, как и он, невежа написал за час с подстрочников, – думает: все узнал, могу! И выходит жульничество.

– Ван-рилыч, больно высоко! – кричат с рябины. – Все обирать не стану, прибавляй двугривенный!

– Вон! Все вон!! – вскакивает Иван Гаврилыч, и машет палкой. – Духу чтоб!..

– Черт с тобой, ладно...

– Душу вымотали окаянные! Вчера курица пропала... третья курица пропадает. Голубей прикармливаю, живут у меня в сарае... выхватил кто-то... Говорят, в трактир к Зайцеву проволокли по двугривенному. Ничего святого нет, и родители не воспитывают. Мужик... он в деревне за это шкуру спустит, а вот наши... Так вот. Раньше книгу уважали, чли! Бывало, студент какой бедный... чуть не рваный, а как схватит уважаемую какую книгу, – руки затрясутся! Обдунет ее, чуть не лобзает от чувства. Чли книгу! Вижу, прямо страдает, вертит ее, из-за гривенника торгуется, последний у него... так даже приятно смотреть. И скинешь, по своей цене отдавал, – с другого выберу, а этому дам за его уважение. Последнее, как Богу на свечку, отдавали! И душа у него была серьезная и чистая. Ему и-де-я, – грозит Иван Гаврилыч пальцем, – дорога и внятна, и он за нее... Моих покупателей, ежели хотите знать, двоих повесили!.. – понизил голос Иван Гаврилыч. – И по идее, а не для улучшения обихода, чтоб пожирней кусок съесть. Его ни за какие деньги купить нельзя было, старого-то студента-интеллигента. Уж он ежели книгу стоящую прочитал, которая вес имеет, – как съел все равно. Она у него вот тут застряла, так с ним и пошла в могилу. Сурьезность была! А теперь... Отчего это, скажите, такое – разных провокаторов развелось?! А оттого, что тут, в душе-то, ничего нету. Настоящего Бога нету! Подменили его пустыми словами, а души-то, кусочка души не дают. Та-ак, нахватает с ветерку вполуха, узнал для разговору, – могу! Образования душевно-нравственного не прикопил, поманили сотнягой, – и оптом, и в розницу торгует чем угодно. Помню, как это... господин Некрасов, кажется, изволил написать:

И много Понтийских Пилатов,
И много, проклятых, – что ли...
Иуд Отчизну свою распинают,
Христа своего продают!

– Однако, плохо же вы настроены, Иван Гаврилыч!

– Что делать, так пляжу-вижу. Пусть я книжный человек, – я горжусь, что знаю! Я более сорока лет жизнь по книгам проверял, недаром в лавочке высидел вот болезнь. Вот тут ко мне сходятся;

летнее время, толкуем. Говорят, – тут рабочие больше, с механического заводу... – как мы чисто революцию-то сделали! Говорю им: «А не вы, други мои, сделали!» – «Как так не мы?!» – «А так. Исто-рия сделала, история развития мысли и культуры!» Ну, и про исторический ход им начинаешь, и про идеи, как закономерность исторического развития... И, – говорю, – революция не сделана, а идет своим ходом. И будет падать и возрождаться, может быть, еще полстолетия! Страсть серчают. Ну, хоть бы кто из них прочитал одну-другую путную книгу, по истории там или по социальным вопросам!

Что такое «государственное право», – не знают! Спрашиваю: Бокля читали, «История цивилизации в Англии»? – «Нам про Англию не требуется!». Ей-Богу. Карлейля читал? – Нет. – Спенсера читал? – Опять – нет! – Господина Ключевского, нашу славу, читал же? – Нет!! – Ну, так, может, господина Чупрова, «Политическую экономию» читал?! – Мы этого вот читали. – Какая цена? – Сорок копеек. – Ну, – говорю, – мне с тобой разговаривать не приходится, раз ты подстрочники только знаешь. И не смей говорить со мной и другим проведывать, раз ты только на сорок копеек знаешь! А каждый все государственные вопросы живым манером решает. Мимо книжной лавки проходил, – все и знает, что в ее книжках напечатано. Спрашиваю: «Вот все про капитал рассуждаете... а теорию и практику денежного обращения понимаете, как суть хозяйственной жизни государства?» – «Не заливайте, – говорят. – Это вы, – говорят, – нарочно так говорите, чтобы прославиться ученостью!». Возьмите их! – «Да, – говорю, – я не достоин, как говорится, ремня обуви у настоящего-то ученого развязать, а не то что!.. Что, можно алгебру или высшую математику, интегральное исчисление постигнуть раньше арифметики?» – так еще спрашиваю. Отвечают: «Арифметика в математике никакого значения не имеет!» А?! А всю политику знает, и все учеты прибылей может установить... Глядеть неприятно.

– Чего же вы хотите? Конечно, рабочий народ не мог получить знаний... сколько даже неграмотных совсем...

– Так не самоуверничай! А узнавай, вдумывайся, разбирайся! Тут ведь не об его кармане дело идет, а обо всей России! Должен же он понимать, что жизнь теперь сложная штука: чкнул в одном не так, – все захлеснулось! А руководители?! И тут вопрос. Руководители! – Не ломай сучья, дьяволята! Что вы, на смех?! Сейчас слезай! Без

разговору! – закричал Иван Гаврилович и опять успокоился, – устал. – Руководители... Какую же ответственность должны нести и какой для этого талант иметь! С самым широченным даже образованием быть! А не по рабочему только вопросу! На «Капитале» Маркса да на разных конференциях далеко не уедешь, нет! Знаю я французскую революцию. Читал газеты, вижу: копию снимают.

– Ну, вы немножко преувеличиваете...

– Ни-чуть! Даже слова те самые! Совсем мы нищие, своих даже слов не можем придумать. «Знать – это уметь предусмотреть!» – сказал великий ум французского народа, господин Монтескье! Я его пять раз прочитал с наслаждением. «Дух законов»! а по-французски – «Леспри-Делуа»! Раз, – говорит, – республика, то... – подумал, вспоминая, Иван Гаврилыч, – что? То необходима страшная любовь к отечеству, а не к одному какому классу! Монархия держится на чести, деспотия – на страхе. И ни одно государство не может удержаться на... жадности! И еще на равенстве надо. Но как понимать это равенство? Значит, надо уметь все предусмотреть. А то и выйдет, как филин у Ивана Андреича Крылова: в темноте-то еще показывал дорогу, а как солнышко взошло, – и капут.

– И вы это всем говорите?

– А чего мне бояться! Я старого режиму не боялся, всякими книгами торговал. И обыски делали, и в участок сколько раз таскали. Я как газету получу, так и начну им лекции читать: тут соврали, не досмотрели... тут опять соврете. Сердятся. «Буржуй вы», – говорят. – «А, – говорю, – раз вы меня ни историей, ни наукой о государстве не можете опровергнуть, потому что вы ничего не знаете по бедности вашего ума, то вы можете с завода вашего принести кувалду и убить меня сразу, раз вы думаете, что это и есть доказательство». – «Это, – говорят, – глупо». – «А сказать буржуй не глупо! Опровергайте меня данными неоспоримой науки! А сперва прочитайте... – список им книг я приготовил! Сорок три книги вышло! – И то, – говорю, – только-только немного понимать будете, как все равно пригготовительный класс». – Одному слесарю дал-таки «Дух законов» на прочет. Всегда при себе держу. Прочитал, приносит. «Чисто, – говорит, – я на небе побывал, хоть и трудно спервоначалу было. Какая, – говорит, – симпатичная книжка!» – Сам их жалею, все

понимаю... И не виню их. Темнота наша проклятая. Но только разврат иде-от... куда приведет – не скажу.

– А вы вот лучше скажите, как у нас тут в округе...

– Хорошего нет. Говорю: спекуляция и спекуляция, как отравы. Вон, домик голубой, внизу – квартирка. Ходила за тридцать два. Приходит Коленкор – зовут его так... раньше коленкором торговал, говорит: сымаю квартиру, но только извольте мне вмазать котел. Для чего вам котел? Говорит в открытую: для варки одного полезного напитку. В таком случае, говорит, заплатите за квартиру сто рублей! Снял!! И вот сижу и пляжу: как он с полезным напитком орудует. Как праздник, – извольте поглядеть на красоту пейзажа. По восемь рублей ему за бутылку платить. Которые книг покупать не желают и познавать. И вот почему я с рябиной этой вожусь?.. А вот. Заявляется вчера ко мне этот Коленкор, – продайте мне вашу рябину по полтиннику за фунт! Вот и велел обирать... Вы что думаете, – ему? Нет, боюсь, как бы ночью сам не обобрал для напитокку. Запарю в горшке, сам есть буду.

– Ну, тут особенно уж отчаиваться...

– Общее падение! Жадность, спекуляция! – даже стукнул палкой Иван Гаврилыч. – Если припомнить падение нравов в Римской империи... какая судьба ждет наше государство! Такое подошло время, что все заторговали. Капиталисты с бешеными барышами безобразничали и прибавками швырялись, и сами себе в карман с государства... так теперь все, все и не только с казны, а с друг дружки. Со всех! Общая свалка! Рвут и рвут, как перед потопом! Старушки, богаделки... и те! Сахарок сберегают и по три целковых дерут! Эти вот сопляки в очередях места продают, какие-то папироски фальшивые набивают из мать-мачехи, чуточку табачку из окурков и – вали!

– С лебедой лучше! – кричит с рябины голос. – Вчерась барину одному полсотни продал за три рубля с полтиной. Дал настоящую пробануть... Сдуты бы с черта пятнишницу!

– Мирониха по четыре продает, из этого... из березового листу с махоркой мешает, духа еще... – перебивает другой голос.

– Вот! Кругом воровство: тряпка – тряпку утащут, метла – метлу, и не ставь. Зима придет – дом растащут по бревнышку.

– Сады обязательно будем вырубать! – упало с рябины.

– Топиться надо.

– А девки! – махнул Иван Гаврилыч палкой. – Каковы наряды! Шали – по пятьдесят, башмачки – по восемьдесят рубликов и не почешутся. Есть ведь по полтораста, по двести получают, больше! И откуда только берут! Книжку-у? Шутите... И газет не смотрят, а... А соблюдение себя... – понизил голос Иван Гаврилыч, – даже под моими окошками проспект по ночам! Ну?! А как эти оклады отменятся? А ведь отменятся! Ведь с концом войны сколько предприятий прикроются, да с трамваем их мужской элемент выпрет, – куда? А нарядов и сладостей она уж попробовала. Куда ей, какая дорога? Погодите-с. Не частности. Везде, всюду. Мы еще этой самой статистики не имеем. Статистики таких болезней и младенцев, живых и мертвых. Ведь есть тут дамы, мужья которых там... а они, эти дамы, по паре иногда кавалеров содержат. Ведь из копеечек рублики, из капелек – океан. А я и из своего тупичка все вижу. Общественная нравственность! Вот она, распутица-то когда наступает! Да не возражайте! Книжки об этом надо писать! Вот у меня жилец, слесарь. Красная ему цена была рубль семь гривен. Ну, по нынешним деньгам – пять-шесть кладите. Восемнадцать рублей охватывает, а понатужится – и четвертной за день! Хорошо?

– Ему, конечно, не плохо.

– Нет, именно ему-то и будет плохо. Потом. Ему, вон, теперь чайку на Воробьевке попить, да семь красных в вечер бросить – плевать. Намедни вон праздник был – гуся да утку жарил, да ветчины, да спирт покупал по рецепту... Ведь, это, чего стоит? Ах, вы, ей-Богу! Да ведь ему потом-то захочется? Ведь уж привычка, ведь бюджет-то гнать надобно будет? Значит, уж нечего разбираться в средствах. Об отечестве-то, которое не выдержит таких цен, будет он рассуждать? Соблазн! Для правильной жизни государства этот азарт полезен? Он вон гуся с уткой ест, а меня, не прожевавши куска, буржуем лает! А я с него за комнату двадцать рублей беру, чего весь его гусь с уткой стоит! Я – буржуй! Я картошкой живу, я вот с «народного-то просвещения» всего и сколотил этот домишко и живу от двух комнатушек. Обидно и за жизнь больно.

– А у самого-то кур сколько! – опять упало с рябины.

– И это на десятки лет пойдет, эта зараза. Почитайте французскую революцию, сколько десятилетий прошло... Но там

такого падения не было, такого азарту и забвения. Все торгуют, – кто чем. А проституция... А церкви пусты. Солдаты из лазаретов заторговали. Текут бумажки. Ну, скажите, какая же охота выполнять государственное дело?! Эти бумажки даже интеллигентных людей с пути сбивают. Ну, кому сладким покажется после эдакой-то благодати, когда в день по красненькой торговлишкой насшибает, идти за соху, в деревню? А ведь тут сотни тысяч, миллионы по России! Статистику прикиньте. Какое разложение вглубь пойдет! Труд я уважаю. Но вот вам опять пример. Парнишка есть тут, гимназист. Ему бы уроки учить, книги бы солидные читать летнее время, – состоятельных родителей сын, – поступил в продовольствие, марки эти выдавать, что ли. Полтора ста рублей! Разврат! Швырянье народных денег! Что он там за полтора ста на продовольствует, – не могу сказать, а вот каждый Божий день в час ночи возвращается из театров. Завел шляпу, галстук, – фуражка ведь у него есть, у сукина сына! – Ведь он эту шляпу сожрал ни за что... полтора ста рублей отнял ни за что, а намерен пляжу, – на извозчике с девчонкой катит.

– Это он с Манькой с Зацепы путается, конторщиковой женой... – опять загадает с рябины. – За духи двенадцать рублей заплатил...

– У-у... – хрипнул Иван Гаврилыч. – Будет он Бокля читать! Как у господина Некрасова... про бинокль замечательно верно!

В голубом домике, у Коленкора, открылось окошко, потом захрипело, заворчал и истомный женский контральто расслабляюще вылил в падающий вечер:

Да-айте-э мы-не-е... на-сыла-жде-э-ньэ-...

А-ах и да-ай-те мы-не-э... упи-иться любо-о-вью-у...

– Вон он, змей-то, где! – ткнул Иван Гаврилыч к окошку. – Помолитесь станешь на ночь, а ту-ут! Упитьеся дайте!

И упиваются.

– ...Ах, дайте мне убиться морковью-у! – по-кошачьи заорали в три голоса с рябины.

– А сколько по разным местам всякой саранчи! Ведь повсюду бумажный дождь сыпучий! И все требуют! Требую – и конец. А попробуй, скажи, что государство вот... Такие-то гремучие слова!..

– Ничего, Иван Гаврилыч. Перекипит, сплывет пена...

– Что пена! Разве не чуеете? Приди, помани какой, пообещай жизни лучшей, заморози словами, – шваркнутся и своих выдадут с головой, кто из идеи действительно. Уж раз тут нету, все с ветру, да для гуся, – прочности быть не может. А ведь *те-то... те-то* за великие идеалы умирали! А вот соседи-то мои милые, – очертил он палкой, – какие идеалы имеют? Слесарь вот мой. Гуся жарит – и хорошо. Так и говорит: гуся от меня не отымут! Теперь кто его этой благодати лишит, – первый враг. «Я, – говорит, – кровью революцию добывал!» Гуся он добывал! – стукнул Иван Гаврилыч палкой.

Мальчишки спустились с рябины и принялись подбирать кисти. И вдруг набежал топот и визг с улочки, и в тупичок ворвалась стайка ребятишек.

– Васька-Черт! Васька-Черт! – визжали они отчаянно и скрылись за угол.

– Ван-рилыч!!! – крикнули враз испуганно собиравшие рябину и полезли под лавочку.

Похрамывая, выбежал в тупичок парнишка лет 12-ти, в солдатской гимнастерке, размахивая финским ножом.

– Стой, мерзавец! – загремел Иван Гаврилыч, поднимая палку, – в участок сволоку!

– Попробуй, подойди, черт толстопузый! – вызывающе крикнул Васька-Черт, размахивая ножом. – В пузо-то всуну!

И заковылял в улочку.

– Вот она безотцовщина-то! На всех страху нагнал, подлец. Забрали за воровство в титы, мать взяла на поруки. Вот и... Всем мальчишкам оклад налога сделал, чтобы по гривеннику ему приносили в день за защиту. А то, – говорит, – зарезать мне кого – раз плюнуть. Ну, куда ни плюну...

– Мы его подстерегем, камнем голову прошибем... – сказал один, выбравшийся из-под лавки.

– А то Мишка у брата-мельцинера револерт утащит и... Я простился: уже темнело. Когда я выбрался на новую стройку, по земляному, еще не замощенному тротуару, густо гуляли пары, пары, пары. Из одинаковых окошек домов, где жили тоже, должно быть, одинаковые люди, ржавыми голосами надсаживались граммофоны, граммофоны, граммофоны... Но все их арии, песни, дурацкий хохот и

визг покрывал один подлый мотив развратной бабы, от которого не было сил отмахнуться: он ввелся в самую середину мозга и кричал истомно:

Ах... да-а-айте мы-не-э... насы-ла-а-жде-энья-а...

Стало легче: подавил его успокаивающий перезвон часов старого монастыря.

Август 1917 г.

(Русские ведомости. 1917. 3 сент. № 202. С. 2–3)

VI. Про модные товары

Я люблю людей самобытных. Книжки их не полакировали, а заговоришь с ними – только слушай. Языку не учились, а начнет говорить – записывай.

Есть у меня знакомый. Мальчишкой-гимназистом впервые вошел я к нему в квартиру и вот уже лет тридцать захаживаю, – и все в ту же квартирку. Выросли в округе многоэтажные короба, а невысокий домик в глубине двора цел. Тот же и звонок-дергалка у клеенчатой двери. Тот же запах поедаемых молью ковров и сырости. Лампа, со сквозным пузиком на тычке, с плавающим фитилем, старомодно плядит со стола гостиной, с подносика из цветной шерсти. За дверь забился барометр в футляре красного дерева: не узнаешь по нем погоды. Мягкие стулья под серыми чехлами, матовая от масла божница, ковры-букеты, вылезавшие из чехлов на Рождество и Пасху, пузатые сундуки в прихожей, низкие потолки, полуслепые окошки и тишина. Тишина такая, что слышно моль.

Я вхожу в полутемные сени, дергаю утончившуюся ручку звонка... Все то же! Сорок лет аккуратно ложился в девять и вставал в шесть, по праздникам ровно в полдень выпивал рюмку водки и ел пирог... Интересно, как его *новое-то* хватило?..

Вхожу. Нового нет ничего, ничто не «хватило», кукушка выкукивает двенадцать, «почтеннейшая», – так Романыч называет свою старушку, – зовет в столовую, да, пирога нет... нет и водки.

– Кризис промышленности! – говорит Романыч.

Он сухощав, та же французская, клинушком, борода, ровно седеющая, аккуратно выбритые сухие щеки с краснинкой. Гладко острижен и немножко напоминает Сенкевича.

– Ну, как на вас... новое-то?..

– Модный товар-то?

Он хитро щурится, чуть откидывает голову назад и набочок, словно прикидывает раскинутый модный товар на прилавке, – он лет тридцать работает в модном деле, – обдумывает ответ и, чеканя, как говорится, каждое словцо навыврез, отвечает:

– Кажется, до нитки уж докурились... все это самое! Странно. Сорок лет работал человек на хозяев, выкинул, раскатал и трескуче порвал миллионы аршин материй, изъездил десятки тысяч путей – для хозяев; на миллионы наторговал – все для тех же хозяев; никакой пенсии не получит от хозяев... А ведь теперь-то!..

– Когда желают покурить и уничтожить вред от никотину, то рекомендуется вкладывать вату-гаванну. Имейте это в виду-с. Они, понятное дело, изучали всякие политические экономии, и для всякого вопросу в кармашках у них последнего фасону модели, самые заграничные. Но не оказалось таких мастеров, чтобы по этим моделям живой фасончик скомбинировать! Нечего магазину показать! Одни рисунки. Всеобщее сумасшествие и даже подлость!

– Подлость?!

– Позвольте вам сказать. Я что такое из себя выражаю?! Я микроскопический человек? Но, знаете, как тесто... Вот со сколечко его в дежке наболтали, всего-то ничего и дрождичков пустили, а к утру, ежели, я блинка захотел, у меня – пузырьками, дышит, все это самое... дышит! Так и я-с. Я жизнь скрозь прошел, обдирки и крупорушки... корочки сухие в реке Неве размачивал! Топиться собиралси от безработицы! Ночь-то эту осеннюю сейчас помню... собачка меня испугала тогда... должно, и сама-то топиться хотела от бездомности... Труда на себе протащил, и если у меня здесь не пакля, я многое постигаю. Да, вот социалисты-то эти наезжие, со словами-то, сказки-то которые сказывают... Ученые люди есть... А позвольте вас спросить, сударь-барин, – сказал бы я неким господам ученым, – пожелаете ли вы сесть на пароход, например, который идет в самых опасных местах да еще в бурю!.. А на этом пароходе за капитана-то

мальчишки лет по пятнадцати... пусть даже по восемнадцати... гражданское совершеннолетие! А за машиниста-то такой, что и аза не видал в глаза, зато плотка здоровая и тому подобное, а? Не поехал бы ученый этот?! А почему же он слепеньких на выборы-то выпускает, а? Читал книжечку одного ученого! Могут, говорит, выбирать! Можно спорить, говорит, допустить ли в шешнадцать годков, но в восемнадцать – всенепременно! А?! Ведь ученому-то этому лучше всех должно быть известно, какие мальчишки у нас в восемнадцать лет умники! На Россию поглядите, пешочком ее исходите... а потом и пиши книжку! На выборы-то ходили?

– Ходил... А что?

– И я ходил. При мне взвод пожарных по команде записки клал! Якиманская, качай! А ежели в больницах операции делать... по команде?! А? А ведь у нас теперь вся жизнь – самая опасная больница... И голодны мы, и босы, а последний кусок изо рта вытаскивают и последние сапоги стаскивают...

– Что-то я вас не понимаю...

– Говорю очень внятно, как самый демократ. Всегда демократ! Поглядите на ручки мои – написано: де-мо-крат! Такими чернилами писано, что и не выскоблишь: де-мо-крат! А на горбу, если манишку скинуть, – хо-зя-ин! Может быть, дюжина хозяев сидела и печати прикладывала: вот ты, Алексей Романыч, самый и есть демократ, вот потому на тебя и печать прикладываю, а ты гнись, гнись, сукин кот! И вот я и говорю, как самый расподлинный демократ, что затягивают петлю. По мудрому указанию мальчишков, которые, видите ли, в книгах усмотрели. Мальчишки и помогают. Какие? И молодые, и старые. А ежели петелька-то, не дай Бог, захлестнется, мальчишки-то увидят и убегут... Ф-фик! – и ум-чат-с... в книжечках еще, чтобы ума-разума набраться, ошибочку исправить, свериться. А мы-то труженики, мы ведь никуда не убежим. Для убегая дороги не знаем... Нет, я вам лучше изображу, что сегодня произошло. Удивительная история насчет социализма и политической экономии!

Алексей Романыч стал в отдалении и провел рукой, как бы показывая место действия.

– Буду уж говорить со всеми подробностями, уж очень все замечательно выходило, как на театре. Вот пошел и я на эти самые выборы – в районные Думы. Между нами сказать, не следовало бы и

ходить, – роскошь непростительная при бедственном нашем состоянии. Не имея нижнего, так сказать, белья, дюжину пиджачков шьем. Пошел. Только, Господи благослови, из храма Божьего вышел, от обедни, собрание свободных граждан у тумбы собралось и внимают оратору. Человек сорок разного калибра. И даже гимназистки с билетиками, слушают: как на уроке интересной истории. Подхожу. Почему умного человека не послушать! Станет дурака такая обширная толпа слушать! А умный человек головой выше всех, то есть, не то чтобы головой... и рост у него такой внушительный, к доверию располагает. Спрашиваю одного, насчет чего разоряется. Говорит: по важному практическому вопросу жизни. А я, как изволите знать, сам человек практический и люблю все это самое. Ведь про думы речь, про хозяйство! Ну, как, например, картошку закупить, хлеб чтобы доброкачественный, обеспечить бедствующее население столицы... ну, освещение и отопление там, кареты скорой помощи... и по экономии расхoden. Самый, так сказать, живой нерв жизни. Подхожу поближе.

Одет оратор в кожаную куртку, боевую. Ну, сам по себе он штатский и в шляпе лодочкой, но куртка и сапоги воинственного вида, делового, для экстренности самой энергичнейшей... одна нога – тут, другая там... в автомобиль искрой вскочил и даже, если потребуется, так и на аэроплан – для ускорения жизни. Не человек, а... машинное масло! И даже портфель в трубку, – дирижирует всей этой музыкой. Кулаки громадные, голос сочный, густой... хрящички играют... Так это – рры да крры! Закричит десятерых хозяев. Лет ему под тридцать, плечи – пушку уволокет. Говорит... Что т-та-кое?! Хозяйственного совсем мало и даже вовсе нет. Мы, – говорит, – то да се... – я уж эти слова ихняя знаю. Массы да классы... капитализм давил как пресс... да интенсивный класс. Старая песенка, а все так, разиня рот, и внимают. А потом про буржуазию за капитализм, потом, понятно, и империализм этот об демократию вдребезги... Скок – и до кишок добрался.

– Как до кишок?!

– Так. А вы не слыхивали? Выпустим кишки! Отберем и выпустим! По лицу-то его по хорошему, румяному, думал – будет по своей науке говорить на иностранном наречии... а он на наречии-то поговорил-поговорил да к кишкам и добрался. Как пошел чесать про

пресс этот самый, – сразу всем жарко стало. Поддают ему, правильно! Кричит: «Всем вам жалованья положим по справедливости, по триста рублей! Выбирайте нас, мы им стирку сделаем! Помните, кричит, что капиталисты – это как удавы...» Сколько раз про удавов слышу, которые душат кролика. Ну, как на портерной, бывало: кружка пива шесть копеек... И слушать было не хотел. Только, пляжу, старичок! То так голову вытянет, одним плечиком подастся, то эдак. Ближе да ближе, будто подкрадывается. Заинтересовался. Такой симпатичный старичок, самого божественного лика, прямо от обедни. И одет так, что самая ему роль за крестным ходом. А он в бой самый лезет! Одет очень аккуратно, это... в тон лица. Сапожки на нем аккуратненькие, вычищенные хорошей ваксой, «семейной», семь гривен баночка, – блеск электрический, в обоих сапожках солнышко зайчиками играет. Сапожки самые русские, бутылочками и в гармошку. Кафтан долгий, знаете-с... такой стародавний, торговый, сурьезный. Еще вот в Малом театре, когда господин Садовский изображал «Свои люди – сочтемся», так в таком точно. Но кафтан чистенький, вроде, как сюртук. На шейке беленький, вязанный из крученого шелку шарфик, очень аккуратно положен – кончик за кончик: чистота и простота, самая красота! И лицо розовое, старческое, щечки такие румяные в серебряной бороде. И борода не Длинная и не короткая, а в самый раз – в кулачок забрать. Картузик хорошего сукнеца, барственный, может быть, даже от самого Вандрага, с козырьком, с блеском. Ну, прямо сказать, как бы интеллигент из своего сословия. Московского склада старичок. И фамилия ему, должно быть, какая-нибудь такая или Мишин, или Краснощеков. Соразмерный по всем частям. Вот он подбирался-подбирался да и говорит:

– Вы, господин хороший, ежели изволили окончить разговор, то дозволейте вас просить теперь мне в прю вам сказать...

И так это вежливо-политично и деликатно... ну, как самый натуральный интеллигент. Публика сейчас в обе стороны, – пожалуйте-с! А оратор улыбнулся в усик и говорит:

– То есть, вам, собственно, что же от Меня угодно?

– От вас мне ничего не угодно, – опять ровно так и деликатно, – а пря разрешается?

– Какая такая пря?!

– Стой, будет дело.

Вижу уж, так у старичка борода в дрожь заиграла и щечки это так... кровкой дышат. Остановился.

– Пря-то? А вы что же, по-нашему не понимаете? Все иностранный разговор из учебных книжек? То-то все я слышу – компресс да компресс! Это вы нас совсем залечить хотите, а нам в постели и при прежних порядках надоело лежать, ноги ослабли-с! – Так все и загремели! – А я говорю, как православный русский человек, как меня мать учила... стою на своей русской земле и говорю русским языком: желаю с вами в прю!

Тут все так и загудели: на спор старичок идти хочет! Да еще и гимназистик объяснять стал, на тумбочку вскочил:

– Товарищи! – кричит. – Это значит, что гражданин будет оппонентом, будет оп-по-ни-ро-вать товарищу-оратору. Слово, говорит, латинское!

Такой, сделайте ваше одолжение, умница! Маленький совсем, а такой умница... Монаха на нашей улице все пускает, всегда его вижу. А старичок уж одним словцом подшиб того-то. Уж к нему публика с доверием:

– Понятно, русский человек русскими словами объясняет. Столовер самый, Иван Афанасьевич Шишкин, умнеющий старик. Пожалуйте на тумбу повыше!

– Я, говорит, еще не разносчик, чтобы мне на тумбу скакать! И не собачка!

Уморил! На тумбочку не вшел, а так это распространились. Вот он картузик снял и покрестился на церкву. Очень это мне в нем понравилось! Со всей душой к делу подходит. Тот-то на него скопился как из снисхождения, дожидается.

Правду сказать, и публика стала ухмыляться. «Старые, говорят, мощи стали голос подавать, во как мы рыволюцию расшевелили!» Вот старичок и спрашивает того:

– Вот все слушал я, все вы про капиталистов и буржуев говорили и все призывали отбирать от капиталистов и дома, и фабрики, и капиталы и отдать рабочим и демократии в управление и собственность. Значит, чтобы не было бедных, а все бы жили счастливо и богато. Очень все это превосходно, и дай вам Господи здоровья за это и много лет здравствовать. И я вполне присоединяюсь, чтобы все были счастливы и богаты!

Так все и заговорили: вот настоящий старик, понимающий про социализм! И тот, в куртке-то, просиял даже:

– Bravo, говорит, уважаемый товарищ! Приветствую вас, – все это самое...

А старичок сейчас и посадил:

– Мы, говорит, сударь хороший, товару с вами вместе не покупали. И вот прошу вас очень, скажите: кто я по-вашему? Капиталист ли буржуй, которому, как вы изволили выражать, надо кишки выпустить и все его дело отобрать... или я кто? Ну, вот по мне определите при народе.

Тот, понятно, опядел его всего досконально, весь его италяж, как говорится... выставочку-то костюмную, и говорит очень осторожно:

– Ну вы – мелкий хозяйчик. Вы тоже в тисках капитала, и вас капитал как пресс так силой выжимает и обращает в пролетариат, по неумолимому закону эксплуатации. И вы тоже скоро вылетите в работники орудий производства. И мы, говорит, ставим целью и вам помочь, хоть вы тоже сосете с рабочего человека ужасно!

– Очень вами благодарен за ваше сожаление и помощь. Пока не имею потребности, но в колодец не плюю, обращусь в свое время. Вы мне адресочек оставьте. А пока я вам объясню, кто я есть. Я – шмуклер. Занимаюсь шмуклерством.

– Шмуклер? – спрашивает. – Это что же, барышничаете?

– Ах, и это вам не известно-с! Нет-с, барышничать не барышничая, а с барышником бываю.

Так это горошком пустил, легонечко и вежливо, как по атласу чиркнул. Опять ножку подзанозил.

– Так кто же в таком случае вы будете?

– Шмуклер-с буду. А как вам это неизвестно, так я – ба-сонщик. А ежели и это вам неизвестно, так я – бахромщик.

Вот уж вы и сердчаете, что я непонятными словами выражаю, а слова эти самые рабочие, мастеровой народ знает. А сами вы через в два в третье на иностранном языке говорите. Но это я к слову. Потому, может быть, вы даже и не русский человек, а из-за границы, с заграничными образцами, как комижор. Бахрому выделяем, шнурки, кисти, аграмант, аграфчики, ленточки, различные модные аппликации, – басонный товар. Всякие модные товары. Для украшения жизни. И у меня – мастерская. Полтораستا человек народу

кормится. Семьдесят пять женщин и семьдесят пять мужчин. И женщины у меня получают теперь по восемь рублей в день, а мужчины – по десять и по двенадцать. По-стойте-с. От каждой женщины мне остается на круг, – от всех моих оби-ходов, работы и капиталу, – в день по сорок копеек-с... от каждого мужчины – по шесть гривен и до рубля-с. Итак, сосчитайте и теперь скажите, кто я буду теперь на ваш глазомер? Капиталист ли буржуй, из которого надо кишки выпустить и все заведение и капиталы-орудия отобрать, или как?

Храбро так говорит, всенародно, а сам поджидает, что из этого произойдет. Оратор прикинул и говорит:

– Итак, вы с народа выгребаете к двадцати тысячам...

– И даже больше-с... Не совсем верно высчитали!

– Вы, говорит, – капиталист самый и, конечно, эксплоа-татор! Сосете!

И народ стал шуметь: все с нас! А старичок и глазом не моргает. Никакого страху!

– Так-с. Вот, стало быть, и нашли мне место. Очень вами благодарен. Значит, по вашей практике надо со мною как? Вот приходите ко мне в мастерскую и отбирайте. Мне, может, и кишки выпустите, как грабителю народа, и начинайте дело. На место меня нанимайте управляющего специалиста по ныншним ценам, тыщ за десять, а и больше. Целый комитет-с для управления. Но постойте-с. Я вам и адресочки своих покупателей, магазинов предоставлю. И поймите в виду-с: я вам аграмантик продаю по два сорок за аршин, а они – и по пять, бывает. И даже до трехсот процентов!

– Слышите, товарищи? – говорит тот-то. – Триста процентов!

А старичок сейчас стрелу ему:

– Чистый грабеж! Я всего-то с обороту шестьдесят – сорок возьму, а они – триста, сударь, мошенники! Ну, как же и им-то кишки не выпустить? Первое дело – им! Их-то и вышибайте живым манером. И хорошо-с. И тех-с, кому они товар направляют. У каждого по десятку иногородних. И тех-с. Те, случается, еще чище лущат. Вот как вычистите всю эту грабиловку... а эти-то, мои-то полтора-ста человек, они терпеливо ждут и вас благодарят. Вы им, понятно, каждый день тысячки полторы выплачиваете. Понятно, у вас большие капиталы уж припасены... вот, может быть, даже и в этом портфельчике лежат-

ждут наикрупнейшие бумаги! Материал едет на пароходах, кредит вам банки открыли, ежели еще вы банки пощадите... а банки знают вас очень прекрасно, какие у вас богатейшие торговые дела, знают за хорошего человека, вексельки ваши учитывают без сумления. За товар вам шлют... Чего-с? И платите вы рабочим по полтиннику в день лишку. Ась? Или не так-с? Или, может, у вас материалы еще не закуплены? В кредит вам не отпус-скают? Возможно-с, очень даже возможно, что и не отпустят. Иван Стратонов и Сын не отпустит. Так Ивана-то Стратонова с Сыном можно и побоку! А? Или нет? И банки побоку – такие непонимающие, не желают вексельков учесть!

– Ну, вы, пожалуйста, не издевайтесь, раз не понимаете...

– Боже сохрани! Как же я издеваюсь?! Это вот вы, сударь прекрасный, над людьми издеваетесь! Для торговцев, которые по существу порядка плохо ли, хорошо ли, а дела строили и людям заработок предоставляли, – ну, и пользовались за свою работу, правду сказать, – и шибко пользовались, но таков порядок, – вы иного слова и не нашли, как жулик и кишки ему надо выпустить... Вы над народом хоче-те опыт произвести, призываете силой всю махинацию перекроить и без хлеба людей оставить? Понимаю-с. Я-то очень хорошо понимаю-с. Ежели мне сапожек жмет, я его резакон не располосую, я как-нибудь аккуратно починю, перешью-с. Я семь десятков работаю! А вы в мастерской воздухи-то поди и не нюхивали, а из книг сличали! Вы-то вот на тумбочке пошумите, а там – и за уголок-с. А мои-то рабочие за уголок-то не убегут. Ведь у них и детишки есть, за границу им – не рука. Говорит они не умеют, чтобы за разговор хлеба кусок добыть. Что-то и выходит не тово-с. С какого-то другого конца надоть начинать. Дело-то, выходит, еще не скипело, чего-то не хватает. А чего-с, – не знаю. А то можно так и всю жизнь на кладбище сволочить, и ум к тому идет-с. Чего-то не хватает. Может, по-иному как надо-то-с, не знаю-с... Вы по этим делам мастер, вам должно быть видней. План какой-нибудь планомерный надо приспособлять, а ножичком не выйдет-с. А ведь это сразу-то... капитал-то всем получить, ведь – это только в ночное время происходит, по грабительскому делу. Вы уж, извините, в книжках сверьтесь. Все-таки и умные люди книжку пишут. Вы в умных сверьтесь.

Ну, сделайте ваше одолжение, и затуманил головы! А тот и говорит:

– Вы не так мои слова принимаете. Я говорю в общем смысле!

– Нет-с, вы прямо говорили, что надо кишки... И вот свидетели. Так ведите и отбирайте, сами! Но помните... ежели вы мне кишки оставите, я вот как есть, вот в этом снаряде, и денег у меня в кошельке сейчас двести тридцать семь рублей... я через две недели опять шмуклер-ком стану. И будет у меня шесть человек народу. Через месяц, – можете записать, – у меня будет двадцать человек! А через полгода – опять полтора! От вас же и прибегут, голодные! Ведь вы-то им хлеба не дадите! И так я думаю, что без кишок-то вы сами и будете. Да-с. Потому что весь аппарат так налажен, сотни годов, что кишками не помочь нисколько. Подумайте, молодой человек. Да поучитесь делу на практике. Де-лу-с! Вот приходите ко мне, я вас и поучу, записи вам покажу. И чайком попою с вареньем. Может, и поучу, как свое дельце наладить, ежели пожелаете. Каждое новое дельце – жизни польза и украшение.

А потом к публике и говорит:

– А вы не слушайте его, братцы. Пустое говорит. Сам же и убежит за угол, как нашкодит. В карманах-то у него, поглядите, одна старая газетка со словами! Права свои отстаивайте, да с умом! Умный человек пойдет на ваше право, покуда сможет, на уступку. А не сможет, все равно, дело погубит, кинет. Глядите-ка, сколько делов сыпаться начинают. От жадности или как, а?..

И что же вы думаете? Поняли! Правильно, говорят, дедушка сказал. Сам, может, и жулик, а правильно! А тот и говорить не стал. Сказал: черная сотня! и дальше пошел. И что я вам скажу! В апреле месяце одна девчоночка на митинге как чудесно говорила! Влюбился. Тысяча человек слушала. Замлела вся, розовенькая, трепещется, глазки горят, ножками так и сучит от восторга... ну, чистый ребенок! И от всего сердца, даже до слез! Говорила, что теперь все будут богаты, – ей-Богу-с! – работать будут по два часа, так социализм указывает, ей это в книжке прочиталось. Как в раю все будем! Только, говорит, верьте нам! Верьте!! Так уверила, что и я было заплакал. Но, подумавши, рассудил, что это у ней сон прекрасный, а душа чистая, поцеловал бы как младенца. Ну, а тот, в куртке-то, на младенца не смахивает. У него и вид такой машинный. От этого можно бы ждать

самой крепкой мерки, глазу вострого. А вот поди ты! На модном товаре старикашка его подковырнул! А недавно случилось мне одного социалиста послушать, лекцию читал. Хожу теперь и я иногда на лекцию, стараюсь сообразиться. И что же-с? Как копию с него старичок-то снял. Будто и он на лекции был! Точку в точку. Говорит: такой уж у нас пока строй жизни, что нужно еще завершить круг развития. Но только старик тот на примере, на модном товаре показал как навыврез. Очень обстоятельно. А если к сурьезному товару подойти, – и совсем точно будет. Не завершен, говорит, еще круг развития!..

Декабрь 1917 г.

(Русские ведомости 1917. 28 дек. № 276 С. 2–3)

У живого камня

I

На широкой лужайке, под господским домом с облупившимися колоннами, сидело человек пять солдат из земского лазарета. В первый раз вышли они в теплый погожий день сентября и сделали прогулку – осматривали имение. Имение было старинное, с парками и прудами, и когда-то принадлежало графу Хлебоперу, а может быть и Рибоперу. Теперь им владел сахарный заводчик. Осматривали развалившиеся каменные конюшни с облезлыми лошадиными головами на воротных столбах, скотный двор с каменными бычьими мордами, позлащенный липовый парк, с посвистывающими синицами. Побывали у толщенного дуба, которому за пятьсот лет, поглазели на тихий пруд с островком, где стояла сквозная беседка на четырех колонках под круглым куполом-крышей, с каменной «голой бабой» между колонок, и, наконец, порядком устав, расположились на луговине у памятника. Так назвал кто-то из них почерневшую статую.

– К памятнику, ребята!

Был предвечерний час. На лужайке было золотисто-светло от пруда и желтевших кленов. Тихо падали золотые листья на пруд. Краснела на островке калина. Хорошо было посидеть в тиши, слушать синиц и неуловимый осенний шелест.

Солдаты подковыляли к памятнику. Трое было пехотных: двое в годах, бородатые, с темными лицами, и совсем парнишка, в немецкой каске, на костылях; четвертый – худой, чернявый, словно длинная головешка, артиллерист, с забинтованной шеей; пятый – франтоватый писарь, отравленный газом: он покашливал и сердился.

– Статуя это, а не памятник! – сказал он и плюнул на каменную ногу с отбитым пальцем. – Для красоты, сукины сыны, ставили на пустом месте. У крепостных избы не крыты были, а они тыщи за это художество платили – галкам гадить!..

Стали плядеть на статую.

– Голую девку ташшить! – сказал пожилой солдат, с поджатой ногой, оперся на желтый костыль под мышкой, чтобы было удобней, и аккуратно высморкался. – Это чего ж так? И мужик-то голый...

– Листком закрыто... И у ей за коленкой-то не видать. Занятная машина... – сказал другой бородач. – Девчонке-то носик отшибло, курносенька стала...

– Тошша, а ничего, наглядно. Куда ж он и волокет-то?..

– Для каких делов надоть, туды и волокет... – сказал артиллерист. – У нас, в третьей батарее, старший фейерверкер был, Груздев... очень похож. С бабами разговору не любил. В Питере, в Ермитаже, этого товару много. Называется искусство.

– И на пруду такая! – показал на островок парнишечка.

– А чьими все трудами, надо спросить?! – сказал с сердцем писарь. – Наши деды при крепостном праве все это установили, а они им на конюшнях шкуру спускали! Я читал такую книгу, что...

– Ну, это итальянцы делали! – отозвался от пруда человек в черной шляпе колоколом, ловивший рыбу.

Солдаты поглядели и перемигнулись.

– Не лю-бит!

– «Похи-щение... – читал артиллерист на мраморе, – Про-зерпины!» Прозенпиры...

– А-а... похищение! – сказал с интересом бородатый. – Может, от родителей уволок. В бане, што ли, мылись, голые-то? В старину обчая была... И девка-то в простынке...

– Гм! – отозвалось с бережка.

Солдаты посмотрели. Рыболов согнулся совсем и трясся: смех его разбирал.

– Погоди, почему – в бане? А собаки почему? Одна собака, а две головы! Что-нибудь такое...

– Так придумано, художники есть фантастические... – сказал писарь. – Надо денег зашибить, вот и старается. А господам только давай чего чудней, для фантазии. «Работа Нава-ли-ни!» – прочитал он. – Ну, понятно, итальянской работы.

– Вот он и навалил – пожалуйста деньги! – засмеялся молодой солдатик с поджатой ногой в туфле, шустро опрыгивавший на костылях статую. – Во, откуда здорово-то! Тут У ней все видать!

Подошли, оглядели и похвалили. Паренек даже размахнулся, будто хлопнул: не достать.

– Чисто обточено, живая видимость. На польку одну похожа, под Вильной стояли. Заходили в шинок, – полька, годов семнадцати, белюсенькая, Зоська. Ну, строгая! Прапорщик стал по-ихнему говорить – заплакала, – папашу у ней убили...

– Притворяющая есть, знаю я всех полек, – сказал артиллерист. – Я по всем краям жил. Бывало, скажешь: католик-католик, плюнь на столик! – завьется, не дай Бог! В Галиции фольварком проходили, приходили в такой же вот сад-парки. Статуи обязательно стоят! Богу молятся которые, которые яблоки едят, которые так стоят, без дела. Мы с Грузевым по ним били, на сорок шагов! Отщелкивает, крепкий! А как стали австрийцы восьмидюймовыми крыть, – всех посшибали. Там этого товару побито – не счесть.

– А здесь сами свое доканчиваем... – сказал с бережка в шляпе.

– Вы в каком это смысле? – откликнул писарь. – Если нотацию читаете, так мы вас не просили!

– Не нотацию, а говорю, что надо. Перед лазаретом каменный лев лежит, а кто-то уж ему челюсть отбил сапогом. Даже каблук отскочил, валяется. Это называется озорство!

– А позвольте спросить: это ваш лев?

– Это наш лев! – сказал рыболов резко, не поворачивая головы. – И ваш, и мой. Над ним человек работал, известный художник, а пришел солдат – р-раз, сапожищем! Труда не умеете уважать!

– Очень странно рассуждаете! Рыболов замолчал.

– Много он про труд понимает! – сказал артиллерист. – Рыбку ловить да папироски палить! Их теперь жгет, нам свобода досталась через революцию всего народу. У нас тоже, в Пензенской губернии, имени Островумова... землю сдает по тридцать рублей всю, а сам только рыбку ловит. Всю именью дочиста разбили, брат писал. Убег! Рыги все пожгли, хлеб поделили. Будя, похозяйствовал. Сам бы побег, дай срок... Закрутил письмо, чтобы отписали, чего моим пришлось. Быки у него были породистые... Коровы этой вот масти, голанской, – маленькие рожки, сами черные.

– Это важный вопрос, – сказал писарь. – Специализация земли и всего инвентаря! Я, например, должен сказать, что через эту несправедливость ничего не имею. Я конторщиком в громадном

имении был, все порядки знаю. И про крепостное право знаю все подробности. Если бы, товарищи, вам все рассказать, как у господ Каповицких дела делались, как им именья попадали... ни порошинки бы им не оставили!.. Барыня в Ницце сто семьдесят пять тыщ в год на платья прожигала, – в книгах по бухгалтерии писали. За собачку десять тысяч заплатила, чтобы в кармашек прятать, мышинной породы... Лесов на десятки верст, собственная железная дорога, а прута не дадут! Статуев этих!.. Для лошадей конюшня триста тыщ! Собакам памятник с электрическим освещением...

– А людям, небось, пяточка не додадут!

– Управляющий два миллиона нажил да три имения!..

– Уж кто про эти безобразия знает – так это я! – сказал артиллерист, присаживаясь под статуей. – Сажайся, товарищи.

Все расположились в кружок, закурили. Один бородатый растянулся на спину и поставил негнувщуюся коленку. Поздняя, черно-красная бабочка попорхала над ними и села на коленку. Паренек поймал ее осторожно за крылышки, подул и пустил. И смотрел, как она летела над прудом.

II

– Синицы-то как, – начал артиллерист. – Погожая осень будет. Вот и говорю. Я все края прошел, по всяким эконо-миям, всего наслушался, навидался. Жил, например, я в Калужской губернии, в конюхах. Дом, сто годов ему, в четыре этажа, как монастырь... Дугами крылья по три этажа. Напротив дома роскошная луговина в три десятины и все каменным забором обведено, с дырками по рисунку. Камень-то что-о! Огромдную крепость можно ставить – не уберешь! Сто три комнаты, в каждой сколько небели на сколько тыщ, замечательной ореховой да карельской, на всяких ножках. Такими... винтовые ножки есть, как вот штопор! А то пузатые, а то горбатые... столики из кусочков, как вот одеяло из лоскутков, египетской работы! Есть столы, плядеться можно. Есть такого дерева, что мухи дохнут от воздуха, ей-Богу! Мертвое дерево называется... как гробом пахнет старинным. Небель барин один в музей торговал, четыреста тыщ

давал – не отдали! Теперь знак вопроса: кто ж все это исхитрился удержать?!

– Понятно, кто, – сказал бородатый. – Я энти все дела небельные хорошо понимаю. Дед столяр был, у Шмита жил, а до него у барина, дворовый – крепостной зависимости. Он ему такие штукатулки делал секретные, а одну уделал такую, что голова!., старикова голова, а ближе пледеть страм-но! Из разного дерева бабы наделаны голые, спутаны руками-ногами. Я счас про ево расскажу...

– Нет, ты мне дай сперва сказать про дом! Генерал Болдырев был сперва барином, сто лет прошло. Ему царица подарила за подходящие дела, понятно...

– Самое их дело.

– Хороший был кобель, во какие сапоги носил! – показал артиллерист на костыле мерку. – Портрет его видал в золотой раме – мо-орда! Носина, как осина, глазищи выпучены, чисто бляхи оловянные, а волосы мукой тогда присыпали для чистоты, сволочи! А брюхо было... бочонки там показывают, пиво пил, – так ему этот самый бочонок выпить. Вот такой вот, как селедошный, за день задувал! Гроб на лестнице заворотить не могли, на канатах спускали!

– Не боялась его, энта-то!

– Чего они боятся? – заругался артиллерист и с наслаждением затянулся папироской. – Хороший табак стали делать. Ну, вот царица ему и говорит: «Раз ты мне уважил, бери денег без счету, все казенные сундуки к твоим услугам! Мне с народу кажный божий день выходит сто миллионов!» – Вот он и примусолился сказывать. Зовет сейчас анхитектора Ваську. Крепостной у него был, выучил его генерал наукам, как дворцы строить. Вот анхитектор и приходит из Питербурха. – «Выучился строить, такой-сякой?» – «Выучился, ваше превосходительство!» – «Ну, говорит, вот тебе сто сорок тыщ, строй мне дворец, какого ни у кого нет! Можешь?» – «Могу-с». – «Ну, допрежде я тебя постращаю», – говорит. – «Выпороть его, говорит, на конюшне в тридцать плетей». – Ей-Богу!

– Они всегда такую манеру брали, – сказал писарь. – Я в запрещенных книгах читал...

– Погоди. Ну, взмолился анхитектор. Стал по-французски говорить, умел. Что уж там говорил – неизвестно, а барин говорит: «Раз ты по-французски умеешь разговаривать, стыдно мне тебя так, за

ничего пороть. А делай мне на совесть». И укатил за границу. Велел ему отпускать все ма-терьялы и капиталы. Вот и почал строить. Пять тыщ народу согнал, кирпичный завод сделал специально. Простроил полтора ста тыщ, бьет телеграмму – готово! Приезжает барин. Оглядел, по комнатам походил. «Хорош-то, говорит, хорош, да надо мне поглядеть, как издаля будет себя оказывать. Запрягайте мне, говорит, тройку борзых лошадей». Запрягли. «Давайте мне позорную трубу!» Прихватил анхитек-тора с собой, покатил за бугор, за десять верст. Встал на бугру, плядит в позорную трубу на дворец. Глядел-глядел да ке-эк его трубой по морде свистнет! «Никакого виду нет, как гроб!» На конюшню драть! Отодрал, призывает. «Все сломать, сволота, по другому плану строй!» И опять на три года за границу закатился. А велел триста тыщ отпустить из казенных денег. Ну, что делать? Девять ночей анхитектор думал, план наводил. Зачал сызнова строить. Десять тыщ народу со всех деревень согнал. Пять годов строил. Приезжает генерал. Дворе-ец – каких и на свете не бывало. Тыща оков, триста столбов каменных... всякая штука замечательная. Поглядел генерал, с радости заплясал комаря. Кричит – нигде такого нет, у меня только! А еще с им немец ученый приехал. Левизор по строевой части, тоже расхвалил. Расцеловал барин анхитектора в обе щеки, выдал в награду сто рублей...

– Вот сквалыжный черт! сто рублей!..

– Ты погоди. Сели обедать ботвинью. Эх, поел бы и я ботвиньицы, с сомовинкой бы соленой! Ну, ладно. Ну, квас, что ль, кислый был или муху нашел в квасу – из-за квасу все дело вышло – и выходит после обеда на балкон. «Да чтой-то, говорит, балконы будто маловаты... столбы не годятся».

– Вот черт!

– Немец его успокаивать стал – отошел. «Да постой, говорит, я не для себя непременно строил, а для всех проезжающих, чтобы меня все удивляли!» Тройку! позорную трубу! Прихватил анхитектора, покатил. Приложился к бугру в трубку, плядит, плечами дергает. Как увидел анхитектор, как помчал с бугра-то... на бегу штаны скидает да прямо на конюшню...

– Во как напужал-то, ссук...

– А барин-то за ним, на тройке! Нагнал, подхватил на тройку с лету, – а тот ни жив, ни мертв, в дрожь трясется... «Надевай штаны! –

кричат на него, – кто ты такой есть, как фамилие?» – «Анхитектор, говорит, Васька Березкин, крепостной слуга вашего превосходительства».

– Хлопнул его трубой по макушке, пошутил. «Теперь, говорит, ты не анхитектор крепостной, а анхитектор Василий Кузьмич Строителев! Дарю тебе волю и фамилие. Очень особенный вид, как на картинке!». И тыщу рублей подарил. Понятно, казенных... Сущая правда.

– А-а, фамилию подарил! А годов ему не сбавил? – с ехидством спросил писарь. – Всемогущие они были, мог. У одного вон помещика девка была упористая, не давалась на каприз, так... силой, понятно, ее приспособил, а потом в пачпорте приказал написать пятьдесят три года. Замуж никто и не взял. Самолично ее знавал.

– Я все эти истории знаю, волосы дыбом подымутся, если я начну сказывать, – сказал артиллерист. – Например, такой факт, чрезвычайной важности. Ефремов – город знаете? Эх вы, такого города не знаете! Ну, я оттуда происхожу, как бы мое отечество – род... в семнадцати верстах. Ну, отцу моему сейчас... семьдесят семь годов, а тогда ему лет восемь было, но был замечательный рыболов. И голавлей там мог, и щук ловил. Вот его повар и приставил к себе, добывать для господ рыбу живую. А дело было в Миколин день, барин именинник. Налимов достать! К тому времени налим уже тереться идет, собирается. А барину коль печенки налимовой нет в пирог – убьет! Ну, Степка, отец мой значит, дня три и ночи все по пролубам лазал, ворота становил подо льдом. Измог-иззябся как черт! Морозища стояли! Пуда три налимов изловил – на сто пирогов хватит! Под самый Миколин день и свалился, горит, разметался на печке, с налимами разговаривает...

– Заговоришь! – сказал писарь. – Не поймай – свою печенку подавай!

– Как вы угадали превосходно! – продолжал артиллерист. – Это самое. Пошла стрепня, а тут девка прибегла, повару кричит: «Барыня у нас закатывается!» А у ней в животе стало шуметь, икать стала усиленно. Говорит, требует непременно жареных пискарей, охота припала. Будто раз уж помирала от холеры, что ли, или от поноса какого и пис-карями выправила. Пискарей и пискарей ей,

экстренный приказ. Погнали ребят, сам и повар побег на речку, весь день проломали, неводами заводили, – нету пискаря!

– Они хитрые, пискари... – отозвался бородатый. – Хитрей их нет. На бырке стоит в теплынь, а зимой чисто провалится куда. Может, в теплые моря уходят...

– Нет и нет, хоть молебен правь. А барыня пуще закатывается: хочу пискарей! И дохтор говорит – необходимо добыть... это, говорит, такое в ней влияние болезни.

– Дать бы ей поленом по брюху, все бы пискари прошли! – скрипнул через зубы писарь.

– Такого полена тогда еще не выросло. За отца, за Степку! Вставай – подымайся...

– Рабочий народ... х-ха! Ведь это чего делали!

– Мать-покойница...

– Это которая ж мать-то, твоя-а?... – спросил бородатый.

– Чего – моя? Значит, Степка мой отец, а... ну, значит, его мать, понятно, теперь покойница... Не давать! Вырвали, в сапоги обули – на речку! Лови пискарей! А уж он и не понимает, песни поет, чего-то там... Бредить начал. Полез под куст, в чем был, стал руками нашаривать – рака поймал.

Приволокли домой, в печку парить, три месяца бредил, отошел. Спасся. А ента стерва померла. Вот какой каприз замечательный, факт! Теперь вот за все капризы разделка... Теперь там уже обязательно именье отобрали, знаю. Будь я теперь там, я б им все именья произвел. Парки бы им произвел! Тоже вот такие статуи, еще огромнее, в садах стоят... А ты сказывал – пензенской! Ефремов-то, чай, тульской?! – опять сказал бородатый недоверчиво.

– За-чем, пензенской? Это там у меня брат живет, мать у меня оттуда. Я вам и малости самой не сказал, чего я знаю про господ... – сказал артиллерист, отводя глаза от бородатого. – У нас барыня с чертом жила, Рахманиха... так этот черт ей де-е-нег таскал! Только чисто, будто, ходил, как барин... в такой вон шляпе, все равно... – кивнул он к рыболову.

Все так и заготовали.

– Нет, чего он все поглядывает да рожи строит? – сказал писарь.

– Может, и меня за черта примете? – неожиданно оказал рыболов и стал собираться.

– Нонче всего есть, – отозвался артиллерист. – Черт не черт, а за полчерта ваш брат по нонешнему времени сойтить может.

Опять посмеялись. Рыболов собрал удочки и подошел к ним.

– Черта-то промеж кого другого поищите, а я и всего-то здешний учитель. И хочу я вам задать один вопрос...

– Пожалуйста... – сказал за всех писарь. – Погодите, товарищи! Слово принадлежит им. Желают нам возразить.

Должно быть, высокий рост учителя, его насмешливая улыбка и спокойный, уверенный тон действовали на беседующих: паренек прибрал костыль и даже похлопал по травке – садитесь, мол. Но учитель не сел. Он не спеша закурил, поправил пенсне и начал:

– Слушал я вас... хорошо, да только много тут вранья.

– Откуда вы можете доказать? – перебил артиллерист, расправляя усы. – Значит, я все наврал?

– Не то чтобы, а около того. Что было – то прошло, а теперь жизнь другая. С чего же имения-то громить? Это уж вы за волосы притягиваете зло-то прошлое, чтобы оправдаться...

– Ну, и выходит – ничего вы сами не понимаете!

– А вот посмотрим, – спокойно сказал учитель. – Вы вот понимаете, – постучал он удочками по статуе, – волокет из бани девку голый какой-то. Так? Ловко придумали! Вот и говорите-врите: и на какого черта деньги такие тратят, на пустяки? Почему? А потому. Смотрю-смотрю я на вас – жалко! Гуляют тут слепые, солнышка не видят, отняла у них глаза война. Так и вы...

Пошел было, но его остановил писарь:

– Что это вы панихиду затеяли, мы в вашем сожалении не нуждаемся. Лучше бы вот папироской угостили, коль сами курите...

Учитель оторопело полез за портсигаром и угостил. Потянулись руки, только бородатый отказался: самому мало. Когда закурили и писарь затянулся до кашля, учитель продолжал:

– Много не так, друзья. Вот перед вами чудесная работа из мрамора. Большой мастер из камня выбил жизнь, живым сделал камень! Девушка... смотрите, как испугалась! А у этого все жилы, как живые... чуть надрежь – кровь вот-вот брызнет! Из мертвого – жизнь!

Вы вот рассказывали, а я слушал, и забыл о войне, о сыне, который сейчас там. Да и вы забыли, небось, о многом. И сделала это сказка. Забыться, увидеть сон волшебный!.. А ведь это – тоже сказка чудесная! – показал он на статую. – А вы смотрели и не видели ничего. И не знаете, зачем поставили на этой зеленой лужайке эту штуку. А кто ее ставил – знал. И поставил со смыслом. Это жизнь. Тут и весна, и лето, и осень, и зима! Рождение и смерть.

Пять голов повернулось к нему. И он рассказал им давнюю сказку, как властелин преисподней, Плутон, похитил дочь богини земли, Прозерпину, прекрасную девушку... Они заслушались.

– Унес в подземное царство мрака. Затосковал старый бог, старый Зевс. И положил суд: пусть на шесть месяцев возвращается она погостить к отцу, к матери, на землю, под солнце. А значит это, что так греки, древний народ, хотели сказкой представить, как приходят на землю весна, цветы, наша рожь и пшеница, веселая травка. Вот она, милая девушка, эта весна, эта травка, которая осенью уходит к смерти. Похищает ее от нас мрак зимы, снега и морозы... Вот она, эта сказка, на луговине, сказка из камня! Уносит милую девушку темный бог! А она рвется к жизни. Или уж так непонятно?!

– Нет, ничего... занятно... – отозвался артиллерист.

Мальчик-солдат не сказал ни слова: смотрел во все глаза на учителя.

– А вы говорите: волокет девку из бани! Вот вы рассказывали о дворце в Калужской губернии. Заслушался я. И ясно видел того генерала с пузом и тот бугор... А дом тот стоит? А может, уж и сожгли, и теперь там груда камней? А ведь его строили ваши деды! Ведь на эти камни молиться надо! Вот и каждый день узнаю из газет, как сейчас жгут и громят... Жгут даже хлеб, рушат дома, парки, статуи... рвут и жгут тысячи книг и картин, которые рассказать могут такое, чего уже не услышишь и не увидишь. А ведь в каждой вещи... ну, посмотрите хоть на эту беседку, – показал учитель на островок, – ведь и в ней кусочек ушедшего, которое вам не нужно, но о нем пожалеют ваши дети! Оно им потребуется. Зачем? Чтобы знать, осязать глазами, как жили отцы и деды. Эх, ничего вы не знаете! – крикнул учитель, щелкнув по траве удочками, и пошел.

– Да вы не сердчайте! – крикнул вдогонку писарь.

– Да скажите своим... – приостановился учитель, – чтобы не колотили сапогами статуи! Они не виноваты ни в чем! Вещи не виноваты!

– Ишь разоряется! – сказал артиллерист. – Не виноваты...

– Хорошо трепаться, кому – досуг... – отозвался все время лежавший на спине и смотревший в небо бородатый солдат с негнувшейся ногой, коленкой смотревшей в небо.

Паренек обхаживал статую, приглядывался.

– А что ж про собаку-то не сказал? Две-то головы... почему?

– Так нужно, – сказал писарь.

– Вот бы тебе, Андрюшка, о двух головах быть: одну прошибли, другая все кашу будет трескать...

Посмеялись и пошли домой. Сыростью потягивало от пруда. «Голая баба» стояла одиноко под круглой крышей на островке. Когда поднялись на горку и Андрюшка оглянулся на пруд, «баба» показалась живой, розовой, протягивающей к нему руку. Парк темнел, когда подходили к лазарету, старому зданию в колоннах. Андрюшка подошел ко льву с отшибленной пастью и поглядел.

– Что ж ему не сказался? – сказал писарь. – Кто морду-то починил!

Андрюшка сел на тихого льва и стал свертывать папироску.

– В Ермитаже я этого товару досыта нагляделся, скушно... – сказал артиллерист, тоже присаживаясь. – А то в одном имени, Харьковской губернии... графиня жила... ну, и объявился в колодце черт, начал за ведры хвататься... Вот ей-Богу!

– Ну-ка, ну-ка...

И артиллерист, крикнув, начал забористый рассказ про черта.

(Власть народа 1917. 16 нояб. № 162 С 2, 19 нояб. № 165 С. 2, 24 нояб. № 168 С. 3)

Кошкин разговор

Крепкий удар кулаком по столу покрыл гул чайной: пустой стакан бацнул со звоном в печку. Кой-кто подался к дверям – скандал, никак! – а кто и придвинулся, похрабрее. Но особенного не случилось: просто – горячий разговор. Сонный паренек-неряха вытянул из драной жилетки огрызок карандаша и сказал, выводя в бумажке:

– Рупь сорок за стакан с вас.

– Получай, Семеркин! – сказал, стукнув опять кулаком, рыжеусый гость, в синей куртке, в беличьей шапке. – Для оживления производства не жалко. Вот если бы твою умную голову разбили, ну... А доро-гая твоя голова!

– Может, дороже вашей... – сказал парень обидчиво и принялся подбирать стекло.

– Под пятьсот выгоняет! – пояснял извозчик. – Намедни его катал с барышней, храбро деньги дает.

– Теперь самый заваливающий в сторублевку сморкается.

– А тебе досадно?! – отозвался с соседнего столика тощий человек с иглами в отворотах сального пиджака – портной. – Теперь расценки особые. Все недобавки должны возратить неимущему человеку. Теперь пальто, например, дешевле ста семидесяти и шить не возьмусь.

– Тоже социалист! – показал большим пальцем из кулака на портного гостя в куртке, обращаясь к сидевшему против него хмурому молодому человеку с русой бородкой. – Ваши ученики все. Уж и сдадут они вам экзамен на зрелость!

Молодой человек покусывал тонкий усик и смотрел в окошко.

– А вы что же, против социализму? За... которые грабили народ? в торговой части? – закидал словами портной, тоном приглашая соседей обратить внимание на непорядок. – Мучкой приторговываете... или?

– Как сказать... промышляю... – спокойно ответил в тон ему рыжеусый, наливая себе свежий стакан.

– Ох, не виляй, миляй! – погрозился солдат при мешке, из которого торчала волосатая свиная нога. – Стесняться нечего. Торгуем вот помаленьку и не гордимся, а для гражданской пользы. И никого не упрекаем Господь посылает – и ладно. Чем, всамделе, базарите? – уже благодушно закончил солдат, занятый разрезыванием на ломтики свиной грудинки.

Вынул пузырек из-под одеколону и, прикрывшись рукавом и подморгнув, отпил половинку.

– Настоящая! – сказал он, крикнув. – Только пузырек такой. По мучке?

– Было время – крахмал делал... – сказал, шурясь в усы, гость в куртке. – А теперь вот думаю гробами заторговать, – не без ехидства закончил он.

– Гроб-ба-ми?!

И соседи, и парень, все еще подбиривший стекла, так и загромыхали, а молодой человек, смотревший в окошко, передернул плечами и сказал, словно у него болел зуб:

– Бу-у-дет вам паясничать!..

– Чего смеетесь? По сезону и товар. А что же останется?! Мужички мне такой крахмал прописали, и такая у нас патока расчудесная вышла, что...

– Разнесли? – заинтересовался солдат. – У нас тоже, под Меленками...

– Понятно. Строить не умеем, значит, – надо разносить. Не сидеть же без дела! Крахмалить им нечего... Впрочем, о патоке жалели. И крест пожаловали...

– Кре-ест? У нас тоже, под Яльцом, барину Медкову та-акой крест загнули... на небо влез!

Опять загромыхали, а портной ткнул с азартом кулаком об ладонь:

– Люблю манеру! Утюжь до паленого!

– Погляди, на! – усмехнулся гость, сдвигая рукав и показывая повыше кисти сине-багровый ожог. – Серною кислотой подрисовали, на память. А когда-то заводом жили. Выучил их картошку на песке водить.

– Стало быть, дожег ты их, господин. Вот они тебе ди-зихфекцию и...

– Кислота... она жгучая на клопов, – подал голос румяный, круглолицый извозчик с лицом девки. – А может, и в другое место намазали, а? – поднял он опять грохот. – Знашь, как цыган на картинке?..

– Веселенький народ, не унывает! – мотнул головой усач хмурому молодому человеку. – Что не смеетесь, а? Помните, прошлой весной, как из Нарымского края прикатили, на заводик-то, радость объясняли? к самодеятельности-то кол-ле-кти-ва призывали, к творчеству? Вот, друзья – обратился он к слушателям, – в каторге пять лет сидел «за волю и счастье народа»! Даже на лице у него было это написано, только теперь смылось... мыло такое вредное попало. А вот опять хоть в Нарым ехать, за «счастьем» Почему это, а?

– Бросьте паясничать! – уныло отозвался молодой человек, кусая усик.

– А в вас, товарищ, зло-ость! – сказал солдат. – То про гроба толкуете, то.

– Надо же существовать?! Вы – солдат, а свинными ногам торгуете... а я вот – инженер, гробами займусь.

– К чему такой ваш сомнительный разговор! – сказал портной. – Все мы теперь социалисты и должны Бога благодарить. Как извернемся из этой прорвы – заблестим!

– Заблестим, – согласился инженер. – Вы уже заблестели. Дешевле ста семидесяти за пальто не берете...

– Потому хозяин нам четыре сотельных выклатать обязан. Угол, машина, игла, нитки... Теперь погоди, на меня сперва погляди! – выпятил портной грудь в иглах.

– Вижу. Очень красиво. И еще погляжу, как к нам Вена готовое платье целыми поездами поперет. Годок пройдет, она и поперет! А ведь поперет! И пошлинами ее не обложишь. Не хочу, скажет, – и баста! Скажет: вот тебе тройка, носи на здоровье за... сорок целковых! А вы, небось, двести сорок?

– Таких и цен нет. Мене трехсот не найтить, и то по карточке.

– Вот А я в венских брюках буду щеголять, а ты, друг, уж как-нибудь, на китайского императора, что ли, пошей Потому к тому времени ты брюки-то в восемьсот рублей вгонишь, по шустроте своей. И иначе тебе нельзя, как социалисту! Каков социализм-то! – снова обратился он к собеседнику. Тот не отрывался от окошка.

– Чего планы расписывать? – отозвался солдат. – Вперед не видеть, чего будет. Либо с mine дух вон, либо с тебе дух вон, такое дело. Продал свининку – мучкой орудуй Нащелкал чижей пару, либо малиновку – керенки это мы так – и жив. А вперед не загадывай. По правде надо: не жни, сказано, не сейся... а как птица поднебесная...

– Вот! – поддакнул, косясь, в усы инженер. – Поворошил носиком – и на забор, воробьем!

– Солдат этот – крестьянствует, я его знаю... при хорошем капитале, враг наш кровный, рабочих! – пронзительно закричал через головы разбитый голос, и к столику протиснулся пожилой человек в драповом, покрытом швами, как географическая карта, пальтеце. Вид его был до того необыкновенный, что все усталились.

Шляпа на нем была плисовая, с полями, может быть, дамская. Больные, очевидно, уши подвязаны зеленым платочком, на ногах были футбольные бутсы, икры замотаны солдатскими, зелеными, подвертками. Под мышкой держал коробку папирос.

– Чисто германец! – засмеялся извозчик с лицом девки.

– Сочинение-стихи были... какие? – поднял грязный палец с огромным ногтем человек с папиросами. – «Где ты черпал эту силу, бедный мужичок?» Теперь так: ка-кую силу начерпал этот бедный мужичок! Все соки из рабочего класса они будут пить без сожаления! Картофель с меня вчера... тридцать три рубля мера! Я ему докажу по рабочему вопросу... Вы кто по натуральной жизни? – приступил он к солдату. – Хлебосей?! Я его по облику признаю.

– Ну, хлебосей! – передразнил солдат. – Эта политика вас не касается. Я, например, в торговлю ударяюсь... и желаю иметь свой капитал...

– Как я понимаю! – закричал человек в дамской шляпе – Им нет заботы, что весь рабочий класс на кривой объехали! Сами в господ прошли и желают в помещики! Только помещики были образованные, все-таки ум был! – постучал он по лбу. – А эти будут драть целыми когтями. Помещик за картошку с меня не возьмет сто рублей мешок...

– Погоди, Пасха придет, в двести вгоним! – чмокнул солдат. – Стану я тебя жалеть! За калоши с меня по пол-сотне лупите? В триста вгоним! Целоваться мне с вами!

– Это – товарищи! – крикнул инженер молодому человеку.

– Мы теперь папиросками живем, на прокур пошли! «Где ты черпал эту силу, бедный мужичок»?! Я по шелкоткацкому делу. Конец шелкам! Конец машинам! Немцы повезут нам в десять раз дешевле, он у них будет покупать!

– А то у тебя! Нашел дурака! У немца, может, пятнадцать часов работают, мы, мужики, летнюю пору по двадцать работаем, а тебе из каких капиталов за гулянки платить? Как последнего буржуя выставите – на казну, на пенсию?! Мы те пенсию да-дим!

– Какав! Смерть идет! А ему чего! Земли нахватал, коров наградил, заводы все расколотил, растащил, богатство все перегубил, теперь сливочное масло лопать будет. Никому не даст!

– Не дам! Желаете, могу доставить: четырнадцать рублей. Ситцев мне англичане наворотят с немцами, а я с их за масло, за хлебушек выгвожжу! Научены теперь политике. Я вот свинину ем, а ты гусей на Рождестве трескал, знаю. Вот и потрескал. Ситчик мне немец по двугривенному доставит. У него баловством не занимаются, а машины изобретают. Инженер у него в почете, все машины изобрел! А вы их по шеям, сами управитесь! Знаю твою политику! Погоди, на меня сперва погляди!

– Тьфу! Разве ты социализм понимаешь?! По восьми фунтов керенок держут!

– Про рабочий вопрос у вас митинг? – крикнул из-за голов новый голос, и втиснулся пьяненький, заморенный человечек, с пустым мешком под мышкой. – Я все знаю. Я, например, птицами торгую на Трубе. У меня заказчики... На Бутиной фабрике восемь человек канарейку держали... Завод Коломенской у меня брал... через их любовь! Теперь щегла взял. Щегол был рупь двадцать, если... с канарейкой спарить, у него на голове обязательно красная шапочка... так, может, сто человек брали из любви! Кончилась любовь! Теперь кошками занимаюсь. Кошек кормить надо, так продают, – скорнякам таскаю кошек. Щегла кормить – по пол-тинке в день клади, если в пере, чтобы и пел налегке! Рабочий вопрос тугой стал, не выдерживают...

– Кошкин разговор к черту! – выругался солдат. – У нас политический строгий разговор. Вот господин инженер тут, а вы про кошек. За что вы на крестьянство? почему гибель промышленности?

– Какова работа мысли! – крикнул инженер молодому человеку. – Ваши ученики!

– И будет так, что мы все пойдем к ним в батраки, к новым помещикам! – продолжал шелкоткач, предлагая инженеру папироску. – Курите, я вас уважаю. Я вижу по лицу, кто понимающий. Вот тогда они нам покажут! Я знаю, что такое социализм. Это святая каторга! пока не дойдешь до точки! Но чтобы все, все! А они нас в кабалу возьмут, господа мужики, помещики! Заграбастали всю землю – возьми У их!

– Вы возмущаете товарищей против трудящегося крестьянства... – огрызнулся солдат.

– Вникните, господин, в мои мысли... – приставал птичник. – Некому покупать из любви. Теперь электричество., полотеры, например...

– Сами натирают!

– А куда плотника деть, большие миллионы? – сказал извозчик. – У меня братья плотники, Владимирской губернии... песок, земли мало...

– А столяр? Высокого столяра, который разные штуки... А я вот золотарик! Кто меня обнадежит?!

К столу наваливались груди, головы.

– Кинарейка – малая вещь, а для нее обиход надо...

– Погодите про кинарейку! Стройка есть? Как теперь с домами насчет стройки? Раз кризис! Весна подошла, армия по своим местам! – кричал шелкоткач. – Куда маляры, штукатуры, кровельщики, плотники, кирпичники, землекопы, возчики, водопроводчики, монтера! Кто может строиться? А все при делах были...

– А извозчики?! Про нас не понимаете, в чем беда?

– Вы – жулье, на господскую землю пойдете, не подохните. А по шелкоткацкому, например...

– А тут эти еще черти, китайцы шлятся! Вот кого надоть гнать отсюда, – сказал солдат, показывая на мальчишку-китайчонка, с ножами. – Обьедают Россию.

– А как немца нанесет, – вот буде-ет!

– Заточит...

– А татары не лишние? Лошадей жрут в такое время! Лошадь для производства земли, а они уничтожают!

– Торговля уничтожается. Куда приказчику?

– Все к ним пойдём! – ткнул пальцем в солдата шелкоткач. – Корми! Землю забрал, сахарные заводы разбил, – корми!

– Вот темнота какая! – с досадой сказал солдат. – Я объясню задачу. Ты чего в меня тычешь?! Кто все начал? Рабочий класс! У нас в деревне теперь так решено: рабочему классу – на-ка вот! – показал солдат пальцами. – Мы производящие, а вы чего?

– Вон он про гроба-то все! Им издаля видать.

Китайчонок, поиграв ножами, пошел с шапкой. Никто не дал. Только инженер бросил марку.

– Стойте! – стукнул он кулаком. – Я вам решу задачу. Горе в том, что все вы за чужой спиной крылись, господа захребетники!

– Не можете говорить так! – крикнул портной. – На нас катались!

– Катались, а вы за чужой спиной крылись! Работенки бы! Брали работенку и работали скверно. А как этих сосате-лей да кормильцев не стало, которые жизнь-то направляли, захребетники-то и сказались. Сам рад пососать, на чужой спине покататься, а дела сделать не может. Спина теперь широкая, хребетище во какой, во всю Россию – катайся! И все опять за спиной: корми! дай работенку! да побольше корми, а работенку поменьше! Нельзя ли и вовсе как-нибудь так, на шесть часов съехать? Ни умения, ни терпения, ни сознания, что для себя, для России, для будущего всего! Сразу в хозяева вышли, а., бзд! – сделал инженер презрительно губами. – Хозяином-то быть и не умеем! Стоим и ждем, когда в корыта пошла нальют! Э, слякоть! Ушла палка, показали кошель – давай! Остается друг дружку плодоть да хозяина дожидаться?

– Это кого ж?

– Кого Бог пошлет! И скверно, что можете самого-то паршивого хозяйчика принять, лишь бы направил! Обмок-лые! Чего от хозяина требуется? Как хозяин дело ведет? До свету хозяин подымается, вполпаза спит, по восемнадцати часов работает! Хозяин куска не доедает, дело свое пуще себя любит! на себя, ведь, работает, жизнь творит.

– С людей шкуру сдирает!

– То плохой хозяин. А умный хозяин и наживляет. Умей с ним говорить! Хозяин каждый гвоздь знает, каждую веревочку бережет. У хорошего-то хозяина все в работе, скотина играет. На хорошего

хозяина и небо, и земля радуется! Хороший хозяин на одного себя все принимает! А вот, и не видно хозяина. Вы все теперь на хозяйство встали. Ну, что ж? Что ж не хозяйствуете? Что ж хозяйство-то не храните, не причесываете? куска-то что же не бережете, нового не растите? Не скопидомствуете, а расточаете? что ж поздно встаете, рано заваливаетесь? Или чужую спину нашли, чтобы крыться, – спина за все отвечает! Нет, спины-то теперь и нет чужой, а на хребет не рассчитывай! Веди хозяйство! Хороший хозяин старается, как бы соседа перешибить, а вы... А вы соседа своего знаете? что за хозяин?! Да, вам теперь надо в веревочку тянуться; на каторжной работе погибать, а хозяйство по соседу равнять! А то... все в трубу! – стукнул инженер кулаком. – Сдохнем, в цепи закуют нас, ярмо надвинут хозяева! Как пыль сгинете! Не возьмете ответственности – прощай, хозяйство! К черту!

– Там поглядим, – сказал солдат, забирая мешок со свиной ногой. – С нас хватит...

– Ему что! – крикнул портной, перешуывая на отвороте иголки. – У него запасено и на пузо, и под пузо. Верно, господин, излагаете. Нового, например, и вовсе не шьют, все переделки да перекройки. А нитка пошла – гниль гнильем.

– А про наше дело... Кому нужна кинарейка? Она при радости. Когда у тебя верная квартира, по праздникам пирожка можешь спечь, ну... пришел домой, в праздник, от обедни... – поет! Как тут спокойно-то мне сейчас: «Семен Макарыч, порекомендуй мне кенаря поразговористей или там щегла». А чижики как любили! Привязчивы они. А теперь на чижа и внимания нету. А какой теперь может быть чижики, господин? какая ему еда? Поехал я на медни под Кунцево – нет чижей. «На кой нам твои чижи, у нас картофельное занятие». Теперь кошками орудую. Рупь с пары очистишь – слава тебе, Господи! Нонче и кошку в цену вогнали...

– Опять все про кошкин разговор! – досадливо сказал шелкоткач. – Тут вопро-сы!

– Поговорили и будя! – сказал, подымаясь, инженер. – Не подрались – и то слава Богу. Может быть, выступить... – предложил он, сделав галантно рукой к толпе, молодому человеку. – Аудитория отзывчива...

Молча поднялся и молодой человек и пошел, вобрав плечи.

– Теперь им смешки... молчки... – сказал вслед портной, – а как... – Злобно и длительно посмотрел в уходящие спины и не досказал – только рукой махнул.

1918 г

(Родина 1918, 27 марта (7 апр) № 1 С. 1–2)

Последний день

*День ото дня рассыпаясь,
С фронта домой добредет,
И, боевым прозываясь,
В область преданий уйдет*

Из песен войны

I

Дивизион умер. Совершилось его погребение. Так и сказал сумрачный фейерверкер Литухин, когда подали передки на батарею, чтобы снять первые два орудия. Стоя на блиндаже, сложив руки, сказал он – лениво возившимся внизу нумерам:

– Веселенькое погребение!

Когда подтянутые, оголодавшие шестерки выкатили орудия и потянули, встряхивая и выкручивая среди полузанесенных снегом воронок, Литухин проводил их до мостика и, зайдя в землянку, сказал Чекану:

– Помаленьку похороняемся, господин поручик. А помянем – чем Бог пошлет.

Попросил карабин и пошел пострелять воробьев коту Гришке. Чекан, еще недавно поручик, теперь просто Чекан, командующий батареей, сидел у чугунной печки и упорно глядел в жаркий огонь.

– Ну, Загидула... надо собираться, – сказал он татарину-вестовому. – Сегодня последний день.

– Нада, – повторил Загидула в тон. – Давно надо.

Да, пора. На батарее остались только телефонисты. Из орудийной прислуги – семеро. Теперь они увязывали свое добро. Пехота давно ушла. В окопах, за рощей, только бродячие собаки, – гремят кинутыми ржавыми котелками.

К вечеру, когда красный шар солнца засквозил через соснячок, к немецким окопам подали передки за последними «англичанками». Когда выкатили четвертое орудие, Чекану стало нехорошо. На чей-то

оклик – выкатывать? – он только мотнул и смотрел, закусив дрожавшую губу, как кованые колеса хрустнули по следе, брезентовый надульник окрасился в розовое от погасавшего солнца. Поплыло орудие куда-то, раскланиваясь на кочках.

– Ну, господин поручик... попрощаемся...

Уходил Литухин с последними номерами. Он держал в поводу вороную кобылу, был туго подтянут, выбрит, выше ростом и, как будто, худой. Сбоку – наган. На правом плече упрямо оставленная полотнянка погона. Серебряный крест на новой ленте – словно на смотр.

Чекан, почти мальчик, с вьющимися белокурыми волосами, с нервным худым лицом, уже сменившим загар на серую бледность, крепко пожал и дважды потряс большую жесткую руку, протянутую ребром, и поглядел в серые умные, теперь беспокойные глаза Литухина: они любили друг друга и знали это. Чекан сказал только.

– Прощайте, Литухин... счастливо...

И отвернулись. Чекан стал плядять к немецким окопам, через красный сосняк, на солнце, а Литухин чекнул по каблуку шашкой, садясь на свою кобылу, и скрипнул седлом. И затукали, захрустели по снежку копыта.

– Господин поручик!..

Чекан обернулся. Вороная Азалия, в отблеске солнца казавшая все изъяны исхудавшей груди и боков, переступала одром, закинув острую шею. Литухин оправлял папаху.

– Последние снимочки батарее, с вами не забудьте выслать!

Сделал под козырек и заворотил круто. Чекан тоже отчетливо отдал под козырек и крикнул заигравшим подковам:

– Ну, конечно! Счастли-во!

Полядев в темную пустую дыру орудийного блиндажа с голым помостом, как в покинутую квартиру, и тихо сказал:

– Вот и...

Когда стало темнеть, он вошел в землянку и сказал на пункте связи: «С восьми, завтра, снимать телефоны, придут двуколки!» И стал прибираться. Потрепал Гришку, уже устроившегося на кровать на ночь. Подумал: «Куда его-то?» И в голове родился прыгающий напев:

Какой вы э-ле-гантный,
Какой пика какой пика
Какой пи-кантный!

Посмотрел на Гришку, блявливо вывернувшегося белой грудкой, и вспомнил, как в сентябре обедали батарейной семьей. Гришка держал серые лапки в белых перчатках на краю стола, а прапорщик Петров пел ему комплименты.

Вдруг крикнули: батарея, к бою! – все кинулись и Гришке отдавили лапку. Перебирая книги, Чекан увидел и другого кота, завалившегося на книгах, к печке, – толстую Акулину Поликарповну: последнее досыпает.

Пришел старший телефонист, худосочный, долговязый Дидулин, и принес вести: немцы перебросили на ружейной гранатке пачку листовок на пост.

– Вот, прочитайте... – сказал, ухмыляясь, телефонист. Чекан взял лист и прочитал крупнопечатное: «Щастливого пути!»

– Оставьте себе на память, – сказал Чекан.

– Это не по нашему адресу, господин поручик... – как будто обиделся Дидулин. – Как это аллегория, но мы всегда были на своем месте. А которым по адресу... сыпь-ка их! Наша артиллерия была на высоте задачи!

– И телефонисты славно работали... – сказал Чекан. – Верно, это не по нашему адресу. Бросьте в печку.

Вспыхнуло в печке, от света проснулся Гришка и стал умываться. Чекан взял из ящика книгу Толстого «Воскресение» и дал Дидулину:

– Вы любите читать. Вот возьмите в память нашей работы... «Воскресение»...

– Тогда уж позвольте, господин поручик... немецкой сигаркой. Обменяли вчера на мыло.

Он аккуратно положил сигарку на край стола, словно она была у него заранее приготовлена, повернулся четко и вышел. Чекан закурил жадно: другой день не было табаку. Хорошо было бы рому выпить... Накрепко затянувшись, он надел кожанку и вышел из блиндажа.

Полный месяц уже высоко стоял. Сверкал голубоватый снег, в синих пятнах воронок. В лесу, за землянками, шевелились тени, – начинался ветер. Где-то жалобно мяукала кошка: много осталось их по землянкам – лови мышей. Чекан пошел «дорожкой смерти», кривой тропкой, по которой ходил больше году на батарею. Дорожка была счастливая: кругом яма на яме, а дорожку не тронуло. Только чуть-чуть задело у командирского блиндажа, 8 июля, когда убило командирскую лошадь Астру. А вот – от восьмидюймового... В ней до заморозка наводчик Хохуля держал под сеткой на кольшках дикий утиный выводок. Его у него украли. Чекан вспомнил плаксивое круглое лицо Хохули, когда он пришел пожаловаться, что украли у него «последнюю радость». Вспомнились нумера. Все были народ славный.

Впереди зачернели на снегу трубы землянок – не дымили. За ними влево шел разбитый снарядами лес. Пушился черный дубняк. Как на порубках, торчали тощие сосенки. Белели в луне острые вихры расщепов. Там и там, городами, виднелись надбитые деревья – «люди». Так сказал как-то Литухин, когда взрывали неразорвавшиеся снаряды:

– Как люди, прямо! По-церковному буквы: како, люди, мыслете...

Понравилось всем: побитые деревья – люди!

Куда ни глядел Чекан – всюду были эти побитые деревья, воронки, кочки – опустошение. Боже, ка-ко-е! Иным, жутким ликом предстало оно теперь, когда все кончилось, когда остался Чекан один. Больше года прожил среди могил, под смертью! И о смерти не думалось. А теперь стало думаться, когда так тихо. Теперь только утрами, если ветер, доносит немецкие барабаны: «дррала баба боб-б-рра... др-р-рала баба боб-рр-ра...»

Недалеко от бывшей батареи стояла сосна, под ней – воронка. Тут «съело» висевшую на суку шинель Хохули, остался один ворот. Чекан вспомнил, как рад был Хохуля, что отошел тогда покормить утенков: и жив, и новую шинель выдали.

А вот полянка со столиком, где чайничали и писали дивизионную поэму. Отозвалось знамое:

Наш родной дивизион
Носит сме-э-рти шевро-он...

Тукнуло глухо неподалеку – должно быть, сук. Чекан поглядел на стук и увидел на поляне, у соснячка, лошадь. Лошадей он любил, но теперь было тяжело встречать лошадей: это были тени, лошади обозов, брошенные околевать с голоду. Последние дни часто приходили они к людским стоянкам. Стояли часами, поникшие, словно раздумывая, равнодушные, с нависшими веками, которые уже не было сил поднять. Они приходили умирать на людях. Их пристреливали из жалости. Вчера Лопухин пристрелил одну на могилах егерей-гвардейцев. Она подошла к крестам, за разбитым заборчиком, и долго стояла, раздумывая, быть может, не здесь ли люди, которые ее возьмут. К концу дня повалилась на снег, и Литухин ее пристрелил, чтобы не стали живую рвать собаки. Недавно Чекан встретил такую же, хороших статей когда-то. Она потянула к нему костлявую голову с нависшими веками, и он увидел в узкие щели умирающие глаза. Правда, может быть, нервы последнее время были раздерганы, – этот взгляд многое говорил Чекану.

И теперь он не мог уйти. От месяца и снега было совсем светло. Лошадь стояла задом, и Чекан видел отсвечивающие углы бедер, как у тощей коровы, и пятна провалин. Провисла спина, хвост подтянуло в ноги, острым гребнем стояла холка. Это была вороно-пегая, с пятнами на боках, будто закиданная снегом.

Чекан свистнул, но лошадь не шевелилась, – стояла, ткнувшись головой в соснячок; только правое ухо чуть повело на свист. Словно это было необходимо, Чекан зашел через сосновую поросль и оглядел с головы: на лбу было белое пятнышко и все те же нависшие веки.

– Васька! – позвал он тихо. – Что... умираешь?.. Лошадь потянула голову, пошевеливая обвисшими слабыми губами. Чекан потрепал.

– Ничего, Вась, скоро конец.

Теплота ли руки или его воля передалась лошади, она потянула вполглаза веки и поглядела. Две маленькие тусклые луны выплянули на Чекана из черных щелей, но он увидел больше... Он отскочил, от жути, и пошел, ускоряя шаг. Оглянулся. Отчетливо до темных полосок ребер видна была лошадь. Она стояла все так же, головой в соснячок.

Бесцельно ходил он вокруг батареи. Сигара давно погасла Пошел к блиндажу. В тени входа его испугало черное. Он отскочил, крикнув:

– Пшел!

Это был Загидула. Он разогнулся на корточках и тряхнул о снег чемоданом:

– Чиво ты? Чимайдан вибивал!

– Испугал ты меня, Загидул... Давай чай пить.

– Давай чай пить... – повторил Загидула. – Моя скипятил. Рома телехониста приносил.

– Да что ты, брат!? – обрадовался Чекан и потряс Загидулу за плечи. – Пьем, значит!

– Ниминошка...

На часах было только восемь, а Чекан думал, что близко к ночи. На столике стояла бутылка рому и лежала записка-рапорт: «Взамен долгу моему, помните, 7 р. 50 к.? честь имею заменить натурой, удалось обменять. Старший телефонист Аким Дидулин».

Чекан был тронут. Торопливо открыл бутылку и выпил из горлышка. Хорошо! Потом сам-друг с татаринном выпил чаю с ромом, выпил и одного рому. Еще оставалось от сигарки. Акулина Поликарповна терлась в ногах, но Гришка спал прочно на кровати.

«Эх, скотики! – подумал Чекан. – Вы-то уж совсем ни при чем. Лисенок был – убежал, потому что лесной зверь, хитрый. А Барсик погиб, очень доверчив. Газами отравился... Дым, думал, а это...» Чекану было жаль Барсика: с Серпухова ведь по всему фронту прошел, своим был, кусочком родины...

– А, как нехорошо! – несколько раз повторил Чекан в уставившееся на него скуластое, с косыми, будто пленкой затянутыми, глазами, лицо Загидулы. – Ты, Загидула, не можешь еще понять, как нехорошо! Но это и тебя зацепит, и твоего сына, и внука...

Все равно, теперь не вернешь. Неприятно было, что одному пришлось приканчивать батарею: батарейный уехал в отпуск, двое сдавали материальную часть.

– Спать можна... – зевая, отозвался Загидула. Вышел из блиндажа и сейчас же вернулся:

– Гаспадин паручик, лошадь пришел!

Чекан сразу подумал – та самая! Вышел взглянуть.

Возле орудийной землянки стояла на месяце та самая лошадь, в белых пятнах. Чекан свистнул – она не пошелохнулась. Как и на той поляне, стояла она головой на ветер, ткнувшись мордой в снежок на крыше низкой землянки. Загидула совал ей хлеба.

– Не берет. Нихарашо, постреляй нада...

– Уведи ее куда-нибудь, – попросил Чекан. – Пожалуйста, уведи...

– Йяй-йяй-йяй, – взвыл Загидула горлом и замахал руками.

Лошадь не шевельнулась. Тогда Загидула толкнул ее с разлету. Она качнулась и рухнула. Загидула принялся тянуть за хвост.

– Не надо, оставь! – махнул рукой Чекан и ушел в землянку.

Но не сиделось. Выпил еще рому и решил пройти к телефонистам, неподалеку: не достанет ли табаку.

Крепко морозило. Ветер теперь дул резче, и в лесу позванивало и свистело. Проходя мимо лошади, Чекан остановился. Лошадь сопела с хрипом, глубоко втягивая кожу под ребро, под губой на снегу темнела продушина от дыханья.

«Пристрелить бы лучше», – подумал Чекан и пошел знакомой дорогой – к наблюдательному пункту. Зашел к телефонистам.

Пятеро спало. Старший, Дидулин, сидел на пеньке, перед жаркой печкой, и читал подаренное «Воскресение».

– Дайте. Дидулин, папироску... Измучился без табаку!

– Могу предложить сигару... – сказал Дидулин, вытягивая сигару из-за голенища. – Купил у немца за мыло цельный десяток. Сигары – первый сорт, будто испанские...

Подавал огню и сам закурил сигару. Покурили молча.

– Вот читаю «Воскресение», раньше не читал. И могу сказать, что возбуждает интерес насчет морального состояния! – показал Дидулин карандашом на книгу.

Чекан улыбнулся, вспомнив, как, бывало, говорил Дидулин, когда рвались провода: «Опять подорвали авторитет связи!» Увидел, что Дидулин выписывает что-то в тетрадку, в свою «пур-муар». Спросил.

– Это, собственно, мои вольные мысли... – с готовностью отозвался Дидулин и прочитал, краснея: – «Я верю непреклонно, что человек должен подыматься даже после самого страшного падения, в нравственном смысле, ибо не может погибнуть совесть, то есть главный контролер души»!

– А если никогда и не было у него главного контролера? – спросил Чекан. – И еще не родилась душа?!

– Этого никак не может... как же это может? Всегда отрыгнет росток...

– Или когда душа звериная. Звериная душа... ничего не может! Ни на что не похожа звериная душа! Только разрушать и... А, к черту! – крикнул Чекан.

Проснулись телефонисты. Чекан посмотрел в их спрашивающие лица и махнул рукой – пустяки!

– Дайте, Дидулин... Да вы уж дали мне сигару... спасибо! Большое спасибо, а то измучился. У вас душа есть... И за ром спасибо. Тяжело одному переживать... такое переживать, вы понимаете... Вот теперь немножко взвинчен, ну да ничего... боя теперь не будет!

«Ничего не отрыгнется! Нечему отрыгиваться!» – повторял Чекан, шагая знакомой дорожкой – на наблюдательный пункт. Споткнулся на черную кучку. Дымовые шашки! Все-то брошено, брошено!..

В лощине, где тянулся лесной прогал, еще издали увидел он, как и всегда, у самой тропки, срезанный наось дубовый пенёк, высокий, похожий на аналой. Отполированный вжелт срез отсвечивал в месяце. Чекан остановился и заглянул на выжженный в срезе немецкий «железный крест» и прочитал не раз читанные немецкие буквы. Кавалер железного креста Адольф-Готлиб Эйхе! Да-а... Эйхе!! Эйхе?! Только теперь впервые пришло в голову Чекану, что недаром они похоронили кавалера Эйхе под дубом и выжгли на срезе – Эйхе! Дуб! Дуб и – «железный крест»! И дуб, и железо, и крест, и немец! Дано крепко. Поставили у дороги налой – читай! Тысячу лет читай про железный крест! про кавалера Эйхе!

– А все-таки мы, мы выбили их! огнем и кровью выбили в миг один! – крикнул Чекан дубовому пню. – Да, брат! А нас не выбили, а... рассыпали...

– Прощай, Эйхе! – сказал Чекан кресту. – Лег недаром!

Прошел шагов двадцать – могилы егерей-гвардейцев. За сломанной оградкой восемь зеленых, в стороны поглядывающих крестиков на снегу. И завалившаяся на крестики, уже обглоданная с зада, пристреленная Литухиным лошадь.

– Егеря-гвардейцы! – сказал Чекан крестикам. – Прощайте и вы. А вы даром или недаром?! А мы все... даром или недаром?! Эх, гвардейские егеря! Встали бы – поглядели! И не выжгут и не врежут в дуб! Теперь-то уж никак не врежут! Некому теперь врезать! Теперь запашут! На запашку пойдут гвардейские егеря!.. – разговаривал с собой ли, с крестами ли, с падалью – захмелевший Чекан. – А ведь умели умирать – биться за свою Россию! Ваша, как не отвертывайся, была! И какой была бы! Наша!! – крикнул Чекан в белую пустоту. – Умели! Эй, кавалер железного креста! Эйхе! Знавал ты гвардейских егерей?!

Постоял, слушая ночь и белое поле. И вот донесло на него с ветром через брошенные ряды окопов, с немецкой стороны – трубы оркестра. Марш там играли, как обычно в субботний вечер. Марш из «Фауста». Пошел на взлобок, прошел ходом сообщения, спотыкаясь на черные штуки разбросанных всюду дымовых шашек, на жестянки противогазов, на мертво звякающие котелки. Добрался до блиндажа наблюдательного пункта, взошел на бруствер. Тянулось, в месяце, мутное, зеленовато-белое поле, с темнеющими кольями порванных заграждений. Марш было временами слышно отчетливо.

– Да для чего же все было?! – спросил Чекан мутное поле. – Веселый марш... Тогда веселей было... – вспомнилось ему.

В июле лазил он сюда, на бруствер, связать перебитый провод, – показал пример робевшему телефонисту. Три минуты лежал под густым обстрелом, и прострелило ему рукав и отставший от шеи ворот.

– Тогда веселей было! – повторил Чекан. Возвращаясь на бывшую батарею, он услышал выстрел.

Загидула сидел на корточках перед дергавшей задними ногами лошадью.

– Капут! – сказал Загидула.

– Капут! – сказал Чекан.

Лошадь затихла. Передние ноги вытянулись прямо от груди; задние подтянуло наось, – совсем, как у раскинувшейся на солнце, потягивающейся собаки.

Всю ночь плакали брошенные кошки, всю ночь просились в тепло, драли когтями дощатую наружную дверь, трясли, словно ломились люди. Гришка и Акулина Поликарповна спали сладко.

...Последнюю ночь... скоро и они будут рваться...

Не мог сомкнуть глаз Чекан. Наконец, не выдержал, встал, подбросил в печку сосновых чурок и открыл дверь. Одна за другой скользнули на огонь кошачьи тени – другая, третья... Они поеживались у стенок, поблескивали зрачками, отфыркивались. Смотрели к огню. Кутаясь в шинель, смотрел на них Чекан. Так и досидел до рассвета, когда пришли двуколки – снять провода.

(Наша Родина. 1918. 26 (13) мая № 11. С 2–3)

В дождь

Воск. 23 июня (10 июня 1918 г.)^[40].

(Набросок из записной книжки)^[41].

Дождь... дождь... Уже давно я не вижу кусочек синего неба, не вижу солнца... Глянешь в окно, – все оно серое, скучное. Да пришла ли весна? Пришла, но пришла без солнца. О, как холодно, как тяжело на сердце! А ведь есть и весна и солнце. Только дотянуться до этой медленной, серой мути и рвануть вглубь и вширь... сдернуть и открыть солнце. Силою мысли зажгу я солнце и синью затоплю серую муть! Слава Св. Силе, что в ее только власти помешать этому.

Ну, мысль... дай мне весну, солнце живое! И уж нет преград, и я снова в далекой-далекой дали, за сдерживающ. тучи горами. И старое солнце – вот, и синее море – вот, и мохнатый лесовеж – как, вот ласково-бархатно щекоч. радости, руки и серенькая воронушка домовито вспархив. в лавровишняк. И взгорье под тих. виногр. садами – вот... Вижу даже и солом, крыши. Верба, стар, хохла, что живет от своей коровы и садика на клочке. Он не знает смущающ. душу, – ни политики, ни *иных* законов; знает разве одно, – хорошо жить, когда тебе не мешают жить. Стар Верба, и порвались поля его шляпы; стар-старо все в нем, но как же блестит и поет всегда молодой по весне его сад, густо засып, цвет. ябл. и гр., залитый белым и горьковат, морем черешен.

И скворцы уютно трещат над ним, на высоких шестах, и дубоносы пощелкив. костяными носами, – скорее бы зрели вишни! и давняя пара горлинок залетает сюда с синей горы, такой близкой, хоть и далеко до нее. А какое солнце! Будто и весь блеск, что уходил на Север, бросило оно на эти холмы и сады и ни один луч не переплескивается за горы, за теми. Баб^[42], за сизую гробницу Чат. – Дага^[43], за золотящ. Дем^[44]. Все здесь. Ни один не уйдет на Север.

Я хочу долго-долго идти и приложить уста к этим золотистым отсюда камням старого Дем., жарким от солнца, чистым от вольн.

ветров. Я до боли хочу глядеть на орлов, гнездящихся в недостижимой круче скал. Вольно дышится на вершинах; чабаны, в овечьей шерсти, заложив черные кулаки за бездумные головы, наигрывают губами песенку про десятую овцу, что даст им хозяин по осени, в день счета, про сладкое молоко, славно пузырящееся в кожаных мешках, про звезды над Пал. Гор., про снега и ветры, которые погонят стадо к лесам. Вольно дышится на вершинах! Здесь она, светлая свобода, которую не отымешь. Здесь кротки камни... и ласково-мягки провалы пропастей...

Полудикий чабан радушно поделится со мной пахнувшей отарою брынзой. Полудикий чабан не осквернит душу, не захватит ее и не спросит – кто ты и во что веришь? Полудикий чабан любит волю и простор горн, далее и не помешает глядеть на звезды. Я протягиваю ему, вольному стражу кротк. овечьего стада, братск. руку, крепко жму его каменную ладонь и хоч. мне *чуять*^[45] всю великую боль и горечь, сказать ему, указывая на Пал. – Гору:

«Брат свободный вольный чабан. Бедны стада твои, тесен и убог твой шалаш; со псами говоришь ты, когда тебе скучно, и псы отвечают тебе глазами... Но не гляди туда, на Сев. за Пал. – Гору – дожди и холода там, и забиты грязью дороги, и реки жесткой мутью, и поля *закутаны* тоской и пусты и ввалившиеся глаза с ненавистью глядят и там, и вольная воля потерялась. А тут какое богатство, какое кроткое море волнующегося руна и как покойно глядят на тебя глаза твоего вечного стада... Дали откр<ываются> твоей душе?

Всюду дороги свободной мысли! Только ли Демерджи? Это пустяк в беге мысли. Взмах в тысячу верст, – и вот она, которую ничто не пробьет, гранитная крепь черного по подножию Баб., над которым нависло, покачив. серебряное полукольцо месяца-младенца и вечерняя звезда вывешивает на палевом закате немерцающ. бриллиант. Хмур, нелюдим Б., но почему даже от него, темного тянет на душ. лаской? Вот пробираюсь каменными тропами в тихих лесах прямоствольных *буков*. В моей сумке постукив. черн. сухари, звякает кружка на ремешке, ноги мои устали, – но как привольно и славно поет в груди, смеется лесная тишь этих вечных камней.

Где-то тихо лежат горные медведи, нестрашные. Знают они, чувствуют они, что пришел я поклониться горной глуши... А выйдет один на тропинку, потряхивая мшастой *башкой*, – и скажет ему измучен, душа

моя: «Зверь добрый! Друг я тебе, не подниму руку над твоею неведомой лесной жизнью, знаю самое дорогое твое, – жить, как знаешь. Вольны пути твои. То же – и мое дорогое. И разойдемся мы: ты в знаемую тебе лесную чащу, я же – все вперед, на кам. *верш.*, где поют ветры!»

И на каменной гробнице Шатер-Горы, откуда выплывает север, ничто не ударит душу. Холодно там!

И опять я – в теплых виноградных садах, плетусь по кустистому дубнячку и грабу, в колком войске цепкого дер-жи-дерева. В трещинках – обжигающие тропки, кривобоки колющие кусты, но мило душе: все здесь само в себе, как указано Вечной Силой.

Приложи ухо к морщинкам этой земли, – и услышишь, как повторит она биение твоего сердца. Я люблю слушать этот ровный деловой стук, будто постукивание крови этих теплых холмов, за которым уловит ухо и знойный треск поющей цикады, – сорвавшейся часовой пружины, – и шорох ящерицы в ворохе прошлогодних листьев, и неведомо где поклевывающую мотыку, и тяжелую поступь старого Алима, пробирающегося взглянуть на старый сад свой вон за той горкой. Все это, будто мало заметное, – здесь, на воле, одинаково значительно для меня, и счастлив я часами сидеть бездумно на придорожном камне... За тысячу верст ухо мое чутко слышит шелест сухой травы на пологом скате, откуда подымается вышка фермы... Вольная мысль подхватывает меня, – и вот заливают меня живые звуки, благодушно глядят влажные коровьи глаза, и тонко позванивает струящееся доенье...

Творящая жизнь! Я в чуде. Еще вчера ленивые желтобрюхи грели на пустыре под солнцем свивающиеся кольца. Но пришел искавший воли в камнях и зарослях, и сказал: да будет! И высоко подняло свой шпиль новоселье-ферма. Цветная семья нежащихся в солнце коров наливает сверкающие ушаты теплым молочным ливнем... Я сажусь на черный распряженный тарантас, как огонь горячий, и тихо живу радостно творящейся здесь несложной жизнью, густым духом прожаренного парного стойлища, сверкающими нитями тягучей слюны, сладостным шумом сливаемого молока, бойкими пальцами, играющими под коровьим брюхом, звонкой поросычьей стайкой, мчащейся с визгом за колышущейся маткой к пойлу, голоногой девочкой-двухлеткой, зажавшей в обожженном кулачке кусок белого

ситного с голову, – всей этой сытью и гущиной живой жизни. Я хочу быть так вечно, ничего не видеть, ничего не слышать, ни о чем не думать: ни о свободе, ни о гнете, ни о дерзаннях незрелой мысли, за которыми льется кровь. Я хочу протянуть руку создавшему эту сказку на пустыре и сказать ему: «Избрал ты благу часть!» И он ответит, я знаю, вдумчиво глядя в беспредельное море, открывающееся отсюда: «Да, живу и творю».

Скажет и подойдет к кротко выдаивающейся лучшей своей красавице на ферме и домовито потреплет за бархатное ухо.

Как чудесно! Как мирно позвякивают ведра, потрескивают цикады, мычат коровы и шипит пенящееся молоко! В этих звуках и голосах – покой и свое: ни затаившейся зависти, ни кипучей злобы, ни... Только мычанье, и треск, и звяканье, свое только, само в себе.

Я дремлю на жарком, как огонь, черном тарантасе, в море солнца. Звуки слабнут, плохнут... держится еще одинокий, тоненький-тоненький – струйка теплого молока в ведре... И опять громче, резче... Вливается холодящий шорох, будто бьется что-то холодное, брызжет дробно... пуливая мысль ушла, – и вижу я, как тянутся за окном густые низкие тучи и кропят-плачут по стеклам.

Июнь 1918 г.

(Свобода России 1918 23 июня № 54 С. 1)

В деревенской глуши

Заплуталась деревня в «темном лесе» советских декретов и действий, заплуталась – и тщетно стремится выйти к свету и солнцу.

Где враги, где друзья, где зло и где правда, все это скрылось из сознания народного, а остался там лишь хаос противоречий.

Чутко ловит деревня каждую весточку из центра, пережевывает ее, по-своему истолковывает.

Собираются мужики вечерами на завалинках, подпирающих серые, соломой крытые избы, задумчиво гладят свои бороды и ведут степенные разговоры о судьбах мира.

Газет не читают:

– «Известия», што там пишут – врут все! Нам Ванюшка Малютин, что намедни приехал из Москвы, справедливее все обскажет.

Слушают нелепые рассказы Ванюшек, приехавших из Москвы, и день ото дня напряженнее чего-то ждут. Ждут перемены...

– Как дальше жить будем? Лошадь 12–15 тыщ стоит, да и за той надо под самый Тамбов ехать. Коров, свиней, телят – поели. Совсем переводится скотина в деревне, – по тому держать ее нельзя: реквизируют. Земля родит плохо, да той нет: сколь народу из городов, с фабрик да с заводов понаехало – со всеми делиться надо!

И разговор вертится около Колчака и Деникина, около «зеленой» армии, двадцать два дня бьющейся с красными войсками «под самой под Москвой».

Внимательно прислушиваясь к этим, на первый взгляд, эпическим разговорам, вы невольно уловите общую мысль их, укладывающуюся в часто употребляемой теперь украинской пословице: «Пусть будут ехать гирше, да инше».

Дезертиров много в каждой деревне – «Што им делать? За коммунистов кровь проливать. Пушай сами за себя воюют.»

«Пушай сами» – это классический аргумент употребляется постоянно.

Если вы попытаетесь убеждать, что борьба с Деникиным и Колчаком необходима во имя интересов крестьянства, которое с

приходом их лишится земли – лица собеседников моментально становятся непроницаемыми:

– Оно конечно. Нешто мы не понимаем? Ну, а только у нас до революции насчет земли лучше было. Получили мы на обчество, скажем, пятьсот десятин, а едоков в обчестве прибавилось теперича почитай с тыщу. Вот тут и смотри сам.

Таково массовое настроение деревни. Но в каждой деревне, в каждом селе есть, конечно, сознательный элемент, великолепно понимающий и политическую и экономическую обстановку, в которой находится Советская Россия.

Все усилия прилагают эти люди к тому, чтобы так или иначе рассеять все прогрессирующую реакционную в настроениях деревню, но в силу объективных условий немногое удается им сделать в этом отношении.

Публичные выступления, направленные на защиту принципов советской власти и борьбы за нее, не содержащие элемент критики действий власти – рассматриваются как «контрреволюция» и перед осмелившимися выступить встает вполне реальная угроза – оказаться в «черезвычайке».

Такие условия парализуют значение подобных попыток и создается поистине трагическое положение.

Может быть, прочитав последние строки, вы несколько усумнитесь: «Какие же теперь в деревне „черезвычайки“, когда даже уездные уничтожены декретом?»

Но декрет декретом, а жизнь идет своим чередом.

Недавно мне пришлось в одном из сел Тамбовской губернии познакомиться с очень молодым человеком, который при знакомстве, галантно раскланявшись, полностью назвал свой «титул»:

– Председатель волостной чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем!

– ?!

Видя мое изумление, простодушный председатель счел нужным пояснить:

– Теперь, конечно, волостные и уездные комиссии не существуют, но партия, между прочим, наблюдает. Я назначен от партии.

Не оставила деревня незамеченным новое отношение центральной власти к трудовому крестьянству, но поняла это по-

своему и использовала по-своему.

Если раньше деревня совершенно безучастно относилась ко всем выборам в сельские и волостные советы («Пушай сами кого хотят, того и выбирают»), то теперь она упорно отстаивает каждого своего кандидата, часто игнорируя все «разъяснения» волостных коммунистических ячеек.

О том, какое крупное значение придает деревня перемене курса политики в отношении крестьянства, видно хотя бы из того, что в деревне появились такие выражения: «Это было еще до Калинина» или «Это было еще при старых порядках».

Но и «новые порядки» не примирили деревню с господствующей партией: при всех перевыборах, если они протекали хоть в сколько-нибудь свободной обстановке, ни один коммунист не проходит в совет. Даже честные и дельные из них определенно бойкотируются. Настолько сильно в деревне недоброжелательство к коммунистической партии.

Пятиминутные «наскоки» на деревню «уполномоченных уполномоченного В.П.П.К.», конечно, не в состоянии разрешить существующих в деревне недоумений.

Один крестьянин, на мой вопрос: «Что новенького у вас?», так рассказал о приезде такого «уполномоченного от уполномоченного».

– Что новенького? Да вот наемдни приезжал к нам товарищ Сабуров. Из центра... Говорили, будет разбирать наши дела деревенские, жалобы всякие от мужиков принимать. Ну, ждали его. Приехал... Минут пять прямо с тарантаса поговорил, да только его и видели...

– Что же он говорил?

– Да што говорил? «Мы, товарищи да вы, товарищи» – только и делов от него слышали. А жалобы-то, грит, ко мне в город приносите, штоб писменно. Ну, которые посла ходили с бумагами в город, да толку-то, знать, никакого не вышло. Уехал уже.

Чтоб устранить это глубокое непонимание, эту непримиримость деревни, нужны не слова и паллиативы, а такие действенные меры власти, которые в сознании крестьянских масс преломлялись бы надлежащим образом; нужно, чтобы крестьянство действительно получило наконец возможность не на словах, а на деле – строить свою

жизнь и жизнь всей страны по-своему, чтобы всякая опека была снята окончательно.

(Народ. 1919. 17 авг. № 1. С. 4)

Березовая роща

I

Помню, в солнечный тихий день – было начало сентября – прибыли мы, наконец, с приятелем в его знаменитую березовую рощу. Я шутя называю ее «знаменитой»: приятель мой уж очень часто твердил мне о ней, своей первой собственности. Приобрел он ее почти за глаза, под снегом, уплатив трудовыми, скопленными литературной работой, и она в короткое время стала для него – *она*, вторая *она*. Что-то женственное, любовное было в этом слове – *она*, в тоне голоса нового собственника. В ней были необыкновенные березы, особенно звонкие тропки, удивительный шиповник и даже кусты орешника!

– Орехи свои будут!

Росли в ней особенные какие-то сыроежки, удивительно легкие, сухенькие, как пробочки, и самых нежных тонов – розоватые, голубоватые, фиолетовые – один восторг. Жили в ней дятлы (три штуки) и налетом бывала кукушка. В ней даже были следы... русской истории: пил в ней имбирный сбитень Кутузов, по дороге к Филям. Ну, не в ней, конечно, а в ее прапрабабушке.

И вот мы прибыли. За нами остался пустынный полустанок и усыхающие картофельные поля.

– Вот и она!

Да, она была хороша, золотая красавица на голубом пологие осеннего неба. Она уже начинала сквозить и слепила белизной стволов.

– Все мое! – показал приятель с края до края. – Весь остров!

Это был березовый островок, косячок десятины в полторы, охваченный картофельными полями.

– Дачное местечко будет... – сказал я.

– О, нет! – испугался приятель. – Это мой необитаемый остров. Здесь 1372 березы мерных. Они будут жить вольно. Со временем выстрою собственный дом, где и буду жить круглый год, с Москвой удобное сообщение, и буду отшельничать. Весь остров обязательно

обнесу забором. У меня будет и огород, и сад. Домик поставлю, – и непременно из хорошей сосны, – вот в этом вдающемся углу, на юг И он в восхищении потер руки.

– Сам буду ставить, смолку вдыхать, хозяйственный этот аромат нюхать! Сколько в этом поэзии! Я только теперь начинаю понимать особенную красоту в разбитых бочонках цемента, в кучках свежих, знаете, розоватых опилок – мед в грохоте беревен! Стройка! Своя стройка! Подвяжу волосы и начну строгать. Я могу. А известка пахнет! А первые кирпичи фундамента! Буду стихи писать.

Мы ходили от березы к березе, пошлепывая по тугим полным стволам, словно покрытым матовой белизной магнезии, кое-где с оранжевыми прожилками.

– В каждой свое! Я это недавно понял. Все личности! Эта высокая худощавая, светлая блондинка, немного золо-тушка. Эта – коренастая брюнетка... Какая раскидистая! А вот сразу видать! Ну?!

– Девственница! Угадал?

– Почти, бывают такие девушки, с синими глазами и холодным лицом... всегда глухое черное платье. А эта – бабушка. Полторы десятины! Не буду слышать дачных соседских голосов, – один. А представьте только морозную тишину месячной ночи! Начало ноября. Я засиделся за работой. Через эти поля видит мой зеленый огонек только дежурный телеграфист с полустанка. Все давно спит. Ого! Уже 12-й час! А, это курьерский на Париж. Пусть там где-то Париж – я один! Я выхожу на поскрипывающее крылечко. Эге, морозец. А месяц! Фу, какой здесь месяц будет и какой блеск! Первый снег только вчера выпал, на Михайлу-Архангела. А блеск – это они блещут мне, они, березы светлые, уже звонкие, отдыхающие после осеннего хлестанья. О, я мог бы написать чудесную поэму о моем островке! И я напишу и... тогда.

Мы проходим целой сеткой сухих, звонких тропок.

– Это все дачники – с поезда на дачки, моей рощей, короче. И знаете, странные, новые чувства испытываю я, – я собственник. И мне смешно на себя! Если бы социалистам, всем, всем, дать по милой сердцу собственности, и они были бы способны переживать хоть десятую долю того, что я на этом месте, было бы любопытно потолковать! И мне смешно на себя: я – собственник! Вы знаете мои взгляды и даже угадываете мою партийную, как говорится,

принадлежность... мое решительное отвращение к господам, делающим из собственности цель жизни. И вот я попался себе на зубок в первый же миг, как увидел эту березовую рощу. Моя... – первое вырвавшееся у меня слово, когда купец Стежкин привел меня с этой же стороны, откуда и вы пришли, и сказал:

– Вот она и Ваша-с. Можете удостовериться, что обману нет... – чистая береза. Только для Вас-с!

– Правда, он хорошо слупил. И я, радостный, как юноша влюбленный, почти крикнул: моя! И вскоре попался на новом чувстве – досады. Вот пройдемте.

Мы подошли к толстой березе.

– Видите – варварство... – показал он разрез на коре. Очевидно, добывали березовый сок «квасок».

– Стежкин пошел к себе, – он здешний, а я остался знакомиться с «ней». Я обошел ее и по окраине, и по диагоналям. Я нашел гнездо весенних опят и набил ими карманы пальто: *мои* опята! И груды битых бутылок и консервных жестянок... Дачники! Они забирались в холодок и устраивали свои пикники. Мне была неприятна эта бутылочная пошлость. Они не имели права оскорблять мои чистые березы. Они давно вырезывали свои дурацкие имена на коре. Видите – «Михаила Степаныч Кудриков»! Какой-нибудь кассир, прилизанный, в розовом галстучке и с брелоками И ведь врезал, шельма, должно быть с топором приходил. Вот и любуйся: Кудриков. Нет, я ее скоро огорожу от Кудриковых. Мало им отдельных кабинетов и отхожих мест? И вдруг застаю – помню, весь сжался от боли и обиды, – толпу ребят во главе с дылдой лет восемнадцати. Он пришел с косарем и делал глубокие надрубы! Сок, видите ли, добывали! Они истязали мою рощу, юную по весне, вот-вот готовую выбросить свои зеленые грошки. Я на них крикнул. А дылда еще огрызнулся: «а тебе чего»? И я крикнул на него тоном собственника:

– Это *моя* роща! Ступайте вон!

– И они ушли, ругаясь. Имел я на это право? Да, имел. Она была, действительно, моя, трудом добытая, моя мечта. Это было и *ее* право жить и принадлежать любящему. И она крикнула бы, если бы могла. Я тогда же пилочкой пообчи-стил ее от суши и набрал кучу хворосту. И не было обидно, когда в следующий приезд не нашел его, – взял, кому было нужно. Здесь я провожу лучшие часы. Поработаю пилкой,

закушу одиноко и лежу мечтаю. В моей голове вырастает поэма об этом кусочке собственности. Когда кукует *кукушка*, а там вон, за этой чудесной церковью XVII века, садится солнце, чудесно думается. И вот я задумал одну работу... Эти мои березы нашептывали ее мне.

– Интересно, тема работы?

– Чувство собственности, трудовой собственности, особенное свойство человеческого существа. Это сила облагораживающая, если ей, как и всякой вообще силе, поставить предел. Это своего рода – радий. Я не считал себя способным к творчеству над землей. Я писал и думал. И вот теперь, сделавшись землевладельцем, – засмеялся он, – я способен творить на этом куске чуда. Я готов 20 часов творить. Эти полторы десятины создадут вместе со мной маленький рай. Я буду иметь...

И он развил целый хозяйственный план до коровы и оранжереи.

– Да. Я о корове напишу вам поэму! Буду доить, и в этом найду красоту. А почему непременно собственность? Это очень важно. Мне необходима уверенность, что это *мое*. Это – творчество, и распорядиться им могу только я. Для раба безразлично, кому пошли плоды рук его. Для меня же, личности, вовсе не безразлично. Я подарю мою рощу и дом мой любимому, кто сможет дальше творить, как и я, кому я верю, а не господам дачникам, умеющим бить бутылки. Только потому, что это *мое*, лелеемое, я могу выкачать из себя массу энергии. И такое чувство у всякого, кто умеет творить и любить. К мужику присмотритесь. Он отлично знает «собственное», мозолями его знает и любит «идейно», как я теперь. Видали, как он один на один, – он суров, говорит с лошадьёю и *как* плядит на *свое* обмолоченное зерно? Собственность – это рост личности, переставшей состоять в стаде. Личность выходит творить свободно.

– Целый гимн пропели, – сказал я.

– Это гимн творцу. И нисколько не мешает работе на общество. Вы смеетесь... Да, в юности я увлекался общиной и даже коммунизмом! Теперь мне смешно. Человечество давно переросло элементарный коммунизм, а до идейного коммунизма ему, пожалуй, и дорасти не придется...

Переросло потому, что личность стала ценить себя и не желает затеряться. Не доросло потому, что личность еще не достигла полного своего развития, когда уже не может затеряться, когда она, идеально

равная и могучая, войдет в коллектив. Надо всем сделаться сверхчеловеками. И даже в стадию «личности» входят пока такие, как мы с вами. Он много и горячо говорил тогда.

– Эта роща, – могучий двигатель! Она говорит мне: стройся, не забывай меня! И я дам теперь максимум, на что я способен и создан. Работать в интересах всей жизни. Но я и при своем интеллекте не найду в этой «всей жизни» величайшего двигателя и буду давать только по мере сил. А теперь... когда у меня *моя* цель, я смогу. Что же говорить о народе! Отнимите у него *его* цели, отдельные, личные, – и... что выйдет? Такое «по мере сил», от которого сдохнет жизнь. Я толковал с мужиками – только смеются. Здесь есть Аким, увлекся пчеловодством – доходно! И за пять лет развел на усадьбе пасеку, – первый. Теперь дает жизни пудов сорок меду. Скажите ему – для общества работай и вот тебе помощник Стецкин и жалованье. Он плюнет, если не раб. Он творит, как художник, – для себя! И его мед все-таки получает общество. Я напишу целую книгу о силе и росте личности! Народ не входил, а лишь начинает входить в эту стадию роста, и покажет таящийся в нем великий радий!

Мы провели чудесный день в этой светлой осенней роще. Когда подходили к полустанку, приятель остановился, взглянул на свою золотую красавицу и засмеялся:

– Последнюю зиму проспидь одиноко у ста дорог! С весны и начнем. Вы помните, как говорил Михайловский про бюст Пушкина и мужика с топором в кабинете? Ну, так я к Пушкину и Венере прибавил бы и это, *мое!*

II

«С весны начнем»!

Это было три года назад. Где теперь мой приятель и его золотая красавица! Ее, конечно, давно срубили, чтобы спасти от холодной смерти заблудившийся у ста дорог коллектив, раньше не боявшийся холоду. А Аким-пчеловод? Померзли и его коммунисты-пчелы, эти коммунисты-слепцы, неведомо для чего работавшие. А может быть, попали в соседские руки, и работает ошалевший Аким на кого-то, ему неведомого, «по мере сил»...

Этот случай с березовой рощей я вспомнил, когда весной пробрался в Крым из-под Курска некий солдат Кузьма.

– Ну, как живете, куряне?

– И вовсе никак, никакого житья не стало. Коммунии наводить стали. Нет тебе никакого ходу!

И порассказал живописно.

– На войне нагоровался, по хозяйству затосковал... Ну, годи, дорвусь! У немца тоже понасмотрелся, в плену... руки чесались! А теперь... Поросенка лишнего не заведи – донесут. Он, грит, супротив всех, для себя старается... буржуй, поросенка завел. А говорит-то кто? Стерьва, всю жись у своих вшей слонялся-почесывался. Всю жись не токмо что для соседа, – для своего сапога гвоздочка не припас, а теперь гавкает: «для общества все должны». Моими мозолями! Руки опускаются. Для кого ж я работать буду?! На Степку? Да он и косы-то путем не держал, а паек ему подавай равный! Разве охота будет? Коммуны эти... Господи! Брат у меня в их вшел – убег. Выстроили казарму, – господский дом полностью перетряхнули, – всем чтобы сообща жить, по клетям, как бы квартирами... А его баба свой простор любит... Так верите ли, кочережками друг дружке головы было попрошибали! Горшками стучаются! Нет, нужна настоящая слобода. Я ежели почну косить в мой вкус, – ноги береги или бы уж по мне выравняйся. Я своей воли хочу. А то со-обча, поровну! Лентяям, конечно, сладко. Он у своего-то слонялся, а тут он в досматрищики норовит! Ну, и выходит, что на кашнаго по досмотрщику. Кому охота вслепь труж-даться! Мне паек и Степко паек? Да я его соплей перешибу! Старая барщына выходит...

И вдруг загорелись глаза.

– Да у своей земли я круглый день уготов работать, мне ихний часовой день ненадобен. Дай мне землю, я ее в пух расчешу этими вот... – растопырил он пальцы. – Зубами прожую! А ему чево не сообча! Навозу-то от его не видали – все по дорогам трес. Так не пойдет. Надо слободу сурьез-ную, а не в бирючки...

И слились полосы. И у Кузьмы личность хочет воли своей и рвется из хомута, – творить хочет.

– Земля тебе не фабрика! Сообча! При машине ты головешкой своей ничего не можешь, хоть тресни... И то, разные мастера... А тут я и машина, и все! Я как до своего достигну, да как возьмусь... У меня

трое мальчишек, да мы дворец себе уделаем! Я распространяться теперь желаю, а они мне хомут да номер. Лучше в Америку куда, на вольный воздух...

Ого..! Ну, Кузьма дорос до личности, его трудно в оглобли взять. Он дорастет и до поэзии моего приятеля, и до «красоты труда», и до чудесного человеческого сознания, что все ручьи стекаются в великое море жизни. И тогда сумеет в своем поставить себе пределы. И за своим увидят большое, общее. И тогда жизнь расцветет.

Сентябрь 1919 г

(Юг. 1919 10 сент. № 37 С. 1–2)

Письмо лейтенанта

Мисс Бетси Блимберг, 3111, Ковен Гадден, Лондон

Незабываемая мисс Бетси! Сегодня праздник – Ваше письмо, и сегодня Крым, эта провинция бывшей России, кажется мне перлом, упавшим с венца Создателя. Если бы Вы только повели бровью (Вы так умеете!) и заявили достоуважаемому мистеру Блимберу, что Вам необходим Крым! Наш судовой доктор говорит, что здесь должны излечиваться все болезни, и от Вашего кашля, – о, не злоупотребляйте мороженым! – не осталось бы и следа. Папа не может отказать Вам, тем более, что пароходы его К^о бывают здесь ежедневно, и дела блестящи.

Я рад, что оказался полезным мистеру Блимберу, поставив К^о в курс дела. Вы вышучиваете, что за два месяца «выбито начисто» – узнаю словцо мистера Блимбера! – 350 т. ф.! Разве это так мало?!

Итак, Ваш папа выкупил у наследников леди Таулинсон особняк на Черинг-Кросс – Ваша мечта! Теперь мы соседи, мисс Бетси? А вы держите Ваше слово, сказанное (помните?) на вечере у мистрисс Багсток? Не будьте строги ко мне: я так иногда себя мучаю!

Вы интересуетесь и политикой, будущая суффражистка? Извольте. Вот в двух словах сущность того плум-пуддинга с красным желе а la Russe, с которым и нам приходится иметь дело.

Наш великий Карлейль сказал: душа нации находит себя в эпоху великих потрясений. Гениальная мысль!

И русский народ обнаружил свою сущность: отвержение культуры и стремление к бытию дикаря. Это бесспорно. Он всегда жаждал этого, и напрасно старались Петр Великий и Екатерина Великая, как нам читали в Оксфорде, – (а кто еще?!) ввести его в семью европейских наций. Отсутствие у русских национальной культуры и ее выразителей, как наука, искусство, церковь и проч., это ясно доказывает. У них единственным выдающимся человеком считается Толстой! И что же? Бокль чудесно сказал, что гений – душа нации. Это бесспорно. И вот Толстой отвергает культуру, как понимаем ее мы, англичане, т. е. комфорт в самом обширном смысле, и то, что его дает – науку и искусство, учит народ «неделанию» (!?!),

советует каждому добывать пропитание только со своего земельного участка в 2 акра, ходить без обуви, не слушать образованных людей, не исполнять законы и не бороться со злом. Это анархизм! И вот, русский народ достиг своего идеала: скоро он будет обитателем пещер. Он истребил и изгнал образованных людей, убивает докторов и пасторов, оскверняет и разрушает храмы, сжигает библиотеки, уничтожает машины, освобождает из тюрем и с галер каторжников. И, разрушая культуру, ссылается на Толстого, которого здесь все очень уважают (!!?)

Вы видите, мисс Бетси, как легко определить сущность этого «плум-пуддинга»! Это освобождение народного духа от тех «оков», что наложила культура на дикаря. Мы, англичане, не можем быть равнодушными, когда попирается культура, и должны спасти те остатки ее, какие уцелели в российских джунглях.

Поговорите с Вашим кузеном м. Тудлен. Он организует умело акционерные общества. Я вношу проект: «Акц. о-во спасения и утилизации остатков культуры в бывшей России». Оно может дешево купить еще уцелевшее: музеи, библиотеки, бронзу, фарфор, монеты, бриллианты, картины, мебель, музыкальные инструменты, меха, памятники (есть, говорят, из золота, как в Китае). Необходимы тысячи агентов. На это можно пустить остатки русской интеллигенции и буржуазии, которые теперь или влачат жалкое существование у нас и в Европе, запуганные народом, или, следуя учению Толстого, не противятся злу, не берутся за оружие, а маклеруют кто чем и жалуются; их, я слышал, бьют безнаказно, кто хочет, что недавно случилось в Константинополе, а они покорно молят о покровительстве. Их надо пустить в работу, и они помогут К⁰ вовремя отыскать и купить культурные ценности. Это великое дело гуманности и культуры, не говоря о прочем. Часть пойдет в оборот, часть в наши музеи. Я готов подписаться на 25 т. ф. Посоветуйте и достопочтенному мистеру Блимберу, – я ему особо пишу. Может быть, нам удастся разобрать и перевезти такие памятники, как Кремль в Москве, колокольню «Иван Великий», «Царь-колокол» (1000 тонн серебра!) и «Медного всадника» (это – чудо!). У них есть еще много других, но я только начинаю знакомиться по нашему бедкеру и со слов одного русского проф. истории, занятого в настоящее время чисткой улиц (!?) Русскому народу не нужны исторические

памятники, он уже вне истории. У него уже нет национальной чести. Он сам разрушал их и плевал в них зернышками подсолнечника (любимое занятие!). Родина для него – земельный участок в два акра.

Между прочим, и здесь есть памятники и отличная панорама прошлого, когда русские умели героически стоять за честь.

О, как я горд, что я англичанин! Я хожу по улицам, и на меня смотрят, как на сошедшего с неба.

Как я сегодня смеялся, мисс Бетси! Я встретил сегодня – и при какой обстановке! – кого бы Вы думали?. Нашего гениального старика... Ч. Диккенса! Как он, Величавый Юмор, вдруг смехом своим осветил мне и одному русскому джентльмену ту пропасть... Меня торопят, сейчас пакуют почту. Спешу. Завтра я напишу Вам полное смеха письмо о Диккенсе и о... О, что они сделали с жизнью! Мисс Бетси, не замолкайте. Целую Вам руку. Глубокое почтение м-ру Блимберу. Да, вы получили горностаевый палантин? Скажите Ваше желание, и я... Сейчас я вижу в иллюминаторе моей каюты, как мимо нас режет чудный залив гордость Вашей К°, пароход – игрушка, резвый и легкий, – «Мисс Блимбер», и я почувствовал Вас близко-близко. Вот он кричит как будто: Гарри! Да?!

О, какой дивный закат! Сколько золота, сколько золота, мисс Бетси! До завтра.

Ваш верноподданный

Гарри Скеттльз

Алушта

(Юг России. 1920. 25 июля (7 авг) № 98 (291) С. 2)

Пушечное вино

Это могло случиться: «пушечное» вино m-me Буаренар – исключительное вино, а русские – это всем известно – самый необузданный народ в свете.

По случаю «спасения от России» известного русского артиста, у m-me Буаренар, на rue de Royal, был парадный обед. В ее особняке принимались убежавшие из России люди почетного клейма – артисты, писатели, журналисты, политики. M-me Буаренар считала себя наполовину русской, так как десять лет прожила в гувернантках у графов Симбо-Фримо, на Днестре, получила от графа миллион русскими нефтяными бумагами и вышла замуж за парижского маклера, устроившего графские бумаги на бирже. В настоящее время она сверкала бриллиантовой россыпью в миллионах господина Буаренара, откормившегося войной.

В ее салоне крутился водоворот сплетен и слухов о России и создавались политические комбинации-однодневки; здесь убежавшие негодовали, обвиняли, ждали, проклинали, каялись, перехватывали займы и в подачку, говорили о национальной чести и любви к родине и сытно подкармливались. Здесь подавали чудеснейшее вино; сотню ящиков его т. Буаренар сходно купил у вдовы капитана де-Вариоль, павшего под Верденом.

Это вино было известно всему Парижу как «пушечное», «vin de сапоп»: оно уцелело каким-то чудом, после убийственного ураганного обстрела, в подвалах поместья де-Вариоль, превращенного немцами в пыль, – у Вороньей Роши. Оно было густое и темное, как бычачья кровь, терпкое в меру, с букетом столетних бордо, где аромат вялой фиалки смешан с дыханьем лежалой кожи, и владело чудесным даром приятно связывать тело и освободить мысли.

Убежавший из России артист привез короб подавляющих новостей, и vin de сапоп было очень кстати, как возбуждающее.

Приглашенных было до тридцати. Были полнокровные финансисты, вливающие в жилы обескровленной Франции свежий раствор золотой крови, чтобы укрепить ее для новых кровопусканий. Были строители всех сортов, помогающие новой Франции обрасти

новым, прекрасным мясом. Были члены палаты депутатов, думающие за Францию, молодой капитан, отдавший кусок бедра и круглый голубой глаз за прекрасные глаза Франции, журналисты, коловшие острым пером дремотные души, и молодой беллетрист – друг самого П. Лоти, еще недавно ходивший за Францию в смертельные атаки, а теперь красиво рассказывающий согражданам, как она прекрасна и как начинает улыбаться сквозь слезы. Все были одушевлены и весенне бодры.

Выбежавшие резко отличались. Не было ни весенней бодрости, ни уверенности в осанке; хоть иные хохолки и усы топорщились, но топорщились не бездумно, а по лицу артиста еще струилась виновато-ругливая усмешка. И в костюмах еще осталась дорожная спешка, как у путешественников по призванию. На артисте были свеженькие ботинки с лаковыми носочками, но его смокинг был обвеян российскими вихрями и тускло салился по местам. Известный музыкант, теперь игравший парижским прачкам в кинематографе «Триумф Франции» – на бульварах, – был бы в безукоризненном фраке, если бы был чуть пошире. Журналист Вязов, огромный и неуклюжий, с сединой в бороде (то была хорошая, русская борода, редко встречающаяся в Европе), был в визитке 14-го года и в сапогах военного образца, как бывший военный корреспондент. О нем знали, что он ушел от расстрела, и прощали ему визитку и сапоги. М-ме Буаренар даже тайно платила за него учителю французского языка и обещала хронику в «Вечернем Радио». Писатель был в блузе фиолетового Манчестера и имел вид охотника за кроликами, хотя его грустное лицо еще таило тревоги. Его «дважды ставили к стенке». По рекомендации м-ме Буаренар он стряпал сценауримы для «Кино-Франции и К°», полные выстрелов и текучей крови. Политики были одеты, как дипломаты, и взгляды их говорили: правда, мы порядком оципаны, но еще не потеряли рулевых перьев.

Обед был... Но и без слов ясно, что за обед мог быть у скороспелого миллионера страны, еще не справившей медовый месяц победы. Были, между прочим, страсбургские паштеты, рейнский лосось, аргонские куропатки, артишоки с эльзасским соусом.

Артист говорил об ужасах и развязно кушал. Молодой друг Пьера Лоти заносил в записную книжку. Хмурый Вязов теребил бороду и пил жадно и вдумчиво.

Когда артист кончил рассказывать и подали новость – русский шашлык из крымского барашка, только вчера попавшего на парижский рынок и купленного т. Буаренаром за чудовищную цену – 2800 франков, друг Лота позабавил обедающих экспромтом:

Бедный русский барашек
Щипал травку в Крыму...
Был он съеден не волком!
Кто из нас узнает толком,
Суждено что кому?!

Горячо аплодировали. М-ме Буаренар перевела по-русски, и артист замаслившимися губами сказал:

– Это... символично! Из нашей России сделали фри-кас-се!
Политики переглянулись, и один, постарше, сказал:

– Баран еще покажет рога!

Повеселевший от вина музыкант пожал плечами:

– Вы его уже скушали. Вы и К⁰!

Завязался веселый спор, покажет ли рога барашек.

Журналист сидел молча, почти ничего не ел, но пил много. Это удивительное вино, будившее жажду, это «пушечное» вино, винокровь, буйно ходило в нем и перетряхивало душу. Черт возьми! Ясно, как день...

Его мысль перебила хозяйка:

– За нашу несчастную Россию!

Журналист ответил неопределенно:

– Вы так ее любите...

И его загоревшийся взгляд что-то сказал хозяйке.

– Вы расстроены?

И она еще спрашивает! Его мысли (они жгли его) кружились и вскрывали до плубин ту, казалось ему теперь, постыдную роль, которую играл он и его соотечественники на этом парадном обеде в честь еще одного, убежавшего от России. Политики! Называвшие себя жожаками масс, они здесь, в прекрасном далеке, все еще гордо похаживают. Вожди должны уметь умирать, а не ходить по обедам.

Долой маски! И они еще пьют это святое вино, спасенное чьей-то кровью! Чьей кровью?!

Для него и всегда было ясно, а теперь эта «кровь» плескалась в его стакане. Это – *их* кровь, вот этого одноглазого капитана, пролитая за родину, и *та*, что – омочила пески прусские и поля галицийские, за чужое дело, вот, за то, чтобы Буаренары тщеславно поили бросивших родину беглецов. Позор!

Вязов выпил еще стакан.

– Через это винцо все видишь в розовом свете! – сказал Буаренар.

– Даже кровь! И национальный позор! – резко сказал журналист по-русски.

На него посмотрели.

Да, он был пьян. Со вчерашнего вечера был он пьян, когда под «Аркой Звезды» встретил репортера грязной русской газетки. Репортер был одет щегольски, под руку с дамой *bien chíc*, с гаванной в плоских губах ворISHки. Репортер воскликнул:

– И вы бежали?!

Журналист (он не мог простить себе этого) растерялся и не ответил. Да, бежал, чтобы писать о пожарах и ворах в каком-то «Радио». И ему сказал это продажная тварь, лакей новой власти, «пребывающий здесь» с важными «поручениями»! По-зор! Надо кончить этот позор. Надо быть там, кричать из последних сил, звать, будить, писать хотя бы на старых пакетах, хотя бы на содранных обоях! К родине идти и слезами омыть ее израненные ноги... Или пусть затопчет... А эта кровь!

И он еще с нестерпимым чувством сознанного позора выпил стакан.

Спор о барашке еще продолжался.

– Почему вы молчите? – спросила *m-me* Буаренар. Вязов пронизал ее пьяным, вдруг загоревшимся взглядом.

– Вам и моим скажу! Тевтоны размяли бы галлов и англосаксов в мякиш, если бы не плупые бараны – скифы! Позор!

И крикнул пьяно своим:

– Скифы, на ме-сто! Самоеды, на родину!

Встал и вышел.

Гости заволновались:

– Что такое? Переведите! Что он сказал?

Побледневшая т-те Буаренар теребила колье на пышной груди. Наконец, сказала:

– Он... он, кажется, болен... бредовая речь...

– Просто мое «пушечное» играет. Да, винцо строгое! – крикнул т. Буаренар, сильно хвативший. Он даже расстегнул две пуговицы на жилете и напевал-мурлыкал ходовую песенку:

Пей за Францию, дружок,
За французский штык!

Наутро в одной бульварной газетке был блестяще описан обед у Буаренаров и в двух словах сообщалось, что «заявившийся незваным русский анархист Вязов кого-то хотел оскорбить, но был выдворен соотечественниками».

В 12 ч. позвонил префект полиции:

– Скажите, т-те Буаренар... что у вас случилось?..

– Ровно ничего. Один русский мосье выпил больше, чем следует... пустяки... Почему вас вчера не было?

– Простите, дела. Будущий четверг меня ничего не удержит. Ах, да... Ваш знакомый русский журналист... Вазин, кажется, бросился в Сену. Сегодня нашли его труп.

– Боже мой!

После короткой паузы т-те Буаренар сказала:

– Будущий четверг, помните!

– О! Видеть вас и пить «пушечное» вино – две вещи, перед которыми отступает все.

Тем и кончилось.

Алушта 1920 г.

(Юг России. 1920. 14 (27) авг. № 114 (307). С. 2)

Голос зари

Моему Сереже

*Возвеселится пустыня и сухая земля, и
возрадуется страна необитаемая, и расцветет как
нарцисс.*

(Исайи, 35, 1)

Было это в те дни, когда Дух смерти вынул из человека сердце. Тогда люди ценили кровь ниже плохого вина, а слезы были дешевле соли.

В те дни жил на Востоке человек, именем Али, по отцу Гасан. Он почитал Бога и держал Закон в сердце. Много зим прошло над его головой: стало его лицо, как глина, запали и почернели щеки, трудно было глазам от солнца, а рот ввалился, и голова качалась, как тыква над порогом, когда подует ветер.

Враги совсюду обложили страну ту, угрожая мечом и голодом, и чума обуяла души: помутился разум, как от вина, и все хотели больше собрать себе. Тогда добрые притаивали свое, а сильные угнетали слабых.

В те дни старый Али любил сидеть у мечети, окончив вечернюю молитву. Сидел и глядел на море, и мыслями вопрошал Того, Кого видел сердцем в далеком небе и в море без конца-края; Кого слышал в шуме волны морской и в журчанье бегучего арыка; в песне вечерней птицы на сухом орехе, и в блеске звезды вечерней, и в голосе, что жил в сердце Али Гасана.

Думал Али о болях, посетивших тело, и о теле думал:

«Вот и конец близится, – что же останется? Что не умрет от меня, Али Гасана? что вечно?»

И голос вечерней птицы отзывался в душе его:

«Душа твоя не умрет, Али. Живая душа твоя».

И еще вопрошал Али, помня слова Пророка:

«Что есть душа моя?»

И голос звезды вечерней отзывался его душе: «Дела твои на земле, Али. Дела по слову Закона». Думал еще Али: чего же мнутся люди и собирают тленное, если только душа бессмертна?

И еще думал, как смеялись над ним базарники:

– Старый Али потерял рассудок! боится смерти и собирает хлеб на сто зим, а ему и одной не выжить! Вот безумный: продал овец, и виноградник, и поле, и черешни, и орехи у водоема, и коней, чтобы запастись хлеба, будто сто лет будет грозить голод!

И радовалась душа его, что послал Великий ему безумие.

Помнил Али тихий вечер, когда сидел у мечети и вопрошал небо:

– Помутились люди, ожесточилось сердце. Научи, Великий, путям Твоим!

И голос вечерней птицы, в свете звезды вечерней, сказал ему:

«Пусть помутились все, лишь бы осталась одна живая душа, – и сохранится огонь в светильнике. Все ищут себе, а ты ничего не ищи себе. Отдай и себя, – и сохранится огонь в светильнике!»

То не птицы был голос, а слово Пророка в душу вошло Али, – вошло с молитвой. Вошло занозой и осталось в сердце: ибо все дни внимала душа его Закону.

В ту ночь долго не спал Али, все думал: как же отдать себя? как убереечь негасимый огонь в светильнике?

И сказала ему душа:

«Заутра услышишь голос души твоей, по слову Пророка: „*Не обманет голос зари*“».

Утром рано поднялся Али, – не скрипели можары, и не звенели кувшины у воды. Совершил омовение и помолился к Востоку. И слышит: шаги, больные идут шаги. Смотрит – идут по дороге двое: старик и мальчик. Стали перед порогом и просят:

– Хле... ба...

Дал им Али по куску чурека и спросил их: откуда они? и что там, откуда они? И сказал старик:

– Нет хлеба, и умирают... И заплакал мальчик.

С того плача открылось замкнутое в сердце Али Гасана: вложил Великий ему Золотой Ключ в сердце и повернул острой болью. Тогда сказала душа его:

«Не обманет голос зари».

И заплакал Али: так ему сладко стало. Смотрит – пуста дорога, и кусок хлеба в руке его. И понял старый Али: Великий послал к нему – отомкнуть сердце его. Видит: заря за горой сияет, и утренняя звезда светит на ясном небе. Темное море живой бирюзой засыпалось, и ранняя птица поет знакомое:

«Али-Али! Не обманет голос зари!»

И, послушный голосу души-птицы, пошел Али на базар, вынул из кошель, что было, и купил воз пшеницы. И еще пшеницы в новое утро купил Али и отдал десять овец. И других десять овец отдал. И пару коней отдал, и волов Потом отдал и черешни, и виноградник, и орехи у водоема.

Сказал ему сын, Амет:

– Отец! Вон говорят в кофейнях и на базаре: «старый Али хочет скупить пшеницу, чтобы брать за один десять»!

Сказал Амету Али:

– Падает орех, когда поспеет.

Поник головой Амет. Вспомнил, как говорили на базаре:

– Смешал шайтан в старой голове кровь с пылью, стала глина.

А потом и сад продал Али богачу-греку и купил всю пшеницу, что было на базаре. И когда последнее, что осталось, – тридцать кип табаку, – выменял Али на пшеницу, сказал Амет с сердцем:

– Что же у нас останется?

Сказал ему Али голосом молитвы, как говорил мулла:

– Негасимый огонь в светильнике Аллаха! Понял тогда Амет, что у отца в голове глина.

С той поры всякий вечер сидел Али у мечети, – слушал, что скажет голос. Но стояла глухая осень, и не пел голос вечерней птицы. Спрашивал Али море, – оно только швыряло пеной. Слабым глазом искал звезды вечерней, – не было и звезды вечерней: были тучи. Но не было ему горько: все голоса пели в его сердце.

С черной зимой пришел голод, – и стали продавать хлеб высокой ценою на базаре. Слышал Али, как голодные кляли; видел, как сытые и глухие набавляли.

Тогда сказал сыну:

– Время сеять. Бери лопату. Подумал Амет: глина!

Не ослушался, взял лопату.

Привел его Али в край двора, под грушу; лежала там глина для обмазки. Сказал твердо:

– Комай под глиной.

Смутился Амет, что знал отец его мысли. Не послушался, начал копать под глиной – и выкопал кувшин старый, а в нем турецкие золотые лиры! Хранил их Али на дорогу – в святую Мекку.

И подивился Амет: что нашел под глиной!

В тот же день выменял Али лиры на пекарню, – и пошел слух по кофейням, что заторговал Али печеным хлебом. И пошел говор по кофейням и базару, что торгует Али вполонину против всех дешевле.

Кричали торгоаши на базаре:

– Шайтан, голова дурная! Разорит Али всю торговлю! Амета своего пустит нищим!..

Всех громче кричал первый богач, первый хлебник, Али-бабин-турок:

– Шайтан-глина! Тяни свои ноги по одеялу! Пояс-то покупай по пузу!

Держал Али крепко свою цену, – и упали цены по пекарням. И пошла молва и за базаром, и к горам, и дальше, за горами, что таил Али под своей глиной.

Так всю зиму торговал Али хлебом, – берег негасимый свет в светильнике Аллаха. А когда испек последние хлебы, – закупил пшеницы против прежнего в десять крат дороже. И опять продавал вполонину других дешевле.

Кричали торговцы на базаре:

– Убить его, собаку, надо! По миру нас пустить хочет! Громче всех кричал Алибабин-турок, в толстое пузо себя тыкал, качал головою-тыквой:

– Погоди, старая собака, скоро лопнешь! Под одной мышкой двух арбузов не удержишь! На меня пуза хватит!

Спрашивал Али сына:

– Амет, что твоя душа видит?

Отвечал Амет отцу с улыбкой:

– Видит, отец, твою глину. Люди зовут ее святою.

Ибо принял от отца в молодые руки негасимый светильник.

Спрашивал крикунов на базаре:

– Знаете теперь, что у моего отца за глина?! Видите ли, как светло горит светильник?!

Ибо видел Амет глаза народа, когда продавал хлеб в своей пекарне. Ибо слышал он голоса бедных:

– Все собаки, у старого только Али сердце! у молодого Амета сердце! Не у старого Али смешал шайтан в голове кровь с пылью: смешал шайтан в голове кровь с грязью у собак-торговцев! Пошли, Аллах, праведному Али свет вечный!

И послал Аллах старому Али свет вечный.

По весне, когда запела на орехе вечерняя птица свою песню; когда море опять заиграло бирюзой, и звезда зари засияла, вечно молодая, – тихо уснул Али на своем жестком ложе, в бедной своей мазанке. Провожали его в путь последний тысячи голосов народа:

– Пошли, Аллах, светлой душе путь светлый!

Уже не мог Али видеть: оделись его глаза земным мраком.

Но великую усладу познал Али перед своим отходом.

В самый вечер его отхода из этой жизни постучался у его двери кто-то. Отворил дверь Амет печальный. Смотрит: стоит у порога первый богач с базара, первый хлебник, – Алибабин-турок.

Сказал ему Алибабин-турок:

– И другой лавки, а того ж базару, селям-алеkjюм!

Смутился Амет, впустил Алибабина в мазанку. Сказал с сердцем:

– Алеkjюм-селям... Чего тебе надо, хаджи?

Стал Алибабин у порога, приложил пальцы к голове и к сердцу, поклонился Али, смертному его ложу. Сказал тихо:

– Селям-алеkjюм, Али... Скажи, святой, одно слово!

Уже не мог Али сказать слова: только сказал глазами. Тогда присел Алибабин у порога, приложил к голове руки, покачался...

Трое было в пустой мазанке. И еще был – Кого не видел ни один смертный.

Сказал Алибабин-турок:

– Отходи, Али, с добрым ветром. Знаю, чего стоит твоя глина, знаю теперь ей цену. Отходи, святой, с тихим ветром. Нет у твоего Амета ни гроша, но твоя пекарня не погаснет. Ответь мне хоть глазами: веришь?..

И ответил ему Али слезами. Поднял трудную свою руку и указал на стенку. И увидал Алибабин-турок: написано на белой стенке углем,

по-татарски:

«Все огни земные погаснут – не угаснет огонь в светильнике Аллаха».

Прочитал Алибабин-турок, ударил себя в грудь крепко. Пошел к жаровне, вынул из жара уголь, написал на белой стене жаром, по-турецки:

«Все пекарни в городе погаснут – не погаснет пекарня Али-Амет-Алибабин!»

И приложился губами к жару; и положил жар в жаровню.

В тихий вечер, на кладбище, за мечетью, посадили Али в сухую яму, завалили крепким камнем, поставили столбик с головкой.

И птица в тот вечер пела на орехе, и море играло бирюзой, и звезды пели ночные песни – те песни, что слушают люди с чистым сердцем.

А наутро кричали на базаре:

– Алибабин-турок, собака! Смешал у него шайтан кровь с пылью! Оставил ему Али-Безумный свою глину!.. Слышала это вечная душа Али Гасана в небе.

Алушта

3 марта 1920 г

Чужой крови

I

Гвардейский солдат Иван, раненный в грудь навывлет, попал в плен к немцам. Случилось это в Августовских лесах, по осени. Рыжебровый пучеглазый немец взмахнул прикладом, споткнулся и пробежал мимо, а другой, добрый, присел к Ивану и дал попить...

Дальше Иван не помнил.

Очнулся он к ночи в большом сарае, на сене. Было таких здесь много. Когда отдирали с груди рубаху, от боли занялось сердце и провалился сарай куда-то, отплыл. Тогда – сон не сон! – качнулся Иван под небо, на высоченном возу, на сене, будто на плотине у господского пруда, – из далекого детства выплыло! – и сестра Даша позвала жалостливо: «Ва-ня!..»

Часто потом вспоминался Ивану этот зыбучий воз и жалеющий Дашин голос.

В госпитале выучили Ивана клеить коробки, вязать и считать до сотни – ломать язык, а к весне отправили с другими по чугунке – «за леса куда-то» – в маленький городок. А там отдали мужику-немцу – в работу.

Было это мартовским утром.

Оборванных и угрюмых пленных построили на площадке, под голыми липами, и хромой немец ахнул:

– Ахтунг!.. Айн, цвай, драй...

Каждому написал немец на груди мелом номер. Рослый Иван пришелся с правого фланга: написал ему немец – 5.

– Фынф!

Пришли бритые мужики в куртках, кули-мужики, в крепких сапогах на гвоздях-подковах, с длинными кнутьями. Пришли – трубками навоняли. У каждого было по билету. Приковывлял за ними одноглазый и стал вычитывать из бумажки, с треском; а мужики посасывали трубки:

– Я... яволь... зо-о...

А в липах кричали грачи – смеялись. И вот – захохали мужики, стали ходить по фронту, орать-спорить:

– Майн! Фирцен!

И только Иван подумал: «Жеребья тянули!» – подошел к нему, в заячьей шапке, широкий, толсторожий, будто повар Михайла из Скворцовки. Хозяином оглянул Ивана, ткнул самую «пятерку» и крикнул, словно на лошадь:

– Фынф, гей!

Не понял Иван, забыл. Тогда потянул немец за воротник. Это понял Иван и пошел за немцем. Улицами пошли: немец впереди, Иван – в затылок.

Немец шел вперевалку, как ходят тучные; Иван – журавлем, глядя в широкий зад и красный затылок в складках. Все было ему тошно в немце: подрагивающий курдюк, с пуговицами-глазами на пояснице, суковатая палка с гайкой, заплатка на шапке, вонючая сигарка. Встретился взвод солдат-столбиков, отбивавших ногу под барабан. Иван вспомнил роту, – и засосало. Никто не приглядывался к нему: знали, что этот рваный, худой, высокий и сероглазый – русский пленный Иван. Таких много. Только одна старушка, с травяной сумочкой и с взнузданной собачкой на ремешке, заглянула ему в глаза и пожевала губами. Понял Иван, что жалеет его старуха, и вспомнил мать.

На постоялом дворе, у вылуженных кормушек, стояли плетеные двуколки, под черный и желтый лак. Было чисто, как на конском заводе Прошина: ни сенинки. Мальчишка щеточкой подбирал навоз. Стало смешно Ивану: постоем даже не пахнет!

Немец отщелкнул цепь, мотнул Ивану – садись, и выехал на серо-рыжей крутой кобыле, куцей, в стриженной гривке. И побежало ровное, как плита, шоссе.

Всюду – поля и поля за проволокой, обсаженные деревцами канавки, домики под железом и черепицей, стеклянный блеск парников, тягучий дух хлебный – парным навозом. Будто из обожженной глины, тонкие церкви-кирки острили крестики в небо. С шарабанов навстречу краснощекие девушки весело кричали немцу:

– Мойен! Мойен, герр Бгаун!

Хрипел им немец, не выпускал сигарки:

– Моин-моин... фройлайн Тегез!

Тонкая, розовенькая Тереза еще издали показала Ивану смеющиеся зубки. В синем колпачке-шляпке, она была туго подтянута белым ремешком под груди, с пучком розовых маргариток у плеча.

– Эх, морковка!

Засмотрелся Иван на нее: ловкачка шельма! И она приостановила рыжую кобылку, – не звякает ли подкова, – а сама хитро поглядывала на Ивана. Хрипнул ей что-то Браун, – так и засияла веселыми зубами.

«Ишь, черти, – подумал Иван, – надо мной смеются».

Не знал Иван: посмеялся Браун, что вот скоро вернется с французского фронта Генрих, тогда здорово подкует Терезину кобылу!

У речки, с мельничкой-игрушкой и чистыми голубями, немец остановил лошадь. Намалеванный синий заяц, с колбаской в зубах, и пенящаяся кружка показывали трактирчик. Немец крикнул и подмигнул Ивану.

– Можно! – отозвался Иван, – хозяин и лошадь поит.

Пусто было в трактире, только толстуха хозяйка, занявшая весь прилавок, переключивала из одной корзины в другую горю яиц.

«Пиво, должно, дуть будет... угостит», – подумал Иван. Но немец съел только кусок рыбы, – сазан не сазан! – и вытянул только одну кружку пива. Дал от себя кусочек рыбы Ивану.

Хотелось Ивану пива. Был у него серебряный рубль, заветный. Берег его крепко Иван. Жил у него этот рубль в кисете с самого того дня, как пошел Иван из Скворцовки. Отдала ему его сестра Даша на проводах, сказала:

– У меня только рублик, Ваня. Возьми на счастье.

Для счастья берег Иван, не сломал ему головы в Варшаве даже, где гвардейцы две ночи крутили в какой-то пьяной цукерне, заливались «штаркой». Не отдал и кривоногому санитару-немцу – за спасенье: серебряный портсигар отдал, фронтную находку. А уж как добивался немец! Торговала у него этот рубль сестра в госпитале, – и ей не отдал. Подарил ей щепную птичку – своей работы.

– А рупь не могу: заветный!

Теперь до тоски захотелось пива. Сказал Иван.

– Мой пива желает... тринкен!

Отмахнулся Браун. А немец достал выданную калечным немцем книжку, – руски слова! – поводит пальцем и засопел, как мехом:

– Как тэбья... сфат? Ифан! Зо-о... я-я...

И поискал-почитал еще:

– Руски лэниви... сшеловэк! Зо-о-о... А? Найн?

С хитрецей заглянул в глаза, в унылые глаза Ивана. Не отозвался ему Иван. Потом прочитал еще: «Ра-пота ната», потом: «Пифо, ри-ба». Нравились ему чужие слова – смешные. Все повторял, смеялся, все показывал желтые бобы-зубы, все прощупывал Иванову руку-лапу:

– Рапота... ната! Сольдат Ифан! Зо-о! Ра-по-та!

Обозвал его Иван колбасой и позвонил ноготком по кружке. Немец отставил кружку. Тут Иван вынул рублик, звякнул им о кирпичный пол, – звон-то какой отчетливый! – и сунул немцу:

– Гляди, шут!

Выплыла из-за прилавка толстуха, переливая зобом, с яйцами в кулаках, посмотрела на рублик, повздохала. Немец прикинул рублик, достал бисерный кошелек кувшинчиком и показал Ивану знакомую «марку». Иван плюнул на ногу немке, швырнул рубль в кисет и сказал с сердцем:

– Не бывать тому! Вот в Россию поеду, на первой нашей станции калачей ли, саяк ли – куплю на цельный! Не желаю у вас завязить. Наш рубль всем деньгам голова, боле ничего!

Не поняли его немцы.

У речки нагнали их две двуколки. В каждой сидело по немцу и по солдату: везли в работу. Крикнул один Ивану:

– Покажут они нам кузькину мать, черти!

Покатили. И опять, куда ни глядел Иван, видел: вылощено, выточено все, как игрушка! Да где ж деревни? Всюду цветная черепица, заборчики из бетона, – будто в усадьбе скворцовского барина, под Тулой. Сияли в садиках серебряные шары, на беседках пестрели полосатые палки – флагштоки...

Спросил немец, подрыгивая сигаркой:

– А? гут? Зо-о-о!..

– Плевать! – сердито сказал Иван. – У нас чище.

Немец наконец выплюнул вертевшийся в губах с самого утра огрызок сигарки и постучал себя серебряным перстнем в лоб: от ума, мол, все!

Въехали наконец в поселок под ворота-арку, с полосатой палкой на них – для флагов в праздники. Немец сказал:

– Грюнвальд!

Иван понял, что так зовется эта деревня.

II

– Ифан-сольдат! – будил немец, лупил дубинкой в сарай: бум, бум! – Рапота ната!

И всякий раз Иван слышал, как в сером хозяйском доме кукушка выхрипывала пять раз.

Вылезал из каменного сарая, продирал глаза, а солнышко только-только показывалось из-за горки, где стояла чужая-, скучная игла-церковь – кирка. А за ней мельница уже вертела резные крылья. Немец, словно и сна ему нет, закатав рукава блузы, поблескивая розовой плешью, уминал в плетенку вороха из-под соломорезки – кормить коров. Третий немцев сынишка, горбатый Мориц, как пиявка тощий, уже садился на велосипед – катил в городок Вербин за утренними газетами для Грюнвальда. Ну и пиявка горбатая! Кучу газет приволакивал через два часа и набивал-таки деньгу!

– Во, бессонные черти! – ворчал Иван, пофыркивая под краном. – Воду, хорошо догадались – провели, а то бы и за водой гоняли...

Расчесывался на солнышке, а старая немка, похожая на корчагу, уже возилась со свиньями, наводя палкой порядок. Покашивалась на Ивана – что долго чешется!

– Сольдат Ифан! – кричала она визливо. – Ку! куг! вбдя! вассер!

– Закукала... – отзывался Иван, – Агнблик, мать твою, кочерыжка! Не подохнут твои коровы...

Шесть было коров у немца; стояли больше по стойлам.

И что за непонятная сторона! Здесь будто и солнце вставало раньше, и галки гомозились чуть свет. Поезда за поездами бежали, кричали у переезда: не зева-ай! Не так под Тулой: проедет один-другой, и опять тишь, хоть спать заваливайся на рельсы. И что за народ! После обеда и то шмы-жут, как... шут их носит!

Молодуха невестка Тильда, с розами во всю щеку, грудастая и бокастая, круглоглазая, как овца, летает по двору, подоткнув подол, –

так и играют копыта-пятки. И с чего у них ноги какие – бревна? Давно выдоила коров и уж выпускает телят в загончик, вываливая на ходу ведерную грудь лупоплазому пупсику. Младшая девка, Лизхен, с хвостиком на затылке, везет молоко в тележке – на сливню. Постарше, Катринхен, – уже надергала редиски и вороха салату, нащипала плетенку ранней клубники – на рынок, в Вербин. А к вечеру уж и деньги у немца звенят в кармане. На-род!

Первое время Иван ходил как с угара: сто дел надо было помнить. Земли у немца было будто немного: десятин восемь, – по-ихнему, моргенов тридцать, а наворачено... – на сотню десятин достанет. Было поле гороху, овсяное, ржаное, клеверное с викой, ячменное; было поле кормовой свеклы, картофельное и еще какое-то... не поймешь. Картошка родилась два раза в лето! А свекла была такая!..

Смеялись над Иваном: ходит разинув рот! Хлопал по плечу немец, тянулся достать, хрипел:

– Куль-тур!

Посмеивался Иван:

– С зари до зари шмурьжите, никакого удовольствия никому. Черти в аду так маются!

– А, думм копф... Куль-тур!

– Культур-культур! А скушно?!

Не понимал немец: скушно? В шахты бы вот послать дурью голову... узнал бы.

Четыре телки росли у немки, пять лошадей своего заводу, в хозяина, – с рыжинкой, серые. Восемнадцать поросят наливались в хлеву, у хмельника; дымил для них и коров чан в земле, с пивной бардой.

– И куда тебе столько? – посмеивался Иван. – А все жадность ваша. С жадности и войну начали, людей неволить. Помрешь – не возьмешь! Да и людям неспокойно.

Серчал немец, наливал плешь кровью, сипел:

– Тебя надо кофорит: думм! Мат твоя!

И ругаться выучился немец по Ивану, а не понимался Иван. Твердил и твердил свое:

– Все равно: у богатого спокою нету. У нас барин Скворцов сто домов имел по всем городам, а пришло – костью подавился!

– Картофельный голёфа! Культур! Зо-о!

Кур за сотню было у немца, гусей стадо, овец три десятка, да где-то, у какого-то Терезина дедушки, на горах, – с сотню. Птицы всякой особенной – индюшек, цесарок, – не назовешь. Жили в подвалах кролики, сотни три; начесывали с них немцы до пуда шерсти, ели шибко, а не могли переест: плодились кролики, как мухи. Ходила за ними Лизхен, а резал горбатый Мориц. Сто дел было у горбатого: нырял со своим горбом с зари до зари по огороду да в хмельнике. А к вечеру опять катил по деревне на велосипеде, визжал:

– Нах-рих! Нах-рих!

Слышал его Иван с поля: мчит, стало быть, газету, по-ихнему – нахрик.

Даже у пятилетнего Людвика дело было: перышки собирал по двору в мешочек. Подивился Иван: за год насбирал мальчишка на подушку пуху!

Сам немец затыкал все дырья, катался на коротких ногах с дубинкой, светил розовой плешью, давал наряды. Показывал Ивану волосатый кулак в веснушках, тряс у носа:

– Арбайт! Штайн-берг! Крафт! Ми всэ умни!

– По-нятно... Немец обезьяну выдумал. А накладывают вам, уж это сделай милость! Сыты будете.

– О, унзер кайзер убер аллее!

По праздникам уходил немец в клуб-пивную. Собирались туда все бауэры, тянули пиво, воняли сигарами и трубками и читали газеты. Сидя у палисадника, слышал Иван, как в клубе-пивной рычали: хох! хох!! – и стучали в пол палками. Знал Иван, что это новую победу празднуют немцы, а завтра обязательно выкинут флаг у въезда. И закипало сердце. Думалось: «Всех покорят! а надо бы сбить с них шапку». Вглядывался вокруг: «Не собьешь, – машина!»

И машин было много всяких. Была у немца «вертелка» для молока, соломорезка, косилка, – на все дела! Глаз кололи телеги и плуги, крутозадые лошади, коровы такие, что не лучше были и в скворцовской усадьбе. Брала Ивана досада:

– Эх, шапку бы сбить да загрести все, для нового хозяйства!

Думал – голодом морить будут. Нет, ничего кормили. Даже вечером ели с салом, а в праздник крошила немка соленую свинину. Ел Иван во дворе, – немцы в доме. Приносила обед тонкая, золотушная Лизхен, говорила пискляво: «Драстуй», а Иван отвечал:

«Данкашен, майнэ фройлайн!» Она убежала, прыскавая в ладошку. Жалел ее Иван: похожа она была на сестру Дашу, – слабенькая такая и в золотушке. Сделал ей удовольствие, щепную птичку и золоченую клетку из соломок – под потолок вешать.

Месяц за месяц – пригляделся Иван, приладился. Стал хорошо понимать по-ихнему. И говорить стал отчетливо. Смеялись, а потом привыкли. Шутил над ними Иван, говорил немке:

– Вот, фрау Тильда, ваша невестка по-нашему будет так: ка-была!
Повторяла немка: ка-би-ля!

– Я вот, все говорят, красивая, – говорила Ивану Тильда, поигрывая глазами. – По-вашему, как сказать надо?

Яро смотрел в ее бараньи глаза голодный Иван, переводил на живот, на бедра. Говорил слова – самому было зазорно слушать, а круглоглазая Тильда с гордостью повторяла. Обучил ее Иван разным словам непристойным, смеялся – слушал: по-теха!

Справил себе Иван крепкие башмаки на гвоздях, куртку и синюю кепку: ходил герр Браун в какой-то «ферайн», сам выбрал. Да еще выдал Ивану жалованья остаток. В праздник как-то вырядился Иван в немецкое платье, закурил сигаретку и пошел по деревне. Смотрели на него немки из садиков, смотрели крадучись-жадно, а часто встречавшаяся розовень-кая, тоненькая Тереза кивала ему светловолосой головкой. Сказал ей Иван, молодцевато козыряя:

– Гутен таг, майнэ фройлайн!

Ответила Тереза приветливо и оглянулась на голубой домик в винограде.

Каждое воскресенье стал прогуливаться Иван по Грюнвальду, – купил хлыстик для шику, хоть и сердчал Браун на пустую трату, – и все поглядывал на заветный домик. И всякий раз видел в садике, за вязаньем, пышноволосую нарядную Терезу. Шел – насвистывал: «Чубарики-чубчики вы мои!»

На неделе забегала Тереза к Катринхен, выбирая вечер, когда приходили с поля. Торчала у закровов, куда Иван сваливал картофель. Показывал Иван перед ней силу, играл мешками, захватывая на шею по два. Кричал весело немцу:

– Нох, герр Браун! Наваливай! Афляден!

Швырял – посвистывал. Дивился немец: что за охота швыряться силой! А старая немка показывала глазами всегда смеющейся,

белозубой Тильде, шепталась насчет Ивана. Иван понимал шепот: говорила Тильда, что Иван не слабее ее Фрица. Смеялся в усы: не раз видал, как поглядывает на него Тильда, закусывая полные губы-вишни: а раз даже задержалась в хлеву, под вечер, словно ждала чего-то. Не осмелел Иван: уж очень нарядная была Тильда, – а были будни, – надела розовую кофту с кружевной вставкой и короткую юбку – все толстые ноги видно. Часто потом вспоминал тот вечер, полные розовые локти и думал: «Дурак!»

Вскоре приехал на побывку к жене унтер-офицер Фриц, круглоголовый крепыш, со стеклянными голубыми глазами, черный с французского солнца. Забегали-зашумели в доме, зажгли в садике бумажные фонари. Закололи старого индюка на радости. И запыхавшаяся, праздничная вся, Тильда, в красной вырезной кофте, в той же короткой юбке, весело крикнула Ивану:

– Кобель приекаль!

Обучил ее так Иван: муж – по-нашему называется!

И наказала, посмеиваясь глазами, сходить в лавку и принести самого крепкого портеру бутылку и острого фаршированного перцу.

Сказал ей Иван:

– Сама-то жарчей перцу!

И опять подумал: «Ду-рак!»

III

Другой год кончался, как работал Иван на немца. В работу втянулся, говорил чужой речью, и уже сажали его немцы с собой обедать. Только всегда говорила немка:

– А руки вымыл, Иван? И смотрела Ивану в руки.

Пел Иван немецкие песни, ловко умел ругаться и даже заходил в кирку. Даже один ездил в город. Говорили про него в Грюнвальде:

– Русский Иван – золотой парень, парень – сила. Из него выйдет хороший немец.

Сам герр Браун порой даже спрашивал у него совета. Знал Иван и печное дело, и кирпичную кладку, а топором работал – приходили дивиться. Сказал немец к концу второго года:

– Кончится война, на родину не езд.

– Уеду обязательно, – сказал Иван. – Скучаю.

Получил как-то ржаных сухарей из дому. Писала ему каракулями Даша: «Очинь живетца плоха, ничево нету, дорогой братец...» Пошумел сухариками Иван, засмеялся... еще пошумел. Нагнулся к сухарикам в ящичке, потянул дух сухарный, – и вспомнилось ему в сухарях многое. Не скоро заснул в ту ночь. А наутро показал немцу на ладони:

– Вот какой наш-то хлеб, герр Браун!

Похрустел немец, пожевал: кисло. Сказал: надо посыпать тмином.

– У нас посыпают солью, – хмуро сказал Иван. – Хлеб-соль.

С неделю ходил Иван не в себе, думал: «Живется плохо...» Мать увидал во сне: идет старуха полем пустым, снегами, – будто к нему идет, его ищет; а он, Ваня, в сугробе, голосу подать не может. Проснулся, немец на работу выстукивает. Ноготь соломорезкой сорвал в этот день Иван: не ладилась работа. А после работы, как сидели с хозяином на колоде, у сарая, сказал Иван:

– Работаю на вас, герр Браун, а вы и без моей работы богаты. А у меня мать-старуха без меня ослабла...

– Работаешь на нашу Германию, Иван. Ты пленный...

– Это не по правде. Это – как крепостное право было. А говорите, герр Браун, что у вас культура! Выходит – на людях ездите. Жалованья мне, по-нашему, два целковых...

Сказал ему Браун, что так говорить не надо, а то он заявит, как требуется по закону, и тогда могут послать в шахты.

– Оттуда не выходят!

– Знаю, – сказал Иван, – это, по-вашему, – культура!

Осерчал Браун, обозвал картофельной головой. Спросил:

– В какой газете читал такое?

– Это у меня тут написано, в картошке!

Чаще стала встречаться ему Тереза, в укромных местах перекидывались словечком.

В хмельнике раз, по осени, насыпал ей Иван полный передник хмельных бубенчиков, – просила на припарки для матери, фрау Виндэ. Вежливо поцеловал Иван холодные пальчики Терезы, а она дала ему из передника кисточку и, смеясь, сказала:

– Носите всегда с собой. Это вам на счастье.

– Волосы ваши буду помнить, – сказал ей Иван. – Как хмель, они золотые. С них у меня мутится...

Стыдливо засмеялась Тереза. Спросила удивленно:

– Где вы прочитали такое слово, Йоганн? Ведь вы русский...

– У нас на каждое дело свое слово!

Потянулся было к ее хмелевой головке, но она убежала.

Сунул кисточку в кисет с табаком и скурил – не заметил.

Нагнал как-то ее Иван по дороге в город. Было это в конце апреля. Синело небо, уже распускались полевые маргаритки. Шумело в ушах кровью, и жаворонки звенели, как под Тулой. И начинали хорошо пахнуть березы. Приметил Иван гнездышко розовых маргариток при дороге и остановил серую кобылу. Остановила свою пеганку и Тереза. Иван сорвал маргаритки и молча отдал. Тереза кивнула ему и сказала:

– Вы для меня остановились, чтобы нарвать маргариток! Нет, вы не дикий русский Иван, вы совсем наш, Йоганн. Из вас будет хороший немец...

Сказал ей Иван, оглаживая пегую кобылку:

– Запотела. А это, слышь, жаворонки поют... И у нас есть жаворонки... Самое им теперь время!

Она подняла синие глаза к небу: нет, не видно.

– А у вас, Йоганн, есть... щеглы?

– Сколько угодно. Орловские щеглы самые певкие... – сказал он, забыв, что она не поймет по-русски.

– Оставайтесь у нас, Йоганн. Отец охотно возьмет вас для хозяйства.

– Всякий меня возьмет на работу! – сказал Иван, подымая за колесо шарабан с Терезой. – Не бойтесь, не упадете. А чего мне тут делать? Приеду домой, женюсь... обзаведусь хозяйством. Теперь многому научился... Заплатил герр Брауну за науку. Буду и сам герр Браун!

– Какой вы... смешной! – воскликнула Тереза и хлопнула его по руке маргариткой. – А разве у нас вам плохо будет? Кончится война, и вы будете свободный! Можете тогда зарабатывать чем хотите! Вы сильный, вы можете много заработать!

Смешно стало Ивану. Запел весело, в полный голос:

Йех, журочка-журавель,
Журавушка-журавель!
Немец-перец колбаса,
Купил лошадь без хвоста!

Сказал ей песенку про немца, как задумал немец жениться, купил невесте корытце. Весело смеялась раздурманенная Тереза.

– И выходит, стало быть, дело за корытцем!

– Так что же? У нас есть красивые девушки... хороших семейств... Только надо иметь свое хозяйство. У вас там есть капитал, в России?

– Я сам – капитал! Сказал вчера сам герр Браун. Энтот все знает! Там у нас за меня пойдут и без капиталов!

– Да, конечно... – вздохнула Тереза, – но без денег жить трудно. Вы, Йоганн, мало знаете жизнь. У нас знает это всякий школьник.

Знал Иван, что нравится Терезе. Знал, что и она ему по сердцу, только строга, не как Тильда, с которой у него уже были сладкие минутки. И еще знал, от Тильды слышал, что Браун и Виндэ, отец Терезы, давно решили, что младший сын Генрих – теперь воюет во Франции – после войны женится на Терезе. И сказал прямо:

– По душе ты мне... а быть тебе за Генрихом, знаю ваши порядки.

Она залилась кровью и опустила глаза. Подумала и сказала тихо:

– А если... убьют...

Помешал им горбатый Мориц: нагнал на велосипеде. Тереза погнала кобылку, а Иван тронул шагом. И всю дорогу думал, какие чудные эти немки: скромницы, а такое скажут!..

Но веселая голубоглазая Тереза сильно его манила. Такой еще не было в его деревне.

Нежна уж очень! На барышень похожа из скворцовской усадьбы.

Вечером поймал он ее в хмельнике, за ригой. Пришла она слушать, как поет-чокает черный дрозд, подвешенный Брауном на высокой веже, Иван взял ее руку, сдавил и сказал твердо:

– Вот что, слушай. На родину со мной поедешь? поженимся...

И крепко обнял. Дрозд сладко свистал над ними. Она прильнула к Ивану и сказала чуть слышно:

– Сегодня Генрих прислал письмо... едет в отпуск...

– Стало быть, не убили?.. – начал было Иван, жарко захватывая ее плечи, но она вырвалась и убежала в испуге.

Остался стоять Иван в вечеряющем хмельнике, в голом лесу жердей. Стоял, поглядывал на дрозда, на пробивающиеся звезды. Стоял и свистал ему, свистал «чубарики». И дрозд тоже поглядывал на него и тоже свистал...

Когда вернулся Иван из хмельника, резко крикнула ему Тильда:

– Иван, мешки снять надо!

Иван пошел за ней в темную уже ригу. Она вдруг кинулась на него, цепко схватила его за плечи и затрясла в дрожи:

– Дьявол проклятый! дьявол неблагодарный! дьявол!! я теперь все знаю...

Иван захватил ее и сказал в ухо:

– Выьем-ка за здоровье твоего Фрица, может, и убьют скоро?.

Она рванулась от него как шальная.

– Не смей! тьфу! не смей!! говорить так... глупо!

– А сама любишься, кошечка. – шептал ей, крепче захватывая ее, Иван, – Да не корежься... да не., вот вы... немки, какие... все чтобы чисто-гладко... по вашему закону выходило... Да ты послушай... дрозд-то как... заливаётся...

Она осталась, довольная. Ушла, слышав только тяжелые шаги за ригой: шел, сопя, за своим дроздом Браун – снять на ночь.

IV

Наступил май – третий май немецкого плена. Уже два раза приезжал на побывку Фриц. Два раза приезжал Генрих И всякий раз Браун резал по поросенку. По две недели ели они до отвалу и много выпивали пива.

В этот май так случилось, что приехали оба сына разом – на одну неделю. Опять закололи поросенка и двух гусей, хоть и жалела немка. Да важное было дело: дали Генриху новый чин, и Браун решил устроить помолвку его с Терезой. Да и подходила будто к концу война. Шли победные праздники на деревне, и то и дело выкидывали на въезде победный флаг.

На помолвку приехали родные: и из Грюнвальда, и из Вербина, и «из-за горы». Все тяжелые немцы и широкие немки и много и крепких и тонких девушек в светлых платьях, с цветными бархотками на шейках Генрих ходил среди них в новом мундирчике, с новой саблей, потому что был теперь новый – фендрик. Приехал на трезвонистом шарабане Терезин дедушка из далеких мест, как яйцо лысый, в столетнем зеленом кафтане с жестяными пуговицами в ладонь, привез в подарок перламутровую шкатулку и белого котангорку.

Шумно сыграли помолвку у Виндэ, наколотили для будущего счастья гору посуды всякой Слушал Иван от риги, как звенело «счастье» Сидел и думал: «Расколотить бы мне главную посуду, *тому* – на счастье!» Захватило тоской Пошел на погребницу, поковырял гвоздочком замок немецкий, вытянул литра три темного пива – посветлело. Пошел через улицу ко двору Терезы, постоял – послушал, все еще бьют посуду. Пошел к Браунову двору, поковырял гвоздочком – и посветлело. Пошел опять слушать, как набивают Терезе «счастья». Ходил туда и сюда долго, пока кончили бить посуду Уже ничего не помнил.

С утра стали у Брауна играть на скрипках под сиренью – горбатый Мориц и паренек из аптеки. Ходил просить разрешения Браун – в отступление от военного закона. Пришла телеграмма о новой большой победе – разрешили.

Съели гости целого кабана, гусей две пары и кроликов два десятка. Выпили сорок литров пива и четыре бутылки шнапса. Сытые и веселые ходили. Портрет кайзера обвили елочкой и дубовыми ветвями, грозились перетопить все вражьи пароходы, захватить всю Россию, до Сибири... Скрипел старый дедушка Терезин:

– Хочу теплую шубу... из русского медведя!

Обещал ему Генрих и шубу, и лисью шапку, а маленькой Терезе – розового шелка из Лиона.

Слышал Иван, о чем говорили немцы, свое и свое думал: «Эх, разбить бы ей главную посуду!»

Танцевали на тесной площадке садика, где зацвели ранние левкои. Танцевали свой «шибер». Фриц-кабан плясал с пышно разодетой Тильдой – в золотистое платье с розовым бантом сзади. Генрих-франт – с тихой овечкой – Терезой. Не было совсем парней,

пришел только Клюпф, пьяный солдат, стучал по столу кулаком, грозился:

– Из француза красное вино пущу... из англичанина портер черный! Бей всю Европу!

Смеялись над Клюпфом: «Да мы же, немцы, самые первые в Европе!»

Знать ничего не хотел пьяница Клюпф, орал:

– Германия выше всей Европы! Хох! хох!!

Остряк был Клюпф-пьяница, шорный мастер, все гоготали на его речи, стучали палками, а Терезин дедушка похлопывал в сухонькие ладошки-дощечки.

Было воскресенье, вечер. Иван сидел во дворе, у сарая. Слушал, как визгливо-раскатисто хохотала Тильда. Она выпила много пива и все приставала к усачу Фрицу:

– Ты уж и осовел, мой Фрицик? Не пей так много, мой петушок. Давай станцуем!

Клюпф топтался по дерну и выл-хрипел свою солдатскую песню:

Из быка ремней нарежу,
Поясов друзьям намну!

Вытолкали его из сада за непристойность.

Видел Иван, как франт-фендрик нашептывает Терезе, как краснеет стыдливая овечка. Вспоминал – посмеивался в усы: «А если... убьют?..» Хорошо понимал, как напевал Генрих песенку, подавая овечке белый цветок левкоя:

Ах, любимая блондинка,
Чист и нежен образ твой.
А возьмешь цветочек в ручку,
Станешь прямо ты святой!

Тяжело было Ивану с самого утра. С утра взглянула на него Тильда, будто в первый раз его видит, крикнула:

– Почисти сапоги Фрицу!

Взял Иван сапоги из рук, поглядел ей в бесстыжие глаза, сказал дерзко:

– За свои башмачки ты мне хорошо платишь, *мадама*, а за *эти*, со шпорами, заплатишь лучше?

Огнем залилась Тильда, вырвала сапоги, умчалась. Целый день дразнил его розовый бант Тильды и ее заливной хохот. Томило его, как вся беленькая Тереза сидит неотлучно с франтом, подпевает его стишкам-песням. Не выходило из головы навязавшееся с обеда, как услышал впервые:

Ах, любимая блондинка!

В этот веселый вечер дрозд висел на сарае и свистал особенно беспокойно-лихо. Слышал Иван в его свисте знакомое: «И шумэ, и гудэ-э». Томила его Дроздова песня. Слушал трескучие голоса немцев... Оби-да! Взяли его всего, взяли его работу, а все чужой. Скотина милей хозяину! Сегодня Браун опять пытал, – не останется ли совсем в Грюн-вальде? А на праздник и не пригласили, даже не угостили гусятиной и не отпустили пива! И эта корова Тильда: то каждую ночь совалась... а теперь так и жметя к своему рыжему усачу и бант нацепила на свое место! И Тереза эта... овцой смотрит, а своего не упустит. Нечего с ними и канитель разводить. Вот уедет этот – позову в хмельник, разобью посуду! Пусть отпразднует свой девишник...

И опять услышал Иван:

А возьмешь цветочек в ручку,
Станешь прямо ты святой!

Сидел Иван на точильной плите, позванивал в раздумье заветным рублем о камень. Прислушивался к серебряному звону. Наводил этот тонкий звон на думы ему родное. Да-шурку-сестру припоминал, как вязала в избе кружева на коклюшках, заработала этот рублик... мать-старуху... Другой год лежит старуха на погосте. Прошинских коней вспоминал заводских, жеребцов с кровяными глазами... Собачонку Лиску, вольные луга Скворцовки, росяные покосы, вешние

соловьиные раскаты... как ходил по лугам с гармоньей, как хороводился с девками в овражках...

Прислушивался Иван к тонкому звону, думал: «Может, и в Расею теперь скоро». Поднял голову – дрозд на него свистит – смотрит.

Снял клетку, отворил дверку – лети, мать твою так-то!

Высунул голову дрозд, поводил туда-сюда желтым носом – пырх! Сел на сарай, завел все то же: «И шумэ, и гудэ!» Не слетел, опять в клетку забился.

– Дурак! Выучил тебя немец месту!

Услыхал хохот, подумал злобно: удивить бы их чем, чертей!

Вспомнил – поить коров скоро. Придется Тильде снять свою красу, подоткнуть подол да звонить по ведрам.

«Взять да в стойло за ней, да при всех и залапить... во бы штука! А то принести ее кирсет энтот, крикнуть: на койке-то у меня ночью забыла! вот бы штука! Эх, подивить бы их, чертей, чем!»

Поднял голову на шаги: пьяница Клюпф приглядывается. Смотрел Клюпф, как звякал Иван рублем.

– Гей! – поманил его Клюпф.

– Гей! – поманил Иван.

– Покажи, приятель! – опять поманил Клюпф.

Вынул Иван кiset, спрятал рублик, «чубчики» засвистал.

Топнул Клюпф, показал кулак, гаркнул:

– Ах ты свинья!., русская свинья, грязная!..

Никогда Иван за словом в карман не лазил: пустил Клюпфа на все лады – натрафился за три года. Полез Клюпф на Ивана, да подошел сам Браун и ухватил Клюпфа. Шумел Клюпф, грозился брюхо вспороть Ивану.

Уговорил его Браун плюнуть, сказал:

– Хороший Иван работник, совсем и не похож на дураков и лентяев русских!

Задело Ивана за живое. Встал во весь рост гвардейский, как на смотру, крикнул:

– Врешь, герр Браун! Как был русский, так и остался русский, а не кабан, не немец! На чужом горбу не выезжаю! Не грошовник!

Тут все загалдели и застучали палками кто во что. Унял Браун компанию, сказал мирно:

– Не надо переходить меру. Будем, друзья мои, праздник праздновать. Выпили мы все немножко.

– Все, да не все! – крикнул Иван. – На все то еще время придет, – пить будешь!

По-своему крикнул – не поняли его немцы!

– Уложу его на лопатки!

Знали все быка-Клюпфа: всех укладывал на лопатки. Закричали немцы:

– Зо! Зо-о!! Выходи, русский Иван... он тебя в две минуты положит на лопатки!

Стало всем опять весело, закричали Клюпфу: хох-хох!

Увидел Иван, что смеется Тильда, сверкают у нее жадные зубки-кусачки; увидел и Терезу-овечку: робко выплядывает из-за спины жениха, пытается стеклянными глазами. Хлынуло на него ражем.

– Эх, уж и покажу вам кузькину мать! Ставься! Выбрали судей для порядка. Сели на колоду. Ударил Терезин дедушка в ладошки, понюхал табаку, – начинай!

Клюпф был пониже Ивана, но шире в плечах, грузней. Прихватил Ивана под поясицу, стал под себя давить. Давил-давил – лопнули штаны, насмешили. Вытянулся Иван, навалился, захватил бычью шею, – нет, не сдюжишь. Прошел срок, ударил в ладошки Терезин дедушка:

– Довольно. Пива Клюпф много выпил!

Выпустил Иван Клюпфа – синей синьки. Плюнул в сухой кулак:

– На кулаки ставься! Эх! удивлю чертей!!

Не дали судьи, закричали: с пьяным нетрудно сладить! Тогда Фриц крикнул:

– Давай на мешках пробовать, кто сильнее!

Лежало во дворе пять мешков с парниковой землей, больших, тяжелых. Взвалил себе Фриц мешок, велел Ивану наложить другой сверху. Наложил Иван. Прошел Фриц по всему двору – не погнулся. Велел третий накладывать. Прошел – чуть погнулся. Скинул мешки, велел Ивану носить.

Три мешка навалил Иван, прошел по всему двору соколом, «чубарики» высвистывал. Ничуть не погнулся, крикнул:

– Наваливай!

Тяжелые были мешки, пятипудовые. Прошел Иван по всему двору – не погнулся. Чуть поплясал даже:

Йехх, ж-журочка-журавель...
Журавушка-д-журавель!

Хохнули немцы, палками застучали.

– Эх, побил Фрица!

– Нет, Фриц может!

Навалили Фрицу четыре мешка. Прошел, бурый, Фриц, выпучив глаза, закачался, скинул. Крикнул лихо Иван:

– Эх, удивлю чертей! Наваливай весь пяток, немцы!

Стали немцы кричать:

– Довольно! Сорвешь спину, Иван! Видим, не слабей Фрица!

– Наваливай! Нох афладен!!

Стали наваливать на Ивана... Гора горой. Не видать его стало под мешками. Навалили. Выправился Иван, переступил шага два, нашелся – пошел ходко. Поднялись немцы с колоды, с лавки, вытянули шеи, головы, ждут – качнется. Натужился Иван во все жилы, стал как клюква. Прошел мимо Брауна – усмехнулся:

– Садись, хозяин! Прошел мимо Фрица, бурый:

– Сажай и свою и мою кобылу!

Ступил мимо Тильды, глянул в жадные ее зубы, – хрипнул:

– Стан... цуем... што ли...

Признал мутившимися глазами Терезу, – целует ее Генрих в розовое ушко, в хмелевую головку, – закачался: гак-нуло у него в груди каленое железо.

И вот когда хлынуло в него темной волной и заколыхалась под ним земля, – услышал Иван, зовет будто его чей-то родимый голос: «Ваня!»

V

Очнулся Иван на земле. Уже темнело небо. Яснили звезды. Лежали мешки у глаз. Толпились-гудели немцы. Кричал Браун:

– Глупая игра! Можно потерять человека! Фриц смеялся:

– Что, Иван! Земля всех накроет! Вставай, выпьем.

– Вставай, Ифан! Вставай, русский медведь! – орал Клюпф. – Ты сильнее всех, кабан! Хох! Выпьем, мой друг, на брудершафт! Хох!

Не мог подняться Иван. Подняли его немцы, усадили на колоду. Принесла ему стакан молока Тильда.

– Выпей, Йоганн, молока...

И вдруг – хлестнуло из Ивана кровью, кривой струей брызнуло в молоко и на белую руку Тильды. Взвизгнули девушки, Тильда отдернула руку с розовым молоком в стакане, побледнела.

Взял у ней Фриц стакан, усмехнулся:

– Что... чужой еще крови не видала... Поди вымой...

– Тильда, Тильда! – звала старая немка. – Время доить, Тильда!

Кукушка прокуковала – восемь. Пошла Тильда переменить платье. Немцы ушли допивать пиво, а Фриц повел Ивана в сарай, на койку.

– Не знаешь ты меры, Иван, – вот и потерял силу. Все это твоя глупость. Надо и шутить разумно.

Едва выговорил Иван:

– Плевать.

Ночью опять шла кровь – залила всю рубаху. Томила жажда. Не было подле Ивана человека. Иван слабо вбирал губами горячий воздух, колыхался на высоких, под небо, возах сена и слышал жалеющий его родимый голос...

Светать стало. Прокуковала пять раз кукушка, – и пришел – застучал Браун:

– Как, Ифан? Можешь окапывать картофель?..

Неподвижно лежал Иван – плат белый. Какая уж тут картошка! Постоял-постоял Браун...

– Ифан! Ты бы выпил немного пива... и покушал свинины?..

Не отомкнул глаз Иван. Выговорил чуть слышно:

– Сыт... бу... дя.

Не понял Браун. Стоял-топтался, советовал растереть грудь и спину оподельдохом или муравьиным спиртом: верное, старинное средство. Сам он всегда растирает грудь муравьиным спиртом.

– На родину... Расею желаю... везите... чую...

Не понял Браун: бредил Иван на чужом языке – на своем, медвежьем.

Пришел Фриц, поглядел на восковое лицо Ивана. «Готов», – подумал. Сказал, что надо везти в больницу.

Воли искал Иван, искал губами. Невнятное говорил себе, немцам, темноте сарая. Хватал воздух губами: бредил на неведомом языке, – на своем, медвежьем...

Повез его в больницу сам Браун.

Когда подсаживали в плетушку, Тильда привстала на колоду, чтобы лучше видеть. Встретился с ней Иван глазами. Усмехнулся слабо: видишь, какой теперь, не то что... Оглянул двор немца, крепкую, дикого камня, стройку, телок, которых выгоняла в загончик Лизхен; поглядел на расшитые занавески на окнах, на красные сержки фуксий, на зеленые, густые гряды огорода, к саду. Эх, перетащить бы в Сквор-цовку!

Сгорбился и привалился к немцу.

Когда проезжали мимо голубого домика Виндэ, Иван поглядел на садик, но не было там праздничной Терезы.

Прощай. Прощай, синеглазая, ласковая, не наша. Вспомнил, как сказал вчера пьяный Клюпф: «Ты сильнее всех, Иван!» Накатило досадой, и сказал немцу Иван:

– Все умею... Все бы ваше хозяйство справил... плевать. Покачал Браун головой, ответил через сигарку:

– Нет. Не справить тебе, Ифан. Ты... ты картофельный голёва, Ифан.

Сказал, как говорил часто. И добавил:

– Не картофельный голёва так не кончает. Думм!

– Плевать! – сплюнул Иван кровью. – Отдам тебе рубль заветный...

Не ответил Браун. Нашарил Иван кисет, вынул заветный рублик, погладил на ладони...

– На, немец... Поминай Ивана.

Посмотрел Браун в лицо Ивану, взял рублик из холодных пальцев, достал кошелек бисерный, кувшинчиком... Да не дал ему Иван: вытянул рубль из пальцев.

– Пущай гуляет!

И, собрав последние силы, пустил его на ребро в небо, как, бывало, запускал лещедкой.

Прудом грюнвальдским, плотиной как раз ехали они – пруд на версты. Далеко блеснула серебряная капля. И канула.

– Пушай... гуляет! – болью усмехнулся Иван, кривя губы.

Строго оглянул его Браун и засопел сигаркой.

VI

За ужином сказал Браун:

– Мы потеряли доброго Ивана. Доктор сказал, будто лопнуло у него в груди, где пробила пуля. Ты, Фриц, его рассердил. А он – глупый и не знает меры. А был золотой работник. Надо просить опять. Говорят, новую партию прислали русских Иванов на работы. Не надо было его задорить!

– Он хотел перед девушками похвастать силой, – сказала Тильда. – Такой бабник! Теперь я могу сказать: очень он таскался за мной, бедняга.

– Что такое? – строго закричал Фриц.

– Вздумал еще! За кого же ты меня считаешь?! – крикнула возмущенно Тильда.

– Ладно. Налей мне пива.

Тильда налила ему и себе, протяжно заглянула в глаза и чокнулась – не отняла кружки. Любовно глядела на них старая немка. Кукушка прокуковала – десять.

– У него уже помутилось... – показал на голову Браун. – Он зашвырнул в пруд свой серебряный рубль, две марки!

В этот час в чистой палате грюнвальдского медицинского пункта умер Иван.

Дежурный доктор отметил в своем журнале: «Русский пленный. Иван Грачев, 26 лет, № 24727, умер в 10 ч. 16 с. мая от кровоизлияния в легкие (легочный удар). Заявлена причина: поднятие чрезмерной тяжести на спор, в игре (до 30 рус. пд.). Причина способствовавшая: боевое ранение в грудь (сквозное). Прекрасно выраженный экземпляр славянского типа. Всестороннее измерение сделано (стр. 169). Сообщить г. профессору Клейден (Берлин)».

Записав показание фельдшерицы, доктор приказал перенести труп в прозекторскую – для вскрытия.

1918–1923

Сказки

Степное чудо

(Сказ)

Какого царства, какого государства – не сказано, – только и не в турецкой земле, – лежала широкая степь, подремывала, снами перемогалась, Миколу-Угоднику моли-лась. <...> А народ на той степи жил не так чтобы разумный какой, но только лаптем щи не хлебал, а как быть полагается. В колокола позванивал, попов не то чтобы уважал, а обиды не делал. И разбоя большого не было, – так, маленько пошаливали разве. Родителей не то чтобы почитали, а бывать на миру совестились. Жили ни богато, ни бедно, мимо чужого не проходили, а чтобы силком, к примеру, – закона не забывали. Микола-Угодник не пустое место, – нет-нет, а погрозится, строгий. Да и Илья-Пророк – нет-нет, да и прогремыхает. Тоже и Матерь Божию почитали, помогу бабью, – скорбей тоже повидала, ласковая.

С этими-то помогами и жила степь, помаленьку и грамоте разуместь стала, лапти поскидавала, посконь на ситцы по-сменяла.

Забрел раз на ту степь иноземный торговый человек, оглянул ширь-ровень и говорит:

– Много земель видал, а такую степь впервой вижу. Быть ей богатой над богатыми, счастливой над счастливыми. То все возишки были, а тут возище! Хоть и не споро едет, а раньше другого легкого на горе будет. А сорвется – и черепья не соберут!

Прослышали про то мужики степные и говорят:

– За-чем... У нас и поговорка такая есть: «Тише едешь – дале будешь».

Так и жили.

А степь-то была какая... – не оглянешь! Друг про дружку путем не знали, что с одной степи кормятся. И про степь-то свою не знали, какое и звание-то у ней. Степь и степь.

Как ставились в солдаты, спрашивало их начальство:

– А ну, знаешь, какого государства будешь? Не знали:

– А со степу мы! А то и так;

– Мы-то?.. Коркино, може, знашь? Оттуля. Ну, и побойчей бывали!

– А Луговскова уезду!

А то и грамотные случались:

– Смологонской губерни, Дегтёвскова уезду, Лаптевской волости, села Посконь!

– А государства какого? Родина у тебя имеется?!

– Имеем. Родина наша будет... село Посконь.

– Ну... отечество твое какое? оте-чество?!

– Отечество... Отечество наше будет... Михайлов?.. Иван Михайлыч.

– А, дурак... ну, а госу-дарства?!.

– А Бог его знает, что за государство! Про его и старики не знали.

Так вот, на самой на той степи, по осени, непогожей ночной порой, зашумело и зашумело, – будто сваи вколачивают! И такой хруст пошел, – не то кости ломают, не то сухостой валится. Да такой вой поднялся, – волки не волки... – а будто и с бабьим схоже. Попрятались мужики на полати да за печь, Миколу-Угодника поминают, – жуть! Поутру ходили на степь плядеть, – нет ничего! Может, и примерещилось...

Шел в ту пору дарьинский мужик Родивон в Михайлов-ку, за колесом к кузнецу.

Идет по большой дороге, чуть свет, травку стало видать маленько. Версты три прошел – слышит: позывает, – к низинке, будто. А с дороги-то не видать, туман. Приостановился Родивон и слушает:

– Оооо... о-ох...

Жалостливый был Родивон, и взяло его за сердце.

– Воет-то как неладно... – думает, – никак, баба?.. Вон оно дело-то на что выходит... ночью-то намедни!..

Спустился в ложок, – и стихло. Окликнул, – идти-то боязно:

– Чего ты там... ой!?.

И слышит опять: стонет.

Плечом поежил, мурашков стрясти чтобы, шагнул в лог поглубже, глядит – баба! Лежит, ногами к нему, полсапожки гвоздочками подбиты. Подивился: баба, а полсапожки и доброму мужику впору! Ближе подвинулся...

Самая заправская баба, во всем снаряде. Сарафан – зеленый, с позументом, как у Дарьи в укладке бережется; рукава холстинные, красными городками шиты, – в Дарьине старые бабы носят; шушун откинут, рукавчики чутошные, красным подшивом оторочены...

Пригляделся: красное-то оно красное, да кровь! Помаленьку стал с головы оглядывать...

Голова непокрыта, коса закинулась за ольховый куст...

Глядит Родивон – мать ты моя-а!.. Ну, и косища! Русая да толщенная, – в руку не забереешь. И вся-то кровищей залита! Глянул к кусту – блестит. Парчовая кичка, позументом запутана, повисла.

– Богатая была баба... – думает Родивон, а самому жуть. Стал дальше оглядывать.

Лоб чистый, не так чтобы высокий, а как бабе пригожей полагается. Брови... Ну и брови! А как глянул во все лицо, – и жуть пропала.

– Ну, и баба была... приятная баба! – думает Родивон. – Маленько на Дарью мою похожа. Грудь-то – гора! десятерых прокормит...

Очаровался Родивон над бабой – и про колесо забыл.

– Эй, родная!.. – позвал тихонечко, чуть не плачет. – Да кто же это над тобой так?.. Да его, прямо...

Отозвалась баба – застонула. Дрогнули-поднялись ресницы, и зашло в Родивоне сердце: глянула на него полными слез глазами.

– Бабочка ты сердешная... – заплакал Родивон, припал на колени. – Да чьих ты будешь-то? да откуда ты сюды попала?.. Всех баб здешних знаю, а тебя и видеть не видывал! Да кто ж это над тобой намудровался, наиздевался так?..

Глядит баба на Родивона, как святая икона...

– О-о-ох... – стонет, не сводя глаз, – дети родные... Закрыла глаза, – и пошло по лицу, как облако.

– Обмерла... – думает Родивон. – Дети?!. Ах, сукины дети... а?!

Поглядел на бабу... Ку-да ее донести – саженная! Постоял-постоял, шапку помял...

– Ладно. Схожу за колесом, объявлю. Дадут подводу – может, еще отходишься...

Взглянул на лицо...

– Навряд... Житья-то твоего осталось до вечера.

И пошел от нее, скушный.

Идет и думает:

– Мать-то такую расчудесную!.. За что ж они ее так испозорили, а? Может, делиться начали?..

Выбрался Родивон из лога, оглянулся. Лежит баба, полсапожки ясными гвоздочками играют. Подумал:

– А ведь неладно так-то... Народу всякого шляется, еще разуют? А полсапожки важнецкие. Сыму-ка я с ее полсапожки для сохранности?..

Воротился к бабе, стал легонечко с ее полсапожки стаскивать. Тянет да приговаривает:

– Для сохранности я-то, не сумлевайся. Может, и чуешь ты, голосу только подать не можешь. Так вот, ей-Богу, греха на душу не возьму, Микола-Угодник видит! Убогова человека да разувать... Я Дарье своей намедни справил, только гвоздочки дороги... А их, сукиных сынов... мы сыщем!.., будь покойна... сыщем!..

Лежит баба – не шелохнется.

– И с чего жалею-то я тебя так, а? И с чего ты приятная такая?.. Над матерью так!.. Ну, бывает... ну, поскандальни-чают, поохальничают... ну, вдарят раз... Касьяшка намедни старухе руку поленом перешиб... дак он на всю деревню один такой! Бога-то еще помним. Коли слышишь, вот тебе сказ: для-ради сохранности разул! Ну и полсапожки!.. Подковки, никак, серебряные?.., больно светлы?..

Вышел Родивон на дорогу, полсапожки за верха держит. И что за диво?! И матерьялец легкий, а оттянуло руку! Опустил полсапожки наземь, а нога сама в полсапожек лезет. Влезла с сапогом, а все свободно!

Подивился Родивон, всунул другую ногу. Попробовал ступануть – не сдвинешь! Испугался тут Родивон:

– Ох, не простая баба, не человеческая!

Скинул полсапожки – бежать! И слышит за собой: топы-топы... Оглянулся, – за ним идут! Схватил себя Родивон за шапку... – мать родная! Идут полсапожки к нему, боле саженья забирают, не убежишь. Да и бежать не может: свело ноги.

Дошли до него – и стали.

Покрестился Родивон, закрестил полсапожки – стоят, не движут. И отлегло от сердца. Вспомнил: крест ведь на ней видал!

– Литой крест! А полсапожки я для сохранности. Стало быть, ей желательно, чтобы, полсапожки ейные в сохранности у меня остались... Ох, не простая баба!..

Взял полсапожки уважительно – руки о травку вытер, – пошел про чудесную бабу объявить. Зашел за изволок – нет его...

Шел той дорогой солдат с похода, мешок за спиною нес. Устал, свернул цыгарку и привалился. Пригрело солнышком – задремал. Только задремал – слышит: воронье кричит. Глядит – сила воронья, кружат в сторонке, неподалечку.

– Падаль, не иначе... – думает, – а может, что и живое не дается? Вот они, сволочи, и кружат, шпикулянты...

Вспомнил тут солдат про мешок: много добра несет! Развязал, на досуге стал переглядывать...

– Брюки новые, офицерские... сапоги лаковые, с самого ротного, довелось, послал Бог счастья! Маньке шелку-бархату кусок цельный, – ахнет! Подметок три пары, сахару десять фунтов, ложечки серебряные, вина бутылка, чаю замечательного три завертки, понсигар... А это чего? Цир-куль: планты мерить. Табачку три фунтика, ланпочка иликтрическая, на ворота, для красоты! Часов двое – золотые, серебряные! Мать честная!.. А тут... билеты государственные! В овине до время спрячу... Как опять все наладится, вдарюсь в самую шпикуляцию, трактир открою... И Божье благословение имеется, в рамочке... Микола-Угодник, будто... по строгости? Высеребрен-то как ясно!..

Думает про добро солдат, а воронье – кар-карр!

– Взглянуть, что ль, пойти, чего базарют?..

Взвалил мешок, в степь пошел. Поднялась воронья – туча тучей. Спустился в ложок, глядит...

– Женщина!?! Нарядная, а босая... Разули, черти!.. Ай загуляла, молодка?! – окликнул солдат, веселый. – Подымайся, гулять пойдем! Ну, и бочищи!.. Эй, Дуня!..

Шагнул поближе – все тут и увидал солдат. Перевел дух: утерся...

– Фу, черт, как напужала... за Маньку принял: нет, не Манька. А здорово похожа... Чи-стая раскрасавица... была!..

Присел на карачках, в ногах ослабело. Цыгаруц сосет – попыхивает, а руки – дрожью.

– Стало быть, тут убийство... И разули. А креста не сняли. А золотой, будто?.. Теперь бы за этот крест...

Глядит – в ухе серьга, жемчужная. Подумал солдат:

– Ей в могиле без надобности, а нам сгодится. Я, годи, тебе и могилку вырою. А крест я с тебя сыму... я тебе за ево сосновый вытешу...

Потянулся солдат крест сымать...

Подняла женщина ресницы – стрелы, повела строгими глазами, как на святой иконе, да как плянет!..

Обомлел солдат, не дыхнет. И слышит, будто из-под земли, голос:

– Не тронь!

И с того взгляду строгого, с того голосу подземного, повернулось у солдата сердце. Поглядел на свои штаны – кровь. На руки поглядел – в крови руки...

И слышит за собой оклик:

– Эй, чего у вас тут не вышло?!.

Глядит, двое еще стоят. Один – матрос, на шапочке букровки линиялые: «Три Святителя». Другой – заводской, с ключом, с молоточком, – слесарь. У матроса лицо румяное, сытое. У заводского – худощее, брови к носу.

Говорит им солдат:

– Женщину вот убили!..

А матрос и спрашивает, веселый:

– А за чего ее успокоил-то?

– Как так, я успокоил?! – так и взвился солдат. – Ты ее саданул, может... а мы такими делами не занимаемся! По шпекуляции – это так, а душегубством... не занимаемся.

А матрос смеется:

– А грабли чего в крови? Товарищей не опасайся!

– Какой я, к шуту, тебе товарищ?! – осерчал солдат. – Чего – грабли? Руки у меня с войны все в крови, не отмываются!..

– Ладно, – матрос смеется, – одна не в счет. Карманы-то у ней имеются? Стой, мы ей легистрацию наведем сейчас... А ну, мамаша?..

– Брось, товарищ... – говорит заводской сурьезно. – Мертвую тревожить не годится!

Выругался тут матрос нехорошо:

– По-шел ты... живых тревожили, не боялись! Не засть. Сам, небось, по карманному производству руку набил... Эй, мамаша... А ну-ка покажь, и где тут у тебя... кармаша?..

– Нет, брат, – стал заводской серчать, – не по карманному производству мы, а по металлу...

А матрос гогочет:

– Во-во! По металлу и я охоч Вон и крестик... чем не металл? Солдату-то не доспело Проба-то на нем имеется?.. Дойдет и до него черед, сначала пощупаем мочалу А ну, помогай, товарищ.

– Нехорошо! – говорит заводской, брови к носу – Капиталистов мы щупали, а над мертвым ругаться рабочий человек не может. И крови рабочий человек не любит Не товарищ я тебе по такому делу.

А солдат сидит – обомлел, другую сигарку вертит.

– Не това-рищ! – кричит матрос, – а как винцо пить да денежки делить... – первые?! Другие за вас кровяную работу делай? На готовенькое бы только... черт... да й ней все карманы вырваны!.. Ай да солдат! Да ты ее еще, может, и...

– Не трожь, живая!! – как крикнет заводской, не в себе... За голову схватился – бежать!

Будто – чего почудилось! А матрос ничего, ругается:

– Зайцы – черти! Напакостили да – в кусты?!.. А ты прямо действуй! Я мощи вскрывал, да не боялся! «Три Святителя» у меня на голове, сам четвертый! Я ее счас дознаю, живая она ай мертвая. Жилку такую знаю...

Обругался нехорошим словом и схватил руку женщины... Тут и случилось.

Поднялась рука – полнеба закрыла. Дрогнул матрос и пал под накрывшей его десницей.

Глядит солдат: что такое... матроса нет?! И видит: растет женщина, ноги по всему лугу, руки на степь закинулись!..

Поднялись у солдата волосы дыбом, пополз на карачках в степь. И мешок свой бросил.

А уж и ночь на степь пала. Воронье по местам село. Ни зги не видать – темно. Только совы за мышами шарахают. Вылез бес из болота, постоял – послушал... И говорит:

– Ладно идут дела! А ну-кась?..

Привалился к земле – и слушает: чу-уть позывает – стонет, как мушка у паука в тенетках.

– Скоро можно и шапку надеть... лихо! – думает себе бес.

И давай плясать – гукать! Плясал-плясал...

– А ну-кась?..

Привалился – и слушает: та-ак, будто комарик чутош-ный, позывает-стонет.

Потер бес лапы, шапку из-под хвоста вытянул, на корявую головешку насунул – в поход собрался. Идет – попрыгивает, падалью от него порыгивает. А совы так вокруг него и летают, так и шарахают...

Остановился и думает:

– Главное бы дело выгорело! Пьяница, может, какой пройдет, крест сымет?.. А там плевое дело – в болото затащить. Тогда и вся степь наша! Подох Гришка-матрос, дрогнул! Верного друга потеряли. А ну-кась?..

Припал бес к кочке – и слушает: та-ак, в полчуть, ровно травка по ветерку позукивает.

– Последняя ее кровь ходит... – говорит бес, язычище до пуза вывалил. – Пять минут и разговору осталось. Только бы пьянчужка какой набрел. Разбойник с нее креста не сымет, а пьяница задумается.

И давай вызывать скрозь землю:

– Эй, Мишка, иди!

– Эй, Гришка, иди!

– Васютка, Стешка, Аксютка, Лешка, Сысой, Ивашка, Косая Машка, Хрипун – Костюшка, Стигней, Настюшка, Федул, Микнтка, Пахом, Улитка, Вавилка, Прошка, Ермил, Ерошка, Максимка-Бубен, Хохол из Лубен, Дурак-Трохимка, Снохач-Яфимка, Похабник-Пашка, Блудилка-Дашка...

Всех степных пьяниц перебрал – не слышать! Осерчал бес, с досады под хвост полез...

– Вот, черти! С матери родной сымали, а с этой – чего бояться?! А я-то им в уши дул: мачеха она вам лихая!..

Хвостищем за ухом поскоблил – и вспомнил:

– Касьяшку-пьяницу помянуть забыл: живореза-то самого!..

И давай:

Товарищ Касьяша,
Варится у нас каша,
Лежит на степе падаль,
Златого креста не надо ль?..

Слушает – не идет Касьяшка!
– И чего ее боятся, черти?! Это мне все старый Микола портит!
Почитай, всех забыли, а его все помнят.
И опять, давай:

Товарищ Касьяша,
Пришла пора наша!
Сымай крест с падали,
Чтобы все перед нами падали!..

Слушал-слушал, да как задерет хвост дудкой... – идет! Да и заерзал что-то...

То тем, то другим ухом приладится... Скосил морду – и говорит:
– Твердо чтой-то шагает ноньча?.. Я его ход знаю... Слушает:
шагает неспешно, с усталью, – топ-топ-топ...

– И каблуки слышать!?!.. А у него и лаптей-то отродясь не было!..

Слушал-слушал лопухий бес, а шаг все ближе...

Сел на кочку, бельма выпучил – не поймет... А тут, будто, как ветерком пахнуло. Глянул – да и присел-пришибся: старый Микола из-под зари грозится! Темное лицо, во все небо! Погрозил – и пропал зарницей.

Заерзал – затрепыхался бес, крикнул:

– Матери твоей черт!..

Да как лязгнет зубом, как копытами наподдаст, так по деревьям все собаки и взвыли. Поджал хвост да и бух в болото.

Шел с далекого края воин. Шел без дорог, напрямиком, через болота да буреломы, оврагами да лесами, глубокими снегами. Ноги сбил, порвался, изголодался. Родину шел-искал. Спутал к ней бес дороги, завалил-заваял, волков рыскать на волю выпустил. По слуху шел, напрямиком, откуда позоывает. Шел-шел – и не стало слышно.

Остановился, как на распутье, поднял глаза к темному небу и помолился:

– Господи!..

Смотрит – рука на небе! Подняла та рука край тучи и показала зарю. А из-под зари старый Микола смотрит... Миг один – и пропал зарницей.

Всполохнулось у воина сердце, и крикнул он во всю степь ночную:

– С нами Бог!

И еще видит: бежит золотой комарик, – чутошный огонечек с неба, – свечечка копеечная. Убогие старушки такие ставят. Может, и нашлась на всей степи одна святая душа, молилась в ту ночь за сына...

Пала та свечечка на темную степь и не погасла: чутошным огонечком встала.

Не проглядел ее воин. Идет и идет, а огонечек его ведет.

И довел до лога.

Встал воин на краю лога – видит: лежит женщина, разута-раздета, в головах у нее свечечка теплится...

Ударило его в сердце, кинуло в лицо кровью, зажгло слезами глаза – застлало. Признал воин светлое лицо то и крикнул голосом во всю степь ночную:

– Родимая!..

Услыхала родимая звонкий голос, подняла свои ресницы-стрелы, взглянула глубокими, полными слез глазами... Заглянул воин в страждущие глаза: не смерть ли?.. А тут и светать стало.

Стоит воин один в логу. Помертвело его лицо, – только глаза горят. Порвано на плечах, порвано на груди, и на ногах – все порвано...

Огляделся, – один туман!

Покрестился широким крестом на небо.

А свечечка и снялась с земли, и в руку ему дается.

Поднял воин тот знак Господень, рванул на груди рубаху... – и увидало белое небо пятнышко на груди – знак жертвы.

Принял воин святой огонь и прожег себе грудь Крестом, через то кровавое пятнышко. Тут и погасла свечечка.

Встал воин в головах, уперся в сырую землю, подвел руки под плечи женщины...

И крикнул на степь, в туман:

– Эй, люди!.. Слушает... Нет ответа.

Увяз воин в сырой земле, последние силы набирает. А родимая не опускает стрелы-ресницы свои, глядит на него глубокими, полными слез глазами.

И в другой раз крикнул:

– Эй, други!..

Слушает: петухи по деревням перекликаются? Вот-вот разорвется сердце. *А Она* смотрит, смотрит... И крикнул криком нечеловеческим:

– Эй, братья!..

Пошел по степи шорох. Петухи кричат по деревням, будят. И слышит человеческий голос:

– Иду...

И слышит еще:

– Иду...

Много-много. Шумит – шевелит травой... И мужик с колесом бежит:

– Я, Родивон из Дарвина...

И еще, много-много – будто трава степная...

Подняла женщина ресницы-стрелы, глядит радостными, полными слез глазами. Слышит: шумит и шумит по степи!..

Закинула белые руки за голову и потянулась... Ноги из лога вышли, руки на степь закинулись...

Да где ж коса-то ее?

Далеко стоят леса, осенние, золотые в солнце.

А лоб белый?

Вытянулись белые пески.

А глаза, полные слез, святые?

Нет глаз: синие моря, синие... далекие, чуть видны.

И не высокая грудь, а горы ушли под небо. И шушун самотканый – поля оглаженные, и сарафан – уж не сарафан, а луга, реками-позументами шитые... А руки белые – пути, без конца, без края...

Стоит Родивон – видит. Заплакал и поклонился земно Испугался – вспомнил. – А полсапожки-то я куда?!

Проснулся – темно в избе. Шумит за окошком степь, шумит ветром.

– Сон приснился... – думает Родивон. – За колесом к кузнецу все шел...

Утер кулаком глаза. Пора и за колесом идти. Слез с печи, подошел к оконцу, глядит в степь – опомниться все не может.

– Сон-то какой привиделся!..

И стало ему и жалостливо, и сладко. И пожалел, что это во сне было. Вспомнить хотелось невиданные глаза те, – не мог вспомнить. Стоял у окна и слушал: шумит по степи ветер.

– За колесом, что ль, собрался? – окликнула его Дарья. Опомнился Родивон, сказал:

– За колесом... да светать чтой-то не светает.

– Чего ж спозаранков-то поднялся?..

– Да так...

Оделся и пошел к кузнецу за колесом. Чудно! Только вот во сне было...

Прошел версты три, – вот и ложок тот самый. Остановился, послушал – не позывает ли. Нет, не позывает. Сошел с дороги, заглянул в лог...

Шумят на ветру ольховые кусты – и только.

Алушта

Октябрь, 1919 г.

Преображенец

Крутился солдат по Питеру на полной своей свободе.

На самокатах досыта накатался, по дворцам на пуховых постелях навалялся, винца всякого попил заморского, – сабелькой головки бутылочкам срубал, – да вдруг заскучал и заскучал.

С чего такое?..

Пошел, для оттяжки, по парадным садам ходить – смотр делать: ничего, занято. То богу какому каменному нос из монтекристы отколупнет, то голой девке, на камушке, значок врежет, куда позанятней, – любопытно, а настоящего чего нет! Стал с товарищами по погребам лазить, из бочонков винцо посасывать, ан – пожарные налетели да из кишки наверх и выбили, а наверху-то из пулеметов поливают. И свобода, а не поймешь!

Уж чего-чего не пытал гвардеец Преображенский: и стекла сапогом бил, и фонари-то из монтекристы резал, и суконце господское в вагонах обдирать принимался, и... На чугунного коня у вокзала лазил, а настоящей радости нет и нет!

Стал под балконами топтаться, семечки лузгать-поплевывать, в горсточку поклевывать – одобрять. А с балконов тертые парни на балясинах висли, орали-призывали:

– Эй, Преображенский! К нам ступай! У нас бомбы! Пулеметами веселую жизнь готовим!

Приятно слушать, а не тово – голову-то подставлять охота!

Ну, однако, задаток взял, – самую настоящую «катеринку» дали, законную, – а болтали – немецкие у них деньги! – квиток заполучил, в рукав засунул, – жи-вет!

– Смотри, солдат, – говорят, – приходи, как срок будет!

– Ладно, – говорит, – приду обязательно! А сам думает:

– Нашли дурака! Зна-ем, что вам надоть...

Пошел по ресторанам ходить, самое господское требовать. И шинпанское вино пил, и поросенка в сметане зараз четыре порции осадил, и юстрипы жевать принимался, и зернистую икру с глубокой тарелки ложками выхлебывал и сладкими пирожками заедал... – а

настоящего чего нет и нет' Крутился-крутился, – чего бы такого изобрести, чтобы душа играла?

Стал по закоулкам, к ночи, гулящую публику приостанавливать, документы проверять, – приказ! Ку-да занятней! То какого-нибудь замечательного буржуя потрясет и необыкновенный какой бумажник вытрясет, а в бумажнике-то – всяких сортов-колеров напихано: и царские, и с дворцами, и ярлычки-канарейки – сороковки; то часы золотые на цепище, то портсигары голубые-золотые-серебряные. А то какая девица попадетса, тоненькая да субтильная, – на ладонь посадить можно, – до смерти напучается, не дышит – молит:

– Ах, ради Бога... солдатик... папа-мама... Забьется-затрепыхается, как плотичка. Откуда такая, деликатная?

Играл-играл да и напоролся на патрулек: насилиу через пятыя ворота выдрался.

Прикинул капиталы, видит – теперь и отдохнуть можно.

В Зоологический сад, к разным зверям пошел. Тигру палкой в морду совал, глаз сове пальцем выдавил, слона за хобот качал, обезьяну такими обложил, – для чего сволочь такая существует?! Нет тебе настоящего удовольствия! Нет и нет.

И памятники все облазил, подсолнухи заплевал, словами исписал. И на ероплане подымался выше каланчей-соборов. И у самой Иглы Адмиралтейской крутился, – вот-вот отдалишь! – на Питер на весь плевал... – чуть душа поиграла. А как на землю спустился – опять невесело!

Что такое?..

С самим земляным министром в автомобиле ездил, для почетной охраны-назначения, – свой министр. Под ручку господина министра водил, на этажи подымал на зорьке, по частной надобности, – по-приятельски разговаривал:

– Ты, брат, хоть и земляной министр, а наше дело ни... хря-на не понимаешь!.. У нас, брат, вопрос... зя-мельный!..

Гулял-гулял, и до того догулялся, что уже невозможно стало ему ходить. Дня три перемогался – и пошел к доктору.

Вот доктор оглядел-обсмотрел, полную ревизию-допрос сделал – и говорит:

– Ммда-а, бра-ат..! Тово не тово, а быть все может! Похолодело у солдата Преображенского и снутри и снаружи. И взмолился:

– Осложните, ваше благородие! Вот доктор и говорит строго:

– Ну, уж это, голубчик, не в моей власти. Пить ни капли, а вот тебе капли и то и се... может и чего *дурного* приключиться. Придет время – объявится! Держись за нос!

И до того напугал гвардейца Преображенского, что как пришел тот в казарму, завалился на койку и – затих. Кругом дым коромыслом, на гармоньях да балалайках, на граммофонах этих наяривают, оголтелые девки по койкам сигают-прыгают, такой визг-гогот, – а Преображенский солдат ле-жит-затаился – про свое думает:

– А ну, как... да *дурное* приключится? В деревню, главное дело, надоть... самый вопрос... зя-мельный!..

Лежит и себя томит:

– А ну, как да нос провалится?! В деревню, в полной парадной форме, при багонах да галунах, при троих часах, и вдруг – без носу?.. Девки-то засмеют, стервы! «Чегой-то, – скажут, – ай у тебя немцы нос обточили?»

И так ему нехорошо стало – с души тянет.

Стал Преображенский солдат глазами по стенам царапать – помощи какой искать. Нет ничего: грязь да копоть, Добрался глазом до уголка, где образ Миколы Угодника, ротный, свой, – и зацепился. А не видать ничего, лика-то настоящего, – гарь-копоть!

– Э-эх, нехорошо как... – думает Преображенский солдат, от образа глаз отцепить не может: – И лампадку сапогом сбили, и стекло расколотили... и образные деньги все пропили-поделили... Вот теперь *его* и не видно стало!..

Крепко зажмурил глаза солдат, вдавил голову в плечи, натужился – *его* вспомнить. Стал *его* из черноты-копоти глазами-думами к себе вытягивать. Потянулся к нему из копоти Микола, – ясней, ясней, – хмурые брови, строгая. И – скрылся.

– Неладно, – думает Преображенский солдат. – Обидели старика, серчает... Закрылся копотью, и глядеть не желает.

Опять понатужился, зубы стиснул, глаза зажал, – затаился. Выглянул из копоти Микола.

– Ой, Микола-Угодник, – взмолился в уме солдат. – Отведи только то... *дурное!*.. Лампадку справлю, капиталы имеются!.. В нашей церкви, на Спаса-Вышки... здесь никак не дозволено... а до-ма!

Отпустило с души немножко, и подумал Преображенский солдат – уснуть бы. Подумал и загадал: сон приятный увижу – не будет *дурного*, не увижу приятного сна – будет.

Вертелся-вертелся на своей койке – нет сна. Разве уснешь, – визг-гогот! Пошел – хватил пива с одеколоном, завалился на койку и заснул как мертвый.

* * *

Видит Преображенский солдат, что идет он по Питеру, в полной парадной форме, – в высокой каске, в тугих штанах, в сапогах с жаром, с палашом, как на смотр. Идет отчетливо, гвардейский шаг молодецки печатает – раз, раз, раз! А день зимний, морозный, иглами в лицо колет. И река-Нева – зимняя, снежная, голубая-зеленая, – где посдуло. И розовое за ней в дымах. А за розовым – дымно-снежным – колокольни-шпили глядятся, закутаны, – золотцем проблеснут где-где. Глядит Преображенский солдат на белую Неву – здорово-крепко взяло! И дух от нее тонкий-легкий, в ногу пощипывает, будто навозцем потягивает – весной?

Идет Преображенский солдат – глядит. Ни души народу – как вымерло! Озирается: ни души! И тишь такая, как в зимнем поле.

– С чего такое? – думает Преображенский солдат, – куда девалось?..

А город, как для парада, как перед праздником, – чистый-чистый. Выметено – ни скорлупки. Чистый снежок да камень.

А тишь!.. И вот, слышит – часы на той стороне бить стали, на соборе, что ли, – редко, ясно. Насчитал – одиннадцать.

– Двенадцатый час идет, к обеду скоро... – подумал Преображенский солдат. – Стало быть, все при деле. Стало быть, строго стало. Значит, закон сурьезный...

И стало солдату жутко: один только он мотается. А идти надо, как по службе!

Идет Преображенский солдат, смотрит – *он! медный!* Конь на дыбы взвился, лихо-властно сидит на коне *медный!*

Запляделся солдат на *медного*:

– Ух, чи-сто!

И все, как раньше: и полосатая будка рядом, и часовой под *медным*, мохнатый старик с ружьем. Стоит медведем, не шелохнется, в недвижимых ботах-кеньгах, будто увяз в камне. И все – медвежье на нем, и все недвижно: медвежья шапка – ведром мохнатым, и тулуп-камень, и воротник медвежий – мохнатый камень; и рукава, тяжелыми мохрами к земле повисли, и полы в лохмах скорузло тяжко обвисли в кеньги, и патронташ на лямках, тяжелый, как заслонка, с орлом замерзлым. И седые усы в сосульках, и брови нависли над глазами, седые в инее, а над ними лохмы. А глаз строгий и вострый, – сторожит – сталь сталью.

Запляделся Преображенский солдат на *медного!* И слышит – из камня окрик, и стук железный:

– Честь!

Поднялся приклад и звякнул.

Вздрыгнул Преображенский солдат, – как в грудь ударил. Вздрыгнул точь-в-точь, словно давно когда-то, в первое время своей службы, как шел с разносной и засмотрелся на *медного*.

– Честь! – будто с ярого коня крикнул, медью живую крикнул.

Вытянулся Преображенский солдат и *медному* бравую честь отдал. И стало ему тут жутко: будто *тот* с тяжелого коня гневно смотрит.

Прибавил шагу солдат, а *те* в спину ему вонзились, в самую его душу смотрят. А ноги – бревна.

– Стерегут... – подумал. – Бессменно! И все те же... Идет, как бревна везет, а по спине мурашки.

А вот и Зимний Дворец, и здесь – ни души, пусто. Да куда же народ девался?!

Глядит Преображенский солдат – дымят над дворцом трубы... Глядит – на дворце, на шапке, – высоко царский штандарт вьется – по золотому полю черный орел играет.

Подтянулся Преображенский солдат:

Сам дома!

Идет по той стороне, к реке, четко печатает: раз, раз, раз. И слышит вдруг, – даже похолодело: впереди кто-то тоже отстукивает по камню: раз, раз, раз!

Припляделся и обомлел: *сам* идет!

Признал: идет по панели, у дворца, сам Царь Николай, в походной солдатской форме, – в шинельке серой, в фуражке гвардейской, смятой, заношенной, любимой, – с лица скучный, бледный, а глаза ясные, – идет – думу свою думает, заботу. Идет, как по делу, твердо.

Сбился с ноги Преображенский солдат, как в мочале завязли ноги. Заерзался. В струну натянулось все, огнем обожгло, морозом... За решетку бы сигануть... назад?..

...А ну, как спросит: почему никакого народу нет?..

...А ну, как крикнет: без дела чего шатаешься?! Строгим арестом на 5 суток!

Да самое страшное и вспомнил:

– А ну, как спросит...?!..

И только подумал – слышит знакомый голос, отчетливый, смотровой, властный, – *хозяйский* голос:

– Здорово, Преображенец!

Дрогнуло все в солдате Преображенском, дрогнуло снизу вверх. Силой неодолимой толкнуло на два шага вперед, вывернуло к дворцу, ногою об ногу звякнуло; вытянуло в струну все тело, голову завернуло в небо, закаменило лицо морозом и выкинуло из горла радостное до боли-счастья:

– Здравия, желаю Вашему, Императорскому, Величеству! Стрельнуло по всему телу – от пяток до затылка. Потемнело в глазах, и задохнулся Преображенский солдат – от счастья...

Очнулся солдат на койке, открыл глаза, – и гогот, и визг, и дым. Смотрит – не понимает. Суются к нему рожи, усы, вихры... Орут плотки:

– Черт... сдурел?!.. Опять *величества* запросил, черт пьяный!

А Преображенский солдат только глазами хлопает – не поймет. Колотится в груди сердце, душит, вот-вот через горло выпрыгнет. Перевел дух, выпучил глаза, лопочет:

– Братцы... к добру ай к худу?..

А те гогочут, под бока кулаками тычут Обошелся преображенец и говорит:

– Сон привиделся... *сам*... поздоровался...

И стало ему грустно, до тошноты. Лежал на койке в потемневшей казарме, по стенам глазами царапался... – дым и гарь...

Пришел срок *дурному* объявляться, – а его нет и нет.

Тут и понял Преображенский солдат, что сон-то, пожалуй, приятный был!

А лампадку Миколу Угоднику так и не справил, – все недосуг было.

Алушта

Октябрь 1919 г

Веселый барин

Жил-был веселый барин – с утра до вечера песни пел. Даже когда в таком месте сидел, куда царь пешком ходит, и то насвистывал. А потому что послал ему Господь здоровье такое, что и самые ученые доктора дивились:

– Вам, – говорят, – и свистать, и петь никак не возбраняется, потому кишка у вас такая, что всё через нее перегонять можете. Свистите – не сумлевайтесь.

Ну, и свистал, понятно.

Как, Господи благослови, поутру проснется, чайку-кофейку попьет с буденбродами всякими, икоркой да семуш-кой накроет, да пирожками заправится, да ветчинки-кок-летки там отмахнет, – и свисти! Сейчас на машину на свою, на автомобиль, – погоду обрявизовать надо, нащот морозу, все ли тортуары целы. Кузнецкий Мост на своем ли месте стоит, нет ли диковинок каких новеньких... не гуляют ли, – на щиколад пригласить. Слезет и погуляет, для аппетита. Идет-посвистывает, в тросточку губами наигрывает. А мамзели, понятно, вокруг его увиваются-шелестят:

– Дозвольте познакомиться... как ваше здоровье... А тот свое:

– Мерси-с-бонжур! Не желаете ли прогуляться – щико-ладом побаловаться...

Зайдут за стекла куда, в приличное заведение, щиколаду да крендельков там, поотдохнуть там... – ан селезенка-то и опять играет. А там в банк – капиталы свои проведать, много ли набежало. Сейчас ему из окошечка насчитают – раз-раз... – «Можете получить тридцать тыщ!» – «Очень вами благодарен, мерсис». – Насует себе полны карманы, глядишь – уж и закусить пора, кишка своего дела требует.

Ну, в ресторан, понятно, под дерева, в куточек. Сидит-посвистывает, а к нему лососинка уж подплывает, под графинчик, рябчики там пылят, огурчики зеленые, икорка зернистая натекает, – ну чего-чего только душа желает!.. Ну, понятно, винца шинпанского стаканет, пишша-то чтобы не застревала, перрабатывалась скорей, в кишке-то! Сигарку в зубы, перегонка эта у его урчит – работает в самый раз, – опять в машину, высвистывай! Ну, куда? В Охотный Ряд,

по делам съездить необходимо. А уж там, сами знаете, и без ружья настреляешь, коли Господь сподобил. Куропаточки-рябчики там – так в машину и налетают, раз-раз, безо всякого прицелу! И стерлядки-то перед им полощутся, и поросятки... Ну, чисто вот как младенчики в корытцах, в ледке, подремывают... и апельсины-лимоны-мандарины – какого хошь товару нашвыряют-нашвыряют... и по бутылочной части, и балычка, и... – полна машина закусок всяких, – хо-ду! Загудит-засвищет – ворота настезь, лакеи, горничные – под ручки да выбирать... А друзья-приятели к обеду уж поджидают, в ладошки плещут, – с благополучным приездом! Ну, конечно, перед перегонкой-то, кровь-то чтобы прополиро-вать, – в ванную, духами прольется, – огурчик прямо. А камергинер уж и докладывает:

– Пожалуйста, сударь-барин, на работу-с... на перегонку-с! Ну, трудился таким манером до седьмого поту. А ни-че-го!.. Потому что кишка ра-ботала!..

Потихоньку да полегоньку, так бы и дожил веселый барин до своего сроку, сколько ему там от Господа Бога было отпущено, да человек-то предполагает, а...

И летит к нему телеграмма от управляющего:

«Такое землетрясение случилось, что вся земля наша скрозь землю провалилась!»

Ахнул веселый барин, а друзья-приятели утешать:

– Да у тебя какие еще – заводы-фабрики есть! На сто лет и тебе и нам достанет. Пой-свисти!

Маленько поскучал барин – и отошел, опять насвистывает.

А ему опять телеграмму:

«Такой пожар занялся – все наши заводы-фабрики в трубу вылетели немедленно!»

Так веселый барин и сел! А ему – друзья-приятели:

– Да ты не сумлевайся, чудак... с пустяков расстраиваться! Да у тебя такие капиталы в банке заложены да брилян-ты, что на все наши пиры-обеды на полсотни лет хватит! Свисти безо всякого сумления!

– Да с чего мне, всамделе!? – говорит барин. – Плевать! На век не хватит, а на полсотни годов вполне. Пей-веселись!

И только это губы в трубочку-то собрал – свистнуть чтобы, – срочную ему телеграмму бьют:

«Такие цари-короли объявились – все капиталы выгребают!»

Тут уж веселый барин и схватился, – на лихача да в банки:

– Немедленно выдавайте капиталы! А уж там цари-короли орудуют.

– Никаких вам капиталов по баланцу не причитается, можете поглядеть!

– Как-так не причитается?! Покажите!..

А ему кулачищем к но-су! А в кулачище-то, сами знаете...

Так и помертвел веселый барин, затрясся.

– Да вы мне хоть бриллианты мои изнесгораемые отпустите, последнее достояние!..

Пря-мо – плачет! А те смеются:

– Хочь изнесгораемые, а сгорели!

– А капиталы-то мои куды ж девались?

– А капиталы, – говорят, – на употребление употребили. Да вы больно-то не разговаривайте, а то как засвищете, что и кишки не сыщете!

Вот тут-то веселый барин и засвиста-ал...

Ну, приходит домой, глядь – а цари-короли и тут начисто подмели. Не то в узлы завязывают, не то спать собираются ложиться. Сел в уголок, пришипился, да так до утра и просидел, – в прихожей, на табуреточке. Схожу-ка, думает, к адвокату!

– Так и так. Произведите по закону. Все мои капиталы употребили...

А тот на него накинулся:

– Досвистался, паршивый черт?! Все из-за тебя, свистуна, землетрясение-то случилось! Жили-питались, под бока пихались, а теперь и мне к царям-королям определяться приходится, на голове ходить! Пошел вон!!

Такого холоду нагнал – ужаснулся барин да к доктору:

– Посмотрите-ка поскорей, нет ли у меня в голове сотрясения... все мне, – говорит, – чтой-то будто представляется... все будто на голове ходят?!

А доктор-то на него:

– Я те так посмотрю... такой-растакой... Из тебя все банки-склянки цари-короли переколотили... из твоего свисту! Сам с голоду подыхаю... Все поганой своей кишкой занимался, всю пищу в

нужное-ненужное место пергонял, – только тебе и делов было... а из-за тебя теперь всему конец! Уйди – мышьяком затравлю-засыплю!

Ну, бе-жать! К кому ни ходил – все лают: попы лают, купцы лают... К слесарю толконулся, который ему аппараты-то перегонные чинил, – а тот:

– Через тебя, окаянного, подышаем! Все теперь аппараты без действия холостуют, все припасы через кишку свою перегнал, – без работы остались!

Да трубой-то его, свинцовкой... Что ты тут будешь делать!

Пошел барин по улицам ходить: дома-то в уголке сидишь невесело. Глядит – чисто как на свете представление! В заведении-то приличном, за стеклами, где щиколадами, бывалыча, угощались, – одни-то разъединные тараканы дохлые на спинках по столикам валяются, а за окошком-то, где сладкие крендельки лежали, – мышинный помет насыпан. Постоял-постоял веселый барин, – вот те и крендельки! Пошел на Кузнецкий мост, а там и моста-то никакого нету, – грязь да лужи, – никакого причалу нет!

«Эх, – думает, – зайду хочь пообедать напоследок!» – ну, мелочишки у него было, – а то все кишки подвело. Подошел к знакомому ресторану, где, бывалыча, рябчиками занимался, – заколочено, чисто гроб! В слезы, прямо! Глядь – поваренок-паршивец из ворот выскочил да кипятком-то помойным под ноги ему – хлясь!

– А не подвертывайся, кричит, – ворона!

Тут уж, понятно, не до обиды. Стал его барин честью просить:

– Нельзя ли, – говорит, – дорогой товарищ, хотя бы соляночки там, простецкой какой... али хошь кокетку горелую какую раздоставь, очень у меня кишка доходит... да водчонки бы рюмочку...

А поваренок-паршивец ему:

– Да ай ты, дурак, заспался?! Да мы сколько уж ден как попривыклись! Ворон шпарим да собачину жарим. А по ночам у нас только цари-короли пируют, остатнее допивают.

Да как заверещит... – признал!

– Да никак ты самый и есть, веселый барин, кишка луженая?!.. Так это из-за тебя ворон-то шпарю да собачину жарю?! Уйди, черт, сейчас кипятком зашпарю!..

Ну, бе-да! Ходил-ходил, – некуда притулиться. Опять на квартиру свою пристал: сиди-посвистывай! Только, понятно, уж не до свисту. А

тут друг-приятель, – в кабинете его квартиру держит:

– Что, рвань коричневая, досвистался?! Давно бы тебе кишку укоротить следовало, сколько добра через ее пропустил! Через тебя и нам теперь пообедать негде. Да уж, черт с тобой, поквитаюсь за угощение, скажу... Уноси ноги лучше, а то цари-короли на мушку взять тебя собираются, все таких безработных ищут!

Барин и прояснел маленько.

– Да ужли, – говорит, – возьмут?! Ежели служба хорошая, я не прочь... А какое жалованье положат?

Да как расчухал... – схватил часы золотые, – были у него часы золотые, за плинтусом хоронились, – да бежать! Одну ночь под мостом перночует, другую в канаве где проваливается, – самая-то собачья жизнь, а все умирать не хочется. Весь променялся-оборвался, одни опорки. А часы всё про запас держит: может, думает, опять какое превращение выйдет, тогда с этими часами опять капиталы наживу. Схожу-ка, – думает, – к мужикам на огороды!

Ну, приходит за город, на огороды... – картошку баба копает. Усы закурил да эдак, петушком, к ней:

– Пустите, сделайте милость... хочь картошечки пожевать...

Ну, та его и пу-стила!

– Я, – гыть, – тебе та-кой картошечки!..

А барин-то уж давно усмирился, с голодухи-то, – уж не гордый.

– Я, – говорит, – не зря, я, – грыть, – помочь желаю... Я честный труд теперь уважаю... заработать хочу на свой паек.

А та его, конечно, признала.

– Что-о... – говорит, – ай уж кишка-то пошабашила? Ну, да что с тебя взять... копай мне картошку, пригоршню дам.

Обрадовался барин, – ну, копать! Опять – никакого инструмента нет...

– Мне бы хоть вилочки какие дали... неспособно так-то...

– Эн, чего выдумал – ви-лочки! Все вилочки цари-короли побрали, хоть рылом рой!

Ну, руками стал. Рыл-рыл – всё себе почти облапал, в кровь. Плюнул-осерчал:

– Это, – говорит, – издевательство над человеком! Да лучше, – говорит, – с голоду подохну, не сдамся!

– Ну, – говорит баба, – и подыхай! Хужей мы тебя, что ль! Сами своими гребками роем!

Лег барин на навоз, на солнышко, и стал своей смерти дожидаться. Лежит и про часы думает: ай загнать? Нет!

– Нет, – говорит, – не отступлюсь. Покуда золотые часы при себе, все на человека похож, на благородного. Достоинство свое соблюду. А помру... – все-таки знак будет, что вот, мол, честною смертью, при часах помер, не отступился, не сволота какая. Ни за что не отступлюсь!

Лежит день, лежит другой – смерти все дожидается, зубы затиснул. А баба свою картошку копает. Лежит барин, сплевывает-тошнит, – вот кишка у него и запела, – слышит:

– бурр... жжжуййй... буррр... жжжуййй...

Да так подвело под душу – никакой мочи нет: белугой заревел барин. А баба копает да копает, про свое разбирает:

– Вишь, буржуй запорный какой!дохнет, а форсу все не сдает, не отступается. Ладно, меня не прожалобишь, хочь подохни. Другие вон покоряются... хочь сгадают чего людям, коли работать не умеют, а энтот боров... – только бока греет! Да дохни! А еще образованный...

А барин выставил голову и спрашивает;

– Это вы чего говорите – сгадают?

– Чего-чего... махонький, что ли... не понимает! Да про судьбу! Долго ли цари-то-короли будут? Может, чего сгада-ешь... картошки дам!

Вот барин и принялся сгадывать. Гадал-гадал – сгадать ничего не может.

– Не могу, – говорит, – без пишши, затошшал... а то бы я!..

– Ну, и выходишь ты – кишка луженая! – баба та ему. – На бабе думаешь проехаться... Ну, на чего ты сгоден? бабе и той помочь не можешь. Ужотко сама пойду, которые умные люди сказывали... боле, будто, ста верст отседа колдун-чиродей в башне сидит, судьбу разгадывает. Только досту-питься до него трудно, слово к нему знать надо, фамилию... Мартыном звать-то, а вот про фамилию не сказывают, дознать не могут. Мне наемдни дьячок брехал. Может, ты чего знаешь?..

Потер себе барин лоб, тер-тер...

– Да, – говорит, – я знаю. Мартын... Мартын... Мартын?!

– Ну, Мартын! Ничего ты не знаешь...

– Знаю! Мартын... Мартын... Знаю! Мартын-Задека!! Да ужли ж, – говорит, – он жив?! Сам пойду к нему, поспрошаю!

– Стало быть, жив, коли говорят знающие! И сколько к ему народу, будто, ходили, да чтой-то никто вот назад-то не ворочается!.. Может, достигаться никак не могут?.. А он, будто, все как есть знает про судьбу!

– А я достигнусь! – говорит барин, повеселел. – Я теперь такой отчаянный... И всю тебе судьбу сгадаю... Картошечки бы мне только, а то у меня и сил нет.

Ну, накормила его баба картошкой, укрепила... – пошел барин того чиродея достигать. Шел-шел – никто ничего не знает. Сгадывается так, что должен быть чиродей, а может, и укрывается до времени, не желает. Дальше да дальше посылают, а куда – неизвестно. Боле тыщи верст прошел барин, по таким дремам-чащам продирался, что до кожи оборвался, а отступиться никак не хочет: самолюбие уж забрало. Травкой одной питался, затошшал... И приходит вовсе в незнакомое место, никаких людей уж не встречается, – одна сосна. Видит – гора высокая, один камень, а на горе крупная башня стоит, как столб. Ну, забоялся. Уж к ночи было, а огоньку не видать нигде. Ну, конечно, к нему неизвестный старик выходит из дремучих лесов, вроде как пустынный. Барин за его и прицепился: скажите да скажите! А тот, немой, будто. Ну, разжалобил его барин... слезами взял. Вот тот старик и говорит:

– Не тебя, дурака, жалеючи, а православного народа... Но только из этого ничего не выйдет, через тебя не произойдет.

– Я, – говорит барин, – хочь попробую. Вы мне укажите, где мне тут Мартына-Задеку найти... Я не отступлюсь...

– Ну, раз вы так желаете, на свою судьбу идете, можете итить. Самая эта башня, на горке, самый Мартын Задека живет. А не боишься?

– Я теперь страсть отчаянный, – барин ему. – Мне теперь ничего не страшно. Мне подвиг нужен! На навозе помирал – и то не страшно.

– Ну, – говорит, – в таком случае можете! Такая ваша судьба.

Уж до точки человек дошел... что ему?! Выходит барин на ту гору, взлезает на башню... – собаки огромные на его кинулись, рвать!

Завизжал, понятно. А тут самый он, Мартын, стало быть, Задека и заявляется. Чисто вот старик тот! Обернулся, значит.

– Давно тебя, – говорит, – дожидаюсь. Пожалуйте. И не вижу, а вижу!

Какое слово сказал! Ну, прямо, – голова! Вовсе слепой, вроде как чиродей, – в огромном колпаке, в халате, нос крючком, борода до пуза.

Так барин и затрясся. А тот ему свое да свое, пугает:

– И не вижу, а вижу!

Значит, такой у него разговор непонятный, – чиродей, потому!

Глядит барин – огромная труба наставлена, в небо чтобы плядеть, в планиды, – и книга чернокнижная, огромная, с дверь будет. И свечи горят, черныя-расчерныя, огромныя, и черепья человечьи лежат – страсть! Лягушки тоже огромныя по углам лупятся, и энтот, понятно... ну, как полагается, огромный котиче, весь черный, глазища зеленые, – лоп-лоп! – страшный!

– Садитесь, – говорит, – я, – говорит, – вам сейчас пропишу рицеп! Давно тебя поджидаю.

– Я, стало быть, к вам по важному делу... нащот судьбы...

А тот на него как кинется!

– Часы... тудыт-растудыт!

Барин ему – пожалуйста! Покорился.

– Ну, – говорит, – счастлив ты, что часы при тебе остались. А то бы, – говорит, – только тебе и места – собакам тебя стравить! Себя еще поддержать можешь, могу еще с тобой разговор иметь. Может, что из тебя и будет.

Взял от него часы – и на стенку. Глядит барин – полна у него стена часов, – и золотые, и серебряные... Ну, золотых больше, – чисто вот звезд на небе, навешано. И спрашивает:

– Это для чего же часов-то у вас сколько?

– А сколько дураков – столько и часов. Вот теперь одним больше стало. А не желаете с часиками расстаться – можете уходить, мне ваши часы без надобности. Но только, – говорит, – смотрите!

Ну, податься некуда, – сдался.

– Скажите, какое моей судьбы решенье!

– А вот погодите, сейчас узнаете. Труба докажет.

И опять за свое:

– И не вижу, а вижу!

В трубу, на небо, и уставился. А кот в ногах крутится, мурлычет, хвостом цепляет, сгорбатился, – фырк да цырк! Барина жуть взяла. Сидит-дрожит.

– Ага! – кричит чиродей, – теперь мне доподлинно все известно! Так это ты сам и ешь, кишка луженая?! веселый барин?!!

Ну, признался: податься некуда.

– Искал своего-дождался. Поддержись!

Да кэ-ек его трубой по башке царапнет – готов!

Сейчас брюхо ему вспорол, все кишки-черева выпустил – прямо, ахнул: триста аршин кишки! Отмотал-отсчитал аршинчиком – чик! Ну, оставил, сколько по правде-закону полагается, зашил, дунул-плюнул...

– Вставайте!

Поднялся барин, глядит – пузо-то как мешок пустой, обвисло.

– Что-то мне, – говорит, – как хорошо-легко стало?! даже удивительно, будто и не я самый.

А Мартын-Задека ему и давай:

– От твоей-то кишки луженой все трясение и вышло! Столько ты без пути всякого припасу в одно место нужное-ненужное перегнал, что земновесие изменилось, чужая планида и причалила. А на той планиде самые цари-короли и проживали! И так ты свистал отчаянно, что цари-короли услышали да-рраз! – и здесь. А глазища у них жадные да завидующие, в каждом по тысяче плаз! Вас, таких дураков, и всего-то на всей земле тыща-другая наберется, а им миллионы виделись! И капиталов-то у вас, дармоедов, супротив всего народа совсем пустяк, а им миллиарды представлялись! Вот они и скакнули, да только прошиблись здорово, скоро и им-то самим несладко будет, опять на свою планиду перестегнут, – мне все в трубу видать явственно, опять планида подходит близко...

– Ну, а по времю-то как выходит?.. – барин чиродея пытается.

– А вот погоди, увидишь. А часы потому отбираю, что они вам, дуракам, без надобности: придет время – кому поумней назначу. А вам – что часы, что нет, – свистали безо времени. Видал?

Да фигу к носу!

– Не имеете права! Отдайте мои часы... я, может, еще, – говорит, – расторгуюсь...

– Да ты еще разговариваешь?! – как крикнет. Топнул-хлопнул, – сейчас его слуги-арапы да собаки... барина под уздцы да в каземат, – подвал огромный, черный!

– Время ему понадобилось теперь! – кричит. – На десяток его годов! И мышами его кормить! Может, еще и поумнеет.

Поволокли его в подвал, а барин про себя думает, – ну, ежели десять годов, – перетерплю. Хоть и мышами, а все лучше, чем ничего. А то все кишки скрутило.

А чиродей сейчас его под печать – и замкнул веселого барина на замок, до срока.

Сидит покуда.

*Алушта,
октябрь 1919 г.*

Всемога

Служил матрос верой и правдой – отечество защищал, порцию водки получал исправно, все моря-окияны изъездил, свет повидал, – да вдруг заскучал и заскучал.

А звали его – Всемога.

Бывало, крикнет начальство:

– Эй, Всемога! Пластырь под корабль подводи! А Всемога уж из-под воды кричит:

– Есть, ваше благородие!

И уж стал срок ему подходить – службу свою кончать и в швицары, в банк куда определиться, – очень фигурой вышел! – а он возьми да и заскучай. Стал раздумывать, то да се...

– Все-то я знаю, все-то я умею... И витерпасы знаю, и винилировку знаю... вострономию – и ту умею! А всей мне цены – в швицары! Сволоте всякой зеркальные двери отворять да пятаки огребать? Ну, на это дело пушай поглупей меня найдутся!

Скучал-скучал, душу свою расстраивал, и до того распалился, что хочь забастовку делай. А уж как человек расстроился, – тут-то бесу самая слабость и есть.

Вот раз, ночным делом, стоит Всемога на вахте и про свое все раздумывает:

– Все-то я знаю, все-то я умею... И витерпасы знаю, и в арихметику умею... а за все про все выходит мне один питя-алтынный! Вот тебе и пра-вда!

А ему под ухо, будто с ветру:

– А по витерапасу-то тебе за каждое слово рупь полагается!

Поглядел Всемога – нет никого! Черным-то черно: ночь да море. Опять про свое стал думать:

– А что... и верно! никак не меньше... Ну, гляди на дело: и за командира могу, и за адмирала могу... за всякого могу! ей-Богу!..

А ему опять – в ухо:

– А ты, Всемога, меня поминай, а не Бога!

Глядит Всемога – кой черт?! Пригляделся – и видит: сидит на цепях – на якорях черный, а ни то серый, – не разберешь. Ну, жизнь.

Ночь, понятно. И спрашивает, с опаской:

– Что за черт?!..

А серый и отозвался:

– Самый и есть он, бес! Вознесу тебя, Всемога, до небес!

Желаешь?

Сплюнул Всемога и забодрился, – матрос, понятно: всякие видал страхи.

– Ах ты, – говорит, – матери твоей... бес?! А ты как на наш корабль влез? Тут тебе по штату не полагается!..

По службе, значит, сказать обязан, по уставу: потому – вахта, не полагается.

А тот на свое все ткет:

– Мне, – говорит, – по моему праву навсягда быть полагается.

– Это по какому-такому пра-ву? – Всемога-то ему. – Я все права-законы понимаю, до самой точки! и в арихметику понимаю, и витерапасы умею...

– Потому ты – Все-мо-га! – бес-то ему натачивает. – Весь свет можешь перетрясти – ба-аль-шие капиталы приобрести! А тебя в банк, в швицары! Да в швицары-то кажный швицарец может!

Обрадовался Всемога – повеселел. И спрашивает:

– Ужли могу и такое – весь свет перетрясти, все ихние капиталы приобрести?! За-нятно бы... Ну, а в дело-то как произвести?

Тут у них и пошла беседа. Учал его бес тачать:

– Да плевое вовсе дело! Только и всего, что плечами наподдавай, мозгами пошевеливай!

– Есть! – говорит Всемога. – Струмент имеется!

А плечи у него бы-ли... – никакие ворота не устоят!

– Какие твои планты – доказывай!

– Планты будут. А за науку – уж как полагается... – бес-то ему лукавит. – Первым делом... – *его* сымай, на шее чего мотается!

Свое, значит, дело понимает.

– Есть! – говорит Всемога, и – рраз!

Сорвал с себя крест да – в воду! И стал, прямо, отчаянный.

– Чего, – кричит, – зря трепаться! Сказывай про свои планты, в самую точку гни!

А бес, понятно, в уши ему свое заливает:

– Есть у тебя, Всемога, товарищ... зря валяется, промеж требухи болтается. Тебе без надобности, а мне, гляди, хочь на подметки сгодится. Душу под меня подпиши!

Ку-да загнул!

А Всемога уж до самой отчаянности дошел, планты-то узнать охота.

– Есть! – кричит. – На кой она мне, душа-то? Попам на счастье? Без ее куды легче! Не желаю никакому черту служить, желаю в полное свое удовольствие пожить.

А бесу того и нужно.

– А теперь только меня слушай! – и давай ему в уши планты нашептывать. – Стало быть, варим кашу!

А Всемога распалился... – не пердохнет. Одно и одно, – ругается:

– Ах, дьявола... вашу!..

Пошептал-покрутил бес и – в воду, скинулся. И почал тут Всемога действовать.

Начальство прекратил, корабль утопил, а сам на берег отчалил и давай плечами наподдавать, мозгами пошевеливать. Шевелил да наподдавал, – и стало у него богатство несметное. Так и сверкает! На руках кольца, на руках-ногах браслеты, по три пары часов носит, золотые-серебряные, полны карманы серебра-золота, хочь в собак швыряй. От девок – от баб отбоя нету, всякое удовольствие. Ходит-зыкает, чуть что – в морду левонвером тыкает-орет:

– Я таперь все-о могу!.. И в генералы могу, и в адмиралы могу, и во министры могу, и в анжинеры могу... задох-тура могу... в инспекторы могу!.. Проси у меня, чего кто желает!..

Ходит-хороводит – жуть Города красными флагами его встречают, по деревням собаки от него шарахаются, – а то пристрелит! Уж на что железные поезда, а и те из уважения останавливаются. Фабрики-заводы и дымить опасаются – не дыхнут, потому – кто ее знает? И таким манером таких чудес натворил, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Все-мо-га!

Вот и заходит раз, у моря на берегу, в одну харчевню. А в той харчевне женщина одна бедная соленой водицей торговала, а на заедочку корочку подавала. Заходит, стало быть, Всемога в эту самую харчевню и зычит:

– Эй, ты, голова курячья... тррави! Становь-подавай мне счас жареного гуся с кашей! сей-минут! Чтоб стал передо мной, как лист перед травой!

Ну, женщина напужалась, понятно, и говорит ему вежливо:

– И вовсе мы люди бедные, еле живы... Ну, какие у меня гуси?!

А тот знать ничего не желает – куражится:

– Дисци-плину мою не считаешь?.., такая-растакая!.. Счас гуся подавай, а ни то – на мушку! У мене разговор короткий! Ай не знаешь, чего выдаешь?! Да я ж Все-мо-га! По всем морям-окиянам плавал, весь свет преизошел! Самого что ни есть жирного подавай, со всеми потрохами!

И ни слова не говоря, из кармана на стол – бутылку. Сталоть, на якорь стал. Что ты тут будешь делать!

– Желая, – говорит, – у тебе в хибаре выпить-закусить, внимание тебе доказать! Очень, – говорит, – я бедных почитаю-уважаю!

Расстроил, понятно, женщину. С голоду, прямо, подыхают. Ну, и взяло ее за сердце от такого разговору:

– Были и у нас гуси, как ты по морям плавал... – женщина-то ему, – а как на сухопутье определился, все гуси за море улетели. Остались... слезы одне соленые... Как мужа моего по твоему указу убили, – уважения тебе не сделал... – последнюю рубаху его продали. Мне, – говорит, – теперь с детьми один конец: головой да в воду!..

А Всемога уж из бутылки дернул, – закуски обязательно требуется. Как хватит по столу кулаком!

– Ах ты, баба глупая-нитилигентная! – кричит-разоряется. – Как ты так можешь, со мной бунтуешь, дисциплины не признаешь?! Ай не знаешь, чего я с тобой могу иседелать?

– А чего ты со мной иседелаешь хуже смерти? – женщина-то ему, уж не боится.

А тот – никаких резонов!

– Я все могу! Вот тебе последний мой срок-урок: через пять чтобы минут, а гусь чтоб сюда... на рейд ко мне выплыл кашей! И каши чтобы на нем – горой! А не то я та-а-кое иседелаю!..

– Ай ты сбесился?! – женщина та ему. – Человечьего разговору уж не понимаешь? Да ежели его нету, гуся-то?!

– Как-так, нету?! Хлопну-топну – тышши у меня гусей будут! Да я ж Все-мо-га!

– А ежели ты Всемога, – женщина-то ему, – ты бы нам хоть по кусочку хлебушка мяконькова определил, с девчонкой! Который уж день корочки не видим, сольцу едим...

– Эн чего захотела – хле-ба! Будя с тебя и со-ли! – значит, куражится.

Ну, тут женщина, понятно, и расстроилась:

– Сталоть, на хлебушка-то у тебя и власти нет!

Как Всемога кулаком по столу ахнет – так все чашки-миски по полкам и заплясали.

– У мене... вла-сти нету?!

А та уж и себя не помнит, свое да свое:

– Вот и выходит, что нету!

А тут девчоночка ейная, крохочная, младенчик, и елозит по полу, рубашонка на задочек задрана... Подобралась тем делом до него, до Всемоги-то, да за ногу его, за сапог-то ясный, и уцопила. Лопочет свое: ца-ца... – стало быть, хлебца просит, пузырьки по губам пускает, слюньки...

– У мене вла-сти нет?! – Всемога-то, глазищи, прямо, кровью зашлись.

Да как ухватит девчоночку ту за ножки да головенкой-то об косяк, – так молочком и брызнуло!

– Вот тебе моя власть!!.

Вытянул из бутылки до дну и пошел на волю. Идет и орет:

– Я все могу!.. И витерпасы могу, и в генералы могу, и в министры могу... Кто чего супротив меня может?! Я – кричит – Всемога, недалече мне до Бога!

Вот до чего дошел! А мальчишки за ним, понятно, – кричат-балуют:

– Всемога-Всемога, дай копеечку! Всемога-Всемога, недалече тебе до Бога?..

– Я все-о могу!.. И по морю могу, и по небу могу!..

А дождь большой был, кончился, – и над морем, по небу-то громадная радуга перекинулась. Прямо – дуга-ворота. А тут один мальчишка вострый – умней его во всем городе не было, прачкин сын, – подкатился Всемоге под ноги и кричит:

– Всемога-Всемога, колечко дай!

А Всемога ему кулачище выставил и дает:

– На-кась, вы-куси!..

А мальчишка не понимает:

– Такое-то колечко и у меня недалечко! А ты мне эвона какое колечко дай!

Да на радугу-то и покажи!

Глянул Всемога на радугу – уперся. Смотрел-смотрел, как баран на воду, да как пустит все... таким, нехорошим словом!..

И пошел. Идет да свое орет:

– Я все-о могу-у!.. И гусей могу, и лебедей могу, и кашу могу... Я Всемога... всего у меня много... плевать мне на... черта и на Бога!..

А уж и ночь, темно. А он идет и орет, – вот что сказал-то, про Бога... И вдруг ему, будто ветром:

– Стой! к разделке теперь, Всемога! – да так, будто по голове колом!

Уперся Всемога – нет ему дальше ходу. А черно-та!.. И слышит – под ногами, будто, скрипит кто-то, шипит-скрипит:

– Сроки дошли, Всемога. Поиграли – будя. Давай *мое*, чего уговорено, на подметки!

Вгляделся Всемога – самый он, бес! Стоит перед ним столбом, красные губы облизывает, огневые, зубами щелкает. Черный, не то серый, – не разберешь. Тут Всемоге – будто в душу ударило: большое что-то да таково страшное показалось, – ахнул! Размахнулся что было силы, да как на *того* гукнет, да головой... да с яру-то в прорву самую, в чернотищу-то, да об камни...

Поутру нашли – видят: сапоги с подковками из воды торчат, а самая голова – в море пьет.

Напился, понятно, вдосталь.

Октябрь 1919 г.

Алушта

Иностранное тело

Жила в городе Городище вдова-мещанка, – на торг калачи пекла.

Капиталов от калачей не наживешь, понятно; вот и Матрена Ивановна: жила не то чтобы небогато, а особой нужды не знала. И домишко, и добришко было, как человеку полагается. С Ванюшкой после покойника осталась – не прожила, а кое-чего еще и прикопила. Да и парнишка – в ее пошел, смекалистый: то муки на калачи дешевле соседей купит, то баранок каких – сахарных там, – навертит... – дело-то и идет.

Пошла Матрена Ивановна распространяться. И лошадку прикупила – калачи на базар возить, и то и се... Стали уж соседи поглядывать, затылки почесывать:

– Во взялась! Эдак она и нас накроет. Как, бывало, пу-жал покойник... какую выпужал!..

А Ванюшка хоть по делу и дошлый был, а в послушании у матери находился: всей ему и дороги было, что в торг да в церкву. Отец Семен, бывало, удивляется:

– Смотрю, Матрена Ивановна, на сынка вашего... – овца и овца! Табачком бы только не забаловался или... не дай Бог, задумываться начнет... – уж больно тих!..

– Тьфу-тьфу... Уж так-то смирен-смирен... – те-ленок! Ай гармошку ему купить? тих-то больно?..

– Ну что ж... купите, Матрена Ивановна, гармошку. Музыка... Она от мыслей отводить будет.

Словом, жили – Господа-Бога благодарили.

Вот раз повез Ванюшка калачи-баранки на торг, а сосед ихний, Карла Иваныч, – в Городище маковыми кренделями торговал, – к воротам вышел и говорит:

– Базар да рынок! А ты чего ж это, Ванюшка, компанию-то расстраиваешь, маковы кренделя вертеть пустился?..

– А что ж, – говорит Ванюша, – мух ловить? Эка невидаль – кренделя! Я, годи, ужотка и аглицкого печенья напеку, все Городище пряниками засыплю.

Ну, деляга! А как ему с торгу ворочаться – Карла Иваныч опять у ворот стоит.

– Отторговались! – кричит. – Пивка бы, что ли, когда завернул распить, в шашки поиграть... Больно парень ты антиресный. Одному-то, чать, скушно?..

– Скушно не скушно, а что ж... мо-жно. В праздник ужо приду.

Порадовалась Матрена Ивановна – уважение-то какое ее Ванюшке! Карла-то Иванович очень солидный был, при капиталах.

– Сходи, Ванюшка. Может, и какое развитие получишь. Носом-то уж не шмыгай, нехорошо...

Ладно. Вот, в праздник, после обедни, чайку попил, пирожка поел – и в гости. Сапоги новые надел, со скрипом.

Угостил Карла Иванович Ванюшку пивком-кофейком, в шашки поиграли, – и говорит:

– Уж и голова ты, парень, – не наляжусь! С зари до зари ломишь. Много, чать, жалованья получаешь?..

– Ничего не получаю. Кладет мать в сундук – в укладку, помрет – все мне пойдет.

– Так-то оно так... – Карла-то Иваныч ему, – да всякое бывает. Женский пол... Может, куда и на сторону кидает... В книжках-то какие романы про баб бывают!..

А пивка своим чередом подливает.

– Такого не должно быть... – говорит Ванюшка. – Она греха не любит.

– Грех-то в орех, а... может, она в кого и пхает?..

– Да в кого ей пхать-то?..

– Был слушок... Допрежде, будто, с Подгородищевым барином у ней было... А тебе и лаковы сапоги не купит! Другие вон на вильсипедах катаются, а который трудящий... Вот ты ее вильсипедом и пощупай, – скажется!

И растревожил. Пришел Ванюшка домой – не смотрит. Матрена Ивановна его пытается, как погулял, а он завалился на койку – ни слова.

– Да ай тебя там обидели? ты скажи...

– И скажу! – говорит Ванюшка. – С зари до зари ломаю, а мне и лаковых сапог нет?! В кого тебе деньги садить окромя меня?..

Так Матрена Ивановна и обомлела.

– Ай ты сдурел! – кричит. – Для тебя, глупого, и коплю. Помру – все оставлю.

– Зна-ем мы эти песни! Желаю лаковы сапоги – и все! И на вильсипеде гулять мне чтобы...

Ахнула, как про вильсипед услышала:

– Голову-то сломить?!.. Да ни в жись! Сапоги я тебе куплю, ладно, а на вилисипеды у меня денег нету!..

– Не-ту?! Ладно.

Пришло время тесто месить, баранки вертеть, а Ванюшка лежит – в потолок уперся.

– Чего ж ты это бока-то належиваешь? – Матрена Ивановна-то ему... – Время тесто мять, калачи-баранки вертеть...

А Ванюшка – не желаю, можете вертеть сами! Она – и так, и сяк, – нет! Сама принялась вертеть-мять, хоть и трудно: женщина-то уж немолодая. Пошла к батюшке посоветоваться, что делать?

– И-и-ни-ни... и не покупайте! – батюшка-то ей. – Чего надумал, вилисипед! И себе голову ссодит, да еще и кого подшибет, – с судами не развяжешься. Лучше уж гармонью ему купите. Музыка... она сердце умягчает. А вилисипед... ни под каким видом!..

Воротилась Матрена Ивановна с торгу и плачется:

– И из головы выкинь... Гармонью тебе куплю, и лаковы сапоги можно, а этот... и не думай!.. Нонче и выручки-то всего ничего. Тесно-то как с горохом, покупатели обижаются.

– Ну, ладно. Хочь гармонью...

Опять за работу встал. А Карла Иваныч, понятно, свое ведет. Встрелся и говорит:

– А вильсипеда-то не купила! Ну, я тебе удовольствие окажу. Приходи, по саду на вильсипеде покатаешься, Мар-кушка-племянник ко мне приехал, – ума палата!

И зачал Ванюшка к ему ходить – пивком баловаться, с племянником разговаривать, на вильсипеде кататься. А домой пришел – волк волком. На мать зыкает – то не так, другое не так, положь ему жалованье настоящее да вильсипед чтобы беспрременно...

Билась-билась Матрена Ивановна – бунтует. И торговлишка падает, и в дому непорядок, – голову потеряла. Пошла к отцу Семену.

– Ни под каким видом не уступайте! И от дела отобьется-завертится, и... Вон у господ Еремушкиных... купили так то

вилсипед, а сынок-то все науки забросил, на вильсипиде крутится... а потом и за водочку принялся, и... – на ухо пошептал, – с горничной спутался, та-кой скандал!.. Купите уж лучше ему... часы серебряные. Время... оно к порядку приучает. Или книгу какую, душеполезную... хоть про Робинзона... Все дух-то ему поддержит. Завлекательная история, про пупугая...

Вот Матрена Ивановна и говорит Ванюшке:

– Куплю я тебе, глупому, часы серебряные., хочешь? И этого еще... вот на записочке батюшка написал, Карбинзона. Антиресно очень, про пупугая... и я бы послушала...

Поломался-поломался – три дни на базар не выезжал, теста не вертел.

– Ладно, – говорит, – покупай часы. И про этого, про пупугая... хочу дознать, чего там антиресного. Все-то вы, – говорит, – на свое вертите, вот погляжу...

Ну, ему Матрена Ивановна и часы серебряные, и про Робинзона, про пупугая, купила. Часы навесил, в зеркальце пригляделся – ладно. Стал про пупугая читать...

– Все это, – говорит, – пустяки, плаза мне отводите, чтобы на вас работал. Я, – говорит, – энти штуки знаю! Я, – говорит, – вам не Робинзон! Вы мне, – говорит, – мозги-то не мутите!

Во, стал как достигать! Однако обошелся. Папироску в зубы.

– Заваривай, – говорит, – тесто! Черт с тобой. Матрена Ивановна и глазам не верит – за табак принялся! А тот – ногу за ногу – поплевывает-дымит.

– Да ты Бога-то у меня закурил! – кричит ему.

– Какого-такого еще Бо-га! – Ванюшка-то. – Сказки-то энти знаем! Нет никакого Бога, а... все через обезьяну!

Ну, тут уж Матрена Ивановна заробела. Оробела-пополовела, да как схватит скалку да Ванюшку по голове:

– Уймись, дурак! Бог убьет!.. А тот только ухмыляется:

– А ну-ка, – говорит, – погляну! Пущай попробует, себя докажет!..

Во, какой сукин сын, – обнаглел и обнаглел!

– Мы, – кричит, – теперь уче-ные!.. Все природы-законы знаем! А вот извольте доказать, сколько у тебе моего поту-крови в укладке схоронено? Кому чего на сторону идет?..

– Да ты сбесился, а?! – мать-то ему, – женщина, понятно, леригиозная... и о-бида! – Да как ты смеешь меня позорить?!

А ему все смешки.

– Все дознаем, какие у кого полубовники были, да как из законного сына для господских щенят соки выжимать! Думала – Рибинзонами мне замажешь?!..

Стала Матрена Ивановна Ванюшку крестить.

– Свят... свят... свят... сбесился... батюшки, очумел-сбесился! Отыди, сила нечистая...

Да святой водицей его, а он у ней чашку – р-раз!.. Что тут делать?! К отцу Семену. Подумал-поскорбел...

– Не иначе как *он* вселился! Молитесь... Против сего одно средство – молитва!

А Ванюшка тем делом к своему советчику:

– По-пал в точку с запятой! Напу-жалась!.. Вильсипеда теперь добьюсь!..

А Маркушка-племянник ему про свое доказывает – ума палата! Поговорили-попили – на вильсипед. Пошел Ванюшка по саду крутиться. Крутился-крутился – да ке-эк об дерево... да головой-то на сук! Всю машину поломал, башку рассадил... Ну, однако, поднялся, потер башку...

– Теперь, – говорит, – мне все стало явственно, как на ладошке. Так вот как она, такая-растакая, надо мной измывалась. Мне, – говорит, – про пупугая да сапоги там лаковые, а сама вон что-о!..

А Карла-то Иваныч примочки ему пивной, стало быть – еще жару:

– За вильсипед мне потом отдашь, сто рублей, как капиталы отберешь... а дознал я про ее досконально... прижила она от барина парочку – Мишу да Гришу, в господском пансионе обучаются... И по вильсипеду им купила, и дом будто отписала... А ты для нее кто выходишь? От мужика-мещанина! И каждый месяц по сту целковых им посылает, для ученья, – на почте сказывали. Понятно, тебе не скажут.

А Маркушка про свое гвоздит:

– Я тебе про высшую правду объясню! И дяденька мой прохвост тоже, зна-ю! А я из ума толкую: все трудящие пусть поймут, чтобы

совместно! такой закон, природный! У дяденьки вон капиталы, а у меня штаны-брюки дырявые? Это позор для всего человечества!

А Карла Иваныч про свое натачивает:

– Тебя, простоту, жалеючи говорю! Ты ей какие капиталы баранками добываешь, а она думает – часиками откупилась? Нет, ты все свои капиталы требуй!

А у Ванюшке-то в голове уж дым, как на сук-то нарезался! Пришел домой, а Матрена Ивановна под образами поклоны бьет, за него, дурака, слезами обливается. Как на нее зыкнет:

– Подавай мои капиталы!..

Та его крестом-молитвой, а он пуще:

– Приблудкам своим господским вильсипеды на мои капиталы... мо-жешь?!..

Да ке-эк по голове ее звезданет кулачищем, – так замертво и повалилась. За укладки сейчас принялся, все-то распотрошил, повыкинул. Все клубки размотал, ниток напустил – все вокруг чисто в паутине заплел-запутал, сети такие навертел – и сам запутался, не выдерется. Нашел три целковых, а капиталов нету! Полы разворотил, квашню вывернул, тесто со зла повыкидал – вот тебе калачи! Всю посуду перебил-переколотил – нет тебе капиталов! Шумит-ломает, капиталов все добывается. За Божье Благословение принялся. Все иконы посорвал, из кивотов вытряхнул, – и там нету! За мать, – не на себе ли держит?.. Всюю ободрал, прямо вот... серебряный крест сорвал... Сказывай!.. А она, понятно, уж и не чует. Ну, сейчас водой ее из ведра...

– Вставай, не притворяйся! капиталы мои доказывай!..

Открыла глаза Матрена Ивановна да как увидела содом-то гомор – закаменела. Опять, – комод расколотил, печи ломать принялся – не в трубе ли? Стало быть, зачумел. Очкнулась тут Матрена Ивановна да в чем была, простоволосая, – в участок. А в участке-то комиссар-пристав в спин-жаке – в шляпе сидит, печатками стучит.

– Не имею, – говорит, – права. У нас теперь прикосновение личности! А пустяками не беспокойте, у нас дела спе-циальные!

Та ему в ноги:

– Да ваше превосходительство!.., да он эдак и дом спалит... кто же его теперь унять может?! В него, – кричит, – бес вселился!

А печатник сме-ется!

– Что еще за бес? Это, – говорит, – в нем наличности появление!
И некогда мне с вашим делом, надо умыть руки!

Во, какой!

Уставилась на него, понятно, Матрена Ивановна да задом от него, задом... Бежит проулком, глядь – Мартын Данилыч идет, старший городской, уж расчелся. Ну, уцепилась за него Матрена Ивановна:

– Голубчик, ослобони!.. Ванюшка-то мой... сбесился! Полиция не вникает, – к кому ж теперь? Уйми ты его, хочь ты!..

– Никак нет, Матрена Ивановна... – Мартын-то Данилыч ей. – Не могу-с. И рад бы, да не могу-с. По случаю, сами знаете... штиль-то новый... Раньше-то бы с нашим удовольствием, в две минуты, а ноньче, сами знаете...

А сам оглядывается.

– Голубчик, поблагодарю... Калачика, бывало...

– Много довольны, Матрена Ивановна. И все калачики кушали, да вот, штиль-то новый... Оно бы, конечно, можно бы...

А сам все оглядывается, с опаской...

– И самим-то им тошно, вот что про штиль-то шумели, а самолюбие. Каждому желается печатками-то стучать... тоже ведь и жалованье полагается...

Однако пошел. Подходят, а у двора соседи:

– Ванюшка-то ваш, – кричат, – каких калачей-баранок навертел! Всех свиней порезал, с ножом – с огнем по двору мечется! все капиталов ищет... Нас еще, упаси Бог, спалит!..

А как признали Мартын Данилыча-то, все в голос:

– Голубчик! да утихомирь ты его... с ножом, ведь!..

Тут Мартын Данилыч и приступил. Усы поправил, в кулак поплевал, плечи эдак поразмял, – ну, си-ла, прямо!

– Которые... осади, не лезь!..

Пошел на Ванюшку ходом. Тот от его в куток, к свиньям, а тот свое дело понимает, достигает. Привышный... слышно, настиг, навалился, хрипит в теми-то:

– Вре-ошь... у мене... не вы... не вы-дерешься... не-эт... эй, которые там... давай... веревку!..

А уж тут все – пожалуйста! Ну, связали. Получил полтинник, козырнул – пошел. А ему вдогон:

– А ты, голубчик, нет-нет да и наведайся! кто ее знает...

– Да уж будьте спокойны... навсягды рады для беспорядку!

Присягу, понятно, принимал... правильный.

Вот Матрена Ивановна сидит в доме, во всем этом безобразии, над Ванюшкой убивается. А тот зубами скрипит, лает – признавать себя не признает. Проплакала до утра – к отцу Семену. Куда же ей больше? А тот ей:

– Господнее попущение, Матрена Ивановна... претерпите. И молились мы, и пропились... Посоветуйтесь с врачом, – а не уврачует, будем просить Врача Небесного – пусть уж к себе приберет, чем ему без ума колобродить. Серьезного, стало быть, сорту он-то! Доктора Серикова пригласите, в голову ему пусть постукает. Он по сумасшедшему делу знающий.

Пригласила Матрена Ивановна Серикова. Сразу в голову постучал, вроде как к себе в квартиру, и говорит, ну, чисто ему известно:

– Пустяк, ничего серьезного. Понятно, холера мозговая! А может, чего и в голову попало, мозги перевернуло... Можно капли успокоительные, а то лучше – от мыслей отговаривать. А там посмотрим.

Так словами и запорошил. Ну, лечил-лечил, сколько денег перебрал, – нету лучше! Хуже даже с Ванюшкой стало. Уж и говорить по-человечьи не стал, а все рычит. Под себя даже, простите сказать, непорядок делает. Ну, Матрена Ивановна слезами вся изошлась: хочь и дурак, а свое дате, жалко.

А уж доктор-то, Сериков-то, уж и сам видит, что кишка у него тонка для такого дела... да еще Ванюшка прямо в рыло ему плюется – лечить не дается... – конечно, ему неприятно, да и страшно, вот и говорит:

– Видите, Матрена Ивановна... я, конечно, могу его вылечить, но... надо подождать. И потом я должен уехать по важным обязанностям... требуют меня за границу, к министрам финансов. Обратитесь пока к другому специалисту, но только он дорого обойдется...

Наговорил-наговорил, запутал – и до свидания! К кому идти? Ну, пошла Матрена Ивановна к отцу Семену, понятно.

– Хочу и хочу. Хочь все промчу, а Ванюшку спасти желаю!

Сверился отец Семен по календарю и присоветовал:

– Есть такие приметы, что ежели болезнь это, так не иначе, как немецкая. Очень англичане по этим делам дошлые... попробуйте! Даже королей вылечивали!

Пришлось Матрене Ивановне англичанина выписывать. Приехал с чемоданчиком, зубастый да строгой, все расспросил-дознал, в бинокли голову поглядел, – говорит:

– Есть!

Так Матрена Ивановна и села!

– Ужли есть?! И батюшка-то про *его* все!.. Выгоните хоть вы-то его... ваше превосходительство! ничего не пожалею!..

– Есть! – говорит. – Мозги спутались. И-но-родное тело!

– И... народное?!?.. Ну, смо-три-те... Сон-то какой намедни видела... – *он* возле Ванюшечки-то стоит... самый *он*, че-орный да страшный!..

А англичанин строго на нее:

– Какого там черта – сон! Самая-то явь гнусная! Череп с него собью и все промою...

– Че-реп?!.. – как ахнет Матрена Ивановна, – помрет?!

Страшно, понятно, стало: че-реп!

– Коли не помрет – выздоровеет. Сделаю ему наружное-внутреннее.

Ну, стро-гой, – не забалуешь!

Сейчас серебряным молоточком – тут-тук – по головушке... – да чтой-то вдруг и настучал: об одно место стал, в темечко.

– Есть! – говорит. Нашел, стало быть, имеется.

Сейчас пузырьчек к носу, – лежит Ванюшка, не дышит. Снял англичанин черепушку – и опять в бинокли наставился. Глядел-глядел, нацелился... да как дернет!.., да вот эдакую вот занозищу и выхватил! боле пальца! И показывает:

– Можете сами видеть – ино-родное тело! Как его угораздило такую штуку заполучить... не пойму! никогда за всю практику... как он у вас не сдох – не понимаю! Но теперь можете быть спокойны. Если от такого полена не околел – выправится.

Промыл все, как по ихней науке требуется, черепушку в пазы наставил – молоточком пристукнул, – живет! Ванюшку за нос потормошил:

– Вставай, чудо-юдо! Время!

Тот с койки долой да к квашне. А англичанин попридержал.

– Погодите, молодой человек. Сейчас внутреннее будет. Достал из чемоданчика книжку и ну вычитывать:

– Чти отца твоего и мать твою – и благо тебе будет... Не укради! Не убий...

– Да зна-ю! – кричит Ванюшка.

А англичанин его пальцем в лоб:

– Не пожелай дому ближнего твоего, ни осла его, ни козла его...

Да пальцем, пальцем...

Вскочил Ванюшка да за квашню. А тот опять придержал – лежи! Еще книжечку вынул, и опять:

– На чужой каравай рот не разевай, а пораньше вставай да свой, свой затирай!

– Обязательно желаю! – кричит Ванюшка, а Матрена Ивановна:

– Так его, ваше превосходительство! – кричит. – Да хорошенечко ему, хорошенечко вдолбите в башку-то плупую.

А тот свое, без разговору:

– Без труда нет плода! Тише едешь – дальше будешь!

– Да зна-ю!

А тот свое да свое, да пальцем, пальцем:

– Семь раз отмерь, а один отрежь!

– Да зна-ю!.. – ну, рвется... прямо, дрожит-дрожит...

– Терпи, казак – атаман будешь! Гуляй! – как крикнет англичанин да – подзатыльник!..

Как Ванюшка со всех ног да к квашне, да за тесто, да за баранки...

А англичанин бинокли-книжки свои убрал, зубищи-клыки свои желтые ощерил и смеется Матрене Ивановне:

– Видали? Очень хорошие ваши пословицы, а самая лучшая ваша – «Сухая ложка рот дерет!»

И в ладошку почесал-потыкал. Тут, понятно, Матрена Ивановна ему в ручку, да самыми-то настоящими, звонкими, золотыми, – цельный десяток и отвалила, по уговору: понятно, тайное место у ней имелось для капиталов, женщина была неглупая.

– Век буду Бога молить за упокой – за здоровье. Имечко-то ваше праведное скажите.

– А зовут меня, – говорит, – Мастер Тайм!

– Что-то я святого такого и не слыхала... – Матрена-то Ивановна говорит.

– Напрасно-с... – тот-то ей да таково строго. – Самый святой из святых. Всякие болезни исцеляет и никогда ошибки не дает, будьте покойны. А по-вашему – Время, называется.

А свое дело понимает: все штучки об камушек прозвонил, в кошель ссыпал, чемоданчик в руку, ощерился и – прощай, мамаша!

– За Время-то и деньги платят! Это уж – наша. Зато прочно-с, можете быть спокойны: повторения не случится, с ручательством!

Трубочку закурил и айда – к себе, в Лондон.

И пошла Матрена Ивановна опять калачами-баранками торговать. А Ванюшка – диву дались! – все Городище пряниками засыпал: ешь – не надо!

Октябрь 1919 г.

Алушта

Панкрат и Мутный

ДЕЛО БЫЛО В СОЧЕЛЬНИК, К НОЧИ

Панкрат, мужик строгий, хозяйственный, поделал все положенные дела: нарубил хворосту старухе, задал корма скотине, принес воды, закрестил запоры и покрепче припер колом ворота. Время было разбойное. Старуха тоже дела покончила, разлила по мискам свиной студень, – будет чем разговеться! – поставила под лавку и накрыла от мышей корытцем. С мороза да с теплого свиного духу Панкрату захотелось студню, но он поглядел на картинку – «Смерть Грешника», с рыжим и тощим грешником у зеленого черта в лапе, – и воздержался. Сидел – подумывал: спать, что ли?..

Под лампочкой с набежавшими тараканами, Степан, заявившийся «со всех фронтов», вычитывал на газетке, выворачивал слова, и приговаривал, возя носом: «Во!» От слов Панкрату было не по себе. И стало ему мерещиться. Похож... Сморгнул, опять поглядел... – похож! Потер глаза, пригляделся – и жуть взяла!..

«Ну, до чего похож... только не говорит, не олит!.. – думал Панкрат, приглядываясь, – и рыжий такой, и верткий, тощий... самый он, Мутный».

Самый он! Приезжал под Миколу, с кожаной сумочкой на замочке, шумел в училище, доказывал про свою веру. Про землю говорил мутно, требовал отобрать, – это Панкрат понял, – чтобы ренду *ему* платили! – кричал, что нет никакой вер-отечествы, а... самое это слово, в версту, и вычитал Степан на газетке. Еще говорил про капиталы, что надо их отобрать. Осталась на душе муть. Так и обозвал его Панкрат: Мутный! И вот, он самый и есть, в картинке!

Признав его на картинке, Панкрат плюнул и отвернулся. Посидел, опять поглядел: самый он! Опять плюнул. Старуха забранилась:

– Чего расплевался-то? Только им вымела, опять мыть?..

– Ну тебя!.. – отмахнулся Панкрат, расстроился.

Забыл про зарок – до розговен не курить – насыпал трубочку, задымил.

– Бога-то бы хоть не коптил до Праздника!.. – забранилась опять старуха и тоже плюнула.

Время было и спать. Панкрат покурил, слушая из газетки, заскучал, перекрестился на темного Миколу с догоревшей лампадкой, – масла не напокупаешься! – и полез на печь, под овчины.

На дворе крепко морозило, постреливало в бревна.

– Здорово долбаёт! – сказал Степан. – По Москве так-то намедни шпарили!..

– Забаву какую взяли! – сердито отозвалась старуха, откидывая творог. – Может, и Мишутка с *ими*, душу губит!..

– Дураков-то понаделали... – позевал на печи Панкрат. – Намутили-намурили... овса ни у кого не стало!..

– Энтó мы разберем, досуг будет... – сказал Степан. – Называется... очередями шпарим! Только Мишка по другому делу, которые без сознания. Называется, в Питере по погребам лазит... кот-риволлюцанер!

Старуха опять плюнула.

Степан высчитывал, как били друг дружку в Казани и в Рязани, на Дону, и под Белгородом; сожгли-выпили водочный завод и разграбили сахарный; как семерых повесили на сосне, а троих сожгли на костре...

– До-шли... – позевал Панкрат.

– ...орен...тацея...прын...цы...пов...прынцов...ан...терна... лизма!.. Во!

– Да буде тебе, жуть!.. – отозвался с печи Панкрат. – Пра-здник!

Стало ему дрематься.

Думалось: уйдет Степан – надо вынуть из-под полу, у двери, замотанное в клубки шерсти, в лузге, – две сотенные бумажки, двенадцать серебра и три золотых, и закопать в риге, поглубже. Станут капиталы отбирать... и лихого народу много. Овса бы засеять надо. На Святках усадьбу делить станут, скирдищи какие не обмолочены... Парочку бы лошадок лохмоногих, из-под орудиев. Степашка сказывал, руку в комитете надо. Увидал громадную рыжую корову, из усадьбы: стоит во дворе, столб языком трясет... Потом – поле с войском крестцов и облюбованный «Черный Клин», две десятины чернозему, под конопляники... Лежит Панкрат на «Клину», слышит, как крепко

навозом тянет, раскинул руки и думает: «Вся – моя!» И вот, слышит: – Подавай капиталы!

И не в поле он, а в избе. И, будто, все тот же вечер, и лежит на столе газетка, и потрескивают бревна. Лампочка чуть повернута, у Миколы не теплится лампадка, окошки совсем обмерзли, как сахарные. Мороз, видно, крепкий, звонкий.

Огляделся Панкрат: кто у него капиталы требует? Взглянул под лоханку, в угол, где деньги в клубках схоронены... Человек!.. Сидит человек на лавке, ножкой покачивает. И обомлел: Мутный, за капиталами!..

– За капиталами! – говорит Мутный.

Хотел Панкрат крикнуть, а язык не ворочается. Смотрит: одежда городская, тройка, в серую клеточку, башмаки на шнурочках, и цепочка поблескивает. А у бока-то сумочка, на замочке, с бумагами и печаткой. Из себя жигулястый, сидит – будто, на шиле вертится, ногу на ногу закидывает, юлит: то к стенке прикачнется, то коленку к самой бородке вскинет, руками и прихватит. Самый-то *он* и есть, Мутный! Лицо квелое, волосы рыжие, линялые, на зачес. Подивился, как это в избу к нему забрался: ворота колом приперты!

А Мутный поюлил-повихлялся, показал зубы, мелкие, как у мыши, и – опять:

– Подавай капиталы!

Так Панкрат и заолодел! Видит: карманы здорово оттопырило – с оружием *они* ходят! И зашептал хитро, чтобы посмелей казаться:

– Какие, господин, у мужиков капиталы! Вон, сын с войны воротился, бонбандер... на лавке спит с левонвертом!..

Глядит – а Степана нет! А Мутный прихватил коленку и закачался, ощерился:

– Степан за нас записан-запечатан! – и похлопал по сумочке. – Подавай капиталы, пятьсот рублей!

Хотел Панкрат Степана позвать, а голосу нет. Закланялся:

– Нет у нас, господин, овсинки-порошинки, а не то что... Христов Праздник, а и хлебца нет...

Да и засекся: здорово свиной пахнет! Подумал: учует Мутный! А тот уж носом повел и спрашивает, строго:

– А почему сту-день?! Из каких капиталов? Почем нон-че свинина?! Вон, под лавкой, на цельную неделю запасено?!..

Закланялся Панкрат, стал голоском умасливать:

– Старуха это, должно, ваше благородие... необразованная!., у соседев, значит, призяла, для-ради Праздника... сту-денькю наварила, как я за дровишками в лесок отлучился... Сынок с войны пришел, для его!..

А Мутный в бородку фукнул, гаркнул, как становой-покойник:

– Впротокол составлю! Какой губернии-уезду? сколько овец-лошадей-коров? винтарю живого-мертвого?!..

«Куды добивается! – подумал Панкрат, – про капиталы-то забудет, может...»

И стал похрабрей хитрить:

– Вам бы, ваше благородие, к столику, под картинку... способней бы впротокол писать!.. Сын-то до ветру вышел, руку приложить некому...

А Мутный все, будто, понимает. Сидит – не подается, пальцем под лоханку тычет:

– По-чем лузга?!..

Стал было божиться Панкрат, да как поглядел к картинке... – ну, самый *он*... в лапе у *зеленого* зажат с мешочком! Рука и не подымается. Пошел отводить увертками:

– И как это вы, вашбродие, скрозь забор-то... не повредились?.. В окошечко хоть бы стукнули... И кто же вы теперь будете, по каким пунхтам?..

А Мутный – пальцем в газетку, и прочитал, как Степан:

– ...ан-тер... нализма!..

Прикинулся Панкрат, будто не понимает:

– Та-ак... А это чего ж такое?.. А тот и почал доказывать:

– Ор-ган для всего мира! Зажгем факелом весь свет!..

– Так-так... понимаем, ваше благородие... для све-ту!.. – закланялся-зашептал Панкрат. – Самые вы наши... эти... благодетели!., яишенку не желаете ли, ваше благородие?..

Подманивал Мутного к столу, от уголка подальше, всех тараканов побил. А сам все тужился – вспоминал: топор-то куда засунул?.. А Мутный перегнулся – и сует голову под лавку... – в самую-то бы пору топором!

– Крысы, ваше благородие, там... в морду даже цепляются... Кры-ыс у нас, вашбродие... полно подполье!..

И увидал: торчит топорище из подпечья! Потверже на ногах стал.
А Мутный – носом под лавку, и говорит:

– Не будет пощады капиталам!

Панкрат ступил пяткой на топорище, сказал сурьезно:

– Вовсе пустой разговор. Нет у нас капиталов!

И будто у него пятка зачесалась. Присел, топорище схватил – и за спину!

– Какой веры будешь? чего испровергаете?.. Сказывай, какая новая вера?..

Мутный и замотался! Прихватил коленку, закорчился...

– Про человечество...

– Энто я знаю! – крикнул Панкрат, – откуда и голос взялся! – Не юли, черт рыжий... в Миколу веришь?!..

Да топором в угол и показал! Мутный скосился эдак, будто топора не видит, и усмехнулся – скрипнул, словно скорлупу раздавил:

– Пролета... реянта...

– А я в проли... тариянту не признаю! – взмахнул топором Панкрат. – У меня земля! Милиены нас, полна Россия!.. Прямо, руки за спину – и... троих в пролуби утопили!., я стро-гай за вер-отечеству!.. я во какой стро-гай!.. – набирал Панкрат духу... – всех запутали-обманули?!.. Кто ты такой, покажь пачпорт?!..

Мутный сидит – не движет, и лицо его будто потускнело.

– Вер-оте-чествы нету?!.. – лез на него Панкрат, махался, и жуть брала. – У кажнаго... самый идол-поклонник... должна быть!.. Капиталы тебе подай?!.. Жечь?!.. Какой еще тебе свет жечь?! Кажный день пожары?!.. А это ви-дишь!.. – размахивал топором Панкрат...

А Мутный – хоть бы пошелохнулся!

– Чего у тебя в сумке?., какие думки?!.. Покажь руки, черт Мутный!.. Белый?!.. Лопатчонкой не ковырнул, а... зе-млю-у?!! процент тебе плати?!

Вьелся в загривок вошью... Па-чпорт, какого роду-племени?!..

Наваливался горой на Мутного, голову все искал. А головы и не видно! Вертелся под рукой Мутный, скрипел скорлупой – юлил, зеленым дымочком вился, не давался...

– Гло-тку... пере... гры... зу!.. – хрипел, продирался во тьме Панкрат, старался углядеть голову...

И углядел! В самый-то угол, под лоханку, забился Мутный, к заманной половице. Махнул Панкрат топором, стиснул глаза – и ахнул!..

– ...топоры!.. – тяжело хрипел Панкрат на жаркой своей овчине, – да-вай... топоры... Ми... кола-а!..

– Панкрат, очунься!.. Го-споди, да очунься!.. – дергала его за ногу старуха. – Панкрат!?.

Мычал Панкрат, тыкался головой в овчину. Дышать нечем, язык запекло – терка теркой. Очнулся, привстал, – темно. Хотел перекреститься – руку не слышит, занемела.

– Го-споди... огоньку бы... Душил меня, старуха, навалился...

– Перпужал как... Бужу, а ты и не чуешь... – закрепивала его старуха. – Все поленья пораскидал, горшки побил... дурашный!.. Лампадку, постой, затеплю...

– Фу... зажги... не продохну... как испужался-то... С *эн-тим* все... Ух-ты, руку-то как я зашиб, не владаю... – хрипел Панкрат, – ох, водицы испить дай, старуха...

– Ат, дурашный... – жалела его старуха.

Свесил с припечка ноги, сидел – переводил дух. Ковш подала ему старуха, с ледниками, – вытянул полный ковш.

– Фу... маленько поотпустило...

– А чего видал-то?..

– Нехорошо видал... *энтпоги* приходил... топором *его* посек, будто?..

– Да ну!.. – всполохнулась старуха, закрестилась.

– Царица Небесная... не случилось бы чего, Панкратушка?!..

– С картинки сошел... Топор где?..

– Да где... в подпечье, сам давеча поклат! А чего сошел-то?..

– Сошел-то... – опоминился Панкрат, потирая зашибленную руку.

– Да за деньгами приходил, будто... добивался...

– За деньгами!!.. – дернулась головой старуха.

– За деньгами... «Подавай капиталы»! Спасибо, топор попался...

Где Степан?..

– Спит, где ж ему быть-то!.. А чего?..

– Спит?.. Вот чего... в риге закопаю...

– Как уж удумаешь... Время-то, незнамо чего жди...

– Топор, хорошо, схватил... отбился! Микола-Угодник помог.

- По-мог?!..
 - Помог, явственно. Вместе, будто... одолевали...
 - Матушка, Царица Небесная... – зашептала старуха, закрестилась.
- Так до вторых петухов и досидели.

Декабрь 1917 г
Москва

Выходные данные

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЕВ

Собрание сочинений

Том 8 (дополнительный)

РВАНЬИ БАРИН

Рассказы Очерки Сказки

Составитель и автор предисловия Е. А. Осьминина

Разработка оформления Ю. Ф. Алексеевой

Шрифтовое оформление В. К. Серебрякова

Редактор В. П. Шагалова

Художественный редактор Г. Л. Шацкий

Технический редактор И. И. Павлова

Корректоры Н. Д. Бучарова, А. З. Лазуткина

Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 010058 от 23 X
1996 г

Подписано в печать 18 01 2000 г. Формат 84x108/32.

Бумага офсетная. Гарнитура Петербург. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 31,92 Уч-изд. л. 32,67 С-01

Тираж 5000 экз. Заказ № 111 ЛХ-170

Издательство «Русская книга» Комитета Российской Федерации
по печати

123557, Москва, Б Тишинский пер, 38

Отпечатано в ГУП ИПК «Ульяновский Дом печати»

432601, г. Ульяновск, ул Гончарова, 14

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

notes

Примечания

«То, что дано мною под заголовком „Из рассказов приятеля“ – действительность, свидетелем и участником коей б. „мой приятель“. Много фигур прошло перед его глазами, грубых и нежных, трогательных, властных и несчастных. „Рваный барин“ одна из них. Многое опущено в рассказе, дабы не вводить читателя в ужасы жизни, и оттого пострадала яркость. Настенька, напр. Она играла и сыграла не такую эпизодическую роль. Романический элемент опущен. Косвенно он прошел в повести моей „Распад“, печат. в „Р. Мысли“ и включенный в 1-й том мой, выходящий осенью в издании „Знания“» (Шмелев И. С. Письмо Н. А. Альмендинген от 7 августа 1910 г – Цит. по: Вильчинский В. И. С. Шмелев в журнале «Родник» // Русская литература. 1966. № 3. С. 189).

Этот кирпичный завод еще до 1815 года принадлежал прадеду И. С. Шмелева и переходил, очевидно, старшему сыну. В конце XIX века там было занято 70 рабочих, но производство уже считалось отсталым. В 1894 году Егор Васильевич завод продает. По свидетельству Т. И. Грико, его почерк на письме «не твердый, дрожащий». Все эти сведения, а также все даты жизни родственников И. С. Шмелева даны по: Грико Т. Шмелевы // Былое. 1997. № 2. С. 14–15.

Шмелев И. С. Ответ на анкету В. Чешихина (Ч. Ветринского).
1911. – ОР ГЛИМ, ф. 6, оп. 1, ед. хр. 366.

Айхенвальд Ю. И. Письмо И. С. Шмелеву от 12 ноября 1926 г. – РГАЛИ, ф. 1175, оа 2, ед. хр. 174. «Распад» печатался в № 8, 9 «Русской мысли» за 1907 г.

Они описаны в «Автобиографии» (см. т. 1 наст. Собр. соч.) и в газетном варианте «Лета Господня»; отрывок так колоритен, что хочется привести его полностью:

«...А дедушку „театралом“ звали. Горкин мне сказывал: – Грех вышел... прабабушка Устинья в феврале месяце преставилась, и сороковой день на третьей неделе поста выходил. А дедушка, по секрету тебе скажу, в тиятры любил, как вот папашенька. И дяденька твой покойный любил в тиятры, а от людей таились. Скажет ему Иван Иваныч – побудь в банях у сборки, мне по важному делу надо. Уйдет, а Пал Иваныч к сборке приказчика поставит, а сам в тиятры. Да и наскочи на папеньку, нос к носу. – „Как ты, такой-сякой, здесь, сборку покинул?“ А тот, такой смех, шустрый был: „А вы, папашенька, кажется, по делам поехали... Ну, и я тоже по делам“. На том и помирились – „Пойдем, говорит, путаник, вместе смотреть, раз уж такое дело“. Так вместе потом и стали: „Поедем, говорит, по делам!“ – и засмеются. Ну, вот, отошла прабабушка, шибко дедушка горевал. А был у него билетик, загодя куплен, до кончины... какая-то важная приезжала петь, итальянка, помнится: живой, говорили, соловей. Приехала постом, на второй неделе, и сорок ден еще не вышло. Крепился-крепился дедушка, пришел со мной посоветоваться, от совести: „Деньга заплачены, полсотни место, и такой случай... Как ты скажешь?“ – „Что ваша, говорю, совесть скажет“. Пошел, голову повесил. Да еще пост Великий. Поутру и говорит мне: „Согрешил, Панкратыч... на небе, говорит, побывал 1 принял грех, замолю“. Правда, два раза отговел» (Возрождение. 1940. 26 апр. № 4233. С. 5).

«Полочка» печаталась в просветительском детском журнале известного педагога Д. И. Тихомирова «Юная Россия» (1901. № 1), так же как и «Светлая страница» (1910. № 10–11), «Солдат Кузьма» (1915. № 1), «Как мы летали» (1918. № 1–2).

Шмелев И. С. Письмо М. Горькому от 1 марта 1910 г. – Цит. по: Михайлов О. Н. Вступительная статья в кн. И. С. Шмелева «Повести и рассказы». – М., 1960. С. 20.

Шмелев И. С. Письмо Н. А. Альмендинген от 10 апреля 1910 г. – Цит. по. Вильчинский В. И. С. Шмелев в журнале «Родник» // Русская литература. 1966. № 3. С. 187–188. «Рваный барин» печатался в «Роднике» в 1911, № 5, 6.

(Б. п.). Шмелев И. «Догоним солнце» // Новости детской литературы. 1916. № 5. С. 25.

Шмелев И. С Письмо В. Г. Короленко от И июня 1909 г, – Цит. по:
Черников А. П. Повесть И. С. Шмелева «Под небом» // Проблемы
истории русской литературы. – Тула, 1973. С. 92.

Шмелев И. С. Письмо И. А. Белоусову от 21 января 1910 г. – Цит. по: Письма И. С. Шмелева к Н. С. Клестову-Ангарскому /Публ. А. П. Черникова // Записки ОР РГБ. Вып. 45. – М., 1986. С. 254.

Шмелев И. С. Письмо А. Г. Горнфельду от 18 ноября 1915 г. (по поводу предложения С. И. Чайкиной, издательницы петербургского журнала «Северные записки»: прислать произведения о «настроениях» тех людей, среди которых находился писатель). – Цит. по: Черников А. П. Проза И. С. Шмелева. – Калуга, 1995. С. 168. «Суровые дни» с подзаголовком «В деревне» печатались в «Северных записках» № 8, 9, 10, 11, 12 за 1914 г. и в № 1, 10, 11/12 за 1915 г., а потом вошли в т. 7 Собр. соч. И. С. Шмелева.

Цит. по: Толстой А. Н. Полн. собр. соч. – М., 1949. Т. 3. С. 9.

От писателей, художников и артистов // Русские ведомости. 1914.
28 сент. № 223. С. 6.

Ответ русских писателей английским собратям // Биржевые ведомости. 1915. 30 марта. № 14753. С. 4.

И. С. Шмелев писал Д. Н. Андрееву о его статье (в № 1 «Современного мира» за 1915 г.): «Думая над ней, я думал и о Вас, о Вашей крепкой и живой любви к русской душе. – Горький же возмутил меня». – Цит. по: Вильчинский В. Л. Андреев и И. Шмелев // Русская литература. 1971. № 4. С. 130–131.

Кадмии Н. Русские писатели о русском народе // Утро России
1917. 29 янв. № 29 С. 3.

Л. А. Ив. Шмелев. «Суровые дни» // Русская воля. 1917 9 янв. № 8.
С. 7.

Этот приказ передавал власть в армии выборным комитетам из низших чинов, сосредоточил в их руках все оружие, изменил отношения между солдатами и офицерами. См., напр: Архив русской революции. Т. 6 – М., 1991 С. 73.

Шмелев И. С. Письмо С И. Шмелеву от 23 августа 1917 г. – ОР
РГБ, ф. 387, к. 9, ед. хр. 24.

«Было и страшное (в ночь Светл. Пасхи). Зарезали на одн. станции уголовные семью в 5 челов. В России все было спокойно. Правда, солдат много – передвигается – бродячая вольница» (Шмелев И. С. Письмо С. И. Шмелеву от 19 апреля 1917 г. – ОР РГБ, ф. 387, к. 9, ед. хр. 23). Об этом позднее он напишет «Убийство», «Черную Пасху», «Кровавый грех».

Это видно не только по очеркам, но и по письмам с дороги: сыну, И. Бунину, И. Белоусову, Н. Клестову-Ангарскому.

Шмелев И. С. Письмо С. И. Шмелеву от 5 августа 1917 г – ОР
РГБ, ф. 387, к. 9, ед. хр. 24.

В «Книжном человеке», например, слова героя перекликаются с рассуждениями Шмелева: «Большевизм, эта политическая крайность, не совпадает с анархическими силами жизни. Руководители большевиков слепы государственно. Для проведения идеалов нового республик строя в жизнь – нужна страшная любовь к родине, к народу в целом, а не к отд. только классу. Это слова Монтескье. И они глубоко верны» (Шмелев И. С. Письмо С. И. Шмелеву от 9 сентября 1917 г. – ОР РГБ, ф. 387, к. 9, ед. хр. 24).

«Влили вино в старые меха. Слишком мало учли нравственный и общекультурный лик и багаж народа. Заиграли на чувствит. струнках – тронули вопрос шкурный, наобещали. Теория и теория. Явились идеологи-социалисты и произвели грандиозный эксперимент» (Шмелев И. С. Письмо С. И. Шмелеву от 30 июля 1917 г. – ОР РГБ, ф. 387, к. 9, ед. хр. 24).

«...от низов человеческой дикости к культуре духа, через материю к идеалам, к красивым мечтам, к очеловечиванию жизни, через человеческое, через „мясо“ к духу, через камни, через железо, через землю, через самые разнообразные плоды творчества рук человеческих, через самое реальнейшее на всех путях жизни» (Шмелев И. С. Отрывок неоконч. статьи. – ОР РГБ, ф. 387, к. 8, ед. хр. 23).

Шмелев И. С. Письмо С. И. Шмелеву от 9 сентября 1917 г. – ОР
РГБ, ф. 387, к. 9, ед. хр. 24.

Во избежание путаницы надо сказать, что И. С. и О. А. Шмелевы побывали в Крыму, в Алуште и летом 1917 г. Так был написан очерк «По мелководью», с дороги – «Разруха ли?», а по впечатлениям – «Перекасти-поле». О его герое Григории Рагулине, впоследствии заколовшем на ферме Сергеева-Ценского одну из работниц (см. «Солнце мертвых», «Крест», «Ентрыга»), Шмелев писал: «Выведен „приятель“ Ценск. Гришка. Это опыт лепки будущего большевика. Я попал в точку» (Шмелев И. С. Письмо А. Б. Дерману от 4 (17) октября 1918 г. // Литературное обозрение. 1997. № 4. С. 23).

Шмелев И. С. Письмо А. Б. Дерману от 2 августа 1919 г. // Литературное обозрение. 1997. № 4. С. 31.

Шмелев И. С. Письмо А. Б. Дерману от 24 октября 1919 г. // Литературное обозрение. 1997. № 4. С. 33.

Айхенвальд Ю. И. Литературные заметки // Руль. 1927. 18 мая.
№ 1965. С. 2.

Ладыженский Вл. Новая книга Ив. Шмелева // Возрождение.
1927. 12 мая. № 709. С. 3.

Тут есть и заинтересованность иностранного капитала в русской революции (Карл Иваныч), и марксистское учение (Маркуша), Временное (комиссар-пристав) и Крымское краевое (доктор Сериков) правительства, а также надежда на союзников англичан (мастер Тайм). О судьбе этой надежды см. «Письмо лейтенанта» и «Пушечное вино».

В крымских рукописях Шмелева есть листок с перечислением рассказов, судя по всему, написанных в Крыму (там нет ни московских, ни неоконченных произведений). «Убийство» там значится – см... ОР РГБ, ф. 387, к. 8, ед. хр. 29.

«Сказки» даются по их парижскому варианту. «Крымский» вариант см.: Крымский архив. 1994. № 1 (публикация Л. М. Борисовой). Там же – и крымский вариант «Голоса Зари». Этот рассказ – последнее произведение Шмелева, переписанное рукой сына, – отсюда позднее посвящение.

Критерием отбора произведений для настоящего тома (всего до эмиграции Шмелев написал около 120 печ. листов) был выбор самого Ивана Сергеевича. За границей он переиздал «Полочку», «Светлую страницу», «Солдата Кузьму» и «Как мы летали». Из «Распада» сделал «Страх», из «Рваного барина» – «Наполеона» и «Русскую песню», из «Праздничных героев» – «Обед для разных» («Лето Господне»). Из «Суровых дней» были переизданы: «Мирон и Даша», «Знамения», «Лихой кровельщик», а также – все «Сказки».

How do you do? – Как вы поживаете? *(англ)*

Селам-алекюм

Рассказ «Светлая страница». *(Примеч. И. С. Шмелева.)*

В Крыму. В 1918 г Ив. С. Шмелев покинул Москву.

Мы сохраняем недописанными слова черновика рассказа Ив. Серг Шмелева из его записной книжки (*Ю Кутырина*)

Бабуган – название горы.

,Чатыр-Даг – название горы.

Демерджи – название горы.

Слово неразборчиво написано в черновике: можно читать – чуютъ или – через (*Ю, Кутырина*).